РУССКОЕ СЛОВО

1862.

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ФЕВРАЛЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ Н. ТИБЛЕНА И КОМП.

Вас. Остр., 8 лин., № 25.

СОДЕРЖАНІЕ

ОТДѢЛЪ I.

Глухой городокъ. МАРКО-ВОВЧКА.

Аринушка (повѣсть, окончаніе). А. Г. ВИТКОВСКАГО.

Физіологическія картины. Д. И. ПИСАРЕВА.

*** (стих.). А. Н. ПЛЕЩЕЕВА.

Людвигъ Спиттлеръ.

Фрина (стих.). ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.

Приключенія Филиппа (романъ ТЕККЕРЕЯ).

ОТДѢЛЪ II.

Политика.

Франція. — Финансовыя эликвибраціи Фульда. — Репутація его вмѣстѣ съ Дюмоларомъ въ парижскихъ общественныхъ кружкахъ. — Леченіе биржевой игрой финансоваго недуга. — Тронныя рѣчи императора Французовъ и королевы англійской.—Процессъ Анны Гамильтонъ.— Курьезный процессъ лорда Уильдгема. — Лордъ Пальмерстонъ и его билль о передачѣ собственности.—Быстрая перемѣна англійской политики относительно Америки. — Побѣды федеральной партіи и планы конгресса относительно завоеваній.—Внутренняя связь между мексиканской экспедиціей и отпаденіемъ южныхъ штатовъ. — Походъ въ Мексику и храброе сопротивленіе Мексиканцевъ. — Вопросъ о будущемъ мексиканскомъ королѣ.—Отсутствіе новостей изъ Италіи.— Ложная система дѣйствій Рикасоли и недовѣріе итальянской націи къ піемонтскому парламенту.—Наводненіе въ Венгріи и засуха въ австрійской политикѣ.—Двойственное поведеніе Пруссіи относительно Германіи.—Значеніе демократической партіи въ Берлинѣ и неумѣнье ея обращаться съ современными вопросами. ЖАКЪ-ЛЕФРЕНЬ.

Русская Литература. Московскіе мыслители. Д. И. ПИСАРЕВА . . . . 1.

Поэтъ-философъ Веневитиновъ и біографъ-критикъ г. Пятковскій . . . . 28.

Ложныя и отреченныя книги русской старины. Объясненія къ «памятникамъ древней русской литературы», вып. 3-й А. Н. ПЫПИНА . . . . 42.

Русскій Донъ-Кихотъ (соч. И. В. Кирѣевскаго I и II т. Москва 1861 г.). Д. И. ПИСАРЕВА . . . . . . 88.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

РУССКОЕ СЛОВО

НА 1862 ГОДЪ.

Начиная четвертый годъ своего изданія, РУССКОЕ СЛОВО заявляетъ тѣмъ твердую увѣренность въ сочувствіи къ нему публики и въ своемъ возрастающемъ успѣхѣ. Этотъ успѣхъ, въ послѣдніе мѣсяцы, превзошелъ наши ожиданія; ему отвѣчало и будетъ отвѣчать искреннее желаніе Редакціи оправдать довѣріе нашихъ читателей; ихъ голосъ, какъ выраженіе общественнаго мнѣнія, есть единственный голосъ, которымъ мы дорожимъ.

Редакція «РУССКАГО СЛОВА» остается въ прежнемъ составѣ, и потому направленіе журнала не измѣняетъ своей главной цѣли. Вѣроятно, наши воззрѣнія на различные вопросы жизни, науки и искуства, наши симпатіи и антипатіи обозначились довольно ясно; полное же выясненіе ихъ будетъ зависѣть отъ времени. Къ наукѣ мы относились не

для самой науки, а съ серьезными и практическими требованіями, составляющими отличительную черту современной эпохи; за общественнымъ движеніемъ, во всѣхъ его проявленіяхъ, мы слѣдили съ любовью и тревожнымъ ожиданіемъ, сосредоточивая особенное вниманіе не столько на внѣшнихъ явленіяхъ, сколько на внутреннемъ ихъ смыслѣ и значеніи; отъ произведеній искуства, какъ въ Россіи, такъ и въ Европѣ, мы требовали идеи и художественной правды, безъ которыхъ нѣтъ истиннаго искуства. Во всѣхъ сферахъ умственной и эстетической дѣятельности мы искали общечеловѣческихъ началъ и отъ нихъ старались перейдти къ сближенію съ тѣмъ народомъ, среди котораго живемъ и дѣйствуемъ; къ его интересамъ была направлена наша основная мысль; мы раздѣляли и будемъ раздѣлять его радости, смѣяться его смѣхомъ и горячо сочувствовать его горю.

Всякая односторонность, рутина и праздная игра въ отвлеченныя теоріи, задерживающія наше соціальное развитіе, не найдутъ въ РУССКОМЪ СЛОВѢ ни одобрѣнія, ни сочувствія. Авторитеты, системы и отдѣльныя личности, какъ бы высоко они ни были поставлены, для насъ имѣютъ цѣну только тогда, когда они содѣйствуютъ своимъ талантомъ и трудами общему дѣлу. Въ наше время, внѣ общественныхъ интересовъ почти не возмоно представить себѣ поэта или ученаго, потому что только одно холодное равнодушіе, несовмѣстное съ истиннымъ дарованіемъ, духъ касты и партіи могутъ отдѣлять умственную дѣятельность отъ самой жизни общества.

Объяснивъ нашимъ читателямъ основной характеръ РУССКАГО СЛОВА, мы надѣемся остаться ему вѣрны, и не пренебречь ничѣмъ, что можетъ улучшить второстепенныя достоинства журнала. Главные отдѣлы его—*беллетристическій* и *ученый*, *политика*, *критика*, *иностранная литература*, *внутреннее обозрѣніе* и *дневникъ темнаго человѣка*—сохранятъ свой прежній видъ, но обогатятся новыми дѣятелями, на которыхъ мы имѣемъ основаніе расчитывать.

Шахматный листокъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будетъ постоянно прилагаться къ РУССКОМУ СЛОВУ.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 12-ти книжекъ, отъ 25—35 листовъ каждая. Цѣна за годовое изданіе «РУССКАГО СЛОВА»—12 р. 50 к. безъ пересылки, а съ пересылкой 14 р. Главная подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ РУССКАГО СЛОВА, что на Гагаринской пристани, въ домѣ графа Г. А. Кушелева-Безбородко и въ Газетной Экспедиціи С. Петербургскаго Почтамта; въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ И. В. Базунова, что на Страстномъ бульварѣ; затѣмъ — у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы и Петербурга.

Изъ старыхъ и новыхъ подписчиковъ на «РУССКОЕ СЛОВО» тѣ, которые подпишутся *не позже пятнадцатаго декабря,* получатъ премію—третій выпускъ «ПАМЯТНИКОВЪ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», изданныхъ подъ редакціей Н. И. Костомарова и А. Н. Пыпина, или вмѣсто Памятниковъ полное собраніе сочиненій Л. А. Мея (въ 3 томахъ), смотря по желанію каждаго подписчика. При этомъ редакція проситъ покорнѣйше означать ясно, какую изъ двухъ премій избираетъ подписавшійся. Кромѣ того, подписчики «РУССКАГО СЛОВА» всегда пользуются уступкой 20% на всѣ сочиненія, изданныя редакціей впродолженіи трехъ лѣтъ (*).

Желая облегчить доступъ къ подпискѣ на «РУССКОЕ СЛОВО» небогатымъ читателямъ, редакція допускаетъ разсрочку въ уплатѣ денегъ—для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ,—для всѣхъ прочихъ—по личному или письменному объясненію съ редакціей.

(*) Изданія эти слѣдующія:

Сочиненія А. МАЙКОВА. Въ 2 томахъ. Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 75 к. Сочиненія А. ОСТРОВСКАГО. Въ 2 томахъ. Цѣна 3 р. съ перес. 3 р. 75 к. Сочиненія И. ПАНАЕВА. Въ 4 томахъ. Цѣна 3 р. Съ перес. 4 р. 50 к. Разсказы Я. ПОЛОНСКАГО. Цѣна 50 к. съ перес. 70 к. ВЪ ПРОВИНЦІИ. М. МИХАЙЛОВА. Въ 2 томахъ. Цѣна 1 р. съ перес. 1 р. 40 к. ГРАЦІЯ-ЛИ (романъ Джули Кавана, перев. съ англійскаго, въ 2 част.) Цѣна 1 р. съ перес. 1 р. 40 к. ПОЛЬ ФЕРРОЛЬ. (Перев. съ англійскаго). Цѣна 50 к. съ перес. 70 к. Очеркъ англійскихъ нравовъ ТЕККЕРЕЯ. (Перев. съ англійскаго). Цѣна 50 к. съ перес. 70 к. Рисунки БОКЛЕВСКАГО. Сцены и типы изъ сочиненій ОСТРОВСКАГО, въ 6 выпускахъ. Цѣпа за каждый выпускъ 1 р. съ перес. 1 р. 50 к.

Примѣч. 1. Редакція считаетъ долгомъ предупредить, что въ случаѣ жалобъ на недоставку книжекъ РУССКАГО СЛОВА, она строго отвѣчаетъ за исправность только передъ тѣми, кто подписался въ конторѣ РУССКАГО СЛОВА.

Примѣч. 2. Редакція съ удовольствіемъ будетъ отвѣчать на запросы и требованія своихъ подписчиковъ и, насколько будетъ зависѣть отъ нея, исполнять ихъ просьбы безотлагательно.

Редакторъ-Издатель **графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко.**

Печатать позволяется. Санктпетербургъ 24 сентября 1861 года

Ценсоръ *Е. Волковъ.*

въ типографіи н. тиблена и комп. (на В. О., 8 л., № 25).

РУССКОЕ СЛОВО.

II.

Печатать позволяется съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, 8 марта 1862 года.

Ценсоръ *Ѳ. Рахманиновъ.*

СОДЕРЖАНІЕ

ОТДѢЛЪ I.

Глухой городокъ. МАРКО-ВОВЧКА.

Аринушка (повѣсть, окончаніе). А. Г. ВИТКОВСКАГО.

Физіологическія картины. Д. И. ПИСАРЕВА.

*** (стих.). А. Н. ПЛЕЩЕЕВА.

Людвигъ Спиттлеръ.

Фрина (стих.). ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.

Приключенія Филиппа (романъ ТЕККЕРЕЯ).

ОТДѢЛЪ II.

Политика.

Франція. — Финансовыя эликвибраціи Фульда. — Репутація его вмѣстѣ съ Дюмоларомъ въ парижскихъ общественныхъ кружкахъ. — Леченіе биржевой игрой финансоваго недуга. — Тронныя рѣчи императора Французовъ и королевы англійской.—Процессъ Анны Гамильтонъ.— Курьезный процессъ лорда Уильдгема. — Лордъ Пальмерстонъ и его билль о передачѣ собственности.—Быстрая перемѣна англійской политики относительно Америки. — Побѣды федеральной партіи и планы конгресса относительно завоеваній.—Внутренняя связь между мексиканской экспедиціей и отпаденіемъ южныхъ штатовъ. — Походъ въ Мексику и храброе сопротивленіе Мексиканцевъ. — Вопросъ о будущемъ мексиканскомъ королѣ.—Отсутствіе новостей изъ Италіи.— Ложная система дѣйствій Рикасоли и недовѣріе итальянской націи къ піемонтскому парламенту.—Наводненіе въ Венгріи и засуха въ австрійской политикѣ.—Двойственное поведеніе Пруссіи относительно Германіи.—Значеніе демократической партіи въ Берлинѣ и неумѣнье ея обращаться съ современными вопросами. ЖАКЪ-ЛЕФРЕНЪ.

Русская Литература. Московскіе мыслители. Д. И. ПИСАРЕВА . . . . 1.

Поэтъ-философъ Веневитиновъ и біографъ-критикъ г. Пятковскій . . . . 28.

Ложныя и отреченныя книги русской старины. Объясненія къ «памятникамъ древней русской литературы», вып. 3-й А. Н. ПЫПИНА . . . . 42.

Русскій Донъ-Кихотъ (соч. И. В. Кирѣевскаго I и II т. Москва 1861 г.). Д. И. ПИСАРЕВА . . . . 88.

Иностранная литература. Американскій кризисъ и вліяніе его на европейскія дѣла. 1. American crisis, and its prospects. London. 1861. 2. Utilitarianism. By J. S. Mill. Fraser's Magazine. 1861. Г. Е. Благосвѣтлова . . . . 1.

ОТДѢЛЪ III.

По непредвидѣннымъ обстоятельствамъ **Современная лѣтопись** отлагается до будущаго мѣсяца.

Дневникъ темнаго человѣка.

Мой трепетъ передъ призракомъ общественнаго мнѣнія. — Роковая скамья подсудимыхъ и общественное veto.—Русскіе скептики и ихъ тенденціи. Нѣчто о демоническихъ натурахъ.—Кто сомнѣвается въ русскомъ прогрессѣ? Ода прогрессу. — Разница между скептицизмомъ нѣмецкаго Фауста и русскаго Собакевича.—Два слова о Никитѣ Безрыловѣ и Викторѣ Аскоченскомъ.—*Два бойца*—мимолетная импровизація.—Домашній литературный вечеръ и его составъ. — Общественное мнѣніе въ лицахъ. — Старая княжна и юный господинъ.—Парикъ допотопнаго поэта и увлеченіе институтки.—Темный человѣкъ передъ судомъ *избраннаго* общества.—Мои надежды и окончательное пораженіе.—Литературныя чтенія — какъ одна изъ казней моды.— Мое злорадство.—Сказаніе о нѣкоемъ Охочекомоннѣ и объ его кулачной расправѣ съ петербургскими профессорами.—Уступка Охочекомонны въ пользу з-жи Толмачевой и одного изъ сотрудниковъ Русскаго Слова. — Счастливая звѣзда г. Печаткина.—Гимнъ Библіотекѣ для Чтенія.—Причитанья журнальной маски (З—на) надъ могилой Добролюбова.—Можно ли ставить памятники людямъ, которыхъ фамилія писалась черезъ маленькую букву?—Мой проектъ объ открытіи подписки на пожизненные монументы Зорину, З—ну, и Охочекомоннѣ. — Осужденіе статей Добролюбова и его друзей. — Тенденціи г. З—на и дочери становаго.—«Жалоба уѣздной красавицы»—элегія.—Смѣлость могильныхъ червей. — «Кто ты?—лирическое восклицаніе къ псевдониму.— Фантастическая сцена гласнаго судопроизводства.—Г. Лермантовъ и г-жа Кобякова.—Протестъ послѣдней.—Я, какъ адвокатъ обвиненнаго.—Моя блестящая рѣчь о собственности и кражѣ.—Почему г. Лермантовъ назвалъ *Неожиданное богатство—Легкимъ богатствомъ?*—Масляница и ея удовольствія въ Петербургѣ. — Послѣдній маскарадъ въ Большомъ театрѣ и его характеръ. Сцена въ буфетѣ, гдѣ я опять являюсь адвокатомъ, но неудачнымъ. — Нерѣшенный вопросъ: кто долженъ больше обижаться: тотъ-ли, кого бьютъ, или тѣ, которые смотрятъ, какъ бьютъ?!..—Мои маскарадныя иллюзіи. «Маскарадный мотивъ»—стихотвореніе.—Петербургская начальница и ея классическое: *встаньте*!..—Нѣчто о скоромъ торжествѣ буквы *Ѣ*.

Шахматный листокъ (за февраль) В. М. Михайлова.

Преміи: 3-й выпускъ «Памятниковъ старинной Русской литературы», изд. подъ редакціею А. Н. Пыпина и 1-й томъ соч. Л. Мея отправлены подписчикамъ, вслѣдъ за янв. книжкой Русскаго Слова.

ГЛУХОЙ ГОРОДОКЪ.

(М. М. С.)

I.

Жилъ былъ въ городкѣ Н. городничій Эрастъ Антиповичъ Малимоновъ, человѣкъ сѣдоусый, чернобровый, коротко волосы стригъ, славно одѣвался; говорилъ про себя, что онъ роду почтеннаго и что сердце у него доброе; называлъ деньги благомъ земнымъ, просителей—приносителями, вишневку—утѣхою, а жену свою—помѣхою; всегда почти былъ веселъ, шутливъ, говорливъ въ гостяхъ и дома не бывалъ буенъ; любилъ у себя гостей принимать и самъ любилъ въ гостяхъ бывать, сердился онъ часто да не надолго: «я въ батюшку покойнаго» говаривалъ Эрастъ Антиповичъ «у меня сердце отходчивое, и ни крошки я не злопамятенъ.»

Жена у Эраста Антиповича была очень полная женщина и все разсказывала, какъ она худа была назадъ тому два года — даже годъ. Она читала всякія книги, а еще больше любила сидѣть съ книгой въ рукахъ подъ окномъ и глядѣть на улицу. Она любила наряжаться, любила милыхъ людей и отъ нихъ вниманіе. «Конечно—говаривала она—конечно, отъ всякаго вниманіе пріятно, но отъ милаго, душевнаго

человѣка вдвое,—отъ милаго, душевнаго человѣка самая малость меня трогаетъ.» Она была хозяйка радушная и любезная: угощала, подчивала, расказывала, что она дѣлаетъ и чего не дѣлаетъ, что съ ней случилось и чего не случалось, что ей по сердцу и что не по сердцу; она щурила глаза и улыбалась; опускала глаза и вздыхала. Сколько ей лѣтъ она никогда не говорила, а еслибы захотѣла сказать, такъ сказала бы, что ей подъ сорокъ. Она бѣднымъ подавала, а богатыхъ чествовала; пригорюнивалась, когда рѣчь заходила о строгомъ отцѣ или о строгой матери, о приневоленной невѣстѣ, хотя ее самую ни отецъ, ни мать не неволили, и замужъ она пошла за Эраста Антиповича по своей охотѣ, безъ слезъ. Пригорюнивалась она тоже, когда рѣчь заходила о лихомъ мужѣ, о несчастной женѣ, хотя ея мужъ лихъ не былъ, а она почивала крѣпко, кушала въ сласть—гдѣ жъ подобье несчастной женѣ? Но она все-таки къ несчастной женѣ себя приравнивала. Нѣтъ, нѣтъ, да и скажетъ мужу:

— Зачѣмъ я за тебя замужъ шла? Лучше бы я не ходила за тебя замужъ!

— Твоя воля была, Павла Андреевна, отвѣтитъ Эрастъ Антиповичъ.

— Лучше бы я за другаго пошла! сѣтуетъ Павла Андреевна.

— Пора бы тебѣ ужъ это изъ головы выбросить, Павла Андреевна!

— Что такое пора? Я, слава Богу, еще не столѣтняя кажется, вамъ на зло я не старѣюсь! Кто меня ни увидитъ, всѣ мнѣ удивляются: какъ вы молодѣете, какъ вы молодѣете, Павла Андреевна! такъ и ахаютъ всѣ!

— Ты не вѣрь никому.

— Вамъ, конечно, никогда не повѣрю, Эрастъ Антиповичъ, и всегда буду думать до самаго гроба, отчего я не пошла за кого нибудь получше васъ!

Если Эрастъ Антиповичъ вспыхнетъ и отвѣтитъ на это: лучшіе-то и взяли себѣ лучшихъ, а я тебя!—то Павла Андреевна заплачетъ и станетъ причитать; у Эраста Антиповича сердце отойдетъ—онъ и начнетъ уговаривать и увѣрять, что пошутилъ и кается, что шутка его глупая; но Пав-

ла Андреевна долго, долго плачетъ, а если Эрастъ Антиповичъ стерпитъ и ничего не отвѣтитъ, а начнетъ ходить по гостиной да насвистывать пѣсенку, ходитъ, ходитъ, насвистываетъ, насвистываетъ, остановится у двери, оглядываетъ дверь и вдругъ войдетъ въ залъ; въ залѣ походитъ, посвищетъ, тоже остановится около двери, тоже ее оглянетъ и вдругъ войдетъ въ свой кабинетъ, притворитъ за собою двери и тамъ притаится. Павла Андреевна повздыхаетъ, повздыхаетъ и займется чѣмъ нибудь инымъ, и все кончится тихо и благополучно.

У Малимоновыхъ домъ былъ новый, свѣтлый. Стѣны бѣлыя, а ковры на полу съ яркими цвѣтами. Изъ оконъ на улицу видны были городскіе домики да колокольня! четыре окна были на улицу, а шесть оконъ въ садъ; въ саду пестрѣли всякіе цвѣты, зеленѣли раскидистыя яблони, груши, липы, тополи; и калина росла тамъ, и бузина, и сирень, и акаціи, и глогъ, и черемуха, вишни, черешни, шелковица; садъ былъ большой, густой, въ саду была и пасека; къ пасекѣ вела отъ дома дорожка, посыпанная пескомъ, гладкая, убитая, и еще были двѣ такихъ: дорожка влѣво одна, другая на право, за то тропинокъ много вилось, скрещивалось и перекрещивалось по саду.

Павла Андреевна всегда ходила по гладкимъ дорожкамъ; Эрастъ Антиповичъ тоже; казакъ садовникъ больше лежалъ чѣмъ ходилъ. Кто жъ проложилъ тропиночекъ столько? У Малимоновыхъ жила ихъ дальняя родня, молодая дѣвушка Настя.

Настина мать доводилась Павлѣ Андреевнѣ двоюродной сестрой; когда-то онѣ долго жили вмѣстѣ, были подругами, потомъ разъѣхались въ разныя стороны и долго не видались. Павла Андреевна слышала, что двоюродная сестра вышла замужъ за богатаго и хорошаго человѣка и что живетъ счастливо, и вдругъ Павла Андреевна получаетъ отъ нея письмо—предсмертное письмо; она писала, что раззорилась въ концъ, что у ней дѣти померли, мужъ умеръ, и что сама она при смерти, и просила Павлу Андреевну по старой дружбѣ взять къ себѣ ея дочку Настю, а съ Настей ея свояченицу, мужнину сестру, вѣрнаго и неизмѣннаго ея друга. Она про-

сила взять ихъ на время, пока кончится тяжба у свояченицы за хуторокъ. Выиграютъ тяжбу, писала она, Настя съ свояченицей переселятся въ этотъ хуторокъ на житье.

Когда это письмо пришло къ Павлѣ Андреевнѣ, ея двоюродная сестра уже умерла и была похоронена. Павла Андреевна очень огорчилась ея смертью; со слезами стала разсказывать мужу о покойницѣ; извѣстно, какъ только человѣкъ въ землѣ, такъ всѣ его добродѣтели припомнятся:—мужъ слушалъ и жалѣлъ, и утѣшалъ ее тѣмъ, что это воля Божья.

Сейчасъ же послали лошадей за Настей и за Лизаветой Сергѣевной; покойницыну свояченицу звали Лизаветой Сергѣевной.

Онѣ пріѣхали черезъ три недѣли. Встрѣтили ихъ ласково, радушно.

Эрастъ Антиповичъ потиралъ руки, разспрашивалъ о дорогѣ и говорилъ, что всякое горе проходитъ. Павла Андреевна вздыхала, подчивала чаемъ, вспоминала покойницу, прошлое время и утирала слезы; брала Настю на колѣни и спрашивала у ней, что она больше всего любитъ.

Лизавета Сергѣевна была кроткая, но нелюдимая, невеселая и не словоохотливая дѣвушка. Глаза у ней были черные, большіе, погасшіе и тихіе; лицо безъ кровинки—блѣдно и прозрачно точно восковое; улыбалась она хорошо, ласково и добро. Ходила она вся въ черномъ и строго постилась, подолгу молилась; ухаживала за Настей, учила ее, берегла.

Настя помнила, что когда были въ живыхъ отецъ и мать, сестры и братья, жили они въ деревнѣ, въ большомъ, каменномъ домѣ. Какой этотъ домъ былъ уютный и славный! Мать и отецъ были не строгіе; братья и сестры шалуны, тетенька Лизавета Сергѣевна была веселая. Тогда она игрывала съ ними, дѣтьми, въ жмурки, въ горѣлки; учила ихъ, нетерпѣливо топала ножками; тогда съ нея писали портретъ въ розовомъ платьѣ, съ розаномъ въ волосахъ; тогда она носила на рукѣ золотое кольцо, ждала гостей, была такая румяная. Потомъ всѣ въ домѣ померли; деревню продали. Все это случилось не вдругъ, а понемногу. Настя помнила, какъ стоялъ въ домѣ первый гробикъ, потомъ другой гробикъ, и какъ послѣ тише стало въ домѣ. Отецъ ужъ не игралъ на скрипкѣ *горлицу*, а игралъ

чумака; мать тихо разговаривала съ теткой; два брата не могли вдвоемъ поднять такого шума, какой поднимался у нихъ вчетверомъ. Потомъ въ домѣ гробикъ еще; потомъ большой гробъ, за нимъ опять маленькій, а за маленькимъ опять большой. Все утихло въ домѣ; просторнѣй, пустѣй и холоднѣй стало. Осталась Настя одна съ теткой и прожила съ ней пять недѣль. Настя точно другаго человѣка увидала тогда. Тетка ее учила и не сердилась за шалости, только останавливала; золотое свое кольцо она или спрятала, или потеряла; она укладывала Настю въ кроватку, цѣловала ей ручки и ножки, но ни разу не пощекотала ее какъ бывало прежде, не смѣялась, не представляла буку и не сказывала сказку про волка,—она стала ровна и тиха, терпѣлива и печальна. Настя на нее глядѣла и ей шалости на умъ не шли.

Черезъ пять недѣль онѣ переѣхали на житье къ Малимоновымъ. Когда обжились вмѣстѣ, оглядѣлись, Павла Андреевна недовольна стала: Лизавета Сергѣевна была черезъчуръ ужъ нелюдима, тиха, скрытна, а Настя черезъ-чуръ своенравна, смѣла, рѣзва и вспыльчива.

— Что жъ это такое? говорила Павла Андреевна мужу о Лизаветѣ Сергѣевнѣ — никогда она со мной не поговоритъ откровенно; даже погулять вмѣстѣ по саду ни разу не пожелала; даже ни разу не пришла, не посидѣла со мной хотя часочекъ—все въ своей комнатѣ или Богу молится, или возится съ Настей, что же это мнѣ за жизнь съ ней?

— Да жила жъ ты безъ ея разговоровъ и безъ нея,— ну и теперь...

— Ты вѣчно съ совѣтами! Я не могу переносить...

— А Настя что? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Это ужасная дѣвочка! Она совсѣмъ, совсѣмъ меня не слушается! Настя, не гляди въ окно! Она глядитъ. Настя, побѣгай! Она не бѣгаетъ. Настя, кушай! Не ѣстъ; а скажешь: не ѣшь! она такъ и проглотитъ. Вчера, напримѣръ, какъ она меня разстроила: слышу я что-то пищитъ гдѣ-то; неужели у меня мыши въ гостиной? Я слушаю, слушаю... Пищитъ. Я кошку велѣла принесть, безпокоюсь, наблюдаю... Наконецъ я разобрала съ какой стороны пискъ—тамъ Настя сидитъ; глянула я на нее—такое у ней лукавство на личикѣ,

глазки такъ и бѣгаютъ.—Чего ты здѣсь сидишь все, Настя? Иди, кошкѣ не мѣшай. Она въ другой уголокъ перешла и вдругъ оттуда пискъ-пискъ... Такъ это ты? Шалунья ты, говорю, какъ не стыдно тебѣ, не совѣстно! Она съежилась такого изъ себя мышеночка представила,—знаешь, какая она хорошенькая, зубки какіе, глазки какіе—и смѣется, и жмурится, и я какъ дура разсмѣялась... Однако подхожу къ ней и серьезно говорю: Настя! Она легла, прижалась къ дивану. Встань! не встаетъ. Я хотѣла поднять—такъ она и впилась въ диванъ—не могу поднять! Вставай, глупая дѣвочка, приказываю тебѣ! Еще пуще впивается въ диванъ. Вставай сейчасъ! Не встану! отвѣчаетъ, а глазёнки какъ уголья, сама такъ вся и распушилась отъ сердца.. Я на нее гляжу и она на меня глядитъ, прямо, прямо на меня глядитъ, хоть бы моргнула! Ахъ, какая дерзкая дѣвочка... и убѣжала!

Эрастъ Антиповичъ молчалъ, глядѣлъ внизъ и украдкой усмѣхнулся раза два.

— Что жъ ты молчишь? спросила Павла Андреевна. Какъ тебѣ это покажется?

— Ребенокъ еще, проговорилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Такъ я и знала! Такъ я и знала! Ты пристрастился къ этой дѣвочкѣ! Ты ее балуешь. Пожалуйста, не отговаривайся.

Эрастъ Антиповичъ не отговаривался и скрылся въ своемъ кабинетѣ.

Павла Андреевна обижалась на Лизавету Сергѣевну и сердилась на Настю.

Разъ утромъ Павла Андреевна вошла къ Лизаветѣ Сергѣевнѣ, спросила—какъ ваше здоровье? сѣла и поглядѣла кругомъ.

Комната была чистая, свѣтлая, но не веселая: въ углу узенькая кровать, надъ кроватью большое распятіе, два стула плетеныхъ, комодъ, большой столъ передъ окномъ, а на столѣ книги въ черныхъ переплетахъ и начатая работа—полотняная рубашка.

Павла Андреевна подвинулась поближе къ окну; окно было въ садъ—тамъ зеленѣло, пестрѣло, шумѣло, шелестило,

пахло травами, цвѣтами, ягодами; слышно было чириканье и щебетанье птичье и Настинъ голосокъ.

— А гдѣ жъ красное кресло дѣлось? спросила Павла Андреевна.

— Я его вынесла, оно мнѣ лишнее было, отвѣчала Лизавета Сергѣевна.

— А зеркало у васъ... разбилось?

— Нѣтъ, мнѣ его не надо.

Павла Андреевна поглядѣла на нее во всѣ глаза.

— Неужели вы всегда такъ жили? спросила она, и всегда вы такъ жить будете?

— Мнѣ такъ хорошо, отвѣчала ей Лизавета Сергѣевна.

— Вы очень нелюдимы, Лизавета Сергѣевна, сказала Павла Андреевна. Мнѣ это обидно и грустно... въ моемъ домѣ, вы меня за что-то не любите. Какъ можно! этакая скрытность, этакая нелюдимость! Весело развѣ? Какъ вы нелюдимы! Вѣдь я правду говорю, что вы нелюдимы?

— Да, я нелюдима, отвѣчала Лизавета Сергѣевна.

— Вы бросьте это, пожалуйста. Вамъ надо совсѣмъ перемѣниться. Перемѣнитесь, милая Лизавета Сергѣевна!

— Я перемѣниться не могу, отвѣчала Лизавета Сергѣевна тихо и кротко, такъ отвѣчала, что и Павла Андреевна понизила голосъ и повторила: не можете!

— Не могу.

Павла Андреевна хотѣла сказать ей—попробуйте! а сказалось: вы не тоскуйте!

Лизавета Сергѣевна отвѣтила: Богъ мнѣ поможетъ.

— Не обезпокоила ли я васъ? спросила Павла Андреевна.

— Нѣтъ.

— Нравится ли вамъ эта комната, Лизавета Сергѣевна?

— Нравится.

— А у Насти хорошо?

— Хорошо, посмотрите.

Лизавета Сергѣевна встала и растворила дверь въ другую комнатку съ бѣленькой, мягкой постелькой, съ розовыми занавѣсками на окнахъ, съ яркимъ ковромъ на полу. На столѣ сложены были книжки, тетрадки, стояла картонная башня, кошка съ стеклянными глазами и саночки; передъ са-

мымъ окномъ росла бѣлая акація; сквозь ея гибкія вѣтки солнце такъ и било въ комнатку; залетѣвшая пчелка жужжала на окнѣ; на подоконникъ то и дѣло вспархивала какая-то сѣренькая птичка съ темными глазками—вспорхнетъ, чирикнетъ и улетитъ, и опять вспорхнетъ.

— Какая смѣлая птичка! сказала Павла Андреевна.

— Настя ее пріучила, отвѣтила Лизавета Сергѣевна.

— Страшная рѣзвушка Настя! сказала Павла Андреевна.

— Да, отвѣчала Лизавета Сергѣевна и вздохнула.

Павла Андреевна хотѣла что-то еще сказать о Настѣ, но поглядѣла на Лизавету Сергѣевну и ничего больше о Настѣ не сказала.

— Извините, что обезпокоила васъ, Лизавета Сергѣевна, проговорила она еще разъ. Еще разъ спросила, не надобно ли чего и очень смирно простилась и ушла.

— Никогда больше я къ ней не пойду, развѣ заболѣетъ она, сохрани Боже, говорила Павла Андреевна мужу. Вообрази—кресло, коверъ, зеркало, картины — все изъ своей комнаты она повыкидала—точно келья теперь. Черныя книги... Сидитъ, шьетъ сама рубашку. Сердце такъ у меня заныло. Такъ вотъ и чудится, поютъ «со святыми упокой». Страшно, ужасъ! И жалко ее. Жалко было даже о Настѣ поговорить; еще огорчится, такъ я ничего о Настѣ и не сказала. Да правда, я и сама могу распорядиться съ Настей... могу и сама наказать.

Но когда она хотѣла Настю наказать, поставить въ уголъ, у Насти покатились слёзы и она закричала, что ее обидѣли, что ее обижать никто не смѣетъ. Павла Андреевна не рада была, что ее затронула — стала ее ласкать, надѣлять конфектами. Настя всѣ ласки оттолкнула и разбросала всѣ конфекты; ее не могла ничѣмъ успокоить и Лизавета Сергѣевна—она и уснула въ слезахъ.

Думала Павла Андреевна, что на другой день Настя укромится и попроситъ у ней прощенья, но Настя прощенья у ней не попросила и отъ нея бѣгала, и какъ-то такъ случилось, что Павла Андреевна первая ее приласкала и купила еще ей куклу.

— Кто это меня сбилъ? говорила Павла Андреевна, зачѣмъ, за что я ей куклу купила?

— И хорошо сдѣлала, сказалъ Эрастъ Антиповичъ—ребенокъ.

— Ахъ, пожалуйста! Ты то вѣрно и сбилъ меня съ толку! Вѣчно жужжишь, жужжишь, жужжишь надъ ухомъ... Она ничего не чувствуетъ... Просто злая дѣвочка!

Павла Андреевна надѣялась, что съ лѣтами Настя станетъ покорнѣй, уступчивѣй и разсудительнѣй; годы шли,—и ничуть не бывало, Настя осталась такою же, какою и была: ничѣмъ ее не укротишь, никакъ съ ней не сладишь—упрямица, спорщица. Правда, съ Лизаветой Сергѣевной она никогда не спорила и слушала ее тихо, не убѣгала. Позоветъ ее Лизавета Сергѣевна, посадитъ подлѣ себя, обниметъ и станетъ увѣщать; Настя сидитъ, слушаетъ, слушаетъ все, а когда рѣчь кончена, она хоть не скажетъ по прежнему,—а я таки буду! да личико ея за нее скажетъ. Но если Лизавета Сергѣевна очень огорчалась, Настя становилась передъ ней на колѣни, цѣловала у ней руки, просила приказанiй себѣ и всѣ приказанія быстро и покорно исполняла.

Досаднѣй всего было Павлѣ Андреевнѣ, что Настю всѣ любили, всѣ ласкали, все ей прощали; что Настя всѣми вертѣла, какъ ей угодно было. Бывало, просятъ ее спѣть что нибудь, какую нибудь пѣсенку—голосъ у ней славный былъ, такой нѣжный и звучный—и какъ найдетъ на Настю, то сейчасъ она послушается, запоетъ, а то нѣтъ. «Не поется» и словно воды въ ротъ набрала, ужъ тогда ничѣмъ ее не заставишь. Это было досадно. И сколько разъ ей обѣщаютъ: «не будемъ тебя просить никогда». Только она подастъ голосокъ—помину нѣтъ о досадѣ и опять просятъ: спой, Настя, спой!

У Эраста Антиповича Настя была любимицей, а за что? Настя ему ни въ чемъ не угождала, Настя не ласкалась къ нему, Настя съ нимъ спорила и ему противорѣчила.

— Молчи, Настя! Я лучше тебя это знаю! говорилъ Эрастъ Антиповичъ строго.

— Вы по своему знаете, а я по своему знаю! отвѣчаетъ Настя.

— Молчи, Настя! Сказано разъ молчи, ну и молчи.

Тутъ то Настя и пойдетъ говорить... Эрастъ Антиповичъ разсердится очень,—глядь, самъ же къ Настѣ подходитъ и миру проситъ: «помиримся, Настя!»

Садовникъ, изъ казаковъ, старый, важный и мрачный, не любилъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ, а особенно не любилъ панночекъ: «что оно такое? Павы не павы, сороки не сороки!» говорилъ садовникъ, «медъ ѣдятъ, цвѣты вырываютъ да наряжаются, на что оно? Палецъ о палецъ не ударятъ!..» Прибѣжитъ Настя въ садъ—онъ недоволенъ: «влетѣла какъ московская бомба, рой прогнала, вѣтки обломала,—ей-Богу пойдти надо пожаловаться!» Онъ шелъ и больше половины дороги не доходилъ; замѣтитъ въ сторонѣ что нибудь—ворону или сухую вѣточку и къ нимъ придерется, къ воронѣ или къ сухой вѣткѣ. А кому онъ берегъ яблоки съ своей любимой яблони? кому берегъ медъ въ уголку шалаша, въ маленькой мисочкѣ?—Настѣ.

Кухарка Марина все ворчала на Настю: «экое наказанье! Ну, зачѣмъ панночкѣ въ кухню забѣгать? Это не панночка, а дикая птица—бѣда общая!» А кому Марина всегда пирожокъ пекла? На кого Марина хотѣла поглядѣть, когда лежала больна и вспомнила свою сторону?

Горничная дѣвушка Хима часто жаловалась, что панночка неугомонна очень, а когда у Химы братъ умеръ, къ кому первому она пришла и сказала: «у меня братъ умеръ!»

А горничная дѣвочка Ганна, для кого утирала слезы свои и начинала веселую сказку про глупую ворону разсказывать?

А сама Павла Андреевна, какъ ни сердита, отчего не можетъ сурово Настинаго ласковаго взгляда встрѣтить? Какъ ни крѣпится, ни хмурится, а губы такъ и раздвигаются и сердце теплѣетъ. Чаровница эта Настя, сущая чаровница!

Годы шли за годами. Хуторокъ Лизавета Сергѣевна не выиграла, онъ перешелъ въ другія руки; онѣ съ Настей жили у Малимоновыхъ и ужъ сбираться было отъ Малимоновыхъ некуда.

Настѣ сравнялось шестнадцать лѣтъ. Была она живая, рѣзвая хохотунья, темноглазая, стройная, свѣжая дѣвушка.

Въ это время умерла Лизавета Сергѣевна. Умерла она вдругъ, неожиданно: сидѣла, работала, слушала, какъ Настя около нея то пѣла, то говорила, слушала—вдругъ охнула и скатилась со стула на полъ. Настя кинулась къ ней, закричала,—всѣ сбѣжались, а ужъ она мертвая. Неутѣшна была Настя, и долго, долго неутѣшна. Ухаживали за ней, уговаривали ее—ничѣмъ нельзя было ее уговорить и ничто ее не утѣшило, кромѣ времени. И всегда какъ вспомнитъ любимую тётку, большіе, темные ея глаза полнымъ-полны слезъ и яркій румянецъ сбѣжитъ съ лица.

II.

У Малимоновыхъ часто гости бывали и самые разнородные гости: бѣдные, богатые, степняки, горожане, хуторяне—всякіе.

О Настѣ слава расходилась; молодежъ стала съѣзжаться поглядѣть на ея красоту. Пріѣхали разъ—потянуло въ другой разъ, и повадились часто ѣздить. За Настю ужъ много жениховъ сваталось. Она подумаетъ, подумаетъ и покачаетъ головкой: «нѣтъ, не пойду». Женихи присмирѣли, пріуныли; ѣздили, глядѣли на Настю, а говорить ничего не говорили—боялись отказу.

Эрастъ Антиповичъ не только не торопилъ Настю, а еще радъ былъ, что она не хочетъ замужъ идти. «Скучно безъ Насти будетъ», говорилъ онъ.

Павла Андреевна съ нимъ спорила, но затѣмъ, чтобы ему доказать, что она больше его смыслитъ; у самой у нея сердце замирало при мысли съ Настей разстаться.

Часто сталъ ѣздить въ гости къ Малимоновымъ Данило Самойловичъ Копыта. Онъ былъ богатый человѣкъ; имѣнія у него были такія, что кто изъ помѣщиковъ мимо проѣдетъ—всякій вздохнетъ. Одинокій былъ, ужъ не молодой, изъ себя

не хорошъ больно: высокій, словно шестъ, сухощавый, ротъ у него щучій, носъ ястребиный, а глаза совиные.

Данило Самойловичъ въ первый разъ пріѣхалъ къ Эрасту Антиповичу по дѣлу, увидалъ Павлу Андреевну и Настю, познакомился и сталъ у нихъ бывать въ гостяхъ. Данило Самойловичъ всегда Павлѣ Андреевнѣ ручку цѣловалъ, привозилъ ей цвѣты, присылалъ персики, сидѣлъ около нея и говорилъ съ ней подолгу. Павла Андреевна нахвалиться имъ не могла, что за милый, за отличный человѣкъ. Придетъ Данило Самойловичъ—она заведетъ нескончаемыя рѣчи на распѣвъ. Эрастъ Антиповичъ тоже бывалъ доволенъ посѣщеніемъ богача, говорилъ съ нимъ почтительно, кланялся ему низко. Настя не очень жаловала Данила Самойловича—поклонится ему да наровитъ отъ него уйдти. А Данило Самойловичъ какъ Настю увидитъ, такъ его глаза сверкнутъ и закроются на мгновенье. Говорилъ онъ съ Настей очень мало и рѣдко; говорилъ съ ней неровнымъ голосомъ и лицо у него тогда какъ-то темнѣло и угрюмѣло.

Разъ, Данило Самойловичъ очень долго сидѣлъ, разговаривалъ съ Павлой Андреевной и очень ее растрогалъ. Онъ ей говорилъ «что одинокому жить тошно, что хотѣлъ бы онъ жениться, да боится, что не пойдутъ за него — онъ и старъ, и уродливъ, горькая его доля! Умретъ онъ — глазъ некому закрыть!»

— Ахъ, что вы! Что вы! вскрикивала Павла Андреевна. Ахъ, не отчаявайтесь! Ахъ женитесь!

— Гдѣ ужъ мнѣ горемычному! пѣлъ лазаря Данило Самойловичъ. Гдѣ мнѣ! Я самъ себѣ невѣсты не съищу и ни отъ чьихъ рукъ не приму—вотъ развѣ изъ вашихъ.

— Неужели?

— Пусть Богъ меня накажетъ! Я васъ чту, Павла Андреевна!

— Ахъ, право, мнѣ совѣстно, Данило Самойловичъ! За что же?

— За все, за все, Павла Андреевна. Вы у насъ самая умная, а кто добрѣе васъ?

Павла Андреевна вздохнула и вѣрно никого добрѣе не нашла, потому что не отвѣтила.

— Гдѣ же мнѣ вамъ невѣсту отыскать? спросила она съ улыбкой.

— Поближе поищите, Павла Андреевна, поближе, отвѣтилъ ей Данило Самойловичъ; онъ понизилъ голосъ.

Павла Андреевна на него поглядѣла, словно еще спросила: гдѣ же?

— Поближе поищите, повторилъ Данило Самойловичъ.

Она задумалась, а онъ на нее глядѣлъ своими совиными глазами и губы у него немножко дрожали. Павла Андреевна подумала, подумала, откашлялась и громко на распѣвъ покликала Настю.

Настя вбѣжала.

— Настя, посмотри, какіе цвѣты прекрасные привезъ мнѣ Данило Самойловичъ. Ахъ, какъ пахнутъ! Какъ хороши! Все вѣдь въ природѣ прелестно! Сядь, Настя, посиди съ нами. Куда же вы, Данило Самойловичъ? спросила она въ удивленьи.

Данило Самойловичъ стоялъ съ шапкой въ рукахъ и низко ей кланялся; онъ весь въ лицѣ вдругъ перемѣнился какъ больной.

— Что съ вами? Что съ вами? Вы нездоровы? спрашивала Павла Андреевна.

Онъ отвѣтилъ, что нездоровъ, поцѣловалъ у ней руку, поклонился и ушелъ.

— Какой добрый человѣкъ! проговорила Павла Андреевна.

— Недобрый онъ человѣкъ! сказала Настя.

— Какъ можно осуждать людей, Настенька! Ты всегда осуждаешь! Почемъ ты знаешь, что онъ недобрый?

— А вы почемъ знаете, что онъ добрый?

— Я почему знаю? Да по всему.

— И я по всему.

— Ахъ, полно, Настя, полно! я бы желала чтобы онъ женился, Настенька.

— А я бы не желала.

— Отчего, Настенька?

— Онъ уморитъ жену бѣдную.

— Какія выдумки! Умная дѣвушка...

— Умная дѣвушка за него не пойдетъ.

— Отчего же не пойдти, мой дружокъ?

Настя запѣла!

А у тебе старый дiду
Колючая борода,
Совиные очи
Погани до ночи.

— Ахъ, стыдно, Настя, стыдно!

А Настя смѣялась, пѣла и говорила, что вовсе не стыдно.

— Бѣдный человѣкъ! Такой добрый человѣкъ!

А Настя смѣялась и спорила, что не бѣдный и не добрый.

— Стыдно, Настя, клеветать! Говорю тебѣ, онъ добрый и несчастный, одинокiй человѣкъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ нехорошiй, негодный! вскрикнула Настя. Къ нему сестра приходила—плакала, уходила отъ него—плакала, онъ ей никогда не помогъ... она умерла... на него сосѣди всѣ жалуются. Сколько людей онъ засудилъ! Сколько людей онъ обидѣлъ! У него середь зимы льду не выпросишь... Скупой, жадный, злой... Я его знать не хочу! Я ему и кланяться не буду!

Настя перевела духъ, посверкала глазами, вскрикнула еще разъ: злой, нехорошiй, знать его не хочу! не хочу! и выбѣжала, не слушая, какъ Павла Андреевна ей кричала: полно, полно, погоди! постой!

Прошло три дня и въ три дня ни разу не удалось Павлѣ съ Настей поговорить опять о Данилѣ Самойловичѣ. Какъ только она поминала его—Настя начинала пѣть ту нехорошую пѣсню или быстро исчезала. Не успѣетъ Павла Андреевна протянуть: отличный человѣкъ! — ужъ Насти и нѣтъ въ комнатѣ.

— Что это ты все хвалишь его? спросилъ Эрастъ Антиповичъ. Точно впервые увидала его.

— Ну, не учи меня пожалуйста. Я его всегда буду хвалить, всегда.

— Хвали, Павла Андреевна.

Въ эти три дня Данило Самойловичъ не былъ у нихъ.

На четвертый день ввечеру онъ пришелъ, спросилъ о здоровьи и ни о чемъ больше не спрашивалъ. Онъ былъ очень блѣденъ, глядѣлъ все внизъ. Павла Андреевна вздыхала, обмахивалась платкомъ и глядѣла все вверхъ. Они сидѣли вдвоемъ въ гостиной, за чайнымъ столомъ. Эраста Антиповича не было дома. Настя не показывалась. Сидѣли и помалчивали.

Данило Самойловичъ досталъ изъ кармана коробочку, подержалъ и поблѣднѣлъ; подалъ эту коробочку Павлѣ Андреевнѣ и просилъ принять отъ него въ подарокъ. Павла Андреевна покраснѣла.

— Ахъ, зачѣмъ вы! на что? Ахъ, Данило Самойловичъ!

Она открыла коробочку и вскрикнула: ахъ, точно мои! мои потерянныя!

— Я зналъ, что вы по нихъ скучаете... я старался—проговорилъ Данило Самойловичъ.

Въ коробочкѣ были серьги съ дорогими каменьями.

— Какъ же это вы? Гдѣ купили? Гдѣ достали?

— Я выписалъ изъ Варшавы, Павла Андреевна.

Павла Андреевна стала его благодарить,—у ней даже слезы блестѣли на глазахъ. Потомъ она принялась любоваться серьгами и говорила:

— Ужъ какъ я по нихъ горевала; сколько плакала, какъ потеряла! это была мнѣ память отъ матери, и вдругъ я ихъ потеряла. Я просто несчастья ждала какого нибудь послѣ этого. Точно они! точно они! точно ихъ вижу!

Налюбовавшись, Павла Андреевна стала чай наливать и стала разсказывать, какъ она свои серьги потеряла.

— Были мы у Анны Егоровны въ гостяхъ и пошли купаться. Я серьги сняла и спрятала въ карманъ да и забыла. Какъ я забыть могла—до сихъ поръ не постигну! И потеряла. Никакъ не могли найдти послѣ. Двѣсти душъ искали—не нашли!

Павла Андреевна опять взяла коробочку въ руки и опять полюбовалась серьгами.

Данило Самойловичъ улыбнулся; улыбаясь, поблѣднѣлъ еще больше и спросилъ Павлу Андреевну или она забыла, что обѣщала? Невѣсту-то ему найдти!..

— Нѣтъ, Данило Самойловичъ, нѣтъ! Я отыщу вамъ. Слава Богу, невѣстъ-то у насъ и не перечтешь.

Оба замолчали и посидѣли молча.

Вдругъ Данило Самойловичъ придвинулся близко къ Павлѣ Андреевнѣ. Глаза у него горѣли, лицо стало еще блѣдѣй и худыя его руки такъ и впились въ мягкія ручки Павлы Андреевны и больно ихъ жали. Данило Самойловичъ признался, что любитъ Настю и просилъ Павлу Андреевну помочь ему.

— Я рада, рада, отвѣчала Павла Андреевна, но Настя упрямая такая... слажу ли я съ ней, Данило Самойловичъ?

— Умная женщина все можетъ, Павла Андреевна! проговорилъ Данило Самойловичъ.

— Конечно, Данило Самойловичъ. Но почему вы Настю именно выбрали? Знаете ли, что я бы желала для васъ жену...

— Ее одну мнѣ надо! проговорилъ Данило Самойловичъ, а если не—она, онъ перевелъ духъ и договорилъ:—иной не надо никакой!

— Да вѣдь она очень упряма, очень своевольна, Данило Самойловичъ. Я вамъ все скажу—она вспыльчива и дерзка!

— Да, я знаю! Да, я знаю! Мнѣ ее надо! своевольную, дерзкую мнѣ надо!

— Ахъ, я, право, васъ не узнаю, Данило Самойловичъ!

— Данило Самойловичъ повторялъ: ее мнѣ одну надо! ее одну!

— Ахъ, право, какъ странно! говорила Павла Андреевна. Она была встревожена.

Данило Самойловичъ отошелъ, постоялъ у окна и воротился за чайный столъ съ покойнымъ лицомъ, со всегдашнею своею медовою улыбкой. Они стали тихо разговаривать съ Павлой Андреевной и видно, что разговаривали о важныхъ дѣлахъ; Данило Самойловичъ оглядывался, прислушивался, Павла Андреевна разводила руками, пригорюнивалась, вздыхала, усмѣхалась и качала, и кивала головою.

Съ этихъ поръ у Павлы Андреевны только и разговору съ Настей что о женихахъ, о невѣстахъ, о свадьбахъ.

— Ты, Настя, не засидишься въ дѣвушкахъ, говорила

Павла Андреевна. Сколько у тебя жениховъ-то! И будетъ еще больше, и будутъ женихи еще лучше—не такіе какъ теперь!

— А чѣмъ же теперешніе не хороши? спросила Настя.

— Какъ, Настя, развѣ тебѣ нравятся? Неужели? Кто же?

— Всѣ—одни больше, другіе меньше.

— Отчего жъ ты замужъ не идешь? Тебѣ жалко насъ, Насточка? А вотъ я тебѣ найду такого жениха...

— Нѣтъ, нѣтъ! За кого я захочу выдти замужъ, для того я никого не пожалѣю—разстанусь.

— И насъ не пожалѣешь? Неужто, Настя?

— Не пожалѣю.

— Спасибо, Настя, спасибо! это ты за нашу любовь къ тебѣ... за мою любовь... Ахъ, ахъ!..

Павла Андреевна огорчилась и не могла дальше рѣчей вести. Какъ ни начнетъ—все одна и таже мысль въ головѣ, одни и тѣ же слова съ языка срываются: и насъ не пожалѣешь? Неужто?

— Не вѣрь ей, успокоивалъ Эрастъ Антиповичъ, она насъ пожалѣетъ.

— Ахъ, отъ нея все станется! отвѣчала ему Павла Андреевна со стономъ.

Однако дѣло надо было вести впередъ.

— Настя, любишь ты богатство? спросила Павла Андреевна.

— Какое богатство?

— Всякое. Чтобы имѣнія, лѣса, поля, зеркала, бархатныя платья, жемчуги, алмазы, изумруды, кареты, кучера, повара, золото, серебро... все было, все на свѣтѣ! Любишь Настя?

— Ой-ой! проговорила Настя и призадумалась. Хотѣла бы я на все это поглядѣть! сказала она.

— А еслибы тебѣ все это дали? Все тебѣ?

— Кто жъ бы мнѣ далъ?

— Женихъ бы такой нашелся... богачъ, добрый, чудесный... Ты бы вдругъ надѣла платье роскошное, драгоцѣнные камни, домъ бы у тебя такой, цвѣты такіе, гости, веселья... все, что ты захочешь! Тебѣ бы завидовали, кла-

нялись бы всѣ тебѣ... а? Настя? За такого жениха можно выйдти замужъ зажмуривши глаза! Правда?

— Нѣтъ, зажмуривши глаза нельзя.

— Право можно! Отчего же?

— Каковъ онъ, надо посмотрѣть прежде. Какова жизнь съ нимъ будетъ.

— Что жъ, жизнь чудесная! Вольная, богатая, хочешь— добро дѣлай, хочешь—зло, все можешь! А онъ... онъ тоже хорошій человѣкъ. Вотъ, напримѣръ, еслибъ такой, какъ Данило Самойловичъ... Ахъ, Данило Самойловичъ по моему лучше и добрѣй всѣхъ на свѣтѣ! Онъ бы тебя, Настя, нѣжилъ, онъ бы тебя, Настя, во всемъ слушался, утѣшалъ бы тебя; всякими бы роскошами тебя обсыпалъ...

— Кто это роскошами обсыпалъ кого? спросилъ Эрастъ Антиповичъ, самъ подошелъ къ зеркалу и сталъ передъ зеркаломъ прихорашиваться.

— Кто бы ни былъ! отвѣчала съ досадой Павла Андреевна. Развѣ это не хорошо въ роскоши жить?

— Богъ съ тобою! какъ не хорошо? Очень, очень, очень хорошо!

Эрастъ Антиповичъ сѣлъ въ кресло, зѣвнулъ, вздохнулъ, подперся рукою, подумалъ; потомъ поглядѣлъ кругомъ и сказалъ:

— Настя, спой пѣсенку. Что ты все въ окно смотришь?

— Ахъ, полно, теперь не до пѣнья вовсе! сказала Павла Андреевна. Ты помѣшалъ... Ты вѣчно...

Настя запѣла:

Не хочу я хатки
А ни синожатки,
Ни ставка, ни млинка,
Ни вишневаго садка!
Ой ты старый дидуга
Изогнувся, якъ дуга...

Эрастъ Антиповичъ засмѣялся.

— Чему вы смѣетесь? съ негодованіемъ спросила Павла Андреевна.

— Какъ она это выговариваетъ: «ой ты старый дидуга», скверный, должно быть, дидуга!

— Навѣрно не хуже васъ, Эрастъ Антиповичъ!

— За что ты, Павла Андреевна? За что? Или ты на свой счетъ приняла что нибудь? Ей-Богу... Настя съ своей пѣсенкой выпорхнула изъ комнаты.

— Ну, что ей-Богу? Что ей-Богу? въ гнѣвѣ спрашивала Павла Андреевна. Вы всегда не въ свое дѣло мѣшаетесь! всегда!

Эрастъ Антиповичъ всталъ и пошелъ къ дверямъ.

— Нечего бѣжать! Всегда бѣжите какъ заяцъ!

— А что такое, Павла Андреевна?

— Ничего!

Эрастъ Антиповичъ сталъ похаживать по комнатѣ и поглядывалъ на двери. Павла Андреевна сидѣла и хмурилась.

— Настѣ пора замужъ, сказала Павла Андреевна строго.

Эрастъ Антиповичъ перемѣнился въ лицѣ и остановился.

— За кого? спросилъ онъ.

— За кого бы тамъ ни было! На что вамъ знать? Ей пора замужъ!

— Молоденькая, промолвилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Что это вы все учите, Эрастъ Антиповичъ! Я знаю сама, что молоденькая!

— Согласна она? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Что жъ вы полагаете, ее не надо никогда замужъ отдавать? спросила съ сердцемъ Павла Андреевна.

— Нѣтъ, я не полагаю... пусть идетъ. А вотъ жалко съ ней разставаться... Домъ безъ нея опустѣетъ.

Онъ посмотрѣлъ по стѣнамъ, по всѣмъ угламъ, прошелся еще разъ по комнатѣ и сѣлъ.

Павла Андреевна перестала сердиться, пріуныла. Разговоръ на этомъ и оборвался. Посидѣли они, посидѣли молча и разошлись.

— Настя, сказала Павла Андреевна, тебѣ пора замужъ.

— Нѣтъ, еще не пора, отвѣчала ей Настя.

— А что, еслибы за тебя посватался Луша?

— Не пошла бы.

— А еслибъ Косовскій?

— И за него не пойду.

— А вообрази, еслибы за тебя посватался Данило Самойловичъ?

— Не пойду.

— А еслибы непремѣнно надо было за него идти?

— Не пойду.

— А еслибы непремѣнно, непремѣнно было надо, ну — казнь или за него?

— Не пойду.

— Странно, Настя, отчего ты не цѣнишь такого чудеснаго человѣка! Точно онъ тебѣ не по душѣ...

— Онъ мнѣ не по душѣ. Будетъ о немъ говорить. И Настя ушла.

Павла Андреевна была такъ недовольна, что Эрастъ Антиповичъ спросилъ ее:

— Что это ты надулась, Павла Андреевна?

Онъ было пришелъ домой веселый, заговаривалъ—не отвѣчаютъ, онъ и самъ разсердился.

— Какія ты странныя вещи говоришь! Право, я удивляюсь! сказала Павла Андреевна.

— Чего жъ ты удивляешься, Павла Андреевна? Ты не удивляешься, а блажишь. Ахъ жены, жены!.. Вонъ купецъ Миловъ нынѣшнюю ночью жену удавилъ.

— Ахъ, Боже мой! Кто тебя спрашиваетъ!

— Никто. Самъ себѣ говорю.

Сѣли обѣдать, Насти не было.

— А гдѣ же Настя? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Не знаю. Вы вѣдь ее избаловали такъ, что ни на что не похоже!

— Чѣмъ я ее баловалъ, Павла Андреевна?

— Всѣмъ! всѣмъ! Пожалуйста не спорьте! Не спорьте! Я и такъ нездорова!

— Эхъ, Павла Андреевна! Мучитъ тебя лихая болѣзнь! По тебѣ, матушка, всѣ березки плачутъ!

Павла Андреевна такъ и встрепенулась:

— Ну, ну, полно! промолвилъ Эрастъ Антиповичъ. Обѣдай смирно и я буду смирно обѣдать.

— Мнѣ жизнь не мила съ вами! Раньше сроку я въ гробъ лягу! сказала Павла Андреевна.

— Кто изъ насъ раньше, кто позже,—Богу одному извѣстно. А вотъ я прихварывать начинаю.

— Что жъ у тебя болитъ?

— Да такъ, неможется.

Эрастъ Антиповичъ сложилъ руки на груди и вздохнулъ, и охнулъ.

— Ты полечись, пожалуйста! говорила Павла Андреевна.

— Полечусь, полечусь, отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Не нравится мнѣ, что Настя безпрестанно бываетъ у Крашовки, сказала Павла Андреевна. Что за дружба съ Крашовкой! Эта Крашовка очень хитрая старуха.

— Бѣдна, проговорилъ Эрастъ Антиповичъ.

III.

Городъ N. былъ городокъ тихій. Двѣ улицы тамъ мощеныя, городническая да соборная; на остальныхъ улицахъ мягко было ходить по песочку, а на тротуарахъ росла травка и даже кое-гдѣ цвѣли цвѣточки, кашка розовая цвѣла, цвѣла ромашка; весною тутъ жители рвали молодую крапиву и лебеду на борщъ; полынь на настойку и цикорій на кофе и на лекарство. Въ городѣ было много садовъ, много пустопорожнихъ мѣстъ, особенно глухое пустопорожнее мѣсто было на Ляховой улицѣ, около Ляховыхъ воротъ: огромный заросшій дворъ, въ томъ дворѣ развалины дома замшились и поросли бурьянами, за развалинами садъ густой, большой; сколько тамъ спѣло яблокъ, грушъ, ягодъ; сколько цвѣтовъ цвѣло, какая чудесная трава высокая! Туда однако рѣдко заходили и днемъ, а подъ вечеръ никто, никогда, потому что этотъ домъ и брошенъ былъ за то, что во дворѣ что-то не ладно дѣялось; а вотъ на *мѣсто* малолѣтнихъ наслѣдниковъ Хорошаевъ такъ всѣ ходили—тамъ тоже домъ развалился, да послѣ смерти стариковъ-хозяевъ и дворъ заросъ, и

садъ заглохъ; туда ходили за грибами, за печерицами, за ягодами, за плодами, за кирпичами. Тамъ всегда дѣти собирались играть; хозяева отводили туда пастись своихъ коровъ и воловъ.

Недалеко отъ этого мѣста стоялъ бѣленькій домикъ въ три окошечка на улицу; ворота были новенькія, дворикъ зеленый. Посередъ двора стояла старая, мелколистая груша; съ другой стороны домика зеленѣлъ и цвѣлъ садъ. Тутъ жила старушка Крашовка, Мареа Петровна.

Отецъ ея былъ изъ казаковъ, ходилъ на Донъ, разбогатѣлъ, женился на красавицѣ, на донской казачкѣ; вышелъ въ купцы, да купецъ-то изъ него былъ неудалый. Не то чтобы самому зазывать въ лавку, а придетъ кто—такъ онъ едва глянетъ. Запрашивать онъ никогда не запрашивалъ, да и не уступалъ никогда. Что стоитъ?—Рубль. Покупщикъ радъ, что дешево, хочетъ еще дешевле: бери полъ-рубля.—И это деньги, да не мои. Бери—75 копѣекъ!—И это деньги да не мои. А послѣ трехъ разъ и говорить больше не станетъ. Зачастую покупщикъ обидится и уйдетъ — «мнѣ и даромъ отъ такого купца не надо»!

Сталъ онъ бѣднѣть. Тутъ у него жена умерла, дочь ему оставила, Мареу Петровну.

Онъ загоревалъ крѣпко, совсѣмъ обѣднѣлъ и умеръ; умирая, говорятъ, онъ далъ дочери завѣтъ сходить на Тамань. Кто его знаетъ, былъ ли точно завѣтъ такой, только Мареа Петровна на Тамань сходила. Еще живы люди, что помнятъ, какъ она вышла изъ городу. Осенью это было. Яснымъ временемъ вышла она въ черной кожушаночкѣ и съ красной лентой на головѣ и помнятъ, какъ черезъ полтора года она воротилась такая же привѣтливая, спокойная и бодрая, какъ и пошла. «Ходила» говоритъ «на Тамань, повидалась съ дядей; дядя хорошо тамъ живетъ; семьей завелся».

Мареа Петровна пріютилась у своей дальней родни—жила тихо, работала много, а черезъ два года послѣ того замужъ вышла. Мужъ ея былъ полковничьяго роду, не бѣденъ, молодъ и хорошъ изъ себя. Стращали Мареу Петровну, что онъ нравомъ сердитъ, да она или не повѣрила, или не побоялась—пошла за него и жили они очень хорошо. У нихъ

родился сынъ; еще этому сыну году не вышло—случилось несчастье. Крашовка повздорилъ съ сосѣдомъ на охотѣ, сосѣдъ то былъ того же поля ягода; не долго думавши, прицѣлили другъ въ друга и выстрѣлили. Крашовка живъ и невредимъ остался, а сосѣдъ на повалъ убитъ былъ. Крашовку долго судили; осудили и сослали. Рядомъ съ нимъ пошла въ ссылку и Марѳа Петровна съ сынкомъ на рукахъ. Ужъ, какъ говорятъ, уговаривалъ, упрашивалъ Крашовка: «воротись!» не воротилась. И шли они вмѣстѣ, дружно и мальчика своего несли; то тотъ понесетъ, то другой. И тосковалъ только одинъ Крашовка.

Богъ ихъ знаетъ, какъ тамъ въ ссылкѣ прожили. Черезъ пять лѣтъ Марѳа Петровна воротилась вдовою, съ сыномъ. Родня ея перемерла вся, и одна тетка передъ смертью отказала ей домикъ и пожитки. Марѳа Петровна вошла въ этотъ домикъ, стала жить, и понемножку связала концы съ концами. Сынокъ ея Гриша славный былъ мальчикъ, казакъ настоящій. Учиться онъ былъ охотникъ. Сперва учился у дьячка, потомъ сталъ проситься въ губернію на ученье. Марѳа Петровна его туда отвезла и по году не видала; лѣтомъ только онъ пріѣзжалъ. За то лѣто бывало краше.

Сынъ выучился, выросъ; говорили старушки; старожилки, что такъ и вышелъ онъ въ своего прадѣда полковника.

Сынъ пошелъ въ домъ къ какому-то помѣщику дѣтей учить. Марѳа Петровна жила въ своемъ домикѣ. Марѳа Петровна была старушка ласковая, тихая, спокойная. Комнатки свѣтленькія у нея, и пахло въ нихъ разными сухими душистыми травами, а въ окна пахло свѣжими цвѣтами изъ саду. У ней стулья плетеные, камышевые, а столы подъ узорными скатертями. Въ одной комнаткѣ стоялъ кожаный темный диванъ, въ другой стѣнные часы съ кукушкой, въ третьей комнаткѣ кроват и маленькая кроватка. Всѣхъ три комнатки и было. Надъ кроваткой висѣла шапочка сѣрая, смушевая и въ уголку стояла повозочка на трехъ колесцахъ; на столѣ корзиночка съ нитками, съ клубочками шерсти и тамъ же лежалъ красненькій мячикъ, точно надо было его тоже всегда подъ рукой имѣть. У изголовья на столикѣ лежали письма отъ Гриши.

О прошломъ Марѳа Петровна никогда не говорила, на прошлое никогда не жаловалась. Часто ее спрашивали, тяжко ли ей было, жалѣли, что такъ горько молодые ея годы прошли,—Марѳа Петровна слушаетъ, слушаетъ и проговоритъ: «Да, прошло все!» точно прошло милое время, точно ей жаль прошлаго. Съ Марѳой Петровной жила молодая дѣвушка Мелася,—дѣвушка очень хорошенькая и на видъ тихоня, да измѣняли ей ея глаза: лукавые, любопытные, быстрые глаза. Она видно и сама это знала, потому что то и дѣло вздыхала, все пригорюнивалась; глядѣла вверхъ, или внизъ, или въ сторону, никогда не глядѣла прямо. Стоитъ бывало этакъ, иной подумаетъ молитвы читаетъ на память; но стукни, зашуми что нибудь на улицѣ—стрѣла не вылетѣла бы быстрѣй Меласи за ворота, ловче не пробилась бы въ толпу.

Сюда-то Настя часто ходила и просиживала тутъ дни и вечера. Такіе тихіе дни и вечера!

Марѳа Петровна работаетъ; Настя и Мелася тоже работаютъ. Говорятъ мало, за то мыслями гдѣ не летаютъ! Вдругъ Настя скажетъ: «какіе у меня братишки были милые, Марѳа Петровна, еслибы они пожили на свѣтѣ»!

— Разскажи-ка ты мнѣ про нихъ еще что нибудь, Настя! проситъ Марѳа Петровна.

Настя станетъ вспоминать, разсказывать. Мелася спрашиваетъ котораго она брата больше любила; вспоминаетъ своего меньшаго—крикуна, и старшаго—молодца, и какъ за ея брата поповна хотѣла выдти замужъ, и какая была эта поповна, и какая мать у ней, и родня, и что за село гдѣ она жила, и что тамъ за обычаи. Мелася слышала, говорятъ, что будетъ зима теплая этого году.

— Наша зима еще слава Богу, отвѣчаетъ Марѳа Петровна, а вотъ есть края, гдѣ зима очень холодна.

— Гдѣ же? спрашиваетъ Мелася.

— Много тамъ людей мерзнетъ?

Марѳа Петровна разсказываетъ, какіе высокіе сугробы снѣжные, какіе льды бываютъ тамъ въ холодныхъ краяхъ, и какъ хорошо въ лютый холодъ огонекъ развести.

Ужъ поздно. Настя прощается. Пора домой, а идти не хочется.

Марѳа Петровна зоветъ ее: приди опять поскорѣй, да побудь опять подольше. Мелася идетъ ее провожать. Всякій разъ Мелася говоритъ, что она всего вечеромъ въ темнотѣ боится, и собакъ, и людей, и мертвецовъ, а все-таки по улицѣ идя, она въ каждую ставенную щелочку заглядываетъ, забѣгаетъ въ сады за цвѣтами на вѣнокъ, догоняетъ всякаго встрѣчнаго—узнать, кто такой и куда идетъ. И Настя заглядываетъ въ ставенную щелочку и Настя забѣгаетъ въ садъ за цвѣтами, отъ встрѣчныхъ она сторонится.

— Прощайте, Настасья Михайловна, доброй ночи!

— Прощай Мелася, доброй ночи!

— Приходите къ намъ поскорѣй. Смотрите, не медлите долго!

— Приду, приду!

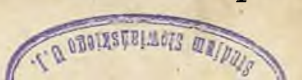
Настя стучится въ калитку, калитка отворяется, ее встрѣчаютъ. Кто пѣняетъ, что запоздала такъ, кто спрашиваетъ, не надо ли ей чего, кто разсказываетъ, что безъ нея гость такой-то былъ, а кто говоритъ что соскучился по ней.

Расходятся спать. Настя одна въ своей комнаткѣ. Она Богу молится, стоитъ на колѣняхъ. Потомъ она заплетаетъ на ночь свои длинныя косы. Иногда она сядетъ, подумаетъ а послѣ думъ иногда улыбнется, иногда вздохнетъ и загаситъ свѣчу. Иногда загасивши свѣчу, сядетъ къ окну и долго сидитъ тихо, словно прислушивается къ чему-то, потомъ тихо встанетъ и тихо уляжется въ постель.

А Мелася, проводивши Настю, бѣжитъ домой и всегда встрѣтитъ Василя, сосѣдскаго работника. Василь красивый такой человѣкъ, черноусый, чернобровый, ходитъ въ вышитой-разшитой сорочкѣ, въ синихъ шароварахъ, свитку накидываетъ на правое плечо, и кажется онъ не колдунъ, а всегда знаетъ гдѣ Меласю встрѣтить. Встрѣтятся и остановятся. Ужъ Василь говоритъ, говоритъ, ужъ Мелася щебечетъ, щебечетъ.

— Мелася, что такъ поздно? спрашиваетъ Марѳа Петровна.

— А вы думаете ближній это свѣтъ! говоритъ Мелася.



Идешь, идешь, идешь... да еще страхъ на тебя такой нападетъ! испугаешься.

— Чего жъ пугаться, Мелася?

— Чего? ахъ, Боже мой! Боже мой единый! А вѣдьмы? А мертвецы? А злые люди? А бѣшеныя собаки? А вовкулака? А упыри? А...

— Что ты это, Мелася, что ты, голубка! Наше мѣсто свято! говоритъ Марѳа Петровна и крестится.

Мелася вздыхаетъ и себѣ крестится.

— Ну, пора спать, Мѣлася. Городъ-то давнымъ-давно утихъ, всѣ поснули. Нигдѣ огонь не свѣтится.

— А какъ же не поснуть? Давно, давно пора. Мы только полуночники, отвѣчаетъ Мелася, будто хочетъ сказать: что жъ дѣлать, такая наша доля!

Гасится огонекъ и все въ домикѣ темнѣетъ и утихаетъ.

— Что ты не весела, Настя? спросила Марѳа Петровна въ одинъ день.

А Настя въ этотъ день такая была нахмуренная.

— Какое у тебя горе, Настя?

— Да все мнѣ жужжатъ въ уши, что пора замужъ, пора замужъ, пора замужъ! Не хочу я замужъ!

— Или новый женихъ нашелся?

— Знаете Данила Самойловича Копыту?

— Знаю, Настя, видала.

— Такое пугало! вотъ онъ придетъ, сядетъ съ Павлой Андреевной—шу-шу-шу-шу, а послѣ того она мнѣ и поетъ: Настя, тебѣ пора замужъ! Къ тебѣ бархатъ пристанетъ, Настя! Тебѣ всѣ завидовать станутъ, Настя! Ты надъ всѣми засіяешь, какъ солнце, Настя! А что если Данило Самойловичъ за тебя посватается? Какой чудесный человѣкъ, Настя!

— А Данило Самойловичъ?

Сталъ рѣже ходить къ намъ. Со мной встрѣтится, только поклонится и поглядитъ—онъ нехорошо глядитъ. Нехорошіе у него глаза. Теперь еще хуже онъ сталъ, точно кого убить сбирается.

— А Эрастъ Антиповичъ что?

— Онъ ничего. Разъ спросилъ у меня: Настя, ты замужъ собралась?

— Нѣтъ, нѣтъ, говорю. Онъ засмѣялся только. А я за Копыту не пойду, сули онъ горы золотыя, не пойду за него, не пойду!

— Да на что жъ тебѣ горы золотыя, Настя? Сказала Мароа Петровна.

— Не надо мнѣ! не надо мнѣ его богатства!

— Не надо, Настя. Наиграешься золотомъ, мое дитя, оглянешься и жутко станетъ.

Мелася вдругъ словно выросла изъ-подъ полу.

— Какъ же можно за нелюба идти? заговорила она. Да лучше въ землю пойдти! Этотъ Копыта старый, какъ свѣтъ, а страшный, какъ домовой, а скупой, какъ жидъ... Развѣ у васъ другихъ жениховъ нѣту? Есть молодые, хорошіе...

— Я ни за кого не хочу, сказала Настя.

— Да бѣда что ли, если подождете? Дѣвушка не малина, не опадетъ. Иныя ждутъ, ждутъ... говорила Мелася.

— А какого бы ты себѣ жениха желала, Настя? спросила Мароа Петровна.

— Не знаю.

— Да вѣдь ты думала, небось, объ этомъ?

— Думала. Я бы желала хорошаго...

— Конечно, хорошаго, подхватила Мелася, хорошаго, молодаго.

— А чѣмъ тебѣ полюбиться? спросила Мароа Петровна.

— Да я не знаю, отвѣчала ей Настя. Чтобы хорошъ былъ...

— А конечно хорошъ, сказала Мелася.

— Хорошій понравится и полюбится.

Однимъ вечеромъ Настя постучалась къ Мароѣ Петровнѣ; ей двери отворилъ высокій, молодой, пригожій человѣкъ и посвѣтилъ ей свѣчой. Настя остановилась, на него поглядѣла, а онъ на нее. Подумалъ онъ, что никогда еще ему не приводилось видѣть такой милой дѣвушки, а она подумала, что еще никогда она не встрѣчала такого человѣка, никогда еще не глядѣли на нее такіе чудесные глаза.

— А кто тамъ пришелъ? спросила Мароа Петровна выходя.

— Настя пришла! Иди, Настя, иди! у насъ гость. Не ждали его, не чаяли, а онъ пріѣхалъ. Пріѣхалъ мой казакъ!

Всѣ вошли въ комнатку и сѣли.

Настя сѣла подлѣ Марѳы Петровны; пріѣзжій сѣлъ противъ Насти.

Марѳа Петровна сидѣла безъ работы. Лице ея поблѣднѣло немножко, а губы улыбались, а на глазахъ слезы блестѣли. Сынъ пріѣхалъ—вотъ онъ тутъ; она его видитъ и слышитъ.

Настя взялась было за работу.

— Полно, Настя, сегодня не работай, сказала Марѳа Петровна, сегодня у насъ праздникъ.

Настя сложила работу.

Пришла Мелася съ бѣлымъ хлѣбомъ, съ виномъ. Всѣ стали хлопотать: стали столъ накрывать, больше свѣчей зажигать, чайныя чашки разставлять. Всѣмъ было очень хорошо, у всѣхъ было какъ-то празднично на душѣ. Мелася надѣла на голову вѣнокъ изъ краснаго маку, перестала глядѣть внизъ и вверхъ, а прямо глядѣла на молодаго хозяина. На него же глядѣла и Настя. А Марѳа Петровна съ него и глазъ не спускала. Ему ли не хорошо было? Вотъ знакомая комнатка, гдѣ мальчикомъ онъ засыпалъ подъ тихія пѣсни; вотъ милое материнское лице—слава Богу! она еще свѣжа и бодра; а вотъ незнакомое лице и такое молодое и прелестное! А вотъ другое—нельзя сдержать улыбки при взглядѣ на него, такое веселое и лукавое!

Вечеръ теплый, темный; мѣсяца нѣтъ, только звѣзды мерцаютъ. Какъ разросся садъ! Розовые кусты живы, запахъ ихъ слышенъ, хотя ихъ самыхъ и не видно за черемуховыми вѣтками, что лѣзутъ въ окно; черемуха выросла безъ молодаго хозяина—онъ теперь смотритъ на нее и думаетъ: это новая, это безъ меня, и ему приходитъ мысль, что всякому приходила, кто воротится на родныя мѣста: а давно ли?...

Марѳа Петровна расказывала сыну о старыхъ знакомыхъ, о новыхъ домахъ, что выстроились безъ него, о слухахъ, какіе носятся. Онъ слушалъ, изрѣдка о томъ, о другомъ

самъ спрашивалъ. Мелася уходила, приходила и на ходу новости расказывала, совѣты давала, предостерегала.

Вы побывайте у пана Луски, говорила она, у него даже медвѣдь на цѣпи есть. Онъ свою дочь просваталъ на чужую сторону куда-то; такой безжалостный этотъ Луска! А вотъ прибѣжитъ къ вамъ паничъ Шора—вы съ нимъ дружбы не заводите...

Настя говорила немного, она больше слушала. Какъ-то къ разговору она спросила:

— Вы на долго пріѣхали, Григорій Гавриловичъ?

Марѳа Петровна легко вздохнула, у ней ужъ отлегло отъ сердца—она уже знала, что останется долго.

— На долго, отвѣчалъ Григорій Гавриловичъ.

— У насъ страхъ, какъ весело, сказала Мелася.

— Очень весело у васъ? спросилъ Григорій Гавриловичъ Настю, чудное дѣло! У Насти на сердцѣ вдругъ стало какъ-то тихо, грустно, смирно—она ему отвѣчала: не очень!

— И не скучались мы, сказала Марѳа Петровна, нечего Бога гнѣвить понапрасну. Я-то теперь почти никуда не выхожу изъ дому, рѣдко, рѣдко... и ко мнѣ часто ходитъ только одна Настя... придетъ и пощебечетъ у меня.

Григорій Гавриловичъ поглядѣлъ на Настю.

Поздно кончился этотъ вечеръ. Пора Настѣ домой; она прощается.

— Я васъ до дому провожу, говоритъ ей Григорій Гавриловичъ.

— Проводи, Гриша, проводи, говоритъ Марѳа Петровна, а то Мелася всегда боится одна ворочаться.

— А конечно страшно! говоритъ Мелася.

Григорій Гавриловичъ хочетъ провожать Настю. Онъ вышелъ съ нею за ворота и оглянулся во всѣ стороны.

— Вы не знаете дороги? сказала Настя.

— Безъ меня все перестроено, перепутано,—пожалуй, не найду.

— Ничего, я знаю. Недалеко.

Правда, что было недалеко, но шли они долго-таки. Останавливались, смотрѣли на заброшенный Хорошаевскій

дворъ и прошли Хорошаевскимъ садомъ къ дому Малимоновыхъ.

— Что вы такъ запоздали, панычка? спросила Хима. Всѣ уже спятъ въ домѣ. Пани сердилась. Данило Самойловичъ цѣлый вечеръ у насъ сидѣлъ. Весело тамъ вамъ было у старушки-то? Вы, кажись, устали. Почивайте. Добрая вамъ ночь!

Настя вдругъ обернулась, обняла Химу, поцѣловала и сказала—добрая ночь!

— Голубушка моя! Не надо ли вамъ чего нибудь? спросила Хима.

Настя улыбнулась и покачала головкой. Хима ушла.

Настя легла спать. Она въ самомъ дѣлѣ устала отчего-то и ее сонъ клонилъ; но не крѣпко ей спалось. Только она засыпала—ее точно будилъ кто, вдругъ просыпалась. Къ утру она крѣпче уснула.

— А ты вѣрно заблудился по городу-то? спросила Мароа Петровна сына.

Онъ взялъ ея руки и поцѣловалъ, и сѣлъ около нея.

— Или сонъ не клонитъ? спросила Мароа Петровна.

— Нѣтъ. Какая ночь тихая и теплая.

— Ночи лѣтнія славныя.

Они перешли ближе къ открытому окошку.

— Ты писалъ мнѣ о своемъ житьѣ-бытьѣ, а все лучше изъ живыхъ твоихъ устъ послушать, каково тебѣ жилось, Гриша?

— Жилося.

— И горе бывало?

— Бывало.

— Не великое?

— Нѣтъ, великаго не было.

— Что-жъ ты теперь думаешь? Отдохнуть?

— Отдохну. А пока—мѣсто найдется.

— Отдохни, дитя мое, отдохни.

На другой день черноусый Василь разсказывалъ людямъ что къ сосѣдкѣ Крашовкѣ сынъ пріѣхалъ на житье, былъ онъ у важнаго пана въ учителяхъ, училъ дѣтей. Вдругъ важный панъ возьми да умри скоропостижно—пани сейчасъ

къ своимъ роднымъ въ столицу съ дѣтьми, а Григорій Гавриловичъ сюда, къ намъ. И очень хорошій, и добрый человѣкъ Григорій Гавриловичъ.

IV.

— Какъ вы съ Настасьей Михайловной познакомились? спрашивалъ Григорій Гавриловичъ у матери.

— Прежде на улицѣ встрѣчались, я спрашиваю: чья это хорошенькая? Узнаю—Малимоновская сиротк . Разъ у всенощной вижу, она одна въ уголку молится, молится... Выходитъ народъ изъ церкви—она послѣ всѣхъ и важная такая идетъ, тихая; въ дверяхъ меня толкнула, подняла глаза и проситъ прощенья. Слово за слово, слово за слово разговорились. Дошли вмѣстѣ до дому. Я къ вамъ зайду, говоритъ она. Очень я рада. Зашла ко мнѣ. Она еще дорогой улыбаться начала, а пришла ко мнѣ, какъ защебечетъ, какъ зарѣзвится! И пѣла она, и танцовала она. Съ той поры и стала ходить ко мнѣ часто.

— А вы къ ней часто ходили?

— Нѣтъ, очень рѣдко. Малимонова мнѣ не землячка и не ровня.

— Что жъ она горда очень?

— Не такъ горда какъ привередлива. Одинъ разъ придешь къ ней—незнаетъ гдѣ тебя посадить, чѣмъ тебя угостить, ласкаетъ, безъ умолку разговариваетъ; а въ другой разъ придешь, она только тебя слушаетъ да обмахивается платкомъ—ни вопроса тебѣ, ни отвѣта; развѣ только промолвитъ: а! Впрочемъ, женщина не злая и милостивая къ бѣднымъ.

— А Малимоновъ?

— Онъ ровнѣй ея. Всегда спроситъ о здоровьи.

— А каково житье у нихъ Настасьѣ Михайловнѣ?

— Они оба ее любятъ.

— Хорошо ей у нихъ?

— Хорошо, не обижаютъ.

— Она никогда не жаловалась?

— Нѣтъ, не жаловалась. Разсказываетъ, то-то и то-то вышло, то-то и то-то было, да разсказываетъ безъ жалобы, такъ. На нее разсердятся—она сама на нихъ разсердится, знаешь, ровные счеты. А тебя-то какъ встрѣтили они?

— Хорошо встрѣтили.

— У ней бываютъ вечеринки; гостей много наѣзжаетъ.

— Частые гости?

— Частые. Молодежи много—Настины женихи.

— Кто жъ такіе?

— Не перечтешь ихъ всѣхъ. Шосточка, Чаровскій... начала было считать Марѳа Петровна.

— А Настасья Михайловна, что?

— Ни за кого не хочетъ. Не хочу, говоритъ, ни за кого изъ нихъ не пойду.

Въ другой разъ Григорій Гавриловичъ спросилъ у матери.

— Вы все говорите о Копытѣ, что это за Копыта?

— Здѣшній помѣщикъ, богачъ. Малимонова за него Настю прочитъ, вотъ мы съ Настей и говоримъ о немъ.

— Что онъ за человѣкъ?

— Недобрый, говорятъ, старъ, скупъ, немилостивъ.

— Трудно уговаривать Настасью Михайловну за него идти?

— Гдѣ тамъ уговаривать! Она, даромъ что молоденькая, а своимъ разумомъ живетъ и своей волею: нѣжна, что цвѣтокъ, а крѣпка, что замокъ.

Григорій Гавриловичъ стоялъ у окна; передъ окномъ, передъ его глазами, цвѣли цвѣты; онъ долго смотрѣлъ на нихъ, о чемъ-то думалъ; не разъ онъ чуть-чуть улыбнулся; не разъ онъ чуть-чуть нахмурился.

— Знаете ли, кого я видѣла? сказала Мелася—она вбѣжала въ попыхахъ въ комнату—я видѣла Копыту!

— Гдѣ жъ ты его видѣла, Мелася? спросила Марѳа Петровна.

Настя тогда сидѣла тутъ же, шила; она только подняла глаза на вѣстовщицу разсѣянно, не спросила ее ни о чемъ.

Григорій Гавриловичъ тоже здѣсь сидѣлъ поодаль; онъ читалъ какую-то книгу и слушалъ, что говоритъ Мелася.

— Я встрѣтила его на улицѣ, говорила Мелася. Захожу въ лавку за сахаромъ, и онъ за мной слѣдомъ заходитъ. Купцы сейчасъ къ нему, словно пули, летятъ, кланяются, спрашиваютъ, товаръ хвалятъ; онъ покупалъ что-то въ коробочкѣ, лакомство какое-то, а я стою, жду да гляжу. Даютъ ему сдачу. Господи мой добрый! такъ онъ и кидается на каждую копѣечку, какъ пѣтухъ на ячменное зернышко... Одну серебряную *сороковку* взялъ, оглядѣлъ и не спряталъ, а въ кулакъ зажалъ, зажалъ ажно запищали и посмотрѣлъ на меня—такіе у него глаза нехорошіе! Я купила сахару, иду, а онъ меня нагоняетъ, спрашиваетъ: ты, дѣвушка, у пани Крашовки служишь?—Конечно, у пани Крашовки, говорю. Здорова ли она?

— Конечно, здорова, говорю.—Такая она добрая!—Конечно, добрая, говорю.—Тебѣ вѣрно жить у ней хорошо?—Конечно, хорошо, говорю.—Слышно, къ ней сынъ пріѣхалъ.—Конечно, пріѣхалъ, говорю.—Слышно, что сынъ у ней красивый такой? —Конечно, красивый, говорю, да прибавляю и мо—ло—дой. Молодой что барвинокъ! Ахъ, мое лихо! я думала, что онъ меня такъ и разорветъ на часточки за это слово. Такъ его и повело, и повело... Я отъ него скорѣй. Постой, постой, погоди, говоритъ, ты славная дѣвушка такая, а бѣдная, на вотъ тебѣ! Даетъ мнѣ серебряную сороковку. Берегите для иныхъ, говорю ему, я не бѣдная, это бѣдный *тотъ*, потому что у него души нѣту... да поскорѣе побѣжала отъ него.

Мароа Петровна одна ее, кажись, слушала; покрайней мѣрѣ она одна взглядывала на нее и усмѣхалась.

— А знаете, куда онъ купленое лакомство понесъ? спросила Мелася. Прямо къ вамъ, Настасья Михайловна, я сама видѣла.

Мелася подождала, что ей Настя на это скажетъ. Настя ничего ей не сказала, шила. Мелася поглядѣла, поглядѣла на Настю и ушла.

Мароа Петровна тоже на Настю посмотрѣла. Григорій Гавриловичъ съ нея глазъ не сводилъ.

— Настя, ты что-то скучать стала, а? спросила Мароа Петровна.

Настя подняла на нее глаза и точно не слыхала сказанныхъ словъ, улыбнулась. И взглядъ, и улыбка у ней были разсѣянные.

— Или тебѣ стали очень докучать этимъ сватаньемъ? спросила еще Мароа Петровна.

— Докучаютъ, отвѣтила Настя. Она оперлась на локотокъ и хотѣла было задуматься, да нечаянно встрѣтилась глазами съ Григоріемъ Гавриловичемъ и вспыхнула румянцемъ.

— Онъ ужъ посватался? спрашивала Мароа Петровна. Съ тобой онъ говорилъ?

— Нѣтъ, отвѣчала Настя.

— Ты не печалься, Настя, сказала ей Мароа Петровна.

— А Настя вдругъ очень запечалилась. Печальная посидѣла еще немножко у нихъ и ушла домой. Какъ ни упрашивала ее Мароа Петровна: останься, Настя, останься! Она не осталась,—ушла.

Настя съ каждымъ днемъ умолкала и утихала; никого она не поднимала теперь на смѣхъ, не смѣялась почти, блескъ пропалъ въ ея глазахъ, пропала ея рѣзвость; голосъ у ней сталъ такой тихій, точно отъ роду не звенѣлъ въ спорахъ и не заливался веселыми пѣснями.

А Григорій Гавриловичъ съ каждымъ днемъ становился тревожнѣе. Онъ бросилъ книги читать, повадился ходить далеко за городъ на охоту.

Мароа Петровна иногда о чемъ-то раздумывать стала въ одиночку, точно она чуяла, что недалеко смуты и огорченья; она какъ будто съ ними въ мысляхъ знакомилась.

Мелася, кажись, ничего не думала. А вотъ черноусый Василь говорилъ, что еслибы молодой Крашовка да женился на Малимоновской сироткѣ, такъ лучше бы этого ничего на бѣломъ свѣтѣ не было.

Григорій Гавриловичъ и Настя рѣдко и мало между собою говорили; казалось, что они сбираются что-то сказать другъ другу и тогда ужъ до-сыта наговориться. Наединѣ они бывали только вечерами, когда Григорій Гавриловичъ провожалъ Настю домой. Блаженное это было время имъ!

Ночи звѣздныя, теплыя, украинскія; городъ заснулъ—они идутъ рядомъ по тихимъ улицамъ; никакого шуму, только соловьи поютъ, да сады шелестятъ. И когда послѣ они сами съ собою раздумываютъ, разгорюются, память такого вечера думы ихъ развеселяла, ихъ тоску усмиряла.

— У нея богатые женихи будутъ, а я бѣденъ. Я ее люблю... Брать ли мнѣ ее за себя на трудную, убогую жизнь? думалъ Григорій Гавриловичъ.

— Любитъ ли онъ меня много! Возьметъ ли за себя? Любитъ ли онъ меня, какъ я его? думала Настя. И смутно, и тяжело на сердцѣ; вспомнятся вечерніе проводы, теплая ночь, соловьиныя пѣсни, шелестящіе сады, два-три тихихъ слова и на сердцѣ легче, легче...

У Малимоновыхъ былъ вечеръ. Весь дворъ ихъ былъ уставленъ колясками, бричками, дрожками. У воротъ горѣли два фонаря. Домъ ихъ ярко свѣтился всѣми освѣщенными окнами середъ темныхъ улицъ. Гостей съѣхалось много. Разряженныя важныя пани важно сложили руки, важно сидѣли и важно разговаривали; разряженныя и ловкія панночки ходили парочками, шептались и улыбались; пожилые люди сѣли за карточные столы; молодые люди стояли кучками у дверей, у оконъ, по угламъ, смотрѣли по сторонамъ, а иные смотрѣли только въ одну сторону. Павла Андреевна заметала за собой своимъ пышнымъ платьемъ, обмахивалась платкомъ и всѣмъ жаловалась на жаръ. Эрастъ Антиповичъ сидѣлъ между игроками. Настя ходила между панночками. Вечеръ шелъ своимъ порядкомъ—что дальше, то живѣй. Пани заговорили шумнѣй; за картами спорили громче; панночки смѣшались съ молодыми людьми, смѣялись, болтали, играли въ разныя игры. Середь этого шума, середь гостей, говору, смѣху и веселости Настя садилась гдѣ нибудь и тихо сидѣла. Жутко и сладко ей было встрѣтиться глазами съ Григоріемъ Гавриловичемъ. Какъ ей стало все скучно и немило кругомъ, когда онъ ей сказалъ: вамъ, кажется, очень весело! И какъ все посвѣтлѣло и получшало кругомъ, когда онъ ей сказалъ: вы что-то скучны? Какъ они послѣ этого поглядѣли другъ на друга—и оба поблѣднѣли, и оба были счастливы!

*

Григорій Гавриловичъ стоялъ и разговаривалъ съ своимъ давнимъ знакомымъ и школьнымъ товарищемъ, съ Иваномъ Савичемъ Лепехою.

— То ли дѣло дѣтскіе-то годы! говорилъ Иванъ Савичъ, то ли дѣло! Никакого горя и въ заводѣ тогда не было!

— А теперь у тебя есть горе? спросилъ Григорій Гавриловичъ.

— А ты думаешь нѣту? Есть горе, Гриша, есть!

— Какое? Откуда?

— Вѣстимо какое и вѣстимо откуда. Отъ кого все горе на свѣтѣ? Отъ дѣвушекъ! и мое горе отъ дѣвушки.

— А! сказалъ Григорій Гавриловичъ и обернулся, и поглядѣлъ пріятелю своему въ глаза и въ лицо пристально. Горе видно его не сушило: щеки у него были румяныя и круглыя такія, глаза у него не потускнѣли—живо глядѣли изъ подъ широкихъ, черныхъ бровей.

— Да, да! говорилъ Иванъ Савичъ, изъ ума не выходитъ у меня моя дѣвушка! Ѣсть и пить мнѣ мѣшаетъ, спокойно мнѣ спать не даетъ, Гриша. Бѣда, да и только мнѣ съ нею!

Въ это время Настя мимо ихъ проходила.

— Проходитъ ли она мимо, а мое сердце за ней слѣдомъ; мое сердце такъ и мретъ! говорилъ Иванъ Савичъ.

Проходя мимо, Настя взглянула на Григорія Гавриловича, а Ивана Савича она не видала.

— На всякаго другаго она взглянетъ, а на меня нѣтъ! говорилъ Иванъ Савичъ. Она меня не любитъ совсѣмъ, а пройди только она мимо—сердце мое за ней слѣдомъ, Гриша!

— Ты очень ее любишь? Безъ шутокъ? спросилъ Григорій Гавриловичъ. Кто же она такая? Очень любишь? Безъ шутокъ?

— Какія шутки! Это лихо, а не шутка!

— Покажи мнѣ ее. Гдѣ она здѣсь?

Иванъ Савичъ только вздохнулъ. Къ нимъ тогда подошли три панночки и спросили, о чемъ у нихъ рѣчь идетъ?

— Обо всемъ понемножку, отвѣтилъ панночкамъ Иванъ Савичъ.

— Скажите намъ о чемъ? повторяли панночки.

— Всего нельзя говорить—у насъ есть и тайны, говорилъ Иванъ Савичъ.

— Скажите! Скажите! приставали панночки. Подошли еще другія. Поднялся шумъ, смѣхъ; пошли разные разговоры.

Когда разносили варенья и конфекты по комнатамъ, лакомки припали къ подносамъ, а кому хотѣлось словцо перемолвить, улучили тогда времечко и перемолвили словцо съ кѣмъ хотѣлось.

Тогда Григорій Гавриловичъ и Настя очутились вмѣстѣ у окна. Они стояли близко другъ подлѣ друга и тихо разговаривали. Вдругъ Настя взрогнула и отвернула лицо. Григорій Гавриловичъ оглянулся и увидалъ въ углу чье-то блѣдное лицо, словно мертвое, искаженное, — и нехорошіе глаза прямо глядѣли на нихъ.

— Кто это такъ смотритъ на носъ? спросилъ Григорій Гавриловичъ у Насти.

— Копыта, отвѣчала ему Настя.

Послѣ этаго, какъ они ни сойдутся вмѣстѣ — блѣдное, искаженное лицо съ злыми глазами глядитъ на нихъ и слѣдитъ за ними изъ какого нибудь угла.

Павла Андреевна, ходя и замѣтая своимъ пышнымъ платьемъ, вдругъ остановилась—увидала Копыту.

— А я васъ давно ищу, давнымъ давно, Данило Самойловичъ, сказала она. Что это вы сидите въ уголку? Да что съ вами? вдругъ спросила она. Ахъ, Боже мой!

— Тише, тише! отвѣчалъ ей Данило Самойловичъ. Кто этотъ черноволосый, молодой—вонъ тамъ стоитъ, въ окно глядитъ... Это Крашовка?

— Да, Крашовка, Данило Самойловичъ, а вы его не знаете еще?

— Тише... Тише... Я завтра приду къ вамъ. Тише... Надо рѣшить скорѣе... Завтра я къ вамъ приду... Да, завтра... Тише.

Данило Самойловичъ ушелъ отъ нея; другіе гости подошли. Искала его послѣ Павла Андреевна, но его нигдѣ не было. Онъ вѣрно ушелъ домой.

Данило Самойловичъ не домой пошелъ. Онъ ходилъ около

Малимоновскаго дома и заглядывалъ въ окна. Глаза его зорко искали Настю и Григорія Гавриловича; онъ съ мученіемъ и съ тоской слѣдилъ, какъ они и разно были да видѣли другъ друга, какъ они радостно сходились вмѣстѣ и говорили. Онъ все видѣлъ, и улыбки—и взгляды ихъ, и счастье, и молодость ихъ, и красоту. Видѣть это было ему невыносимо; а когда онъ изъ виду ихъ терялъ, словно еще невыносимѣй; онъ бѣгалъ отъ окна къ окну, пока не находилъ ихъ опять, опять отбѣгалъ отъ оконъ въ темную улицу,—убѣгалъ, а страсть его туда же снова приводила, и онъ снова ихъ искалъ, снова находилъ, снова глядѣлъ на нихъ.

Была еще одна душа, что слѣдила украдкой за Настей и за Григорьемъ Гавриловичемъ: Иванъ Савичъ Лепеха слѣдилъ за ними и не разъ вздохнулъ, не разъ сердце у него сжалось, сжалось... Однако онъ разговаривалъ, смѣялся, и за смѣхомъ, за разговоромъ никто не замѣтилъ, что онъ немножко измѣнился въ лицѣ.

Данило Самойловичъ все подъ окнами. Гости начали разъѣжаться съ вечера, стучатъ колеса, выѣзжая со двора; въ комнатахъ быстро рѣдѣютъ люди. Крашовка тутъ еще. Вотъ уже въ одной, а вотъ въ двухъ комнатахъ погасли свѣчи. Павла Андреевна проходитъ, зѣваетъ; Эрастъ Антиповичъ расчитывается съ двумя послѣдними гостями у зеленаго столика—Крашовка все тутъ. Она ходитъ по комнатѣ, оглядывается—онъ ждетъ ее. Она вѣрно обѣщала ему еще поговорить. Въ комнатѣ все темнѣетъ; свѣчи все гаснутъ. Вотъ она вошла. Какое у ней нѣжное лицо! И какъ она глядитъ на него! Какъ она его любитъ.

Не помня себя, Данило Самойловичъ бросился отъ окна, какъ ужаленный; потомъ опять бросился къ окну и ударилъ въ раму—стекла зазвенѣли. Онъ слышалъ, какъ Настя вскрикнула, видѣлъ какъ вбѣжали другіе и комната полутемнѣвшая освѣтилась огнями; какъ толпились у окна, высылали людей на улицу съ фонарями. Онъ притаился. Когда все утихло, онъ опять подкрался къ окну, они опять вмѣстѣ и опять говорятъ и глядятъ другъ на друга!

Ноконецъ всѣ, всѣ ушли—ушелъ Крашовка. Домъ совсѣмъ потемнѣлъ и утихъ.

Данило Самойловичъ пришелъ домой и сталъ стучаться. Ему отворила двери худая старуха съ тонкой свѣчой въ рукѣ. Данило Самойловичъ оттолкнулъ ее со свѣчою, вошелъ въ свою комнату и сѣлъ у стола.

Ужъ разсвѣтать стало. Осенній холодный разсвѣтъ; солнце всходитъ, свѣтитъ, а не грѣетъ, не живитъ; все кругомъ повяло, все тихо кругомъ.

Данило Самойловичъ сидѣлъ измученный; каждая морщинка поглубжѣла у него на лицѣ; изъ злыхъ его глазъ слезы такъ вдругъ и полились, полились. Онъ склонился сѣдою головой на столъ—вырвались рыданія глухія да больныя. Онъ поднялъ голову. Солнце тускло поблескивало изъ за сѣрыхъ тучь. Данило Самойловичъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Это была большая комната, въ ней стояли комоды и шкапы съ тяжелыми, крѣпкими замками. На большомъ столѣ ничего не лежало; ничего не было ни на окнахъ, ни на двухъ столикахъ — все спрятано подъ замками.

Данило Самойловичъ ходилъ по комнатѣ. Мало–по–малу лицо его спокойнѣй стало. Онъ думалъ свои думы.

Онъ обошелъ весь домъ свой, поглядывая вокругъ себя. Домъ у него богатъ, огроменъ, но какъ мраченъ-то этотъ домъ! Какъ угрюмъ и не веселъ! Все въ немъ сбережено и сохранено отъ штофнаго полога до хрупкаго хрустальнаго стакана—все подъ замкомъ и въ порядкѣ. Берегли все и обо всемъ заботились въ этомъ домѣ изъ-подъ страху; хозяинъ былъ всегда человѣкъ одинокій и суровый; онъ накопилъ много денегъ, онъ любилъ свои деньги... Теперь онъ любилъ дѣвушку больше ихъ. Неужели правда это? Да, это правда!

Данило Самойловичъ опять пришелъ въ свою комнату, опять сѣлъ у стола. Посидѣлъ, потомъ онъ кликнулъ Ганку.

Вошла худая старуха, босая; старуха слабая, блѣдная и сумрачная. По самыя брови повязана чернымъ, ношеннымъ платкомъ; ея синяя кофта побѣлѣла отъ долгой носки; юбка у ней въ заплатахъ. Она была единственная слуга въ домѣ и въ дворѣ у Данила Самойловича.

Данило Самойловичъ глянулъ на Ганку и отвернулся. Онъ приказалъ подать себѣ воды, и пока Ганка принесла воду—все глядѣлъ въ окно.

Данило Самойловичъ умылся, прибрался и пошелъ къ Малимоновымъ. У Малимоновыхъ всѣ ставни были еще закрыты; послѣ вечера спали дольше всегдашняго. Данило Самойловичъ сталъ бродить изъ улицы въ улицу. Люди шли на базаръ, поминутно ему встрѣчались. То два человѣка пожилыхъ стучали тяжелыми сапогами по промерзлой землѣ и разговаривали о хозяйствѣ; то бѣжали молоденькія стройныя дѣвочки съ *кошиками* и спорили между собой: вотъ не продамъ! — А вотъ продамъ! Не продамъ! Продамъ! То старушки тащились охая и кряхтя; то быстро проходили молодыя женщины и дѣвушки, слышались отрывочныя слова, смѣхъ, жалобы; на всѣхъ и на все Данило Самойловичъ съ враждой смотрѣлъ и съ тоской. Около дома Крашовки ему попалась на встрѣчу Мелася; показалось ему, что ея лукавое лицо лукаво усмѣхнулось; гнѣвъ мгновенно его обуялъ, онъ готовъ былъ, кажется, задушить ее; бросился было за нею слѣдомъ, да опомнился и пошелъ своею дорогою. Опять былъ у Малимоновскаго дома—все еще ставни закрыты!

Павла Андреевна сидѣла за чаемъ и позѣвывала, когда Данило Самойловичъ къ ней вошелъ и сѣлъ противъ нея. Онъ, видно, собрался говорить спокойно, хотя лицо его мѣнялось и подергивалось.

— Ахъ, здравствуйте, Данило Самойловичъ! сказала Павла Андреевна, а я вотъ чай пью; не хотите ли чашечку чаю? Что съ вами было вчера такое? Вы меня испугали вчера. Что вы мнѣ обѣщали вчера сказать? Говорите, говорите. Никто не услышитъ. Эраста Антиповича дома нѣтъ, Настя еще спитъ. Зачѣмъ вы вчера такъ рано ушли? Чѣмъ вы были разстроены? А вчера у насъ очень весело было,— всѣ такъ довольны, поздно разъѣхались... Что же вы мнѣ хотѣли сегодня сказать, Данило Самойловичъ?

— Отдадите ли вы за меня Настасью Михайловну? сказалъ Данило Самойловичъ.

— Что съ вами, Данило Самойловичъ, что съ вами?

— Отдадите ли вы ее за меня?

— Да я рада, я очень рада, но она не хочетъ, Данило Самойловичъ, она упрямится.

— Заставьте ее!

— Да какъ же заставить, когда она не хочетъ слушаться? Я заставляю, а она говоритъ: не хочу!

— Заставьте!

— Какъ Данило Самойловичъ? Какъ я могу? Силой ее отдать нельзя?

— Отчего нельзя?

— Какъ же силой? Связать ее, что-ли?

— Отчего жъ не связать?

— Ахъ, что вы это, Данило Самойловичъ! Лучше вы погодите. Не безпокойтесь, прошу васъ, погодите,—я ее таки уговорю.

— Я не могу больше ждать! Я не могу ждать! Ее у меня отнимаютъ... отняли... Она Крашовку любитъ! Мнѣ каждый часъ дороже золота, перевѣнчайте ее со мной!

— Что это вы, Данило Самойловичъ! вскричала Павла Андреевна, какъ можно! Какъ можно! Любитъ Крашовку! Какъ же я ничего не замѣтила! Не можетъ этого быть!

— Перевѣнчайте ее со мной поскорѣе!

— Что же вы замѣтили? Что? Вы слышали какъ она съ Крашовкой говорила? Вчера слышали?

— Она любитъ его, проговорилъ Данило Самойловичъ, и такъ проговорилъ, что Павла Андреевна смутилась и струсила.

— Ну, хорошо, хорошо, вымолвила она, не сердитесь, Данило Самойловичъ. Я никогда этого отъ Насти не ожидала...

Оба помолчали. Потомъ Данило Самойловичъ сталъ тихо говорить, а Павла Андреевна слушала его, удивлялась, благодарила его и вздыхала.

— Я сегодня же, Данило Самойловичъ, сегодня же непремѣнно уговаривать ее буду и скажу ей все... Упрашивать ее буду...

— Прикажите, велите!

— Прикажу, Данило Самойловичъ, и велю. Когда бы Богъ намъ помогъ!

— А я все устрою и все приготовлю.

— Хорошо, Данило Самойловичъ, хорошо.

Данило Самойловичъ было пошелъ, но воротился.

— За нее я вамъ отдамъ все, что имѣю — жизнь мою тогда берите! проговорилъ онъ.

— Покорно благодарю, Данило Самойловичъ... Я и так для васъ...

— А если вы меня обманете? Онъ поглядѣлъ прямо ей въ глаза своими нехорошими глазами, не хорошо поглядѣлъ.

— Какъ можно, Данило Самойловичъ, какъ можно! вѣрьте...

— Побожитесь мнѣ! сказалъ Данило Самойловичъ.

— Божусь Богомъ, Данило Самойловичъ, клянусь вамъ.

— Скорѣй, скорѣй только! вымолвилъ Данило Самойловичъ, скорѣй!—И ушелъ.

— Ахъ Боже ты мой! проговорила Павла Андреевна, вѣдь я его боюсь! Ей-Богу я боюсь его!

Она подумала, подумала, покачала головою и вздохнула тяжело.

Пришелъ Эрастъ Антиповичъ.

— А что жъ обѣдать-то? сказалъ онъ. Вѣдь ужъ почти вечеръ на дворѣ.

— Ахъ, полно, успѣешь еще пообѣдать, отвѣтила ему Павла Андреевна.

— Что же такое, Павла Андреевна?

Павла Андреевна молчала, онъ опять повторилъ: что же такое? Чѣмъ ты тревожишься?

— За Настю сватаются, сказала Павла Андреевна.

— А! Кто же такой сватается? Она хочетъ идти?

— Сватается Данило Самойловичъ.

— Копыта! Быть не можетъ!

— Отчего же это быть не можетъ? Отчего, Эрастъ Антиповичъ?

— То есть я не ожидалъ отъ него сватанья. Настя его очень не любитъ — она за него не пойдетъ.

— Кто жъ будетъ слушать Настю? Кто ее будетъ слушать, желала бы я знать?

— А какъ же ты ее приневолишь?

— Ахъ, Боже мой! Я ей счастья хочу! Я ей хочу богатства, Эрастъ Антиповичъ; она послѣ сама меня благодарить будетъ. Вы знаете ли, что она влюбилась въ Крашовку? Что жъ ее по вашему за Крашовку отдать?—А?

— Небось, все выдумки!

— Нѣтъ, не выдумки! Вы живете, ничего не видите, что у васъ передъ глазами дѣлается, а другіе, слава Богу, не слѣпы еще!

— Ну, за Крашовку не слѣдъ идти ей! сказалъ Эрастъ Антиповичъ. Этотъ Крашовка очень мнѣ не нравится: гордецъ какой-то! А съ чего бы ему кажись гордиться? Не поклонится порядкомъ, не усмѣхнется, точно у него спина дубовая, а губы печатью припечатаны. Да ну его! Ты въ правду думаешь отдавать Настю?

— Да, да, и очень скоро.

— Дай Богъ ей счастья. Жалко ее отпускать изъ дому, Павла Андреевна.

— Она часто будетъ ходить къ намъ. Данило Самойловичъ обѣщалъ себѣ домъ купить противъ нашего, чтобы не разлучать насъ съ нею.

— Да, вѣрь ему!

— Конечно вѣрю. Домъ противъ насъ продается — онъ его купитъ, отлично отдѣлаетъ.

— Это будетъ хорошо, коли будетъ.

Оба замолчали, потомъ Павла Андреевна опять начала:

— Настя будетъ у насъ первая богачка.

— Дай ей Богъ! отвѣтилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Знаешь, Данило Самойловичъ мнѣ говорилъ: вы, говоритъ, будете тогда мои родные; вамъ, говоритъ, я тогда отдамъ Бильчики. Я ему: на что! на что! Нѣтъ, говоритъ, Бильчики ваши. И отдалъ намъ Бильчики. Ужасно у него доброе сердце!

— А ты и повѣрила, что отдастъ обѣщанное? Ахъ, Павла Андреевна!

— Конечно отдастъ, Эрастъ Антиповичъ. Это вѣрнѣе смерти!

— Ты бы только подумала, что въ Бильчикахъ-то, кажется, полтораста душъ, матушка!

— Да хоть бы милліонъ душъ, Эрастъ Антиповичъ. Данило Самойловичъ обѣщалъ.

— Обѣщалъ панъ: кожухъ дамъ, да его и слово тепло.

Павла Андреевна разсердилась.

— Съ тобой говоритъ нельзя! вскрикнула она.

Эрастъ Антиповичъ попросилъ у ней прощенья.

— Ну, прости, виноватъ. Прости и говори.

— Видишь ли, сказала Павла Андреевна, видишь ли, надо вѣдь когда нибудь Настю замужъ отдать, надо вѣдь когда нибудь съ ней разстаться? Такъ лучше ее отдать за богатаго, за хорошаго человѣка, а?

— Слова нѣтъ, Павла Андреэвна, слова нѣтъ!

— Вотъ видишь! А гдѣ мы найдемъ богаче Данила Самойловича и добрѣе его? Однимъ словомъ, я обѣщала ему что Настя будетъ его женой и теперь нельзя отказаться. Онъ такъ Настю любитъ, что я даже боюсь его. Если, говоритъ мнѣ, не отдадите за меня Настю, если меня обманете—бѣда вамъ! И точно, я чувствую, что бѣда будетъ, если Настю за него не отдадимъ.

— А что жъ ты сдѣлаешь коли Настя за него идти не захочетъ, Павла Андреевна?

— Она пойдетъ.

— Наврядъ она пойдетъ. Заварила ты кашу, Павла Андреевна! Чего добраго—бѣду наживемъ себѣ!

— Ахъ, Боже мой! чѣмъ бы успокоить меня, ты еще пугаешь! Тебѣ всегда любо меня разстроить! А я знаю, что все кончится хорошо и благополучно!

— Ну, полно, Павла Андреевна, полно! Я самъ думаю, что конецъ благополучный будетъ, а пока что—нечего дѣлать, потерпѣть придется.

Оба опять замолчали.

— Боюсь я только одного, сказала Павла Андреевна, боюсь я, что Данило Самойловичъ ревнивъ очень будетъ.

— Пожалуй, что и будетъ. Старые люди всегда почти ревнивы.

— Да вѣдь Настя такая, что ее не обидишь, какъ иную смирненькую.

— Это правда, а все-таки и ей насолить можно, Павла Андреевна.

— Онъ ее очень любитъ; говорилъ: жизнь за нее отдамъ!

— Можетъ быть, можетъ быть. А если ревнивъ, такъ тѣмъ сильнѣе ревновать ее будетъ.

— Ахъ, многое меня безпокоитъ, сама я не знаю почему! Лучшаго жениха не найдти, а все жалко отдавать Настю! И заплакала Павла Андреевна, склонивши голову.

— Перестань, Павла Андреевна, перестань. Ну, не плачь. Ты подумай... Я тебѣ скажу еще вотъ что: Копыта ужъ старый человѣкъ, проживетъ онъ, надо полагать, не два вѣка... А послѣ него—Настя и богата и вольна, какъ птица.

— Ахъ, да! сказала Павла Андреевна и подняла голову, это правда, что онъ недолговѣченъ, худой такой... Настю онъ очень любитъ.

За обѣдомъ всѣ молчали. Павла Андреевна переглядывалась съ мужемъ; Настя смотрѣла на затопленую печку и тихо сидѣла. На дворѣ шелъ дождь и билъ въ стекла.

Послѣ обѣда сейчасъ всѣ разошлись. Настя въ свою комнату ушла, а Павла Андреевна съ Эрастомъ Антиповичемъ въ его кабинетѣ еще долго между собой о чемъ-то совѣтовались и разговаривали шепотомъ.

Въ домѣ еще ничего не знали ни о чемъ, но всѣ насторожили уши, всѣ чего-то ждали.

V.

Павла Андреевна пришла къ Настѣ; не входя въ комнату, она остановилась у двери и поглядѣла. Настя сидѣла у окна. Ея бѣлыя плечи сжались, подбородокъ лежалъ на ладонкѣ; пальчиками она прижала себѣ губки, а локоткомъ

оперлась на подоконникъ; глаза ея смотрѣли задумчиво на вечернее, осеннее небо. Заря горѣла краснымъ свѣтомъ, и тучи были съ краснымъ отблескомъ, и дождевыя капли на повялой травѣ; на домахъ, на деревьяхъ, на заборахъ, всюду красный отблескъ.

— О чемъ это задумалась ты, Настя? спросила Павла Андреевна.

Настя вздрогнула и встала.

— Что же ты встаешь, Настя? Я вотъ къ тебѣ пришла, хочу поговорить съ тобою.

— О чемъ? быстро спросила Настя. Такъ спрашиваютъ люди, когда въ душѣ у нихъ живетъ что нибудь никому невѣдомое и имъ дорогое.

— О женихѣ, Настя.

Павла Андреевна улыбнулась, какъ могла веселѣй. Настя глядѣла на нее во все глаза.

— Сядь же Настя, сядь, сказала Павла Андреевна. Ну, сядь, я буду говорить.

Настя сѣла.

— Надо тебѣ непремѣнно пристроиться, Настя, начала Павла Андреевна. Ты сама знаешь... Не капризничай, мой дружокъ. Ты умная дѣвушка. Данило Самойловичъ такой чудесный человѣкъ. Онъ говорилъ сегодня и я... я говорила тоже, мой другъ.

При имени Данила Самойловича Настя нахмурилась и отвѣтила отрывисто:

— Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!

— Какъ нѣтъ, Настя? Подумай!

— Нѣтъ!

— Отчего же ты не хочешь? А, я знаю отчего ты не хочешь! Тебѣ нравится Крашовка.

Настя стала алѣй алаго цвѣтка, смѣшалась и словно оробѣла.

— Но за Крашовкой тебѣ не бывать, Настя! Я скорѣй умру, чѣмъ ты за нимъ будешь! говорила Павла Андреевна. Какой-то бѣднякъ, какой-то обманщикъ... какой-то...

— Не говорите такихъ словъ! вскрикнула Настя. Сму-

щенье ея прошло и робости ужъ не было; слезы заблестѣли у ней на глазахъ, она встала и головку высоко подняла.

— Нѣтъ, я буду говорить! кто жъ мнѣ запретитъ? Крашовка...

— Не говорите! вымолвила Настя.

— Я для тебя же говорю, что Крашовка самый ужасный человѣкъ.

Настя ушла изъ комнаты.

— Павла Андреевна сидѣла и кликала ее: Настя! Настя! Настя не воротилась.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой! какая дѣвушка! сказала Павла Андреевна, прокликавши понапрасну съ полчаса и пошла по всѣмъ комнатамъ звать: Настя! Настя! Насти не было.

— Да гдѣ же Настя? спросила Павла Андреевна у Химы.

— Куда-то ушла отвѣчала Хима.

— Куда жъ она ушла?

— Не знаю.

— Каково это тебѣ покажется, Эрастъ Антиповичъ? жаловалась ему Павла Андреевна. Настя и слушать меня не стала, ушла! Каково это тебѣ покажется?

— Не хорошо, не хорошо, отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ. Куда же она ушла?

— Каково это мнѣ переносить? Каково мнѣ переносить это, а?

— Однако куда же Настя ушла, Павла Андреевна? Куда?

Чьи-то шаги послышались. Это былъ Данило Самойловичъ.

— Гдѣ она? Гдѣ Настасья Михайловна? было его первое слово. Глаза его перебѣгали быстро, тревожно и мрачно съ лица Павлы Андреевны на лицо Эраста Антиповича.

— Она сейчасъ будетъ здѣсь, Данило Самойловичъ, сейчасъ. Садитесь, пожалуйста, садитесь, сказала Павла Андреевна.

— Она у Крашовки? Она тамъ! Она тамъ! проговорилъ Данило Самойловичъ.

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ, право нѣтъ! успокоивала его Павла Андреевна.

— Посылайте за нею, посылайте за нею, она тамъ! сказалъ Копыта.

Эрастъ Антиповичъ, что было отошелъ къ сторонкѣ, тутъ придвинулся ближе и спросилъ: а почему вы, Данило Самойловичъ, думаете, что Настя у Крашовки?

— Я видѣлъ, я видѣлъ, какъ кто-то вбѣжалъ къ нимъ въ комнатку—это была она! Посылайте же за нею!

— Ахъ, Боже мой! вымолвила Павла Андреевна.

— А можетъ и не она вбѣжала въ комнатку, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Она, она! Посылайте за ней! она тамъ!

Онъ такъ громко и гнѣвно проговорилъ послѣднія слова, что Павла Андреевна струсила, выбѣжала изъ комнаты съ словами: сейчасъ, сейчасъ посылаю и послала Химу за Настей къ Крашовкѣ.

Данило Самойловичъ тѣмъ временемъ метался по комнатѣ, какъ иногда звѣри въ клѣткахъ, а Эрастъ Антиповичъ на него украдкой поглядывалъ, помалчивалъ и что-то самъ про себя думалъ. Павла Андреевна воротилась къ нимъ и смирнехонько усѣлась въ уголку. Помолчавши, поглядѣвши, Павла Андреевна спросила.

— Что вы, Данило Самойловичъ, все устроивать начали? Домъ отдѣлывается?

Данило Самойловичъ не отвѣчалъ ей, онъ бросался отъ окна къ окну, выглядывалъ то въ то, то въ другое. Лицо у него и темнѣло, и блѣднѣло. Павла Андреевна не дождалась отвѣта и взглянула на мужа—онъ ей подалъ знакъ помолчать. Павла Андреевна была встревожена и послушалась мужа. Настало молчанье въ комнатѣ.

Настя шибко дошла до Крашовкинаго домика, постояла у дверей словно въ нерѣшимости—но рѣшилась и вошла.

Шибкая ходьба, смущенье, любовь такой блескъ придали ея глазамъ, такой румянецъ ея лицу!

Марѳа Петровна давно уже съ Настей обращалась бережно какъ съ птичкой раненой; она у ней не спросила, что съ нею, хотя видѣла, что съ нею что-то особенное, а стала ее разспрашивать о вечерѣ.

Григорій Гавриловичъ былъ тутъ. Настя встрѣтила

его глаза; глаза эти на нее глядѣли любя и, любя ее, спрашивали, что съ ней. Настѣ стало такъ на душѣ хорошо и полно; она сидѣла улыбалась и отвѣчала Марѳѣ Петровнѣ о чемъ ее спрашивала.

Мелася знала сама кое-что о вечерѣ и о гостяхъ что были на вечерѣ и вмѣшивалась тоже въ разговоръ.

— Славно освѣтили домъ, говорила она. Ясно такъ было, что хоть иголки сбирай. Купецъ Мироненко жаловался, что всѣ свѣчи изъ своей лавки туда пожертвовалъ; а пани одна тамъ была, такая толстая пани, что головы не можетъ она наклонить, длинный подбородокъ такой, что не допускаетъ— лихо да и только; такъ та пани только сидитъ да дышетъ, дышетъ... Паничи—были смотрятъ они словно молодые голуби изъ гнѣзда... Панночки умнѣй кажутся, наряженыя такія.

Послышалось стучанье въ окно.

— Кто бы это? сказала Марѳа Петровна. Мелася выбѣжала отворять.—Пришла Хима Настю домой звать. Павла Андреевна приказывала Настѣ сказать, чтобы она сейчасъ же шла.

Настя было вспыхнула, хотѣла заговорить, но утихла и взглянула на Григорія Гавриловича, что онъ скажетъ. Онъ ничего не говорилъ, но въ лицѣ перемѣнился. Марѳа Петровна спросила Химу, что такое случилось у нихъ?

— Ничего, слава Богу, отвѣчала Хима.

— У нихъ старый Копыта сидитъ! сказала Мелася. Правда, Хима?

— Правда, отвѣтила Хима.

— Я не пойду, сказала Настя, я не пойду домой. Скажи Павлѣ Андреевнѣ, Хима, что я еще посижу тутъ.

Настя говорила и при каждомъ словѣ взглядывала на Григорія Гавриловича, хорошо ли, такъ ли говоритъ она, какъ надо.

Хима ушла. Послѣ ея ухода разговоръ не завязался; всѣ были озабочены и примолкли. Настя скоро простилась и пошла домой. Григорій Гавриловичъ провожать ее пошелъ.

До заброшеннаго Хорошаевскаго сада они молча дошли, а тутъ Григорій Гавриловичъ остановился и спросилъ Настю.

— Васъ замужъ идти неволятъ?

— Я не пойду за него, отвѣчала Настя.

— А за меня? спросилъ Григорій Гавриловичъ потише.

— Пойду, былъ ему отвѣтъ тихій и страстный.

— Любимая моя! не боишься бѣдности?..

— Ничего! Ничего!

Онъ спрашивалъ, давно ли она его полюбила, она спрашивала, давно ли онъ ее—оба съ перваго вечера, съ перваго свиданія; вспомнили свое первое свиданье, вспомнили и вечерніе проводы, и всѣ свои думы, и все свое горе, и всякую радость свою. А время уходило. Въ вечерней темнотѣ кругомъ все блестѣло отъ бѣлаго морозу при свѣтѣ мѣсяца, что выбрался изъ тучъ и сіялъ съ неба.

— А ручки-то совсѣмъ похолоднѣли, говорилъ Григорій Гавриловичъ и въ теплую свою шапку пряталъ холодныя ручки и цѣловалъ ихъ. Настя смѣялась. Ее охватило всю какое-то счастіе, что освѣжало и укрѣпляло ее.

— Тебѣ будутъ жениха сватать, Настя, сказалъ Григорій Гавриловичъ.

— А у меня ужъ есть, я скажу, у меня есть женихъ.

— Прощай, мое сердце! Прощай, Настя! Любишь меня вѣрно?

— Люблю вѣрно, Гриша! Какъ я тебя люблю!

Не хотѣлось имъ разстаться, хоть плачь! Обѣщались завтра свидѣться пораньше, пораньше.

Настя дома застала всѣхъ въ смятеньи. Ужъ за нею послана была опять Хима и Эрастъ Антиповичъ самъ сбирался идти. Онъ былъ очень безпокоенъ; еще безпокойнѣй его была Павла Андреевна.

Настю въ дверяхъ встрѣтилъ Данило Самойловичъ и поглядѣлъ на нее страшно.

— Отчего вы такъ веселы? спросилъ онъ ее, сдерживая свой голосъ.

Настя вошла ясна и весела—она и на него посмотрѣла ясно и весело.

— Сядь, Настя, сказала Павла Андреевна.

Настя сѣла. Всѣ стояли вокругъ нея.

— Настя, сказала Павла Андреевна и взяла Данила Самойловича за руку—Настя, вотъ твой женихъ!

— Нѣтъ, отвѣчала Настя, у меня ужъ есть женихъ.

Она отвѣчала мягко, тихо; алая краска такъ и разливалась по ея нѣжному лицу.

Данило Самойловичъ весь задрожалъ; Павла Андреевна ахнула; Эрастъ Антиповичъ нахмурился.

— Кто жъ твой женихъ, Настя? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

Настя назвала по имени.

— Никогда! закричала Павла Андреевна, никогда этого не будетъ!

— Да постой, Павла Андреевна, сказалъ Эрастъ Антиповичъ, а ты Настя, не сердись, выслушай...

Но Настя не сердилась, а только сказала, что ни за кого не пойдетъ, кромѣ Григорія Гавриловича.

— Вотъ тебѣ женихъ! говорила Павла Андреевна и показывала на Данила Самойловича.

— Я ни за кого не пойду кромѣ Григорія Гавриловича, опять отвѣчала Настя.

— А если вы не будете за нимъ? Если вы его никогда больше не увидите? спросилъ Данило Самойловичъ какимъ-то дикимъ голосомъ.

Настя обратила на него глаза, какъ на страшилище.

— Я увижу его, проговорила она.

— Лучше его не раздражать, не сердить, шепталъ Эрастъ Антиповичъ Павлѣ Андреевнѣ.

— Я ужъ не знаю, что и дѣлать! сказала Павла Андреевна въ горѣ.

— Вы его не увидите! говорилъ Настѣ Данило Самойловичъ.

— Да, Настя, лучше забудь его! заговорила Павла Андреевна. Ты его не увидишь, я не допущу!

— Какъ вы не допустите? спросила Настя.

— Я не допущу! прошепталъ ей Данило Самойловичъ.

— Вы? Что это такое? Я не хочу здѣсь оставаться! я пойду отсюда.... я пойду къ нему... Настя встала и быстро подошла къ двери, но Данило Самойловичъ бросился впередъ

и загородилъ ей дверь; Павла Андреевна схватила ее за платье; Эрастъ Антиповичъ тоже подошелъ.

— Вы посмѣете? закричала Настя. Въ глазахъ у ней заблисталъ гнѣвъ, а губы бѣлѣли и дрожали отъ испуга.

— Да, я посмѣю! шепталъ Данило Самойловичъ. Я все посмѣю... я все...

— Пустите меня! Пустите меня! кричала Настя. Велите ему меня пустить, Павла Андреевна, велите ему!

— Ахъ, Настя! Ахъ, Настя! говорила Павла Андреевна.

— Полно, Настя, успокойся; сядь, мы поговоримъ—говорилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Я не хочу ни очемъ говорить! Пустите меня! Я не хочу больше быть у васъ! Вы обижаете меня, о, грѣхъ, грѣхъ! Недобрые вы люди! Вы не смѣете меня запирать!

— Нѣтъ, смѣю! Нѣтъ, смѣю! лепетала растерянная Павла Андреевна.

— Позвольте-ка, Данило Самойловичъ, сказалъ Эрастъ Антиповичъ, позвольте, я поговорю съ Настей.

Но Данило Самойловичъ шагу отъ двери не отступилъ.

— Всѣ предатели! Всѣ измѣнники! вскрикнула Настя. Что вы хотите со мной дѣлать? Она закрыла лице руками и зарыдала.

— Не плачь, Настя, не плачь! стала просить Павла Андреевна и сама стала плакать.

— Утро вечера мудренѣе, сказалъ Эрастъ Антиповичъ, а теперь спать пора. Иди-ка спать, Настя.

— Да, да, Настя, иди спать, иди! со слезами говорила Павла Андреевна.

Эрастъ Антиповичъ взялъ Настю за руку и повелъ ее, а Павла Андреевна за другую руку вела Настю. За ними шелъ Данило Самойловичъ.

Данило Самойловичъ за ними вошелъ и въ Настину комнату, подошелъ къ окну и осмотрѣлъ окно—окно было съ двойной рамой.

— Сядь, Настя, сядь, сказала Павла Андреевна.

— Ну, пойдемте, она заснетъ, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Настя! сказала Павла Андреевна. Настя не отвѣтила ей.

— Настя! повторила Павла Андреевна.

Опять не было отвѣта. И сколько она ни кликала, отвѣта все не было. Настя сидѣла, словно каменная.

— Пойдемте, пойдемте, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

Данило Самойловичъ хотѣлъ что-то сказать Настѣ и подошелъ къ ней близко—Настя вскочила и отбѣжала отъ него какъ отъ змѣи.

Всѣ ушли отъ Насти и людямъ было строго-на-строго приказано запереть ворота, никого чужаго не впускать безъ спросу, а Настю не выпускать.

Данило Самойловичъ настаивалъ, чтобъ Настю перевѣнчать съ нимъ силою. Эрастъ Антиповичъ уговаривалъ, что лучше подождать, лучше понемногу ее прiучить, склонить; Павла Андреевна то съ тѣмъ соглашалась, то съ другимъ, охала и призывала помощь Божью. Данило Самойловичъ на все твердилъ одно: скорѣй отдайте ее мнѣ! Скорѣй мнѣ ее отдайте! Берите за нее что вы хотите у меня—скорѣй отдайте ее мнѣ!

Порѣшили на томъ, что Данило Самойловичъ повезетъ Павлу Андреевну съ Настей въ свою деревню и тамъ съ Настей обвѣнчается. Черезъ три дня положили ѣхать—раньше нельзя было: въ городѣ онъ не держалъ и негдѣ было достать лошадей, ни экипажа—надо былъ послать за ними въ деревню, а до деревни отъ городу цѣлыхъ сто верстъ, да еще верстъ не мѣреныхъ.

На другой день Григорiй Гавриловичъ очень обрадовался, что солнце наконецъ-то взошло, и спѣшилъ на встрѣчу Настѣ.

— Ты идешь, Гриша? спросила его Мароа Петровна.

— Да, мама, отвѣтилъ онъ и быстро пошелъ по улицѣ.

Мароа Петровна смотрѣла на него изъ окошка пока ей видно было. Сколько жизни и радости, сколько нетерпѣнья и веселья у него на лицѣ играло! Дитя мое! проговорила она. Этимъ словомъ много, много добра просилось на его голову. А Григорiй Гавриловичъ дошелъ до самаго Малимоновскаго дома—Настя не встрѣчаетъ. Онъ постоялъ въ переулкѣ, прошелъ его изъ конца въ конецъ и опять воротился—все нѣтъ еще Насти. Онъ прошелъ въ Хорошаевскiй

садъ, гдѣ вчера онъ стоялъ и говорилъ съ нею — можетъ она тамъ ждетъ его; садъ весь насквозь былъ виденъ, листья съ деревьевъ облетѣли; свѣтъ и солнце пронизывались всюду—нѣту Насти. Да пока онъ тутъ, можетъ она идетъ тамъ теперь, прямо къ нимъ; онъ поспѣшилъ туда и домой пришелъ—ее нѣту. Въ нетерпѣньи онъ было опять выходилъ изъ дому и встрѣтилъ въ дверяхъ Меласю.

— Слава Богу! сказала Мелася, а я васъ ищу. Ахъ бѣдная панночка, несчастная панночка!

— Она жива? спросилъ Григорій Гавриловичъ. У него въ глазахъ помутилось и сердце упало.

— Что такое случилось, Мелася? Что такое? спрашивала Марѳа Петровна.

— Жива она? вскрикнулъ Григорій Гавриловичъ, гдѣ она?

— Жива, жива, бѣдняжка, отвѣчала Мелася, да что это за жизнь, когда ее заперли подъ замокъ, стерегутъ какъ преступницу, хотятъ отдать силой замужъ за стараго Копыту!

— Что ты, что ты, Мелася! сказала Марѳа Петровна. Это не правда!

— Это не правда! сказалъ Григорій Гавриловичъ. Скорѣе говори!

— О, ей-Богу, ей-Богу, правда истинная! Хима вырвалась на минутку, бѣжала къ намъ дать знать; я ее встрѣтила и отъ нея все узнала: говоритъ, панночка словно поблеклый цвѣтокъ и на свѣтъ Божій не глядитъ, и никого къ ней не пускаютъ.

Потомъ Мелася все подробно разсказала, что было у Малимоновыхъ.

— Погоди, Гриша, погоди! вскрикнула Марѳа Петровна. Она удержала сына за руку и съ тоской на него поглядѣла: онъ въ ту минуту похожъ сталъ на своего покойнаго отца, какъ двѣ капли воды—тотъ же гнѣвъ и рѣшимость въ глазахъ, та же красота и безстрашіе.

— Погоди, Гриша, подумай... Будь потише, Гриша, а то все дѣло погубишь... а то Настѣ не поможешь... Копыта

богачъ, онъ деньгами закупитъ, Малимоновъ въ городѣ начальникъ и родня Настѣ — какъ намъ противъ нихъ идти силой? Будь потише, Гриша, а то бѣда придетъ... Можетъ, они сами будутъ тебя вызывать на ссору; будь остороженъ, Гриша, сдержи себя, одолѣй себя! Гриша, слышишь ли?

— Все слышу, отвѣчалъ Григорій Гавриловичъ.

Марѳа Петровна держала его за руку и чувствовала, какъ рука эта дрожала; видѣла, что лицо у него бѣлѣй полотна было.

— Что жъ, Гриша, что ты думаешь? правду ли я говорю?

— Правду.

— Будь какъ можно тише, Гриша; если станутъ вызывать тебя, дразнить станутъ—перетерпи, перенеси все. Вѣдь они могутъ и тебя запереть, а пока ты оправдаешься...

— Да, могутъ и меня запереть! А пока оправдаюсь...

— Самъ видишь, что силой нельзя...

— Какая сила у насъ? сказалъ Григорій Гавриловичъ въ гнѣвѣ и въ тоскѣ—гдѣ она, сила? Гдѣ правда?

— Куда жъ ты, Гриша?

— Иду къ Малимоновымъ.

— Гриша, для Насти... помни.

— Я все помню, все.

Онъ пришелъ къ Малимоновымъ, его не пустили и въ ворота. У воротъ стоялъ самъ квартальный и сказалъ, что Эраста Антиповича ни подъ какимъ видомъ нельзя безпокоить и Павлу Андреевну тоже.

Прошли два десятскихъ по улицѣ и поклонились, квартальный кивнулъ имъ головой, а на Григорія Гавриловича глядѣлъ, щурился и усмѣхался.

Григорій Гавриловичъ воротился домой.

— Мелася, потише, не шуми, сказала Марѳа Петровна Меласѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчала ей Мелася шепотомъ, я смирно буду работать.

Настя сидѣла въ своей комнатѣ и плакала. Къ дверямъ

безпрестанно подходила Павла Андреевна и заглядывала въ замочную скважину.

— Что? спрашивалъ Данило Самойловичъ.

— Сидитъ одна одинехонька, отвѣчала Павла Андреевна печально.

— Сидитъ одна? Хорошо, хорошо, говорилъ Данило Самойловичъ.

— Плачетъ, бѣдняжка.

— Плачетъ? Хорошо, хорошо!

Эрастъ Антиповичъ былъ скученъ, похаживалъ изъ-угла въ уголъ и отъ времени до времени жену утѣшалъ, что все перемелется—мука будетъ.

На дворѣ пошелъ сильный снѣгъ; въ нѣсколько часовъ улицы завалило мягкими бѣлыми сугробами. Въ сумерки Григорій Гавриловичъ едва пробирался по узенькому переулочку. Небо все заволокло тучами, снѣгъ все еще шелъ; невидать было низенькихъ, бѣленькихъ домиковъ, только огоньки ясными точками поблескивали по сторонамъ.

Григорій Гавриловичъ добрался до одного домика, до низенькаго крылечка и постучался. Въ этомъ домикѣ жилъ Иванъ Савичъ Лепеха съ товарищемъ Васильемъ Николаевичемъ Солодкимъ. Иванъ Савичъ самъ отворилъ дверь и очень обрадовался, и будто съ этимъ вмѣстѣ встревожился.

— Ахъ это, ты, Гриша, ахъ, дружище!

Онъ повелъ его въ комнату и кричалъ Солодкому, что Гриша пришелъ.

— Э, э! милости просимъ, сказалъ Солодкій. Всѣ ли здоровы, Григорій Гавриловичъ?

У этого Солодкаго глаза и волосы чернѣе были чернаго ворона; поднималъ онъ пуды какъ перушки; видъ у него былъ важнѣй, чѣмъ у паши турецкаго; голосъ громче, чѣмъ у соборнаго дьякона; а нраву онъ былъ тихаго, услужливъ, уживчивъ; любилъ синицъ, почиталъ стариковъ и старушекъ; товарищъ онъ былъ вѣрный и преданный.

Иванъ Савичъ какъ получше взглянулъ на Григорія Гавриловича, такъ и вскрикнулъ:

— Ахъ, братикъ мой! Что съ тобою? На тебѣ лица живаго нѣту!

— Да, да, вы измѣнилиль, съ безпокойствомъ сказалъ Солодкій.

— Помогите мнѣ! промолвилъ Григорій Гавриловичъ.

— Что такое, другъ? Что, Гриша? Веди въ огонь и воду! отвѣтилъ Иванъ Савичъ.

— И я вамъ товарищъ, сказалъ Солодкій.

— Настасью Михайловну хотятъ силой замужъ отдать, помогите ее выручить!

У Ивана Савича побѣлѣло лицо, голосъ упалъ и онъ ужъ очень тихо спросилъ: почемъ ты знаешъ? А этотъ вопросъ сейчасъ же покрылъ другимъ: это точно правда?

Солодкій спросилъ, за кого ее идти неволятъ?

Григорій Гавриловичъ все имъ разсказалъ.

Солодкій съ участьемъ его слушалъ, съ участьемъ слушалъ и Иванъ Савичъ. Иванъ Савичъ глядѣлъ на Григорія Гавриловича словно что-то новое въ немъ видѣлъ; ясные его глаза затуманились; доброе и смѣлое лицо запечалилось.

— Если я пропаду, вы ей будьте защитой, просилъ Григорій Гавриловичъ. Не покиньте ее.

Стали совѣтоваться, что дѣлать.

— Силой ничего не возмешь, а пока жаловаться будемъ, да суда искать—ее десять разъ перевѣнчаютъ. Нѣтъ, время терять нельзя, говорилъ Солодкій, на жалобы, а надо Настасью Михайловну украсть у нихъ.

— Я знаю Якова, ихъ садовника, и всѣ люди ихъ намъ помогать станутъ—ее любятъ, сказалъ Иванъ Савичъ.

— Когда же? Когда же? спросилъ Григорій Гавриловичъ.

— Надо прежде всего вѣсточку Настасьѣ Михайловнѣ передать, а вамъ, Григорій Гавриловичъ, надо дома спрятаться, не показываться; мы слухъ распустимъ, что вы поѣхали въ губернію; они безпечнѣй будутъ.

— Да, да, говорилъ Ивинъ Савичъ, а Григорій Гавриловичъ говорилъ:

— Только скорѣй! Когда же? Скорѣй надо! Я лошадей достану...

— Нѣтъ, ужъ вы сидите смирно; станете вы лошадей доставать—дойдетъ, что вы въ городѣ, первое, а второе—ясно

имъ какъ день будетъ, зачѣмъ вы лошадей достаете. Нѣтъ, вы ужъ дома посидите, а мы съ Иваномъ все уладимъ. Да, Иванъ?

— Да, да, мы все уладимъ, отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

— А теперь пойдемте, посмотримъ каково Настасью Михайловну берегутъ и стерегутъ; ночь непогожая, съумѣемъ отъ всякаго глаза укрыться.

Они пошли къ Малимоновскому дому. Съ улицы были ставни закрыты, а у Малимоновыхъ ставни плотно закрывались, ничего не видно было. Они зашли съ другой стороны, съ переулка, отъ сада; сквозь падающій снѣгъ, сквозь деревья мерцало освѣщенное окошко.

— Это ея окно свѣтится, сказалъ Григорій Гавриловичъ.

Иванъ Савичъ зналъ, что это окошко ея.

Осмотрѣли садовую ограду—не высока, легко можно перелѣзть.

Григорій Гавриловичъ перепрыгнулъ въ садъ, за нимъ товарищи и стали подбираться къ окошку.

Залаяли со двора собаки.

— Воротитесь, воротитесь, а то все пропадетъ, сказалъ Солодкій. Слышите, голоса! Насъ переловятъ.

Они воротились и вышли изъ саду.

— Григорій Гавриловичъ, сидите жъ вы дома, а мы будемъ все улаживать и васъ будемъ увѣдомлять, говорилъ Солодкій.

— Да, Гриша, сиди дома, а мы все уладимъ. Завтра я подговорю Якова, завтра лошадей достану, завтра передадимъ Настасьѣ Михайловнѣ вѣсть; ты будь спокоенъ — все сдѣлаю, все.

Иванъ Савичъ похожъ былъ на того казака молодаго, что въ первый разъ противъ Татаръ вышелъ: сначала сердце сжалось, умъ помутился, а оглядѣлся молодой казакъ — сталъ удалѣе старыхъ.

Товарищи простились и разошлись.

Григорій Гавриловичъ въ эту ночь не ложился. Марѳа Петровна не напомнила ему, что спать пора, она сама не ложилась—работала. И мать, и сынъ сидѣли такъ терпѣливо, такъ тихо, что ихъ не слышно было совсѣмъ. Сынъ

смотрѣлъ въ землю; онъ на это время забылъ о матери, онъ мучился своимъ сердечнымъ горемъ, своими тревогами, думалъ о любимой дѣвушкѣ; мать часто на него смотрѣла, тревожилась и горевала за него.

VI.

На другой день Иванъ Савичъ Лепеха съ утренней зари прохаживался по переулочку, гдѣ стоялъ домикъ съ темной лавочкой; въ этой лавочкѣ продавался табакъ курительный, смушевыя шапки, красные пояса, бублики, нитки,—все это продавала женщина лѣтъ тридцати, такая свѣжая, здоровая и веселая; она дѣлала честь выбору своего мужа, что время отъ времени показывался около нея въ лавочкѣ и глядѣлъ на проходящихъ съ какою-то лукавою усмѣшкою—эта усмѣшка словно говоритъ: а кто умнѣе-то! вы или я? Лавочку содержала Яковова кума и онъ всегда ходилъ сюда за табакомъ, затѣмъ чтобы ему старую шапку починили, затѣмъ чтобы поторговать другія шапки, затѣмъ чтобы спросить, скоро ли будетъ свѣжій табакъ, или просто Яковъ ни зачѣмъ придетъ и скажетъ, что совсѣмъ онъ и не сбирался, а вотъ пришелъ, котъ его знаетъ за какой радостью. И дня ни одного не проходило, чтобы Яковъ не побывалъ у кумы въ лавочкѣ.

Тутъ недалеко отъ лавочки Иванъ Савичъ и подождалъ Якова. У Ивана Савича хотя глаза немножко и запали, а глядѣли и блестѣли живо и бодро; можетъ тоже кое-какія мысли жгли его голову—онъ часто снималъ шапку и встряхивалъ волосами. День былъ холодный, ясный, солнечный, холодъ освѣжалъ его голову и облегчалъ.

Часа можетъ два ждалъ Иванъ Савичъ пока Яковъ показался издали. Яковъ шелъ тихо, съ трубкой въ зубахъ; на головѣ у него высокая сивая шапка, на плечахъ накинута черная свита, а руки запущены въ карманы широкихъ синихъ шароваръ. Еще издали ясно обозначились длин-

ные усы сѣдые, большія черныя брови и между бровями глубокая угрюмая морщина.

Иванъ Савичъ пошелъ на встрѣчу ему.

— Здорово, Яковъ, сказалъ Иванъ Савичъ. Яковъ, другъ! мнѣ надо съ тобой словцо перемолвить.

Яковъ шапку снялъ, остановился и слушалъ. Ни участья, ни любопытства не видно было на его лицѣ. Онъ должно быть только изъ учтивости смотрѣлъ на Ивана Савича своими мрачными глазами.

— Ты не выдашь меня, Яковъ?

Яковъ отвѣтилъ:—нѣтъ.

Иванъ Савичъ расказалъ ему все дѣло и просилъ его помощи.

— Я тебѣ, Яковъ, самъ сослужу всякую службу!

— Спасибо вамъ за вашу доброту непокупную, сказалъ Яковъ важно и урюмо.

— Помоги же, Яковъ, помоги!

— Въ чемъ помогать?

— Не мѣшай доброму дѣлу, Яковъ!

— Какому дѣлу?

— Эхъ, Яковъ, не мучь, дружище! Я вѣдь все тебѣ толкомъ расказалъ, что жъ ты еще спрашиваешь? Ты лишнихъ людей удали, собакъ запри, дай знать мнѣ, въ какую пору лучше можно подобраться къ панночкину окошку; ты какъ думаешь, съ вечера или на разсвѣтѣ, или ночью?

— О чемъ это вы спрашиваете? Когда красть сподручнѣй? Слыхалъ я, люди говорили, что лучше всего красть съ вечера, а я не знаю—ничего на вѣку не кралъ.

— Съ вечера? Такъ мы съ вечера проберемся черезъ садъ, подъ окошко...

— Какое окошко, спрашиваете? Извѣстно, окошко крѣпкое, хорошее, съ двойной рамой.

— Ахъ, вотъ было изъ головы вонъ, что рамы-то двойныя! Спасибо, Яковъ, что надоумилъ.

— Панночка? Я не знаю, что панночка знаетъ и чего не знаетъ. Мнѣ извѣстно только, что всѣ панночки насколько опрометчивы, настолько и трусливы.

— Да, да, надо увѣдомить панночку сегодня. Ты скажи Химѣ—Хима вѣдь хорошая дѣвушка?

— Дѣвушка, какъ дѣвушка,а хорошая ли, я почемъ знаю? Я на ней женатъ не былъ.

— Она не выдастъ панночку? Ты переговори съ ней, Яковъ...

— Съ кѣмъ мнѣ говорить?

— Да съ Химою.

— Объ чемъ мнѣ съ Химой говорить?

— Ахъ, Боже мой, Яковъ, сердце ты мое! Вышли Химу ко мнѣ—я ее буду ждать подъ ихъ садомъ.

Яковъ курилъ трубку и молчалъ.

Иванъ Савичъ опять повторилъ то же. Яковъ выслушалъ, какъ птичье пѣнье.

— Гдѣ же мнѣ увидѣть Химу, Яковъ?

— Я не знаю, гдѣ ее увидѣть. Кого надо видѣть, того подстерегаютъ.

— Хорошо, я подстерегу ее, а ты помоги. Яковъ, голубчикъ мой, помоги, пожалуйста! Собакъ-то запри!

Яковъ Ивану Савичу поклонился и пошелъ.

— Ну, прощай, Яковъ, дружище! Спасибо тебѣ, спасибо! сказалъ ему вслѣдъ Иванъ Савичъ.

Яковъ зашелъ къ кумѣ въ лавочку.

— О чемъ это вы толковали съ паничемъ Лепехою? спросила кума.

— А табакъ у васъ хорошій? спросилъ у ней Яковъ.

Кума больше не допытывалась и сказала, что табакъ у ней хорошій.

— Лошади будутъ и сани,—лошади чудесные! Этими словами встрѣтилъ Солодкій Ивана Савича.

— Гдѣ ты досталъ? спросилъ Иванъ Савичъ.

— У Робоча на хуторѣ. Робочъ славный человѣкъ, товарищу и душу свою отдать готовъ. Сейчасъ справилъ сани и лошадей и самъ кучеромъ назывался. Ты, говорю ему, править не умѣешь,—я буду самъ за кучера. А у тебя ладится, Иванъ?

— Понемножку, Василій, понемножку.

Потолковали еще объ удачѣ, о погодѣ.

Иванъ Савичъ скоро смолкъ и задумался, а Солодкій все говорилъ, хвалилъ невѣстину красоту, загодя смѣялся надъ Копытою, осуждалъ Малимоновыхъ.

— А знаешь, Иванъ, сказалъ онъ, завидна мнѣ такая невѣста, какъ Настасья Михайловна. Милая дѣвушка! Одно время я думалъ, что ты...

— Было—прошло—отвѣчалъ Иванъ Савичъ спокойно, хотя спокоенъ онъ былъ не совсѣмъ.

— Не будетъ Ганя, будетъ другая, это правда, сказалъ Солодкій. А нашимъ молодымъ дай Богъ долю и счастье; пусть живутъ долго здоровы и благополучны!

— Дай Богъ долгаго счастья и здоровья! отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

— А мы пока и одни поживемъ на свѣтѣ, Иванъ! сказалъ Солодкій.

— Поживемъ, Василь! отвѣчалъ Иванъ Савичъ и поглядѣлъ вокругъ. Маленькая, убогая комнатка, крошечное слѣпое окошечко на улицу; улица занесена снѣгомъ—чуть виденъ рядъ домиковъ; улица пуста, домики тихи. Сердце пуще заныло у него.

— А знаешь, Василь, нехорошъ нашъ городокъ! сказалъ Иванъ Савичъ.

— А чѣмъ же онъ хуже другихъ? спросилъ Солодкій.

— И жизнь наша нехороша, говорилъ свое Иванъ Савичъ и сталъ шагать по комнаткѣ изъ угла въ уголъ взадъ и впередъ. А чѣмъ жизнь скрасить? Какъ выбраться изъ этого городка?

Иванъ Савичъ остановился.

— Не дай Богъ никому бѣднякомъ быть! сказалъ онъ и опять сталъ ходить по комнаткѣ.

— При бѣдности если здоровье плохое да семья большая—такъ бѣда! сказалъ Солодкій.

— Въ прежніе времена войны частыя бывали, говорилъ Иванъ Савичъ. Шли люди на войну, бились, рубились, а теперь дѣться некуда; негдѣ, нечѣмъ горя размыкать!

— А на войну такъ и я бы пошелъ, сказалъ Солодкій.

— Весь вѣкъ-то изживи такъ: служи въ здѣшнемъ су-

дѣ, веселись въ здѣшнемъ городкѣ, говорилъ Иванъ Савичъ. Экая комнатка тѣсная! Ей-Богу на гробъ похожа!

Иванъ Савичъ пересталъ ходить, сѣлъ около Солодкаго и голову на руки склонилъ.

— Что это ты, Иванъ, затужилъ такъ? спросилъ Солодкій.

— Да вѣдь все это правда, другъ сердечный, святая правда!

Иванъ Савичъ всталъ и взялъ шапку.

— Куда жъ ты, Иванъ? спросилъ его Солодкій.

— Пойду Химу подстерегать. И ушелъ.

— Приходи скорѣе, Иванъ, крикнулъ ему вслѣдъ Солодкій.

— Скоро приду, отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

Солодкій вышелъ на крылечко и проводилъ товарища глазами пока онъ скрылся. Въ глазахъ у Солодкаго видна была забота и безпокойство.

Иванъ Савичъ побродилъ по городку пока смерклось, передумалъ много думъ, перетерпѣлъ много боли сердечной, а въ сумерки онъ ждалъ въ переулкѣ, пока Хима вышла изъ воротъ. Хима шибко шла.

— Хима! Хима! покликалъ потихоньку Иванъ Савичъ.

Хима услыхала, остановилась.

— Хима, любишь ли ты панночку? спросилъ Иванъ Савичъ.

— Люблю, отвѣтила ему Хима и ждала, что дальше ей скажутъ.

Иванъ Савичъ ей все расказалъ. Хима отвѣтила:

— Спасибо вамъ, спасибо, что за сироту заступились! Я ей вѣсточку передамъ... ужъ я ухитрюсь... къ ней теперь войдти трудно, а поговорить съ ней еще труднѣй—подглядываютъ, подслушиваютъ... Да я ужъ ухитрюсь!

— А что Настасья Михайловна здорова? спросилъ Иванъ Савичъ.

— Не жалуется.

— Очень скучаетъ?

— Очень, очень, очень!

Иванъ Савичъ вздохнулъ и было притихъ, но вдругъ словно какъ опомнился, встрепенулся и проговорилъ:

— Такъ ждите насъ, ждите! Сегодня вечеромъ ждите!

— Хорошо, хорошо, отвѣчала Хима. Прощайте, меня ужъ вѣрно хватились дома; пани посылала за бѣлымъ хлѣбомъ теперь и твердила: скорѣй, скорѣй! Выручайте панночку, выручайте, сказала Хима и убѣжала.

Иванъ Савичъ пришелъ къ домику Крашовки. Оглянулся, нѣтъ ли кого на улицѣ—улица была пуста; онъ вошелъ въ калитку. Его встрѣтила Мелася.

— А, сказала она, такъ это васъ ждутъ! Идите, идите скорѣе, милости вашей просимъ. Мы ужъ глаза проглядѣли васъ дожидаючи!

Григорій Гавриловичъ и Марѳа Петровна услыхали и встрѣчали ужъ сами. Они глядѣли на него и ждали его слова. У Ивана Савича не нашлось сразу голосу и комната закружилась у него въ глазахъ. Потомъ онъ сказалъ: все готово, Гриша. Сегодня.

— Ночью? проговорилъ Григорій Гавриловичъ.

— Нѣтъ, съ вечеру попозднѣе.

— Въ которомъ часу?

— Черезъ два часа будь у насъ.

Иванъ Савичъ воротился домой и утѣшилъ своего заботливаго товарища веселымъ лицемъ и шутками.

Солодкій былъ доволенъ; такъ доволенъ, что даже у него немножко обычной важности пропало.

— Мы казацкаго роду, говорилъ Солодкій.

— У насъ тоска не загостится, мы ее спровадимъ скоро, но казацки! По казацки, лихомъ объ землю!

— А знаешь, что я еще придумалъ? сказалъ Иванъ Савичъ. Онъ понизилъ голосъ и сказалъ, что придумалъ.

Солодкій засмѣялся.

— А что, хорошо будетъ? спросилъ Иванъ Савичъ.

— Хорошо, Иванъ, очень хорошо! только держи ухо востро!

У Малимоновыхъ все было печально. До Эраста Антиповича дошло, что Крашовка уѣхалъ въ губернію. Эрастъ Антиповичъ этимъ обезпокоился: у него въ губерніи былъ давній врагъ, и этотъ врагъ только ждалъ случая, даже не случая, а только повода прицѣпиться.

Павла Андреевна ходила огорченная и смущенная; ей было тошно заглянуть къ Настѣ. Настя съ тоской у ней спрашивала:

— Что я вамъ сдѣлала? Или вы не знаете, какъ мнѣ тяжело? Или вамъ весело мучить дѣвушку? За что вы меня погубить хотите?

— Ахъ, какъ она горюетъ! какъ она, бѣдная, горюетъ! говорила Павла Андреевна Копытѣ.

Копыта ей ничего не отвѣчалъ, только все мрачнѣй да мрачнѣй на нее взглядывалъ, а когда она говорила Эрасту Антиповичу, Эрастъ Антиповичъ ей отвѣчалъ, что снявши голову по волосамъ не плачутъ, что теперь поздно сокрушаться.

— Да жалко мнѣ ее! говорила Павла Андреевна.

— Что жъ дѣлать что жалко? Жалко не жалко, а за Копыту отдавай, коли не хочешь, чтобъ онъ насъ всѣхъ съ лица земли стеръ!

— Ахъ, Эрастъ Антиповичъ! ужъ онъ мнѣ разъ пригрозилъ!

— Мнѣ не грозилъ, да я его и безъ грозьбы насквозь вижу, что онъ за птица. Кто знаетъ, какъ примется Крашовкина жалоба. Придерутся къ тому, что сироту притѣсняю да и пойдутъ ни-вѣсть чего доискиваться... и если Копыта не заступится... Теперь дѣло въ томъ, чтобы онъ заступился.

— Онъ заступится! сказала Павла Андреевна. Я ручаюсь!

— Не ручайся и за себя, не только что за стараго скрягу!

— Онъ всегда обѣщалъ...

— Ну, ну. Нечего дѣлать, будемъ уповать на доброе!

— Ахъ, я Настѣ счастья желала! Я желаю ей счастья!

— Чего жъ пищишь-то Павла Андреевна! Я вѣрю тебѣ! эхъ!

Тихонько отворилась дверь въ Настину комнатку и тихохонько вошла Хима, и дала знакъ молчать; подошла къ Настѣ, обняла, крѣпко поцѣловала.

— Хима, бѣги туда... бѣги къ нему... скажи ему... заговорила Настя и гнала Химу изъ комнатки.

— Не тоскуйте, не плачьте, шептала Хима, погодите.

— Ахъ, Хима! я не видала его давно! Иди, скажи ему!

Ты не знаешь, какая я несчастная... Иди, иди къ нему...

— Тише, тише! Онъ придетъ...

Ахъ, тише, тише! Услышутъ—все тогда пропало!

— Гдѣ онъ? гдѣ? Когда придетъ?

— Сядьте смирно, слушайте смирно, смирно! смирно!

— Настя молила: скажи, скажи!

— Сегодня вечеромъ придетъ онъ подъ ваше окно; тише, тише! Онъ придетъ съ товарищами и васъ украдетъ, тише. Скажите, что голова болитъ, идите пораньше... помните, все надо тихо, тихо!

— Да, да, да, повторяла Настя.

Дрожала она вся какъ листокъ.

— Поспокойнѣй глядите, говорила Хима, чтобъ ни въ чемъ незаподозрили.

Послышались шаги Павлы Андреевны. Хима взяла въ руки стаканъ съ водой. Вошла Павла Андреевна.

— Ты, Настя, воду пьешь? спросила она какъ виноватая. Хочешь сыропу?

— Я нездорова, проговорила Настя.

— Ахъ, Боже! что жъ у тебя болитъ?

— Голова болитъ.

— Ахъ, Боже мой! ахъ, Боже мой! Ты, Настя, лягъ; ты Настя усни!

— Да, да, идите, я лягу, отвѣчала Настя, идите, я лягу.

Павла Андреевна и Хима ушли.

— Настя нездорова, сказала Павла Андреевна въ гостиной, тамъ былъ Копыта, и Эрастъ Антиповичъ, оба сидѣли молча. Копыта вскочилъ: больна, больна? проговорилъ онъ.

— Что такое съ нею? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Ахъ, у ней голова болитъ. Она спать легла.

— Выспится и пройдетъ—голова это не опасно, сказалъ Эрастъ Антиповичъ. Не безпокойтесь, Данило Самойловичъ.

Данило Самойловичъ посидѣлъ еще у нихъ недолго, не говоря ни слова, и ушелъ домой въ свою непріютную комнату. Онъ былъ очень угрюмъ, мраченъ и гнѣвенъ. Каждый день прожитый ложился на него, какъ гора; ему было все душнѣй, все тошнѣй. Его жгло безпокойство, нетерпѣнье; его ревность терзала.

Былъ десятый часъ вечера на исходѣ. Павла Андреевна сидѣла съ Эрастомъ Антиповичемъ вдвоемъ.

Оба были скучны очень.

— Господи, какъ у меня тяжело что-то на сердцѣ! сказала Павла Андреевна.

На это Эрастъ Антиповичъ ничего не отвѣчалъ.

— И тебѣ тяжело? спросила она его, а?

— Эхъ, Павла Андреевна! проговорилъ Эрастъ Антиповичъ.

Постучались у дверей съ улицы.

— Кто-то стучится, слышишь? сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Кого это принесло!

— Кто бы это? Не Данило ли Самойловичъ? сказала Павла Андреевна.

Эрастъ Антиповичъ взялъ свѣчу и пошелъ отворять. Павла Андреевна выглядывала изъ-за дверей.

Вошелъ полный, чернобородый человѣкъ, высокаго росту, въ синемъ долгополомъ кафтанѣ, съ виду купецъ. Онъ снялъ съ головы бархатный картузъ и низко Эрасту Антиповичу поклонился.

— Начальника ли города сподобилъ Богъ меня увидать передъ собою, сказалъ этотъ человѣкъ. Онъ говорилъ словно не своимъ голосомъ, какъ-то глухо, изъ горла.

— Кто вы такой? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Купецъ Решетовъ изъ П. Батюшка, сахаромъ тамъ торгую.

— Что вамъ угодно?

— Извините, что осмѣлился къ вамъ явиться поздно; опоздалъ, батюшка, опоздалъ. Потому опоздалъ, что лошадь у меня коренная захромала...

— Что же вамъ отъ меня надо?

— Да обидѣлъ меня вашъ купецъ Желтуха. Я пріѣхалъ на него суда просить.

— У насъ купецъ Желтуха хорошій человѣкъ, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Какъ вамъ угодно, батюшка, только онъ меня оби-

дѣлъ. Явите надъ нами правосудіе, я за провосудіе тысячи не пожалѣю!

— Да войдите въ комнату, въ гостиную, что жъ мы тутъ стоимъ?

Эрастъ Антиповичъ ввелъ купца въ гостиную, показалъ на Павлу Андреевну и сказалъ: жена моя—купецъ ей поклонился въ поясъ, а Павла Андреевна ему поклонилась ласково.

— Садитесь, прошу покорно, сказалъ Эрастъ Антиповичъ купцу, какъ ваше имя отчество?

— Еремѣй Еремѣичъ Решетовъ, батюшка.

— А! изъ великой Россіи?

— Точно такъ-съ.

— Я самъ изъ великой Россіи.

— А давно, батюшка?

— Какъ же не давно-то... лѣтъ ужъ тридцать живу здѣсь.

— И хорошо, батюшка, живете?

— Живется помаленьку.

— А супруга не изволитъ скучать?

— Ничего.

— Скучаю! проговорила Павла Андреевна. У насъ городокъ невеселый.

— Ярмарокъ видно не бываетъ, сударыня? спросилъ купецъ.

— Пустыя ярмарки, сказалъ Эрастъ Антиповичъ. Ну, разсказывайте свое дѣло. Поди, Павла Андреевна, не мѣшай намъ.

— Помилуйте, отъ вашей супруги какая жъ помѣха? Останьтесь, сударыня, останьтесь! говорилъ купецъ.

Павла Андреевна осталась.

— Ну, разсказывайте, настаивалъ Эрастъ Антиповичъ: купецъ сталъ разсказывать и разсказывалъ онъ медленно чрезвычайно, что называется зимовалъ на каждомъ словѣ, приплеталъ къ разсказу своихъ родныхъ и знакомыхъ, пожары прошлогодніе, цѣны настоящія, будущій конецъ свѣта...

Эраста Антиповича уже нетерпѣнье брало, какъ вдругъ купецъ всталъ, поклонился и сказалъ: я привезъ вамъ, ба-

тюшка, двадцать головокъ сахару, не побрезгайте моимъ усердіемъ.

— Покорно благодарю, Еремѣй Еремѣичъ, отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ. Покорно благодарю!

— У меня тутъ подъ воротами паробокъ стоитъ—позвольте, я ему крикну.

— Хорошо, Еремѣй Еремѣичъ, хорошо, крикните.

Купецъ вышелъ проворно и крикнулъ громко; сейчасъ же показался паробокъ съ головами сахару на плечахъ.

— Экой азіатъ у васъ паробокъ-то! сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Да-съ именно азіатъ. Позвольте тутъ въ прихожей сахаръ сложить?

— Хорошо, хорошо, я вамъ посвѣчу.

Эрастъ Антиповичъ свѣтилъ, паробокъ носилъ и складывалъ сахарныя головы, а купецъ считалъ—насчиталъ двадцать и опять Эрасту Антиповичу поклонился, потомъ поклонился Павлѣ Андреевнѣ, что стояла тутъ-же, а на паробка махнулъ рукою, велѣлъ ему идти на постоялый дворъ. Паробокъ ушелъ.

Эрастъ Антиповичъ и Павла Андреевна оба поблагодарила купца.

— А дѣла-то все-таки не разсказали! Разсказывайте, говорилъ Эрастъ Антиповичъ.

Купецъ опять принялся свое дѣло разсказывать...

— Одѣвайтесь потеплѣй, на дворѣ морозъ такой, что звѣзды пляшутъ, шептала Хима Настѣ.

— Придутъ ли они, придутъ ли?

— Ждите, ждите, будьте готовы. Прощайте! Счастливаго пути, хорошаго, веселаго житья!

Дѣвушки обнялись и долго цѣловали другъ друга.

Хима ушла и затворила двери.

Настя стала прислушиваться и ждать. Какой шумъ, какой звукъ или отголосокъ ни донесется къ ней по холодному вечернему воздуху—отъ всего она вздрагиваетъ и ждетъ, ждетъ... Ей то жарко, то холодно. Вдругъ шаги... быстрые, быстрые шаги... Это онъ!

— Настя! Настя!

— Я жду, я жду! отвѣчаетъ Настя. Онъ подрѣзываетъ раму, Господи, какъ страшно! Рама вынута.

— Настя, отвори, отвори.

Настя дрожащими руками отворяетъ окно... отворила! Григорій Гавриловичъ схватываетъ ее на руки и она въ саду. Они бѣгутъ рука съ рукой по саду, къ оградѣ. За оградой сани тройкой. Григорій Гавриловичъ переноситъ Настю черезъ ограду; они садятся въ сани и сани летятъ стрѣлой; снѣгъ взвизгиваетъ подъ полозьями; звѣзды ярко мигаютъ на небѣ; сердце еще трепещетъ отъ недавнихъ страховъ и ужъ полно радостью.

А въ гостиной у Малимоновыхъ купецъ свое дѣло разсказалъ, по его разсказу купецъ Желтуха у него обманомъ сахаръ перекупилъ.

— Заступитесь, батюшка, за меня! просилъ купецъ.

— Гмъ! отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Я не пожалѣю и тысячи, только бы мнѣ своему обидчику отплатить.

— Не унывайте, Еремѣй Еремѣичъ, отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ, положитесь на меня.

— На васъ вся моя недежда, батюшка, сказалъ купецъ.

— А знаете ли, что мнѣ ваше лицо ужасно знакомо—я гдѣ-то васъ должно быть встрѣчалъ, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Много чести, отвѣтилъ купецъ съ поклономъ.

— И мнѣ знакомо, сказала Павла Андреевна.

— Много чести, сударыня, отвѣтилъ ей купецъ тоже съ поклономъ.

— Только вотъ голосъ у васъ... голосъ какой-то незнакомый... сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

— Простуда можетъ? спросила Павла Андреевна.

— Да-съ, простуда, отвѣчалъ купецъ.

На улицѣ послышалась веселая пѣсня. Кто-то пѣлъ очень весело: «Ой бувъ та нема».

Купецъ сталъ откланиваться и прощаться.

— Приходите завтра, говорилъ ему Эрастъ Антиповичъ.

— Приходите, сказала Павла Андреевна.

— Не премину, отвѣчалъ купецъ, не премину-съ.

Купецъ ушелъ, а Павла Андреевна сказала: Такъ скучно теперь, что всякому я рада. Пока былъ купецъ, все лучше, а теперь опять тоска. И спать не хочется.

— Ужъ поздно, пора спать, отвѣчалъ Эрастъ Антиповичъ. Смотри-ка, скоро полночъ.

Ночъ прошла, наступило утро.

— Ахъ, что это такое! вскрикнула Павла Андреевна.

— Гдѣ? что? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Ахъ, здѣсь... сахаръ... ахъ, Боже мой!

Въ прихожей вода текла ручьями. Яркое солнышко весего свѣтило въ окна; весело трещала затопленная печь, а отъ вчерашняго приношенія, отъ головъ сахару остались только мокрая синяя бумага, да куски обтаявшаго снѣга.

Эрастъ Антиповичъ глазамъ своимъ не вѣрилъ; онъ стоялъ какъ громомъ пораженный нѣсколько минутъ. Павла Андреевна покамѣстъ ахала, ахала, удивлялась, спрашивала и терялась въ догадкахъ.

— Что Настя? вдругъ спросилъ Эрастъ Антиповичъ.

— Она вѣрно спитъ, я ее еще невидала сегодня.

— Поди къ ней... поди, погляди сейчасъ.

— Зачѣмъ?

— Поди, поди... И Эрастъ Антиповичъ самъ поспѣшно пошелъ за нею къ Настѣ.

Комната Насти пуста. Окно настежъ.

— Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! заахала Павла Андреевна.

— Ну, пришла бѣда, отворяй ворота! сказалъ Эрастъ Антиповичъ.

Созвали людей, никто ничего не знаетъ, не вѣдаетъ; никто ничего не слыхалъ, не видалъ.

Пришелъ Данило Самойловичъ.

— Ахъ, Данило Самойловичъ! проговорила Павла Андреевна. Ахъ, Данило Самойловичъ!

— Что такое? Что случилось? вскрикнулъ Данило Самойловичъ и поблѣднѣлъ какъ мертвецъ.

— Насти нѣтъ! Настю украли!

У Данилы Самойловича все въ глазахъ померкло.

— Ахъ, Боже мой! онъ умираетъ, закричала Павла Андреевна.

Эрастъ Антиповичъ было бросился его поддержать, но Данило Самойловичъ оттолкнулъ его отъ себя и выбѣжалъ. Онъ прибѣжалъ домой и закричалъ: «лошадей, лошадей!»

— Лошади еще не пришли изъ деревни, отвѣчала ему Ганка.

Онъ сталъ какъ безумный, бросалъ деньги пригоршнями и кричалъ лошадей! Ганка испугалась и спряталась отъ него.

Онъ побѣжалъ опять къ Малимоновымъ съ тѣми же криками—лошадей! Тамъ со страху сейчасъ ему дали лошадь и санки—онъ бросился въ нихъ и немилосердно погналъ лошадь, помчался по первой дорогѣ, что попалась.

Къ утру бѣглецы пріѣхали въ село Гуньки, прямо къ попу на широкій дворъ. Наймитъ бросилъ дрова рубить, наймичка бросила коромысло; молодой попъ съ попадьей выбѣжали на встрѣчу.

— Все у васъ готово? спросилъ Солодкій.

— Все готово, отвѣчалъ молодой попъ.

— Ну, такъ съ Богомъ! пойдемте въ церковь.

И пошли въ церковь.

Въ маленькой, вѣтхонькой церквѣ и перевѣнчались.

Настю послѣ безсонныхъ ночей и тревогъ клонилъ сильный сонъ; рѣзвыя ножки ея подкашивались; не то довелъ, не то донесъ ее молодой до саней и посадилъ усталую, иззябшую и счастливую. Она слышала, словно въ полудремотѣ, въ полуснѣ, какъ попъ пріятнымъ, тонкимъ голосомъ желаетъ многія лѣта, а за нимъ подхватываетъ дьяконъ и дьячокъ басами—она слышала, но сама ни слова не могла вымолвить. Глаза ея закрывались отъ блеска синяго неба, отъ яркаго бѣлаго снѣга, отъ сіяющаго солнца.

— Бѣдняжка, какъ измучилась, слышала Настя милый голосъ и хотѣла сказать: мнѣ хорошо,—уста ея не промолвили, хотѣла хотя взглянуть—глаза не открылись. Сладко и крѣпко она уснула.

Молодые были въ бѣгахъ двѣ недѣли. Они прятались на хуторѣ у Робоча, у пріятеля Солодкаго, въ тепломъ и свѣтломъ домикѣ.

Робочъ былъ радушный, добрый и веселый человѣкъ; къ тому же онъ любилъ всякія необыкновенныя происшествія

и тѣшился ими. Онъ былъ радъ гостямъ своимъ; ужасно хлопоталъ каждый день объ обѣдѣ, спорилъ по дому съ своей старушкой кухаркой и всякій разъ подъ конецъ спора сулилъ ей купить хорошій платокъ на голову или чоботы новые, или еще что нибудь. Кухарка не терпѣла, когда съ ней спорили, но у ней было пристрастіе къ новымъ платкамъ съ каймой, къ новымъ чоботамъ, ко всему новому, а самое главное она была женщина добрая, никому печали не хотѣла; молодость, любовь и красота очень трогали ея сердце тоже — поэтому всему обѣды были чудесные и гостей угощали то тѣмъ, то другимъ. Робочъ даже накупилъ пѣвчихъ птичекъ, чтобъ въ домѣ было веселѣй; накупилъ красныхъ скатертей и хрустальныхъ стакановъ, чтобы было праздничнѣй; онъ нашелъ какого-то стараго скрипача, чтобы игралъ разныя веселыя вещи и самъ иногда танцовалъ завернувши вверхъ длинные свои усы. Робочъ съ большой грустью простился съ молодыми, а молодые пріѣхали въ городъ, поселились у матери, и всѣ вмѣстѣ тихонько зажили. Черноусый Василь расказывалъ, что тамъ въ домѣ счастливо съ утра и до вечера и говорилъ тоже черноусый Василь, что и ему давно пора жениться, и что онъ рѣшилъ— какъ выйдетъ ему годъ у хозяина, такъ онъ и женится.

Хима украдкой прибѣгала къ молодымъ и оттуда возвращалась такая веселая, довольная; и кухарка побывала тамъ, и дѣвочка Ганка—а послѣ у нихъ о молодыхъ были разговоры шепотомъ долгіе и пріятные, даже Яковъ мимо домика прошелъ и когда кланялся молодымъ, такъ усмѣхнулся.

Павла Андреевна скоро перестала сердиться и пожелала видѣть Настю, но Эрастъ Антиповичъ этого не допустилъ: онъ говорилъ, что боится Копыты, что ждетъ его со дня на день, что Копыта будетъ мстить и ему, когда узнаетъ, что они въ дружбѣ съ молодыми. Павла Андреевна слушалась, плакала и жаловалась.

— Копыта пропалъ, чего жъ его бояться, говорила она.

Надо сказать, что Копыта, какъ поѣхалъ въ догонку за молодыми, такъ съ той поры словно въ воду канулъ. Не было слуху ни о лошади, ни о санкахъ Малимоновыхъ.

Кромѣ того, что боялся Эрастъ Антиповичъ Копыты,

онъ не могъ ни забыть, ни простить надъ собой насмѣшки, хотя на другое сердце у него было отходчивое.

— Не стыдно тебѣ сердиться такъ долго? спрашивала его Павла Андреевна.

— Я ихъ не трогаю, пусть же Бога за это благодарятъ; а вотъ Лепехѣ и Солодкому я объ себѣ какъ нибудь да напомню. За сахаръ хотя медомъ имъ отплачу!

Да не удалось ничѣмъ отплатить.

Послѣ смѣху и шутокъ, и переодѣванья, на Лепеху опять тоска напала, да еще больше, еще несноснѣй: онъ раздумывалъ, совѣтовался съ Солодкимъ и наконецъ положилъ идти далѣе и счастья поискать гдѣ нибудь подальше. Собрался онъ идти въ Одессу. Солодкій не отсталъ отъ товарища и заказалъ себѣ съ нимъ одинаковые сапоги на дорогу.

— Что жъ вы думаете? спрашивали у нихъ молодые при прощаньи.

У нихъ было думъ много: можетъ поступятъ матросами, поѣдутъ по морю въ чужія страны; можетъ проберутся въ Крымъ; можетъ въ полкъ пойдутъ...

— Дай Богъ счастья во всемъ! говорили имъ провожатые. Дай Богъ всего добраго! И долго повторялось имъ въ слѣдъ: счастья, счастья! добраго, всего добраго!

— Счастія намъ желаютъ, всего добраго намъ желаютъ, сказалъ Лепеха товарищу, когда они шли по дорогѣ подъ весеннимъ солнышкомъ—словно счастье и все доброе только стоитъ поднять на пути да въ карманъ положить!

— Конечно, не всякому дается, отвѣчалъ Солодкій ему, а за хорошее желанье спасибо имъ; видишь ли, они намъ пожелали, что самимъ имъ Богъ далъ — они счастливы и намъ того жъ пожелали.

Иванъ Савичъ вспомнилъ какъ они счастливы. Глядятъ такъ смѣло и ясно, говорятъ такъ тихо и нѣжно... Думалось ему: уйдетъ, такъ будетъ ему легче, а вотъ ушелъ стало будто тяжело и всего стало жалко: жалко молодыхъ, счастливыхъ ихъ лицъ не видать; жалко хозяйки-старушки спокойной, твердой и доброй; жалко веселыхъ тамошнихъ рѣ-

чей и лукавой Меласи жалко, и бѣлаго домика ихъ, и зеленаго садика.

О Копытѣ стали слухи ходить, что его чортъ унесъ съ собою, что все его золото вспыхнуло и перегорѣло въ уголья, что у него въ домѣ воетъ кто-то по ночамъ; удивлялись, какъ старая Ганка въ такомъ домѣ живетъ и стали на нее посматривать не только съ жалостью, какъ бывало, а посматривали и со страхомъ.

А вправду-то въ домѣ было тихо словно въ могилѣ; одинокая старая Ганка чинила да перечинивала свою ветхую одежину, болѣла безъ помощи и одиноко ждала, когда ее Богъ приберетъ, когда ее земля возьметъ.

Вдругъ лѣтомъ, нежданно пріѣхалъ Копыта; еще худѣй, еще угрюмѣй онъ былъ. Вошелъ въ домъ, отперъ замки, пересчиталъ деньги, пересмотрѣлъ всѣ пожитки; онъ пробылъ два дня дома—никого не видалъ, никуда не пошелъ.

Въ эти два дня Ганка старая слышала, какъ онъ стоналъ и у нея морозъ пробѣгалъ по кожѣ при этихъ стонахъ—страшно было, жаль было. Черезъ два дня Копыта уѣхалъ въ дальній свой хуторъ. Онъ жилъ тамъ какъ колдунъ — одинъ всегда, всегда золъ и немилостивъ. Сперва домъ въ городѣ онъ продалъ, потомъ продалъ всѣ свои имѣнья, забралъ деньги; живетъ въ хуторкѣ, всѣхъ пугаетъ, самъ всего боится, считаетъ и охраняетъ свою золотую казну, подозрѣваетъ старую Ганку въ злыхъ умыслахъ, въ кражѣ, грозитъ ей и сулитъ страшное мщенье.

Ганка все еще служитъ ему; ее еще земля не взяла, еще Богъ не прибралъ.

МАРКО ВОВЧОКЪ.

76

Эпилогъ къ пѣснямъ.

Изъ Гейне.

Какъ лѣтомъ колосья на нивѣ,
Въ умѣ человѣческомъ зрѣютъ,
Ростутъ и волнуются мысли.
А завѣтныя мысли поэтовъ
Подобны цвѣткамъ, и лазурнымъ и алымъ,
Пестрѣющимъ между колосьевъ.

Цвѣтки пригожіе! васъ топчетъ жнецъ суровый
И вырываетъ съ плевелами вонъ;
Порой нещадно бьетъ васъ цѣпъ дубовый...
И даже праздный вѣтрогонъ,
Встрѣчающій васъ лаской и привѣтомъ,
Любующійся вашей красотой,
Подчасъ, сомнительно качая головой,
Зоветъ васъ милымъ пустоцвѣтомъ.

За то красавица, плетущая вѣнки,
Не забываетъ васъ, гонимые цвѣтки:
Она сорветъ васъ ручкой благосклонной,
На молодой груди продлитъ вамъ лѣтній зной,
Украситъ вами локонъ золотой,
На пляски рѣзвыя спѣша на лугъ зеленый,
Гдѣ скрипка съ флейтою такъ сладостно звучатъ;
Или подъ тѣнь гостепріимныхъ липокъ,
Гдѣ голосъ милаго отраднѣе сто кратъ
И флейтъ и скрипокъ.

В. ЯКОВЛЕВЪ.

АРИШУШКА.

V.

Прошелъ годъ. Петръ Петровичъ съ женой живетъ въ Петербургѣ; онъ занимаетъ великолѣпную квартиру, дѣлаетъ вечера, обѣды, въ домѣ его съ утра до ночи толпятся гости, одни лица смѣняются другими. Кто по дѣлу, кто отъ бездѣлья, съ парднымъ визитомъ, съ низкимъ поклономъ, съ всенижайшей просьбой. Время идетъ быстро, незамѣтно, не то что въ деревнѣ; пройдетъ день и останется отъ него въ головѣ шумъ, тягость, хаосъ какой-то, даже отчета не можешь дать себѣ, что́ въ теченіи этого дня занимало, тревожило тебя, какими вопросами интересовался умъ, какимъ чувствомъ билось сердце—всего понемножку, всего отвѣдалъ, да ничѣмъ не насытился. Петръ Петровичъ сталъ еще величественнѣе, еще эффектнѣе; стоило взглянуть на него, когда онъ послѣ изящнаго обѣда, развалясь въ большомъ мягкомъ креслѣ передъ пылающимъ каминомъ, чинно бесѣдовалъ съ окружающими его гостями. Съ какою увѣренностью въ собственной непогрѣшимости говорилъ онъ, какъ вытянувъ впередъ нижнюю губу курилъ сигару, щурилъ глаза и сплевывалъ на сторону, какъ выходилъ въ пріемную, какъ склонивъ голову, терпѣливо, съ думой на лицѣ, выслушивалъ

просителя, какъ звуками безъ словъ отвѣчалъ на его поклоны и слезы, какъ читалъ наставленія младшимъ, какъ трактовалъ съ родными, преданными ему старушками и прочее. Во всѣхъ этихъ случаяхъ Петръ Петровичъ становился выше самого себя, выше всякаго описанія,—орелъ да и все тутъ. Лице его сіяло такимъ весельемъ, такимъ внутреннимъ самодовольствомъ, что простой, обыкновенный человѣкъ, взглянувши на него въ подобную минуту, чувствовалъ и страхъ. и благоговѣніе, и удивленіе, и что-то такое пріятное, замирающее въ крови, бѣгающее по тѣлу. Не всегда впрочемъ Петръ Петровичъ драпировался этимъ театральнымъ эффектомъ: иногда, замѣтно для самого себя, онъ спускался съ ходуль и становился простымъ, ворчливымъ, мелочнымъ старикомъ.

Въ послѣднее время въ характерѣ его начала выказываться какая-то незамѣтная прежде, старческая раздражительность, почти злоба, недовѣріе ко всему окружающему. Онъ безпрестанно на что нибудь сердился, безпрестанно придирался то къ тому, то къ другому и наказывалъ виновнаго иногда черезъ-чуръ жестоко. Увидитъ стулъ не на мѣстѣ—бѣда, трубку не скоро подадутъ—опять бѣда, за обѣдомъ поваръ кушанье пересолитъ, дрова въ печкѣ затрещатъ, у кучера лошадь захромаетъ, кто нибудь изъ прислуги взглянетъ не такъ,—все равно, бѣда всему дому, всѣмъ, кто на глаза попадется. Ему казалось, что всѣ обманываютъ, обворовываютъ, даже разоряютъ его; и странное дѣло—Петръ Петровичъ иногда сорилъ деньгами, давалъ въ долгъ безъ отдачи, помогалъ даже постороннимъ лицамъ, какъ будто хотѣлъ прославить себя, удивить всѣхъ своимъ богатствомъ, своею щедростью и вдругъ придирался къ какому нибудь самому мелочному домашнему расходу, къ сальной свѣчкѣ, къ людскому черному хлѣбу и тому подобнымъ предметамъ; точно грошами, оторванными отъ необходимости, хотѣлъ замѣнить летѣвшія для тщеславія тысячи. Крѣпостной человѣкъ Колотырникова, исправлявшій должность лакея, за одно подозрѣніе въ кражѣ съ барскаго стола двугривеннаго, попалъ въ солдаты; старая женщина, лѣтъ двадцать пять прожившая въ домѣ, за излишнюю трату кофея, сослана въ

дальнюю деревню; комнатный мальчикъ, пойманный съ двумя кусками господскаго сахару, былъ больно высѣченъ. Вся прислуга трепетала, ходила на цыпочкахъ, не знала какъ угодить барину, какъ глядѣть на него, какимъ средствомъ избавиться отъ незаслуженныхъ подозрѣній и все напрасно: всякій день новая напасть, новые жестокіе удары. Только иногда, временно, Петръ Петровичъ бросалъ эти домашнія дрязги, онъ какъ будто забывалъ все въ домѣ, не сіялъ, не блестѣлъ даже, говорилъ иначе, хмурился, ежился, сказывался нездоровымъ, никого не принималъ къ себѣ и по цѣлымъ днямъ или ходилъ взадъ и впередъ по своему кабинету, или лежалъ на диванѣ; а приходило время и, не надолго заснувшій левъ, снова вступалъ въ права свои, принималъ свой прежній образъ, становился еще большей грозой— чѣмъ-то неимовѣрно гордымъ, почти недосягаемымъ. На Аринушку Петръ Петровичъ, казалось, махнулъ рукой, совершенно забылъ про нее: ему было все равно—весела она или печальна, здорова или больна, существуетъ или нѣтъ. Въ первое время по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ вывозилъ жену, пышно, богато наряжалъ ее, представлялъ роднымъ и знакомымъ, заставлялъ играть нѣкоторую роль, училъ что и какъ говорить, какъ гдѣ держать себя, съ кѣмъ быть особенно обходительной; но этимъ наружнымъ показомъ, этою парадною, блестящею выставкою супруги кончились всѣ обязанности мужа; онъ даже не зналъ, какъ проводитъ время жена его, что дѣлаетъ, дома она или нѣтъ; иной день совершенно не видался съ ней, иногда видался мелькомъ или случайно, или въ установленный часъ обѣда, завтрака; говорилъ тогда, когда поневолѣ приходилось говорить, да и то или отдавалъ приказанія, или ворчалъ на что нибудь, или передавалъ какую нибудь самую пустую, обыденную новость.

— Завтра Змѣйкины звали; тебѣ нужно ѣхать, говорилъ онъ отрывисто, даже не глядя на Аринушку.

— Хорошо, отвѣчала послѣдняя.

— Морозъ сегодня, градусовъ двадцать есть, замѣчалъ Петръ Петровичъ. А?.. добавлялъ онъ вопросительно.

— Я ничего не говорю, попрежнему отвѣчала Арина Сергѣевна.

*

— Знаю, что ничего! произносилъ супругъ продолжительно зѣвая и вдругъ, какъ-бы почувствовавъ внезапное влеченіе къ брани, перемѣнялъ тонъ, хмурилъ лицо.

— А здѣсь что-то холодно. Я этого мерзавца, Андрюшку, топить выучу; онъ, свинья, барскіе дрова продаетъ, мошенничаетъ, на конюшнѣ давно не былъ... Холодно здѣсь, очень холодно! добавлялъ онъ, обращаясь къ женѣ, какъ будто что-то приказывалъ ей.

— Не знаю какъ вамъ,—мнѣ не холодно, замѣчала послѣдняя.

— Какъ не холодно, вздоръ!.. Мнѣ холодно, вздору терпѣть не могу. Не холодно,—зябнетъ сама, замерзла совсѣмъ, вонъ и руки красныя! Богъ знаетъ почему заключалъ Петръ Петровичъ.

Подобнаго содержанія разговоръ возобновлялся каждый разъ, когда только мужъ удостоивалъ разговоромъ жену свою.

Несмотря на это видимое отчужденіе, на сухость, даже жесткость обращенія, Петръ Петровичъ нисколько не былъ сердитъ на Аринушку; сердиться было не за что, она только стояла у него въ сторонѣ, тамъ гдѣ-то на послѣднемъ планѣ, въ тѣни, какъ вещь не новая, давно всѣмъ извѣстная. Ему даже и въ голову не приходило, что эта жена могла быть чѣмъ нибудь недовольна, что ей недостаетъ чего-то, что онъ обращается съ ней не совсѣмъ по-человѣчески. Напротивъ, еслибы случилось поспорить, Колотырниковъ увѣрилъ бы всѣхъ и каждаго, что онъ мужъ примѣрный, образцовый, ласковый, предупредительный; что всякая женщина, соединившая съ нимъ судьбу свою, должна быть непремѣнно счастлива. Въ самомъ дѣлѣ, чего жъ больше? Законъ исполненъ, всѣ формы, всѣ приличія соблюдены, живетъ въ теплѣ, сыта, одѣта, обута, ни заботъ, ни горя не знаетъ! Не жизнь, а блаженство!

Дѣйствительно, судя по наружности, Петръ Петровичъ и не ошибался; Арина Сергѣевна не охала, не вздыхала, не жаловалась, при постороннихъ людяхъ улыбалась, казалась довольно спокойною; жизнь ея походила на какой-то тяжелый, продолжительный сонъ. По цѣлымъ днямъ сидѣла она, запершись въ своей отдаленной, простенькой спальнѣ, нико-

го не видала, ни съ кѣмъ не говорила; да и съ кѣмъ было говорить ей? Роднымъ и знакомымъ мужа она не нравилась: они тотчасъ узнали всю подноготную ея дѣвичества, завидовали, важничали передъ ней, иногда украдкой кололи ей глаза, а нѣкоторые просто, чуть не отвернувшись отъ нея, соблюдали только установленныя правила вѣжливости, то есть кланялись, спрашивали о здоровьи, да не хотя звали къ себѣ въ гости. Аринушка, съ своей стороны, не старалась заискивать ихъ расположенія, не навязывалась на ихъ дружбу; она даже рада была ихъ отчужденію, потому что не видѣла между ними ни одного человѣка близкаго, равнаго себѣ, думающаго одинаково съ нею, не слышала ни одного живаго, искренняго слова; всѣ ихъ движенія, всѣ чувства вѣяли какимъ-то холодомъ, были непонятны для Арины Сергѣевны, даже непріятно, болѣзненно дѣйствовали на ея нервы.

Она бы рада была совершенно не ѣздить къ нимъ, избавиться отъ ихъ докучныхъ, чопорныхъ посѣщеній, но мужъ или тащилъ ее съ собою, или заставлялъ сдѣлать какой нибудь церемонный визитъ, и она волею или неволею исполняла приказаніе, повиновалась какъ автоматъ, одѣвалась, ѣхала; дома при гостяхъ играла роль ключницы, бѣгала, хлопотала; въ гостяхъ, при мужѣ, безъ мужа, оставалась на второмъ планѣ, странною, неловкою, всѣми забытою, и только возвратясь къ себѣ въ комнату легко, свободно вздыхала.

Не мудрено, что при такой жизни, при такой отдѣльности отъ всего окружающаго, Аринушка стала искать сочувствія въ обществѣ низшемъ себя, въ людяхъ угнетенныхъ, загнанныхъ. Въ этихъ людяхъ она какъ бы отыскивала свое отраженіе, свою судьбу злосчастную, видѣла въ нихъ что-то родное, близкое, подобное самой себѣ и дѣлилась съ ними всѣмъ тѣмъ, что камнемъ давило душу, чѣмъ ныло сердце. Часто она какъ-то дружески, фамиліарно, совсѣмъ не по барски разговаривала то съ однимъ, то съ другимъ членомъ своей прислуги, вызывала его на откровенность, прислушивалась къ его боли, къ его страданіямъ. Единственнымъ, лучшимъ другомъ ея была горничная Татьяна, простая крѣпостная дѣвушка, съ рябымъ некрасивымъ лицемъ, вывезенная изъ сельца Петровокъ; съ ней она неразлучалась ни

днемъ, ни ночью, любила ее какъ сестру родную, плакала, раскрывала предъ ней свою душу и сердце.

—Садись, Таня, садись, голубушка, не стой передо мной, говорила она обыкновенно, когда горничная дичилась, я не хочу, чтобы ты стояла—не барыня я тебѣ; какая я барыня, не хочу, не умѣю барыней быть; люби ты меня, люби, Христа ради!.. Я для тебя все сдѣлаю, все... упрошу на волю отпустить... люби меня только! Татьяна не знала, что говорить, краснѣла, мѣшалась, боялась опуститься на стулъ, боялась стоять и съ сожалѣніемъ, смѣшаннымъ со страхомъ, смотрѣла на свою барыню.

За то прислуга съ своей стороны боготворила Арину Сергѣевну, видѣла въ ней свою заступу, свое спасеніе, хотя заступы въ дѣйствительности совсѣмъ не было. Часто провинившійся лакей или кучеръ выпрашивалъ у ней замолвить милостивое слово передъ Петромъ Петровичемъ. Въ такомъ случаѣ Аринушка совершенно терялась, не знала, что отвѣчать, что дѣлать; сердце ея ныло, душа болѣла, рвалась оказать помощь и знала, что оказать ее не въ состояніи.

— Что я могу сдѣлать тебѣ... Я скажу, все скажу, только онъ не послушаетъ меня, право не послушаетъ... Не такой человѣкъ онъ, говорила она какимъ-то оправдательнымъ тономъ, стараясь избѣгнуть умоляющихъ взглядовъ просителя; а разъ, дѣйствительно, попробовала смягчить Петра Петровича, но получила страшный выговоръ и, со стыдомъ, вся въ слезахъ удалилась въ спальню.

Да и не одна домашняя прислуга пользовалась особеннымъ, милостивымъ расположеніемъ Арины Сергѣевны; она часто приводила съ улицы, съ церковной паперти какую нибудь искаженную горемъ старуху-бабу, поила, кормила, отогрѣвала ее, давала денегъ, плакала, слушая ее разсказы, а потомъ какъ будто радовалась, что нашла такую несчастную.

Иногда, по цѣлымъ днямъ, Аринушка оставалась одна одинешенька, всѣхъ гнала отъ себя, неисключая и Татьяны, забывала все и сосредоточивалась въ самой себѣ. Въ это время она даже не одѣвалась, не чесалась, ничего не пила,

не ѣла, ей все становилось противнымъ, несноснымъ, тяго-стнымъ; по нѣскольку часовъ сряду она сидѣла безъ всякаго движенія, подперевъ обѣими руками голову, сердце ея сильно билось, лице горѣло, глаза блуждали, точно искали чего-то и не могли ни на чемъ остановиться; невыносимая, мучительная тоска давила грудь ея. Иногда, лежа на кровати, забившись въ подушки, она стонала почти рыдая, потомъ въ какомъ-то изнеможеніи, распростершись на полу передъ образомъ, замирающимъ шопотомъ призывала къ себѣ Бога на помощь, а иногда, напротивъ, молитва тяготила ее, не шла ей на умъ: она сидѣла оцѣпенѣвши, холодная, блѣдная, дрожала, и своими черными глазами безучастно смотрѣла на висѣвшій въ углу образъ.

Въ эти минуты ей чего-то недоставало; казалось, какая-то внутренняя пустота мѣшала ей жить, требовала пищи, воздуха. Въ эти минуты Аринушка готова была куда нибудь броситься, совершить что нибудь страшное, необычайное, лишь бы заглушить свои страданія, чѣмъ нибудь разогнать ихъ, утолить свою нестерпимую жажду. Умъ ея перебѣгалъ съ предмета на предметъ, припоминалъ все видѣнное, слышанное, уста шептали слова Романа Семеныча: «Сердце свободно; у сердца нѣтъ ни закона, ни приличія»; воображеніе рисовало какіе-то новые, незнакомые, чудные образы, и къ этимъ образамъ стремилась Аринушка, протягивала къ нимъ руки, мысленно отдавалась имъ, звала ихъ, вся переносилась въ нихъ, забывалась мечтою и мечтою была счастлива.

Однажды, за полночь, когда въ домѣ все спало, Арина Сергѣевна, опустивъ голову и обнявъ колѣни руками, сидѣла въ раздумьи на своей кровати. На полу, въ изголовьи ея, скорчившись подъ одѣяломъ, лежала горничная Татьяна. Въ комнатѣ было совершенно тихо. Тусклая лампада передъ образомъ слабо освѣщала ее.

— Таня? вдругъ прошептала Аринушка.

Горничная встрепенулась и высунула изъ-подъ одѣяла голову.

— Вы кликнули, сударыня? спросила она.

— Не называй меня сударыней... Неужели и этой мило-

сти нельзя сдѣлать; мнѣ противно это слово, меня давитъ оно—я хочу быть Аринушкой, хочу быть равной тебѣ.

Горничная ничего не отвѣчала.

— Помнишь, Таня, ты разсказывала—продолжала Арина Сергѣевна съ разстановкой—что какая-то замужняя женщина полюбила посторонняго мущину, бѣжала отъ мужа, а потомъ удавилась со стыда, съ горя... отчего это, чего боялась, чего стыдилась она?

— Какъ чего?.. отъ мужа-то... грѣхъ!

— Вѣдь она же любила, ее замужъ силой выдали; сердце нельзя молчать заставить, нельзя передѣлать его—въ сердцѣ Богъ!.. она можетъ и не хотѣла бѣжать, да бѣжала, остановиться не могла, сердце приказало... Чего же стыдиться тутъ? добавила она вопросительно и, помолчавъ, продолжала: я бы не стыдилась, не боялась, нечего мнѣ стыдиться, я бы далеко бѣжала..; я тоже должна бѣжать, должна любить кого нибудь, не знаю почему, должна только, такъ Богъ велѣлъ, такъ Богъ создалъ меня... Что, что я замужемъ, я обману мужа, пусть люди ненавидятъ, презираютъ меня, пусть преступницей назовутъ—мнѣ все равно; сердце выше ихъ, что мнѣ съ нимъ дѣлать, если оно меня тянетъ, зоветъ, тащитъ куда-то; я удержаться не въ силахъ, да и зачѣмъ удерживаться, погубитъ оно меня—пусть губитъ, я безъ того погибла. Что мнѣ въ жизни этой, она смерти хуже... я хочу зла себѣ! заключила Аринушка, и на глазахъ ея блеснули слезы.

— Господи, страсти какія, Господи, Іисусе Христе! крестясь, шептала Татьяна и со страхомъ глядѣла на госпожу свою.

— Время пришло! продолжала послѣдняя какимъ-то восторженнымъ, задыхающимся отъ внутренняго волненія голосомъ. Пора, пора сбросить съ себя эту волю чуждую, пора человѣкомъ быть, женщиной, пора любить!.. Кого?.. шепни ты мнѣ Таня, научи ты меня! Все мнѣ грезится кто-то такой добрый, свѣтлый, съ кудрями черными, глаза его блестятъ, щеки горятъ, изъ устъ пламенемъ пышетъ; я слышу голосъ его: онъ зоветъ меня, онъ плачетъ вмѣстѣ со мною, гдѣ онъ?.. отыщи мнѣ его... онъ близко, близко, онъ здѣсь гдѣ-то; я люблю его, я пропаду вмѣстѣ съ нимъ, съ нимъ

сгублю себя, съ нимъ на дно пойду; въ немъ радость, въ немъ бѣда моя!.. Она замолчала и тяжело дышала; глаза ея сверкали въ полумракѣ.

— Съ нами крестная сила?.. Молитву сотворите... Это все дьяволъ смущаетъ, грѣху учитъ! произнесла горничная.

— Дьяволъ такъ дьяволъ, все равно, я ему отдамся! рѣшительно отвѣтила Аринушка.

Татьяна вздрогнула и вторично перекрестилась.

— Таня!—нѣсколько помолчавъ, спокойнѣе прежняго заговорила Арина Сергѣевна—помнишь ты была въ гостяхъ, на вечерѣ на какомъ-то, не помню я, ты сказывала, что веселилась много?

— У писаря на имянинахъ была, равнодушно отвѣтила горничная.

— Ты скоро опять въ такіе гости пойдешь, тебѣ хорошо, опять веселиться будешь?

— Пойду... чиновникъ тутъ живетъ, изъ простыхъ онъ, у нихъ балъ будетъ, звали намедни.

— Таня, возьми меня съ собой, вдругъ произнесла Аринушка.

Горничная съ удивленіемъ посмотрѣла на нее.

— Что это вы говорите, Арина Сергѣевна, нешто вамъ можно въ такіе гости идти.

— Я хочу идти, я сама такая; мнѣ душно, я веселиться хочу, хочу людей видѣть, хочу все забыть!

— Вы съ бариномъ поѣзжайте, тамъ лучше.

— Тамъ хуже, Таня... тамъ противно, гадко, несносно; тамъ всѣ притворяются, тамъ не веселятся, а только бранятъ, ненавидятъ другъ друга; я веселья хочу, хочу захлебнуться имъ, задохнуться, съ ума сойти! Возьми меня, Таня, возьми, голубушка, я одѣнусь просто, ситцевое платье надѣну, никто не узнаетъ меня; я назовусь твоей сестрой, твоимъ другомъ, чѣмъ хочешь! Таня, Таня, возьми меня!

Она вдругъ спустилась съ кровати, схватила горничную за руки, и долго умоляющими глазами глядѣла на нее.

Татьяна не знала, что отвѣчать.

— Господь съ вами, только бѣду себѣ наживешь! Слыханое ли дѣло... сраму не оберешься!

— Бѣду... я рада бѣдѣ, я какую хочешь бѣду снесу, сама ее выдумаю, какъ-то радостно отвѣтила Аринушка. Нѣтъ, ты должна меня взять, я тебѣ приказываю, я хочу такъ; не возьмешь—я одна пойду, одна дорогу найду, хуже будетъ; я одна отвѣчаю за все, добавила она повелительно.

— Какъ знаете, страшно только... покорно прошептала горничная.

Аринушка быстро нагнулась и крѣпко поцѣловала ее.

Татьяна вздрогнула и отняла свою голову.

— У васъ губы каленыя, вы нездоровы? съ испугомъ замѣтила она.

— Жарко здѣсь, я вся горю, вся въ огнѣ словно! отвѣтила Арина Сергѣевна, отняла свои руки, встала и повалилась на кровать.

Татьяна еще нѣсколько минутъ просидѣла на тюфякѣ своемъ, потомъ перекрестилась, прошептала какую-то молитву, тихо зѣвнула и свернулась подъ одѣяломъ кренделемъ.

Арина Сергѣевна всю ночь бредила. Она не спала, а только дремала; внутренній жаръ мучилъ ее, она безпрестанно вздрагивала, вскакивала на постелѣ, тревожно осматривалась вокругъ себя, пугливо къ чему-то прислушивалась и снова ложилась. Всю ночь ей мерещились какія-то фантастическія лица, ей казалось, что чье-то горячее дыханіе жгло лице ея, чья-то крѣпкая рука давила ея руку, чей-то голосъ шепталъ надъ ея ухомъ. Утромъ Аринушка встала такая блѣдная, изнеможенная, что даже Петръ Петровичъ, за чаемъ, вздумалъ освѣдомиться о ея здоровьи.

Нѣсколько дней спустя, въ тускло освѣщенной небольшой комнатѣ, наполненной облаками табачнаго дыма, съ растрескавшимся ходячимъ поломъ, съ грязными закоптѣлыми стѣнами, подъ звуки разбитаго фортепьяно, контрабаса, да пискливой скрипки, нѣсколько человѣкъ мущинъ и женщинъ дружно, весело, непринужденно выдѣлывали одну изъ фигуръ французской кадрили. Раскраснѣвшіяся, мокрыя ихъ лица доказывали, что они танцовали давно, до упаду. Какой-то франтъ въ венгеркѣ, съ длинными, сильно напомаженными волосами, схвативъ подъ руки двухъ краснощекихъ и красношейныхъ дамъ, выдѣлывалъ

такое чудное соло, что всѣ зрители обступившіе кадриль апплодировали и громко хохотали. Другой, по платью, военный человѣкъ, неистово стучалъ каблуками; третій, немного нагрузившійся господинъ, старался передѣлать кадриль во что-то національное. Нѣкоторые гости тѣснились около стола съ водками и закусками, другіе, большею частью дѣвицы, чинно улыбались, сидя на стульяхъ вдоль стѣнъ комнаты и, только угрожаемые новымъ неистовымъ соло, со страхомъ пятились назадъ и подбирали подъ себя ноги. Подгулявшіе кавалеры отчаянно шумѣли, точно хотѣли перекричать другъ друга; въ сосѣдней комнатѣ чей-то голосъ безцеремонно затягивалъ: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; старыя, дородныя тетушки, съ чепцами и платками на головахъ, весь вечеръ угощавшіяся какимъ-то сладенькимъ, отпускали такія остроты или высказывались съ такою откровенностью, что даже нѣкоторые, болѣе скромные и трезвые мущины потупляли глаза и тихо подсмѣивались надъ бойкими старушками. Смѣхъ, говоръ, музыка, дергающая за нервы, стукъ и шарканье ногами, звонъ тарелокъ и рюмокъ не умолкали ни на секунду, сливаясь въ одинъ несвязный шумъ, похожій на настраиваніе инструментовъ въ оркестрѣ.

Арина Сергѣевна въ простомъ ситцевомъ платьѣ сидѣла въ углу; она изъ подлобья съ нѣкоторымъ любопытствомъ, смѣшаннымъ со страхомъ, глядѣла на все происходившее; щеки ея раскраснѣлись, на губахъ мелькала какая-то принужденная улыбка. Рядомъ съ ней помѣщалась Таня.

— Какъ шумно здѣсь, душно, воздухъ такой, головѣ тяжело—тихо говорила первая, поводя своими черными глазами.

— Это съ непривычки вамъ. Можетъ домой пора, спросила вторая.

— Нѣтъ, все равно, заодно ужъ посмотримъ, что дальше будетъ... Нужно знать, какъ люди живутъ

Подскочившій, весь вспотѣвшій кавалеръ, въ свѣтло бронзовомъ фракѣ и гороховыхъ брюкахъ, нарушилъ разговоръ.

— Пермете, на пятую кадриль? нахально произнесъ онъ, подставляя кренделемъ свою руку и обращаясь къ Аринушкѣ.

Она невольно вздрогнула и не знала на что рѣшиться; боялась согласиться, боялась оскорбить кавалера отказомъ.

Таня украдкой толкнула ее.

—Извините, я не танцую, отвѣтила Арина Сергѣевна.

— Онѣ не танцуютъ–съ, скороговоркой подтвердила Таня.

Кавалеръ нагло усмѣхнулся.

— Жаль–съ... въ ученьи надо быть не были. Пермете? добавилъ онъ, обращаясь къ горничной.

Таня встала и пошла.

Аринѣ Сергѣевнѣ вдругъ сдѣлалось почему–то досадно, грустно; она взглянула на всю грязь и соръ этого общества, на его грубый цинизмъ, на пошлый, одуряющій разгулъ, на эту мишуру человѣчества; она опустила глаза и боялась поднять ихъ; она стыдилась, совѣстилась своего увлеченія, своего поступка, удивлялась своей рѣшимости; душа ея перелетѣла въ свой домъ, даже въ сельцо Петровки, подъ тѣнь свѣжихъ, раскидистыхъ деревъ; ей представился сперва Романъ Семенычъ съ трубкой въ рукахъ, съ какою–то укоризною на лицѣ; казалось, онъ отвертывался отъ нея, смѣялся надъ ней, потомъ отецъ—жалкій, плачущій, наконецъ и самъ Петръ Петровичъ такой грозный и страшный, какимъ она его отъ–роду невидала.

Аринушка испугалась, встала со стула, хотѣла уже домой идти, но Таня забыла про госпожу свою и безотчетно-весело, поддерживая руками платье, прыгала во французской кадрили.

— Счастливица, счастливица! подумала Аринушка и снова опустилась на стулъ; здѣсь твоя жизнь, ты здѣсь своя, родная, здѣсь бьется твое сердце; ты теперь все забыла, а я все вспомнила... Гдѣ же мое родное, отыщу ли я его?!

Она задумалась и безучастными глазами смотрѣла на танцующихъ.

— Фу! ты, какъ жарко стало, замучилась просто... фу! вдругъ произнесла Таня и громко опустилась на стулъ.

Арина Сергѣвна очнулась.

— Домой пора!.. Пойдемъ! сказала она и крѣпко схватила горничную за руку, точно этой рукой хотѣла охранить себя.

Онѣ встали и вышли.

— Вамъ не понравилось тамъ... скучно было? довольно робко спросила Таня, сидя у кровати госпожи своей.

— Нѣтъ! что тамъ, тамъ никого я не знаю—съ нѣкоторымъ смущеніемъ отвѣтила она.

— Тамъ весело... смѣшатъ такъ, кавалеры такіе, снова замѣтила горничная.

Аринушка ничего не отвѣчала.

На другой день, по обыкновенію, она затащила къ себѣ какую-то нищую и принялась разговаривать съ нею.

— Ты не здѣшняя? спросила она.

— Не здѣшняя, матушка, издалече, отвѣчала нищая.

— Зачѣмъ же ты пришла сюда?

— Не пришла бы, матушка, видитъ Богъ, не пришла; зачѣмъ бы идти сюда—господскіе мы. Баринъ померъ, мужъ померъ, погорѣли, вся деревушка сгорѣла, корки хлѣба не осталось; люди сказывали—въ Питеръ на работу ступай. Я и поди—да вотъ захворала энто, все въ больницѣ валялась и до сей поры все хворая; какая работа тутъ, только бы Господь привелъ тепла дождаться, опять въ деревню побреду—такъ къ родному и тянетъ.

— Тянетъ!.. У васъ хорошо? спросила Аринушка.

— Какъ не хорошо! Хорошо было, матушка, скотинка была, все было; такъ вотъ словно земля тоскуетъ по тебѣ, словно птица бездомная, словно говоритъ кто, чего ты по чужому мѣсту шатаешься. Чужое здѣсь, матушка, точно чужое!

Арина Сергѣевна такъ смотрѣла на нищую, какъ будто хотѣла переселиться въ нее, какъ будто въ словахъ старухи было что-то новое, прекрасное, гармоническое, какъ будто эти слова подтверждали что-то до сихъ поръ смутное, сомнительное.

Она цѣлый день продержала у себя нищую и все разспрашивала; во всемъ соглашалась съ ней, какъ-то радостно повторяла слова ея, какъ будто сама готовилась говорить то же самое, наконецъ щедро наградила и отпустила.

Всю ночь Арина Сергѣевна не ложилась спать, а все думала; то сидѣла у своего маленькаго рабочаго стола, то ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, то останавливалась и какъ будто къ чему-то прислушивалась. Сперва она, казалось, чего-то боялась, мучилась чѣмъ-то, потомъ мало по малу успокоилась; даже физіономія ея засіяла, на губахъ мелькну-

ла улыбка, точно она сбросила съ себя все то, что прежде давило ее, жить недавало; нашла путь своего спасенія, видѣла въ немъ однѣ радости, одно счастіе, была въ немъ твердо увѣрена.

Только подъ утро, какъ бы совершенно насытившись своей думой, съ сладкой надеждой на завтра, она легла на постель; но и тутъ заснуть не могла, а только задремала. Потомъ встала, одѣлась тщательнѣе обыкновеннаго, волосы причесала и смѣло отправилась въ кабинетъ Петра Петровича.

Только подойдя къ двери кабинета, она остановилась, прислушалась, взялась за ручку, постояла съ минуту, наконецъ отворила дверь.

Къ счастію Петръ Петровичъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа; по крайней мѣрѣ въ другое время онъ бы незадумался скорчить гримасу, замѣтить женѣ, что онъ занятъ, что она должна выбирать время для своихъ посѣщеній и тому подобное; теперь, услышавъ шаги, онъ только повернулъ голову и, не обращая никакого вниманія на вошедшую, углубился въ чтеніе какой-то газеты.

Аринушка вздохнула свободнѣе. Первый шагъ былъ сдѣланъ. Она приблизилась къ столу и сѣла противъ мужа. Послѣдній изъ подлобья взглянулъ на нее и снова принялся читать. На лицѣ его мелькнула улыбка; разъ даже онъ засмѣялся самъ съ собою, потомъ сложилъ газету и бросилъ ее на столъ.

Арина Сергѣевна улыбнулась.

— Все вздоръ пишутъ! замѣтилъ онъ самъ про себя, зѣвая и лѣниво потягиваясь; все мода одна, праздныхъ людей развелось много... Ты что скажешь? дабавилъ онъ, обращаясь къ женѣ.

Аринушка подняла голову.

— Что я скажу?.. Прежде всего—одно: позвольте мнѣ поговорить съ вами съ четверть часа, не больше. Я нарочно встала раньше, я долго думала, когда могу говорить съ вами; долго не рѣшалась, боялась помѣшать вамъ. Вы теперь свободны, не откажете мнѣ?

Она говорила такъ нѣжно, лице ея свѣтилось такою до-

бротою, такимъ искреннимъ, теплымъ чувствомъ, что Петръ Петровичъ невольно улыбнулся.

— Что за предисловіе! Говорить со мной всегда можно. Развѣ я запрещаю? Слава Богу, не чужіе люди... Вотъ вели чаю подать, тогда говорить будемъ, произнесъ онъ полушутливо, полусерьезно.

Арина Сергѣевна слегка вздохнула, вскочила и почти бѣгомъ вышла изъ комнаты.

Черезъ нѣсколько минутъ она возвратилась, неся на подносѣ стаканъ и чашку съ чаемъ; сама подала стаканъ мужу, чашку взяла себѣ и сѣла напротивъ Петра Петровича.

— Ну-съ, начинайте, что новенькаго? довольно рѣзко замѣтилъ послѣдній и громко высморкался.

— Я однимъ словомъ и начну, и кончу. Моя рѣчь коротка, продолжать ее—зависитъ отъ васъ, очень твердо произнесла Аринушка. Я прошу у васъ сдѣлать для меня удовольствіе, милость, счастіе, благодѣяніе—назовите какъ хотите, пожалуй хоть женской глупостью, вздоромъ, сумасшествіемъ, я прошу только, рѣшилась просить..... отпустите меня въ Петровки!

Колотырникокъ поднялъ голову и вытаращилъ глаза.

— Какъ въ Петровки?

— Да, въ Петровки, пожить, погостить тамъ, навѣстить свою родину, вспомнить свое прошедшее.

Петръ Петровичъ засмѣялся:

— Какъ она говоритъ красно, словно книгу читаетъ...

— Вздоръ, не зачѣмъ тебѣ ѣхать туда! хладнокровно замѣтилъ онъ.

Аринушка съ минуту ничего не отвѣчала.

— Петръ Петровичъ! произнесла она, какъ бы обдумавъ что ей говорить, спуститесь поближе ко мнѣ, вникните въ меня, поставьте себя хоть на минуту на моемъ мѣстѣ... подумайте!... Васъ здѣсь все занимаетъ, радуетъ, тревожитъ; у васъ дѣла, заботы, множество родныхъ, знакомыхъ, вы живете, трудитесь... а я, что здѣсь дѣлаю? Зачѣмъ я здѣсь?.. Вѣдь я дикая овца, завезенная въ этотъ шумъ и говоръ. Я прошу не Богъ знаетъ чего, прошу только подышать свѣжимъ воздухомъ; вѣдь для васъ ничего не стоитъ

сдѣлать милость мнѣ—однимъ вашимъ словомъ доставить мнѣ счастіе. Я лягушка, вытащенная изъ болота... какъ ей не засохнуть въ жару этомъ! добавила она чуть не со слезами.

— Лягушка, лягушка, хорошее сравненіе—смѣясь замѣтилъ Петръ Петровичъ и прихлебнулъ изъ стакана.

— Для васъ нѣтъ ничего невозможнаго, продолжала Арина Сергѣевна; вы что захотите, то и сдѣлаете. Отъ васъ все зависитъ—вы царь здѣсь... Я прошу, только прошу!

— А если я не пущу?

— Не пустите, ваша воля... я останусь! покорно отвѣтила Аринушка и помолчавъ прибавила: нѣтъ, вы слишкомъ добры, чтобъ отказать мнѣ; да и стоитъ ли отказывать въ бездѣлицѣ, въ пустой просьбѣ слабой женщины, лишать ее ребяческаго удовольствія.

Петръ Петровичъ задумался. Видно было, что слова жены пришлись ему по сердцу, что онъ даже былъ радъ ея желанію ѣхать въ деревню и только для сохраненія собственнаго достоинства медлилъ согласіемъ.

— Что ты будешь дѣлать тамъ? строго спросилъ онъ.

— Что буду дѣлать?... Боже мой, я найду что дѣлать. Я буду бѣгать по саду, по полямъ; если нужно, буду смотрѣть за хозяйствомъ, отдыхать, наслаждаться, а когда прикажете, вернусь снова. Я знаю, деревня поправитъ меня; я здѣсь похудѣла, изсохла, завяла вся, совсѣмъ въ тряпку обратилась! добавила она, со страхомъ и надеждой глядя на мужа.

Послѣдній медленно тянулъ изъ трубки и прихлебывалъ чай изъ стакана и, только спустя нѣсколько минутъ, поднялъ глаза и пристально взглянулъ на жену.

Въ самомъ дѣлѣ, въ бытность свою въ Петербургѣ, Арина Сергѣевна значительно измѣнилась. Лице ея еще болѣе пожелтѣло, щеки казались впалыми, глаза не блистали попрежнему; вся физіономія потеряла свою подвижность; даже голосъ изъ звучнаго, чистаго сдѣлался какимъ-то глухимъ, сосредоточеннымъ.

— Да, ты похудѣла!—моціону мало имѣешь. Моціону нѣтъ, нужно бы съ докторомъ посовѣтоваться... отрывисто съ промежутками говорилъ Петръ Петровичъ. Что жъ, по-

ѣзжай... Если просишь, почему жъ не поѣхать, не потѣшить себя! добавилъ онъ.

Аринушка съ радости чуть не захохотала, глаза ея подернулись слезами, она бросилась было благодарить мужа, однако послѣднiй удержалъ ее.

— Полно... ради Бога, полно, безъ изліяній, матушка, я ихъ терпѣть не могу! Чувствуешь себя нездоровой, ѣхать нужно—поѣзжай съ Богомъ, нѣтъ—оставайся, твое дѣло; благодарить тутъ не за что, отказать я не могу. Денегъ на дорогу дамъ; можешь ѣхать, можешь когда угодно, хоть сегодня же! Поди, пришли мнѣ чаю еще; кажется, пришелъ кто-то? очень серьезно заключилъ онъ.

Арина Сергѣевна не смѣла ничего говорить. Она только молча, взглядомъ поблагодарила мужа и торопливо вышла изъ кабинета.

— Таня, голубушка, я свободна, свободна какъ птица Божія! говорила она, со слезами радости на глазахъ, обнимая свою горничную. Ахъ! Таня, какъ легко, какъ легко, какъ весело, точно большой праздникъ какой; я полечу далеко, далеко!... Туда, къ намъ, на притокъ солнечный, на траву, на сѣно!... Тамъ меня счастье ждетъ, тамъ воля, а лучше воли нѣтъ ничего на свѣтѣ!.. Воли, воли мнѣ нужно! добавила она энергически и, не отнимая рукъ отъ шеи Татьяны, пристально, жгуче взглянула ей въ лицо.

Горничная опустила глаза.

— Въ Петровки ѣдете? робко спросила она.

— Въ Петровки, въ Петровки! съ восторгомъ повторила Арина Сергѣевна и замотала головой. Мы вмѣстѣ ѣдемъ, я не разстанусь съ тобой!.. Что жъ ты молчишь? Говори, радуйся, хохочи, прыгай вмѣстѣ со мною!

Горничная молчала.

— Таня! произнесла Аринушка и снова, почти насильно, взглянула ей въ лице. Что это значитъ, ты нехочешь ѣхать, тебѣ здѣсь лучше?

— Здѣсь лучше! тихо повторила Татьяна.

Аринушка отняла свои руки.

— Лучше! какъ-то неопредѣленно сказала она и, помолчавъ, прибавила: что жъ, я не возьму тебя—я хочу чтобъ и

ты свободна была, и у тебя есть воля, есть сердце; отъ чего жъ тебѣ лучше здѣсь?... Тамъ у тебя родные, отецъ, мать, сестры, тамъ все у тебя.

Горничная молчала.

— Говори, Таня, ты знаешь... ты мнѣ все говорить можешь, я знать хочу!

— У васъ мужъ здѣсь! еле слышно, робко замѣтила Татьяна.

Аринушка глубоко вздохнула и провела рукою по лбу.

— Да, правда!... Ты хочешь сказать, у васъ мужъ есть, вы ѣдете отъ него и спрашиваете у меня, почему я не хочу быть съ родными, твоя правда!... А у тебя кто здѣсь?

Горничная слегка покраснѣла.

— Понимаю!... ты здѣсь любишь кого нибудь; у тебя есть женихъ, ты думаешь выйдти замужъ... Твое сердце велитъ тебѣ здѣсь остаться.

Татьяна неожиданно заплакала.

— О чемъ же ты плачешь? Ты радоваться должна!

— Чему радоваться, намъ радоваться нельзя. Наше дѣло господское, подначальное, какъ господа велятъ, отвѣтила горничная, всхлипывая.

Арина Сергѣевна пристально посмотрѣла на нее.

— Таня, ты отъ меня что-то скрываешь; стыдно тебѣ! Говори, все говори... не бойся, быть можетъ я помогу тебѣ!

Горничная подняла глаза и тотчасъ же ихъ опустила.

— Что говорить... дѣло такое, стыдливо отвѣтила она, перебирая складки на передникѣ.

— Какое дѣло?

— Грѣхъ попуталъ!... Позапрошлой зимой поваръ на мнѣ сватался, Андрей, можетъ знать изволите?

— Ну!

— Человѣкъ хорошій, даромъ что простой, а хорошій только.

— Ну!

— Къ Петру Петровичу пришли, думали, такая ихъ милость выйдетъ... отказали!

— Ну!.. ты что жъ сдѣлала?

— Ничего не сдѣлала. Что сдѣлать? супротивъ господска-

го рѣшенія не пойдешь; вышла отъ барина холоднешенька, такъ подъ сердце и подгибаетъ что-то, даже не помнишь гдѣ ты, словно дурная какая... она замолчала.

— А потомъ что? нетерпѣливо спросила Арина Сергѣевна.

Горничная замялась.

— Что потомъ? извѣстно, чему тутъ доброму быть, грѣхъ одинъ... Теперь не отпуститъ онъ меня; не уѣхать мнѣ отъ него, видно и пропадать вмѣстѣ съ нимъ! какъ-то безнадежно добавила она.

Щеки Аринушки вдругъ вспыхнули, глаза засверкали. Казалось, этотъ разсказъ горничной произвелъ на нее какое-то потрясающее впечатлѣніе. Въ первую минуту она даже не знала, что отвѣчать; потомъ судорожно схватила Татьяну за руку.

— Я ничего этого не знала. Ты должна здѣсь остаться. Богъ благословилъ тебя! произнесла она дрожащимъ голосомъ; береги свое счастіе, ты нашла его... Тебя заставили найти... а меня только искать принудили! добавила она почти шопотомъ и въ изнеможеніи упала на стулъ и закрыла лицо руками.

VI.

Въ лѣтнюю, жаркую пору, въ полдень, въ такое время, когда раскалившійся воздухъ дрожитъ и переливается милліонами сверкающихъ золотистыхъ полосокъ, когда не поютъ птицы, не шелестятъ деревья, когда коровы въ полѣ, по брюхо забравшись въ трясину, стоятъ безъ всякаго движенія, понуривъ усталыя головы, когда все кажется уснувшимъ, онѣмѣвшимъ отъ жгучаго солнца, и развѣ только насѣкомые въ травѣ, своей неумолкающей вѣчной трескотней, напоминаютъ о жизни въ природѣ; въ такую пору, подъ тѣнью широкаго, раскидистаго дерева, на простой деревянной скамейкѣ, весь сгорбившись, уставивъ неподвижно глаза въ землю, съ думой на лицѣ, сидѣлъ Романъ Семенычъ съ своимъ неизмѣннымъ другомъ—трубкою въ зубахъ.

Бѣлый, просторный, сшитый изъ домашней холстины китель неуклюже болтался на его фигурѣ; галстукъ свалился съ шеи, воротъ рубашки разстегнулся, форменная фуражка еле держалась на затылкѣ, оставляя открытыми большой загорѣлый лобъ да коротко выстриженные, темнокаштановые волосы. Долго онъ сидѣлъ безъ всякаго движенія. Крупныя капли пота текли по щекамъ его, рука лѣниво дотрогивалась до чубука, трубка едва дымилась. Наконецъ, утомленный жаромъ, однимъ движеніемъ головы онъ сбросилъ на колѣни фуражку, вытеръ платкомъ мокрое, раскраснѣвшееся лице свое и, отдуваясь и тяжело дыша, какъ-то безсознательно взглянулъ вдаль на освѣщенную солнцемъ извилину дороги. Господи, Боже мой! кто это въ такую жарищу тащится, невольно произнесъ онъ самъ съ собою; не мужикъ только—мужикъ такъ не поѣдетъ, экипажъ чей-то.

Дѣйствительно, на дорогѣ двигалась какая-то черная точка; но экипажъ ли это былъ или простая телѣга—разобрать могъ развѣ только очень опытный глазъ.

Романъ Семенычъ приставилъ въ видѣ зонтика ладонь ко лбу.

— Экипажъ и есть—карета и лошадей четверка. Что за оказія?.. Неужто въ гости кто? Кому ѣхать? Ко мнѣ и не ѣздитъ никто. Карета, точно карета, вонъ и колокольчикъ брякнулъ... такъ и есть колокольчикъ. Онъ сталъ прислушиваться, потомъ пожалъ плечами, медленно, тяжело поднялся со скамьи, снова отеръ потъ съ лица, надѣлъ фуражку и, опираясь на чубукъ, переваливаясь съ ноги на ногу, какъ человѣкъ, котораго насильно идти заставили, лѣниво побрелъ по извилистой тропинкѣ на другой конецъ усадьбы, на выходившую туда дорогу. На половинѣ пути онъ остановился и снова взглянулъ вдаль.

Двигавшаяся точка уже значительно выросла, преобразилась въ карету съ лошадьми, повернула въ сторону, спустилась въ оврагъ, потомъ скрылась за молодымъ лѣскомъ.

— Что за чортъ! Карета здѣшняя, кажется, Петровская! ей Богу Петровская! тревожно заговорилъ Романъ Семенычъ и ускорилъ шаги. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ на дорогу и остановился. Экипажа не было видно, онъ скрыл-

ся подъ горой; только звонъ колокольчика все сильнѣе и сильнѣе давалъ знать о своемъ приближеніи. Романъ Семенычъ не вытерпѣлъ и пошелъ впередъ; онъ забылъ про жару, весь запыхался, потъ ручьями лилъ съ лица его. Пройдя нѣсколько шаговъ, онъ снова остановился какъ вкопанный; карета, запряженная четверкою почтовыхъ лошадей, выросла надъ самымъ его носомъ и промчалась мимо.

Стадкинъ замахалъ руками.

— Стой! вдругъ крикнулъ онъ громкимъ, надорваннымъ голосомъ.

Ямщикъ на облучкѣ обернулся и потянулъ лошадей. Изъ окна кареты выглянула Арина Сергѣевна.

Черезъ минуту они оба стояли другъ передъ другомъ.

Романъ Семенычъ совершенно оторопѣлъ, фуражка свалилась съ головы его; онъ такъ глядѣлъ на нежданную гостью, какъ будто не довѣрялъ собственнымъ глазамъ своимъ, какъ будто видѣлъ передъ собою какое-то сверхъ-естественное чудо. За то Арина Сергѣевна вся дышала счастіемъ; ни сомнѣнія, ни удивленія, ни страха не было въ лицѣ ея; что-то отрадное, святое, радостное блѣстѣло въ глазахъ, отражалось въ улыбкѣ, проглядывало во всемъ существѣ ея. Казалось, все окружающее, съ его небомъ, воздухомъ, вдругъ захватило дыханіе женщины, наполнило ея душу какимъ-то тревожнымъ восторгомъ, точно она отъ земли отдѣлилась, точно любовалась всѣмъ міромъ съ высоты недоступной человѣку.

— Арина Сергѣевна! Вы? вы это! Ей Богу вы! Что значитъ, что случилось?! произнесъ наконецъ Романъ Семенычъ.

— Я!... Ничего не случилось, отвѣтила она такъ радостно, что Стадкинъ невольно улыбнулся.

— А мужъ?.. а Петръ Петровичъ?

— Онъ въ Петербургѣ...

— Скоро будетъ сюда?

— Нѣтъ, онъ сюда не будетъ.

Романъ Семенычъ снова оторопѣлъ.

— Боже мой! какъ вы меня странно встрѣчаете, точно боитесь чего-то; смотрите такъ дико, удивляетесь. Дайте хоть

отдохнуть; я такъ устала съ дороги, такъ душно, жарко! А у насъ холодно... Я съ сѣвера пріѣхала! шутя добавила она.

Романъ Семенычъ опомнился и предложилъ гостьѣ зайти къ нему во флигель, покамѣстъ отворятъ и обчистятъ ея комнаты. Онъ побѣжалъ впередъ, она пошла вслѣдъ за нимъ; безпрестанно останавливалась, ворочала Стадкина, оглядывала каждый предметъ, каждый кустикъ, перебѣгала съ мѣста на мѣсто, дѣтски радовалась, привѣтливо всему улыбалась, точно здоровалась со всѣмъ. Движенія ея были легки, свободны, кажется, съ самаго дѣвичества она никогда такъ скоро не ходила, не дышала такъ вольно, не улыбалась такъ чисто, непринужденно.

— Боже мой! какъ хорошо у васъ! Что за рай, что за блаженство! Какой вы счастливецъ! говорила она оправляясь и усаживаясь на крыльцѣ флигеля, гдѣ жилъ Романъ Семенычъ.

— Да–съ, не были давно. Старое вспомнить пріятно... вотъ и хорошо кажется, разсѣянно отвѣтилъ послѣдній. Да вы куда же сѣли? Я стульчики велѣлъ вынести... Чѣмъ подчивать прикажете?.. Устали, я думаю?

— Ничѣмъ, развѣ стаканъ воды дайте.

Онъ побѣжалъ за водой и тотчасъ возвратился; она съ жадностью выпила весь стаканъ, потомъ тряхнула головой, забросила за уши волосы, сбросила платокъ съ шеи, загнула рукава на платьѣ.

— Хорошо такъ... легко, проговорила она и улыбнулась.

Романъ Семенычъ сѣлъ напротивъ ея на стулѣ. Казалось онъ не находилъ себѣ мѣста, не зналъ что дѣлать, что говорить, на что смотрѣть.

— А вѣдь я гостья неожиданная, какъ снѣгъ на голову... Вы удивляетесь? спросила она.

— Просто до сихъ поръ понять не могу, глазамъ своимъ не вѣрю, сномъ кажется, отвѣтилъ Стадкинъ и разставилъ руки.

Арина Сергѣевна слегка засмѣялась.

— Что же Петръ Петровичъ? спросилъ онъ.

— Петръ Петровичъ живъ, здоровъ, приказалъ вамъ кланяться.

— Онъ отпустилъ васъ?

— Разумѣется отпустилъ. Я поцѣловала его руку, онъ меня въ лобъ и перекрестилъ даже.

Романъ Семенычъ какъ-то вопросительно взглянулъ на нее.

— Что вы на меня смотрите? спросила она. Право, вы боитесь меня... Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, что я совсѣмъ разсорилась съ мужемъ, что онъ выгналъ меня, что я убѣжала отъ него сама, потихоньку, а онъ ищетъ, преслѣдуетъ меня.

Стадкинъ ничего не отвѣчалъ.

— Нѣтъ, продолжала Арина Сергѣевна, успокойтесь, мы разстались тихо, смирно, спокойно. Боже мой, какъ хорошо у васъ, какъ я счастлива теперь, такъ счастлива! Она потянула въ себя воздухъ.

— Вы на долго сюда пріѣхали? спросилъ Романъ Семенычъ.

— Не знаю... кто знаетъ... зачѣмъ думать о будущемъ— Богъ съ нимъ; проглянула въ жизни минута счастія, нужно ловить ее, пользоваться ею, упустишь—назадъ не вернешь; потомъ только жалѣть, плакать будешь! Она вздохнула.

Романъ Семенычъ снова взглянулъ на нее.

— Вамъ не понравилось въ Петербургѣ? спросилъ онъ.

— Нѣтъ... что тамъ! Тамъ я задохлась. Еще мѣсяцъ, два, я бы зачахла и умерла, ей Богу; а если нѣтъ—руки бы на себя наложила. Что вы смѣетесь? продолжала она, замѣтивъ недовѣрчивую улыбку Романа Семеныча. Я говорю правду, вы меня мало знаете; на что я рѣшилась, то и сдѣлаю—ничего не испугаюсь. Жизнь закалила меня! добавила она твердо.

— Что жъ Петръ Петровичъ, все тотъ же? нѣсколько спустя спросилъ онъ.

Арина Сергѣевна глубоко вздохнула.

— Зачѣмъ вы меня спрашиваете. Вы его лучше знаете; помните, вы мнѣ разсказали его... отвѣтила она и задумалась, но тотчасъ-же очнулась. Нѣтъ, здѣсь не мѣсто... Здѣсь все живетъ, все радуется; я тоже жить и радоваться хочу, произнесла она съ сильною увѣренностью и какъ-то особенно весело посмотрѣла вокругъ себя.

— Его дѣла очень плохи, замѣтилъ Романъ Семенычъ; на заводѣ котелъ лопнулъ, фабрика тоже обанкрутилась;

управляющій мошенничаетъ, крестьяне ничего не дѣлаютъ... Нужно бы умѣрить себя. Пожалуй Петровку продавать придется, а на долги и ея не достанетъ—долговъ много.

— Я его дѣлъ не знаю, Богъ съ ними; онъ мнѣ не говоритъ о нихъ—мнѣ все равно.

— Я знаю... Я предупреждаю васъ, можетъ плохо придтись.

— Какъ плохо?

— Разориться можете, обѣднѣть, по міру пойдти!

Арина Сергѣевна усмѣхнулась.

— Вотъ бѣда какая... я этого не боюсь!

— Нельзя не бояться. Что для васъ трудно теперь—при нищетѣ сдѣлается въ десятеро труднѣе; къ горькому да примѣшать соленое, скверно выйдетъ. Да вотъ-съ, хоть бы меня взять: что я такое, лишняя трава въ полѣ; не весело жить, а все живешь, слава Богу; не думаешь чѣмъ пообѣдать завтра... А продадутъ Петровку, вѣдь въ ней и моя часть есть, тогда одна дорога или въ богадѣльню, или на паперть церковную, добавилъ онъ тихо, махнулъ рукою и опустилъ голову.

Глаза Арины Сергѣевны сдѣлались влажными. Она взглянула на Романа Семеныча, потомъ встала, подошла къ нему и положила руку на плечо его.

Онъ вздрогнулъ и поднялъ голову.

— Если вамъ придется на паперть идти, возьмите меня съ собой; вдвоемъ легче будетъ. Я товарищъ хорошій... по міру весело ходить, право весело! произнесла она какимъ-то пророческимъ тономъ, и вдругъ беззаботно прибавила: нѣтъ! Будемте лучше бѣгать, веселиться, дѣтьми сдѣлаемтесь; дѣтямъ хорошо жить. Забудемъ, все забудемъ; я хочу быть насильно счастлива, я вырву свое счастье, завоюю его!

Она взглянула на небо и въ этомъ взглядѣ было столько увѣренности, столько величавой смѣлости, что въ эту минуту, въ самомъ дѣлѣ, казалось, будто для человѣка не существуетъ ничего невозможнаго.

Цѣлый день Арина Сергѣевна провела съ Романомъ Семенычемъ. Несмотря на жару, они много ходили; осмотрѣли садъ, прошлись почти по всѣмъ его дорожкамъ, заглянули

на огороды, на рѣку, на мельницы, на скотный дворъ, птичникъ; побывали на кладбищѣ, помолились на могилѣ Сергѣя Матвѣевича, постояли передъ домикомъ, гдѣ когда-то жилъ Крупкинъ съ дочерью, молча обошли огромный господскій домъ. Арина Сергѣевна привѣтливо здоровалась со всѣми встрѣчными крестьянами, привѣтливо разспрашивала о ихъ житьѣ-бытьѣ, къ нѣкоторымъ въ избы заглянула, нѣкоторыхъ наградила чѣмъ могла. Казалось, она готова была разцѣловать всѣхъ и каждаго, всѣмъ любовалась, все казалось ей новымъ, прекраснымъ, не смотря на то, что многое пришло въ вѣтхость, запущенность; многое совершенно развалилось, отъ многаго вѣяло какою-то могильною сыростью, чѣмъ-то непріятнымъ, гробовымъ, безжизненнымъ. Дорожки въ саду поросли травой, цвѣты не пестрѣли попрежнему ковромъ узорчатымъ, а только кое-гдѣ скудно выглядывали своими махровыми головками; деревья казались какими-то печальными, запыленными, брошенными на произволъ судьбы; листья огромнаго дуба охватывала паутина; терраса въ домѣ усѣялась птичьими гнѣздами; глухо заколоченныя ставни глядѣли угрюмо; прудъ на дворѣ покрылся зеленою плесенью. Нигдѣ не было видно прежней жизни и дѣятельности; въ пустыхъ кладовыхъ и амбарахъ гудѣлъ вѣтеръ; собаки такъ похудѣли, какъ будто Богъ знаетъ сколько времени не кормили ихъ; даже люди казались вялыми, сонными, точно они при пріѣздѣ барыни только повскакали съ печей да съ полатей и все опомниться не могли; сновали, бѣгали, суетились, отворяли двери, окна, для чего, сами не зная. Только отъ дворовыхъ мальчишекъ и дѣвчонокъ пахло свѣжею, здоровою жизнью. Они простодушно, дѣтски, радостно бѣгали, скакали передъ Ариной Сергѣевной, заглядывали ей въ лицо, смѣялись, толкали другъ друга, падали, кувыркались и снова пускались въ запуски до тѣхъ поръ, покамѣстъ барыня не скрылась изъ виду и какая-то осерчавшая баба не пустила въ нихъ полѣномъ, прокричавъ: вишь, бѣсенята проклятые, развозились, словно черти передъ заутреней.

Только въ сумерки Арина Сергѣевна отправилась въ отведенныя ей комнаты, тѣ самыя, въ которыхъ скончался Сергѣй Матвѣичъ. Лучшаго помѣщенія она не хотѣла; да

и что ей было дѣлать одной въ большихъ залахъ, въ парадныхъ гостиныхъ? Въ нихъ вѣяло пустотой, скукой: слово скажешь, а оно переливается, гудитъ какъ-то, отзывается воемъ да плачемъ. Страшно!

То ли дѣло внизу: бѣлыя, чистыя стѣны, простая мебель, окна прямо въ садъ; отворишь—густыя, зеленыя вѣтки врываются въ нихъ... прохладой вѣетъ, хорошо, уютно, все подъ руками.

Арина Сергѣевна скоро разобралась, да долго и разбирать было нечего, поговорила съ пріѣхавшей съ нею дѣвушкой, велѣла ей помѣститься возлѣ себя, въ сосѣдней комнатѣ, помолилась Богу, легла и заснула такъ тихо, спокойно, безмятежно, какъ давно не спала.

Напротивъ, Романъ Семенычъ долго не могъ успокоиться; далеко за полночь свѣтился огонь въ его спальнѣ, а самъ онъ, несмотря на усталость отъ долгой, непривычной ходьбы, все сидѣлъ на своей кровати, опустивъ ноги на полъ, понуривъ голову и какъ-то отчаянно выкуривалъ трубку за трубкой. Онъ все думалъ. Внезапный пріѣздъ Арины Сергѣевны, ея чистая, неподдѣльная веселость совершенно ошеломили его, сбили съ толку, перепутали всѣ его мысли, всѣ предположенія. Онъ очень хорошо зналъ положеніе Аринушки, ея отношенія къ мужу; видимо представлялъ ея жизнь въ Петербургѣ и внутренно, глубоко скорбѣлъ о ней. Онъ думалъ, что она или выдохнется окончательно и обратится въ вялое, безцвѣтное существо, въ ничтожную, преданную рабу, или зачахнетъ отъ борьбы и страданія, или открыто измѣнитъ мужу, протянетъ руку первому встрѣчному, бросится ему на шею за одинъ ласковый взглядъ, за одно доброе слово, быть можетъ даже, съ горя да съ усталости на все пойдетъ. Онъ зналъ, что Петръ Петровичъ разоряется и думалъ: разорится, броситъ жену: куда она дѣнется бѣдная, во что обратится, гдѣ преклонитъ голову?.. Свихнуться не долго, а тамъ и поминай какъ звали! Онъ даже тяжело вздыхалъ при этомъ, качалъ головой и сильно затягивался. Онъ однако не предполагалъ когда либо увидѣть Арину Сергѣевну такою, какою видѣлъ ее теперь, не загнанную, не убитую, не обезображенную горемъ, а цвѣтущую и весе-

лую, въ полномъ избыткѣ нравственныхъ и физическихъ силъ, съ твердой увѣренностью въ самой себѣ, въ своемъ счастіи. Казалось, онъ даже не узнавалъ ее, не вѣрилъ возможности такого перерожденія. Положимъ, онъ отпустилъ ее—говорилъ онъ самъ съ собою—это понятно; видитъ свое паденіе, ему самого себя стыдно... Какъ же передъ женой сознаться? сознаться нельзя, потому и отпустилъ. Гордость все; какъ нибудь развязаться хочется, да она то чему радуется, чѣмъ восхищается? На волю выбралась, ну выбралась; да вѣдь и воля такая нерадостна, Богъ съ ней! Нѣтъ, она любитъ кого-то, живетъ кѣмъ-то; она о счастіи говоритъ, ея глаза не одной волей горятъ. Зачѣмъ же она сюда поѣхала, что ей дѣлать здѣсь? Если любитъ, зачѣмъ же уѣзжать? Ну и сидѣла бы, няньчилась бы съ своимъ возлюбленнымъ. Здѣсь-то что забыла она? Развѣ ждетъ кого нибудь? Онъ остановился и махнулъ рукой. Чему тутъ хорошему быть .. Ее и винить нельзя; скрутили, сдавили, жить не дали, а она къ жизни рвется!

На другой день утромъ, какъ только проснулся Романъ Семенычъ, первая его мысль была объ Аринѣ Сергѣевнѣ; онъ не зналъ самому ли пойдти къ ней или дождаться ея прихода. Не ловко, твердилъ онъ самъ съ собою, пожалуй, не одѣта; мало ли что, помѣшаешь, она же съ дороги,.. Подождать лучше—не придетъ сама, такъ пришлетъ навѣрно, соскучится!

Дѣйствительно, едва успѣлъ Романъ Семенычъ одѣться и расположиться за чаемъ, какъ вбѣжавшій въ комнату казачекъ объявилъ ему, что его барыня спрашиваетъ.

Стадкинъ даже сконфузился, засуетился, швырнулъ чубукъ съ трубкой, схватилъ фуражку, бросился къ двери и на порогѣ встрѣтился съ Ариной Сергѣевной.

— Здравствуйте, говорила она весело, протягивая ему руку. Вотъ, кстати, теперь и я съ удовольствіемъ чаю напьюсь.

Романъ Семенычъ поцѣловалъ ея руку.

— Еще такъ рано... Я не ожидалъ, проговорилъ онъ.

— Чего не ожидали? Я давно встала, я всегда рано

встаю; много ходила... Вонъ всѣ башмаки въ росѣ, смотрите!

Она безцеремонно сѣла на стулъ и выставила свои ноги.

Романъ Семенычъ покачалъ головой.

— Этакъ простудиться можно, замѣтилъ онъ.

Арина Сергѣевна засмѣялась.

— Я простуды не знаю; роса съ родни мнѣ, она меня выростила. Ахъ, какой вы право, давайте же чаю, добавила она какъ бы съ сердцемъ.

Стадкинъ засуетился, велѣлъ подать чашку, налилъ ее и подалъ гостьѣ.

Она привстала и шутя, какъ ребенокъ, чинно поблагодарила его.

— Куда мы сегодня пойдемъ? спросила она.

— Куда прикажете, отвѣтилъ хозяинъ.

— Вы знаете, что я приказаній терпѣть не могу, они мнѣ пріѣлись. Я люблю просить, предлагать, а не приказывать... Пойдемте въ березовую рощу, за грибами, а потомъ... потомъ я васъ приглашаю обѣдать къ себѣ, на грибы, хорошо?

Романъ Семенычъ въ знакъ согласія поклонился.

Черезъ четверть часа они встали и начали собираться; хозяинъ долго возился, насыпалъ табаку въ кисетъ, перекинулъ его черезъ плечо, вычистилъ трубку, продулъ ее, и вооружился длиннымъ чубукомъ.

Арина Сергѣевна въ простой, бѣлой косынкѣ съ нетерпѣніемъ ждала его.

Наконецъ они вышли.

До рощи было версты полторы разстоянія. Романъ Семенычъ, какъ учтивый кавалеръ, предложилъ было своей дамѣ руку, но она объявила, что жарко и пошла одна.

Долго слѣдовали они совершенно молча. Арина Сергѣевна шла впереди, въ походкѣ ея было что-то живое, лихорадочное; она, какъ будто торопилась куда, часто оборачивалась, наклонялась, рвала попадавшіеся по дорогѣ полевые цвѣты, и потомъ снова бросала ихъ. Романъ Семенычъ плелся сзади, потупивъ голову, и безпрестанно вытиралъ платкомъ мокрый лобъ свой.

— Арина Сергѣевна, а Арина Сергѣевна! произнесъ онъ,

догоняя свою спутницу,—вы такъ скоро ходите, не поспѣешь за вами.

— Это съ радости, я давно не ходила... Полетѣть бы рада!

— А вѣдь наскучитъ, замѣтилъ онъ.

— Что наскучитъ?

— Да прогулки вотъ эти.

— Мнѣ?.. Никогда!.. Не наскучитъ-же рыбѣ въ водѣ плавать, птицѣ летать по воздуху, такъ и мнѣ!

Романъ Семенычъ смѣшался и не зналъ, что отвѣчать.

— Скажите пожалуйста, началъ онъ нѣсколько спустя, вамъ въ Петербургѣ должно быть очень скучно было?

— Очень, отвѣтила Аринушка.

— Неужели у васъ не было друзей, знакомыхъ, съ которыми вы бы могли поговорить, облегчить себя, которые бы наконецъ занимали васъ?

— Не было! отвѣтила она, и вдругъ остановилась и пристально взглянула на своего спутника.

— Вы думаете, что я влюблена была... ей Богу не была, клянусь вамъ. Кого любить тамъ? Еслибъ тамъ любила, сюда бы не пріѣхала, равнодушно добавила она.

Романъ Семенычъ совершенно растерялся. Онъ началъ разговоръ съ тою цѣлью, чтобъ кое-какъ вывѣдать Аринушку, узнать причину ея отъѣзда изъ Петербурга и вдругъ она сама, безъ борьбы, безъ просьбы, по одному малѣйшему намеку предупредила его. Слова: «ей Богу не была, клянусь вамъ» такъ и звучали въ ушахъ его. Ему даже совѣстно сдѣлалось; онъ снова отсталъ отъ нея.

Они вошли въ рощу.

Аринушка очень усердно занялась отыскиваніемъ грибовъ; она безпрестанно перебѣгала изъ стороны въ сторону, скрывалась между кустами, деревьями, цѣплялась за сучья, путалась въ высокой травѣ, радостно вскрикивала, когда вдругъ подъ ногами находила добычу и сердилась на Стадкина, когда онъ зѣвалъ и казался разсѣяннымъ.

— Ну, не грѣшно ли вамъ, говорила она чуть не со слезами: посмотрите, какой грибъ растоптали—прелесть этакую. Господи, ходитъ и не видитъ... срамъ просто, а еще въ деревнѣ живетъ, стыдно!

— Не привыкъ, не занимался никогда, отвѣтилъ онъ, какъ провинившійся школьникъ.

— А! не привыкли, такъ и хлопотать нечего; лучше сидите да трубку курите, хоть комаровъ меньше будетъ.

Романъ Семенычъ придрался къ случаю, высѣкъ огня, присѣлъ на пень и въ самомъ дѣлѣ закурилъ трубку.

Аринушка скрылась, только звуки ея голоса серебристою трелью раздавались по лѣсу. Прошло добрыхъ полъ часа; она показалась снова, лице ея разгорѣлось, чепчикъ на головѣ еле держался, изъ подъ него выбивались волосы, платье въ двухъ мѣстахъ разорвалось, она почти подкралась къ Стадкину и какъ-то торжественно развернула передъ нимъ салфетку, наполненную грибами. Что-съ, каково! говорила она радостно: каковъ обѣдъ будетъ? А вы то—ну: не грѣшно ли вамъ! Пойдемте, пойдемте, я сама изготовлю ихъ, все сама сдѣлаю!

Она быстро взяла салфетку и, не давъ времени собраться своему спутнику, потащила его за руку.

Подобныя прогулки повторялись почти каждый день. Арина Сергѣевна заходила за своимъ сосѣдомъ и, волею или неволею, непремѣнно куда нибудь вела его.

Романъ Семенычъ, если и сопротивлялся, то какъ-то не хотя, какъ иногда ребенокъ отказывается отъ предложеннаго ему гостинца. Эти прогулки сдѣлались и для него какою-то душевною потребностью. Часто, возвратясь домой весь мокрый, измученный, усталый, онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ завтрешняго дня, чтобы снова устать и измучиться. Онъ любовался, глядя на Арину Сергѣевну, радовался ея радостію; ему было почему-то тепло, пріятно видѣть ее счастливою, веселою. Онъ улыбался, когда она вся разгорѣвшись отъ жару въ простомъ, легкомъ платьѣ, безпечно бѣгала по полямъ, рѣзвилась, путалась въ высокой ржи, рвала цвѣты, ягоды или, совершенно измучившись, черпала ладонью воду, спрыскивала ею лице свое, а потомъ сидѣла на травѣ и тяжело, прерывисто дышала. Въ эти минуты и Романъ Семенычъ заражался вѣявшею вокругъ него жизнью, молодѣлъ, обращался въ ребенка, восхищался тѣмъ, чѣмъ прежде восхищаться и въ голову ему не приходило. Разъ даже Аринуш-

ка до того расшевелила его, что бѣгать заставила, и долго хохотала надъ своей выдумкой, называя себя побѣдителемъ. Иногда, наскучивши прогулками или въ ненастный день, Романъ Семенычъ и Арина Сергѣевна оставались дома; онъ обыкновенно читалъ какую нибудь книгу, она слушала. Случалось, что это чтенiе производило сильное впечатлѣнiе на слушательницу: иногда она плакала, иногда забывалась совершенно, переносилась на мѣсто героя или героини разсказа, страдала вмѣстѣ съ ними. Даже физiономiя ея до такой степени измѣнялась, выражала такую внутреннюю боль, что Романъ Семенычъ пугался, захлопывалъ книгу и объявлялъ, что дальше читать не будетъ.

Однажды, какъ-то подъ вечеръ, въ саду, подъ густою тѣнью огромной липы, онъ читалъ «Асю» Тургенева. Арина Сергѣевна сидѣла на травѣ, поджавши подъ себя ноги, вытянувъ руки на колѣняхъ; лице ея было блѣдно, неподвижные глаза безсознательно смотрѣли по направленiю длинной, выходящей на самый конецъ сада аллеи. Романъ Семенычъ дочиталъ до того мѣста, когда Ася пришла на назначенное ею свиданiе къ фрау Луизѣ.

—Подлецъ! вдругъ прошептала Арина Сергѣевна какимъ-то сдержаннымъ голосомъ и дрожащiя губы ея посинѣли. Черствая, низкая душа, проговорила она громко.

Стадкинъ на минуту остановился, взглянулъ на нее, высморкался и снова продолжалъ читать.

— Развѣ это человѣкъ? Какой это человѣкъ... вѣдь это значитъ не имѣть никакого чувства, никакой души. Дѣвушка пришла на свиданiе, отдалась ему, а онъ—что жъ онъ? разсуждаетъ какъ назвать это свиданiе, чернымъ или бѣлымъ. Неужели есть такiе люди? добавила она вопросительно.

— Какихъ людей нѣтъ! Свѣтъ великъ, отвѣтилъ Романъ Семенычъ и тотчасъ же прибавилъ: а впрочемъ по моему онъ поступилъ благоразумно, даже благородно; другой бы, конечно, воспользовался довѣренностью дѣвушки; честный человѣкъ загладилъ бы все женитьбой,—подлецъ бросилъ бы ее какъ игрушку. Онъ жениться не могъ и выбралъ средину!

— Онъ ничего не выбралъ, онъ трусъ безъ сердца, нерѣшившiйся на злодѣйство изъ приличiя потому только, что

за это злодѣйство пострадать можно; онъ хуже всякаго злодѣя, расчетливѣе его, онъ убиваетъ въ полномъ умѣ, въ разсудкѣ, взвѣшиваетъ выгоды и недостатки преступленія; такого человѣка я бы возненавидѣла! добавила она очень рѣзко и глаза ея засверкали.

Романъ Семенычъ пожалъ плечами.

— Видите, говорила Арина Сергѣевна, когда онъ кончилъ, чья правда. Счастье-то человѣку въ руки давалось, насильно лѣзло къ нему, да человѣкъ то былъ тряпкой, формы его испугался, растрепаться боялся, а потомъ бросился ловить его! На свѣтѣ и все такъ! много тряпокъ, много! добавила она и головой покачала.

Нѣсколько дней спустя, Романъ Семенычъ съ Ариной Сергѣевной очень много ходили. День былъ знойный, на небѣ ни облачка; оба они порядочно устали, до дому оставалось еще около версты ходьбы по солнечному припеку. Она предложила ему зайдти посидѣть на кладбище.

Они сѣли другъ противъ друга: Арина Сергѣевна на плиту отцовской могилы, Романъ Семенычъ на какую-то свѣжую, недавно набросанную насыпь. Кругомъ была тишина совершенная, только въ карнизѣ церкви отрывисто чирикала какая-то птичка. Аринушка сидѣла неподвижно, задумчиво устремивъ глаза въ землю, казалось, она что-то сказать хотѣла да не рѣшалась, собиралась съ мыслями и обдумывала.

Стадкинъ молча тянулъ изъ трубки.

Прошло съ четверть часа.

— Романъ Семенычъ, любите вы меня? вдругъ, очень твердо произнесла Арина Сергѣевна и подняла свои глаза.

Стадкинъ разинулъ ротъ и поперхнулся дымомъ, до такой степени этотъ неожиданный вопросъ ошеломилъ его.

Она нисколько не стѣсняясь снова повторила его.

— Извините меня, бормоталъ Романъ Семенычъ, не смѣя взглянуть на свою спутницу, я такъ уважаю васъ, понимаю ваше положеніе, быть можетъ жалѣю васъ... нельзя иначе.

Аринушка горько усмѣхнулась.

— Все это вздоръ!.. Все можно! Я говорю просто, я сама говорю вамъ прямо, откровенно и требую откровенно-

сти отъ васъ; что мнѣ въ вашемъ сожалѣніи, на что мнѣ оно. Я васъ спрашиваю, любите ли вы меня?

Романъ Семенычъ даже поблѣднѣлъ; видно было, что этотъ вопросъ сильно волновалъ его.

— Какъ любите? тихо спросилъ онъ.

— Какъ женщину только, какъ женщину, понимаете, то есть влюблены-ли вы въ меня? пояснила Аринушка.

Стадкинъ еще болѣе растерялся.

— Какъ же спрашивать объ этомъ, помилуйте, я и отвѣчать что не знаю; что жъ я такое... вы замужняя женщина, пробормоталъ онъ.

— Такъ что, что замужняя; а это что, помните, здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ? отвѣтила она, проворно вытащила изъ-за пазухи какую-то сложенную бумагу и судорожно развернула ее. Видите?

— Вижу, еле слышно произнесъ онъ.

— Здѣсь что написано?... вѣдь это вы сказали, ваши слова; здѣсь вотъ что написано: «Сердце человѣческое всегда свободно; оно не знаетъ ни долга, ни закона; вы жена—у васъ есть долгъ, обязанность, но прежде жены вы человѣкъ, у васъ есть сердце!..» Я послушалась васъ, я берегла слова ваши, врѣзала ихъ въ память себѣ, жила ими, они были моею заповѣдью, моею молитвою; я ихъ выростила, теперь я знать хочу, отвѣчайте мнѣ—я затѣмъ пріѣхала сюда—любите вы меня? добавила она сильнѣе прежняго, и впилась своими глазами въ лицо Романа Семеныча.

— Онъ опустилъ голову и какъ-то продолжительно вздохнулъ. Нѣтъ, я не люблю васъ! твердо отвѣтилъ онъ.

Аринушка вздрогнула.

Нѣсколько минутъ они оба молчали. Стадкинъ все сидѣлъ, опустивъ голову, и чертилъ трубкой на пескѣ какіе-то узоры. Арина Сергѣевна пристально смотрѣла на него.

— А я васъ люблю! говорила она тихимъ, сосредоточеннымъ голосомъ. Я васъ буду любить... что дѣлать, я долго искала и нашла васъ. Къ чему скрываться, легче разомъ все кончить... да, я васъ очень люблю! добавила она глухо и залилась слезами.

Романъ Семенычъ въ первую минуту не зналъ, что

говорить, что дѣлать; все лице его какъ-то судорожно двиголось; наконецъ онъ всталъ, сѣлъ возлѣ Арины Сергѣевны, схватилъ ея дрожащія руки и бросился цѣловать ихъ.

Она припала головой къ его плечу и тихо плакала; ея горячее дыханіе жгло его шею, ея разсыпавшіеся волосы скользили по щекѣ его, ея горячія слезы капали на грудь его.

— Боже мой, Боже мой! въ полномъ отчаяніи, въ какомъ-то забытьи шептала она, зачѣмъ я только на свѣтъ рождена, нѣтъ мнѣ нигдѣ мѣста. Я всѣмъ чужая, я лишняя, безродная... ты правду сказалъ, повтори еще, правду! Я знать хочу, мнѣ кажется, что ты любишь меня! вдругъ, громко произнесла она, крѣпко сжимая своими дрожащими руками его руки.

Онъ колебался. Что-то мучительное выражалось въ его физіономіи; казалось, какая-то борьба ума и сердца двигала, ворочала ее. Онъ боялся взглянуть на Аринушку, хотѣлъ говорить и не могъ, и вдругъ проворно выпрямился и почти отскочилъ въ сторону.

— Правду, правду! говорилъ онъ взволнованнымъ, дрожащимъ голосомъ; нельзя мнѣ любить васъ, нельзя, никакъ нельзя... меня нельзя любить, меня никто не любилъ. Я человѣкъ такой, родился такимъ; вамъ показалось только. Здѣсь другихъ людей нѣтъ, потому и показалось... воображеніе одно, пустяки, бредъ души, сердца, одна жажда любви, горячка просто... Зачѣмъ любить, сами посудите, зачѣмъ?!

Аринушка во всѣ глаза смотрѣла на него; что-то страдальческое, больное, почти умирающее, молящее, плачущее было въ лицѣ ея.

— Какъ зачѣмъ? Я не понимаю васъ?

Романъ Семенычъ оправился.

— Нѣтъ, Арина Сергѣевна, я все понимаю, вы грезите, сонъ видите, сномъ думаете облегчить себя. Вы меня понимать не хотите, вы на время ребенкомъ сдѣлались, отложили отъ себя все; васъ выпустили, какъ птицу изъ клѣтки—вы обрадовались, полетѣли, вздумали быть свободной, какъ этотъ воздухъ... Подумайте, для человѣка не существуетъ такой свободы; вспомните, у васъ есть мужъ, у меня есть совѣсть,

вотъ наши клѣтки, наши тенета, которыми мы себя спутали; трудно сбросить ихъ, трудно. Безъ нихъ намъ жить нельзя!

— Что мужъ мой, что? Я ненавижу его, онъ мнѣ ничего не далъ, онъ только сковалъ меня, съ жаромъ отвѣтила Аринушка.

— Не правда!.. Вы клевещете на себя, вы не ненавидите его, нельзя вамъ ненавидѣть, за что? Какое вы имѣете право? Вы принимаете мечту за дѣйствительность; вашъ мужъ слишкомъ сухъ, слишкомъ сосредоточенъ въ самого себя, вы слишкомъ горячи, слишкомъ воспріимчивы; вамъ только кажется, что вы не любите его, потому что до сихъ поръ, онъ не взволновалъ въ васъ чувство любви, не вызвалъ его наружу, не обратилъ на себя. Протяни этотъ мужъ руку вамъ, скажи ласковое, сердечное слово, вы броситесь къ нему на шею, вы отдадитесь ему всѣмъ существомъ вашимъ,—нельзя вамъ сдѣлать иначе. Вспомните, онъ благодѣтель вашъ, онъ спасъ вашего отца, онъ вытащилъ васъ; кто знаетъ, еслибъ не онъ, чѣмъ бы вы были теперь; быть можетъ онъ удержалъ васъ отъ паденія, а вы — чѣмъ думаете отплатить ему?!

Аринушка сидѣла опустивъ голову. Она не смѣла пошевельнуться, не смѣла поднять глазъ; чувство какого-то неопредѣленнаго страха разомъ охватило ея душу.

— Да и что вы сдѣлали для вашего мужа, продолжалъ Романъ Семенычъ, воодушевляясь все болѣе и болѣе; скажите, чѣмъ заслужили его любовь, чѣмъ завоевали ее?.. А вѣдь было время, когда онъ любилъ васъ, хотѣлъ, думалъ любить, когда въ его сердцѣ была искра любви къ вамъ; отчего жъ вы не раздули эту искру?.. Положимъ, трудъ былъ не подъ силу вамъ; вы не знали какъ взяться за него, вы рвались совершить его, да не знали какъ приступиться къ нему, вы были такъ неопытны, такъ мало знакомы съ жизнію, такъ живо хватались за все, все разомъ обнять хотѣли; вы думали, что счастье къ людямъ на голову садится,—васъ винить нельзя. Но почему жъ теперь-то вы вините его одного, въ чемъ? Виноватъ ли онъ наконецъ, что не можетъ любить васъ такъ, какъ вы требуете; что жъ дѣлать, если при-

рода создала его такимъ, какъ онъ есть, а не такимъ, какъ вамъ бы хотѣлось!

Аринушка все сидѣла неподвижно. Спустившіеся съ головы волосы закрывали почти все лицо ея; казалось, она не дышала даже, покрайней мѣрѣ грудь ея не подымалась.

— Мнѣ слишкомъ жаль васъ, продолжалъ Романъ Семеньічъ; я самъ не уважаю Петра Петровича какъ человѣка, да что жъ дѣлать, нельзя же чтобъ всѣ люди были сдѣланы по нашей выкройкѣ; я знаю, что ваше положеніе тяжело, невыносимо; понимаю, какъ вы жили въ Петербургѣ, знаю какой гнетъ давилъ васъ; наконецъ васъ выпустили, сказали: ступай, отдохни, дѣлай что хочешь, на васъ рукой махнули. Куда вамъ было идти? Конечно сюда. Мѣсто знакомое, родное, вы и прилетѣли сюда съ жаждою, съ потребностью любить; вы теперь любите каждый цвѣтокъ, каждое дерево, каждую дворовую собаку; соръ здѣшній и тотъ любите, потому что ваша душа такъ настроена; вы все забыли, вы бредите любовью одной; а здѣсь свобода, чистый воздухъ, прозрачное небо, солнце, зелень, птицы поютъ, все подогрѣваетъ любовь, шевелитъ чувства и заснувшаго человѣка; гдѣ же вамъ молчать—вамъ молчать нельзя... вы подумали, кого полюбить? Поискали, взглянули вокругъ себя и полюбили того, кого вы знали ближе, кого считали можетъ за добраго человѣка, принудили себя полюбить! добавилъ онъ глухо и, помолчавъ, продолжалъ: а я, что я? Я давно заснулъ; гдѣ мнѣ отвѣчать вамъ. Я можетъ и радъ бы проснуться, да не въ силахъ, меня жизнь укачала. Я завялъ; гдѣ же разцвѣсти мнѣ? Подумайте, могу ли я чѣмъ нибудь отплатить вамъ, стою ли я васъ? Что я такое? Такъ, вотъ только ноги волочу, образъ ношу человѣческій, живу, потому что не умираю до сихъ поръ; а здѣсь, что здѣсь у меня? Такъ только досада какая-то, дасада на самого себя! Онъ указалъ на грудь. При послѣднихъ словахъ голосъ его звучалъ какъ то насильно, неестественно.

— Разсудите сами, разсудите хладнокровно, почеловѣчески: положимъ, я бы увлекся, переродился, откликнулся бы на слова ваши. Что жъ выйдетъ изъ этого? Вы бросите мужа, то есть сдѣлаете самое черное, неблагодарное дѣло; мужъ

вашъ назоветъ меня подлецомъ, васъ—низкой женщиной; свѣтъ заклеймитъ насъ, да и куда мы дѣнемся? Здѣсь жить нельзя, у вашего мужа все мое состояніе, всѣ средства къ жизни; если я лишусь ихъ—я нищій; а у васъ что?—позоръ, общее презрѣніе. Какая же тутъ любовь, какое счастіе? Наконецъ, положимъ, что всѣхъ этихъ препятствій не существуетъ, что мы забыли ихъ, пренебрегли ими; мы счастливы по горло, живемъ, блаженствуемъ, я въ васъ души не слышу... А увѣрены ли вы во мнѣ Арина Сергѣевна, что я навсегда останусь такимъ, какъ теперь; достаточно ли вы меня знаете. Изучили ли вы меня? Вѣдь любовь—чувство прихотливое; она затмѣваетъ и долгъ, и совѣсть. Чтό если я охолодѣю, если недостаточно привьюсь къ вамъ, тогда что останется, какая жизнь ожидаетъ насъ обоихъ?.. Я ручаться не могу за себя, я слишкомъ слабъ; положимъ, я въ бреду, въ упоеніи скажу, что люблю васъ, а будущее, кто заглянетъ въ него, кто поручится въ немъ? Страшно, страшно, Арина Сергѣевна!

Онъ замолчалъ и принялся съ жадностью курить изъ трубки. Лицо его покрылось красными пятнами, руки дрожали.

Аринушка сидѣла попрежнему молча, неподвижно; только легкіе, еле слышные вздохи доказывали, что она плакала.

Прошло нѣсколько минутъ.

Романъ Семенычъ взялъ снова ее за руку; она подняла голову, отодвинула съ лица волосы, пристально взглянула на него, хотѣла что-то сказать, но не могла, зарыдала и упала головой на грудь его.

— Арина Сергѣевна! Арина Сергѣевна!.. говорилъ Стадкинъ цѣлуя ея руки, самъ въ свою очередь съ трудомъ удерживаясь отъ слезъ.

— Что мнѣ дѣлать?.. Боже, спаси, вразуми меня! Простите, простите меня! шопотомъ повторяла она.

VII.

Третій мѣсяцъ живетъ Арина Сергѣевна въ Петровкахъ. Послѣдній разговоръ съ Рóманомъ Семенычемъ не возобно-

влялся болѣе, о любви не было и помину; и та, и другая сторона, казалось, забыли про нее, схоронили ее гдѣ-то на днѣ души. Они попрежнему проводили вмѣстѣ цѣлые дни, попрежнему гуляли; только, въ этихъ прогулкахъ было меньше жизни, меньше сердечнаго, безотчетнаго удовольствія, меньше взаимнаго интереса, теплой довѣренности; что-то насильное, принужденное проглядывало въ нихъ. Казалось, что эти прогулки были вызваны взаимною обязанностью, приличіемъ, составляли одно сухое, мертвое, форменное воспоминаніе прошедшаго. Часто случалось, что они проходили молча, потупивъ головы, значительныя разстоянія, не спрашивая куда идутъ, зачѣмъ идутъ? Сидѣли рядомъ по цѣлымъ часамъ, не выговоривъ ни одного слова или не хотя, отрывисто разговаривая о какихъ нибудь повседневныхъ мелочахъ, о такихъ предметахъ, которые никогда интересовать не могли. Каждый изъ нихъ какъ будто затруднялся, долго отыскивалъ тему для разговора, взвѣшивалъ ее въ своемъ холодномъ умѣ и наконецъ выпускалъ на свѣтъ Божій. Они походили на людей совершенно незнакомыхъ, встрѣтившихся въ какой нибудь гостиной и обязанныхъ занимать другъ друга.

— Пожалуй, завтра дождикъ будетъ, замѣчалъ Романъ Семенычъ, глядя на красноватое зарево заходившаго солнца.

— Богъ знаетъ, можетъ и не будетъ, отвѣчала Аринушка.

— Я потому говорю, солнце такъ сѣло; нынче лѣто стоитъ хорошее, такого лѣта я давно не запомню, во всемъ урожай хорошій, продолжалъ онъ.

— Мужики говорятъ, яблоковъ много, снова отозвалась она.

— И яблоковъ много, яблоковъ гибель, червь не тронулъ, сухо; если кому заготовки дѣлать, такъ это сколько угодно.

Послѣдовало небольшое молчаніе, нарушаемое только храпомъ догарающей золы въ трубкѣ.

— Вотъ и комаровъ теперь поубавилось, а то бывало моченьки нѣтъ, кусаютъ проклятые, какъ-то со вздохомъ произнесъ Стадкинъ, окружая облакомъ табачнаго дыма летавшаго подъ самымъ носомъ комара.

— А вотъ въ газетахъ пишутъ, будто въ Турціи саранча появилась, большая саранча, тучи цѣлыя!

— Не знаю, не читала! разсѣянно отвѣтила Арина Сергѣевна.

— Нынче въ газетахъ много интереснаго сообщаютъ; полагать надо, война будетъ, наборы пойдутъ, заготовки разныя... Вы въ церковь завтра пойдете? совершенно неожиданно спросилъ онъ.

— А что?

— Ничего, праздникъ завтра.

— Пойду, отчего жъ не пойдти; я въ церкви рада быть, въ церкви хорошо.

— Ничего-съ, у насъ въ церкви порядокъ!

— А вы пойдете? спросила Аринушка.

— Пожалуй, пойду, пойдти можно. Жаль, поютъ здѣсь плохо. Какое я въ Москвѣ пѣніе слышалъ, такого неслыхать больше—просто на небеса уносишься... паришь! Замѣтилъ Романъ Семенычъ и вполголоса затянулъ что-то священное.

Въ такомъ вкусѣ разговоръ повторялся чуть ли не каждый день. Начинавшаяся осень еще болѣе мертвила эту сонную жизнь, по крайней мѣрѣ не разгоняла, не расталкивала ее. Пасмурные дни, безпрестанные дожди, темные вечера, желтый падающій листъ, иногда порывистый, завывающій вѣтеръ, все какъ-то гармонировало съ настроеніемъ души обитателей сельца Петровокъ. Въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ эти обыкновенныя явленія природы быть можетъ прошли бы незамѣтными, но теперь они казались предвѣстникомъ чего-то недобраго, холодили кровь, удвоивали уныніе.

Романъ Семенычъ, оставшись одинъ, задумывался болѣе и болѣе; онъ еще сильнѣе, съ какою-то лихорадочною жадностью, выкуривалъ трубку за трубкой, точно въ табачномъ дымѣ искалъ разрѣшенія своей думы, своего сомнѣнія. Долго, по цѣлымъ часамъ, онъ ходилъ взадъ и впередъ по своимъ комнатамъ, останавливался, оглядывался вокругъ и снова ходилъ. Долго сидѣлъ въ старомъ полинялымъ креслѣ и разсѣянно въ окно глядѣлъ, порой вздыхалъ, порой по его загорѣлой щекѣ скатывалась слеза. Казалось, онъ на что-то

досадовалъ, жалѣлъ, что такъ скоро день кончился, что прошелъ онъ глухо, незамѣченно, ничѣмъ не ознаменовавъ своего теченія. Иногда онъ что-то бормоталъ самъ съ собою, теръ себѣ лобъ, разводилъ руками; лицо его было совершенно мрачно; иногда, напротивъ, въ немъ проглядывало что-то отрадное, свѣтилась какая-то надежда, даже увѣренность. Не разъ онъ думалъ возобновить прежній замолкнувшій разговоръ съ Аринушкой, расшевелить ея насильно заснувшее сердце, заранѣе слагалъ слова, фразы, но приходило время и рѣшимость его вдругъ пропадала, языкъ или не двигался, или болталъ что-то совершенно ненужное. Романъ Семенычъ возвращался домой въ самомъ дурномъ расположеніи духа, даже мысленно бранилъ самого себя, упрекалъ Арину Сергѣевну за ея молчаніе, за ея видимое внезапное къ нему охлажденіе, а потомъ, вдругъ перемѣнялъ мнѣніе, успокоивался, радовался, даже хвалилъ самого себя за скромность, за умѣнье владѣть своими, какъ онъ выражался, лишними, никуда не годными чувствами.

— Ничего тутъ быть не можетъ, глупость одна, малодушіе; это только мальчику развѣ идетъ. Отъ нечего дѣлать вздоръ въ голову лѣзетъ, сумасшествіе какое-то; нужно принудить, перевернуть себя, разомъ покончить. Хоть уѣхать отсюда... и уѣду—въ Сибирь, въ Камчатку уѣду! говорилъ онъ самъ съ собою.

Напротивъ, Арина Сергѣевна казалась совершенно спокойною, только дѣтская веселость ея пропала, она сдѣлалась какъ-то серьезнѣе, положительнѣе, точно сосредоточилась въ самую себя, точно созрѣла, выросла, женщиной стала. Казалось, ничто не тяготило ее, какъ будто не было у ней ни горя, ни радости, ни прошедшаго, ни будущаго; она смотрѣла равнодушно на все окружающее, какъ на что-то постороннее, чуждое и не касающееся. Этотъ переворотъ совершался въ ней безъ борьбы, безъ сознанія въ его необходимости, безъ внутренняго потрясенія. Она проснулась перерожденною. На лицѣ ея не было и слѣдовъ какой нибудь затаенной грусти; оно было величественно, спокойно; глаза свѣтились тихимъ огнемъ, что-то чистое, безупречное отражалось въ нихъ. Только молилась Аринушка дольше и

усерднѣе прежняго; казалось, молитва замѣняла ей все на свѣтѣ, сдѣлалась ея потребностью, ея лучшимъ, нравственнымъ наслажденіемъ, ея единственною, духовною пищею.

По цѣлымъ часамъ стояла она на колѣняхъ передъ образомъ, не крестясь, не кланяясь безпрестанно въ землю; она какъ будто отдѣлялась отъ земли, бесѣдовала съ Богомъ, отдавалась, разсказывала, повѣряла ему тайны души своей,— на устахъ ея сіяла кроткая, безмятежная улыбка. Часто даже среди дня Аринушка вдругъ обращала свои взоры къ небу, точно чего-то искала въ немъ, точно отдыхала въ его безконечной воздушной глубинѣ.

О Петрѣ Петровичѣ не было ни слуху, ни духу. Онъ разъ только написалъ женѣ очень сухое, коротенькое письмо, въ которомъ почти приказывалъ ей не торопиться ѣхать въ Петербургъ, а остаться подольше въ деревнѣ.

Арина Сергѣевна, со своей стороны, также писала къ мужу довольно рѣдко, да и то всегда затруднялась какъ писать, о чемъ писать и прибѣгала къ совѣтамъ и помощи своего сосѣда.

Однажды, какъ-то подъ вечеръ, Романъ Семенычъ читалъ какую-то книгу, Арина Сергѣевна слушала. Вбѣжавшая въ попыхахъ горничная объявила, что пріѣхалъ изъ Петербурга дворецкій Петра Петровича и что завтра будутъ всѣ люди при немъ находившіеся.

Романъ Семенычъ вздрогнулъ, книга выпала изъ рукъ его. Арина Сергѣевна нѣсколько смутилась.

— Что это значитъ?.. Позови сюда! сказала она, и щеки ея вдругъ покраснѣли. Она взглянула на Стадкина, онъ сидѣлъ понуривъ голову.

Черезъ минуту явился дворецкій—старый, сѣдой человѣкъ. Онъ три раза перекрестился передъ висѣвшимъ въ углу образомъ и низко поклонился барынѣ.

— Что Петръ Петровичъ? онъ самъ сюда будетъ? спросила она, не давъ времени опомниться вошедшему.

— Никакъ нѣтъ-съ, сами не будутъ, ничего про это не извѣстно; дворню отпустили, медленно отвѣчалъ послѣдній, уставивъ глаза на концы собственныхъ сапоговъ своихъ.

— Зачѣмъ же отпустилъ?.. Онъ живъ, здоровъ?

— Ничего-съ, здоровы; значитъ такая воля ихняя—по своей волѣ и отпустили.

— И тебя отпустилъ?

— И меня отпустили... всѣхъ-съ,—кого по оброку назначили, кого въ деревню, только что Матрену, что въ ключницахъ числилась, при себѣ оставили.

— Стало быть что нибудь случилось? Можетъ несчастіе какое?

— Не могу знать-съ... Чему бы случиться кажется, и примѣтнаго ничего не было, жили какъ при вашей милости, въ порядкѣ, только что, извѣстно, строгость большая. Каждымъ часомъ бѣды себѣ жди,—а тутъ, ничего этого намъ не извѣстно, разстройство подошло, долги какіе-то.

— Долги?!

— Не могу знать-съ, люди такъ сказывали. Отчего бы кажется долгамъ быть, слава-те Господи! Онъ поднялъ на минуту голову и посмотрѣлъ вокругъ себя.

Романъ Семенычъ молчалъ и изподлобья глядѣлъ на пріѣзжаго.

— Къ вашей милости письмо написали да и отпустили всѣхъ: сегодня значитъ приказаніе отдали, а завтра чѣмъ свѣтъ ужъ и не было никого, такая поспѣшность вышла, добавилъ дворецкій, сунулъ руку за пазуху, вытащилъ изъ него конвертъ и подалъ Аринушкѣ.

— Ничего больше? спросила она.

— Ничего-съ... кланяться приказали... Кланяйся, говорятъ.

Она взяла письмо, распечатала его, отпустила дворецкаго, облокотилась обѣими руками на столъ и принялась читать.

По мѣрѣ чтенія, физіономія ея прояснялась болѣе и болѣе, на губахъ показалась улыбка, глаза сдѣлались влажными и жадно перебѣгали со строчки на строчку, грудь высоко подымалась; какое-то внутреннее чувство захватывало ея дыханіе; казалось, она хотѣла или зарыдать, или смѣхомъ разразиться; лице горѣло, сердце сильно билось.

Романъ Семенычъ все время пристально смотрѣлъ на нее.

Она кончила читать, хотѣла что-то сказать, но не могла; молча, дрожащею рукою передала Стадкину письмо, отвернулась и тихо заплакала.

— Арина Сергѣевна, что съ вами? спросилъ онъ, судорожно сжимая письмо.

— Не знаю!.. хорошо мнѣ! отвѣтила она и закрыла лице руками.

Романъ Семенычъ нетерпѣливо пожалъ плечами, сильно раза три затянулся, развернулъ письмо и принялся читать его.

Оно было слѣдующаго содержанія.

«Несравненный, добрый другъ мой, Аринушка! Прости меня, я много виноватъ передъ тобой, такъ много, что не имѣю даже силъ оправдываться. Судя по моему долгому молчанію, ты могла думать, что я забылъ, бросилъ тебя на произволъ судьбы, обрадовался твоему отсутствію; нѣтъ, ты всегда оставалась въ моей памяти, въ моемъ сердцѣ; только проклятыя дѣла, не дававшія мнѣ покою, невольно, временно отстранили меня отъ тебя, но за то заставили истинно, вполнѣ дорожить тобою, какъ моимъ ангеломъ хранителемъ, заступникомъ предъ всемогущимъ Богомъ. Женясь на тебѣ, мнѣ казалось, что я дѣлаю доброе, почти святое дѣло, что ты мнѣ счастіе принесешь, навсегда упрочишь его; я не ошибся: я былъ счастливъ, я все возвышался, все удавалось мнѣ—только это самое, черезмѣрное счастіе и погубило, задушило меня. Я видѣлъ твое отчужденіе и молчалъ, замѣчалъ твою тоску, твое горе и не старался разсѣять ихъ; я забылъ, что всѣмъ обязанъ тебѣ, забылъ, что ты охраняешь меня, что безъ тебя—я ничто. Я былъ слишкомъ гордъ, мнѣ никогда не приходило въ голову, что благопріятствующая судьба рано или поздно можетъ оставить меня; постоянныя во всемъ удачи усыпили меня. Только теперь я сознаю какъ страшно, жестоко виноватъ передъ тобою, сознаю, что ты увезла съ собою все, даже самую жизнь мою; въ тебѣ была заключена вся сила моя, безъ тебя я существовать не могу. Я кляну себя, называю безчувственнымъ, неблагодарнымъ. У тебя одной я прошу прощенія, прости!.. Спаси меня!.. вороти мнѣ мое прежнее, заступись за меня! Ты одна можешь если не воскресить, то покрайней мѣрѣ поддержать меня, очистить мою совѣсть, не дать мнѣ умереть на чужихъ, предательскихъ рукахъ, подъ чужой смѣхъ и говоръ.

Я старъ, здоровье моё видимо разстроилось; я звалъ тебя

когда-то жить, радоваться, наслаждаться вмѣстѣ со мною; теперь зову страдать, облегчить мою горькую участь, закрыть мнѣ глаза, пролить теплую слезу надъ моимъ гробомъ. Я не принуждаю тебя, не приказываю тебѣ: я не могу приказывать, я слишкомъ слабъ, слишкомъ ничтоженъ; я прошу только твоей милости, твоего заступничества—оно до сихъ поръ спасало меня, быть можетъ спасетъ и теперь. Доброе сердце твое укажетъ, что тебѣ нужно дѣлать; ты жена, ты другъ мой, сжалься же надо мной—истинные друзья познаются въ несчастіи. Именемъ твоего отца умоляю тебя, не оставь меня; забудь все, протяни мнѣ твою благодѣтельную руку. Отслужи панихиду за упокой души его, молись, больше молись, молись покамѣстъ силъ хватитъ!.. Скажи Гришкѣ старому, что я его на волю отпускаю; я нарочно не говорилъ ему, пусть онъ услышитъ это слово изъ устъ твоихъ! Сдѣлай какое нибудь доброе дѣло, помоги неимущимъ крестьянамъ, если нужно продай для этого мебель изъ гостиной и кабинета, чортъ съ ней, я никогда не буду въ Петровкахъ. Отдай что можно на церковь, ничего не жалѣй—все вздоръ, все не наше... Богу больше, какъ можно больше! Я съ часу на часъ буду ожидать тебя, какъ единственной своей отрады. Я воскресну, увидѣвъ тебя; докажи мнѣ, что я не ошибся тогда, когда заступился за твое честное имя, пренебрегъ людскими словами, не погнушался твоимъ рубищемъ, когда женился на тебѣ. Прилагаю при семъ мой адресъ, я переѣхалъ съ прежней квартиры. Любящій тебя другъ и мужъ

Петръ Колотырниковъ».

Романъ Семенычъ долго читалъ письмо. Казалось, онъ съ трудомъ разбиралъ его, не вѣрилъ глазамъ своимъ тому, что въ немъ было написано. Онъ безпрестанно останавливался, безпрестанно взглядывалъ на Арину Сергѣевну, тревожно озирался вокругъ себя; руки его дрожали, лице было совершенно блѣдно, холодный потъ градомъ струился по лбу его. По временамъ внутреннее волненіе сильно давило его; онъ готовъ былъ зарыдать, но пересиливалъ себя и только глухо кашлялъ. Наконецъ онъ кончилъ, бросилъ письмо на столъ, всталъ, прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ, набилъ трубку, закурилъ ее и сѣлъ на диванъ. Только по су-

дорожному движенію руки его, да черезъ-чуръ блѣдному лицу видно было, что онъ далеко не успокоился.

Аринушка все сидѣла, закрывъ лице руками.

Прошло нѣсколько минутъ. Она обернулась поспѣшно, глаза вытерла и взглянула на Романа Семеныча.

— Читали? спросила она.

— Читалъ-съ, хорошо написано, очень хорошо! неопредѣленно отвѣтилъ онъ и, помолчавъ, самъ съ собою прибавилъ: бестія человѣкъ, большая бестія!

— Что мнѣ дѣлать?.. Я сама себя не помню!

— Какъ что? За лошадьми посылать, тутъ и думать нечего, завтра чѣмъ свѣтъ ѣхать скорѣй, какъ можно скорѣй; вамъ нельзя не ѣхать, вы должны ѣхать; не поѣдете— онъ васъ силой вытребуетъ!

— Какъ силой? онъ проситъ, умоляетъ, какая же сила тутъ; еслибъ онъ не хотѣлъ даже, я бы сама поѣхала.

— Все это вздоръ... силой!.. вы жена его! рѣзко отвѣтилъ Романъ Семенычъ. Во всемъ самъ виноватъ, самъ сгубилъ себя, а теперь какую-то Божью кару надъ головой своей видитъ, въ васъ спасенія ищетъ. Совѣсть грызетъ! Воръ церковь ограбилъ, а потомъ свѣчу предъ образомъ ставитъ. Господи помилуй! Господи благодарю тебя! добавилъ онъ и горько усмѣхнулся.

Лицо Арины Сергѣевны вдругъ приняло строгое выраженіе.

— Романъ Семенычъ, вспомните, вы говорите о моемъ мужѣ, о человѣкѣ, которому я такъ много обязана; пощадите меня, пощадите его, онъ въ несчастіи! какимъ-то умоляющимъ, серьезнымъ тономъ произнесла она.

— Я все помню!.. все; вспомните и вы, когда вы говорили, что ненавидите мужа, я что сказалъ вамъ?.. Когда здѣсь, на могилѣ отца, вы объяснялись въ любви ко мнѣ, требовали этой любви, я что сказалъ?.. развѣ я бросился къ вамъ на шею, развѣ схватился за эту любовь, обрадовался ей; я все могъ сдѣлать, и ничего не сдѣлалъ, я отдалъ васъ вашему мужу, я все схоронилъ въ себѣ; трудно было, да дѣлать нечего—такая судьба моя, доля такая!.. Я былъ оди-

нокъ, одинокъ и останусь, я съ колыбели не зналъ женскихъ ласкъ, боялся ихъ и теперь ихъ знать не хочу!.. На глазахъ его навернулись слезы. Поѣзжайте къ мужу, вашъ долгъ ѣхать, повиноваться; поѣзжайте утѣшать его, лечить отъ глупости и мерзости, страдать,—вы еще мало страдали, мало ползали! добавилъ онъ какъ-то глухо, и провелъ рукою по головѣ.

Аринушка стояла опустивъ голову и тяжело дышала.

— Чѣмъ же я виновата? Что мнѣ дѣлать? произнесла она нѣсколько спустя какъ-бы сама съ собою, не смѣя взглянуть на Романа Семеныча.

— Ѣхать, ѣхать, ѣхать!.. Поѣзжайте съ Богомъ, меня оставьте въ покоѣ, отвѣтилъ онъ и, помолчавъ, прибавилъ: я то за что страдаю, за что гибну? Я зачѣмъ приплелся тутъ, зачѣмъ въ омутъ лѣзу? Лишаюсь имѣнія, всѣхъ средствъ къ жизни, осмѣянъ, одураченъ... а почему?.. потому что совѣсти много. Къ чорту бы эту совѣсть дурацкую! Онъ ткнулъ себя пальцемъ въ грудь.

Арина Сергѣевна подняла голову.

— Романъ Семенычъ, произнесла она твердымъ, спокойнымъ голосомъ, я тоже все помню, помню ту минуту, когда на мое чистосердечное признаніе, на мой смѣлый, безразсудный вызовъ, на говоръ моего разбитаго сердца вы откликнулись вашимъ холоднымъ умомъ, оттолкнули меня. Я помню, тогда мнѣ страшно сдѣлалось, мнѣ бы легче было умереть, чѣмъ услышать отвѣтъ вашъ... Я вѣдь тоже все схоронила въ себѣ; вы сами открыли глаза мнѣ, сами научили, заставили меня сдѣлать то, что я дѣлаю теперь!.. За что жъ вы корите меня? Я только исполняю вашу волю, ваше желаніе, сознаю его пользу, его необходимость. Благодарю васъ, вы указали мнѣ мой долгъ, мою первую святую обязанность, представили весь позоръ моего заблужденія, научили меня дорожить этимъ долгомъ; вы были моимъ наставникомъ—я послушалась васъ, я насильно заглушила въ себѣ все то, чѣмъ билось мое сердце, вы спасли меня!.. Чего жъ вы теперь хотите?.. Могу-ли я возвратиться къ прежнему? когда, въ какую минуту? Подумайте, Романъ Семенычъ, докажите несправедливость словъ вашихъ, докажи-

те, что вы обманывали меня, смѣялись надо мною, какъ надъ малымъ ребенкомъ, тогда, быть можетъ, я одумаюсь, снова послушаюсь вашего совѣта, соглашусь съ вами, вернусь къ прошедшему. Я все еще люблю васъ, только теперь чувство благодарности къ мужу, состраданія къ нему— выше всякой любви; теперь любовь не заплатитъ долга!.. Прощайте, Романъ Семенычъ, я завтра ѣду! добавила она и протянула ему руку.

Стадкинъ не зналъ, что отвѣчать; онъ только взглянулъ на Арину Сергѣевну, схватилъ ея руку и крѣпко прижалъ къ губамъ своимъ.

Она нагнулась и поцѣловала его въ голову.

На другой день, рано утромъ, у подъѣзда барскаго дома стояла запряженная шестеркою почтовыхъ лошадей, дорожная карета; около нея толпились мужики, бабы; деревенскіе ребятишки карабкались на запятки и козла; старикъ дворецкій стоялъ понуривъ голову, придерживаясь рукою за переднее колесо.

На крыльцо вышла Аринушка.

Всѣ присутствующіе разомъ обступили ее, точно говорить съ ней хотѣли; мальчишки умолкли; всѣ лица были пасмурны, на глазахъ нѣкоторыхъ блестѣли слезы; позади толпы вылъ чей-то старушечій голосъ.

— Прощайте братцы! произнесла Арина Сергѣевна; благодарю васъ, очень благодарю, спасибо вамъ!.. Богъ знаетъ, увидимся ли когда, съ трудомъ добавила она и горько заплакала.

Толпа застонала. Отдѣлившіеся отъ нея мужики и бабы цѣловали руки госпожи своей, полы ея платья, нѣкоторые валялись въ ногахъ ея.

— Кормилица! мать родная! заступись, на кого покидаешь насъ, золотая, желанная! слышалось со всѣхъ сторонъ.

Арина Сергѣевна не знала, что дѣлать; она протягивала тѣснившимся крестьянамъ свои руки, цѣловала ихъ головы.

Прошло съ четверть часа, толпа успокоилась. Аринушка собралась съ новыми силами.

— Григорій Архипычъ, тебя баринъ на волю отпускаетъ,

за службу благодарить! Спасибо тебѣ, дай Богъ счастья, помолись за насъ... На волю! добавила она радостно.

Дворецкій заморгалъ глазами, оглянулся на всѣ стороны, точно искалъ чего-то, точно недовѣрялъ ушамъ своимъ, точно спрашивалъ подтвержденія у людей окружавшихъ его, потомъ повалился въ ноги барынѣ и захныкалъ, какъ дребезжащая надорванная струна на скрипкѣ.

— Пустите, пустите! раздался вдругъ чей-то голосъ. Толпа раздвинулась. Аринушка обернулась. Передъ ней стоялъ Романъ Семенычъ въ форменномъ сертукѣ, съ большимъ табачнымъ кисетомъ черезъ плечо, съ трубкой въ одной рукѣ, чемоданомъ и кожаной подушкой въ другой.

— Меня возьмете съ собой? спросилъ онъ весело, но совершенно равнодушно.

— Куда?

— Я тоже въ Петербургъ ѣду; сегодня ночью вздумалъ, здѣсь дѣлать нечего.

Аринушка съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Возмете? повторилъ онъ; не то, я слѣдомъ поѣду; и телѣжку смазать велѣлъ.

— Поѣдемте! отвѣтила она и улыбнулась.

Черезъ нѣсколько минутъ карета катилась по селу. Изъ всѣхъ оконъ выглядывали то мужскія, то женскія головы; всѣ встрѣчные въ поясъ кланялись ей, останавливались и долго провожали глазами, а старикъ дворецкій задыхаясь, весь въ поту, сопровождаемый ребятишками, бѣжалъ за ней до тѣхъ поръ, покамѣстъ не растянулся отъ изнеможенія и усталости.

На первой станціи Романъ Семенычъ и Арина Сергѣевна встрѣтились съ какимъ–то тучнымъ, высокимъ бариномъ, ѣхавшимъ принимать купленную имъ за безцѣнокъ Петровку.

— Сколько душъ числится? спросилъ его Стадкинъ, весь блѣдный отъ страха.

— По послѣдней ревизіи 532 души—отвѣтилъ баринъ.

У Романа Семеныча отлегло отъ сердца; имѣніе ему принадлежащее осталось нетронутымъ.

VIII.

А между тѣмъ, недѣли за двѣ до полученія письма Ариной Сергѣевной, въ богато убранной квартирѣ Петра Петровича происходилъ страшный безпорядокъ. Мебель была сдвинута и перевязана веревками, стулъ стоялъ на стулѣ, кресло на креслѣ, столы были завалены фарфоровой и стекляной посудой, столовымъ серебромъ; на одномъ диванѣ лежали также перевязанныя веревками двѣ енотовыя шубы, пальто бобровое, на другомъ валялся огромный, на половину сложенный коверъ, занавѣсы съ оконъ; драпри съ дверей были разостланы на креслахъ и стульяхъ; на полу лежали снятыя со стѣнъ и сложенныя другъ на дружку картины, за ними выглядывали двѣ бронзовыя люстры, далѣе—кучерская одежда, армяки, шапки и даже лошадиная сбруя. Ко всѣмъ этимъ вѣщамъ были приложены красныя печати; около нихъ толпились: какой-то худенькій господинъ въ вицъ-мундирѣ, купецъ съ бородкой, съ хитрыми бѣгающими глазами, въ долгополомъ синемъ кафтанѣ; онъ безпрестанно дотрогивался то до одной, то до другой вещи, тыкалъ пальцемъ въ картины, гладилъ шубы, щупалъ матерію на мебели; въ сторонѣ разговаривалъ квартальный надзиратель съ другимъ чиновникомъ въ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ и книгой подъ мышкой. Въ другихъ комнатахъ было совершенно пусто; только гвозди на стѣнахъ, да разбросанные по полу клочки бумаги доказывали, что и здѣсь было когда-то хорошо, уютно, что быть можетъ недавно, нѣсколько часовъ тому назадъ, чья-то безжалостная рука вытащила отсюда всѣ нужныя и ненужныя украшенія, всѣ прихоти богатства и роскоши. По этимъ комнатамъ взадъ и впередъ, изъ угла въ уголъ, повѣсивъ голову и заложивъ руки въ карманы брюкъ, ходилъ самъ Петръ Петровичъ. Костюмъ его былъ въ совершенномъ безпорядкѣ, полуразвязанный галстукъ еле держался на шеѣ, изъ-подъ сюртука выглядывала измятая рубашка. Лице его было блѣдно; густая, небритая, сѣдая борода покрывала весь подбородокъ; на осунувшихся щекахъ мѣстами проглядывали

багровыя пятна; глаза впали и какъ-то непріятно сверкали изъ-подъ нависшихъ бровей. Вообще онъ сильно перемѣнился, похудѣлъ, сгорбился, сдѣлался даже выше ростомъ; прежнее величіе въ движеніяхъ пропало, голосъ сталъ дребезжащимъ, точно не говорилъ онъ, а плакалъ, жаловался; какая-то ранняя, преждевременная дряхлость овладѣла всѣмъ существомъ его.

За дверью, въ другой комнатѣ, старая, семидесятилѣтняя старуха, оставленная Колотырниковымъ при себѣ, взамѣнъ всей прочей прислуги, отпущенной наканунѣ, протяжно всхлипывала.

Петръ Петровичъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ; казалось, онъ ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ; наконецъ нетерпѣливо тряхнулъ головой и подошелъ къ двери.

— Не реви! довольно сердито крикнулъ онъ; чего рюнишь, жалѣть вздумала; я тебѣ дамъ жалѣть, дурища старая, смѣй жалѣть! Вотъ тоже въ деревню отправлю... доставайся чорту какому нибудь. Молчи! громче прежняго крикнулъ онъ, услышавъ въ отвѣтъ какое-то оправданіе—если при себѣ оставилъ, такъ и молчи, пикни только!

Всхлипыванье прекратилось.

Петръ Петровичъ зашагалъ снова, но вдругъ остановился и схватилъ себя за голову; воображенію его разомъ представился весь ужасъ настоящаго положенія. Онъ разорился, онъ нищій, у него ничего нѣтъ, отъ него всѣ отступились; вся эта дрянь, мелюзга, которая за счастіе считала пожать его руку, ползала, унижалась, толпилась въ его передней, кормилась его хлѣбомъ—теперь смѣется, издѣвается надъ нимъ. Что за судьба жестокая? Откуда разомъ посыпались всѣ удары, нахлынули эти долги проклятые; почему все пошло къ чорту, все кверху дномъ встало? Тамъ лопнулъ казенный подрядъ, тамъ въ частныхъ рукахъ пропали тысячи, тамъ фабрика обанкрутилась, тамъ одна неудавшаяся афера повлекла за собою другую, третью, ошеломила окончательно, вырвала съ корнемъ послѣднія силы; тамъ наконецъ все его имущество, все доставшееся потомъ и кровью, сколоченное правдой и неправдой въ теченіи цѣлой жизни, клеймится полицейскою печатью, продается съ публичнаго

торга. Онъ, богачъ, гордый, неприступный, счастливецъ, баловень, орелъ—онъ долженъ на старости лѣтъ съежиться, отказывать себѣ въ необходимомъ, быть можетъ, въ кускѣ хлѣба, просить, унижаться! Страшно, стыдно, невыносимо, невѣроятно, непостижимо для самого себя. Петръ Петровичъ заскрежеталъ зубами, стиснулъ руки, опустился на подоконницу. Лицо его какъ-то судорожно вытянулось; онъ тяжело, прерывисто дышалъ, какъ будто усталъ, изнемогъ, задохся отъ налетѣвшихъ разомъ несчастій.

— Боже мой, Боже мой, въ чемъ я согрѣшилъ тебѣ! глухо простоналъ онъ.

Черезъ нѣсколько дней квартира его совершенно опустѣла. Онъ переѣхалъ куда то очень далеко, на край Петербурга, и поселился въ деревянномъ, одноэтажномъ домикѣ, въ двухъ небольшихъ, бѣдныхъ комнатахъ.

Мрачно, одиноко, неподвижно, уставивъ глаза въ стѣну, какъ будто боясь чего–то, просиживалъ онъ по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ, никого не принималъ къ себѣ, никого видѣть не хотѣлъ, только безпрестанно ворчалъ на старуху Матрену, бывшую ключницу, да иногда, какъ бы наскучившись долгимъ молчаніемъ, метался какъ угорѣлый, стоналъ, рвалъ на себѣ волосы или, забивши въ подушки голову, плакалъ какъ ребенокъ. Страшно было въ такую минуту подступиться къ Петру Петровичу: онъ въ каждомъ видѣлъ своего врага, своего злодѣя, своего нравственнаго убійцу, на каждомъ хотѣлъ выместить накипѣвшее горе; даже Матрена въ подобныя минуты не смѣла глядѣть на барина, крестилась, пряталась и дрожала отъ страха. Разъ какая-то родственница вздумала навѣстить Петра Петровича, принять въ немъ участіе, погоревать вмѣстѣ съ нимъ, но получила такой нагоняй, что почти стремглавъ вылетѣла на улицу.

Однажды, утромъ, когда Колотырниковъ находился въ самомъ мрачномъ расположеніи духа, подъ окнами его комнаты остановилась знакомая ему карета, а изъ нея вылѣзла Арина Сергѣевна.

У Петра Петровича затряслись ноги и руки, онъ хотѣлъ было встать, бѣжать, броситься на встрѣчу пріѣзжей,

но ничего не могъ—только поблѣднѣлъ больше обыкновеннаго. Невозможно расказать эту встрѣчу мужа съ женой; она не выражалась словами, ни одного вздоха не было слышно ни съ той, ни съ другой стороны, какая-то могильная тишина сопровождала ее. Петръ Петровичъ впился въ руки Аринушки, она обвила его шею и прильнула головой къ груди его. Нѣсколько минутъ они оставались неподвижными, дыханіе ихъ замерло, наконецъ Арина Сергѣевна подняла голову, тихо, протяжно вскрикнула. Петръ Петровичъ зашатался, опустился на стулъ и захныкалъ какимъ-то ребяческимъ болѣзненнымъ голосомъ. Аринушка схватила его за руки, повалилась передъ нимъ на колѣни и глухо зарыдала.

Прошло съ четверть часа. Они все молчали. Казалось, они каялись другъ передъ другомъ, взаимно просили другъ у друга прощенія, повѣряли другъ другу самыя сокровенныя тайны. Они какъ будто въ первый разъ въ жизни поняли, оцѣнили, разгадали другъ друга. Въ ихъ рыданіи было что-то радостное, что-то такое теплое, успокоивающее душу; они взаимно дорожили этимъ рыданіемъ, наслаждались имъ. Имъ хорошо было. Наконецъ они, какъ бы по знаку, вдругъ смолкли и взглянули другъ на друга.

Въ лицѣ Аринушки было столько любви, столько счастія, столько теплой довѣренности; влажные глаза ея смотрѣли такъ отрадно, такъ весело, что Петръ Петровичъ невольно улыбнулся, но тотчасъ же, какъ бы раскаявшись въ этой улыбкѣ, тяжело вздохнулъ.

— Видишь!.. произнесъ онъ повертывая голову и указывая на голыя стѣны комнаты.

— Все вижу, все знаю, спокойно отвѣтила Аринушка.

— Ничего нѣтъ, все къ чорту пошло, провалилось все! продолжалъ Петръ Петровичъ очень тихо, точно говорилъ самъ съ собою; все взято, все продано!.. Петровка продана; все пропало, честь пропала; я уничтоженъ, меня всѣ бросили. Ты теперь свободна, ты только прости меня, на смерть благослови; я боялся, что умру безъ тебя, я ждалъ тебя, меня здѣсь давило что-то, мучило, теперь легче стало!.. Онъ указалъ на сердце. Я обманулъ тебя, ступай съ Богомъ,

ступай куда знаешь—одному легче страдать. Я нищій, мнѣ нечѣмъ кормить тебя, ступай, прости только! глухо добавилъ онъ и махнулъ рукой.

— Меня только мертвую вынесутъ отсюда!.. Ты звалъ меня спасти тебя, я и спасу, я и прокормлю тебя. Я счастлива теперь, я ждала этого страданія, мнѣ нужно оно; несчастіе оживило, спасло меня!.. Теперь во мнѣ силы есть, я рада несчастію! почти крикнула Аринушка, и глаза ея засверкали. Голосъ ея звучалъ такою увѣренностью, точно въ самомъ дѣлѣ отъ ея воли зависѣло спасти мужа, точно въ ея рукахъ была самая жизнь его. Она въ первый разъ сказала ему ты.

— Здѣсь лучше, говорила она нѣсколько спустя, оглядывая кругомъ комнату; тамъ, на той квартирѣ, мнѣ душно было, я больна была, недоставало чего-то... Здѣсь легче, свободнѣе, здѣсь весело; здѣсь я выздоровѣла... Здѣсь свѣтъ, тамъ могила—намъ немного нужно... Я сама буду стряпать, сама бѣлье стирать, мнѣ хорошо теперь! Вотъ, еслибы папенька былъ живъ, я была бы совсѣмъ, совсѣмъ счастлива! Вѣдь и его кости тоже проданы! добавила она грустно.

Петръ Петровичъ вздрогнулъ.

Аринушка замѣтила смущеніе мужа, тотчасъ перемѣнила тонъ и весело прибавила: знаешь, Романъ Семенычъ со мной пріѣхалъ.

— Пріѣхалъ! повторилъ Колотырниковъ—да, ему не зачѣмъ тамъ оставаться; его имѣніе цѣло, онъ тоже продастъ его, съ него хватитъ; всѣ здѣсь, всѣ соединились, точно прежде бывало. Господи, Господи! замѣтилъ онъ и замоталъ головой.

Вечеромъ въ тотъ же день явился Романъ Семенычъ.

Увидѣвъ его, Петръ Петровичъ снова захныкалъ, однако скоро успокоился, тѣмъ болѣе, что Стадкинъ ни о чемъ не распрашивалъ его, какъ будто и не замѣтилъ ничего. Только оставшись на минуту наединѣ съ Ариной Сергѣевной, онъ тихо спросилъ: все пропало, ничего не осталось?

— Ничего! Кажется и рубля нѣтъ, отвѣтила она.

Романъ Семенычъ пожалъ плечами.

— У меня есть кой какія деньги—первое время пере-

биться можно; что жъ дѣлать, тамъ имѣніе продамъ, неопредѣленно замѣтилъ онъ.

Аринушка на него взглянула. Въ комнату вошелъ Петръ Петровичъ.

Недѣли двѣ, три, прожила Арина Сергѣевна послѣ пріѣзда изъ Петровокъ и какъ прожила, о такомъ счастіи она никогда и не мечтала, не сознавала его возможности. Все то, чего жаждала душа ея, чѣмъ билось сердце, отъ недостатка чего она терзалась, мучилась—все исполнилось въ полной силѣ, вдругъ, разомъ, все соединилось съ избыткомъ для полнаго, невозмутимаго счастія. Петръ Петровичъ переродился, сдѣлался другимъ человѣкомъ; онъ съ какимъ-то трепетнымъ вниманіемъ смотрѣлъ на жену, видѣлъ въ ней своего лучшаго, единственнаго друга, свою радость, свое утѣшеніе, что-то святое, безпорочное; разговаривалъ съ нею такъ мягко, такъ нѣжно, повѣрялъ ей тайны души своей, дѣлился своимъ страданіемъ, спрашивалъ ея совѣтовъ, точно хотѣлъ учиться у нея, точно видѣлъ въ ней какое-то совершенство, что-то мудрое, безошибочное, точно искалъ въ ней своего спасенія. Онъ называлъ ее не иначе, какъ своимъ ангеломъ хранителемъ, гладилъ ея волосы, цѣловалъ ея руки. Казалось, теперь онъ бы не промѣнялъ жену ни на какія сокровища въ мірѣ; онъ отдался ей какъ дитя, лаская ее, забывалъ свое горе, свое прежнее и настоящее положеніе, забывалъ все на свѣтѣ.

Арина Сергѣевна, съ своей стороны, вся перенеслась въ мужа, заключилась, сосредоточилась въ немъ, какъ-то лихорадочно уцѣпилась за эту внутреннюю, совершившуюся въ немъ перемѣну, точно боялась потерять ее, точно не вѣрила въ ея прочность, точно хотѣла насладиться ею скорѣе, больше, испить чашу до дна, разомъ, точно думала настоящимъ, черезмѣрнымъ счастіемъ запастись на будущее время, облегчить будущія страданія. Она поняла теперь, какой любви искало ея сердце, поняла свою прошедшую муку, бредъ души своей и даже внутренно благословляла ее, какъ средство доставившее ей путь къ настоящему блаженству. Теперь никакая сила не могла оторвать ее отъ Петра Петровича; она любила его, какъ любитъ мать своего ребенка, какъ человѣкъ

любитъ самого себя; она нераздѣльно соединилась съ нимъ. О прежнемъ богатствѣ между мужемъ и женой не было и помину, какъ будто они никогда не знали его и не были богаты до сихъ поръ. Правда, особенно вопіющей нужды ни Петръ Петровичъ, ни Арина Сергѣевна еще не испытали. До перваго ничто не доходило; онъ сидѣлъ въ теплой комнатѣ, въ тепломъ халатѣ, ѣлъ готовый обѣдъ, не такой изысканный какъ прежде, но тѣмъ не менѣе довольно вкусный; его берегли, боялись огорчить, какъ ребенка; онъ не спрашивалъ, откуда взялись деньги на этотъ обѣдъ, заплачено ли хозяйкѣ за квартиру; онъ какъ будто или боялся спросить, или смотрѣлъ на настоящую свою жизнь, какъ на ничего не стоющую, какъ будто сама судьба была обязана заботиться о немъ, не смѣла допустить его жить еще хуже, съ бо́льшими лишеніями. Что касается до Арины Сергѣевны, то она волею и неволею, для спокойствія мужа, должна была принять помощь, предложенную Романомъ Семенычемъ. Сначала долго крѣпилась она; самолюбіе ея страдало, ей было стыдно, больно, она краснѣла, знала что Стадкинъ отдаетъ послѣднее, думала работать чтобъ возвратить ему, наконецъ увидѣла, что работать не можетъ, что работой ничего недостанешь и, насильно, махнувъ рукой, придавила въ себѣ неумѣстную совѣсть.

— Что жъ дѣлать! я не могу отказаться—не смѣю; я не для себя беру, я для мужа все снесу, на все рѣшусь, лишь бы чѣмъ нибудь спасти, поддержать его—успокоивала она сама себя.

Романъ Семенычъ по пріѣздѣ въ Петербургъ остановился гдѣ-то въ трактирѣ и безпрестанно посѣщалъ Колотырниковыхъ, просиживалъ у нихъ по цѣлымъ днямъ. Онъ какъ будто наблюдалъ за ними, какъ будто досадовалъ на ихъ дружбу, видѣлъ въ ней что-то такое насильное, завидовалъ ей. Часто, оставшись на единѣ съ Ариной Сергѣевной, онъ казалось терялся, не зналъ какъ смотрѣть на нее, что говорить и умолкалъ совершенно. Иногда, возвратясь къ себѣ домой, злился на самого себя, жалѣлъ, зачѣмъ въ Петербургъ поѣхалъ, зачѣмъ такъ часто бываетъ у Колотырникова, даже зачѣмъ принимаетъ въ нихъ такое живое, теплое участіе,

жертвуетъ своимъ послѣднимъ достояніемъ; а на другой день спѣшилъ къ Аринѣ Сергѣевнѣ чуть не къ утреннему чаю, и былъ радъ радехонекъ, почти счастливъ, когда давалъ ей кой–какія деньги, когда она, въ знакъ благодарности, молча, краснѣя, со слезами на глазахъ, жала его холодную, дрожащую руку.

Прошелъ мѣсяцъ. Вдругъ Петръ Петровичъ какъ бы вспомнилъ о своемъ положеніи, какъ бы очнулся отъ временнаго спокойствія, точно надоѣло оно ему. Онъ снова захныкалъ, снова сдѣлался несноснымъ, раздражительнымъ. Онъ какъ будто притворялся, чего–то ждалъ до сихъ поръ, разыгрывалъ чужую роль и, недождавшись, потерявъ терпѣніе, снова облачился въ принадлежащую ему шкуру. Ласки жены перестали утѣшать его, даже ея присутствіе дѣлалось ему тягостнымъ; когда она садилась возлѣ него, когда думала облегчить его страданія, разогнать тоску его, онъ махалъ ей рукой, умолялъ оставить одного. Бѣдная Аринушка поневолѣ удалялась въ свою комнату и тамъ, прислонясь къ двери, ведущей въ кабинетъ мужа, подслушивала его вздохи и горько, горько плакала. Она поняла, что мимоходомъ задѣвшее ее счастіе скрылось, исчезло на вѣки, оставивъ по себѣ одно воспоминаніе. Посѣщенія Романа Семеныча, Богъ знаетъ почему, рѣшительно опротивѣли Петру Петровичу; онъ ихъ боялся какъ–то, и часто, сказавшись больнымъ, лежалъ въ присутствіи гостя отвернувшись къ стѣнѣ и только вздыхалъ тяжело.

Однажды, немедленно по уходѣ Стадкина, выведенный изъ терпѣнія долгимъ его присутствіемъ, Петръ Петровичъ принялся открыто бранить его. Зачѣмъ онъ ходитъ сюда, говорилъ онъ непріятнымъ, болѣзненнымъ голосомъ; какого чорта ему нужно здѣсь; нечего дѣлать такъ и таскается, покою недаетъ, точно воръ какой; зачѣмъ въ Петербургъ пріѣхалъ, гнилъ бы тамъ у себя, получилъ свое и гнилъ бы въ болотѣ своемъ. Видѣть его не могу. Мерзавцемъ былъ, мерзавцемъ и остался. Чего онъ тиранитъ меня, душу воротитъ... Что нужно ему?

Арина Сергѣевна не вытерпѣла.

— Петръ Петровичъ! довольно робко замѣтила она, грѣшно бранить человѣка; вспомни, Богъ и то наказалъ тебя!

Лицо Колотырникова вдругъ вытянулось, глаза его засверкали.

— Богъ наказалъ! говорилъ онъ прерывистымъ, задыхающимся голосомъ; и ты туда же, и ты упрекать вздумала, и ты съ злодѣями наровнѣ; сговорилась съ ними, имъ продала себя, душить меня пріѣхала; всѣ душить собрались... Души, души! теперь можно, теперь не прежнее время. Богъ наказалъ; наказалъ, наказалъ! Знаю, что наказалъ. Вздоръ, все вздоръ; ничему не вѣрю, все обманъ одинъ, подлость одна! докончилъ онъ глухо и вдругъ впалъ въ совершенное изнеможеніе: голова его опустилась на спинку кресла, лицо поблѣднѣло.

Аринушка бросилась было къ мужу, но онъ рукою отстранилъ ее.

— Да, продолжалъ онъ еле слышно; поскорѣй бы въ гробъ лечь, скрыться отъ всѣхъ; скорѣй бы ужъ придавили разомъ... къ чорту эту жизнь проклятую! Скажи ему, что я его видѣть не хочу, онъ не смѣетъ ходить сюда, душить, обворовывать меня; я его вонъ выгоню. Не могу я его видѣть! громко, ободрившись, добавилъ онъ.

— Этого нельзя, Петръ Петровичъ, еслибы не онъ, намъ бы ѣсть было нечего, спокойно замѣтила Арина Сергѣевна.

Колотырниковъ вытаращилъ глаза.

— Да, продолжала она, онъ помогаетъ намъ, онъ отдаетъ намъ послѣднее, онъ продалъ за безцѣнокъ свое имѣніе, и съ краю, все проживаетъ для насъ; онъ благодѣтель твой, а ты бранишь его, видѣть его не хочешь... Грѣшно, невыносимо!

Петръ Петровичъ выпрямился.

— Кто помогаетъ?! произнесъ онъ какъ-то недовѣрчиво, онъ помогаетъ? онъ, злодѣй!.. благодѣтель мой? Зачѣмъ же ты не швырнула ему въ лицо этою помощью, зачѣмъ брала ее, какъ ты смѣла брать? Какъ ѣсть нечего? Вздоръ, быть

не можетъ, гдѣ руки у тебя? мое брать умѣла, умѣла разорять меня, обманывать, выходить замужъ, наряжаться, все умѣла, теперь не умѣешь на эту дрянь достать... барыней стала, забылась, избаловалась; ну, не корми меня, не корми, радуйся, съ голоду умру—на улицѣ брось, въ больницу отдай.. тамъ прокормятъ. Прочь, прочь, не подступайся ко мнѣ! грозно добавилъ онъ.

Аринушка не могла ничего отвѣчать, только страшная, невыносимая боль выразилась на лицѣ ея; она выбѣжала въ другую комнату, повалилась на постель и глухо, уткнувши въ подушки голову, зарыдала, точно боялась, чтобы не услышали ее.

Съ этихъ самыхъ поръ жизнь Арины Сергѣевны сдѣлалась вполнѣ страдальческою; только она терпѣливо, съ какою-то непоколебимою твердостью, съ невозмутимымъ равнодушіемъ несла крестъ свой, точно въ страданіи видѣла замѣну своего счастія, его продолженіе; точно оно было непремѣнною принадлежностью ея жизни, ея лучшею, святою обязанностью. Она даже не хотѣла избавиться отъ этого страданія, не промѣняла бы его на свое прежнее, раззолоченное, видимое спокойствіе.

Петръ Петровичъ пришелъ въ какое-то полуребяческое, полусумасшедшее состояніе; онъ то совершенно раскисалъ, плакалъ, дѣлался необыкновенно кроткимъ, послушнымъ; то умирать собирался, просилъ у всѣхъ прощенія, звалъ священника, заботился какъ его схоронятъ; то казался совершенно безчувственнымъ—по цѣлымъ днямъ сидѣлъ неподвижно, не слушалъ, не понималъ даже что говорили ему; то приходилъ въ отчаяніе, стоналъ, охалъ, метался, не принималъ никакой пищи; то впадалъ въ мистицизмъ, молился, читалъ святыя книги, говорилъ о душѣ, о будущей жизни, и мукахъ, ожидающихъ грѣшника въ аду; то просто капризничалъ, какъ больной ребенокъ: никто ничѣмъ не могъ угодить ему, онъ на все ворчалъ, на все сердился, бранился зачѣмъ чай не сладокъ, зачѣмъ въ комнатѣ или жарко или холодно, зачѣмъ кушанье не повкусу; то вдругъ дѣлался грознымъ, почти страшнымъ, всѣхъ называлъ своими зло-

дѣями, ворами, грабителями и такъ упрекалъ жену, что бѣдная женщина иногда дрожала отъ стыда и ужаса.

— Куда ты деньги дѣвала? говоритъ онъ напримѣръ, съ какою-то непримиримою злобою смотря на Арину Сергѣевну; спрятала, зарыла, я умру—заживешь тогда, запируешь, ихъ считать будешь, любоваться ими... Золото мое ненаглядное, золото воровское, скопленное! Зачѣмъ не берегла деньги?.. Ну, обманула бы меня, украла бы у меня, мнѣ бы на гробъ отложила. Куда все дѣлось, неправда, вздоръ, сонъ одинъ! Я такъ не могу жить, не могу!.. Пощади ты меня, что я сдѣлалъ тебѣ?.. ты виновата, ты прокляла, возненавидѣла меня, вотъ и пошло все прахомъ, сквозь землю все провалилось... Чего смотрѣла, зачѣмъ ѣхать въ Петербургъ допустила?.. непускала бы,—ты жена, ты должна была удержать мужа, остановить его, руки связать ему!.. Чего плачешь?.. вздоръ, поздно плакать, плакать не о чемъ: притворство, все притворство, обманъ подлый, прочь, прочь отъ меня! Въ другой разъ, въ совершенномъ изнеможеніи, опустивъ голову, тихимъ, болѣзненнымъ, надрывающимъ душу голосомъ, онъ говоритъ: сжалься ты надо мной, прости меня, тяжело мнѣ, дай умереть, Христа ради... Яду дай, скорѣй, скорѣй умереть хочу!..Мнѣ больше нельзя жить, мнѣ страшно жить, нужно душу спасти, мнѣ въ аду мѣста не будетъ... молись за меня, больше молись! Будешь молиться, будешь? вдругъ спрашивалъ онъ.

— Господи, да что съ тобой! Богъ милостивъ, чѣмъ ты нагрѣшилъ такъ, ты никому зла не сдѣлалъ, отвѣчала Аринушка, не зная какъ успокоить мужа.

— Чѣмъ?! тебѣ знать нужно?.. Какъ зла не сдѣлалъ, врешь, я всю жизнь одно зло дѣлалъ; откуда у меня деньги были, откуда, молчишь?.. молчи, лучше молчи! Богъ милостивъ... Богъ прогнѣвался, отступился отъ меня, проклялъ меня, я страшный грѣшникъ, страшный!.. Я тамъ въ огнѣ горѣть буду, тамъ ждутъ меня, тамъ мнѣ мѣсто приготовлено! Господи, Господи, что я сдѣлалъ такое!.. Что, что?!. добавлялъ онъ съ плачемъ, хватаясь руками за голову, и вдругъ умолкалъ на цѣлый день; только тяжелые, повременамъ выры-

вавшіеся изъ груди стоны нарушали тишину въ его комнатѣ. Романъ Семенычъ перссталъ показываться на глаза Петру Петровичу; онъ только украдкой и то не каждый день навѣщалъ Арину Сергѣевну, снабжалъ ее попрежнему деньгами, да самъ чуть не плакалъ, глядя на ея страданія.

Безотрадно, мучительно тянулось время.

Петръ Петровичъ становился все несноснѣе и несноснѣе; его капризы, его сумазбродства, его болѣзненные, надрывающіе душу вопли увеличивались съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе. Аринушка все терпѣла. Въ послѣднее время она измѣнилась значительно, преждевременная старость показалась на лицѣ ея, на лбу появились морщины, глаза потухли, осунулись; какое-то отчаянное равнодушіе овладѣло ею,—казалось она сама себя не помнила. Романъ Семенычъ коптѣлъ въ номерѣ въ гостинницѣ, скучалъ, не зналъ, куда приклонить голову, сердился на Петербургъ, на Колотырниковыхъ, на самого себя. Старуха ключница тараторила съ разными сосѣдками, безпрестанно въ церковь бѣгала и молилась: хоть бы Богъ барину смерть послалъ. Такъ прошло мѣсяца три, четыре.

Вдругъ, въ одно утро, Петръ Петровичъ, противъ обыкновенія, проснулся въ очень въ хорошемъ расположеніи духа, онъ даже засмѣялся самъ съ собою, торопливо одѣлся, неопредѣленно посмотрѣлся въ зеркало, прошелся раза два по комнатѣ, сѣлъ у окна и позвалъ Арину Сергѣевну.

— Угадай, что я скажу тебѣ, угадай, пойми! говорилъ онъ, глядя на нее радостными, но вмѣстѣ съ тѣмъ блуждающими глазами... Я тебѣ радость скажу, такую радость, ты приготовься... отъ этой радости можно съ ума сойти, рехнуться можно!

Онъ какъ то непріятно, насильственно засмѣялся. Аринушка очень серьезно смотрѣла на него.

— Петровка наша! продолжалъ Петръ Петровичъ страннымъ, неестественнымъ голосомъ; домъ цѣлъ, садъ цѣлъ, все цѣло, въ саду цвѣты выросли. Завтра ѣдемъ, завтра!.. Все вернулось, мы снова богаты, все это сонъ былъ, управляющій виноватъ, онъ подлецъ... онъ спряталъ Петровку,

укралъ, зарылъ ее, землей забросалъ. Завтра на другую квартиру переѣдемъ, я въ этой гадости не хочу жить, я дворецъ найму... полъ, стѣны, все вызолочу, деньги спрячемъ, сундукъ такой сдѣлаемъ, все спрячемъ... ты не говори никому, твой отецъ сказалъ... Серга Матвѣичъ, онъ приходилъ сюда! добавилъ онъ шопотомъ.

Арина Сергѣевна вдругъ поблѣднѣла, руки ее задрожали, она какъ-то тяжело, пытливо глядѣла на мужа, точно не узнавала его, точно передъ ней выросло что-то страшное, необыкновенное, точно она сама себя о чемъ-то спрашивала и боялась отвѣтить на вопросъ свой, точно не вѣрила ужасной мысли, блеснувшей въ головѣ ея.

— Какъ богаты?! съ такимъ трудомъ выговорила она, какъ будто языкъ ея прилипъ къ гортани и не могъ дѣйствовать.

— Богаты! шопотомъ крикнулъ Петръ Петровичъ—въ Петровкахъ кладъ зарыдъ, кладъ!.. Въ церкви... въ оградѣ, могила тамъ есть... Серга Матвѣичъ вынулъ его, сюда принесъ, разсыпалъ... цѣловалъ меня, къ себѣ звалъ... тамъ горы золотыя. Я золотомъ теперь всѣхъ задавлю, теперь всѣ узнаютъ меня, на рукахъ понесутъ, въ ноги поклонятся, черти, злодѣи проклятые! на! на!.. Вонъ золото, вездѣ золото, все блеститъ, глаза рѣжетъ; видишь, видишь, улица усыпана золотомъ, вонъ звѣнитъ какъ... Наше!.. все наше!.. На тебѣ золото, гляди, гляди!.. вонъ, вонъ, изъ рукавовъ сыплется... звонъ, звонъ!.. говорилъ онъ, размахивая руками и вдругъ дико захохоталъ.

Арина Сергѣевна вскрикнула, схватилась за голову и стремглавъ выбѣжала изъ комнаты.

Петръ Петровичъ сошелъ съ ума.

IX.

Недѣли двѣ спустя, въ комнатѣ съ опущенными сторами, на столѣ, покрытомъ бѣлою простынею, стоялъ малиновый бархатный гробъ, а въ немъ, съ сложенными на

груди на крестъ руками, лежалъ посинѣвшій и пожелтѣвшій Петръ Петровичъ. Лицо его совершенно исказилось, на мѣстѣ глазъ образовались черныя глубокія впадины, щеки ввалились, лобъ лоснился, носъ вытянулся, губы сжались. Видно было, что покойникъ испустилъ духъ въ страшныхъ судорожныхъ мученіяхъ, въ жестокой борьбѣ между жизнью и смертью.

Противъ гроба, съ совершенно блѣднымъ, неподвижнымъ лицомъ, въ черномъ, траурномъ платьѣ, устремивъ глаза въ лицо мертвеца и крѣпко, судорожно схватившись за спинку кресла, стояла Арина Сергѣевна.

Сзади ея, прислонясь къ стѣнѣ, опустивъ голову и только повременамъ исподлобья взглядывая на все окружающее, помѣщался Романъ Семенычъ. Въ углу комнаты, старуха ключница молилась на колѣняхъ, безпрестанно клала земные поклоны, бормотала какія-то несвязныя слова и громко всхлипывала. Священникъ съ дьякономъ въ черныхъ ризахъ равнодушно совершали отпѣваніе, имъ вторили нѣсколько человѣкъ пѣвчихъ. Дьяконъ провозгласилъ «вѣчную память», пѣвчіе протяжно, заунывно повторили ее. Арина Сергѣевна задрожала и еще крѣпче схватилась за спинку кресла; Романъ Семенычъ трижды перекрестился и низко поклонился, дотронувшись пальцемъ до полу; старуха ключница завыла громче прежняго.

Обрядъ кончился. Арина Сергѣевна посмотрѣла вокругъ себя, какъ бы спрашивая у присутствующихъ, все ли кончено, твердо подошла къ гробу, спокойно поцѣловала холодный лобъ покойника, поправила флеръ на головѣ его, пристально взглянула ему въ лицо и вдругъ, какъ бы очнувшись отъ забытья, упала головой на грудь мужа и такъ страшно, пронзительно зарыдала, какъ можетъ только рыдать человѣкъ разъ въ жизни, во время минутнаго, разомъ прихлынувшаго къ душѣ страданія, въ то время, когда накипѣвшая, сдержанная внутри боль давитъ, ломитъ и наконецъ противъ воли, какимъ-то груднымъ, отчаяннымъ воплемъ, прорывается наружу. Въ этомъ прощальномъ рыданіи Аринушки высказалось все ея прошедшее, все насто-

ящее, все будущее; казалось, она разомъ все припомнила, все поняла, все прочувствовала, все оцѣнила. Она впилась своими губами въ окостенѣлыя руки покойника, точно хотѣла своимъ горячимъ дыханіемъ согрѣть ихъ, точно думала слезами, да раздирающимъ воплемъ расшевелить его онѣмѣвшія чувства, заставить проснуться. Она судорожно вцѣпилась руками въ края гроба, точно надѣялась спрятать, удержать его. Она повисла на немъ всею своею тяжестью, точно просилась лечь вмѣстѣ съ мертвецомъ, точно умоляла взять и ее съ собою.

Романъ Семенычъ, съ помощью гробовщика, съ трудомъ оттащилъ ее; она долго упиралась, долго съ полнымъ отчаяніемъ умоляла не трогать ее, увѣряла, что ей хорошо такъ; наконецъ, почти упала, силы ее оставили, рыданіе смолкло, блѣдное, мраморное лицо было покрыто красными пятнами, только простертыя въ воздухѣ руки казалось манили, обнимали покойника.

Гробъ заколотили крышкой, вынесли, поставили на дроги, Арину Сергѣвну посадили въ извощичью карету; она не сопротивлялась и какъ-то тупо, равнодушно смотрѣла на происходившее. Туда же влѣзла и старуха ключница для присмотра за барыней. Романъ Семенычъ поплелся пѣшкомъ сзади гроба.

Никто изъ прежнихъ знакомыхъ, изъ прежнихъ друзей, изъ людей взысканныхъ, облагодѣтельствованныхъ Петромъ Петровичемъ, изъ тѣхъ людей, которые считали когда-то за честь потолкаться въ его передней, кормились его хлѣбомъ, его подаяніемъ—никто не пришелъ отдать послѣдняго долга покойнику, да быть можетъ никто и не зналъ о смерти Колотырникова. Умеръ въ бѣдности, гроша не оставилъ, такъ что кому за дѣло; еслибъ не Романъ Семенычъ, такъ и похоронить-то было бы не на что. Отъ такого покойника подальше, царство ему небесное!

Похоронивъ мужа, Арина Сергѣевна поселилась уже не въ двухъ, а въ одной комнатѣ; она всячески стѣснила себя, продала все мало-мальски ненужное; отпустила старуху ключницу, осталась въ одномъ черномъ платьѣ, одна одинешень-

ка, никѣмъ не знаемая, безъ грозы и безъ милости. Только Романъ Семенычъ попрежнему посѣщалъ Аринушку, просиживалъ у ней по цѣлымъ днямъ. Молча, опустивъ головы въ землю, мѣняясь только отрывочными фразами, сидѣли они другъ противъ друга. .

Да и о чемъ было говорить? Воспоминаніемъ прошедшаго Стадкинъ боялся растравить свѣжую рану, еще не успокоившейся, но только онѣмѣвшей отъ страданія женщины; постороннимъ разговоромъ боялся оскорбить ея святую грусть, взволновать, нарушить печальную величавость этой грусти. Онъ только исподлобья, украдкой, но пристально, долго глядѣлъ на Аринушку, точно слѣдилъ за малѣйшимъ ея вздохомъ, прислушивался къ нему, точно по выраженію физіономіи хотѣлъ разгадать состояніе души ея, точно выжидалъ чего-то, точно самъ хотѣлъ заразиться ея горемъ.

Арина Сергѣевна, съ своей стороны, совѣстилась Романа Семеныча. Богъ знаетъ почему, ей было неловко при немъ, какъ будто она чувствовала себя предъ нимъ виноватою. Онъ уходилъ, она вздыхала свободнѣе, точно какая-то тяжесть сваливалась съ плечь ея. Она перестала плакать, грусть ея сдѣлалась тихою, сосредоточенною, разумною; только улыбка никогда не показывалась на лицѣ ея: оно всегда было величаво, задумчиво. Казалось, она рѣшилась на что-то; мысленно устроила, обезпечила себя, и спокойно ждала только опредѣленнаго времени, чтобъ осуществить свое твердое, неизмѣнное рѣшеніе. Она къ чему-то важному приготовляла себя и молилась жарко, пламенно... такъ молилась, какъ когда-то въ деревнѣ.

Однажды Романъ Семенычъ, послѣ продолжительнаго молчанія, какъ бы собравшись съ силами, вздумалъ спросить Аринушку, «что она намѣрена дѣлать теперь, какъ думаетъ устроить себя?»

Она какъ будто сконфузилась, какъ будто испугалась чего-то, даже покраснѣла слегка.

— Какъ устроить? Я, право, не знаю, неопредѣленно отвѣтила она.

— Вотъ самое бы лучшее—уѣхать отсюда подальше, здо-

ровье свое поправить, разсѣяться; вы къ Петербургу не привыкли; вамъ въ деревню нужно. Что здѣсь, духота одна, вамъ здѣсь жить нельзя.

Аринушка подняла голову и взглянула на Стадкина.

— Я сама не знаю, Романъ Семенычъ, время было такое. Я все забыла, теперь подумаю... нужно подумать; погодите немного, я вамъ скоро отвѣтъ скажу, произнесла она поспѣшно, какимъ-то извинительнымъ тономъ и, помолчавъ, прибавила: вы можетъ думаете, что я не чувствую, какъ много вамъ обязана; я все чувствую, ей-Богу все чувствую, только говорить не могу, простите меня!

Роману Семенычу сдѣлалось совѣстно.

— Я, Арина Сергѣевна, не о томъ говорю, отвѣтилъ онъ тихимъ, дрожащимъ голосомъ; какая такая обязанность, ничѣмъ вы не обязаны, вы этимъ только обижаете меня; если когда денегъ займете, такъ объ этомъ и думать не стоитъ, потому вы не знаете, что за деньги у меня, можетъ Петръ Петровичъ ихъ подарилъ мнѣ; могу ли я отказать вамъ, сами посудите, отказать нельзя! Я только вамъ посовѣтовать хотѣлъ... для вашего же спокойствія вамъ отдохнуть нужно! Онъ сильно, нѣсколько разъ затянулся изъ трубки.

Арина Сергѣевна ничего не отвѣтила и только протянула ему руку. Онъ крѣпко поцѣловалъ ее.

— Въ деревнѣ сравнить нельзя, продолжалъ онъ весело, лѣсъ, воздухъ, природа, все это жить заставляетъ, жизнь поддерживаетъ; встанешь рано—гулять пойдешь, устанешь, уходишься; отдыхаешь гдѣ нибудь въ прохладѣ, на травѣ, на сѣнѣ; кругомъ тебя все цвѣтетъ, все радуется. Въ деревнѣ чувства расправляются, сердце иначе бьется, а здѣсь.. что здѣсь, человѣку прокиснуть недолго; да вамъ и говорить нечего, сами знаете, въ деревнѣ жили—сколько радостей было; хорошо, тепло какъ-то! добавилъ онъ съ чувствомъ и глубоко вздохнулъ.

Арина Сергѣевна отвернулась, на ея лицѣ выразилось что-то болѣзненное.

— Да-съ, много, много радостей, благодать! продолжалъ Романъ Семенычъ—я вотъ и самъ скоро хуторокъ куплю,

тамъ на югѣ, потеплѣе гдѣ, попривольнѣе, въ Малороссіи гдѣ нибудь; мнѣ немного нужно, только бы вѣкъ скоротать, сирота я! добавилъ онъ, медленно выпуская дымъ изо рта и въ то же время пристально глядя на Аринушку.

Она встрепенулась.

— Вы непремѣнно отсюда уѣдете? живо переспросила она.

— Непремѣнно уѣду, повторилъ Романъ Семенычъ.

Этимъ разговоръ и кончился.

На другой день Стадкинъ снова попытался возобновить его, снова завелъ рѣчь объ удовольствіяхъ деревенской жизни, о своемъ одиночествѣ, высказалъ даже свое намѣреніе кого нибудь пригласить жить съ собой; снова очень убѣдительно совѣтовалъ Аринѣ Сергѣевнѣ какъ можно скорѣе Петербургъ оставить; намекнулъ, что хорошо бы поселиться гдѣ нибудь вмѣстѣ, въ близкомъ другъ отъ друга сосѣдствѣ. Мы съ вами птицы вольныя, отъ самихъ себя все зависитъ, не твердымъ, взволнованнымъ голосомъ заключилъ онъ.

Арина Сергѣевна ничего не отвѣтила; она какъ будто не слушала его, и все время просидѣла отвернувшись лицомъ къ окну, а потомъ, во всѣ послѣдующіе дни казалась очень озабоченною, встревоженною, безпрестанно ѣздила на могилу къ мужу, жаловалась на головную боль, такъ что Романъ Семенычъ не рѣшался ничего говорить и уходилъ домой раньше обыкновеннаго.

Въ одинъ вечеръ, провожая своего обычнаго гостя, Арина Сергѣевна съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ простилась съ нимъ; она крѣпко, продолжительно пожала его руку, точно благодарила за что-то, точно сказать что-то хотѣла; на глазахъ ея навернулись слезы.

Романъ Семенычъ пристально посмотрѣлъ на нее.

— Что съ вами? спросилъ онъ, чувствуя дрожаніе руки ея.

— Нѣтъ, ничего, отвѣтила она, какъ бы очнувшись; такъ, очень грустно стало, нездоровится... Вы придете завтра? противъ обыкновенія спросила она.

— Приду; я каждый день хожу...

— Спасибо вамъ! Завтра! Что у насъ завтра? Рано не приходите.. я туда опять на могилу поѣду. Прощайте! Она снова протянула ему руку.

Романъ Семенычъ снова крѣпко поцѣловалъ ее, снова пристально взглянулъ на Аринушку, покачалъ головой и вышелъ изъ комнаты.

Долго, далеко за полночь просидѣлъ онъ въ этотъ вечеръ неподвижно на одномъ мѣстѣ и все думалъ, соображалъ что-то, какими-то отрывочными, недоконченными фразами говорилъ самъ съ собою:

— Два мѣсяца прошло, больше, кончить пора! Что съ ней сегодня? Мужъ, опять мужъ... На прожитіе хватитъ, ей не много нужно, ее устроить только... Въ Малороссіи хуторъ можно дешево купить... Завтра же и сказать, чего ждать... ждать нечего, бояться тоже нечего... Этакой жизнью она себя въ могилу сведетъ, зачахнетъ... вонъ перемѣнилась какъ, смотрѣть страшно; какъ не согласиться ей, нельзя, не все горевать... Чего это она такъ прощалась сегодня? Тяжелое время, мука одна, сердце надрывается, щемитъ, отъ такой жизни и самъ съ ума сойдешь; пора вздохнуть свободнѣе, душу отвести, счастье узнать, на себя порадоваться, пора, давно пора!

На другой день утромъ, только что напившись чаю, несмотря на предостереженіе Арины Сергѣевны не приходить рано, Романъ Семенычъ тотчасъ побѣжалъ къ ней..

Всю дорогу его тревожили какія-то странныя мысли, точно онъ предчувствовалъ что-то недоброе, точно боялся чего-то. На дворѣ остановился, перевелъ духъ, вбѣжалъ на крыльцо. Дверь въ комнату Арины Сергѣевны была отворена; дюжая, растрепаная дѣвка, въ засаленомъ, тиковомъ сарафанѣ, выметала соръ изъ нея.

— Гдѣ барыня? спросилъ Романъ Семенычъ, какъ-то тревожно заглядывая въ глубину комнаты.

— Уѣхала, грубо отвѣтила дѣвка, даже не взглянувъ на вошедшаго.

— Скоро будутъ?

— Кто будетъ? Сказано, что уѣхали, кому быть тутъ!..

— Я тебя спрашиваю про Арину Сергѣевну, скоро ли она домой вернется, понимаешь? довольно сердито произнесъ Стадкинъ.

Дѣвка подняла голову.

— Уѣхала ваша Арина Сергѣевна, ноньче чѣмъ свѣтъ въ дорогу уѣхала, кто ее знаетъ. Вонъ и фатеру сдаемъ, ну! грубо отвѣтила она.

Романъ Семенычъ остолбенѣлъ. Голова его закружилась, въ глазахъ потемнѣло; онъ судорожно схватился за какую-то торчавшую въ сѣняхъ полку и безсознательно смотрѣлъ то на дѣвку, то на опустѣвшую комнату.

— Ты врешь, ты правду говори!.. Я тебя въ полицію отправлю, куда уѣхала? Куда? вдругъ крикнулъ онъ и затрясся всѣмъ тѣломъ.

— Чаво, врешь, врешь! въ полицію... прытокъ больно!.. Коли вру сами смотрите, на... смотри!.. крѣпостная что ли досталась! Она сердито распахнула дверь настежь и вошла въ комнату. Врешь!.. нешто не видно, вру либо нѣтъ... смотри!..

— Куда уѣхала, куда?! снова крикнулъ Романъ Семенычъ.

Дѣвка подала ему запечатанный конвертъ. Къ вамъ, что ли? спросила она.

Стадкинъ пошатнулся и схватилъ письмо. Нѣсколько минутъ простоялъ онъ неподвижно, на одномъ мѣстѣ, уставивъ глаза на раскрытую дверь; грудь его высоко подымалась, онъ сильно, прерывисто дышалъ, точно ему воздуху было мало; потомъ ощупью, придерживаясь за стѣну, вышелъ на крыльцо, но не могъ идти дальше—сѣлъ на ступеньку, провелъ рукою по лбу, какъ будто хотѣлъ привести мысли въ порядокъ, взглянулъ на конвертъ, дрожащими руками распечаталъ его и вытащилъ кругомъ исписанный листъ почтовой бумаги.

«Добрый, милый Романъ Семенычъ!—писала Арина Сер-

гѣевна—вчера я думала откровенно поговорить съ вами, хотѣла проститься—да не могла, силъ не хватило, языкъ не повернулся, страшно стало, потому и рѣшилась лучше писать; хотя пишу плохо, да все равно, вы не взыщете. Много, очень много благодарю васъ за ваши благодѣянія, за ваши милости—видитъ Богъ, никогда я ихъ не забуду; еслибъ не вы, не знаю, что бы и дѣлала я, какъ бы даже мужа похоронила; вы поддержали, спасли меня, дали мнѣ возможность истинно, вполнѣ оцѣнить васъ. Когда вы получите это письмо—меня не будетъ въ Петербургѣ; я уѣзжаю далеко, навсегда, на вѣки. Простите меня, Романъ Семенычъ, я очень виновата передъ вами, виновата невольно; сжальтесь надо мною, не корите, а пожалѣйте меня, отпустите меня съ чистою совѣстью, заочно благословите меня; я должна смыть съ себя все прошедшее, должна все забыть—только тогда душа моя успокоится, только тогда я сдѣлаюсь достойной того пути, къ которому предназначила себя. Вамъ извѣстна вся жизнь моя: вы знаете, какъ я выросла, какъ шла замужъ, знаете мою душу, знаете какъ я ребячески терзалась, какъ мучилась какимъ-то непонятнымъ, тяжелымъ сомнѣніемъ, какъ вся внутренность моя ныла, искала чего-то, какъ я пріѣхала въ Петровки, какъ встрѣтилась съ вами; вы помните, тогда, въ эту минуту, клянусь Богомъ, я любила васъ, любила больше всего на свѣтѣ, всѣми силами души моей готова была отдаться вамъ... въ эту минуту я была вполнѣ счастлива; не умѣю разсказать, почему все это такъ вышло; можетъ быть я больна была—не знаю, помню только отвѣтъ вашъ, онъ холодомъ меня обдалъ, послѣ него мнѣ показалось, что жизнь моя кончена, что даже кровь застыла во мнѣ; мнѣ умереть хотѣлось, я искала смерти, ждала, просила ее, приготовлялась къ ней! Несчастіе случившееся съ мужемъ, его письмо, внезапная перемѣна характера, вдругъ, разомъ перевернула меня; точно какой-то небесный свѣтъ озарилъ меня, прежнія мои мученія смѣнились раскаяніемъ, мнѣ сдѣлалось почему-то страшно, стыдно, больно, и между тѣмъ я радовалась, мнѣ хорошо было! Никогда я не забуду ту минуту, когда встрѣтилась съ Петромъ Петровичемъ. При этой встрѣчѣ я уже любила его

такъ, какъ никого, никогда такъ не любила, я каялась передъ нимъ во всемъ прошедшемъ; сердце мое рвалось къ нему, мнѣ казалось, что у меня крылья выросли, что я сдѣлалась крѣпче, сильнѣе, мужественнѣе; отъ этой любви никакая сила не могла оторвать меня! Скажите, виновата ли я во всемъ этомъ, отчего все вышло такъ чудно, такъ непостижимо? Въ моей ли волѣ было отказаться отъ моего счастія, отъ того, чего такъ долго я искала, къ чему стремилась, для чего жила до сихъ поръ! Я нашла кладъ мнѣ принадлежащій и крѣпко уцѣпилась за него. Болѣзнь мужа, его упреки, ругательства не могли уменьшить любви моей, я страдала молча, тихо, безропотно, никому не жалуясь; я должна была страдать—это страданіе утѣшало меня, я дорожила имъ, я втихомолку обливалась слезами и радовалась, что исполняю долгъ мой; эти горячія, искреннія слезы облегчали душу, наполняли сердце какимъ-то невыразимымъ блаженствомъ.

Теперь, лишившись мужа, я живу памятью о немъ, я все-таки люблю его, я вижу тѣнь его, слышу его слова, его стоны, его проклятія—они милы, драгоцѣнны для меня; ни на что на свѣтѣ не промѣняю я ихъ, да и промѣнять не могу, не въ силахъ!.. Я бы подло обманула и себя, и другаго, еслибы вздумала насильно, временно заглушить ихъ: рано или поздно они снова проснулись бы, и еще сильнѣе овладѣли бы всѣмъ существомъ моимъ. Что же мнѣ оставалось дѣлать?.. Я одна, ничто на свѣтѣ не можетъ занимать, радовать меня; моя радость въ могилѣ, тамъ все мое, умъ, сердце, совѣсть—все тамъ; я только насильно хожу по землѣ, нѣтъ на ней ничего мнѣ роднаго, близкаго, все чуждо, все холодно; средствъ къ жизни никакихъ не имѣю, вашей помощью существовать не могу; я пользовалась ею только изъ любви къ мужу, для его спасенія!.. Я рѣшилась, я иду въ монастырь—вотъ, лучшая, единственная для меня дорога, вотъ конецъ мой! Мнѣ слишкомъ тяжело здѣсь, тамъ мнѣ легче, свободнѣе будетъ! Куда, въ какой? не спрашивайте, не нарушайте моего покоя. Зачѣмъ знать вамъ? Никто не можетъ удержать меня, моя мірская жизнь кончена; этимъ письмомъ я заключаю ее, исповѣдуюсь въ ней вамъ,

моему благодѣтелю, моему другу, моему ангелу хранителю, доставившему мнѣ возможность испытать счастіе! Еще разъ благодарю васъ,—я пишу это письмо и вся дрожу: мнѣ страшно, я боюсь чего-то!.. Простите меня, я виновата передъ вами только въ томъ, въ чемъ виновата передъ собой!.. Забудьте меня!.. живите счастливо, васъ Богъ не оставитъ. Онъ за меня, за ваше добро отплатитъ вамъ, пошлетъ вамъ счастіе истинное, прочное... а я?.. я умерла для всего свѣта, умерла и для васъ! Прощайте! Я бы дорого дала, чтобы пожать въ послѣдній разъ вашу руку, но что жъ дѣлать, видно такъ нужно, такъ лучше!»

Романъ Семенычъ прочелъ письмо и смертная блѣдность покрыла лицо его: губы посинѣли, руки тряслись, онъ какъ будто окаменѣлъ, какъ будто потерялъ всякое сознаніе, умеръ, и только мутными, неподвижными глазами глядѣлъ на исписанную страницу. Долго онъ просидѣлъ въ такомъ положеніи, не слыхалъ какъ пѣтухъ загорланилъ подъ самымъ его ухомъ, какъ дворовая собаченка чуть не надорвалась лаявши на него, какъ дѣвка вылила подъ самыя его ноги ушатъ съ помоями; наконецъ всталъ, шатаясь, вышелъ на улицу, шатаясь, домой побрелъ; его безпрестанно толкали прохожіе, нѣкоторые какъ-то подозрительно смотрѣли на него; наѣхавшій на перекресткѣ извощикъ чуть не сбилъ его съ ногъ; оборванный мальчишка бѣжалъ передъ нимъ, безпрестанно оборачивался и смѣялся въ лицо ему. Онъ ничего не замѣчалъ, онъ даже остановился въ какой-то улицѣ, какъ бы припоминая, въ какую сторону идти нужно; а придя къ себѣ домой бросился въ кресло, цѣлый день просидѣлъ на немъ, все письмо перечитывалъ, а на слѣдующее утро ушелъ изъ дому; цѣлую недѣлю пропадалъ гдѣ то, Богъ знаетъ гдѣ ходилъ онъ, что дѣлалъ во все это время, только когда домой вернулся, на немъ лица не было, чѣмъ-то недобрымъ вѣяло отъ него.

Нѣсколько дней спустя, въ полицейскихъ вѣдомостяхъ, въ дневникѣ городскихъ приключеній, было напечатано слѣдующее: «такой-то части, такого-то квартала, въ домѣ купеческой жены Тыркиной, въ квартирѣ Амаліи Цейхъ за-

стрѣлился проживавшій у ней постоялецъ, отставной поручикъ Романъ Семенычъ Стадкинъ. По произведенному слѣдствію полагать надо, что причина самоубійства произошла отъ меланхоліи, въ послѣднее время овладѣвшей покойнымъ.

А. ВИТКОВСКІЙ.

ФИЗІОЛОГИЧЕСКІЯ КАРТИНЫ.

(ПО БЮНХЕРУ) (*).

I.

Знаніе природы дается людямъ съ величайшимъ трудомъ; каждое открытіе въ области естественныхъ наукъ дѣлается путемъ сложныхъ и хлопотливыхъ наблюденій; когда открытіе сдѣлано, оно обыкновенно встрѣчается всеобщимъ недовѣріемъ; чѣмъ важнѣе открытіе, тѣмъ сильнѣе бываетъ возбужденное имъ недовѣріе; для большей ясности возьму самый простой примѣръ: всѣ мы въ случаѣ болѣзни обращаемся къ доктору, и, пока лежимъ въ постелѣ, довольно точно и добросовѣстно исполняемъ его предписанія; но вотъ мы укрѣпились, ходимъ по комнатѣ, черезъ окно поглядываемъ на улицу, а между тѣмъ докторъ продолжаетъ угощать насъ лекарственными снадобьями, запрещаетъ ѣсть то, что намъ особенно нравится, и ни подъ какимъ видомъ не велитъ подходить къ окну. Мы начинаемъ относиться скептически къ совѣтамъ доктора, мы съ досадою смотримъ на его предосторожности, мы въ тихомолку посмѣиваемся надъ его предписаніями и наконецъ подъ часъ нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, по мнѣнію свѣдущаго медика необходимъ для нашего окончательнаго поправленія. Въ этомъ случаѣ мы часто поступаемъ такимъ образомъ не только по естественному нетерпѣнью выздоравливающаго человѣка; мы оправдываемъ свои неосторожныя дѣйствія разными аргументами,

(*) Physiologische Bilder von dr. Louis Büchner. I-er Band, 1861.

которые, конечно, не выдерживаютъ критики. Мы говоримъ: докторъ А. конечно, хорошій человѣкъ, но онъ странно смотритъ на вещи. Ну, можетъ ли такая пустая вещь повредить моему здоровью; онъ, какъ спеціалистъ, пускаетъ въ ходъ микроскопъ, когда надо смотрѣть на вещи простыми, человѣческими глазами. Тутъ, какъ вы видите, является систематическое недовѣріе къ наукѣ и къ тому самому ея представителю, который, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, оказалъ намъ самую существенную услугу и этою услугою доказалъ намъ состоятельность и практическую пригодность своихъ теоретическихъ знаній. Недовѣріе это въ однихъ людяхъ бываетъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе, въ однихъ проявляется вспышками, въ другихъ преобладаетъ постоянно. Есть доморощенные скептики, поставившіе себѣ за правило считать всю медицину шарлатанствомъ и пробавляться, въ случаѣ надобности, собственными соображеніями и домашними средствами. Есть доморощенные физіологи, составляющіе себѣ самыя своеобразныя понятія объ устройствѣ собственнаго организма. Такого рода скептики и физіологи встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества и почти на всѣхъ степеняхъ умственнаго развитія: скептикъ-мужикъ нейдетъ въ больницу и отлеживается на печи или, въ случаѣ тяжкой немочи, отпаиваетъ себя разными травками; скептикъ-баринъ гордо отвергаетъ помощь врача и, руководствуясь собственными соображеніями, приставляетъ себѣ піявки и горчичники, пускаетъ кровь, принимаетъ слабительныя или глотаетъ крупинки какого нибудь гомеопатическаго лекарства. Собственные инстинкты, собственныя, смутныя ощущенія кажутся этимъ господамъ основательнѣе и важнѣе умозаключеній медика, основанныхъ на тщательномъ наблюденіи и на предварительномъ изученіи человѣческаго организма въ здоровомъ и въ больномъ состояніи. Этотъ самородный скептицизмъ, приводящій нерѣдко къ самымъ печальнымъ результатамъ, находитъ себѣ пищу въ недобросовѣстности и невѣжествѣ многихъ врачей и даже въ несовершенствѣ самой медицины. Иногда подобное недовѣріе оказывается справедливымъ, иногда медицинѣ или медику приходится сознаться въ своемъ безсиліи, приходится сказать: мы знаемъ далеко *не все*; но *не все* и *ничего* двѣ вещи разныя. Область медицинскихъ свѣдѣній очень обширна, она расширяется съ каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увеличиваются и усиливаются тѣ средства, при помощи которыхъ изслѣдователи вносятъ свѣтъ въ темные углы своей великой науки. Медицина, какъ извѣстно, есть практическое приложеніе свѣдѣній, добытыхъ въ

области различныхъ естественныхъ наукъ; физіологія и анатомія, химія и ботаника, зоологія и физика приносятъ ей свои результаты и она пользуется ими для того, чтобы, изучивъ нормальный процессъ различныхъ отправленій человѣческаго организма, понять уклоненія, происходящія иногда въ этомъ процессѣ, угадать причины этихъ уклоненій и наконецъ найти средства предотвращать эти уклоненія, или поправлять зло, когда оно уже сдѣлано. Если медицина, необходимая во вседневной жизни, и составляющая только практическое приложеніе уже добытыхъ истинъ, встрѣчаетъ себѣ въ массахъ такъ много незаслуженнаго недовѣрія, то легко себѣ представить, съ какими страшными трудностями приходится бороться тѣмъ теоретическимъ наукамъ, которыя ложатся въ основаніе врачебнаго искусства. Мнѣ кажется, можно сказать безошибочно, что теоретическія истины проникаютъ въ сознаніе общества гораздо медленнѣе, чѣмъ практическія открытія и усовершенствованія. Всякій русскій человѣкъ, побывавшій въ Москвѣ, знаетъ о существованіи желѣзной дороги между Москвою и Петербургомъ; всякій мужикъ, грамотный или неграмотный, садится въ вагонъ, когда ему является необходимость изъ одной столицы переѣхать въ другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ образомъ обращаетъ въ свою пользу изобрѣтеніе, сдѣланное въ XIX вѣкѣ, вполнѣ увѣренъ въ томъ, что громъ происходитъ отъ колесницы пророка Ильи и что домовой, или, какъ онъ выражается, *хозяинъ* путаетъ по ночамъ гривы его лошадей. Такого рода суевѣріе не ограничивается неграмотнымъ сословіемъ деревенскаго и городскаго населенія: та самая милая, образованная дама, которая съ величайшимъ воодушевленіемъ толкуетъ о современной журналистикѣ, поддерживая или опровергая идеи новѣйшихъ эманципаторовъ,—блѣднѣетъ и чувствуетъ себя разстроенною при видѣ трехъ зажженныхъ свѣчей, поставленныхъ на одномъ столѣ; тотъ самый дѣльный хозяинъ, который выписываетъ для своего сахарнаго завода машины изъ Бельгіи или изъ Англіи, способенъ встать изъ за стола, если за этимъ столомъ сидитъ тринадцать человѣкъ гостей. Суевѣріе, живущее такимъ образомъ помимо успѣховъ науки, покрываетъ сплошною корою общество и, въ большей части случаевъ, отнимаетъ у него возможность пользоваться результатами добросовѣстныхъ изслѣдованій и располагать свою жизнь сообразно съ тѣми истинами, которыя передовые люди добываютъ дорогою цѣною трудовъ и усилій.

Можетъ быть ни одна наука не встрѣчала себѣ на пути своего

развитія столько препятствій, сколько встрѣчала физіологія. Мы готовы вѣрить тому, что натуралистъ разсказываетъ намъ о цвѣткѣ, объ улиткѣ и о слонѣ; мы сами не давали себѣ труда вглядываться въ эти предметы, мы видѣли ихъ мелькомъ, не составляли себѣ о нихъ никакого округленнаго и законченнаго понятія, и слѣдовательно, въ запасѣ наслѣдованныхъ или благопріобрѣтенныхъ воззрѣній не имѣемъ ничего такого, чтобы помѣшало намъ согласиться съ мнѣніями естествоиспытателя; но когда тотъ же естествоиспытатель, распространяя кругъ своихъ изслѣдованій, постепенно втягиваетъ въ этотъ кругъ организмъ человѣка, тогда мы начинаемъ прислушиваться внимательнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаемъ чувствовать разладъ между нашими понятіями и тѣми научными фактами, которые сообщаются намъ съ самою убѣдительною наглядностью.

Почувствовавъ такой неизбѣжный разладъ, слушатели или читатели ведутъ себя различно, смотря по темпераменту и по устройству своего мозга; одни зажимаютъ себѣ уши или бросаютъ съ негодованіемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ по головкѣ ихъ закоренѣлыя заблужденія; другіе, напротивъ того, чувствуя въ книгѣ вѣяніе свѣжаго воздуха, съ удвоеннымъ вниманіемъ погружаются въ чтеніе.

Кто изъ нихъ поступаетъ благоразумнѣе—это такой вопросъ, которaго рѣшеніе надо предоставить на личное благоусмотрѣніе каждаго читателя. Я нахожу, впрочемъ, что уже давно пора выдти изъ области разсужденій и приступить къ фактамъ, которые гораздо рельефнѣе могутъ представить высказанныя мною идеи о развитіи естественныхъ наукъ и о ихъ постоянной борьбѣ съ невѣжествомъ массъ, съ суевѣріемъ сантиментальной публики и съ недоброжелательствомъ различныхъ инквизиторовъ, мѣнявшихъ съ вѣками свои костюмы, названія и пріемы преслѣдованія.

II.

Я намѣренъ прежде всего поговорить о крови, о такомъ предметѣ, который всякому извѣстенъ по наружному виду, и который, между тѣмъ, не вполнѣ извѣстенъ самымъ новѣйшимъ изслѣдователямъ

по своимъ внутреннимъ свойствамъ и по своему назначенію въ общей экономіи органической жизни.

«Кровь, говоритъ Мефистофель Фаусту, есть сокъ совсѣмъ особеннаго рода», и Фаустъ, повинуясь требованію своего руководителя, подписываетъ собственною кровью пагубный контрактъ, отдающій его душу въ распоряженіе мрачнымъ силамъ ада; въ средніе вѣка такого рода контракты, заключавшіеся довольно часто, если вѣрить легендамъ, всегда подписывались кровью и вслѣдствіе этого получали свою таинственную силу; кровью подписывались священныя клятвы; заключая между собою союзъ военнаго братства, два витязя обыкновенно смѣшивали нѣсколько капель своей крови съ тѣмъ виномъ, которое они выпивали въ честь своего побратимства; кровь невинныхъ мальчиковъ употреблялась колдунами для узнаванія будущаго и алхимиками для приготовленія жизненнаго эликсира; побѣдивъ своего врага, дикарь пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себѣ силу и мужество убитаго воина; кровью жертвеннаго животнаго обливались съ головы до ногъ Римляне, желавшіе очиститься отъ совершеннаго преступленія; вампиръ или упырь, выходящій изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ людей и вмѣстѣ съ кровью высасываетъ изъ нихъ силу и жизнь. Мы до сихъ поръ въ нашемъ разговорномъ языкѣ придаемъ крови чрезвычайно важное значеніе; о горячей, молодецкой крови поютъ наши народныя пѣсни; въ немъ кипитъ молодая кровь, говоримъ мы, желая обозначить пылкій хорактеръ живаго юноши.

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь...

говоритъ Некрасовъ о своемъ «тяжеломъ, неуклюжемъ стихѣ», и мы вполнѣ понимаемъ это образное выраженіе, несмотря на его очевидную неточность.

«Въ его жилахъ текла благородная кровь великихъ предковъ», говоритъ какой нибудь велерѣчивый панегиристъ, и мы, къ сожалѣнію, понимаемъ это выраженіе, несмотря на всю его нескладную напыщенность. Кровь играетъ, такимъ образомъ, очень видную роль въ повѣрьяхъ и сказкахъ, въ поэзіи и въ риторикѣ, словомъ, въ разнородныхъ созданіяхъ человѣческой фантазіи. Это обстоятельство доказываетъ намъ, что люди инстинктивно сознавали важное значеніе крови для различныхъ отправленій органической жизни; это инстинкти—

вное сознаніе выражалось и до сихъ поръ выражается въ тѣхъ медицинскихъ понятіяхъ, которыя находятся во вседневномъ обращеніи; одинъ паціентъ жалуется доктору на *полнокровіе*, другой на *малокровіе*; одинъ находитъ, что у него кровь слишкомъ густа, другой убѣжденъ въ томъ, что она черезчуръ жидка, третій остротою крови объявляетъ происхожденіе разныхъ накожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новѣйшая раціональная - физіологія соглашается въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ преданіями и народными вѣрованіями, съ поэтами, говорящими о крови и съ паціентами, жалующимися на различныя свойства своей крови; она соглашается съ этими господами въ томъ отношеніи, что признаетъ несомнѣнную важность крови для существованія и для развитія всякаго организма. Затѣмъ она желаетъ счастливаго пути всѣмъ фантазерамъ, приписывающимъ крови какія бы то ни было таинственныя свойства, поворачивается спиною къ панегиристамъ, прославляющимъ благородную кровь чьихъ бы то ни было предковъ, и, вооружившись сильно увеличивающимъ микроскопомъ, кладетъ подъ его предметное стекло каплю красной жидкости, обращающейся въ нашихъ венахъ и артеріяхъ.

Въ этой каплѣ, положенной подъ микроскопъ, изслѣдователь можетъ видѣть милліоны крошечныхъ шариковъ, насыпанныхъ кучами другъ на друга и плавающихъ въ безцвѣтной жидкости. Если взять каплю неразбавленной крови, то при самомъ сильномъ увеличеніи микроскопа будетъ совершенно невозможно разглядѣть устройство отдѣльныхъ шариковъ; поэтому, для наблюденія надъ микроскопическимъ составомъ крови, лучше всего развести взятую каплю въ такой жидкости, которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. Капля этой разсыропленной жидкости, положенная подъ микроскопъ, покажетъ, пожалуй, нѣсколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но, такъ какъ число ихъ все-таки на томъ же пространствѣ окажется значительно меньше, чѣмъ оно было въ цѣльной крови, то наблюдателю будетъ гораздо легче разсмотрѣть ихъ устройство. Каждый шарикъ величиною своею равняется одной трехсотой части линіи, т. е. надо положить рядомъ 5000 такихъ шариковъ, чтобы составить длину вершка; каждый изъ нихъ состоитъ изъ чрезвычайно тонкаго эластическаго пузырька, наполненнаго жидкостью; и пузырекъ, и жидкость отдѣльнаго шарика подъ микроскопомъ оказываются безцвѣтными. Я предчувствую, что здѣсь проявится въ читателѣ самородный скептицизмъ.—Какъ же это такъ? спроситъ онъ съ улыбкою, безцвѣтные шарики плаваютъ въ

безцвѣтной жидкости, а кровь, составленная изъ шариковъ и жидкости отличается темнокраснымъ цвѣтомъ. Это я знаю лучше всякаго физіолога.

— Совершенно справедливо, г. читатель, отвѣчу я. Потрудитесь только произвести слѣдующій, несложный опытъ. Положите другъ на друга листовъ 20 самаго лучшаго стекла и посмотрите тогда, покажется ли вамъ эта стекляная гора прозрачною и безцвѣтною. Можете повторить тотъ же опытъ надъ рѣкою: вы знаете, конечно, что Нева въ самую тихую погоду не покажется вамъ массою прозрачной жидкости; зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рѣки и вы увидите, что эту воду можно будетъ назвать вполнѣ безцвѣтною.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, что въ ней лежатъ другъ на другѣ *тысячи* безцвѣтныхъ шариковъ или пузырьковъ, заключающихъ въ себѣ невообразимо маленькую капельку жидкости, окрашенной совершенно незамѣтнымъ оттѣнкомъ краснаго цвѣта. Чѣмъ больше шариковъ навалено другъ на друга, тѣмъ опредѣленнѣе и темнѣе становится красный цвѣтъ. Простая капля крови кажется намъ свѣтлокрасною, а ведро крови покажется почти чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполнѣ шарообразна, такъ что названіе кровяныхъ шариковъ можно допустить съ грѣхомъ пополамъ; они скорѣе похожи на чечевичныя зерна; у человѣка и у большей части млекопитающихъ эти чечевицеобразныя пузырьки отличаются круглою формою; у птицъ, рыбъ и амфибій, кромѣ того, у верблюда, дромадера, и ламы кровяные пузырьки имѣютъ продолговатую форму. Величина этихъ пузырьковъ у различныхъ животныхъ бываетъ различная, но величина ихъ никакъ не зависитъ отъ величины самаго животнаго. Крошечная мышь въ этомъ отношеніи стоитъ на одпихъ правахъ съ благородною лошадью. Слонъ оказывается однако вполнѣ послѣдовательнымъ, и размѣры его кровяныхъ шариковъ сообразуются съ размѣрами его колоссальнаго тѣла; покрайней мѣрѣ ни у кого изъ млекопитающихъ нѣтъ такихъ большихъ пузырьковъ, какъ у слона.

При крайней незначительности своего объема, при гладкости и эластичности своей кожи, кровяные пузырьки свободно скользятъ вдоль стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самые тонкіе волосные сосудцы и такимъ образомъ въ короткое время пробѣгаютъ чрезъ всѣ запутанныя развѣтвленія нашихъ артерій и венъ. Подвижность этихъ шариковъ или пузырьковъ подавала поводъ къ самымъ страннымъ гипотезамъ, которыя, несмотря на свою очевидную не-

лѣпость, находили себѣ горячихъ защитниковъ. Нѣкоторые изслѣдователи приняли эти пузырьки за микроскопическихъ животныхъ, принадлежащихъ къ классу инфузоріевъ, одаренныхъ самостоятельною способностью движенія и завѣдывающихъ отправленіями нашей крови по собственному, свободному влеченію. Эти воображаемыя животныя получили названіе первобытныхъ животныхъ (*Urthiere*) и изслѣдователи, подарившіе такимъ образомъ нашей планетѣ неисчислимое количество живыхъ существъ, выразили то мнѣніе, что изъ этихъ существъ, какъ изъ первой основы всякаго органическаго бытія, образуются всѣ ткани и отдѣльныя части нашего тѣла. Овладѣвъ этою своеобразною идеею, философія природы, по свойственному ей стремленію искать конечныхъ выводовъ и дѣлать общія заключенія, настроила множество самыхъ удивительныхъ системъ, которыя, какъ карточные домики, валятся отъ малѣйшаго прикосновенія непосредственнаго, непредубѣжденнаго наблюденія. Очень недавно одинъ англичанинъ Тоддъ написалъ цѣлую книгу о кровяныхъ животныхъ, которыя называются у него *bloodliving-animals* или болѣе ученымъ терминомъ—*haematozoa*. Онъ приписываетъ имъ разныя электрическія и химическія свойства; онъ даже думаетъ, что электрическія силы, заключающіяся въ этихъ животныхъ, могутъ объяснить собою то половое влеченіе, по которому мужчина и женщина стремятся сблизиться между собою.

Новѣйшая физіологія доказала самымъ нагляднымъ образомъ, что всѣ эти попытки населить кровь легіонами живыхъ существъ относятся къ области чистой фантазіи. Кровь движется въ артеріяхъ и въ венахъ точно также, какъ могла бы двигаться въ нихъ какая нибудь другая жидкость, повинующаяся давленію насоса. Что же касается до кровяныхъ шариковъ, то они не затрудняютъ ея движенія, потому что они, какъ я уже замѣтилъ, очень малы по объему, очень гладки и эластичны. Назначеніе кровяныхъ шариковъ состоитъ, по мнѣнію Бюхнера, въ томъ, чтобы, проходя чрезъ легкія, насыщаться кислородомъ и проносить этотъ кислородъ, необходимый для поддержанія органической жизни, въ различныя части и оконечности тѣла. Сами кровяные пузырьки, какъ и всѣ составныя части организма, разрушаются и выдѣляются изъ живаго тѣла, замѣняясь новыми пузырьками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какимъ образомъ, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ они разрушаются—до сихъ поръ рѣшительно неизвѣстно.

Кровь, выпущенная изъ живаго тѣла, свертывается или запекает-

ся, т. е. разлагается на свѣтлую, желтоватую жидкость и на болѣе твердую, студенистую, темнокрасную массу, состоящую изъ кровяныхъ шариковъ и изъ волокнины, отдѣлившейся отъ той безцвѣтной жидкости, въ которой плавали пузырьки.

Эта волокнина состоитъ изъ соединенія кислорода, водорода, углерода и азота и отличается своею способностью свертываться тотчасъ послѣ выхода крови изъ кровеносныхъ сосудовъ.

Разложеніе крови, вышедшей изъ живаго тѣла, давно уже обращало на себя вниманіе медиковъ и изслѣдователей. Самъ отецъ медицины Гиппократъ занимался этимъ вопросомъ, но не умѣлъ разрѣшить его. Дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что изслѣдователи говорили: *кровь умираетъ*, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои свойства, благодаря силамъ живаго организма, теряетъ свои отличительныя качества, покидая то тѣло, которому она принадлежала. Объясняя такимъ образомъ разложеніе крови, изслѣдователи не замѣчали того, что они только другими словами называли непонятый ими фактъ. У нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? А они на это отвѣчали: кровь умираетъ. Дѣло очевидно не подвигалось впередъ; мало того, предполагая какую-то таинственную, необъяснимую связь между кровью и тѣмъ организмомъ, въ которомъ она содержится, изслѣдователи ввели въ область своей науки несчастное понятіе жизненной силы, которое долгое время отводило глаза наблюдателямъ. То, что не могло быть объяснено физическими и химическими законами, сваливалось на жизненную силу и причислялось такимъ образомъ къ области необъяснимаго. Сердце билось вслѣдствіе жизненной силы, кровь обращалась вслѣдствіе жизненной силы, кровь свертывалась потому, что ее покидала жизненная сила. Такимъ образомъ всѣ физіологическіе вопросы рѣшались легко и свободно, но такъ какъ жизненная сила оставалась понятіемъ совершенно неопредѣленнымъ и расплывающимся въ пространствѣ, то такая метода рѣшенія раскидывала непроницаемое покрывало на всѣ отправленія, совершающіяся внутри организма. Теперешніе физіологи дѣйствуютъ гораздо проще; они подробно описываютъ то, что они видѣли и прямо говорятъ, что того или другаго имъ пока еще не удавалось изслѣдовать. Нерѣшеннаго много, но за то нѣтъ полурѣшеній, нѣтъ шарлатанства въ терминахъ и объясненіяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины разложенія крови еще не найдены.

Дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха нельзя объяснить этого явленія

потому, что кровь можетъ свертываться даже внутри живаго организма, въ тѣхъ кровеносныхъ сосудахъ въ которыхъ, правильное обращеніе оказывается нарушеннымъ. Отсутствіемъ движенія также не объясняется разложеніе крови, потому что выпущенная кровь разлагается и въ томъ случаѣ, если мы станемъ болтать ее въ бутылкѣ. При взбалтываніи крови окажется только, что волокнина не успѣетъ соединиться съ кровяными шариками и осядетъ отдѣльными хлопьями. Если же мы будемъ постоянно размѣшивать свѣжую кровь или бить ее гибкою палкою, то осѣдающая волокнина, приставая къ палкѣ, будетъ выдѣляться изъ крови; такимъ образомъ можно будетъ выдѣлить изъ крови всю волокнину, и тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, вовсе не свернется; впрочемъ составъ ея будетъ, конечно, значительно измѣненъ; взбивая кровь палкою, мы не препятствуемъ ея разложенію, а только чисто-механическимъ путемъ удаляемъ изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ существенно отличаться отъ той свѣжей крови, которую мы выпустили изъ жилъ животнаго; несмотря на то, эта взбитая кровь, остающаяся вслѣдствіе этой операціи въ жидкомъ состояніи, оказывается пригодною для техническаго медицинскаго употребленія.

Иногда, когда человѣкъ, потерявшій значительное количество крови, подвергается опасности умереть, ему разрѣзываютъ жилу и въ эту жилу впускаютъ битую кровь; такого рода операція возможна на томъ основаніи, что организмъ паціента собственными силами дополнитъ потребное количество недостающей волокнины и такимъ образомъ обойдется съ битою кровью также удобно, какъ будто бы она была свѣжая.

Волокнина, выдѣленная изъ крови, твердѣетъ въ видѣ студенистой массы и принимаетъ зеленовато-желтый цвѣтъ; иногда, свертываясь вмѣстѣ съ кровью, волокнина осѣдаетъ сверхъ темнокрасной массы и образуетъ надъ нею желтоватую кору. Медики придумали для этой коры особое названіе *crusta inflammatoria* (воспалительная кора) и даже дошли до того ошибочнаго убѣжденія, будто эта кора образуется надъ темнокрасною массою крови только въ томъ случаѣ, если кровь выпущена изъ жилъ паціента, находящагося въ воспаленномъ состояніи. Это ошибочное убѣжденіе часто приводило къ печальнымъ практическимъ результатамъ. Убѣжденный въ томъ, что его паціентъ страдаетъ отъ воспаленія, докторъ продолжаетъ кровопусканія и такимъ образомъ постоянно отнимаетъ у больнаго тѣ силы, которыя мо-

гутъ быть необходимы для его выздоровленія. Судя по газетнымъ извѣстіямъ, мы можемъ заключить, что графъ Кавуръ умеръ именно вслѣдствіе того, что лечившіе его медики, держась ошибочнаго мнѣнія о *crusta inflammatoria*, истощили его организмъ излишними и положительно вредными кровопусканіями.

Убѣжденіе медиковъ насчетъ того, что кора изъ волокнины образуется надъ запекшеюся кровью только въ случаѣ воспаленія паціента, опровергается тѣмъ обстоятельствомъ, что подобная кора можетъ образоваться даже въ свернувшейся крови субъекта, подверженнаго блѣдной немочи (Bleichsucht). Блѣдная немочь состоитъ въ томъ, что въ общемъ составѣ крови убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. Кровь становится такимъ образомъ водянистѣе и свѣтлѣе по цвѣту. Пускать кровь больному, страдающему отъ блѣдной немочи очень опасно, потому что онъ и безъ того слабъ вслѣдствіе недостаточнаго количества кровяныхъ пузырьковъ. Медикъ, который захотѣлъ бы лечить такого больнаго, осмысливая по-своему образованіе *воспалительной коры*, подвергается опасности зарѣзать паціента своимъ ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ въ распознаваніи болѣзненныхъ симптомовъ. Чѣмъ обширнѣе становится научная область физіологіи, тѣмъ сильнѣе съуживается область общихъ симптомовъ. Каждый болѣзненный случай имѣетъ свои причины, свою исторію, свое развитіе; каждое явленіе, совершающееся въ человѣческомъ организмѣ, обусловливается множествомъ побочныхъ обстоятельствъ, которыя не могутъ быть разсказаны заранѣе; эти обстоятельства надо прослѣдить и сообразить на мѣстѣ; здѣсь не выручитъ общее правило; здѣсь необходимы навыкъ, знаніе множества частныхъ случаевъ и величайшая внимательность въ разсмотрѣніи даннаго казуса. Химическій составъ человѣческой крови отличается значительною сложностью; въ нашей крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ ей довольно замѣтный вкусъ, и желѣзо, которое, въ соединеніи съ кислородомъ, является причиною краснаго цвѣта крови.

Желѣзо было открыто въ крови французомъ Мери, и это любопытное открытіе возбудило множество химерическихъ идей и надеждъ. Нашлись люди, которые стали думать, что желѣзо, заключающееся въ крови, можетъ имѣть важное значеніе для промышленности, что изъ этого желѣза можно выковывать мечи, кочерги и тому подобные общеполезные инструменты. Другіе господа посмотрѣли на дѣло съ бо-

лѣе сантиментальной точки зрѣнія: послышалось желаніе, чтобы изъ крови великихъ людей выковывались послѣ ихъ смерти жетоны или медали. Всѣ эти предположенія оказались совершенно невыполнимыми.

Нашлось, что, если выпустить всю кровь изъ цѣлой сотни людей, то наберется около одного аптекарскаго фунта металлическаго желѣза. Желѣзные рудники, открывшіеся такимъ образомъ въ жилахъ людей и животныхъ, оказались на столько скудными, что никто не взялъ на себя труда разработывать ихъ, и никто не выпросилъ себѣ привиллегіи на эту новую отрасль промышленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человѣка заключается желѣзо, одинъ парижскій студентъ медицины выдумалъ подарить своей любовницѣ желѣзное кольцо добытое изъ собственной крови. Предмету его любви было бы вѣроятно пріятнѣе получить въ подарокъ какую нибудь золотую вещицу, а самому студенту было бы легче добыть деньги на покупку дорогой бездѣлушки путемъ усиленнаго труда, вмѣсто того, чтобы постоянно ослаблять себя извлеченіемъ желѣза изъ собственнаго тѣла. Но онъ разсудилъ иначе: ему понравилась его странная идея, и онъ принялся безо всякой надобности пускать себѣ кровь черезъ извѣстные промежутки времени. Собираніе желѣза шло очень медленно; нетерпѣніе молодаго мечтателя было слишкомъ велико; онъ поторопился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много крови и умеръ, не успѣвши привести въ исполненіе своего оригинальнаго намѣренія. Если подобныя нелѣпости предпринимались вслѣдствіе того обстоятельства, что въ крови заключаются ничтожныя частички самаго дешеваго металла, то можно себѣ представить, сколько преступленій совершалось бы въ томъ случаѣ, когда бы вмѣсто желѣза въ составъ крови входило бы, напримѣръ, золото. Убійства вѣроятно, сдѣлались бы весьма обыкновенными происшествіями; охотниковъ пускать кровь себѣ и другимъ нашлось бы несмѣтное количество; эпитетъ кровопійца, который придается теперь слишкомъ жаднымъ ростовщикамъ, принимался бы тогда въ буквальномъ значеніи этого слова. Игроки могли бы ставить на карту часть своей крови, точно также, какъ теперь они ставятъ на карту необходимыя деньги и вещи. Словомъ, число нелѣпостей и гадостей, совершающихся теперь, вѣроятно увеличилось бы въ десятеро.

Взглянувъ на ту бездну несчастій, въ которую погрузилось бы человѣчество, еслибы въ его жилахъ открылись золотые рудники, я поневолѣ становлюсь оптимистомъ и, обращаясь къ нравственному чув-

ству читателя, предлагаю ему торжественный вопросъ: осмѣлится ли онъ послѣ этого изъявить малѣйшее сомнѣніе въ благости Провидѣнія?

Кромѣ твердыхъ и жидкихъ веществъ, входящихъ въ составъ крови, надо упомянуть еще о веществахъ газообразныхъ, образующихъ разныя химическія соединенія съ твердыми и жидкими составными частями крови. Въ крови нѣтъ газовъ, находящихся въ свободномъ состояніи; если нѣкоторое количество атмосфернаго воздуха попадетъ въ кровеносный сосудъ, то оно можетъ нарушить весь порядокъ кровообращенія и повести къ мгновенной смерти разсматриваемаго субъекта. Такого рода опыты производились надъ животными; имъ вбрызгивали воздухъ въ открытыя жилы посредствомъ воздушнаго насоса, и они издыхали среди сильныхъ конвульсій. Иногда случается, что воздухъ проникаетъ въ кровеносный сосудъ паціента при большихъ хирургическихъ операціяхъ; тогда больной мгновенно умираетъ. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что газы, находящіеся въ крови, должны непремѣнно образовать съ твердыми и жидкими веществами химическія соединенія.

Кислородъ, воспринимаемый организмомъ при вдыханіи атмосфернаго воздуха, соединяется съ кровью, протекающею черезъ легкія и, окисляя желѣзистое содержаніе кровяныхъ шариковъ, придаетъ всей крови тотъ ярко-красный цвѣтъ, которымъ она отличается при выходѣ своемъ изъ легкихъ. Углекислота накопляется въ крови во время ея прохожденія черезъ волосные сосуды, т. е. черезъ тончайшія развѣтвленія жилъ, находящіяся возлѣ поверхности тѣла; она образуется изъ соединенія кислорода, заключающагося въ крови, съ углеродомъ тѣхъ органическихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. Углекислота эта выдѣляется изъ легкихъ при выдыханіи; она придаетъ крови темный цвѣтъ, и потому кровь, пройдя черезъ легкія, получаетъ болѣе свѣтлый и яркій цвѣтъ.

Азотъ, проходящій въ кровь изъ пищи и изъ атмосфернаго воздуха, выдѣляется черезъ почки, въ формѣ мочи, въ соединеніи съ водою.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь химическій процессъ превращенія воздуха и пищи въ органическія ткани нашего тѣла. Образованіе крови происходитъ отчасти отъ принятія пищи, отчасти отъ вдыханія атмосфернаго воздуха. Люди, страдающіе чахоткою, т. е поврежденіемъ легкихъ, худѣютъ и сохнутъ, несмотря на предлагаемую имъ питательную пищу и несмотря на то, что они часто до послѣднихъ мѣсяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппетитъ. Недо-

статокъ воздуха, который ослабѣвшія легкія уже не могутъ принимать въ необходимомъ количествѣ, отнимаетъ у крови притокъ кислорода и, такимъ образомъ, существенно измѣняя ея составъ, нарушаетъ нормальный процессъ питанія и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ тѣлѣ взрослаго человѣка, заключаетъ въ себѣ по вѣсу около 13 фунтовъ. По мнѣнію однихъ изслѣдователей вся масса крови составляетъ одну восьмую часть вѣса всего человѣческаго тѣла; по мнѣнію другихъ — только одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительныя потери крови, если только эти потери совершаются не вдругъ, а слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ извѣстные промежутки времени. Опыты, произведенные надъ животными, показали, что можно, не убивая самаго животнаго, въ нѣсколько пріемовъ выпустить изъ его жилъ такое количество крови, которое превосходитъ вѣсъ его собственнаго тѣла. Но въ одинъ разъ достаточно, чтобы убить животное или человѣка, выпустить изъ него количество крови, равняющееся одной двадцать пятой части его вѣса.

III.

Обращеніе крови, необходимое для процесса жизни, совершается отъ сердца къ оконечностямъ и къ поверхности тѣла, и отъ поверхности обратно къ сердцу. Механизмъ кровеобращенія объясняется очень просто слѣдующимъ нагляднымъ примѣромъ.

Представьте себѣ полый гуттаперчевый шаръ, въ которомъ въ двухъ мѣстахъ прорѣзаны два круглыя отверстія. Къ этимъ двумъ отверстіямъ придѣланы двѣ длинныя, гибкія трубочки; отверстія шара закрываются клапанами, которые оба отворяются въ одну сторону, положимъ, вправо.

Весь снарядъ, т. е. шаръ и оба колѣна трубки наполнены водою; свободные концы трубочекъ, т. е. концы непридѣланные къ шарику, спаяны между собою такъ плотно, что спайка не пропускаетъ воздуха. Если вы рукою сожмете шаръ, то вода, заключающаяся въ немъ, будетъ выдавлена и черезъ тотъ клапанъ, который отворяется наружу, потечетъ въ трубочку; но трубочка и безъ того полна водою, и по-

тому жидкость, уступая напору вновь притекшей воды, ударяетъ въ другой клапанъ и входитъ въ шаръ. Вы еще разъ сжимаете его рукою, и опять повторяется то же самое явленіе, т. е. часть воды опять вытѣсняется изъ шарика и опять замѣняется такимъ же количествомъ воды, прилившей съ другаго конца, вслѣдствіе того же самаго давленія. Еслибы трубочки, по выходѣ своемъ изъ шара, раздѣлились на два канала, потомъ на четыре, потомъ на восемь, и т. д., еслибы всѣ эти развѣтвленія были спаены между собою и такимъ образомъ опять сходились бы въ одну общую трубку, сообщающуюся съ шаромъ, то отъ этого обстоятельства процессъ обращенія жидкости не измѣнился бы.

Роль гуттаперчеваго шара играетъ въ тѣлѣ животныхъ и человѣка сердце, которое, сжимаясь и расширяясь, поперемѣнно выгоняетъ изъ себя кровь въ артеріи и принимаетъ кровь, притекающую изъ венъ.

Система артерій и венъ, раскинувшихъ свои отроги и развѣтвленія во всѣ части тѣла, раздробившихся на безчисленное множество микроскопически-тонкихъ волосныхъ сосудовъ и охватившихъ почти сплошною сѣтью тѣло животнаго подъ самою его кожею,—замѣняетъ собою въ организмѣ тѣ гибкія трубочки, о которыхъ я говорилъ въ моемъ примѣрѣ. Въ артеріяхъ и въ венахъ существуетъ сложная система клапановъ, отворяющихся только по одному направленію и потому непускающихъ обратно въ сердце ту часть крови, которая уже вышла въ артеріи вслѣдствіе его сжатія. Вслѣдствіе этого устройства клапановъ, кровь принуждена при каждомъ сжатіи сердца подвигаться впередъ по артеріямъ; подвигаясь такимъ образомъ дальше и дальше отъ сердца къ поверхности тѣла, она наконецъ входитъ въ волосныя сосуды; дальше идти впередъ некуда, а между тѣмъ новыя волны крови, напирающія изъ сердца, тѣснятъ попрежнему; волосные сосуды отъ поверхности тѣла поворачиваютъ опять къ центру и кровь, конечно, течетъ туда, куда направлены эти каналы, потому что изъ нихъ нѣтъ никакаго выхода. Съ той минуты, какъ сосуды поварачиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ называться венами; по мѣрѣ приближенія къ сердцу, тонкія вены соединяютъ между собою подобно тому, какъ ручьи сліяніемъ своимъ образуютъ рѣки; наконецъ венозная кровь, насытившаяся углекислотою во время своего путешествія по тѣлу, черезъ толстыя вены вливается въ сердце, а сердце опять сжимается и кровь опять отправляется гулять по артеріямъ. Въ статьѣ

«Процессъ жизни», написанной по поводу физіологическихъ писемъ Карла Фохта и помѣщенной въ Сентябрьской книжкѣ Русскаго Слова за 1861 годъ, я говорилъ довольно подробно о маршрутѣ крови въ тѣлѣ человѣка. Теперь я поговорю о дѣятельности сердца и о различныхъ особенностяхъ этого важнаго и интереснаго органа.

Прежде всего надо замѣтить, что сердце, подобно желудку и легкимъ, относится къ тѣмъ органамъ, отъ которыхъ зависитъ исключительно растительная жизнь. Сердце своими движеніями производитъ кровеобращеніе, но оно не воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній, и не сообщаетъ нашимъ поступкамъ никакого импульса. Любовь, ненависть, желанія, надежды, волненія, страхъ, горе, радость—не имѣютъ ничего общаго съ дѣятельностью сердца и не могутъ доставить сердцу ни пріятнаго, ни тяжелаго ощущенія. Малѣйшее нарушеніе въ дѣятельности сердца ведетъ за собою болѣзненное разстройство, которое часто оканчивается смертью, но такого рода нарушенія происходятъ не отъ горести, не отъ душевнаго страданія, а оттого, что расхлябался какой нибудь клапанъ, распухъ тотъ полый мускулъ который называется сердцемъ, или засорилось то или другое отверстіе, ведущее къ артеріи. Болѣзни сердца имѣютъ чисто физическія причины, и сердце наше само по себѣ также нечувствительно къ нашимъ радостямъ и страданіямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, постоянно занимающійся своею скромною поварскою должностью.

Впрочемъ, нельзя отрицать тотъ фактъ, что душевныя волненія могутъ нарушить до нѣкоторой степени нормальную дѣятельность сердца. Воспринимая впечатлѣнія нервами, мы въ этихъ самыхъ нервахъ чувствуемъ ощущенія радости, горя, страха и т. д. Напряженное или раздраженное состояніе нервовъ отзывается во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, потому что нервы проходятъ въ нихъ своими развѣтвленіями, и переплетаясь тонкими ниточками съ кровеносными сосудами, могутъ сжимать ихъ независимо отъ нашей воли. Мы часто краснѣемъ вовсе не въ попадъ, тогда, когда не слѣдовало бы и не хотѣлось бы краснѣть; мы краснѣемъ совершенно непроизвольно, и это дѣлается единственно потому, что нервы, повинуясь внезапно воспринятому впечатлѣнію, мгновенно нарушаютъ нормальный ходъ кровеобращенія и дольше, чѣмъ слѣдовало бы, задерживаютъ въ лицѣ ту кровь, которая должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ нибудь сильнымъ и прочнымъ впечатлѣніемъ, то они могутъ нарушить весь процессъ кровеобраще-

нія и вслѣдствіе этого измѣнить состояніе сердца, которое такимъ образомъ совершенно непроизвольно, пассивно и безсознательно испытаетъ на себѣ реакцію нашихъ психическихъ ощущеній. Точно также можетъ испытать эту реакцію и желудокъ; если вы огорчены, вы можете потерять аппетитъ не потому, что желудокъ сочувствуетъ вашему горю, а потому, что напряженіе вашей нервной системы отнимаетъ у васъ возможность внимать скромно заявляемымъ требованіямъ вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, всѣ ощущенія воспринимаются только нервами, а нервы, получивши извѣстное сотрясеніе, могутъ нарушить или измѣнить дѣятельность такихъ органовъ, которымъ нѣтъ никакого дѣла до нашихъ ощущеній. Мы чувствуемъ боль только въ нервахъ; ни мускулы, ни кровеносные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не могутъ страдать; страдаютъ только прилегающіе къ нимъ нервы. Все это такъ, скажетъ читатель, но если сердце все оплетено нервами, то оно, конечно, способно страдать, потому что оплетающія его нервы составляютъ одну изъ его частей.

— Конечно, отвѣчу я, это было бы совершенно справедливо, еслибы сердце дѣйствительно было оплетено нервами, но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Сердце совершенно лишено чувствительности, какъ на поверхности своей, такъ и въ своемъ центрѣ. Нервы, находящіеся въ сердцѣ, относятся къ тому разряду нервовъ, которые проводятъ движеніе, но не сообщаютъ ощущеніе. Есть люди, у которыхъ, вслѣдствіе недостаточнаго развитія грудныхъ костей, существуетъ отверстіе, позволяющее видѣть и даже ощупывать рукою сердце. Это ощупываніе не причиняетъ имъ не только ни малѣйшей боли, но даже ни малѣйшаго ощущенія. Рана, нанесенная человѣку въ сердце и ведущая за собою неизбѣжную смерть, заставитъ его страдать не потому, что она тронула сердце, а потому, что она по дорогѣ изломала грудныя кости и изорвала грудныя ткани.

Болѣзни сердца, нарушающія весь процессъ кровеобращенія, приводятъ все тѣло въ состояніе ненормальной раздражительности и вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ оказать значительное вліяніе на душевное настроеніе паціента. Бываютъ впрочемъ и такія болѣзни сердца, которыя, несмотря на всю свою важность, не причиняютъ ни малѣйшей боли, позволяютъ паціенту веселиться и наслаждаться жизнью, и до послѣдней роковой минуты укрываются даже отъ его собственнаго вниманія. Итакъ сердце—ничто иное, какъ безсознательно дѣйствующій

насосъ, необходимый для того, чтобы приводить въ движенie кровь животнаго, но совершенно нечувствительный къ впечатлѣнiямъ физическаго и духовнаго мiра.

Когда мы говоримъ: у такого-то человѣка доброе сердце, а у такого-то нѣтъ сердца, когда Французы говорятъ съ воодушевленiемъ: c'est un coeur d'or, il a du coeur—cet homme, когда Нѣмцы толкуютъ съ умиленiемъ объ *herzliche Liebe*, *herzlicher Kummer*, то всѣ мы, Русскiе, Французы и Нѣмцы, говоримъ такiя вещи, для которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ соотвѣтствующихъ явленiй. Не имѣя никакого понятiя о физiологiи, мы замѣняемъ дѣйствительныя знанiя созданiями нашей фантазiи и надѣляемъ сердце, которымъ мы почему-то особенно интересуемся, небывалыми, невозможными и неестественными освйствами, качествами, достоинствами и пороками.

Одно французское выраженie, навсегда утвердившееся въ языкѣ, показываетъ чрезвычайно наглядно ложность тѣхъ физiологическихъ воззрѣнiй, которыми пробавляется публика. *J'ai mal au coeur*, какъ извѣстно, значитъ по-французски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется, такимъ образомъ, болью въ сердцѣ, между тѣмъ какъ она, очевидно, не имѣетъ съ сердцемъ ничего общаго. При тошнотѣ страдаетъ только желудокъ, и если страданiя желудка переносятся такимъ образомъ въ сердце, то изъ этого можно вывести слѣдующiя два заключенiя: во-первыхъ, люди, соорудившiе это выраженie, не имѣли понятiя о мѣстоположенiи сердца; во-вторыхъ, они никогда не чувствовали боли въ сердцѣ, потому что перенесли на сердце ощущенiя другаго органа, не имѣющаго съ нимъ никакихъ сношенiй и ни малѣйшаго сходства.

Жизнь, или вѣрнѣе, бieнie сердца начинается до рожденiя животнаго и продолжается до самой смерти, или вѣрнѣе, сердце продолжаетъ биться даже тогда, когда всѣ остальные признаки жизни покидаютъ тѣло. Когда куриное яйцо пролежало нѣсколько дней подъ насѣдкою, то въ немъ начинаетъ обозначаться сердце въ видѣ маленькой, красной точки, находящейся въ постоянномъ движенiи.

Это движенie сердца начинается тогда, когда еще не существуетъ ни крови, ни нервовъ; слѣдовательно, причину этого движенiя, начавшагося такъ рано, надо искать въ раздражительности самыхъ мускулистыхъ частей сердца, а не въ влiянiи крови и даже не въ дѣйствiи нервовъ. Говоря такимъ образомъ, что причина движенiя заключается не въ нервахъ, я не хочу сказать, чтобы нервы, проходящiе отъ мозга къ сердцу, не имѣли никакого влiянiя на темпъ этого дви-

женія. Нервы эти, при извѣстномъ раздраженіи, могутъ замедлить или задержать біеніе сердца; потомъ, за этою мгновенною задержкою, послѣдуетъ ускоренная дѣятельность сердца, которое, однако, несмотря на свои подчиненныя отношенія къ нервамъ, бьется все-таки по собственному, внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тѣла животнаго и слѣдовательно оторванное отъ всякой связи съ нервною системою, продолжаетъ биться нѣсколько времени. Вырѣзанныя лягушечьи сердца прыгаютъ на столѣ натуралиста въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, потомъ постепенно слабѣе и медленнѣе. Это самостоятельное движеніе вырѣзанныхъ сердецъ можетъ быть поддержано въ продолженіи нѣсколькихъ дней, если только не давать сердцамъ высохнуть и сохранять въ окружающемъ воздухѣ умѣренную теплоту. «Это, говоритъ Льюисъ, одно изъ тѣхъ зрѣлищъ, которыя наполняютъ духъ анатома какою-то невольною робостью. Онъ съ дѣтства привыкъ видѣть какое-то таинственное соотношеніе между біеніемъ сердца и жизнью организма, и вдругъ онъ видитъ это біеніе при такихъ обстоятельствахъ, которыя отгоняютъ всякую мысль о жизни и движеніи. Что же значитъ это біеніе? Въ немъ не видно равномѣрныхъ движеній жизни, не видно раздраженія испуга; его нельзя принять за дѣйствіе инстинкта. Убитъ и разрушенъ тотъ чудесный механизмъ, котораго центромъ было сердце, и вотъ рядомъ съ мертвымъ тѣломъ лежитъ этотъ органъ и продолжаетъ биться, будто самъ по себѣ хочетъ бороться со смертью.»

Сердце, переставшее биться послѣ смерти животнаго или человѣка, можетъ, посредствомъ электрическаго тока, еще разъ получить на нѣкоторое время способность сжиматься и расширяться. Подобные опыты производились нерѣдко надъ сердцами повѣшеныхъ или вообще казненныхъ преступниковъ.

Если даже смерть субъекта произошла не вдругъ и была слѣдствіемъ долговременной болѣзни, то случается, что біеніе сердца не прекращается вскорѣ послѣ смерти. Знаменитому анатому Везалію, жившему въ 16-мъ столѣтіи, пришлось дорого поплатиться за открытіе этого факта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, стоявшій по своему развитію гораздо выше уровня своей эпохи, рѣшался анатомировать человѣческіе трупы въ то время, когда это дѣйствіе считалось грѣховнымъ и преступнымъ. Одинъ молодой дворянинъ, котораго лечилъ Везалій, умеръ, несмотря на всѣ его попеченія, и любознательный медикъ, желая узнать причину смерти, выпросилъ себѣ позволе-

ніе вскрыть его трупъ. Вскрытіе произошло въ присутствіи нѣсколькихъ зрителей, которые пришли въ неописанный ужасъ, когда увидѣли, что сердце покойника бьется полнымъ, правильнымъ темпомъ. Везалія обвинили въ томъ, что онъ зарѣзалъ живаго человѣка; въ это дѣло вмѣшалась инквизиція, и Везалій съ большимъ трудомъ избѣжалъ мучительной смерти. Его принудили отправиться въ Палестину и замолить свой грѣхъ, вызванный дерзкимъ желаніемъ узнать тайны созданій Божіихъ. Репутація Везалія, какъ врача, погибла съ того времени, и ему не удалось до самой своей смерти избавиться отъ подозрѣнія въ томъ, что онъ зарѣзалъ своего паціента.

У здоровыхъ и крѣпкихъ людей сила, съ которою сжимается сердце, равняется вѣсу въ 60 фунтовъ. Если вы, сидя на стулѣ, положите одну ногу на колѣнку другой ноги, то вы увидите, что носокъ свободно висящей ноги постоянно, независимо отъ вашей воли движется взадъ и впередъ; если вы повѣсите на ступню этой ноги пудовую гирю (предполагая, что вы будете въ силахъ сдержать ее), то и эта гиря не помѣшаетъ колебаніямъ носка, которыя будутъ совершаться прежнимъ темпомъ и, попрежнему, независимо отъ вашей воли. Это колебаніе носка происходитъ отъ біенія сердца и отъ прилива крови въ артерію ноги. Если разрѣзать одну изъ большихъ артерій, то сила, съ которою брызнетъ изъ нея кровь, дастъ намъ понятіе о силѣ импульса, сообщеннаго этой крови сжатіемъ сердца. У собакъ и овецъ кровь брызжетъ даже изъ малыхъ артерій на шесть футовъ въ вышину. Скорость, съ которою волна крови идетъ отъ сердца по артеріямъ равняется 28 парижскимъ футамъ въ секунду.

Весь рядъ явленій, относящихся къ кровеобращенію, очень недавно сдѣлался достояніемъ науки. Запутанность и ложность понятій, господствовавшихъ объ этомъ предметѣ въ древности, превосходятъ всякое вѣроятіе. Греки и Римляне были увѣрены въ томъ, что наши жилы наполнены воздухомъ. Римскій медикъ Галенъ, жившій въ половинѣ втораго вѣка послѣ Рождества Христова, первый доказалъ, что въ жилахъ заключается кровь, и что въ однѣхъ жилахъ эта кровь отличается темнокраснымъ цвѣтомъ, а въ другихъ яркокраснымъ. Во второй половинѣ шестнадцатаго столѣтія испанскій медикъ Михаилъ Серветъ открылъ движеніе крови отъ сердца къ легкимъ и отъ легкихъ обратно къ сердцу. Религіозный фанатизмъ не пощадилъ этого замѣчательнаго человѣка, и Кальвинъ сжегъ его на кострѣ въ Женевѣ, доказывая такимъ образомъ потомству, что начало реформаціи

далеко не совпадаетъ съ началомъ вѣротерпимости. Несмотря на преслѣдованiя и казни, несмотря на презрѣнiе и невнимательность легкомысленной массы, духъ живой любознательности и терпѣливаго изученiя пробивалъ себѣ дорогу, опрокидывалъ нагроможденныя препятствiя и дарилъ плоды своихъ трудовъ тому самому человѣчеству, которое не умѣло распознавать своихъ истинныхъ друзей и не понимало значенiя ихъ дѣятельности. Въ началѣ семнадцатаго столѣтiя Англичанинъ Гарвей открылъ, что движенiе крови совершается во всемъ тѣлѣ, описалъ пути, по которымъ кровь выходитъ изъ сердца и возвращается къ сердцу, и этимъ мiровымъ открытiемъ положилъ основанiе новой, истинно-научной физiологiи, основанной на наблюденiи и не имѣющей ничего общаго съ прежними гаданiями и фразистыми разсужденiями.

Открытiе Гарвея встрѣтило себѣ рѣзкую оппозицiю со стороны ученыхъ мечтателей того времени. Медицинскiй факультетъ парижскаго университета возражалъ самыми оригинальными аргументами. «Жизнь, писалъ физiологъ Бурдахъ, потеряетъ свой идеальный блескъ, если мы рѣшимся простымъ механизмомъ объяснять теченiе крови, составляющее такую существенную часть ея проявленiя.»

Закаленные натурфилософы, смотрѣвшiе на вещи умственными очами, не признали существованiя кровеобращенiя; они остались при томъ убѣжденiи, что «кажущееся движенiе крови есть необъяснимое чудо (mirabile dictu), колебанiе между бытiемъ и не бытiемъ.» Благодаря такому глубокомысленному и удопонятному воззрѣнiю на тѣ факты, которые легко и свободно объяснялись непосредственнымъ наблюденiемъ, натурфилософiя постепенно стала терять ореолъ своего величiя, и въ XIX столѣтiи окончательно сошла съ того пьедестала, на которомъ она стояла вслѣдствiе невѣжества массъ и шарлатанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, что его учитель физiологiи былъ отчаянный натурфилософъ, старавшiйся кудреватыми фразами убѣдить своихъ слушателей въ вѣрности своихъ идей и постоянно бранившiй тѣхъ ученыхъ, которые хотѣли тѣлесными глазами увидать вещи и процессы, доступные только умственному оку. А въ это время тѣлесные глаза разсмотрѣли волосные сосуды, соединяющiе тонкiя артерiи съ тонкими венами, охватывающiе всѣ части тѣла частою, тонкою, подкожною сѣткою и такимъ образомъ замыкающiе собою тѣ пути, по которымъ кровь обтекаетъ все тѣло. При помощи микроскопа открылась для изслѣдователей возмож-

ность собственными глазами разсматривать теченіе крови въ волосныхъ сосудахъ живыхъ существъ.

«Трудно себѣ представить болѣе великолѣпную микроскопическую картину, говоритъ Бенеке въ своихъ физіологическихъ этюдахъ, чѣмъ ту, которую представляетъ подъ микроскопомъ плавательная кожа живой лягушки. Постепенно съуживающіеся, извивающіеся каналы, образующіе собою петли, проходятъ въ видѣ сѣтки чрезъ эту кожу; въ нихъ движется свѣтложелтоватая кровяная жидкость и въ срединѣ этихъ рѣчекъ катятся, подобно песчинкамъ на днѣ прозрачнаго ручья, красные кровяные пузырьки; въ большихъ сосудахъ ихъ очень много, въ меньшихъ они по одиначкѣ слѣдуютъ другъ за другомъ. Слой жидкости, прилегающій къ стѣнкѣ сосуда, движется гораздо медленнѣе, чѣмъ средній потокъ, несущій въ себѣ кровяные пузырьки; если внимательно наблюдать за движеніемъ крови въ волосныхъ сосудахъ, то можно замѣтить, что оно совершается гораздо медленнѣе, чѣмъ въ большихъ сосудахъ; это обстоятельство, очевидно, указываетъ на то взаимное вліяніе, которое существуетъ между кровью и органическими тканями.»

Натуралистъ Левенгукъ первый увидѣлъ обращеніе крови въ волосныхъ сосудахъ въ хвостѣ живой ящерицы. «Тутъ говоритъ онъ, мнѣ представилось такое восхитительное зрѣлище, какого до тѣхъ поръ еще не видывали мои глаза. Я открылъ въ различныхъ мѣстахъ болѣе пятидесяти различныхъ циркуляцій крови. Я увидѣлъ какъ кровь чрезъ необыкновенно тонкіе сосуды идетъ отъ середины хвоста къ краямъ его, и какъ потомъ каждый сосудъ поворачиваетъ назадъ и приводитъ кровь обратно къ срединѣ хвоста, откуда она отправляется далѣе по дорогѣ къ сердцу.»

IV.

Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ произбаніе растенія, въ существованіе животнаго, и вы увидите, что необходимымъ условіемъ всякой органической жизни, всякаго движенія, измѣненія и развитія является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ физикѣ, теплородъ не есть

матерія; это—движеніе; присутствіе теплоты проявляется всегда въ движеніи того вещества, на которое она дѣйствуетъ; вездѣ, гдѣ есть движеніе, тамъ обнаруживается и теплота.

Представьте себѣ картину природы въ лѣтній день, когда теплота всего сильнѣе дѣйствуетъ на окружающіе предметы и сравните эту картину съ тѣмъ зрѣлищемъ, которое представляетъ та же самая мѣстность зимою, при сильномъ морозѣ. Въ первомъ случаѣ вы увидите растительную жизнь во всемъ ея раскошномъ развитіи, во второмъ случаѣ вы не увидите ничего, кромѣ необозримой, утомительно однообразной снѣговой равнины. Положимъ, что 7-го іюня вы захотите взглянуть на дерево, которое вы внимательно осматривали 1-го іюня; вы навѣрное найдете въ немъ замѣтную перемѣну; тамъ распустился новый цвѣтокъ, здѣсь осыпались отжившіе цвѣтки и завязались плоды, тутъ молодой побѣгъ увеличился въ длинѣ и въ объемѣ. Если же вы 7-го января посмотрите на снѣговую равнину, по который вы гуляли 7-го декабря, то, вѣроятно, вы не замѣтите никакой перемѣны: вы увидите, можетъ быть, что количество снѣга увеличилось или уменьшилось, что сугробы его окрѣпли или сдѣлались рыхлѣе, что по дорогѣ образовались лужи или ледяные раскаты. Лѣтній пейзажъ измѣняется въ своихъ отдѣльныхъ частяхъ, развивается и живетъ подъ вліяніемъ теплоты въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ; зимній пейзажъ, благодаря уменьшенію теплоты, показываетъ намъ оцѣпенѣніе органической жизни, неподвижность и утомительное однообразіе застоя. Скудныя измѣненія, которыя иногда происходятъ въ этомъ зимнемъ пейзажѣ, и которыя не имѣютъ ничего общаго съ развитіемъ органической жизни, совершаются все-таки при содѣйствіи теплоты. Если мы вообразимъ себѣ такую мѣстность, на которой круглый годъ стоитъ тридцатиградусный морозъ, то эта мѣстность никогда не измѣнится; пройдутъ цѣлые вѣка, и она по прежнему останется холодною, пустынною и безжизненною; тѣ же снѣжные сугробы, тѣ же ледяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не измѣнившія своей фигуры, будутъ по прежнему останавливать на себѣ глаза наблюдателя. Но пусть въ эту оцѣпенѣвшую, застывшую мѣстность заглянетъ солнце, пусть начнется сильная оттепель—и черезъ день вы ее не узнаете; ледяные утесы расплывутся, снѣговые сугробы осядутъ, зашумитъ вода, потекутъ мутные ручьи; органическая жизнь, придавленная долговременнымъ холодомъ, не успѣетъ еще пробиться, но обнаружится движеніе, заслышатся шумъ и плескъ воды, и мертвая тишина ледя-

наго застоя окажется нарушенною, благодаря сильному притоку живительной теплоты. Возьмите другой, мелкій примѣръ изъ вседневной жизни. Если вы хотите сохранить кусокъ мяса въ неиспорченномъ видѣ, вы кладете его въ холодное мѣсто. Холодъ останавливаетъ или покрайней мѣрѣ значительно замедляетъ процессъ гніенія.

Гніеніе—ничто иное, какъ одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни въ природѣ. Гніющій кусокъ мяса разлагается на свои составныя части, поступаетъ въ общую экономію природы, и, облекаясь въ новыя формы, образуя новыя тѣла, продолжаетъ принимать участіе въ общемъ круговоротѣ жизни. Жизнь—ничто иное, какъ движеніе, переходъ изъ формы въ форму, постоянное, неугомонное превращеніе, разрушеніе и созиданіе, слѣдующія другъ за другомъ и вытекающія другъ изъ друга. Задерживая гніеніе куска мяса, холодъ исполняетъ наши желанія; но здѣсь, какъ и вездѣ, онъ задерживаетъ теченіе жизни и сковываетъ его проявленія. Когда мы беремъ съ ледника сохранившійся кусокъ мяса, когда, приготовивъ его по своему вкусу, мы съѣдаемъ его за обѣдомъ или за завтракомъ, тогда задерживающее дѣйствіе холода прекращается, и мясо, подъ вліяніемъ желудочныхъ кислотъ и теплоты нашихъ пищеварительныхъ органовъ, разлагается, входитъ въ нашу кровь, служитъ къ образованію нашихъ органическихъ тканей и такимъ образомъ снова начинаетъ принимать участіе въ движеніи вещества и въ общемъ процессѣ жизни. Вы видите, такимъ образомъ, что и здѣсь движеніе началось вмѣстѣ съ притокомъ теплоты.

Всѣ мы знаемъ изъ физики и изъ вседневной жизни, что дѣйствіе теплоты измѣняетъ форму и свойства тѣлъ, подверженныхъ ея вліянію. Ледъ превращается въ воду, вода превращается въ паръ, металлы становятся мягкими и наконецъ переходятъ въ жидкое состояніе, и всѣ эти измѣненія происходятъ отъ дѣйствія теплоты. Норма этихъ измѣненій для всѣхъ тѣлъ одинакова; твердое тѣло, нагрѣваясь, становится жидкимъ и наконецъ улетучивается въ видѣ газа. Теплота расширяетъ тѣла, т. е. ослабляетъ связь между ихъ атомами; при усиленіи теплоты, связь эта становится такъ слаба, что твердое тѣло растекается; когда теплота становится еще сильнѣе, тогда, вмѣсто прежняго плотнаго сцѣпленія между атомами, является полное разъединеніе, даже взаимное отталкиваніе, и прежняя твердая масса разлетается въ видѣ газа. Мы привыкли видѣть желѣзо въ твердомъ состояніи, ртуть и воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нормальнымъ и прочнымъ,

потому что эти вещества находятся именно въ такомъ видѣ при той температурѣ, при которой намъ удобно и возможно жить. На самомъ же дѣлѣ, то или другое вещество находится въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состояніи, только благодаря количеству теплоты, разлитому въ нихъ и вокругъ нихъ. Еслибы мы могли искусственнымъ путемъ производить безконечно высокую и безконечно низкую температуру, то мы, конечно, могли бы получить газообразное желѣзо, жидкій кислородъ, твердый азотъ. Газообразное желѣзо получилось бы при страшномъ жарѣ, а жидкій кислородъ или твердый азотъ при чрезвычайно сильномъ холодѣ.

Расширяясь отъ дѣйствія теплоты, тѣла стремятся занять большее пространство и слѣдовательно оказываютъ давленіе на все, что ихъ окружаетъ. На этомъ общемъ свойствѣ тѣлъ основано устройство паровыхъ машинъ; по этому же самому свойству порохъ, вспыхивая отъ прикосновенія зажженнаго фитиля, съ огромною силою вырывается въ видѣ газа изъ дула артиллерійскаго орудія и выбрасываетъ ту чугунную массу, которая мѣшала его выходу. Вода подъ вліяніемъ теплоты постепенно переходитъ изъ одного вида въ другой, постепенно расширяется и усиливаетъ свое давленіе; на этомъ основаніи вода, подверженная дѣйствію теплоты, можетъ, при извѣстныхъ предосторожностяхъ, быть употреблена, какъ двигательная сила; порохъ напротивъ того, не таетъ, а мгновенно изъ твердаго состоянія переходитъ въ газообразное; поэтому расширеніе его совершается такъ быстро и въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что оно ломаетъ и коверкаетъ всѣ препятствія, словомъ, производитъ то, что мы называемъ взрывомъ, и что водяной паръ можетъ произвести только вслѣдствіе неопытности и оплошности машиниста. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, присутствуя при дѣйствіи паровой машины и при выстрѣлѣ изъ орудія, мы видимъ, что вліяніе теплоты развиваетъ извѣстное количество механической силы.

Теоретическая физика въ новѣйшее время открыла одинъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ законовъ—законъ сохраненія или неразрушимости силы. Сохраненіе или неразрушимость силы заключается въ томъ, что ни въ какомъ случаѣ никакая сила не уничтожается и не возникаетъ вновь. Передъ нашими глазами совершается постоянно переходъ силы изъ одной формы въ другую; какъ ни одна частица матеріи не пропадаетъ и не уничтожается, а только видоизмѣняется, такъ точно ни одна частица какой бы то ни было силы не утрачивается, а только

принимаетъ иногда такую форму, которая скрываетъ его отъ нашего наблюденія. «Механическая, химическая, электрическая, магнетическая сила, теплота, свѣтъ превращается другъ въ друга; величина или количество силы остается неизмѣненнымъ, несмотря на то, что самая сила проявляется въ той или въ другой формѣ.» Мы уже видѣли, говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ образомъ теплота превращается въ механическую силу. Точно также и механическая сила способна превращаться въ теплоту. Дикари добываютъ огонь, разгорячая два куска дерева посредствомъ сильнаго тренія.

Пила, которою работаетъ дюжій ремесленникъ, разогрѣвается вслѣдствіе тренія такъ сильно, что можетъ обжечь руку своимъ прикосновеніемъ; въ Мюнхенѣ, на литейномъ заводѣ производились опыты, которые доказали, что, безъ внѣшняго нагрѣванія, однимъ треніемъ машины можно довести воду до точки кипѣнія. Температура воды возвышается даже отъ взмѣшиванія и взбалтыванія. Силою падающей воды или дѣйствіемъ вѣтра можно натопить цѣлую комнату, если приложить эти силы къ вращенію большаго деревяннаго цилиндра въ металическомъ поломъ цилиндрѣ, тѣсно прилегающемъ къ первому. Это отопленіе будетъ происходить такимъ образомъ: металлическій цилиндръ накалится отъ сильнаго тренія и, подобно желѣзной печи, будетъ выдѣлять въ окружающіе слои воздуха количество теплоты, соразмѣрное съ силою тренія, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ продолжительностью движенія всего снаряда. Каждому извѣстно, что оси экипажныхъ колесъ дымятся и объугливаются вслѣдствіе скорой и продолжительной ѣзды, особенно въ томъ случаѣ, если между осью и втулкою нѣтъ вещества, ослабляющаго треніе, т. е. говоря простымъ языкомъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умѣютъ ударами молотка довести гвоздь до раскаленнаго состоянія. Ледъ, сдавленный гидравлическимъ прессомъ, превращается въ воду, потому что сила давленія порождаетъ то количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы растопить ледъ.

Всѣ эти примѣры сводятся къ одному общему положенію: каждой механической работѣ соотвѣтствуетъ извѣстное количество теплоты; когда теплота производитъ механическую работу, тогда исчезаетъ извѣстное количество теплоты, соотвѣтствующее произведенной работѣ; потративъ вновь эту же самую работу, можно произвести то же количество теплоты. Машинистъ разводитъ огонь подъ котломъ паровой машины; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, слѣдовательно, то количе-

ство теплоты, которое въ нихъ заключается, истрачивается; вы думаете, что эта теплота пропала? Ошибаетесь. Вода превращается въ паръ, слѣдовательно, теплота выражается въ формѣ движенія и видоизмѣненія вещества; паровая машина приходитъ въ движеніе, слѣдовательно, теплота превращается въ механическую работу; вслѣдствіе этой механической работы разогрѣваются тѣ части машины, въ которыхъ происходитъ треніе, слѣдовательно, работа опять превращается въ теплоту, которая въ свою очередь можетъ быть превращена въ работу и т. д. до безконечности.

Законъ неразрушимости силы имѣетъ свое несомнѣнное и огромное значеніе какъ теоретическое положеніе, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней раціональнаго міросозерцанія. Практическое примѣненіе этого закона не всегда возможно.

Ясно какъ день, что въ природѣ не пропадаетъ ни одинъ клочекъ матеріи, ни одна частичка силы, по той простой причинѣ, что имъ некуда пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпредѣльнаго ящика. Но точно также ясно и то, что для насъ, для нашихъ цѣлей, интересовъ и потребностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ и матерія, и сила. Если вы прольете на полъ рюмку вина, которую вы несете къ губамъ, то она для васъ пропала, хотя природа, конечно, не потеряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ горитъ лѣсъ, то для васъ пропадаетъ то количество теплоты, которое заключалось въ деревьяхъ, пропадаетъ, несмотря на то, что воздухъ, окружающій вашъ сгорѣвшій лѣсъ, оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени; возвышенная температура этого воздуха производитъ движеніе въ воздухѣ— вѣтеръ; слѣдовательно, въ природѣ неразрушимость силы остается существующимъ фактомъ. Лѣсъ вашъ сгорѣлъ, воздухъ нагрѣлся, поднялся вѣтеръ. Химическое измѣненіе дерева породило теплоту, теплота породила движеніе. Это васъ однако нисколько не утѣшаетъ и вы спрашиваете съ оттѣнкомъ досады: да для чего же все это? Кому это нужно? Кому отъ этого польза? Для чего? Съ такимъ вопросомъ смѣшно даже обращаться къ явленіямъ природы. Ставить ей какія бы то ни было требованія, значитъ сходиться въ міросозерцаніи съ Ксерксомъ, бичевавшимъ Дарданельскій проливъ за поднявшуюся на немъ бурю. Въ такомъ міросозерцаніи можетъ быть много поэзіи, но очень мало здраваго смысла. О сгорѣвшемъ лѣсѣ можно пожалѣть, какъ можно пожалѣть о проигранныхъ деньгахъ, но отожествлять свои интересы съ интересами природы нелѣпо; природа не сдѣлается беднѣе отъ ка-

кого нибудь пожара или наводненія, потому что всѣ частицы сгорѣвшаго лѣса или затопленной земли остаются попрежнему въ полномъ и безотчетномъ ея распоряженіи. Ваше личное положеніе, положеніе милліоновъ людей можетъ сдѣлаться бѣдственнымъ и невыносимымъ, но природѣ до этого обстоятельства нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Вамъ хорошо жить—живите, не можете жить—умирайте, и она сейчасъ же распорядится съ составными элементами вашего тѣла.

Я позволилъ себѣ это отступленіе единственно для того, чтобы сдѣлать разграниченіе между жизнью природы и нашею человѣческою жизнью, изъ которой мы такъ часто, совершенно не въ попадъ, выхватываемъ мѣрки, прилагаемыя нами къ оцѣнкѣ физическихъ явленій. Природу надо изучать, а мы, вмѣсто того, становимся къ ней въ разныя патетическія отношенія, тратимъ время на возгласы, отуманиваемъ свой мозгъ разными фантасмагоріями, въ которыхъ одни люди находятъ красоту, другіе отраду, третьи даже смыслъ и послѣдовательность. Пора однако возвратиться къ теплотѣ.

Конечный источникъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ на землѣ, всякой дѣятельности, проявляющейся на нашей планетѣ, заключается въ лучахъ солнца; они льютъ на землю свѣтъ и теплоту, они производятъ движеніе воды въ океанахъ и озерахъ, въ рѣкахъ и бассейнахъ; они поднимаютъ въ воздухъ водяные пары, порождаютъ облака, служатъ причиною дождя, града, снѣга; они производятъ теченія атмосферы или вѣтры; они вызываютъ изъ земли растительную жизнь и поддерживаютъ эту жизнь вліяніемъ свѣта и теплоты; они орошаютъ луга, поля, лѣса потоками той воды, которая при ихъ содѣйствіи поднимается въ видѣ паровъ и носится въ воздухѣ подъ названіями тучъ, тумановъ и облаковъ.

Животныя и люди, существующіе по милости солнечныхъ лучей, обращаютъ въ свою пользу ихъ вліяніе на почву и растительность. Травоядныя питаются растеніями, не спрашивая о причинѣ ихъ происхожденія; плотоядныя пожираютъ травоядныхъ, не заботясь о ихъ разведеніи; человѣкъ оказывается смышленѣе тѣхъ и другихъ: онъ не довольствуется тѣмъ, что нечаянно перепадаетъ на его долю; онъ пользуется силами и движеніями, возникающими подъ живительнымъ вліяніемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ тѣ формы, матеріи и силы, которыя кажутся ему удобными; онъ принимаетъ свои мѣры, для того чтобы эти удобныя формы сохранялись какъ можно долѣе или измѣнялись именно тогда, когда ему это необходимо. Онъ сохраняетъ

запасы дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота солнечныхъ лучей оказывается недостаточною; онъ ловитъ вѣтеръ и по вѣтру распускаетъ паруса своего корабля или направляетъ крылья своей вѣтряной мельницы; онъ бросаетъ въ землю семена растеній, расчитывая время такъ, чтобы растеніе успѣло вызрѣть и принести плоды раньше наступленія холода. Не сознавая въ природѣ новыхъ силъ, человѣкъ пользуется существующимъ капиталомъ и примѣняется къ неизмѣняемымъ физическимъ законамъ. Во всѣхъ случаяхъ, во всѣхъ отрасляхъ своей дѣятельности онъ постоянно, посредственно или непосредственно эксплуатируетъ вліяніе солнечныхъ лучей. «Сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою локомотивъ несется по рельсамъ, есть капля солнечной теплоты, заключенная въ растенія силами природы за милліоны лѣтъ тому назадъ и въ настоящую минуту превращенная въ механическую работу посредствомъ машины, приготовленной рукою человѣка».

Еслибы лучи солнца перестали согрѣвать и освѣщать землю, то наша планета въ самое короткое время превратилась бы въ ледяную глыбу; растительность исчезла бы немедленно; вмѣстѣ съ растительностью погибли бы тѣ животныя, которыя не защищены рукою человѣка и сами по себѣ неспособны согрѣваться искусственно произведенною теплотою. Человѣкъ нѣсколько времени боролся бы съ природою, запираясь въ своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остатками растительнаго царства, защищая своихъ домашнихъ животныхъ отъ разрушительнаго дѣйствія холода, и питаясь набранными запасами. Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило бы не надолго; холодъ и голодъ погубили бы человѣка вслѣдъ за другими животными, органическая жизнь остановилась бы окончательно и замерзшая земля превратилась бы въ страшную, громадную пустыню.

Отдавая себѣ такимъ образомъ ясный отчетъ въ томъ всеобъемлющемъ вліяніи, которое солнечная теплота оказываетъ на всѣ отправленія нашей жизни, мы будемъ въ состояніи понять, почему первобытные народы, не слыхавшіе ученія объ *истинномъ Богѣ*, поклонялись солнцу и огню, который они считали земнымъ отраженіемъ небеснаго свѣтила. Первобытныя религіи основаны на обоготвореніи силъ природы и выражаютъ собою міросозерцаніе народа въ томъ періодѣ, въ которомъ философія и наука были неразлучны съ поэзіею, и въ которомъ идея представлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, фантастически разукрашенномъ образѣ. Правильный инстинктъ первобытнаго человѣка указалъ ему на ту важную роль, которую въ нашей жизни

играетъ солнце; человѣкъ угадалъ связь, существующую между появленіемъ солнца на небосклонѣ и процвѣтаніемъ органической жизни на землѣ; онъ понялъ свою зависимось отъ климатическихъ измѣненій, обусловливающихся дѣйствіемъ солнца; впечатлительный какъ ребенокъ, онъ упалъ на колѣни передъ источникомъ жизни и наслажденія; онъ заговорилъ съ нимъ своимъ языкомъ, онъ думалъ умилостивить его мольбами и жертвами, а солнце обливало его попрежнему своимъ безъучастнымъ свѣтомъ и согрѣвало его также безсознательно и непроизвольно, какъ согрѣвало какую нибудь полевую мышь или безчувственный камень.

V.

Когда мы прикасаемся рукою къ какому нибудь предмету, то мы чувствуемъ, что онъ тепелъ или холоденъ; мы различаемъ эти два понятія въ разговорномъ языкѣ и даже считаемъ ихъ діаметрально противоположными; на самомъ же дѣлѣ этой противоположности не существуетъ; между горячимъ и холоднымъ предметомъ существуетъ только количественное различіе; въ горячемъ предметѣ находится больше теплоты, чѣмъ въ нашей рукѣ—въ холодномъ меньше; когда мы дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота изъ этого предмета протекаетъ въ нашу руку; если же мы кладемъ руку на холодный предметъ, то теплота изъ нашей руки переходитъ въ этотъ предметъ, и мы чувствуемъ потерю тептоты точно также, какъ въ первомъ случаѣ чувствуемъ приращеніе теплоты въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Такимъ образомъ, судя о температурѣ окружающихъ предметовъ, называя каленое желѣго горячимъ, а ледъ—холоднымъ, мы только выражаемъ отношеніе, въ которомъ находится теплота этихъ предметовъ къ теплотѣ нашего тѣла.

Общая теплота нашего тѣла колеблется между 28 и 30 градусами Реомюра; эта температура не можетъ быть ни возвышена, ни понижена, не подвергая опасности здоровья и даже жизни; на поверхности нашего тѣла, особенно въ оконечностяхъ и въ тѣхъ частяхъ, которыя не покрыты платьемъ, эта температура подвержена значительнымъ измѣненіямъ, не представляющимъ ни малѣйшей опасности. Ли-

цо, руки и ноги человѣка, пробывшаго около часу на открытомъ воздухѣ въ зимнее время, будутъ очень холодны, когда онъ возвратится въ комнату; потомъ, когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, сжавшіеся отъ дѣйствія холода, лицо руки и ноги сдѣлаются теплѣе, чѣмъ они были до выхода на улицу; каждый изъ моихъ читателей вѣроятно испыталъ на себѣ, какъ горитъ лицо при переходѣ изъ холоднаго воздуха въ болѣе теплый; эти измѣненія температуры, быстро слѣдующія другъ за дугомъ, нисколько не вредятъ нашему здоровью, если они проявляются только въ нашей кожѣ и въ оконечностяхъ тѣла. Что же касается до степени теплоты нашей крови и нашихъ внутренностей, то она не можетъ измѣняться, не подвергая насъ опаснымъ болѣзнямъ, или не являясь слѣдствіемъ подобныхъ болѣзней.

Положимъ, говоритъ Льюисъ въ своей физіологіи вседневной жизни, что въ комнатѣ виситъ птичья клѣтка. Атмосфера комнаты измѣняетъ степень своей теплоты, смотря по времени года и по свойствамъ каждаго отдѣльнаго дня. Лучи лѣтняго солнца и холодный сѣверный вѣтеръ проникаютъ въ комнату и измѣняютъ температуру тѣхъ мѣдныхъ прутьетъ, изъ которыхъ составлена клѣтка. Но въ эта время птица, сидящая въ клѣткѣ, не становится ни теплѣе, ни холоднѣе. Ни лучи августовскаго солнца, ни пронзительный декабрьскій вѣтеръ не увеличиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще можетъ измѣниться только на одинъ или на два градуса. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Льюисъ, можетъ птица, подверженная внѣшнему вліянію измѣнчивой температуры, постоянно сохранять такую высокую степень собственной теплоты?

На этотъ вопросъ можно дать слѣдующій, прямой отвѣтъ: каждый живой организмъ заключаетъ въ себѣ источникъ самостоятельно развивающейся теплоты. Такого рода отвѣтъ обобщаетъ вопросъ, поставленный Льюисомъ, но, конечно, нисколько не рѣшаетъ предложенной задачи. Мы видимъ, что всѣ организмы развиваютъ въ себѣ извѣстную степень теплоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ совершается въ организмахъ этотъ замѣчательный процессъ.

Когда признавали существованіе особенной, необъяснимой жизненной силы, тогда на ея широкія плечи сваливались всѣ тѣ явленія, которыя изслѣдователи не могли объяснить себѣ вслѣдствіе незнанія фактовъ или лѣности мысли. Вмѣстѣ съ другими процессами былъ отправленъ въ обширную область жизненной силы процессъ развитія органической теплоты. Нѣкоторые физіологи, совѣстившіеся прикрывать свое незна-

ніе избитою вывѣскою жизненной силы, пытались доказать, что животная теплота есть слѣдствіе таинственной дѣятельности нервовъ.

И тѣ, и другіе витали въ области гипотезъ и не могли привести въ подтвержденіе своихъ догадокъ ни одного факта, выдерживающаго серьезную, научную критику.

Въ концѣ XVIII столѣтія атмосферный воздухъ былъ разложенъ на свои составныя части и ученые того времени узнали замѣчательныя свойства кислорода.

Открытіе кислорода повело къ пониманію процесса горѣнія. Изслѣдователи убѣдились въ томъ, что всякое горѣніе есть ничто иное какъ окисленіе какого нибудь тѣла или соединеніе его съ кислородомъ; когда какое нибудь тѣло соединяется съ кислородомъ, то оно сгараетъ и развиваетъ извѣстную степень теплоты; какъ бы ни совершалось это соединеніе, медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ пламени, оно все-таки сопровождается извѣстною степенью теплоты, хотя иногда эта теплота развивается такъ медленно, что мы не можемъ убѣдиться въ ея существованіи ни непосредственнымъ чувствомъ, ни термометромъ.

Узнавши о существованіи кислорода, ученые прошлаго столѣтія узнали также, что кислородъ необходимъ для поддержанія животной жизни, и что процессъ дыханія заключается именно въ поглощеніи кислорода, проникающаго въ легкія и соединяющагося съ кровью. Кислородъ соединяется съ кровью, и всякое соединеніе съ кислородомъ есть горѣніе медленное или быстрое, неразлучное съ развитіемъ большей или меньшей степени теплоты. Такого рода мысль еще въ концѣ XVIII вѣка пришла въ голову французскимъ ученымъ Лавуазье и Лапласу. Съ ними сошлись на этой идеѣ Англичане Блекъ и Крофордъ, и животная теплота была объяснена этими изслѣдователями, какъ слѣдствіе горѣнія, совершающагося внутри организма. Въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія Французы Дюлонъ и Депрецъ дали этой идеѣ вполнѣ научную обработку; кромѣ того, знаменитый нѣмецкій химикъ Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплотѣ самыя тщательныя изслѣдованія и дошелъ до того заключенія, что большая часть теплоты, развивающейся въ тѣлѣ животнаго происходитъ отъ сожженія углерода и водорода въ углекислоту и въ воду. Углеродъ и водородъ заключаются въ самомъ организмѣ, а кислородъ притекаетъ изъ атмосфернаго воздуха и, соединяясь съ этими элементами, образуетъ, какъ результаты горѣнія, углекислоту и воду.

значительное вліяніе свойства окружающаго насъ воздуха; чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ больше онъ способенъ принимать въ себѣ водяные пары и тѣмъ сильнѣе онъ поглощаетъ газообразную воду, выдѣляющуюся изъ нашего тѣла. Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тѣло сильнѣе сыраго воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ при 20 градусахъ тепла доставляетъ намъ столько же прохлады, сколько сырой воздухъ при 14 градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ сильный холодъ по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, рѣдкій воздухъ содѣйствуетъ испаренію воды изъ нашего тѣла; во-вторыхъ, этотъ рѣдкій воздухъ слабѣе нагрѣвается лучами солнца и даетъ нашимъ легкимъ меньше кислорода, слѣдовательно ослабляетъ процессъ органическаго горѣнія; въ-третьихъ, въ этихъ мѣстахъ постоянно дуетъ вѣтеръ, и это обстоятельство значительно усиливаетъ холодъ. На сколько холодъ становится чувствительнѣе нашему организму при сухости воздуха, на столько же усиливается ощущеніе жара при сырости атмосферы. Совершенно сырой воздухъ при сильномъ зноѣ дѣйствуетъ на тѣло разслабляющимъ образомъ. Тѣлу некуда тратить своей теплоты; окружающій воздухъ очень тепелъ и слѣдовательно уноситъ очень мало теплоты своимъ непосредственнымъ прикосновеніемъ; сверхъ того, этотъ воздухъ насыщенъ водяными парами и слѣдовательно не принимаетъ испареній нашего тѣла; обмѣнъ веществъ, совершающійся на поверхности нашего тѣла, оказывается нарушеннымъ, и во всемъ организмѣ является тяжелое ощущеніе. Сырой и жаркій климатъ разрушительно дѣйствуетъ на здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны разныя болѣзни, мѣстныя лихорадки и горячки, которыя особенно губительно дѣйствуютъ на иностранцевъ. Если посадить животное въ комнату, наполненную совершенно сырымъ воздухомъ, котораго теплота превышаетъ температуру тѣла, то животное скоро умретъ.

Мы видѣли такимъ образомъ, что теплота нашего тѣла тратится на согрѣваніе веществъ, входящихъ въ желудокъ, на согрѣваніе воздуха, проникающаго въ легкія, и на превращеніе воды изъ жидкаго состоянія въ газообразное. Этими тремя способами истрачивается около 24 процентовъ суточной потери. Все остальное количество вырабатываемой теплоты уходитъ путемъ непосредственнаго охлажденія, т. е. нагрѣваетъ собою тѣ слои воздуха, которые прикасаются къ нашему тѣлу. Окружающій насъ воздухъ постоянно гораздо холоднѣе нашего тѣла и потому, какъ только онъ дотрогивается до него, такъ извѣстное количество нашей теплоты уходитъ въ воздухъ, и мы испытываемъ

ощущеніе прохлады или холода, смотря потому, какъ велико различіе температуры между воздухомъ и нашимъ тѣломъ. Что воздухъ дѣйствительно нагрѣвается отъ прикосновенія къ нашему тѣлу, это доказывается тѣмъ, что намъ становится жарко зимою въ нетопленной церкви, если она наполнена людьми. Такъ какъ большая часть вырабатываемой нами теплоты, именно 76 процентовъ или болѣе двухъ третей, уходитъ въ окружающій насъ воздухъ, то испытываемыя нами ощущенія жара или холода зависятъ почти исключительно отъ температуры этого воздуха и отъ того обстоятельства, насколько мы подвержены его прикосновенію. Желая выдти на улицу, мы смотримъ на термометръ и, соображаясь съ его показаніями, надѣваемъ то или другое платье. Выдя на улицу, мы инстинктивно принимаемъ тѣ или другія мѣры для усиленія или для ослабленія вырабатываемаго нами количества теплоты; мы ускоряемъ походку, если чувствуемъ холодъ, и, придавая нашимъ движеніямъ большую быстроту, усиливаемъ процессъ органическаго горѣнія. Если намъ жарко, мы, напротивъ того, идемъ медленнѣе, движенія наши становятся лѣнивѣе, органическое горѣніе ослабляется и мы пассивно защищаемся противъ жара, уходимъ въ тѣнь, ищемъ вѣтерка, радуемся тучкѣ, набѣжавшей на солнце.

Въ умѣренномъ климатѣ, въ самое знойное лѣто, температура воздуха не достигаетъ той степени теплоты, на которой постоянно находятся наша кровь и внутреннія части нашего тѣла. Когда воздухъ нагрѣвается до 30 градусовъ Реомюра, мы уже не знаемъ, куда дѣваться отъ жара; мы надѣваемъ самое легкое платье, уходимъ въ тѣнистыя мѣста, купаемся по нѣсколько разъ въ день и все-таки воздухъ отнимаетъ у нашего тѣла такое незначительное количество вырабатываемой нами теплоты, что мы чувствуемъ какое-то разслабленіе, вялость, неспособность къ работѣ. Насъ тяготитъ то количество теплоты, котораго намъ некуда выдѣлить. Температура воздуха, равняющаяся теплотѣ нашего тѣла, была бы для насъ *à la longue* невыносима. Животныя раздѣляютъ съ нами эти ощущенія. Всякій имѣлъ случай наблюдать, какъ лѣтомъ, около полудня, все въ природѣ затихаетъ и въ своей неподвижности ищетъ того уменьшенія внутренней теплоты, котораго нельзя найдти въ прикосновеніи окружающей атмосферы. Чтобы человѣкъ, снявшій съ себя все платье, могъ чувствовать себя вполнѣ хорошо—необходимо, чтобы температура окружающаго воздуха заключала въ себѣ отъ 22 — 25 градусовъ, т. е. чтобы она была градусовъ на 12 ниже температуры нашего тѣла.

Когда же прикосновеніе между нашимъ тѣломъ и воздухомъ ослаблено, т. е. когда мы одѣты, то такая температура слишкомъ высока и дѣлается уже непріятною; тогда достаточно, смотря по возрасту и общей комплекціи человѣка, отъ 15 до 20 градусовъ.

Одежда предохраняетъ насъ отъ дѣйствія холода тѣмъ, что она устраняетъ непосредственное прикосновеніе воздуха. Всѣ тѣла, извѣстныя намъ въ практической жизни, могутъ быть раздѣлены на хорошіе и худые проводники теплоты. Всякій знаетъ, что если желѣзная палка съ одного конца накалена до красна, то и другой конецъ ея, не лежавшій въ огнѣ, непремѣнно обожжетъ прикасающуюся къ нему руку. Всякому точно также извѣстно, что деревянную палку, зажженную съ одного конца, можно держать въ рукахъ, не боясь обжога. Всѣ металлы принадлежатъ къ числу хорошихъ проводниковъ теплоты, т. е. всѣ они очень быстро принимаютъ и передаютъ температуру окружающаго воздуха. Желѣзная крыша накаляется лѣтомъ и дѣлается невыносимо холодною во время зимы. Желѣзный домъ былъ бы вслѣдствіе этого обстоятельства въ высшей степени неудобенъ, холоденъ зимою и невыносимо тепелъ лѣтомъ. Одежда, сотканная изъ тонкихъ металлическихъ нитокъ, имѣла бы всѣ эти неудобства; она лѣтомъ не предохраняла бы отъ жара, а зимою не защищала бы отъ холода. Для построенія нашихъ жилищъ, и для приготовленія одежды мы выбираемъ, по возможности, самые худые проводники теплоты. Шерсть, изъ которой дѣлаются наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой готовится огромное количество разнообразныхъ матерій, и которая толстыми слоями кладется между покрышкою и подкладкою теплыхъ одеждъ, мѣха, служащіе для приготовленія шубъ, и пухъ, замѣняющій вату или хлопчатую бумагу, принадлежатъ къ числу самыхъ худыхъ проводниковъ теплоты. Это объясняется тѣмъ, что между тонкими волокнами этихъ веществъ находится нѣсколько изолированныхъ слоевъ воздуха, а воздухъ принадлежитъ къ самымъ худымъ проводникамъ. Чѣмъ пушистѣе какая нибудь матерія, т. е. чѣмъ больше слоевъ воздуха находится между ея волокнами, тѣмъ хуже она проводитъ теплоту, и слѣдовательно, тѣмъ сильнѣе она защищаетъ наше тѣло отъ дѣйствія внѣшняго воздуха. Одежда помогаетъ намъ переносить такія низкія температуры, которыя принесли бы намъ вѣрную смерть, еслибы мы подвергли ихъ дѣйствію свое непокрытое тѣло. Въ хорошей шубѣ мы можемъ переносить морозъ отъ 15 до 20 градусовъ, не чувствуя особеннаго страданія; та же самая температура заморозила бы

насъ въ короткое время, еслибы мы не были защищены отъ ея дѣйствія плохими проводниками.

Движеніе воздуха значительно увеличиваетъ охлажденіе нашего тѣла, потому что при вѣтрѣ новые слои воздуха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, дотрогиваются до непокрытыхъ частей нашего тѣла, напр. до лица и мгновенно уносятъ вырабатываемую нами теплоту. Такая степень холода, которая при отсутствіи вѣтра, почти вовсе не доставляетъ намъ непріятныхъ ощущеній, становится невыносимою при сильномъ движеніи воздуха. Мореплаватели, бывавшіе въ полярныхъ странахъ, говорятъ, что холодъ въ 40° по Цельзію при совершенной тишинѣ сноснѣе холода въ 17° при сильномъ вѣтрѣ. Капитанъ Парри разсказываетъ, что при холодѣ въ 48° по Цельзію, безъ вѣтра, можно было въ продолженіи четверти часа оставлять руки незакрытыми. Когда же поднимался вѣтеръ, то это дѣлалось невозможнымъ даже при 17° холода.

Во время жара движеніе воздуха доставляетъ пріятную прохладу, если только температура воздуха не превышаетъ теплоты нашего тѣла. Въ тропическихъ земляхъ, богатые люди проводятъ знойное время дня въ домахъ и воздухъ въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ движеніе посредствомъ большихъ вѣеровъ или опахалъ. Сверхъ того окна завѣшиваются большими соломенными матами, которыя разъ десять въ часъ обливаются водою. Потокъ разогрѣтаго воздуха, проходя черезъ мокрую занавѣску превращаетъ воду въ пары, охлаждается въ слѣдствіе этого, и, доходя до обитателей комнаты, приноситъ имъ пріятное и живительное ощущеніе прохлады. Только при подобномъ искусственномъ охлажденіи атмосферы европейцу удается свыкнуться съ такимъ климатомъ, въ которомъ температура воздуха нерѣдко становится на 10 или на 12 градусовъ выше теплоты тѣла.

Замѣчательно, что въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ человѣкъ можетъ выносить температуру, далеко превышающую теплоту тѣла. Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь минутъ въ сухой комнатѣ, нагрѣтой до 99° Цельзія. Тилье разсказываетъ, что одна булочница провела 10 минутъ въ топленой печкѣ, въ которой жаръ доходилъ до 112°. Льюисъ говоритъ, что знаменитый «царь огня» Шаберъ возбудилъ въ зрителяхъ величайшее удивленіе, войдя въ печку, нагрѣтую выше 200° Цельзія, или 160° Реомюра. Мы получаемъ такимъ образомъ заключеніе, что есть люди, способные перенести въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ температуру, далеко превышающую точку кипѣнія

воды. Если вѣрить разсказу о подвигѣ Шабера, то окажется, что крайній предѣлъ жара, который можетъ вынести человѣкъ вдвое сильнѣе того жара, который заставляетъ кипѣть воду, вчетверо сильнѣе теплоты нашей крови и слишкомъ впятеро сильнѣе того лѣтняго зноя, который приводитъ насъ въ разслабленное состояніе.

Изумительна также та степень холода, которую нерѣдко приходилось выдерживать путешественникамъ, пускавшимся въ полярныя экспедиціи. Холодъ доходилъ до 40, до 50, по словамъ Льюиса, даже до 75° Цельзія. Эта борьба съ холодомъ, стоящимъ слишкомъ на 80° ниже комнатной температуры и слишкомъ на 110° ниже температуры тѣла, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнѣе подвиговъ Шабера. Шаберъ входилъ въ печку, изъ которой онъ могъ тотчасъ выдти, а несчастные путешественники имѣли дѣло съ неумолимымъ и неотразимымъ врагомъ. Для нихъ отступленіе было невозможно; имъ надо было выдержать борьбу или умереть, какъ умеръ Франклинъ съ своими спутниками, какъ умирали многіе смѣльчаки, участвовавшіе въ неудачныхъ полярныхъ экспедиціяхъ. Испытаніе Шабера продолжалось двѣ, три минуты, а борьба полярныхъ путешественниковъ съ мертвящимъ холодомъ тянулась цѣлыми мѣсяцами. Хорошее отопленіе корабля, обильная, питательная пища, теплая, мѣховая одежда, усиленіе моціона и непроизвольное усиленіе дыханія являлись главными вспомогательными срѣдствами въ этой страшной борьбѣ человѣка съ колоссальными силами пророды; и въ большей части случаевъ человѣкъ одолѣвалъ, т. е. успѣвалъ сохранить жизнь и даже здоровье, несмотря на разрушительное дѣйствіе низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человѣкъ способенъ выдержать температуру, стоящую на 110° Цельзія ниже и на 110° Цельзія выше температуры его тѣла. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что всѣ климаты земнаго шара доступны человѣку, и что гибкій организмъ его, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, можетъ примѣниться и къ сорокаградусному жару тропиковъ и къ сорокаградусному холоду Шпицбергена и Гренландіи.

Но, чтобы господствовать надъ окружающими насъ физическими условіями, надо знать тѣ законы, которымъ они повинуются. Всякая попытка нарушить физическій законъ ведетъ за собою самыя непріятныя послѣдствія. Обладая способностью переносить при извѣстныхъ условіяхъ почти всѣ естественныя температуры, существующія на поверхности нашей планеты, человѣкъ можетъ по неосторожности или по

невѣденію разрушить свое здоровье очень умѣренною степенью жара или холода. Простуда является въ большей части случаевъ главною причиною нашихъ болѣзней, и простужаемся мы большею частью не оттого, что холодъ особенно силенъ, не оттого, что намъ не откуда взять теплое платье, а оттого, что мы не имѣемъ понятія о потребностяхъ нашего организма и потому опускаемъ необходимыя предосторожности или совершенно не въ попадъ начинаемъ дѣйствовать по какой нибудь невѣрно понятой гигіенической системѣ.

Простуда является всего легче и бываетъ всего опаснѣе въ томъ случаѣ, когда сильный холодъ дѣйствуетъ внезапно на очень теплую кожу. Особенно вреденъ бываетъ сквозной вѣтеръ или обливаніе холодною водою послѣ разгоряченія и сильнаго выдѣленія пота. Также вреденъ быстрый переходъ отъ зимняго платья къ лѣтнему. Простуда можетъ также совершиться постепенно и совершенно незамѣтно для самаго паціента; если мы носимъ слишкомъ легкое платье, не довольно тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ въ холодной и сырой квартирѣ или въ такомъ суровомъ климатѣ, который не по силамъ нашему тѣлосложенію, то мы простужаемся постепенно и мало по малу подкапываемъ наше здоровье.

Попытки пріучить себя къ холоду, стремленіе укрѣпить здоровье своихъ дѣтей такъ называемымъ спартанскимъ воспитаніемъ возбуждаютъ справедливую оппозицію со стороны всякаго раціонально образованнаго медика. Можно до нѣкоторой степени притупить тѣ нервы, которые проводятъ въ мозгъ ощущеніе боли, но нѣтъ никакой возможности уничтожить вредное дѣйствіе холода на организмъ. Пріучить тѣло къ холоду все равно, что пріучить желудокъ къ голоду, спину къ розгамъ, легкія къ отсутствію кислорода, глаза къ полной темнотѣ. Вы никакъ не пріучите воду къ тому, чтобы она не замерзала при 0° и не кипѣла при 80° Реомюра. Вспомните, что ваше тѣло въ своихъ составныхъ частяхъ повинуется тѣмъ же законамъ, которымъ покоряется вода; вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце бьется, и желудокъ варитъ пищу помимо вашей воли, вспомните, что въ васъ дѣйствуютъ тѣ же физическія и химическія силы, которыя сталкиваются и переплетаются между собою въ окружающемъ мірѣ и вы убѣдитесь въ томъ, что бороться съ своими непосредственными ощущеніями значитъ бороться съ силами природы и противопоставлять этимъ силамъ не такія же дѣйствительныя физическія силы, а одну отвлеченную, неуловимую и неосязательную силу своей воли.

Если вы почувствовали холодъ, смѣло надѣвайте теплое платье; если существуетъ ощущеніе, то существуетъ и причина, вызвавшая это ощущеніе; не бойтесь изнѣжить себя; когда теплое платье сдѣлается излишнимъ, вамъ доложитъ объ этомъ то же самое ощущеніе, которое заставило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы изнѣживаемъ себя не тѣмъ, что повинуемся нашимъ ощущеніямъ, а тѣмъ, что съ дѣтства, по милости родителей и воспитателей, привыкаемъ къ искусственнымъ наслажденіямъ и создаемъ себѣ искусственныя потребности.

Если вы считаете необходимымъ имѣть за обѣдомъ полдюжины замысловатыхъ соусовъ, въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглушенъ пряностями и приправами, то эту потребность смѣло можно назвать искусственною; но если вы, какъ здоровый человѣкъ, часто чувствуете сильный аппетитъ и съѣдаете за вашимъ обѣдомъ по нѣскольку кусковъ хорошей говядины, то вамъ остается только радоваться правильнымъ отправленіямъ вашего желудка и немедленно удовлетворять всѣмъ его требованіямъ. Каждому педагогу, завѣдывающему матеріальною частью воспитанія, слѣдуетъ внушить строго на-строго, что онъ воленъ не баловать своихъ воспитанниковъ рагу и фрикасе, но что онъ положительно обязанъ кормить ихъ до отвалу здоровою, свѣжею пищею. Держаться въ отношеніи къ продовольствію воспитанниковъ или воспитанницъ спартанской системы—въ высшей степени безчеловѣчно; если это дѣлается ради укрѣпленія здоровья дѣтей, то это обличаетъ тупоуміе и полнѣйшее невѣжество педагога; если же это дѣлается изъ личнаго, экономическаго расчета, тогда это подлѣе всякаго взяточничества. Это значитъ лишать воспитанниковъ тѣхъ силъ, которыя только что начинаютъ развиваться, и которыя необходимы имъ въ будущемъ для того, чтобы наслаждаться жизнью и по мѣрѣ силъ дѣйствовать на пользу своихъ согражданъ.

То, что я сказалъ о пищѣ, вполнѣ прилагается и къ теплотѣ. Теплота, по выраженію Гуфеланда, другъ жизненной силы, и для здоровья человѣка ея присутствіе въ умѣренной степени также необходимо, какъ для произрастанія травы, для распусканія цвѣтка и для созрѣванія плода. Если вашъ воспитанникъ зябнетъ—укройте его, вытопите комнату, перемѣните квартиру; къ холоду и къ сырости человѣческій организмъ не пріучается и экономизировать на теплотѣ также безсовѣстно, какъ экономизировать на пищѣ.

Теплота всего необходимѣе для человѣка въ началѣ и въ концѣ

его жизни. Новорожденный ребенокъ выходитъ изъ такой среды, которая гораздо теплѣе комнатнаго воздуха; его надо пріучать постепенно даже къ теплой, комнатной температурѣ; съ нимъ надо обращаться бережно и нѣжно, чтобы не задавить слабо мерцающую искру жизни. Обычай Спартанцевъ и древнихъ Германцевъ купать новорожденныхъ дѣтей въ холодной водѣ изумляетъ насъ своею нелѣпостью; ни одна собака не поступитъ такимъ образомъ съ своимъ щенкомъ, ни одна птица не выгонитъ изъ теплаго гнѣзда своихъ неоперившихся птенцовъ; Спартанцы и отчасти Германцы, какъ народъ, жившій войною и грабежемъ, могли обращаться такъ неосторожно съ своими новорожденными дѣтьми собственно съ тою цѣлью, чтобы избавить себя отъ труда воспитывать слабыхъ и болѣзненныхъ младенцевъ; Спартанцамъ законы Ликура приказывали даже положительно убивать уродливыхъ или щедушныхъ дѣтей. Надо впрочемъ замѣтить, что даже эта цѣль не достигается купаніемъ дѣтей въ холодной водѣ; во-первыхъ, совершенно здоровый и очень хорошо сложеный ребенокъ можетъ умереть отъ подобныхъ передѣлокъ; во-вторыхъ, очень болѣзненные дѣти часто превращаются, выростая, въ очень сильныхъ и здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для дѣтей самымъ тяжелымъ и опаснымъ временемъ; справьтесь съ статистическими таблицами и вы увидите, что почти половина дѣтей, родившихся въ такомъ-то году, умираетъ, не достигши пятилѣтняго возраста. Организмъ молодаго существа, не успѣвшій укрѣпиться и развернуть свои силы, не успѣвшій примѣниться къ той борьбѣ съ внѣшнею природою, которая называется жизнью, погибаетъ и разрушается частью отъ невѣжества окружающихъ людей, частью отъ ихъ безпечности, частью отъ излишней внимательности и неумѣстной заботливости. Когда первые годы дѣтства пройдутъ благополучно, тогда можно постепенно укрѣплять силы ребенка тѣлесными упражненіями, можно мало-по-малу пріучать его къ холоду, но при этомъ надо соблюдать извѣстную послѣдовательность и твердо помнить то обстоятельство, что есть естественныя границы, которыхъ не слѣдуетъ переступать ни въ какомъ случаѣ. Въ холодномъ климатѣ надѣвать на дѣтей шотландскій костюмъ, водить ихъ осенью или весною по улицѣ съ голыми икрами значитъ во всякомъ случаѣ подвергать ихъ здоровье самой серьезной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упадокъ силъ, теплота также полезна и необходима, какъ и ребенку.

Кислородъ черезъ легкія входитъ въ наше тѣло; въ легкихъ онъ соединяется съ кровью; кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во всѣ части нашего тѣла и несетъ съ собою то количество кислорода, которое, соединяясь съ органическими тканями и пережигая ихъ, развиваетъ во всѣхъ частяхъ тѣла животнаго теплоту и потомъ выдѣляется вмѣстѣ съ пережженными веществами въ видѣ углекислоты, аммоніака и воды. Поэтому животная теплота порождается не въ однихъ легкихъ, но во всякомъ мѣстѣ, въ которомъ кислородъ соприкасается съ другими веществами, способными окисляться. Притокъ кислорода въ легкія можно сравнить съ тою тягою воздуха, которая необходима для того, чтобы поддерживать горѣніе дровъ въ печи. Тяга эта необходима для развитія теплоты въ печкѣ, но теплота развивается не въ томъ мѣстѣ, въ которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется съ углеродомъ горящаго дерева. Такъ точно и животная теплота развивается не въ самыхъ легкихъ, которыя представляютъ только дверь для прохода атмосфернаго воздуха, а во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, вездѣ, гдѣ совершается горѣніе, вездѣ, гдѣ кислородъ, заключенный въ крови, соединяется съ углеродомъ и водородомъ прилегающихъ тканей.

Постоянный обмѣмъ веществъ, составляющихъ ткани нашего тѣла, постоянное созиданіе и разрушеніе этихъ тканей при содѣйствіи атмосфернаго кислорода, являются такимъ образомъ главными и даже единственными причинами животной теплоты. Чѣмъ быстрѣе совершается этотъ обмѣмъ веществъ, тѣмъ сильнѣе развивается теплота; чѣмъ медленнѣе онъ происходитъ, тѣмъ слабѣе вырабатывается теплота. Надъ кроликами производился слѣдующій любопытный опытъ. Кролика обрили и вымазали лакомъ не пропускающимъ воздуха; повидимому слѣдовало бы ожидать, что кролику будетъ очень тепло, потому что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, обнаженной кожи. Вышло однако совершенно наоборотъ; теплота кролика быстро понизилась на 14, потомъ даже на 18 градусовъ и вслѣдъ за тѣмъ, похолодѣвши заживо, кроликъ околѣлъ. Почему же такъ случилось? А потому, что лакъ закрылъ поры кожи и потому чрезъ эти поры не могли выдѣлятъся ни газообразныя, ни жидкія испаренія. Пережженныя вещества, выдѣляющіяся чрезъ кожу, должны были оставаться въ тѣлѣ кролика и своимъ накопленіемъ замедлили общій обмѣнъ веществъ, служащій источникомъ всякой животной теплоты. Смерть вымазаннаго кролика можетъ быть замедлена только притокомъ тепло-

ты изъ окружающаго воздуха; въ холодной комнатѣ кроликъ умираетъ скорѣе, чѣмъ въ теплой. Животныя, умирающія отъ голода, также живутъ дольше въ искусственно нагрѣтомъ воздухѣ.

Чтобы поддерживать въ нашемъ тѣлѣ то горѣніе, которое производитъ животную теплоту, мы должны постоянно принимать въ себя постороннія вещества, которыя пережигаются въ нашей крови или послѣ своего предварительнаго превращенія въ органическія ткани. Эти постороннія вещества, называющіяся общимъ именемъ пищи—различными процессами, совершающимися въ нашемъ тѣлѣ, перерабатываются въ плоть и кровь и развиваютъ силу теплоты, электричество, необходимое для нервовъ, механическую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, и ту особенную, неизслѣдованную силу, которой отправленія происходятъ въ мозгу. Пища и кислородъ, постоянно созидающій и постоянно разрушающій, составляютъ, по мнѣнію Молешота, единственные источники тѣхъ силъ, которыя обнаруживаются въ нашемъ тѣлѣ. Это мнѣніе можетъ быть принято какъ осязательная и неопровержимая научная аксіома.

Теплота нашего тѣла измѣняется періодически, смотря по возрасту человѣка, смотря по занятіямъ и по времени дня. У ребенка обмѣнъ веществъ совершается быстрѣе, чѣмъ у взрослаго, и потому тѣло его обыкновенно на одинъ градусъ теплѣе. У старика обмѣнъ веществъ производится медленнѣе, чѣмъ у мущины среднихъ лѣтъ, и соразмѣрно съ этимъ тѣло его на одинъ градусъ холоднѣе.

Движеніе, гимнастическія упражненія, работа, бѣганіе ускоряютъ обмѣнъ веществъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышаютъ температуру. Ускоряя горѣніе органическихъ тканей, механическая работа увеличиваетъ потребность въ пищѣ, усиливаетъ аппетитъ. Чѣмъ больше расходъ, тѣмъ больше долженъ быть и приходъ, иначе нельзя будетъ свести концы съ концами, и организмъ рано или поздно обанкрутится. Въ жизни это явленіе очень обыкновенное. Тѣ сословія, которыя всего болѣе напрягаютъ свои физическія силы, питаются самою дешевою и, вслѣдствіе этого, самою не питательною пищею. Пролетарій, работающій съ утра до вечера, выбивающійся изъ силъ, изнемогающій подъ тяжестью труда, нуждается въ хорошемъ кускѣ мяса, въ питательномъ бульонѣ, въ долговременномъ отдохновеніи, а на повѣрку оказывается, что этому человѣку, растрачивающему свои силы съ вынужденною растачительностью, приходится набивать желудокъ хлѣбомъ, капустой и картофелемъ, приходится спать кое-какъ, въ про-

межутки между работами, безъ хорошей постели, безъ теплаго одѣяла. Послѣдствія такого образа жизни предсказать не трудно. Преждевременная дряхлость и частыя болѣзни, безотрадная жизнь и ранняя смерть—вотъ что достается на долю голоднаго бѣдняка, работающаго черезъ силу. «Голодъ и холодъ, говоритъ Бюхнеръ, величайшіе враги человѣчества, безпрерывно работающіе надъ гибелью отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ, и всегда достигающіе своей цѣли тамъ, гдѣ имъ изнутри или снаружи не можетъ быть противопоставлено достаточное сопротивленіе.»

На этой мысли великій физіологъ сходится съ замѣчательнымъ поэтомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькій, голодно,

отвѣчаютъ прохожему въ «Коробейникахъ» Некрасова луга и звѣри, и мужики, у которыхъ этотъ прохожій спрашиваетъ причину ихъ бѣдствій и горестей. Этотъ страшный по своей простотѣ отвѣтъ смѣняется другимъ отвѣтомъ не менѣе выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно.

И въ этихъ двухъ отвѣтахъ сказано столько, сколько не выскажешь десятью поэмами.

Голодъ и холодъ! Этими двумя простыми причинами объясняются всѣ дѣйствительныя страданія человѣчества, всѣ тревоги его исторической жизни, всѣ преступленія отдѣльныхъ лицъ, вся безнравственность общественныхъ отношеній. Вглядитесь въ дѣло внимательно и безъ предъубѣжденія, и вы увидите, что въ этой мысли нѣтъ ничего преувеличеннаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего тѣла измѣняется періодически въ теченіи сутокъ. Утромъ, когда мы просыпаемся, она возвышается и достигаетъ высшей степени послѣ обѣда, во время пищеваренія. Къ вечеру она понижается и доходитъ до низшей степени во время сна, послѣ полуночи. Когда мы спимъ, процессъ дыханія, кровеобращенія и обмѣна веществъ вообще совершаются гораздо медленнѣе, чѣмъ тогда, когда мы бодрствуемъ. Вслѣдствіе этого темпера-

тура нашего тѣла понижается и мы на этомъ основаніи принуждены ночью покрываться теплѣе, чѣмъ мы покрываемся днемъ. Ночью всего легче простудиться и поэтому слѣдуетъ особенно беречься ночью сквознаго вѣтра, прикосновенія къ холоднымъ предметамъ, вліянія сырости и т. п. Кто ляжетъ спать на тюфякѣ, принесенномъ съ морозу, тотъ навѣрное можетъ расчитывать на сильную простуду и на опасную болѣзнь. Люди не умѣющіе противиться тому желанію заснуть, которое проявляется почти всегда подъ вліяніемъ сильнаго холода, обыкновенно замерзаютъ, потому что во время сна тѣло не вырабатываетъ достаточнаго количества собственной теплоты и слѣдовательно не можетъ бороться съ тѣмъ морозомъ, котораго дѣйствіе оно переносило во время бодрствованія.

Для того чтобы организмъ взрослаго человѣка находился въ нормальномъ положеніи, чтобы тѣло не увеличивалось и не уменьшалось въ вѣсѣ, не заплывало жиромъ и не доходило до худобы, необходимо соблюдать равновѣсіе между количествомъ принимаемой пищи и быстротою горѣнія органическихъ тканей. Мы видѣли выше, что пролетаріи сжигаютъ больше, чѣмъ сколько они принимаютъ извнѣ, и потому постепенно разрушаютъ свое собственное тѣло. Богатый человѣкъ, проводящій время въ бездѣйствіи, поступаетъ совершенно наоборотъ; онъ принимаетъ въ себя больше, чѣмъ сколько можетъ сжечь и накопляетъ такимъ образомъ безполезные и обременительные запасы жира. Такой образъ жизни не можетъ быть названъ правильнымъ и неизбѣжно ведетъ за собою разныя неудобства, непріятности и болѣзни, напр. уменьшеніе аппетита, разслабленіе желудка, расположеніе къ апоплексическому удару. Нормальный образъ жизни ведетъ тотъ человѣкъ, который, наѣдаясь до сыта, работаетъ по мѣрѣ силъ; въ этомъ отношеніи умственная работа также полезна, какъ и механическая; дѣятельность мозга, подобно физическому движенію, возвышаетъ температуру тѣла и ускоряетъ процессъ горѣнія. Ученый, просидѣвшій нѣсколько часовъ за такою работою, которая требуетъ напряженія его мыслительной дѣятельности, чувствуетъ сильный аппетитъ, подобный аппетиту поденьщика, коловшаго дрова или носившаго воду.

Зимою и лѣтомъ, въ холодный и въ теплый день температура здороваго человѣка остается неизмѣненною. Между тѣмъ лѣтомъ человѣкъ не тратитъ такъ много теплоты, какъ зимою; холодный воздухъ быстро уноситъ теплоту человѣческаго тѣла и потому необходи-

мо, чтобы этой теплоты вырабатывалось больше. Дѣйствительно, процессъ горѣнія и развитія животной теплоты усиливается въ холодное время. Человѣкъ и животное начинаютъ дышать глубже и чаще; это ускореніе совершается, вѣроятно, вслѣдствіе дѣйствія нервовъ на кровеносные сосуды; оно происходитъ помимо воли самого недѣлимаго, такъ что путешественники, побывавшіе около полюсовъ и испытавшіе дѣйствіе сильнѣйшаго холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкія и какъ будто разрывалась грудь отъ усиленнаго дыханія. У людей и животныхъ, живущихъ въ холодномъ климатѣ, грудной ящикъ бываетъ особенно развитъ и легкія отличаются значительною величиною. Но, если ускоренное дыханіе ведетъ за собою ускоренное горѣніе, то необходимо, чтобы это горѣніе постоянно находило себѣ достаточно горючаго матеріала. Необходимо, слѣдовательно, чтобы во время холода человѣкъ или животное съѣдали больше пищи, чѣмъ во время жара. Такъ и бываетъ. Аппетитъ усиливается зимою. Въ теплыхъ климатахъ достаточно 24 лота питательной пищи въ день, чтобы поддержать существованіе человѣка, а въ болѣе холодныхъ земляхъ для этого необходимо покрайней мѣрѣ 40 лотовъ питательной пищи. Неаполитанскій лаццарони питается макаронами и плодами и съѣдаетъ такое незначительное количество пищи, какимъ никакъ не могъ бы прокормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы съѣдаютъ ежедневно по 10 фунтовъ мяса и по 5 фунтовъ сала или китоваго жира. Жители Исландіи, Лапландцы и Самоѣды изумляютъ путешественниковъ своимъ пристрастіемъ къ салу и къ жиру, который они пожираютъ въ огромномъ количествѣ, не обращая вниманія ни на вкусъ, ни на запахъ, ни на степень свѣжести. Это пристрастіе имѣетъ свои физіологическія причины. Жиръ, какъ вещество, заключающее въ себѣ очень мало кислорода и очень много углерода и водорода, отлично поддерживаетъ органическій процессъ горѣнія точно также, какъ онъ отлично поддерживаетъ горѣніе лампы. Жиръ горитъ долго и своимъ горѣніемъ производитъ сильную теплоту; поэтому жиръ болѣе чѣмъ какое либо другое вещество приноситъ пользу жителямъ полярныхъ земель; онъ даетъ имъ возможность развивать то значительное количество животной теплоты, которое необходимо имъ, чтобы уравновѣсить охлаждающее дѣйствіе сильныхъ и продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климатѣ желудокъ усиливаетъ свою дѣятельность и одолѣваетъ такое количество пищи, которое могло бы разстроить его отправленія въ теплой странѣ. Путешественники, отправившіеся отъи-

скивать остатки Франклиновой экспедиціи, изумлялись тому невообразимому количеству мяса и сала, съ которымъ справлялись ихъ желудки подъ вліяніемъ полярнаго холода. Лѣтомъ или вообще въ тепломъ климатѣ выдѣленіе углекислоты уменьшается, весь обмѣнъ веществъ становится медленнѣе, аппетитъ уменьшается и пищевареніе становится менѣе энергичнымъ. Бедуинъ отправляется въ дальнюю дорогу съ мѣшкомъ финиковъ подъ сѣдельною лукою. Отаитянинъ круглый годъ питается плодами своего хлѣбнаго дерева. Французы находятъ, что можно позавтракать, ограничиваясь салатомъ, орѣхами или каштанами. Подобная воздержность для насъ, жителей сѣвера, также непонятна, какъ прожорливость Гренландцевъ или Самоѣдовъ.

Не всѣ животныя обладаютъ, подобно человѣку, способностью усиливать или уменьшать вырабатываніе животной теплоты, смотря по свойствамъ окружающей температуры. Этой способности, заключающейся, вѣроятно, въ особенномъ устройствѣ нервовъ, нѣтъ у такъ называемыхъ *хладнокровныхъ* животныхъ, у змѣй, у лягушекъ, у рыбъ и т. п. Теплота этихъ животныхъ упадаетъ и возвышается вмѣстѣ съ окружающею температурою; это не нарушаетъ ихъ здоровья. При извѣстномъ охлажденіи они впадаютъ въ оцѣпенѣніе, которое проходитъ отъ дѣйствія теплоты. Говорятъ даже, что гусеницы, жабы и даже нѣкоторыя породы рыбъ, совершенно окоченѣвшія и затвердѣвшія отъ холода, оживаютъ, когда ихъ положатъ въ теплое мѣсто. Напротивъ того, всѣ млекопитающія и птицы умираютъ при извѣстной степени охлажденія и до послѣдней возможности борятся противъ охлаждающаго дѣйствія внѣшней температуры. Даже тѣ животныя, которыя зимою засыпаютъ и которыя во время своего сна теряютъ значительную часть своей теплоты, не выносятъ охлажденія до нуля, т. е. до точки замерзанія воды. Способность примѣняться къ окружающей температурѣ развивается постепенно вмѣстѣ съ другими силами животнаго. «Молодые воробьи, говоритъ Льюисъ, вынутые изъ гнѣзда, въ которомъ ихъ согрѣвала мать, при умѣренной температурѣ потеряли очень быстро около 11 градусовъ по Цельзію своей теплоты, такъ что ихъ тѣло оказалось только на полтора градуса теплѣе окружающаго воздуха.» Вообще, чѣмъ моложе животное, тѣмъ менѣе оно способно сопротивляться холоду быстрымъ усиленіемъ внутренней теплоты. За то для молодаго животнаго перемѣны внутренней температуры не такъ опасны, какъ для взрослаго.

Кромѣ того, способность сопротивляться измѣненіямъ внѣшней

температуры даже у взрослыхъ животныхъ измѣняется вмѣстѣ съ временами года. Первый жаркій весенній день дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, чѣмъ знойные дни іюля или августа. Точно также утренній морозъ, являющійся лѣтомъ или раннею осенью, кажется намъ гораздо холоднѣе такого же зимняго мороза. Опыты и наблюденія надъ животными показали, что они лѣтомъ при одинаковомъ градусѣ холода теряютъ больше внутренней теплоты, чѣмъ зимою. Организмъ привыкаетъ въ извѣстное время доставлять извѣстное количество теплоты. Потомъ, когда окружающая температура постепенно сдѣлается теплѣе (при переходѣ отъ зимы къ веснѣ) или холоднѣе (отъ осени къ зимѣ), то и организмъ постепенно перемѣняетъ свою дѣятельность. Если же онъ вдругъ почувствуетъ сильное измѣненіе, онъ не успѣетъ приготовиться, и вы испытаете то непріятное ощущеніе, которое причиняетъ даже здоровому человѣку внезапная перемѣна погоды. Кто живетъ въ Петербургѣ, тотъ знаетъ, чего стоятъ эти перемѣны, и какое громадное количество кашлей, насморковъ, ревматизмовъ и разнообразныхъ простудъ носится въ воздухѣ при быстрыхъ переходахъ отъ оттепели къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о животной теплотѣ, видно, что количество этой теплоты, постоянно выдѣляющееся изъ тѣла, очень значительно. По вычисленіямъ нѣмецкаго физіолога Бишофа оказывается, что взрослый человѣкъ въ теченіи 24-хъ часовъ выдѣляетъ такое количество теплоты, которое можетъ довести до кипѣнія 80 фунтовъ воды холодной какъ ледъ. Рождается вопросъ, на что же потрачивается это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ она употребляется на то, чтобы сообщать пищѣ и питью, входящимъ въ наше тѣло, ту температуру, въ которой находятся наши внутренности. Всѣ холодные предметы, употребляемые въ пищу, согрѣваются въ желудкѣ и въ кишкахъ и такимъ образомъ непосредственно отнимаютъ у насъ нѣкоторую часть нашей теплоты. Испражненія наши, при выходѣ изъ тѣла, представляютъ температуру отъ 37–38 градусовъ по Цельзію, и уносятъ съ собою отъ 2—3 процентовъ всего количества тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающій въ наши легкія при вдыханіи, обыкновенно бываетъ гораздо холоднѣе нашего тѣла; возвращаясь изъ легкихъ, онъ оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени. Это нагрѣваніе выдыхаемаго воздуха отнимаетъ у нашего тѣла отъ 5—6 процентовъ всей суточной потери теплоты.

Превращеніе твердыхъ веществъ въ жидкія, и жидкихъ въ газообразныя поглощаетъ извѣстное, довольно значительное количество теплоты, которая дѣлается *скрытою* и потомъ при обратномъ процессѣ, т. е. при превращеніи газообразнаго тѣла въ жидкое или жидкаго въ твердое, снова освобождается. Таяніе льда, превращеніе воды въ паръ уноситъ изъ окружающаго воздуха нѣкоторое количество теплоты и производитъ такимъ образомъ охлажденіе. На поверхности всего нашего тѣла и на внутренней поверхности легкихъ происходитъ постоянно выдѣленіе воды въ газообразномъ состояніи; это испареніе воды поглощаетъ значительное количество теплоты и уноситъ изъ нашего тѣла отъ 14—15 процентовъ всей суточной потери. Охлажденіе кожи становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше количество выдѣляемой воды; это охлажденіе доходитъ до высшей степени, когда на поверхности кожи выступаютъ водяныя капли, которыя называются потомъ или испариною. Съ появленіемъ пота неразлучно сильное охлажденіе всего тѣла, такъ что выступающая испарина облегчаетъ горячечное состояніе и въ глазахъ врача является однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ выздоровленія. Люди, сильно потѣющіе лѣтомъ, меньше страдаютъ отъ жара, чѣмъ люди, лишенные этой способности или обладающіе его въ меньшей степени. Франклинъ разсказываетъ, что жнецы въ Пенсильваніи почти вовсе не страдаютъ отъ самаго сильнаго зноя; они пьютъ воду въ огромномъ количествѣ и вслѣдствіе этого потѣютъ такъ сильно, что совокупность воды, выдѣляемой ими въ однѣ сутки, равняется по вѣсу одной пятой или шестой части всего ихъ тѣла; охлажденіе, вызываемое испареніемъ этой воды, составляетъ противовѣсъ солнечному жару и даетъ жнецамъ возможность работать, не выбиваясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. Замѣчено также, что работники, занимающіеся на стеклянныхъ, фарфоровыхъ или литейныхъ заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, увеличивая такимъ образомъ количество выдѣляемаго пота, легче переносятъ тотъ страшный жаръ, въ которомъ они должны находиться во время работы.

Въ жаркій лѣтній день мы всегда чувствуемъ сильную жажду, которую всего пріятнѣе утолять холодными напитками. Эти напитки прохлаждаютъ тѣло отчасти непосредственно, отчасти тѣмъ, что возбуждаютъ усиленное выдѣленіе пота; повредить организму они не могутъ; для того чтобы значительное количество холодной воды не обременяло собою желудка, достаточно прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тѣла воды имѣютъ

Въ теплое время года старики чувствуютъ себя лучше обыкновеннаго; зимою они любятъ искусственную теплоту топленной комнаты; въ нашемъ простанородьѣ старики проводятъ большую часть года на печкѣ или, какъ ее называютъ въ деревняхъ средней Россіи, на лежанкѣ. Теплыя ванны, усиливающія дѣятельность кожи и уменьшающія ея сухость и жесткость, особенно полезны для стариковъ.

Люди, ведущіе большею частью сидячую жизнь, нуждаются въ большемъ притокѣ теплоты, чѣмъ люди, часто прогуливающіеся или работающіе на открытомъ воздухѣ.

Люди холоднаго, флегматическаго или меланхолическаго темперамента больше страдаютъ отъ холода, чѣмъ люди горячіе, энергическіе, холерики или сангвиники. Во время зимняго холода 1812 года мерзли преимущественно Голландцы и Нѣмцы, несмотря на то, что Французы, Испанцы и Итальянцы, находившіеся въ арміи Наполеона, меньше ихъ были пріучены къ холоду.

Вообще люди слабаго сложенія, не отличающіеся значительною энергіею жизненныхъ отправленій, т. е. сильнымъ аппетитомъ, крѣпкими легкими, хорошимъ пищевареніемъ, развитою дѣятельностью половой системы, любятъ теплую температуру и не выносятъ холода; напротивъ того, люди крѣпкіе и полнокровные предпочитаютъ прохладную атмосферу и въ ней чувствуютъ себя вполнѣ хорошо. Умѣренная степень холода, дѣйствующая на наше тѣло въ короткій промежутокъ времени, оживляетъ жизненныя отправленія, привлекаетъ кровь къ кожѣ и вообще къ поверхности тѣла, ускоряетъ обмѣнъ веществъ, усиливаетъ вырабатываніе внутренней теплоты и дѣятельность легкихъ, возбуждаетъ нервную систему, словомъ, вызываетъ во всемъ организмѣ усиленное движеніе жизни. Но продолжительное дѣйствіе холода всегда ведетъ за собою вредныя послѣдствія уже потому, что напрягаетъ въ извѣстномъ направленіи силы организма и, требуя отъ него усиленной дѣятельности, истощаетъ его этими непомѣрными требованіями.

Для здоровья человѣка всего полезнѣе умѣренный климатъ, въ которомъ нѣтъ ни слишкомъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лѣтнихъ жаровъ, ни рѣзкихъ переходовъ отъ одной температуры къ другой. Конечно, такой идеально-здоровый климатъ мудрено найти на земномъ шарѣ, но вообще можно замѣтить, что приморскія земли, въ которыхъ вліяніе морскихъ испареній смягчаетъ и лѣтній зной и зим-

нiй холодъ, пользуются самымъ умѣреннымъ и благорастворённымъ климатомъ. Это положенiе допускаетъ впрочемъ множество исключенiй; конечно, сѣверные берега Сибири не отличаются прiятнымъ климатомъ, несмотря на то, что они прилегаютъ къ морю; точно также острова Борнео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здоровымъ климатомъ; находясь въ жаркомъ поясѣ, эти острова отличаются, какъ извѣстно, очень знойнымъ и сырымъ воздухомъ; растительность достигаетъ до колоссальныхъ размѣровъ, животная жизнь кипитъ красотою и силою, но человѣкъ, подавленный жаромъ, который, какъ я говорилъ выше, становится еще невыносимѣе вслѣдствiе того, что воздухъ насыщенъ водяными парами, человѣкъ, повторяю я, въ такомъ климатѣ не можетъ жить умственною жизнью и равномѣрно развивать всѣ стороны своего существа.

Что же касается до приморскихъ земель, лежащихъ въ умѣренномъ поясѣ, то ихъ климатъ по своей мягкости значительно превосходитъ климатъ континентальныхъ земель. Счастливымъ климатомъ пользуется Англiя, несмотря на свои густые туманы. Въ сѣверовосточной Ирландiи, подъ однимъ градусомъ широты съ Кенигсбергомъ, вода рѣдко замерзаетъ зимою и миртъ растетъ на открытомъ воздухѣ точно также какъ въ Португалiи. «Необыкновенная сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою англiйскiй умъ развился и продолжаетъ развиваться по всѣмъ направленiямъ жизни и науки, представляетъ, быть можетъ, отчасти слѣдствiе этихъ благопрiятныхъ климатическихъ условiй».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ леченiя. Когда вырабатыванiе животной теплоты ослабѣваетъ вслѣдствiе болѣзненнаго разстройства, тогда всего лучше согрѣвать пацiента искусственными средствами. Припарки, потогонное питье, теплыя ванны, отправленiе больныхъ въ теплый климатъ,—все это такiе медицинскiе прiемы, которые знакомы по наслышкѣ или по собственному опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышенiе или пониженiе общей температуры тѣла даетъ медику возможность судить объ общей силѣ жизненныхъ отправленiй у пацiента.

Жаръ или ознобъ сопровождаютъ собою большею частью каждое болѣзненное состоянiе и указываютъ на ненормальное усиленiе или ослабленiе органическаго горѣнiя, на неравномѣрное распредѣленiе теп-

лоты въ различныхъ частяхъ тѣла, на болѣзненное нарушенiе въ одномъ изъ важнѣйшихъ процессовъ: въ кровеобращенiи, дыханiи или пищеваренiи. Все это принимается въ соображенiе свѣдущимъ медикомъ и потому небольшой термометръ, служащiй дли изслѣдованiя теплоты больныхъ, почти всегда находится при медикѣ, изучающемъ добросовѣстно состоянiе своихъ пацiѣнтовъ.

Д. ПИСАРЕВЪ.

---

*
* *

На сердцѣ злоба накипѣла
Отъ заученыхъ этихъ фразъ!
Слова! Слова! А чуть до дѣла,
Ни силъ, ни воли нѣту въ насъ!

* *
*

Какъ мы сочувствуемъ народу —
Какъ объ его скорбимъ нуждахъ!..
За правду мы въ огонь и въ воду
Идти готовы—на словахъ.

* *
*

Развить логически и здраво
Умѣемъ мы, что гибнетъ мiръ;
Что богачей и нищихъ право
Одно—на свѣтлый жизни пиръ.

* *
*

И поучаемъ мы охотно,
Что лѣнь постыдна и вредна;
Что не затѣмъ, чтобъ кушать плотно
Да-празднословить, жизнь дана.

* *
*

А между тѣмъ, борьбы упорной
Или суроваго труда,
Бѣжимъ мы съ трусостью позорной
И не краснѣемъ отъ стыда!

* *
*

И кто неправдою гонимый —
Себѣ нашелъ защиту въ насъ?
Безстрастно мы проходимъ мимо
Людскаго горя каждый часъ.

* *
*

И фразы намъ всего дороже!
Насъ убаюкали онѣ...
Когдажъ сознаемъ мы, о Боже! —
Что нѣтъ спасенья въ болтовнѣ?

А. ПЛЕЩЕЕВЪ.

ЛЮДВИГЪ СПИТТЛЕРЪ.

(Этюдъ Д. Штраусса.)

23-го апрѣля 1777 года Лессингъ писалъ изъ Вольфенбюттеля своему брату, Карлу Готтгельфу, въ Берлинъ: «Предъявитель этого письма—магистеръ Спиттлеръ, пробывшій въ Вольфенбюттелѣ нѣсколько недѣль, съ тѣмъ чтобы воспользоваться здѣшнею библіотекою. Я узналъ его какъ человѣка ученаго и скромнаго, и такъ какъ онъ ѣдетъ въ Берлинъ, то считаю долгомъ рекомендовать его твоему вниманію». Мѣсяцъ спустя, Лессингъ спрашиваетъ брата, былъ ли у него этотъ магистеръ? и проситъ передать ему письмо, если Спиттлеръ еще не уѣхалъ изъ Берлина.

Спиттлеръ былъ молодой ученый, только что выступившій на поприще науки. Онъ успѣлъ понравиться Лессингу, который имѣлъ случай испытать его познанія. Но Лессингъ тогда, конечно, не предполагалъ, что на этомъ магистрѣ, болѣе чѣмъ на какомъ либо другомъ изъ молодыхъ его современниковъ, отразится особенность его духа. Правда, когда онъ года четыре спустя умеръ, Спиттлеру достался только клочекъ его мантіи (вся она, впрочемъ, едва ли бы кому пришлась по росту); только одной наукѣ Спиттлеръ вдохнулъ духъ, сродный Лессингу и притомъ возбужденный этимъ великимъ писателемъ: но эта наука та самая, въ которой Лессингу всего пріятнѣе было продлить свое нравственное существованіе,—исторія.

Ученый и скромный молодой магистеръ былъ родомъ изъ Швабіи. Онъ былъ виртембергскій теологъ, получившій образованіе, по обыкновенію, въ неизбѣжномъ тюбингенскомъ духовномъ заведеніи. Родился

онъ въ ноябрѣ 1752 года, ровно семью годами раньше своего соотечественника, Шиллера. Отецъ его былъ священникъ и въ это же званіе готовилъ сына. Но такъ какъ онъ жилъ въ Стутгартѣ, то отдалъ сына не въ одну изъ монастырскихъ школъ, а въ столичную гимназію. Это обстоятельство было чрезвычайно важно для Спиттлера, до того важно, что оно опредѣлило всю карьеру молодаго человѣка. Если онъ впослѣдствіи сдѣлался историкомъ и притомъ извѣстнымъ историкомъ, то этимъ онъ, независимо отъ своихъ способностей, обязанъ былъ своему пребыванію въ Стутгартѣ.

Въ то время въ Виртембергѣ господствовала сильная любовь къ изученію исторіи вообще и отечественной въ частности. Ректоръ стутгартской гимназіи Фольцъ, считался самымъ ученымъ историкомъ въ этой странѣ и пользовался, особенно въ столицѣ, такимъ почетомъ, который долженъ былъ возбудить соревнованіе въ честолюбивомъ ученикѣ. Быть уважаемымъ подобно Фольцу и уважаемымъ имъ самимъ, вскорѣ сдѣлалось пламеннымъ желаніемъ Спиттлера, цѣлью, для достиженія которой онъ не щадилъ никакихъ трудовъ. И для этого дѣйствительно нужны были большія усилія, потому что Фольцу не легко было угодить. Онъ требовалъ отъ историка изученія источниковъ, ученаго, критическаго собиранія фактовъ, и при этомъ почти упускалъ изъ виду искусство изложенія. Онъ съ пренебреженіемъ смотрѣлъ на возникавшую беллетристическую дѣятельность молодаго поколѣнія, къ которой и Спиттлеръ чувствовалъ естественное влеченіе. Но талантливый гимназистъ подавилъ въ себѣ этотъ порывъ: онъ не писалъ стиховъ, но дѣлалъ извлеченія изъ фоліантовъ. Его часы отдохновенія посвящены были изученію сочиненій, которыя для другихъ юношей казались бы слишкомъ скучными и сухими, даже для занятія въ рабочіе часы. Если впослѣдствіи мы находимъ Спиттлера коротко знакомымъ съ произведеніями Райнальди, Паги, Мабильона, Монфокона и др., то этому знакомству нѣмецкій нашъ ученый положилъ начало еще въ гимназіи, гдѣ по-настоящему онъ долженъ былъ изучать, и дѣйствительно изучалъ ревностно греческихъ и латинскихъ классиковъ.

Но еще важнѣе другое обстоятельство, имѣвшее уже въ Стутгартѣ вліяніе на историческую дѣятельность Спиттлера. Онъ родился въ концѣ виртембергскаго quinquennium Neronis, , т. е. первыхъ беззаботныхъ годовъ правленія герцога Карла, едва вышедшаго тогда изъ-подъ опеки, того самаго герцога Карла, которому многіе изъ соотечественниковъ, прославившихся въ литературѣ, доставили весь-

ма незавидную извѣстность. Борьба между правительственнымъ произволомъ и правами народа, появленіе и паденіе временщиковъ, примѣры трусости со стороны лицъ, имѣвшихъ обязанностью защищать свободу, и неустрашимости со стороны другихъ, болѣе добросовѣстныхъ сыновъ отечества,—все это, служившее предметомъ разговора во всѣхъ столичныхъ обществахъ, совершалось на глазахъ Спиттлера во время его отрочества и юношества. Семи лѣтъ онъ уже въ состояніи былъ сочувствовать впечатлѣнію, произведенному на публику незаслуженнымъ заключеніемъ въ тюрьму почтеннаго Іоанна Якоба Мозера, совѣтника собранія земскихъ чиновъ; двѣнадцати же лѣтъ онъ раздѣлялъ негодованіе, вспыхнувше во всѣхъ патріотахъ, когда превосходный Губеръ за свою преданность конституціи долженъ былъ также пострадать въ темницѣ. Около того же времени распущеніе сейма произвело въ странѣ всеобщее волненіе. Земскіе чины подали въ Вѣну жалобу на герцога и нашли себѣ заступника въ лицѣ Фридриха II прусскаго. Герцогъ и его агенты защищались всѣми орудіями политики; но правда, поддерживаемая могуществомъ Фридриха, на этотъ разъ восторжествовала. Герцогъ Карлъ долженъ былъ заключить съ собраніемъ земскихъ чиновъ договоръ, который навсегда положилъ преграду его произволу. Спиттлеру было тогда восемнадцать лѣтъ и онъ оканчивалъ курсъ въ гимназіи, когда одержана была эта побѣда. Впечатлѣніе, произведенное на него этою борьбою, послужило драгоцѣннымъ матеріаломъ для его историческаго развитія. Въ душѣ Спиттлера глубоко врѣзалась картина земскаго устройства его родины, одного изъ лучшихъ образцовъ древней народной свободы, сохранившихся тогда въ Германіи. Молодой человѣкъ замѣтилъ себѣ всѣ стороны этого устройства и слабыя, и сильныя, и былъ проникнутъ любовью къ конституціонному порядку, и благу общественному. Въ продолженіе всей своей литературной дѣятельности, Спиттлеръ обращался къ виртембергской конституціи, какъ къ образцу, на недостаткахъ и совершенствахъ котораго онъ одинаково могъ повѣрять политическіе взгляды.

По окончаніи курса въ гимназіи, Спиттлеръ съ 1771 по 1775 годъ прожилъ въ духовномъ заведеніи въ Тюбингенѣ, и здѣсь сначала занимался философіей, а потомъ теологіей. Бывшіе его товарищи, а также самый духъ его сочиненій свидѣтельствуютъ, что онъ особенно глубоко изучалъ первую изъ этихъ наукъ. Проницательный умъ, любовь къ высшимъ взглядамъ, умѣнье освѣщать всѣ частности пред-

ставлявшагося вопроса и рѣдкая діалектическая способность могли повести Спиттлера на философское поприще, еслибъ онъ съ раннихъ лѣтъ не былъ направленъ къ изученію исторіи и въ особенности политическаго быта народовъ. Рѣшившись еще въ гимназіи сдѣлаться историкомъ, онъ теперь, усвоивъ себѣ философское образованіе, хотѣлъ воспользоваться этими знаніями для своей исторической дѣятельности.

На теологію онъ могъ отчасти смотрѣть какъ на отрасль исторіи. Безъ знанія исторіи церкви нельзя понимать исторіи государствъ, въ особенности среднихъ вѣковъ. Притомъ источники для той и другой отчасти одни и тѣ же. Такимъ образомъ, Спиттлеръ, кромѣ своихъ прежнихъ историческихъ писателей, изучалъ теперь отцовъ церкви и даже знакомился съ схоластиками. Послѣдствія доказали, что при этомъ обратили на себя его полное вниманіе изслѣдованія Землера о канонѣ и развитіи церковнаго догмата, а также первыя теологическія сочиненія Лессинга. Первыя небольшія богословскія произведенія Спиттлера отражали въ себѣ духъ Землера и Лессинга, въ формѣ болѣе сродной послѣднему.

Въ одномъ изъ этихъ сочиненій, помѣщенномъ въ журналѣ, издававшемся подъ редакціею Меузеля, Спиттлеръ отозвался о средневѣковомъ духовенствѣ болѣе снисходительно, чѣмъ принято было въ его время. По этому случаю, онъ 25 декабря 1776 года (въ это время онъ уже путешествовалъ съ ученою цѣлью) писалъ изъ Геттингена въ оправданіе къ редактору журнала: «Я въ своемъ сочиненіи вовсе не намѣренъ былъ доказывать, что духовенство среднихъ вѣковъ отличалось только одними хорошими качествами. Я очень хорошо знаю этихъ людей! Но вопросъ въ томъ, принесли ли они какую нибудь пользу и если принесли, то въ чемъ она состояла? При этомъ не можетъ быть рѣчи о томъ, должно ли желать возвращенія средневѣковаго духовенства единственно потому, что оно было въ свое время полезно. На этомъ основаніи слѣдовало бы для себя желать возвращенія учителя азбуки, если онъ училъ хорошо. Въ нападкахъ на духовенство наше время нерѣдко смѣшивается съ временами прошедшими. Относительно настоящаго времени негодованіе противъ католическаго духовенства совершенно справедливо. Средніе вѣка были временемъ дѣтства и плутовства, а потому человѣчество тогда должно было получить соотвѣтственное тому образованіе».

Конечно, авторъ, писавшій эти строки, былъ достаточно приготов-

ленъ для того, чтобы нѣсколько мѣсяцевъ спустя, явиться къ Лессингу. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ понравился великому писателю, и само собою разумѣется, что такое общество было чрезвычайно полезно для молодаго человѣка. Лессингъ въ то время былъ сильно взволнованъ по случаю издававшихся имъ «Wolfenbüttelsche Fragmente eines Unbekanten», которые вовлекли его въ богословскую полемику (*). Съ другой стороны, онъ былъ въ самомъ пріятномъ, сообщительномъ расположеніи духа, такъ какъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ женился на женщинѣ, давно имъ любимой. Въ одномъ письмѣ къ Меузелю Спиттлеръ описываетъ гуманность Лессинга и прелестный женственный характеръ его жены съ такимъ чувствомъ, которое дѣлаетъ честь ему, какъ человѣку (**).

По возвращеніи изъ путешествія, Спиттлеръ въ 1777 году вступилъ репетиторомъ въ тюбингенское духовное заведеніе и на этомъ мѣстѣ написалъ, кромѣ разныхъ мелкихъ сочиненій, исторію каноническаго права до временъ мнимаго Исидора. Это сочиненіе доказываетъ его обширную ученость, критическій взглядъ, свѣтлый образъ мыслей и ненависть къ обману священниковъ уже своими прежними трудами, а также во время своего недавняго пребыванія въ Геттингенѣ, Спиттлеръ обратилъ здѣсь на себя всеобщее вниманіе ученаго міра и въ 1779 году былъ приглашенъ въ этотъ городъ въ качествѣ профессора. Онъ поступилъ преподавателемъ въ философскій факультетъ, но былъ назначенъ впослѣдствіи занять каѳедру въ богословскомъ и сначала читалъ только теологическія лекціи, какъ то: исторіи церкви, церковныхъ догматовъ и канона.

Тѣ, которые имѣли случай слушать его лекціи впослѣдствіи, между прочимъ, Шлоссеръ и Савиньи, единодушно хвалятъ его чтеніе, которое признаютъ образцомъ профессорскаго преподаванія. Но сначала Спиттлеръ далеко не отличался краснорѣчіемъ. Какъ уроженецъ швабскій, онъ весьма затруднялся изложеніемъ. Онъ вступалъ на каѳедру робко, попеременно то диктовалъ, то объяснялъ свой предметъ и притомъ не умѣлъ еще принаравляться къ понятіямъ своихъ слушателей, число которыхъ поэтому сначала было незначительно.

(*) Авторъ этихъ «Fragmente», какъ оказалось впослѣдствіи, былъ Reimarus (род. въ 1694 и ум. въ 1765 г. въ Гамбургѣ). Лессингъ, издавая это сочиненіе, говорилъ, что онъ нашелъ его въ вольфенбюттельской библіотекѣ.

(**) См. у Guhrauer'a, Lessing, II, 2, стр. 301.

Въ это время Спиттлеръ готовилъ свое первое значительное произведеніе—исторію церкви. Оно появилось въ годъ его женитьбы, 1782-й. Это сочиненіе было необыкновеннымъ явленіемъ во многихъ отношеніяхъ и прежде всего въ отношеніи объема. Со словомъ церковная исторія обыкновенно соединялось понятіе большаго, многотомнаго изданія; книга Спиттлера состояла изъ одного маленькаго тома, форматомъ въ восьмую долю листа. Прежнія сочиненія этого рода (не говоря о томъ, что большею частью они писались на латинскомъ языкѣ) отливались въ тяжелую ученую форму; если же и являлось произведеніе, подобное произведенію Мозгейма, обнаруживавшее со стороны автора претензію на изящное изложеніе, то всегда это дѣлалось въ ущербъ основательности содержанія; сочиненіе же Спиттлера, несмотря на свою тщательную внѣшнюю отдѣлку и на совершенное отсутствіе ученыхъ цитатъ, показывало въ писателѣ глубокое знаніе источниковъ и въ видѣ очерка представляло болѣе историческихъ данныхъ, чѣмъ многія изъ подробныхъ исторій церкви. Способъ изложенія въ немъ прагматическій и событія представлены въ связи съ внутренними качествами и внѣшней обстановкой дѣйствующихъ лицъ; при этомъ, однакожъ, Спиттлеръ не забываетъ вліянія духа времени и не упускаетъ изъ виду потребности человѣческой натуры. Точка зрѣнія протестантская, но не та, какая принята въ основаніе этого исповѣданія; авторъ озаряетъ исторію христіанской церкви свѣтомъ восемнадцатаго столѣтія, но не тѣмъ, который былъ достояніемъ толпы, а тѣмъ, который отражается въ теологическихъ сочиненіяхъ Лессинга. Въ произведеніи Спиттлера этотъ свѣтъ обнаруживаетъ свою силу, проникая во всѣ захолустья обширной области исторіи, представляющей лабиринтъ.

Церковная исторія Спиттлера оканчивается благопріятными видами, какіе па время представлялись для католической церкви вслѣдствіе паденія ордена іезуитовъ и вслѣдствіе реформъ, произведенныхъ Іосифомъ II австрійскимъ. Эти виды заключались въ надеждѣ, что католическая церковь, наконецъ, перестанетъ быть римскою, что она съ государствомъ соединится въ одно органическое цѣлое, и что народу возвращены будутъ права, отнятыя у него духовенствомъ, которое, съ своей стороны, оставитъ свой корпоративный духъ и не будетъ препятствовать мирнымъ сношеніямъ католиковъ съ протестантами.» Нельзя ставить въ укоръ автору, что онъ каждый листъ этого сочиненія, выходившій изъ типографіи, съ торжествомъ показывалъ своимъ друзь

ямъ. Книга, по выходѣ въ свѣтъ, быстро распространилась по всей Германіи и переводилась на иностранные языки; изъ послѣдующихъ сочиненій Спиттлера развѣ одно только пріобрѣло такую же славу.

Но такой успѣхъ нисколько не поощрилъ автора къ дальнѣйшимъ подвигамъ на теологическомъ поприщѣ; напротивъ, послѣ изданія церковной исторіи, Спиттлеръ распростился съ теологіею. Только иногда онъ писалъ по этому предмету небольшія статьи, преимущественно по церковному праву, и въ особенности не упускалъ изъ виду Рима и его честолюбивыхъ притязаній, орденъ іезуитовъ и другіе тому подобные вопросы. Разставшись съ теологіей, Спиттлеръ возвратился къ своему первоначальному призванію. Онъ отказался от перехода въ теологическій факультетъ и рѣшился посвятить себя исключительно политической исторіи. На этомъ поприщѣ ему, въ качествѣ преподавателя, предстояло бороться въ Геттингенѣ съ тремя знаменитостями—Гаттереромъ, Пюттеромъ, и Шлецеромъ. Спиттлеръ вступилъ въ эту борьбу и остался побѣдителемъ. Дѣло въ томъ, что онъ между тѣмъ успѣлъ овладѣть краснорѣчіемъ, необходимымъ для успѣшнаго преподаванія. Онъ теперь могъ читать свободно, прибѣгая только по-временамъ къ маленькому листу бумаги, съ нѣсколькими именами и числами. Владѣя въ совершенствѣ своимъ предметомъ, онъ то излагалъ его въ видѣ живаго разсказа, то развивалъ философски. Его лекціи, по своему тону, занимали середину между дружественной бесѣдой и торжественною рѣчью. При этомъ Спиттлеръ всегда въ состояніи былъ водворить въ аудиторіи глубокую тишину и растрогать своихъ слушателей. Много въ этомъ отношеніи ему помогала его пріятная наружность: онъ отличался высокимъ, стройнымъ ростомъ, свѣтлыми, проницательными голубыми глазами, опредѣленными, но нѣжными чертами, открытымъ лбомъ и благородствомъ движеній.

Онъ открылъ свои историческія лекціи, въ 1782 году, исторіею Грековъ и Римлянъ; потомъ перешелъ къ новой исторіи германской имперіи, отдѣльныхъ нѣмецкихъ владѣній и европейскихъ государствъ, съ тѣмъ чтобы на этой почвѣ, какъ на всего болѣе ему знакомой, стат твердой ногой въ качествѣ преподавателя и литератора. Въ 1783 году онъ издалъ исторію Виртемберга, въ 1796 исторію Ганновера, въ 1793 и 1794 очеркъ исторіи европейскихъ государствъ, въ 1786—исторію датской революціи 1660 года. Въ то же время онъ печаталъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, въ особенности въ историческомъ магазинѣ, издававшемся имъ и Мейнерсомъ, одну за другою, цѣлый

рядъ статей, одно заглавіе которыхъ показываетъ, какъ обширенъ былъ кругъ его историческихъ изысканій, причемъ онъ не считалъ недостойными изслѣдованія самые, повидимому, мелочные вопросы. Оттого-то его статьи представляютъ самое разнообразное содержаніе. Онъ излагалъ и новѣйшія перемѣны въ кастильской податной системѣ и исторію налоговъ въ герцогствѣ Бременскомъ и Верденскомъ; исторію поголовной подати въ княжествѣ Каленбергскомъ и современное состояніе британскихъ государственныхъ доходовъ; устройство англійской остъ-индской компаніи и учрежденіе ордена іезуитовъ; исторію развитія собранія земскихъ чиновъ въ Виртембергѣ и происхожденіе англійскаго парламента; состояніе и перемѣны датской канцеляріи въ Копенгагенѣ и право древняго германскаго дворянства на мѣста канониковъ; жизнь испанскаго короля Филиппа V и неравные браки нѣмецкихъ князей; бѣлградскій миръ и возстаніе австрійскихъ Нидерландовъ противъ Іосифа II. Кромѣ того, онъ писалъ многочисленныя рецензіи на разныя сочиненія по исторіи и церковному праву.

Въ обыкновенныхъ историческихъ книгахъ, особенно о германскихъ государствахъ, Спиттлеръ, какъ замѣчаетъ онъ въ предисловіи къ своей ганноверской исторіи, не нашелъ того, чего искалъ: ни исторіи государственнаго устройства, ни описанія характера и образа жизни предковъ. Въ предисловіи къ своему очерку исторіи европейскихъ государствъ, упоминая о вспыхнувшей между тѣмъ французской революціи, онъ говоритъ, что теперь въ подобныхъ сочиненіяхъ прежде всего представляется вопросъ: когда и какъ возникло третье сословіе? Какъ образовались взаимныя отношенія сословій и отношенія ихъ къ правителю? Какимъ образомъ произошло судебное устройство? Въ какомъ состояніи находились подати и финансы государства? Эту сторону государственной жизни Спиттлеръ всегда имѣлъ въ виду въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ и описаніяхъ. Ему ставили въ укоръ такой исключительно политическій взглядъ, который не составляетъ еще полной задачи историка. Подробныя историческія сочиненія Спиттлера, исторіи Виртемберга и Ганновера не заслуживаютъ такого упрека; хотя въ нихъ главное вниманіе обращено на политическое устройство этихъ земель, но не забыта также исторія развитія народа, въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова. Также этотъ упрекъ не можетъ касаться спиттлерова очерка исторіи европейскихъ государствъ, потому что здѣсь исключительность политическаго взгляда соотвѣтствуетъ самому плану сочиненія.

Итакъ, точка воззрѣнія Спиттлера на политическую судьбу народовъ и духъ, какимъ онъ разсматриваетъ происхожденіе и перемѣны государственнаго устройства и управленія—тѣ самые, какіе онъ усвоилъ себѣ въ юности при видѣ борьбы за конституціонныя права своей родины. Этотъ духъ заключается въ любви къ правильно-опредѣленному отношенію между правами народа и властью правительства, въ любви къ постепенному органическому развитію существующихъ учрежденій. Онъ представляетъ, какъ опасно, хотя, быть можетъ, искренно, заблуждаются тѣ, которые считаютъ обязанностью всякаго патріота стремиться къ уменьшенію власти правителя и къ увеличенію правъ государственныхъ чиновъ. Но это говоритъ онъ не въ смыслѣ застоя, не въ видахъ сохраненія стараго порядка вещей. «Мы всѣ должны дѣйствовать неутомимо—восклицаетъ Спиттлеръ въ концѣ предисловія ко второй части своей ганноверской исторіи—не должны предпочитать частнаго блага общественному ни предаваться безпечности, какъ будто отцы наши совершили все, что могло быть совершено». «Времена, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, не всегда являются сами собою; ихъ иногда надо создавать. Правда, самые вкусные плоды созрѣваютъ медленно; благодѣтельныя послѣдствія трудовъ людей честныхъ и неутомимыхъ обыкновенно обнаруживаются лишь черезъ нѣсколько поколѣній. Но истина, высказанная открыто и благородно, заключаетъ въ себѣ важную силу.

Поэтому, какъ ни интересовало Спиттлера историческое изслѣдованіе великихъ правительственныхъ переворотовъ, каковы англійскій и французскій, но онъ съ особенною любовью останавливался на тѣхъ мѣстахъ исторіи, гдѣ замѣчалъ мирный посѣвъ и спокойное развитіе, предпринятыя при содѣйствіи людей умныхъ и честныхъ. «Это великолѣпное явленіе, говоритъ онъ относительно происхожденія виртембергской конституціи, но оно совершенно въ нѣмецкомъ духѣ. Въ немъ мало тонкой политики, но за то много здраваго смысла, ведущаго прямо къ цѣли. Нѣтъ безпокойнаго духа, легко возбуждаемаго къ подозрѣнію коварствомъ людей честолюбивыхъ, но за то ясное сознаніе того, къ чему должно стремиться, сознаніе, которое не можетъ быть поколеблено никакими происками со стороны эгоистовъ. Много уваженія къ закону и его истиннымъ блюстителямъ, но за то совершенное отсутствіе всякаго раболѣпства. Нѣтъ необузданнаго стремленія къ внезапнымъ переворотамъ, но за то твердый духъ и увѣренность, что то, чего нельзя было совершить сегодня, будетъ совершено завтра».

И съ какимъ воодушевленіемъ Спиттлеръ иногда говоритъ въ подобныхъ случаяхъ! Представивъ происхожденіе и устройство земскаго собранія въ Виртембергѣ — этого „важнаго" учрежденія, онъ съ чувствомъ восклицаетъ: «Да предохранитъ небо, благословляющее честныхъ и безкорыстныхъ людей, это собраніе отъ всякой порчи! Въ злыя времена деспотизма счастіе и несчастіе всей страны зависѣли отъ этихъ восьми мужей и одинъ неудачный выборъ земскихъ чиновъ на цѣлое полъ-столѣтіе подвергалъ опасности благоденствіе». Потомъ, изобразивъ различныя слабыя стороны новаго учрежденія, отъ которыхъ оно со временемъ могло придти въ упадокъ, Спиттлеръ старается освободиться отъ этихъ грустныхъ предположеній и снова обращается къ исторіи. «Впрочемъ, говоритъ онъ, новыя учрежденія имѣютъ сходство съ юношами, подающими надежду и которые посылаются въ армію или въ университетъ. Къ чему напрасно тревожить себя мрачными мыслями насчетъ будущности и какъ заранѣе исчислить всѣ могущія произойти случайности? Надо полагаться и на силу нравственнаго возрожденія, которая въ цѣломъ обществѣ проявляется также, какъ и въ отдѣльномъ человѣкѣ и съ удивительнымъ успѣхомъ дѣйствуетъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда зло, повидимому, неисправимо».

При такой глубоко-вкоренившейся любви къ законному развитію, Спиттлеръ не могъ быть другомъ революцій. Онъ ихъ одинаково ненавидѣлъ, происходили ли онѣ сверху или снизу. О насильственныхъ преобразованіяхъ Іосифа австрійскаго въ Нидерландахъ онъ отзывался съ такою рѣзкостью, которую не могли ослабить ни предположеніе добрыхъ намѣреній этого государя, ни дурныя начала, скрывавшіяся въ нидерландскомъ народномъ движеніи. Онъ допускалъ, что въ этомъ движеніи участвовали экс-іезуиты и агенты римскаго двора, но полагалъ, что вопросъ о правдѣ и справедливости независимъ отъ всякой личности. По его мнѣнію, здѣсь Іосифъ долженъ былъ бы доказать на дѣлѣ, что онъ желаетъ обращаться съ Нидерландцами, какъ съ вольными людьми. Пусть придворные исторіографы удивляются, отчего нидерландскій народъ изъ одной любви къ свободѣ упорно противится преобразованіямъ, которыхъ не можетъ не признать благодѣтельными, — противится единственно потому, что они дѣлаются насильственно». Именно такому благонамѣренному правителю, каковъ Іосифъ, по замѣчанію Спиттлера, слѣдовало бы открыто сказать, что съ уничтоженіемъ всѣхъ преградъ для осуществленія добрыхъ

намѣреній государя, уничтожаются также препятствія для самаго произвола. Самая благодѣтельная мѣра правителя, говоритъ авторъ, если только она противна основаніямъ конституціи, не стоитъ той благодарности, какую заслуживаетъ сохраненіе конституціонныхъ началъ, освященныхъ присягой, обычаями и законами. При самой ограниченной власти можно сдѣлать много добра, исправить множество недостаковъ и даже самыя препятствія, представляемыя формою правленія, обратить въ орудіе къ осуществленію благихъ цѣлей. Нѣтъ надобности уничтожать все до основанія». Только крайняя необходимость, какъ напримѣръ въ Швеціи при Густавѣ III, можетъ оправдать, или, лучше сказать, извинить такую насильственную мѣру. Но подобной необходимости, по мнѣнію Спиттлера, не существовало въ австрійскихъ Нидерландахъ. Едва ли при какомъ нибудь другомъ образѣ правленія, можно было такъ легко устранить всѣ злоупотребленія, не нарушая самой конституціи, если только съ умѣніемъ воспользоваться ея слабыми сторонами.

Замѣчательно, какъ велъ себя Спиттлеръ, когда вспыхнула и стала распространяться революція во Франціи. Ходъ, какой приняло впечатлѣніе, произведенное ею въ Германіи вообще, извѣстенъ. Первоначальный восторгъ вскорѣ обратился въ ненависть и проклятіе. Спиттлеръ, напротивъ, сперва изъявлялъ неудовольствіе по поводу энтузіазма своихъ соотечественниковъ, лишеннаго критики, и представлялъ дурныя стороны революціи, а потомъ показывалъ какъ должно понимать это явленіе. Онъ сначала съ негодованіемъ смотрѣлъ на радостные возгласы нѣмецкихъ газетъ, по случаю такого событія, и на неразумный восторгъ, выражавшійся въ парижскихъ письмахъ Кампе, гдѣ мятежные гвардейцы, относительно благородства души, сравнивались съ Сократомъ. Спиттлеръ желалъ успѣха дѣлу французской націи, но полагалъ, что для этого нѣтъ надобности хвалить дурныя средства, употребленныя для достиженія такой цѣли съ самаго начала, ни представлять съ хорошей стороны злодѣйства, совершенныя народомъ, и поощреніе къ этимъ злодѣйствамъ со стороны коварныхъ охлократовъ. Въ особенности онъ не могъ простить графу Мирабо его участіе въ сценахъ 5 и 6-го октября; даже Дюмурье, впослѣдствіи, былъ ему пріятнѣе этого народнаго витіи, который при своихъ необыкновенныхъ силахъ не имѣлъ надобности прибѣгать къ такимъ подлымъ средствамъ. Но независимо отъ этихъ злодѣйствъ, Спиттлеръ находилъ главный недостатокъ революціи въ томъ, что національное собраніе хотѣло создать

совершенно новое правленіе. Постепенно откланяться отъ старой, слишкомъ изъѣзженой колеи и издавать нѣкоторые новые постановленія и законы, соотвѣтствующіе насущнымъ потребностямъ народа, и которыми нестолько совершается внезапный переворотъ, сколько дается новый, болѣе правильный ходъ дѣламъ, — вотъ что, по замѣчанію Спиттлера, совѣтуетъ исторія и знаніе человѣческаго сердца.

Но когда, въ слѣдующіе затѣмъ годы, ужасъ, порожденный французской революціей, произвелъ реакцію въ нѣмецкихъ правительствахъ и когда публицисты, подобные Гиртаннеру, старались представить одну дурную сторону событій, совершавшихся во Франціи, тогда Спиттлеръ рѣшительно перешелъ на другую сторону. Онъ напомнилъ этимъ публицистамъ, что всякій народъ въ критическій моментъ своего возрожденія показываетъ безчисленное множество слабостей и недостатковъ и что изображеніе отдѣльныхъ чертъ въ подобные періоды не можетъ служить къ ясному уразумѣнію сущности дѣла. Во всякой націи, въ минуты такого всеобщаго броженія, выплываетъ наружу столько грязныхъ осадковъ, что тѣ лица, которыя составляютъ главное ядро народа, не могутъ выступить на арену». Такимъ образомъ Спиттлеръ находилъ и воспоминанія много уважаемаго имъ Эрнста Брандеса относительно французской революціи справедливыми на столько, на сколько за двѣсти семьдесятъ лѣтъ справедливо было то, что люди, подобные Эрасму, писали о нѣмецкой реформаціи. «Между тѣмъ у этого послѣдняго явленія заросли родимые знаки и то же самое произойдетъ и съ переворотомъ, совершившимся въ Франціи, Спиттлеръ усердно упрашивалъ Гиртаннера, въ продолженіи издававшагося этимъ писателемъ сочиненія (о французской революціи) показать, какъ безполезно, для предупрежденія народныхъ волненій и переворотовъ, прибѣгать къ уничтоженію просвѣщенія.

Въ направленіи, совершенно противоположномъ взглядамъ этихъ публицистовъ, Спиттлеръ въ то же время написалъ свой очеркъ исторіи европейскихъ государствъ. Здѣсь онъ показываетъ, вслѣдствіе какихъ причинъ во Франціи сдѣлался неизбѣжнымъ разрывъ между народомъ и правительствомъ; какія государственныя учрежденія предохраняютъ Англію отъ подобной же судьбы; при какомъ образѣ правленія Венеція возвышалась и потомъ пала; какія внѣшнія и внутреннія обстоятельства привели къ упадку Польшу и доставили Россіи такое грозное величіе. Изъ этихъ данныхъ выводы выходятъ совершенно другіе, нежели тѣ, какіе представляютъ крайніе поклонники реакціи. Впро-

чемъ, на Англичанъ Спиттлеръ всего менѣе сердился за ихъ отвращеніе къ французской революціи, хотя это отвращеніе имѣло характеръ почти реакціонный. Онъ полагалъ, что въ странѣ подобной Англіи, гдѣ самая конституція представляетъ вѣрное средство къ устраненію недостатковъ, реформы могутъ производиться спокойно и хладнокровно.

Замѣчательно, что Спиттлеръ, когда прошли первыя волненія французской революціи, углубился въ разсматриваніе государственнаго переворота, представлявшаго съ нею совершенную противоположность, переворота, совершившагося въ Даніи въ 1660 году. Причины того и другаго явленія были одинаковы: невыносимая неравномѣрность въ распредѣленіи государственныхъ выгодъ и тяжести налоговъ, и недоступность аристократіи ко всякому требованію справедливости. Но въ Даніи духовенство перешло на сторону народа, и такъ какъ король имѣлъ причины желать уменьшенія власти дворянъ, то здѣсь революція приняла совершенно другой характеръ: представители средняго сословія и духовенства вскорѣ вошли въ мирное соглашеніе съ королемъ и противъ такого союза не въ силахъ было бороться дворянство. Оттого здѣсь результатъ полученъ былъ не тотъ, котораго съ самаго начала достигли во Франціи: диктатура перешла не въ руки народа и партій, но къ королю. Это была рѣдкая кабинетная продѣлка, какъ выражается Спиттлеръ, которому пріятно было «посмотрѣть и на такую революцію, гдѣ дѣло рѣшалось не силою, а разсудкомъ» и притомъ не только въ началѣ, но и въ продолженіи всего дѣйствія. При всемъ томъ и этотъ мирный переворотъ имѣлъ общій недостатокъ всѣхъ революцій, именно тотъ, что судьба цѣлаго государства предавалась слѣпому случаю. «Самые умные люди не могутъ угадать, чѣмъ кончится начатое дѣло»; какъ во французской революціи едва ли кто изъ дѣйствующихъ лицъ предполагалъ, какой она приметъ оборотъ, такъ въ датской главные виновники, по мнѣнію Спиттлера, вѣроятно удивлены были результатомъ, какого достигли избраннымъ ими путемъ. Маленькое сочиненіе о государственномъ переворотѣ въ Данніи, по своему прагматическому, живому и изящному изложенію, одно изъ лучшихъ, какое когда либо писалъ Спиттлеръ; мы бы сравнили его съ книгою Саллюстія о возмущеніи Катилины, на сколько можетъ быть сравниваемо съ такимъ античнымъ произведеніемъ сочиненіе, написанное совершено въ духѣ настоящаго времени.

Но отъ оцѣнки отдѣльныхъ историческихъ произведеній Спиттлера насъ отвлекло развитіе его политическихъ взглядовъ, которое мы ста-

рались вывести изъ разсмотрѣнія всѣхъ этихъ сочиненій. Поспѣшимъ дополнить упущенное и скажемъ прежде всего одно слово о виртембергской исторіи этого писателя. То обстоятельство, что Виртембергъ былъ любимой родиной автора, родиной, которая срослась съ его душой, придавало этому сочиненію особыя преимущества. Чтобы убѣдиться, стоитъ только сравнить эту исторію съ исторіею Ганновера, вышедшаго изъ-подъ того же пера. Правда, для этого послѣдняго сочиненія Спитллера менѣе доступны были источники, и онъ менѣе приготовленъ былъ къ такому труду: но не въ этомъ одномъ заключалась причина той работы, которая, по собственному сознанію автора, не дозволяла ему смѣлыми штрихами подробно очерчивать лица и обстоятельства. Съ старинными виртембергскими графами и герцогами, ихъ канцлерами, совѣтниками, придворными проповѣдниками, Спитлеръ былъ съ юности знакомъ по преданію, а съ страною, ея жителями, ихъ нравами и съ государственными учрежденіями Виртемберга—по самому происхожденію и воспитанію. Такого знакомства онъ, конечно, не могъ имѣть относительно исторіи Ганновера, не смотря на свое продолжительное пребываніе въ этой странѣ и прилежное изученіе ея историческихъ источниковъ. Оттого-то главнымъ образомъ и происходитъ меньшая живость въ изложеніи этого впрочемъ превосходнаго сочиненія, которое въ особенности относительно изображенія перемѣнъ государственнаго устройства и управленія нисколько не уступаетъ виртембергской исторіи.

Въ обоихъ этихъ сочиненіяхъ проявляется замѣчательная особенность Спиттлера: въ одномъ изъ нихъ событія прерываются пятьюдесятью, а въ другомъ восемьюдесятью съ небольшимъ, годами ранѣе того времени, когда ихъ излагалъ авторъ. Въ исторіи своей родины осторожный историкъ, хотя и писалъ ее въ качествѣ ганноверскаго профессора, не касается правленія не только жившаго тогда еще герцога Карла, но и отца его Карла Александра; о предшественникѣ этого послѣдняго, Эбергардѣ Людвигѣ, которымъ прекращается одна отрасль вертембергскаго дома, можно было уже говорить свободнѣе въ самомъ Виртембергѣ. Въ предисловіи къ этому сочиненію, авторъ, правда, говоритъ такимъ образомъ, будто намѣренъ изложить слѣдующія затѣмъ событія въ другой части, но эта другая часть никогда не появлялась въ свѣтъ и вѣроятно никогда не предполагалась къ появленію. Ганноверская исторія оканчивается правленіемъ курфирста Эрнста Августа и въ ней не упоминается о ганноверско-англійскихъ

Георгахъ, изъ которыхъ третій въ то время сидѣлъ на престолѣ. Видно, Спиттлеръ не хотѣлъ ни лгать, ни оскорбить кого бы то ни было грубою правдою. Въ какой степени онъ избѣгалъ послѣдняго обстоятельства, доказываетъ отдаленность описанныхъ имъ событій отъ живой современности. Спиттлеръ былъ остороженъ не только какъ человѣкъ, но и какъ историкъ, и заранѣе взвѣшивалъ послѣдствія, какія могли произойти отъ его поступковъ. Его часто упрекали за то, что онъ свои историческіе расказы прерываетъ изъ политическихъ разсчетовъ. Въ общественной жизни такая расчетливость легко ведетъ къ боязливости. Въ своихъ отношеніяхъ съ людьми Спиттлеръ былъ до того остороженъ, что въ одной статьѣ съ намѣреніемъ вставилъ букву, измѣнявшую смыслъ, такъ какъ сынъ того человѣка, котораго мнѣніе онъ оспаривалъ былъ его товарищемъ.

Спиттлеръ не могъ довольствоваться тѣснымъ кругомъ исторіи отдѣльныхъ незначительныхъ государствъ, къ которому относятся послѣднія описанныя нами сочиненія. Его любимой мечтой, которую онъ нерѣдко высказывалъ самъ, было—представить исторію міровыхъ событій трехъ послѣднихъ вѣковъ въ большомъ сочиненіи, содержащемъ до шести томовъ. Лекціи Спиттлера по этому предмету признаются самыми лучшими, какія онъ когда либо читалъ. Но самое сочиніе никогда не было написано. Только въ видѣ очерка для своихъ лекцій, Спиттлеръ, какъ мы уже замѣтили выше, изложилъ исторію европейскихъ государствъ отъ ихъ происхожденія до новѣйшаго времени (за исключеніемъ Германіи, исторію которой онъ читалъ особо). Чтобы оцѣнить достоинство этого сочиненія, мы уступимъ перо другому судьѣ. Каждая страница Спиттлерова сочиненія, говоритъ Шлоссеръ, доказываетъ вѣрный взглядъ автора и быстрое пониманіе главнаго пункта, на который особенно должно обратить вниманіе въ каждомъ отдѣльномъ періодѣ. Въ этомъ отношеніи грѣшатъ многіе самые ученые историки. Въ книгѣ Спиттлера съ удивленіемъ видишь, какъ великій человѣкъ, съ врожденнымъ тактомъ, перелистывая источники, опытнымъ взглядомъ въ одну минуту находитъ то, чего другой тщетно ищетъ въ продолженіе многихъ лѣтъ».

Впрочемъ, не меньшее достоинство и не меньшую занимательность представляютъ и болѣе мелкія историческія сочиненія Спиттлера. Даже они отчасти, по своему свободному изложенію, болѣе для насъ привлекательны. Около одной трети изъ нихъ (если исключить сочиненія теологическія) касаются исторіи Виртемберга; первое мѣсто между

ними занимаютъ исторія собранія земскихъ чиновъ и исторія коллегіи тайнаго совѣта: послѣднее сочиненіе относится уже къ позднѣйшему періоду жизни автора, но написано совершенно въ духѣ перваго. Оба они показываютъ рѣдкое искусство Спиттлера рельефно и въ связи изображать происхожденіе и дальнѣйшее развитіе государственнаго учрежденія, его судьбу въ различные періоды, его успѣхи и препятствія, противопоставляемыя имъ различными личностями, его упадокъ и возрожденіе. Авторъ представляетъ намъ это явленіе такъ превосходно, что оно на нашихъ глазахъ, подобно растенію, какъ будто восходитъ, развивается, даетъ цвѣты, подвергается дурному и хорошому вліянію окружающей его атмсферы и наконецъ разрушается. Изображеніе характеровъ нѣкоторыхъ правителей и министровъ, описанныхъ Спиттлеромъ въ нѣсколькихъ ловкихъ чертахъ, но чрезвычайно живо, показываетъ, что онъ не только былъ тонкій политикъ, но и отличный психологъ. Множество психологическихъ замѣчаній, глубокихъ и мѣткихъ, разсѣяно въ сочиненіяхъ этого автора. Какое обширное примѣненіе, напримѣръ, предоставляетъ слово, сказанное въ означенной нами исторіи собранія земскихъ чиновъ: «Герцогъ Карлъ, безспорно, былъ умный и мудрый государь, но его поступки не всегда служили тому доказательствомъ». Сколько смысла и сколько юмора заключается въ выраженіи объ одномъ знаменитомъ виртембергскомъ прелатѣ: «Онъ, безъ сомнѣнія, былъ, вообще, честный человѣкъ; но частности, изъ которыхъ состоитъ честность подобныхъ людей, представляютъ столько несообразныхъ чертъ, что надо удивляться, какъ изъ нихъ составляется такое цѣлое». Но верхомъ совершенства, въ отношеніи психологическаго развитія, и истинной жемчужиной между сочиненіями Спиттлера служитъ его разсужденіе о религіозной перемѣнѣ Христофа Безольда. «Ни одинъ человѣкъ не дѣлается вдругъ тѣмъ, что онъ есть», такова тема этого сочиненія, которое представляетъ намъ загадочное, коварное отступничество одного ученаго, скромнаго и долгое время безукоризненнаго человѣка отъ вѣры его предковъ и отъ религіозной партіи его соотечественниковъ. Авторъ такъ хорошо объясняетъ это явленіе самымъ характеромъ этого лица, смѣсью его добрыхъ качествъ и недостатковъ, его связями и отношеніями къ окружающему міру, что для насъ исчезаетъ загадка и мы передъ собою видимъ человѣка, котораго должны осуждать, но о которомъ не можемъ не сожалѣть. Другою жемчужиною между этими мелкими произведеніями служитъ сочиненіе о курфирстѣ пфальцскомъ,

Фридрихѣ Побѣдоносномъ и о Кларѣ Деттинъ, аугсбургской. Это сочиненіе, написанное въ видѣ демонстраціи противъ притязаній дома Левенштейнъ на курфиршество Пфальцское, представляетъ прелестную идиллію любви государя древнихъ временъ. Оно отличается пріятною игрою цвѣтовъ, подобно блестящей матеріи, безпрестанно мѣняющей складки, и легкою ироніею, которою оно проникнуто съ начала до конца. Мы, не задумываясь, можемъ сказать, что сочиненіями, подобными послѣднимъ двумъ, Спиттлеръ и въ отношеніи формы становится въ первые ряды нѣмецкихъ авторовъ.

Удивительно, что послѣ смерти Спиттлера, его друзья, въ статьяхъ, посвященныхъ его памяти, почти снисходительно отзываются о его слогѣ. Гееренъ изъявляетъ сожалѣніе, что Спиттлеръ не написалъ болѣе обширнаго историческаго сочиненія, но въ то же время выражаетъ сомнѣніе, чтобъ этотъ историкъ въ состояніи былъ овладѣть хорошимъ историческимъ изложеніемъ и стать на ряду нѣмецкихъ классиковъ. Также и Планкъ полагаетъ, что въ произведеніяхъ Спиттлера довольно встрѣчается достоинствъ, составляющихъ сущность хорошаго слога, хотя въ нихъ замѣчается иногда недоконченность въ округленіи періодовъ и въ изображеніи картинъ. Странно, но очевидно: слогъ Іоанна Миллера въ то время сбивалъ съ толку относительно этого предмета даже такихъ писателей, которые, подобно Планку и Геерену, не могли ему сочувствовать. То несомнѣнно, что слогъ этихъ двухъ заслуженныхъ историковъ, выразившихъ такое мнѣніе, далеко уступаетъ слогу Спиттлера. Слогъ Геерена въ особенности, быть можетъ, глаже и правильнѣе спиттлерова, но за то отличается меньшею живостью. Но Гееренъ, находя въ Спиттлерѣ недостатокъ настоящаго историческаго слога, вѣроятно, разумѣетъ тоже, чего не одобрялъ и Вольтманъ, что Спиттлеръ часто отъ историческаго изложенія переходитъ въ дидактическое и прерываетъ разсказъ разсужденіями и наставленіями, и что самая любимая его форма изложенія составляетъ смѣсь повѣствованія съ представленіемъ политическихъ взглядовъ. Это, быть можетъ, ошибка противъ строгихъ законовъ историческаго писанія; но Спиттлеръ былъ не только историкъ, но и политикъ, и эта двойственность натуры ясно выражается въ его способѣ излоложенія. Многіе упрекали его также за обыкновеніе говорить объ историческихъ событіяхъ намеками, — недостатокъ, особенно непріятный для тѣхъ, кто не знакомъ съ историческими фактами. Въ обоихъ сочиненіяхъ, гдѣ особенно замѣчается этотъ не-

достатокъ, въ очеркѣ церковной исторіи и въ очеркѣ исторіи европейскихъ государствъ, онъ объясняется и оправдывается тѣмъ обстоятельствомъ, что обѣ эти книги назначались для лекцій и что поэтому недосказанное въ печати предполагалось дополнить изустно. Правда, такая манера писать весьма недалека отъ той, которая показываетъ пренебреженіе къ читающей публикѣ, но въ этомъ послѣднемъ недостаткѣ нельзя упрекать Спиттлера. Независимо отъ особенной исторической точки воззрѣнія и только въ отношеніи внѣшней формы постройки періодовъ, слогъ этого автора не всегда совершенно округленъ и совершенно плавенъ; но онъ представляетъ тѣсное сродство съ слогомъ Лессинга: всегда живъ и увлекателенъ, иногда поразителенъ и, смотря по надобности, то рѣзокъ и юмористиченъ, то нѣженъ и мягокъ. Мѣстами онъ можетъ казаться манернымъ, но то, что такъ вѣрно выражаетъ характеръ и образъ мыслей человѣка, не можетъ назваться манерностью, а развѣ только особенностью; мы готовы сравнить слогъ Спиттлера съ лицомъ, которое, не отличаясь правильными, изящными чертами, неотразимо привлекаетъ насъ оригинальностью выраженія.

Занимаясь такими трудами, отличаясь на своей профессорской каѳедрѣ и пользуясь возрастающею литературною славою, домашнимъ счастіемъ, уваженіемъ своихъ товарищей и любовью нѣкоторыхъ, хотя немногихъ, близкихъ друзей, Спиттлеръ все-таки не думалъ навсегда оставаться въ этомъ положеніи. Еще гораздо прежде, чѣмъ онъ привелъ въ исполненіе свое намѣреніе, его друзья уже знали, что онъ вовсе не хочетъ умереть профессоромъ. Онъ выразилъ опасеніе пережить самого себя въ качествѣ доцента и быть вытѣсненнымъ на задній планъ какимъ нибудь новымъ молодымъ талантомъ, какъ это случилось, черезъ него же самого, съ Гаттереромъ и Шлецеромъ. Такое опасеніе вовсе не чуждо его осторожнаго характера, но оно не было настоящею причиною намѣренія, принятаго Спиттлеромъ. Мы уже замѣтили, что онъ былъ не только историкъ, но и политикъ, и это политическое стремленіе не находило удовлетворенія въ академической карьерѣ. Лѣтомъ 1796 года Спиттлеръ съ большимъ успѣхомъ читалъ лекціи о политикѣ и находилъ теперь, какъ самъ онъ писалъ о томъ Вольтману, болѣе пріятнымъ развивать свой предметъ философски, нежели излагать его исторически. Но его влекло къ политической дѣятельности на практикѣ, и это стремленіе не было суетнымъ желаніемъ. Спиттлеръ болѣе многихъ другихъ

имѣлъ права домогаться политической роли. Кромѣ знанія политики онъ обладалъ наружностью, внушающею уваженіе, увлекательнымъ краснорѣчіемъ, испытаннымъ не только на каѳедрѣ, ловкимъ обращеніемъ, пониманіемъ людей и умѣніемъ пользоваться ихъ слабостями, причемъ не чуждъ былъ нѣкоторой склонности къ интригѣ. При всемъ томъ, онъ въ своей виртембергской исторіи сдѣлалъ замѣчаніе, что переходъ отъ каѳедры въ кабинетъ рѣдко бываетъ удаченъ. Вѣроятно, онъ считалъ себя исключеніемъ изъ этого правила, такъ какъ, не смотря на то, домогался такого перехода. Такъ онъ еще въ восьмидесятыхъ годахъ воспользовался дружбою съ Коппе, возвышавшимся въ то время на поприщѣ жизни и пріобрѣтавшимъ вліяніе въ политическомъ обществѣ и старался быть представленнымъ не только въ орденъ франкмасоновъ, но и въ правительственные круги столицы. Но предпріимчивый придворный священникъ умеръ для него слишкомъ рано. Мы не знаемъ, имѣло ли путешествіе, которое Спиттлеръ предпринялъ въ 1788 году въ Мюхненъ, Вѣну и въ Швейцарію, какую нибудь связь съ его планами относительно перемѣны карьеры; но во всякомъ случаѣ, оно доставило ему, также какъ и путешествіе на коронацію Леопольда II, въ свитѣ ганноверскаго посольства, кромѣ новыхъ предметовъ для наблюденія, знакомство съ разными лицами, которыя могли быть ему полезными для достиженія его цѣли. Намѣреніе, о которомъ иногда говорилъ Спиттлеръ, основать въ какомъ нибудь болѣе свободномъ пунктѣ Германіи политическую газету, соотвѣтствовало способностямъ, но не характеру этого человѣка. Наконецъ, онъ остановилъ свое вниманіе и относительно своихъ плановъ на будущность на виртембергской родинѣ, отъ которой никогда, впрочемъ, не отклонялась его привязанность.

Пока тамъ царствовалъ герцогъ Карлъ, для человѣка, подобнаго Спиттлеру, не могло въ этомъ отношеніи существовать никакой надежды. По смертѣ этого правителя, осенью 1793 года, талантливые люди приняли участіе въ дѣлахъ правленія. Послѣ Карла, одинъ за другимъ царствовали два его брата, и въ это время, подъ вліяніемъ нахлынувшихъ вмѣстѣ съ французскими войсками революціонныхъ идей, все въ Виртембергѣ пришло въ броженіе. Младшій изъ этихъ двухъ братьевъ, Фридрихъ Эженъ, побуждаемый необходимостью удовлетворить требованіемъ Моро, долженъ былъ созвать сеймъ для совѣщанія относительно сбора военной контрибуціи. Это былъ первый сеймъ послѣ двадцати пяти лѣтъ. Тогда всякій поспѣшилъ

подать свой голосъ и появилось болѣе полутораста сочиненій, съ проектами относительно улучшенія государственныхъ дѣлъ и относительно приведенія въ ходъ правительственной машины, согласно требованіямъ времени. Спиттлеръ съ участіемъ слѣдилъ въ Геттингенѣ за движеніями своей родины и даже вмѣшался въ ряды анонимныхъ писателей проектовъ. Подъ заглавіемъ дополнительной инструкціи, данной городскимъ собраніемъ въ N. депутату, отправляемому на виртембергскій сеймъ, онъ въ 1796 году изложилъ свое мнѣніе о современныхъ вопросахъ. Здѣсь онъ предлагалъ свои совѣты въ народномъ тонѣ, согласно требованіямъ принятой имъ роли, ясно и мѣстами съ теплымъ чувствомъ патріота. Въ этихъ совѣтахъ проглядываетъ превосходное знаніе отечественныхъ учрежденій и исторіи, любовь къ прогрессу, а также и ненависть ко всякому насильственному перевороту. Всякій гражданинъ, по замѣчанію автора, долженъ содѣйствовать, «къ приведенію отечества, посредствомъ благовременныхъ полезныхъ перемѣнъ, въ такое состояніе, чтобъ никогда не могла встрѣтиться необходимость въ совершенномъ преобразованіи». Власть земскихъ чиновъ, которая въ прежнія времена стиралась неоднократно, Спиттлеръ желалъ возстановить въ томъ видѣ, въ какомъ она первоначально опредѣлена была предками. Онъ началъ противодѣйствовать злоупотребленьямъ поддержаніемъ и усиленіемъ коллегіальнаго правленія; запрещеніемъ отставлять совѣтниковъ отъ должностей безъ судебнаго приговора; уничтоженіемъ преимущества дворянъ относительно исключительнаго занятія высшихъ должностей и созываніемъ сеймовъ въ опредѣленные сроки. Пришедшему въ упадокъ учрежденію земскихъ чиновъ, Спиттлеръ хотѣлъ помочь распространеніемъ условій, дающихъ право быть избраннымъ въ представители и преимущественно реформою, употреблявшейся при этомъ, избирательной системы. Но даже и этого мѣста древней виртембергской конституціи, этого собранія, которое, подобно чужеядному растенію, мало по малу высосало всякое значеніе у государства и даже у самаго сейма, нашъ профессоръ касается весьма осторожно. Онъ на первый разъ не рѣшаетъ вопроса, должно ли у собранія отнять опасное право самому дополнять недостающее число своихъ членовъ. Чтобы предупредить вступленіе въ это число людей неспособныхъ и недостойныхъ, онъ полагаетъ нужнымъ подвергать всякаго вновь избраннаго кандидата предварительному испытанію. Но истинный государственный человѣкъ высказывается въ Спиттлерѣ, когда

онъ настаиваетъ на строгомъ контролѣ, на подробной отчетности и гласности въ дѣлахъ земскаго правленія, когда онъ совѣтуетъ не приниматься разомъ за все и когда онъ представляетъ, что первое необходимое условіе для приведенія государства въ цвѣтущее состояніе заключается въ учрежденіи лучшихъ воспитательныхъ заведеній и въ развитіи народнаго образованія. При этомъ онъ имѣетъ въ виду также распространеніе условій, доставляющихъ право быть избраннымъ въ члены собранія земскихъ чиновъ. «Мы должны теперь всѣми силами стараться, замѣчаетъ Спиттлеръ, пріобрѣсти какъ можно болѣе свѣдущихъ и опытныхъ людей, а ничто такъ не содѣйствуетъ образованію, если только есть желаніе трудиться и способности, какъ занятіе важными дѣлами и участіе въ великихъ интересахъ». Онъ поднялъ также вопросъ о гражданскихъ школахъ и о семинаріяхъ для образованія учителей, — вопросъ, осуществленіе котораго относится къ позднѣйшему времени.

Естественно, что такое сочиненіе, котораго авторъ не долго оставался неизвѣстнымъ, должно было въ Виртембергѣ обратить всеобщее вниманіе на соотечественника, прославившагося за-границей. Казалось полезнымъ воспользоваться его содѣйствіемъ въ предполагаемыхъ реформахъ. Говорятъ, что его думали назначить совѣтникомъ собранія земскихъ чиновъ на то самое мѣсто, которое нѣкогда съ такимъ достоинствомъ занималъ Іоганнъ Якобъ Мозеръ. Правительство также не прочь было имѣть сотрудникомъ человѣка, который въ своемъ сочиненіи такъ усердно хлопоталъ о сохраненіи равновѣсія между правами государя и правами земскихъ чиновъ. Спиттлеръ самъ могъ одинаково склоняться на ту и на другую сторону. Независимо отъ болѣе блестящаго положенія, онъ могъ надѣяться, на мѣстѣ совѣтника зрѣлаго и благонамѣреннаго государя, найти болѣе обширное поприще дѣйствія и встрѣтить менѣе препятствій къ осуществленію своихъ благихъ намѣреній, нежели на службѣ такой старой, закоруздой олигархіи, какую представляло земское собраніе. Поэтому нельзя еще упрекать Спиттлера за то, что онъ, рѣшившись однажды промѣнять академическую карьеру на государственную дѣятельность, принялъ предложеніе вступить на службу герцога Фридриха Эжена въ качествѣ тайнаго совѣтника. Притомъ его влекло на родину, куда, какъ онъ могъ полагать, его призывали для развитія старинныхъ политическихъ учрежденій. Это было въ мартѣ 1797 года, въ то самое время, когда въ Виртембергѣ собрался сеймъ, о которомъ такъ много говорили.

Но, конечно, Спиттлеръ при этомъ долженъ былъ имѣть въ виду

одно весьма важное обстоятельство. Герцогъ, призывавшій его на службу, былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, котораго здоровіе было разстроено семилѣтнею войною. Что его сынъ, принцъ Фридрихъ, будущій преемникъ престола, своими наклонностями походилъ на герцога Карла, это ни для кого не было тайной. Но Спиттлеръ могъ надѣяться, что старый господинъ, несмотря на свои слабыя силы, проживетъ еще нѣсколько лѣтъ и что въ это время удастся сдѣлать много полезнаго для отвращенія будущихъ бурь. Но девять мѣсяцевъ спустя послѣ занятія Спиттлеромъ новой должности, герцогъ Фридрихъ Эженъ внезапно скончался въ концѣ 1797 года.

Первое время правленія его сына и преемника, по обыкновенію, было довольно мирно. Но уже по прошествіи полугода возникли несогласія между герцогомъ и земскими чинами по поводу чрезмѣрныхъ расходовъ на войско. Эти несогласія продолжались цѣлыхъ восемь лѣтъ, причемъ постоянно возрастало упорство съ одной стороны и насиліе съ другой. Спиттлеръ могъ не одобрять земскаго собранія за то, что оно иногда безъ надобности отказывало требованіямъ герцога и дозволяло себѣ переступать за предѣлы своихъ правъ; но еще менѣе ему могло нравиться стремленіе къ совершенному произволу, обнаруживавшееся въ правителѣ. Передъ нами находятся два мнѣнія, поданныя Спиттлеромъ въ тайномъ совѣтѣ еще въ первые, довольно сносные годы правленія герцога Фридриха. Первое изъ этихъ двухъ мнѣній, относящееся къ 1798 году, особенно показываетъ, какъ виртембергскій тайный совѣтникъ умѣлъ вынутываться изъ затруднительнаго положенія, въ которое ставили его воля правителя и желаніе дѣйствовать согласно своей собственной совѣсти. Спиттлеръ здѣсь отговариваетъ герцога представить споръ съ земскими чинами на судъ императора и при этомъ самою убѣдительною причиною выставляетъ, что такой шагъ болѣе послужитъ къ выгодѣ, чѣмъ къ невыгодѣ собранія. Онъ совѣтуетъ продолжительными переговорами стараться склонить чины къ уступкѣ, но при этомъ остерегаться вооружить противъ себя общественное мнѣніе и въ особенности не предпринимать никакихъ насильственныхъ мѣръ противъ такъ называемаго революціоннаго образа мыслей. Едва ли Спиттлеру всегда удавалось, въ качествѣ тайнаго совѣтника Фридриха, такъ ловко вынутываться изъ своего затруднительнаго положенія и согласовать волю правителя съ своимъ собственнымъ убѣжденіемъ.

Осенью, 1805 года, герцогъ присоединился къ Наполеону, а потомъ, принявъ королевскій титулъ, уничтожилъ земское собраніе.

Нѣтъ сомнѣнія, что такая мѣра, не смотря на нравственный упадокъ этого собранія, должна была Спиттлеру казаться неудачною. Если онъ уже Іосифу II, не смотря на его добрыя намѣренія, не извинялъ нарушенія нидерландской конституціи, то тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ негодовать на поступокъ Фридриха. Но, быть можетъ, его утѣшало то обстоятельство, что еще сохранилась коллегіальная система въ высшихъ правительственныхъ мѣстахъ. Исторія Виртемберга представляла примѣры, что коллегіи противились злоупотребленіямъ тогда какъ земское собраніе хранило молчаніе. Спиттлеръ зналъ, что «въ нѣкоторыхъ странахъ хорошее коллегіальное правленіе служитъ лучшею защитою общественнаго блага, нежели земская конституція». Главная сила не въ томъ, чтобы собраніе состояло изъ выборныхъ людей, но въ томъ, чтобы большинство членовъ отличались умомъ и честностью, собирались часто и въ опредѣленное время, дѣйствовали единодушно и не скрывали своихъ совѣщаній объ общественныхъ дѣлахъ. Таково было убѣжденіе Спиттлера еще до вступленія на виртембергскую службу; Спиттлеръ не дожилъ до формальнаго уничтоженія коллегіальной системы и до замѣны ея бюрократическимъ устройствомъ правленія.

Еще въ годъ смерти конституціи, Спиттлеръ возведенъ былъ въ званіе барона, сдѣланъ государственнымъ министромъ и украшенъ вновь учрежденнымъ гражданскимъ почетнымъ орденомъ. Были ли эти отличія въ числѣ причинъ, удерживавшихъ его на службѣ государя? Другъ Спиттлера, Гуго, находитъ это вѣроятнымъ; также и Шлоссеръ полагаетъ, что этотъ тонкій дипломатъ еще въ Геттингенѣ имѣлъ въ виду сдѣлаться со временемъ министромъ. Какъ бы то ни было, но навѣрно Спиттлеръ никогда не желалъ сдѣлаться министромъ такого государя, какимъ былъ король Фридрихъ. Хотя онъ не покидалъ его службы, но ужъ никакъ не согласился бы поступить въ нее, еслибъ ему еще только предстоялъ выборъ. Анекдотъ, заимствованный изъ вѣрнаго источника, показываетъ отношенія Спиттлера къ этому правителю и вообще состояніе виртембергскаго двора. Когда, послѣ жаркаго пренія объ одномъ политическомъ вопросѣ, Спиттлеръ выходилъ изъ аудіенціи, король побѣжалъ вслѣдъ за нимъ, схвативъ съ камина раскалённыя щипцы. Министръ, замѣтивъ это, обернулся и пристально взглянулъ на государя, который, опомнившись, спокойно опустилъ свое орудіе. Спиттлеръ, навѣрно, никогда не раболѣпствовалъ но въ то же время не покидалъ своей службы.

Онъ теперь въ одно и то же время былъ сдѣланъ главнымъ по-

печителемъ тюбингенскаго университета и президентомъ дирекціи народнаго образованія. При этомъ нельзя не вспомнить Іоганна Миллера, который нѣсколько позже занялъ такое же положеніе во вновь учрежденномъ Вестфальскомъ королевствѣ. Подобно Миллеру, Спитлеръ, быть можетъ, главнымъ образомъ утѣшался тѣмъ, что въ этомъ новомъ положеніи могъ сдѣлать добро дѣлу народнаго образованія, или, по крайней мѣрѣ, въ этомъ отношеніи воспрепятствовать злу. Онъ не могъ воспрепятствовать, чтобы и виртембергскій университетъ не лишился своей самостоятельности и прежнихъ правъ; за то онъ былъ этому заведенію весьма полезенъ, основавъ въ немъ клинику и ботаническій садъ. При этомъ Спиттлеръ оставался членомъ государственнаго министерства; но такъ какъ онъ не вошелъ въ кругъ довѣренныхъ людей короля и имѣлъ обязанностью завѣдывать народнымъ образованіемъ, то по настоящему былъ удаленъ отъ дѣлъ правленія. Такимъ образомъ, его желаніе политической дѣятельности, для котораго онъ покинулъ академическую карьеру, не осуществилось. Впрочемъ, Спиттлеръ могъ утѣшаться тѣмъ, что это обстоятельство отклоняло отъ него отвѣтственность за правительственныя дѣйствія короля Фридриха.

Какой-то древній мудрецъ сказалъ, что и при дурномъ правителѣ великіе люди могутъ быть полезными. Конечно, это было бы несчастіемъ для Виртемберга, еслибъ всѣ честные люди, недовольные Фридрихомъ, захотѣли оставить государственную службу. Но то, что можетъ служить извиненіемъ для обыкновеннаго чиновника, не должно быть оправданіемъ для Спиттлера. Онъ прежде дѣйствовалъ на обширнѣйшемъ поприщѣ, въ качествѣ преподавателя и литератора, и глаза многихъ были устремлены на него, какъ на значительный авторитетъ. Поэтому онъ и на службѣ обязанъ былъ поддерживать политическіе принципы, которые проповѣдывалъ на каѳедрѣ и въ своихъ сочиненіяхъ; въ качествѣ государственнаго человѣка онъ не долженъ былъ уронить историка. Кому могло быть извѣстно, много ли или мало онъ принималъ участія въ томъ, что происходило въ Виртембергѣ? Полагали, что еслибъ ему не нравилось это мѣсто, то онъ бы не продолжалъ служить. Носится анекдотъ, что какой-то подчиненный, сдѣлавшій неблагопріятное замѣчаніе, на вопросъ, гдѣ онъ набрался такихъ мнѣній, отвѣчалъ Спиттлеру: у васъ, ваше превосходительство. Этотъ анекдотъ похожъ на вымыселъ, но уже и то обстоятельство, что на Спиттлера можно было сочинять подобныя исторіи, служитъ ему укоромъ.

Другой вопросъ, куда было дѣваться Спиттлеру въ случаѣ отставки? Въ то время не только Виртембергъ, но и свѣтъ былъ въ ненормальномъ положеніи. Въ Германіи и даже вообще на континентѣ господствовали неволя, нужда и насиліе. Спиттлеръ дѣйствительно въ тѣ годы имѣлъ въ виду, если дѣла пойдутъ черезъчуръ дурно, искать убѣжища и политической дѣятельности въ Англіи. Этотъ планъ онъ вѣроятно и привелъ бы въ исполненіе, еслибъ его преждевременно не постигла смерть. Такимъ образомъ Спиттлеръ своимъ положеніемъ въ обществѣ представляетъ сплетеніе судьбы и собственной вины, слабости и несчастія, сплетеніе, въ которомъ едва можно отличить отдѣльныя нити. Онъ, конечно, могъ остаться профессоромъ въ Геттингенѣ, но его нельзя бранить за то, что онъ покинулъ это мѣсто, если не ставить подобному человѣку въ вину недостаточное вниманіе къ зловѣщимъ признакамъ грядущихъ бѣдственныхъ временъ. Мѣсто въ Стуттгартѣ съ каждымъ годомъ становилось ему все болѣе несноснымъ, но въ то же время съ каждымъ годомъ дѣлалось все болѣе затруднительнымъ рѣшеніе вопроса: куда дѣваться?

Во вскякомъ случаѣ, Спиттлеръ былъ жестоко наказанъ, если только вообще заслуживалъ наказанія. На государственномъ поприщѣ онъ не могъ принести никакой значительной пользы, а литературная его дѣятельность была прервана среди успѣховъ, не столько по случаю служебныхъ занятій, сколько потому, что нельзя было сказать свободнаго политическаго слова. Поэтому Спиттлеръ въ 1805 году могъ еще самъ приготовить новое изданіе своей церковной исторіи; но когда понадобилось подобное же изданіе его очерка исторіи европейскихъ государствъ и когда оказалось желательнымъ дополнить этотъ очеркъ позднѣйшими событіями, то авторъ предоставилъ этотъ опасный трудъ постороннему человѣку. За то онъ занялся другими, болѣе мелкими историческими работами, которыя онъ назначалъ къ изданію на будущее время. Такимъ образомъ онъ писалъ: исторію виртембергской коллегіи тайнаго совѣта, исторію договора о наслѣдствѣ, заключеннаго при герцогѣ Карлѣ, и исторію отношенія герцога Эбергарда Людвига къ знаменитой Гревеницъ. Всѣ эти сочиненія найдены послѣ смерти автора, въ его бумагахъ, къ несчастію неоконченными. Они написаны съ тою же свѣжестью духа и съ тою же ловкостью относительно формы, какими отличались и прежнія сочиненія Спиттлера, и въ то же время доказываютъ, что

авторъ въ душѣ оставался вѣренъ своимъ политическимъ взглядамъ. Поэтому-то онъ иногда и находилъ нужнымъ отправить эти и другія бумаги къ своимъ друзьямъ и родственникамъ, такъ какъ не считалъ себя безопаснымъ.

При такомъ затруднительномъ положеніи, Спиттлеръ все болѣе и болѣе становился мрачнымъ; его прежняя веселость исчезла и уступила мѣсто дурному расположенію духа, которое сильно повредило его здоровью. Когда осенью 1808 года въ Стуттгартъ пріѣхалъ его геттингенскій другъ Гуго, то уже нашелъ Спиттлера съ несомнѣнными признаками водяной болѣзни. Больной не могъ скрыть своего непріятнаго положенія, но по крайней мѣрѣ не показывалъ никакого сожалѣнія на счетъ выбора карьеры. Но другъ, по своей медицинской опытности, зналъ, что водяная болѣзнь часто происходитъ отъ печали и огорченія, и это замѣчаніе тяжелымъ бременемъ легло ему на сердце. Прощаніе ихъ было грустно, такъ какъ оба чувствовали, что они, какъ выразился въ послѣдствіи Спиттлеръ въ письмѣ къ Гуго, «не увидятся болѣе по сю сторону луны». «Но, прибавляетъ затѣмъ нашъ историкъ, благодаря Провидѣнію, мы провели вмѣстѣ на этомъ свѣтѣ много счастливыхъ дней». Полтора года спустя, 14 марта 1810 года, Спиттлеръ скончался, не достигнувъ пятидесяти восьми лѣтъ.

При этомъ случаѣ, Гуго намъ сообщаетъ одно обстоятельство, незначительное само по себѣ, но трагическое и довольно поучительное въ своемъ родѣ. Какъ нѣжный супругъ, Спиттлеръ всегда желалъ обезпечить судьбу своей жены. Еще въ Геттингенѣ, онъ сильно хлопоталъ, чтобы вдовьей кассѣ, учрежденной профессерами, дано было такое устройство, по которому, при болѣе значительномъ взносѣ, мужъ могъ надѣяться, что, послѣ его смерти, вдова его будетъ получать и болѣе значительную пенсію. Едва ли бы Спиттлеръ, на сколько зналъ его Гуго, согласился принять мѣсто въ Виртембергѣ, еслибъ коренной законъ виртембергской конституціи не обезпечивалъ за вдовою тайнаго совѣтника еще лучшаго содержанія. Но между тѣмъ король Фридрихъ уничтожилъ конституцію и когда скончался Спиттлеръ, его величество не признало за благо назначить вдовѣ его пенсію. И такъ, можно сказать, Спитлеръ вдвойнѣ ошибся — и въ своей жизни и въ своей смерти.

Фрина.

I.

У Фрины пиръ. Давно Афины
Въ тиши уснули мирнымъ сномъ,
Лишь у одной развратной Фрины
Огнями блещетъ шумный домъ.
Вокругъ стола, наливъ потѐры
Виномъ душистымъ, всѣ въ цвѣтахъ,
Едва прикрытыя гетеры
Лежатъ на пурпурныхъ коврахъ;
И между нихъ, какъ перлы пира, —
Аѳинскихъ граждан лучшій цвѣтъ:
Съ улыбкой пьянаго сатира
Вожди, философы, поэтъ,
И демагоги, и ваятель —
Всѣ бодро пьютъ, и сна имъ нѣтъ!
И лишь застольный предсѣдатель
Заснулъ архонтъ, румянъ и сѣдъ, —
И кто-то вдругъ, для смѣха, шляпу
Его надѣлъ на плешь Пріапу.

Забыто все: народа боль,
Дѣла, политика и драмы —
И жжетъ ихъ только эпиграммы
Одна аттическая соль.
Тамъ все покорно сладострастью
Передъ всесильной, пылкой властью

Богини-Фрины,—не забытъ
При ней одинъ лишь апетитъ.
На блюдахъ третью перемѣну
Рабы азійскіе несутъ,
И гости шумные на сцену
Плясать танцовщицу зовутъ.
И вотъ харита Лезбіянка
Выходитъ къ нимъ изъ-за колоннъ:
Ея глаза, ея осанка
И гибкій станъ—со всѣхъ сторонъ
Срываютъ крики удивленья.
Но вотъ аккордъ, но вотъ поклонъ,
Вотъ стройно-легкія движенья...—

Она танцуетъ и сжигаетъ
Огнемъ любви мужей и дѣвъ,
То вдругъ летитъ, то замираетъ
Подъ іоническій напѣвъ.
И гордой Фрины страсть и ласку
Ея любовникъ Гиперидъ
Забылъ въ тотъ мигъ—и только пляску
Очами страстными слѣдитъ.
А Фрина видитъ но обиду
Ей въ скрытой рѣвности—не снесть,
И за измѣну Гипериду
Она въ душѣ готовитъ месть.
Всѣ гости пляскѣ рукоплещутъ,
Гитеръ вниманьемъ не даря, —
И взоры Фрины пылко блещутъ,
Лезбосской страстію горя.
И подзывая Лезбіянку
Она ей лечь-съ собой велитъ
И всѣхъ на новую приманку
Коварно дразнитъ и манитъ;
И приказавъ налить потеры,
Съ застольной статуи Киѳеры
Вѣнокъ священный сорвала,
И увѣнчавъ чело хариты,
Во славу новой Афродиты
Заздравный кубокъ подняла.

Смутились гости: богохуленъ
Казался всѣмъ ея порывъ.
Какъ знать? Доносъ теперь не миѳъ:
Имъ каждый шагъ подкарауленъ,
А въ этотъ разъ онъ и нелживъ!
И пиръ ужъ не былъ такъ разгуленъ...
Но Фринѣ—смѣхъ! Ей все равно!
Пусть на нее шпіонъ доноситъ!
Что ей доносъ, коль сердце проситъ
Отмщенья—и отмстить должно!
И вся отдавшись поцѣлую,
На всю бесѣду круговую
Она презрительно глядитъ,
И Лезбіянку молодую
Держа въ объятьяхъ, говоритъ:

«Вы мѣлки всѣ!.. Вы испугались!..
Чего жъ? Правдивой похвалы?!
Зачѣмъ же ею вы плѣнялись,
Когда вы духомъ такъ малы?
Кто жъ былъ межъ вами Эллинъ истый,
Титаны словъ, пигмеи дѣлъ,
Коль даже Гиперидъ рѣчистый
Благоразумно присмирѣлъ?!
Вы жалки мнѣ! И я отнынѣ
Не протяну руки мущинѣ!
Кипридѣ съ вами—не служу!
И все презрѣнье къ вамъ, безгласнымъ,
Къ вамъ, каплунамъ трусливо-страстнымъ,
На вашемъ богѣ докажу»!

И вдругъ, на страхъ и диво пиру,
Она къ Пріапу подошла
И плюнула въ лицо кумиру,
И свергла на полъ со стола.
И разошлись, краснѣя, гости,
Кто отъ стыда, а кто отъ злости,
И всякъ изъ нихъ съ собой унесъ
Боязнь за будущій доносъ.
Лишь Гиперидъ остался съ Фриной,
Но какъ ни льстилъ у милыхъ ногъ, —

Въ разгадку выпытать не могъ
Отъ ней онъ мысли ни единой,
И въ эту ночь изъ милыхъ глазъ,
Встрѣчалъ насмѣшку и отказъ!..

II.

Враговъ у Фрины есть не мало,
А Эвтій—первый: дряхлъ архонтъ, —
Но переплыть бы Геллеспонтъ,
Кажись, готовъ, во что бъ ни стало,
Лишь только бъ Фрину погубить
За то, что та не отвѣчала
Ему, когда ханжа сначала
Хотѣлъ любовь ея купить.

* *
*

И вотъ, на утро, всѣ Аѳины
Ужъ возмутилъ поступокъ Фрины,
И кѣмъ-то сдѣланный доносъ
Въ совѣтъ мужей Ареопага
На разсмотрѣнье Эвтій внесъ,
А съ нимъ предстала на допросъ
И лжесвидѣтелей ватага.

Предъ царскимъ портикомъ народъ,
Повсюду говоръ, нареканья:
«О, горе! намъ зевесъ пошлетъ
Теперь за Фрину воздаянье»! —
Кричатъ вездѣ и наказанья
Преступницѣ не медля ждутъ,
Чтобъ предъ лицомъ Ареопага,
Пока въ нихъ къ мести есть отвага,
Начать въ ночи народный судъ.

III.

Темница... Слабый свѣтъ лампады
Неровно брезжетъ по стѣнамъ...
Глухіе своды и аркады
Уходятъ въ мракъ... То здѣсь, то тамъ

Вдругъ нетопырь, на свѣтъ наткнувшись,
Въ гранитъ ударится крыломъ
И въ тьмѣ исчезнетъ. И очнувшись,
Вся вздрогнетъ узница... Кругомъ
Все такъ мертво, а за оградой
Слышны народа голоса,
Но не участьемъ, не пощадой
Тебѣ звучатъ они, Элладой
Обожествленная краса!..

И въ этомъ мракѣ, у колоны,
Подъ отдаленный гулъ толпы,
Сдавя въ груди и страхъ, и стоны,
Объ васъ, республики столпы,
Теперь мечтаетъ грустно Фрина:
Ужели вы, кому въ сто кратъ
Милѣй общественныхъ наградъ
Была одна ея лишь мина,
Кому капризъ иль даже взглядъ
Одинъ ея закономъ были,
Кто какъ блаженству былъ бы радъ
Ея единой ласкѣ,—вы ли
Надъ ней свершите приговоръ?!..
И не содрогнетесь, и взоръ
Не помутится отъ боязни,
Когда въ минуту лютой казни,
На камни острые къ волнамъ
Ее палачь съ утеса сброситъ?!
Народъ ей жизни не испроситъ!
А вы пойдете послѣ въ храмъ
Съ благодареніемъ богамъ...
Не можетъ быть!..

Но вотъ затворы
Гремятъ,—и двери отперлись:
Въ послѣдній разъ сюда сошлись
Рабыни Фрины; только взоры
Ихъ не надеждой, но тоской
И погребальною слезой
Горѣли;—значитъ, нѣтъ пощады!..
Пора на судъ. Въ послѣдній разъ

Рабыни лучшіе наряды
Ей подаютъ въ предсмертный часъ —
И безъ слезы, и безъ надежды
Она въ роскошныя одежды,
Какъ жрица страсти облеклась,
И волны косъ откинувъ смѣло,
Вдоль по плечамъ ихъ развила
И благовонія на тѣло
Какъ передъ пиромъ пролила.

IV.

Взошла на небо ночь Эллады,
Дыханьемъ розъ напоена:
Молчитъ Эгейская волна,
За то въ садахъ звучатъ цикады;
И дремлютъ, строги и горды,
Осеребренные порталы,
И стройныхъ тополей ряды,
И тамъ, вдали, поля и скалы...
Полны волшебной красоты
Колонны, храмы и чертоги,
И луннымъ блескомъ съ высоты
Залиты мраморные боги.
И что жъ!.. казалось бы, въ сердца
Такая ночь влила бы счастье,
И все прощенье и участье
Зажгла бы въ людяхъ безъ конца,
А между тѣмъ—сошлись Аѳины
Предъ царскимъ портикомъ и ждутъ
Чѣмъ кончатъ геліасты судъ
И жаждутъ казни—казни Фрины.

Въ защиту Фрины говоритъ
Ораторъ славный Гиперидъ —
Ея любовникъ. Но подъ сводомъ,
Склонясь къ колоннѣ на гранитъ,
И предъ судомъ, и предъ народомъ
Она безмолвная стоитъ.
И тщетно все: не умолимы
Ни геліасты, ни народъ

И только злобою палимы,
Сулятъ ей смерть. И не спасетъ
Ее горячій голосъ друга!..
На жалость ихъ не преклонятъ
Ни скорбь предсмертнаго испуга,
Ни бѣдной жертвы робкій взглядъ —
Ея раскаянье и горе,
Ни эта ночь, ни это море
Въ далекомъ золотѣ лучей,
Ни лунный свѣтъ на формахъ статуй
И на колоннахъ Пропилей!
«Ничто не властно—и не ратуй
За Фрину лживо, Гиперидъ»!
Реветъ народъ—и судъ рѣшенье:
«Казнить преступницу» гласитъ.

Но вдругъ съ виновной въ то жъ мгновенье
Покровы сорваны долой —
И предъ толпою пораженной,
Предстала Фрина обнаженной,
Какъ мраморъ залита луной,

—«Казнить богиню!.. О, ужели
И вы бъ могли, и вы бъ посмѣли
Такое тѣло измозжить?!
Скорѣй, народъ, во прахъ предъ нею,
Твое безумство замолить»!
И предъ Кипридою своею
Ораторъ, гордый торжествомъ,
Поникъ увѣнчаннымъ челомъ, —
И съ нимъ народъ въ священномъ страхѣ
За преступленіе свое,
Склонясь предъ Фриною во прахѣ,
Взиралъ съ восторгомъ на нее.
И Фрина, гордая, подъ сводомъ
Склонясь къ колоннѣ на гранитъ,
И предъ судомъ, и предъ народомъ
Вся лучезарная стоитъ, —
А формы, полныя красою
И нѣгой жизни молодой,

Блистая гордой наготою,
Благоухали предъ толпой...

* *
*

И красотѣ народъ-художникъ
Прощенье полное изрекъ
И даже въ честь ея обрекъ
Во храмѣ жертвенный треножникъ,—
И тамъ вознесъ на пьедесталъ
Съ богами статую Гетеры,
Гдѣ Пракситель въ чертахъ Киѳеры
Нагую Фрину изваялъ;
И въ воздаянье за свободу
Присуждено ей: въ мѣсяцъ разъ
Въ окнѣ являться на показъ
Разоблаченною—народу.

1862.

ВСЕВОЛОДЪ КРЕСТОВСКІЙ.

ПРИКЛЮЧЕНІЯ ФИЛИППА

ВЪ ЕГО СТРАНСТВОВАНІЯХЪ ПО СВѢТУ.

РОМАНЪ ТЭККЕРЕЯ.

ГЛАВА I.

Докторъ Фелль.

— Не ухаживать за роднымъ сыномъ, когда онъ болѣнъ! сказала моя мать. — Она не заслуживаетъ имѣть сына!

И произнося это исполненное негодованія восклицаніе, мистриссъ Пенденнисъ взглянула на своего собственнаго и единственнаго любимца. Когда она взглянула на меня, я зналъ, что̀ происходило въ ея душѣ. Она нянчила меня, одѣвала въ длинныя платьица и въ маленькіе чепчики, въ первую курточку и въ панталончики. Она не отходила отъ моей постели во время моихъ дѣтскихъ и юношескихъ болѣзней. Она берегла меня всю жизнь, она прижимала меня къ сердцу съ безконечными молитвами и благословеніями. Ее уже нѣтъ съ нами чтобы благословлять насъ и молиться; но и оттуда, куда она переселилась, я знаю, что ея любовь слѣдитъ за мною и часто, часто думаю, что она и теперь здѣсь—только невидимо.

— Мистрисъ Фэрминъ была бы совершенно безполѣзна, заворчалъ докторъ Гуденофъ.—Съ ней сдѣлалась бы истерика, и сидѣлкѣ пришлось бы ухаживать за двумя больными вмѣсто одного.

— Ужъ не говорите этого *мнѣ!* вскричала моя мать, вспыхнувъ.— Неужели вы думаете, что еслибы этотъ ребенокъ (разумѣется она говорила о своемъ ненаглядномъ) былъ болѣнъ, я не пошла бы къ нему?...

— Милая моя, еслибы этотъ ребенокъ былъ голоденъ, вы изрубили бы вашу голову, чтобы сдѣлать ему бульонъ, сказалъ докторъ, прихлебывая чай.

— Potage à la bonne femme, сказалъ мистеръ Пенденнисъ. — Матушка у насъ бываетъ онъ въ клубѣ. Васъ сварили бы съ молокомъ, яйцами и овощами. Васъ поставили бы кипѣть на нѣсколько часовъ въ глиняномъ горшкѣ и...

— Не говорите такихъ ужасовъ, Артуръ! вскричала одна молодая дѣвица, бывшая собесѣдницей моей матери въ тѣ счастливые дни.

— И людямъ, которые васъ знали, вы очень показались бы вкусны.

Дядя мой поглядѣлъ такъ, какъ будто не понялъ этой аллегоріи.

— О чемъ вы говорите? potage à la — какъ это называется? сказалъ онъ.—Я думалъ, что мы говоримъ о мистриссъ Фэрминъ, что́ живетъ въ Старой Паррской улицѣ. Мистриссъ Фэрминъ чертовски деликатная женщина, какъ всѣ женщины этой фамиліи. Мать ея умерла рано. Сестра, мистриссъ Туисденъ, очень деликатна. Она можетъ быть столько же полезна въ комнатѣ больнаго, сколько можетъ быть полезенъ быкъ въ фарфоровой лавкѣ—ей-Богу! да еще она, пожалуй, заразится.

— Да вѣдь и вы, пожалуй, заразитесь, маіоръ! закричалъ докторъ. Вѣдь вы говорите со мною, а я только-что отъ больнаго мальчика? Держитесь подальше, а то я васъ укушу.

Старый джентльмэнъ немножко отодвинулъ свой стулъ.

— Ей-Богу, этимъ нечего шутить, сказалъ онъ — я зналъ людей заразившихся горячкой въ лѣта постарше моихъ. Покрайней мѣрѣ этотъ мальчикъ не сынъ мнѣ, ей-Богу! Я обѣдаю у Фэрмина, который взялъ жену изъ хорошей фамиліи, хотя онъ только докторъ и...

— А позвольте спросить, кто былъ мой мужъ? вскричала мистриссъ Пенденнисъ.

— Только докторъ, подхватилъ Гуденофъ.—Мнѣ очень хочется сію же минуту заразить маіора скарлатиной!

— Отецъ мой былъ докторъ и аптекарь, такъ я слышалъ, сказалъ сынъ вдовы.

— Ну, такъ что́ жъ изъ этого? Хотѣлось бы мнѣ знать... развѣ человѣкъ одной изъ самыхъ древнихъ фамилій въ королевствѣ не имѣетъ

права занимать ученую, полезную, благородную профессію. Братъ мой Джонъ былъ...

— Докторъ! сказалъ я со вздохомъ.

Дядя мой поправилъ свои волосы, поднесъ носовой платокъ къ зубамъ и сказалъ:

— Вздоръ, пустяки—терпѣніе потеряешь съ этими личностями, ей-Богу! Фэрминъ, конечно, докторъ—также какъ и вы—также какъ и другіе; но Фэрминъ воспитанникъ университета и джентльмэнъ. Фэрминъ путешествовалъ, Фэрминъ друженъ съ лучшими людьми въ Англіи, взялъ жену изъ первѣйшей фамиліи. Ей-Богу, сэръ, неужели и вы предполагаете, что женщина, воспитанная въ роскоши, въ Рингудскомъ отели, въ Вальпольской улицѣ, гдѣ она была самовластной госпожей, ей-Богу — неужели вы предполагаете, что такая женщина годится въ сидѣлки къ больному? Она никогда не годилась для этого и ни для чего, кромѣ... (тутъ маіоръ увидалъ улыбки на физіономіяхъ нѣкоторыхъ изъ своихъ слушателей) кромѣ, я говорю, того, чтобы занимать первое мѣсто въ Рингудскомъ отели, и украшать общество и тому подобное. И если такая женщина вздумала убѣжать съ докторомъ своего дяди и выдти за человѣка ниже ея званіемъ — ну, я не вижу, чтобы это было смѣшно, будь я повѣшенъ, если вижу!

— Итакъ она остается себѣ на островѣ Уайтѣ, между тѣмъ какъ бѣдный мальчикъ въ школѣ, сказала со вздохомъ моя мать.

— Фэрминъ долженъ тамъ оставаться. Онъ лечитъ великаго герцога. Тотъ не можетъ быть спокоенъ безъ Фэрмина; онъ далъ ему орденъ Лебедя. Они ворочаютъ всѣмъ въ высшемъ свѣтѣ, и я готовъ держать съ вами пари, Гуденофъ, что мальчикъ, котораго вы лечите, будетъ баронетомъ—если вы не уморите его вашими проклятыми микстурами и пилюлями, ей-Богу!

Докторъ Гуденофъ только нахмурилъ свои большія брови.

Дядя мой продолжалъ:

— Я знаю, что вы хотите сказать. Фэрминъ настоящій джентльмэнъ по наружности—красавецъ. Я помню его отца, Бранда Фэрмина, въ Валенсьеннѣ съ герцогомъ іоркскимъ. Брандъ былъ одинъ изъ красивѣйшихъ мужчинъ въ Европѣ. Его прозвали головней, онъ былъ рыжій, страшный дуэлистъ, застрѣлилъ одного ирландца, остепенился потомъ, и все-таки поссорился съ своимъ сыномъ, который чертовски кутилъ въ молодости. У Фэрмина, конечно, наружность джентльменовская: черные волосы... Отецъ былъ рыжій. Тѣмъ лучше для доктора; но, но мы понимаемъ другъ друга, я думаю, Гуденофъ! Намъ съ вами приходилось видѣть разныя разности въ нашей жизни.

Старикъ подмигнулъ и понюхалъ табаку.

*

— Когда вы возили меня къ Фэрмину въ Паррскую улицу, сказалъ мистеръ Пенденнисъ своему дядѣ, я нашелъ, что домъ не очень веселъ, а хозяйка не очень умна, но всѣ они были чрезвычайно добры и мальчика я очень люблю.

— Его любитъ и дядя его матери, лордъ Рингудъ, вскричалъ маіоръ Пенденнисъ. Этотъ мальчикъ примирилъ свою мать съ ея дядей, послѣ ея замужства.—Вы вѣрно знаете, что она убѣжала съ Фэрминомъ, моя милая?

Матушка сказала, «она слышала что-то объ этой исторіи». И маіоръ опять увѣрилъ, что докторъ Фэрминъ былъ сумасбродный молодой человѣкъ, двадцать лѣтъ тому назадъ. Въ то время, о которомъ я пишу, онъ былъ врачемъ въ плеторическомъ госпиталѣ, докторомъ гранингенскаго великаго герцога и имѣлъ орденъ Чернаго Лебедя, былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ, мужемъ богатой жены и довольно значительной особой.

Что же касается до его сына, такъ какъ имя его красуется во главѣ этихъ страницъ, то вы можете догадаться, что онъ не умеръ отъ болѣзни, о которой мы сейчасъ говорили. За нимъ ухаживала хорошая сидѣлка, хотя мать его была въ деревнѣ. Хотя отецъ его былъ въ отсутствіи, но пригласили очень искуснаго доктора лечить юнаго больнаго и сохранить его жизнь для пользы его фамиліи и для этого разсказа.

Мы продолжали нашъ разговоръ о Филиппѣ Фэрминѣ, его отцѣ, его дядѣ, графѣ, котораго маіоръ Пенденнисъ зналъ коротко, пока не доложили, что подана карета доктора Гуденофа, и нашъ добрый докторъ оставилъ насъ и воротился въ Лондонъ. Нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, кто разговаривалъ въ этотъ лѣтній вечеръ, уже нѣтъ на свѣтѣ, чтобы разговаривать или слушать. Тѣ, которые были молоды тогда, добрались до вершины горы и спускаются уже къ долинѣ тѣней.

— Ахъ!—сказалъ старый маіоръ Пенденнисъ, тряхнувъ своими темнорусыми кудрями, когда докторъ уѣхалъ—вы видѣли, моя добрая душа, когда я заговорилъ объ его confrère, какъ угрюмъ вдругъ сдѣлался Гуденофъ? Они не любятъ другъ друга, моя милая. Двое людей одной профессіи никогда не сходятся между собою, и кромѣ того я не сомнѣваюсь, что и другіе товарищи врачи завидуютъ Фэрмину, потому что онъ живетъ въ лучшемъ обществѣ. Это человѣкъ хорошей фамиліи, моя милая. Уже было большое rapprochement, и если лордъ Рингудъ совершенно съ нимъ примирится, нельзя знать, какое счастье предстоитъ сыну Фэрмина.

Хотя, можетъ быть, докторъ Гуденофъ думалъ довольно презрительно о своемъ собратѣ, но бóльшая часть публики высоко его уважала;

особенно въ маленькомъ обществѣ грей-фрайярскомъ (*), о которомъ навѣрное читатель слышалъ изъ прежнихъ сочиненій настоящаго біографа, докторъ Брандъ Фэрминъ былъ очень большимъ фаворитомъ; его принимали тамъ съ большимъ уваженіемъ и почетомъ. Когда воспитанники въ этой школѣ бывали больны обыкновенными дѣтскими недугами, ихъ лечилъ школьный аптекарь мистеръ Спратъ; и простыми, хотя противными для вкуса лекарствами, бывшими въ употребленіи въ то время, почти всегда успѣвалъ возвращать здоровье своимъ юнымъ паціентамъ. Но если молодой лордъ Эгамъ (сынъ маркиза Эскота, какъ, вѣроятно, извѣстно моему почтенному читателю) дѣлался нездоровъ, а это часто случалось по милости большаго изобилія карманныхъ денегъ и неблагоразумнаго пристрастія къ кандитерскимъ произведеніямъ, или если въ школѣ случалась какая нибудь опасная болѣзнь, тогда тотчасъ посылали за знаменитымъ докторомъ Фэрминомъ—и ужъ вѣрно болѣзнь была опасна, если *онъ* не могъ вылечить ее. Докторъ Фэрминъ былъ школьнымъ товарищемъ и остался искреннимъ другомъ директора этой школы. Когда у молодаго лорда Эгама, уже упомянутаго (онъ былъ у насъ единственнымъ лордомъ и поэтому мы нѣсколько гордились нашимъ возлюбленнымъ юношей и берегли его) сдѣлалась рожа, отъ которой голова его раздулась какъ тыква, докторъ вылечилъ его отъ этой болѣзни, и первый воспитанникъ сказалъ ему привѣтствіе въ своей латинской рѣчи на публичномъ актѣ въ школѣ о его необыкновенныхъ познаніяхъ и о его божественномъ удовольствіи salutem hominibus dando (возвращать людямъ здоровье). Директоръ обернулся къ доктору Фэрмину и поклонился; учителя и важные господа начали перешептываться и глядѣли на него, воспитанники тоже глядѣли на него—докторъ склонилъ свою красивую голову къ своей манишкѣ. Его скромные глаза не поднимались съ бѣлой, какъ снѣгъ подкладки шляпы, лежавшей на его колѣняхъ. Шопотъ одобренія пробѣжалъ по старинной залѣ, зашумѣли новые мундиры учителей, началось сморканье, когда ораторъ перешелъ къ другой тэмѣ.

Среди всеобщаго энтузіазма, только одинъ членъ въ аудиторіи высказалъ презрѣніе и несогласіе. Этотъ джентльмэнъ прошепталъ своему товарищу въ началѣ фразы, относившейся къ доктору: «пустяки!» и прибавилъ, грустно смотря на предметъ всѣхъ этихъ похвалъ:

— Онъ не понимаетъ этой латинской фразы. Впрочемъ это все вздоръ!

— Шшъ, Филь! сказалъ его другъ, и лицо Филиппа вспыхнуло, когда докторъ Фэрминъ, поднявъ глаза, поглядѣлъ на него съ минуту,

---

(*) Школа, гдѣ прежде былъ монастырь картезіанцевъ. *Пр. Перев.*

потому что предметъ всѣхъ этихъ похвалъ былъ никто иной, какъ отецъ Филя.

Болѣзнь, о которой мы говорили, давно прошла. Филиппъ уже не былъ школьникомъ, но находился второй годъ въ университетѣ и вмѣстѣ съ нѣсколькими другими молодыми людьми, бывшими воспитанниками этой школы, явился на ежегодный, торжественный обѣдъ. Почести обѣда въ этомъ году принадлежали доктору Фэрмину, даже болѣе, чѣмъ лорду Эскоту съ его звѣздой и лентой, который вошелъ въ училищную церковь рука-объ-руку съ докторомъ. Его сiятельство растрогался, когда въ послѣобѣденномъ спичѣ намекнулъ на неоцѣненныя услуги и искусство его испытаннаго стараго друга, который былъ его товарищемъ въ этихъ стѣнахъ (громкiя восклицанiя)—чья дружба была усладою его жизни—и онъ молился, чтобы эта дружба перешла въ наслѣдство къ ихъ дѣтямъ. (Громкiя восклицанiя, послѣ которыхъ заговорилъ докторъ Фэрминъ).

Спичъ доктора былъ, можетъ статься, довольно обыкновененъ; латинскiя цитаты его были не совсѣмъ новы; но Филю не слѣдовало такъ сердиться или такъ дурно вести себя. Онъ прихлебывалъ хересъ, глядѣлъ на своего отца и бормоталъ замѣчанiя, вовсе не лестныя для его родителя.

— Посмотрите, говорилъ онъ:—теперь онъ растрогается. Онъ поднесетъ носовой платокъ къ губамъ и покажетъ свой брильянтовый перстень. Я вамъ говорилъ! Ужъ это черезъ-чуръ. Я не могу проглотить этого... этого хереса. Уйдемте-ка отсюда покурить куда нибудь.

Филь всталъ и вышелъ изъ столовой, именно въ ту минуту, когда отецъ его увѣрялъ, съ какой радостью, съ какой гордостью, съ какимъ восторгомъ думалъ онъ, что дружба, которою его благородный другъ удостоивалъ его, должна была перейти къ ихъ дѣтямъ, и что когда онъ оставитъ этотъ мiръ (крики «нѣтъ, нѣтъ! Дай Богъ вамъ жить тысячу лѣтъ!») ему будетъ радостно думать, что сынъ его всегда найдетъ друга и покровителя въ благородномъ графскомъ домѣ Эскотъ.

Мы нашли экипажи, ожидавшiе насъ у воротъ школы, и Филиппъ Фэрминъ, толкнувъ меня въ карету отца, приказалъ лакею ѣхать домой, говоря, что докторъ воротится въ каретѣ лорда Эскота. Мы отправились въ Старую Паррскую улицу, гдѣ много разъ ласково принимали меня, когда я былъ мальчикомъ. И мы удалились въ собственный прiютъ Филя на задней сторонѣ огромнаго дома, курили сигары и разговаривали объ училищной годовщинѣ и о произнесенныхъ рѣчахъ, и о бывшихъ воспитанникахъ нашего выпуска, и о томъ, какъ Томпсонъ женился, а Джонсонъ поступилъ въ армiю, а Джэксонъ (не рыжiй Джэксонъ съ глазами какъ у свиньи, а другой) былъ первымъ

на экзаменѣ и такъ далѣе; мы весело занимались этой болтовней, когда отецъ Филя растворилъ высокую дверь кабинета.

— Вотъ и отецъ! заворчалъ Филь—чтó ему нужно? прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

«Отецъ» когда я взглянулъ на него, былъ не весьма пріятнымъ предметомъ для зрѣлища. У доктора Фэрмина были очень бѣлые фальшивые зубы, которые, можетъ статься, были нѣсколько велики для его рта, и зубы эти какъ-то свирѣпо оскалились при газовомъ свѣтѣ. На щекахъ его были черные бакенбарды, и надъ сверкающими глазами свирѣпыя черныя брови, и плѣшивая голова лоснилась, какъ бильярдный шаръ. Вы едва узнали бы въ немъ оригинала того угрюмо-философическаго портрета, которымъ всѣ паціенты восхищались въ пріемной доктора.

— Я узналъ, Филиппъ, что ты взялъ мою карету, сказалъ отецъ:— и мы съ лордомъ Эскотомъ должны были идти пѣшкомъ до извощика,

— Развѣ у него не было кареты? Я думалъ, что, разумѣется, у него будетъ свой экипажъ въ такой праздничный день, и что вы пріѣдете домой съ лордомъ, сказалъ Филиппъ.

— Я обѣщалъ завезти *его* домой, сэръ! сказалъ отецъ.

— Если такъ, сэръ, мнѣ очень жаль, коротко отвѣчалъ сынъ.

— Жаль! закричалъ отецъ.

— Я не могу сказать ничего болѣе, сэръ, и мнѣ очень жаль, отвѣчалъ Филь и стряхнулъ въ каминъ пепелъ съ своей сигары.

Посторонній въ домѣ не зналъ, какъ глядѣть на хозяина и его сына. Между ними очевидно происходила какая нибудь ужасная ссора. Старикъ глядѣлъ сверкающими глазами на юношу, который спокойно смотрѣлъ въ лицо отцу. Злая ярость и ненависть сверкали изъ глазъ доктора, потомъ онъ бросилъ на гостя взглядъ дикой жалобной мольбы, который было очень трудно вынести. Среди какой мрачной семейной тайны находился я? Чтó значилъ исполненный ужаса гнѣвъ отца и презрѣніе сына?

— Я, я обращаюсь къ вамъ, Пенденнисъ, сказалъ докторъ, задыхаясь и блѣдный какъ смерть.

— Начать намъ ab ovo, сэръ? сказалъ Филь.

Опять выраженіе ужаса пробѣжало по лицу отца.

— Я, я обѣщаю завезти домой одного изъ первѣйшихъ вельможъ въ Англіи, задыхаясь, проговорилъ докторъ—съ публичнаго обѣда въ моей каретѣ, а мой сынъ беретъ ее и заставляетъ меня и лорда Эскота идти пѣшкомъ! Хорошо это, Пенденнисъ? Такъ-ли долженъ поступать джентльмэнъ съ джентльмэномъ; сынъ съ отцомъ?

— Нѣтъ, сэръ, сказалъ я серьёзно:—это непростительно.

— Я дѣйствительно былъ оскорбленъ ожесточенiемъ и неповиновенiемъ молодаго человѣка.

— Я сказалъ вамъ, что это была ошибка! закричалъ Филь, покраснѣвъ — я слышалъ, какъ лордъ Эскотъ приказывалъ подать свою карету; я не сомнѣвался, что онъ отвезетъ отца моего домой. Ѣхать въ каретѣ съ лакеемъ на запяткахъ вовсе для меня не весело, я гораздо болѣе предпочитаю извозщика и сигару. Это была ошибка, я жалѣю объ этомъ—вотъ! Проживи я сто лѣтъ, я не могу сказать ничего больше.

— Если тебѣ жаль, Филиппъ, застоналъ отецъ:—этого довольно. Помните, Пенденнисъ, когда, когда мой сынъ и я не были на такой, на такой ногѣ...

Онъ взглянулъ на портретъ, висѣвшiй надъ головою Филя—портретъ матери Филя, той самой лэди, о которой моя мать говорила въ тотъ вечеръ, когда мы разговаривали о болѣзни мальчика. Обѣихъ дамъ уже не было теперь на свѣтѣ, и образъ ихъ остался только нарисованной тѣнью на стѣнѣ.

Отецъ принялъ извиненiе, хотя сынъ вовсе не извинялся. Я взглянулъ на лицо стараго Фэрмина, на характеръ, написанный на немъ. Я вспомнилъ такiя подробности его исторiи, какiя были разсказаны мнѣ и очень хорошо припоминалъ то чувство недовѣрiя и отвращенiя, которое пробѣжало въ душѣ моей, когда я въ первый разъ увидалъ красивое лицо доктора, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда дядя мой въ первый разъ отвезъ меня къ доктору въ Старую Паррскую улицу—маленькiй Филь былъ тогда бѣлокурымъ, хорошенькимъ ребенкомъ, который только что надѣлъ первыя панталончики, а я былъ въ пятомъ классѣ въ школѣ.

Отецъ мой и докторъ Фэрминъ были членами медицинской профессiи. Они воспитывались въ той самой школѣ, куда родители посылали своихъ сыновей изъ поколѣнiя въ поколѣнiе и задолго до того какъ узнали наконецъ, что это мѣсто нездорово. Кажется, во время чумы тамъ много было похоронено людей. Но еслибы эта школа находилась и въ самомъ живописномъ англiйскомъ болотѣ, общее здоровье мальчиковъ не могло бы быть лучше. Мы мальчики только слышали всегда объ эпидемiяхъ, случавшихся въ другихъ школахъ, и почти жалѣли, зачѣмъ онѣ не переходятъ къ намъ, чтобы мы могли запереться и подольше погулять. Даже болѣзнь, которая впослѣдствiи случилась съ Филемъ Фэрминомъ, не перешла ни къ кому другому— всѣ мальчики по счастью уѣхали домой на праздники въ тотъ самый день, когда занемогъ бѣдный Филь; но объ этой болѣзни мы скажемъ болѣе впослѣдствiи. Когда рѣшили, что маленькiй Филь Фэрминъ бу-

детъ отданъ въ эту школу, отецъ Филя вспомнилъ, что у маіора Пенденниса, котораго онъ встрѣчалъ въ свѣтѣ и въ обществѣ, былъ тамъ племянникъ, который могъ защищать мальчика и маіоръ отвезъ своего племянника къ доктору и мистриссъ Фэрминъ въ одно воскресенье послѣ обѣдни, и мы завтракали въ Старой Паррской улицѣ, а потомъ маленькій Филь былъ представленъ мнѣ, и я обѣщалъ взять его подъ свое покровительство. Это былъ простой, безъискуственный ребенокъ, который не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о достоинствѣ воспитанника пятаго класса. Онъ безъ всякаго страха говорилъ со мною и съ другими и остался такимъ на всегда. Онъ спросилъ моего дядю, отчего у него такіе странные волосы. Онъ свободно бралъ лакомства за столомъ. Я помню, что разъ или два онъ ударилъ меня своимъ кулачкомъ, и эта вольность сначала поразила меня изумленіемъ, а потомъ мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ смѣшно, что я громко расхохотался. Видите, это было все равно, какъ еслибы какой нибудь иностранецъ толкнулъ Папу въ бокъ и назвалъ его «старикашкой, или еслибы Джэкъ (*) дернулъ за носъ великана, или еслибы прапорщикъ пригласилъ герцога Веллингтона выпить съ нимъ вина. Даже въ тѣ ранніе годы я живо чувствовалъ юморъ и меня чрезвычайно позабавила эта штука.

— Филиппъ! закричала мама:—ты ушибешь мистера Пенденниса.

— Я съ ногъ его свалю! вскрикнулъ Филь.

Представьте! онъ собьетъ съ ногъ *меня — меня*, воспитанника пятаго класса.

— Этотъ ребенокъ настоящій Геркулесъ, замѣтила мать.

— Онъ задушилъ двѣ змѣи въ колыбели, замѣтилъ докторъ, глядя на меня.

Тогда-то, какъ я помню, онъ представился мнѣ докторомъ Феллемъ (**).

(*) Герой дѣтской повѣсти подъ названіемъ: *Джэкъ убійца великановъ. Пр. перев.*

(**) У англичанъ есть эпиграмма:

J do not like you doctor Fell,
The reason why I cannot tell,
But this alone I know full well,
I do not like you doctor Fell.

(Я не люблю тебя, докторъ Фелль, не могу сказать по какой причинѣ, но только это я знаю очень хорошо, что я не люблю тебя, докторъ Фелль). Это подражаніе латинской эпиграммѣ Марціала:

«Non amo te, Sabidi non possum dicere quare,
Hoc tantum repets: non amote, Sabidi».

Прим. перев.

— Полно, докторъ Фэрминъ! закричала мамà—я терпѣть не могу змѣй. Я помню, я видѣла змѣю въ Римѣ, когда мы гуляли однажды большую, огромную змѣю; какая она была противная—я закричала и чуть не упала въ обморокъ; я читала, что ихъ заговариваютъ въ Индіи, навѣрно и вы читали, мистеръ Пенденнисъ; мнѣ говорили, что вы очень свѣдущи, а я такъ вовсе нѣтъ, а мнѣ бы очень хотѣлось... но за то мужъ мой очень свѣдущъ, и Филь будетъ со временемъ. Ты будешь очень свѣдущій мальчикъ, дружокъ? Онъ былъ названъ въ честь моего милаго папà, который былъ убитъ при Бусако, когда я была совсѣмъ, совсѣмъ маленькая и мы носили трауръ, а потомъ насъ взялъ къ себѣ дядюшка Рингудъ; но у Маріи и у меня было свое собственное состояніе, и я ужъ никакъ не думала, что выйду за доктора, мнѣ точно также могло бы придти въ голову выдти замужъ за грума дядюшки Рингуда! Но знаете, мужъ мой одинъ изъ талантливѣйшихъ людей *на свѣтѣ*. Ужъ не говори — это такъ, дружокъ, ты самъ это знаешь; а когда человѣкъ талантливъ, я ни во чтò ставлю его званіе, я всегда говорила дядюшкѣ Рингуду: «Я выду за талантливаго человѣка, потому что я обожаю талантливыхъ людей;» и вышла за тебя, докторъ Фэрминъ, ты это знаешь—а этотъ ребенокъ твой портретъ. Вы будете добры къ нему въ школѣ, сказала бѣдная лэди, обернувшись ко мнѣ со слезами на глазахъ—талантливые люди всегда добры, кромѣ дядюшки Рингуда, онъ былъ очень...

— Не хотите ли еще вина, мистеръ Пенденнисъ? спросилъ докторъ—все-таки докторъ Феллъ, хотя онъ былъ очень ласковъ ко мнѣ.— Я отдаю этого мальчугана на ваше попеченіе, я знаю, что вы побережете его. Я надѣюсь, что вы сдѣлаете намъ удовольствіе приходить въ Паррскую улицу, когда будете свободны. При жизни моего отца, мы обыкновенно приходили домой изъ школы по субботамъ и отправлялись въ театръ.

И докторъ дружески пожалъ мнѣ руку. Я долженъ сказать, что во все время моего знакомства съ нимъ, онъ постоянно былъ ко мнѣ добръ. Когда мы ушли, мой дядя Пенденнисъ разсказалъ мнѣ множество исторій о графѣ и фамиліи Рингудъ, и какъ докторъ Фэрминъ женился—женился по любви на этой лэди, дочери Филиппа Рингуда, который былъ убитъ при Бусако; и какая она была красавица, и grande dame всегда, и если не самая умная, то конечно самая добрая и любезная женщина на свѣтѣ.

Въ то время я привыкъ принимать мнѣніе моего дяди съ такимъ уваженіемъ, что и эти свѣдѣнія принялъ за подлинныя. Портретъ мистриссъ Фэрминъ дѣйствительно былъ прекрасенъ; его рисовалъ мистеръ Гарло въ тотъ годъ, какъ онъ былъ въ Римѣ и когда въ восемнад-

цать дней кончилъ копію съ Преображенія, къ восторгу всей академіи; но я съ своей стороны, только помню слабую, худощавую, увядшую лэди, которая выходила изъ своей уборной всегда чрезвычайно поздно, и устарѣлыя улыбки и гримасы которой всегда подстрекали мой юношескій юморъ. Она обыкновенно цѣловала Филя въ лобъ, и держа руку мальчика въ своей худощавой рукѣ, говорила:

— Кто бы подумалъ, что такой большой мальчикъ мой сынъ?

— Будьте добры къ нему, когда меня не станетъ, сказала она мнѣ со вздохомъ въ одинъ воскресный вечеръ, когда я прощался съ нею, и глаза ея наполнились слезами, и она въ послѣдній разъ протянула мнѣ свою исхудалую руку.

Докторъ, читавшій у камина, обернулся и нахмурился на нее изъ подъ своего высокаго лоснящагося лба.

— У тебя нервы разстроены, Луиза, ты лучше ступай въ свою спальню, я ужъ говорилъ тебѣ, сказалъ онъ рѣзко.—Юные джентльмэны, вамъ пора отправляться въ Грей-Фрайярсъ. Извощикъ у дверей, Брэйсъ?

И онъ вынулъ свои часы, большіе блестящіе часы, по которымъ онъ щупалъ пульсъ столькихъ знаменитыхъ особъ, которыхъ его удивительное искусство спасло отъ смерти. При разставаніи Филь обнялъ свою бѣдную мать и поцаловалъ ее подъ глянцовитыми локонами, локонами накладными; и рѣшительно взглянулъ въ лицо отцу (взглядъ котораго обыкновенно опускался передъ взглядомъ мальчика), и угрюмо простился съ нимъ, прежде чѣмъ мы отправились въ Грей-Фрайярсъ.

ГЛАВА II.

Въ школѣ и дома.

Я обѣдалъ вчера съ тремя джентльмэнами, возрастъ которыхъ можно было угадать по ихъ разговору, состоявшему по большей части изъ воспоминаній объ Итонѣ и насмѣшекъ надъ докторомъ Китомъ (*). Каждый, описывая, какъ его сѣкли, подражалъ всѣми силами манерѣ и способу операціи знаменитаго доктора. Его маленькія замѣчанія во время этой церемоніи припоминались съ чрезвычайною шутливостью, даже свистъ розогъ пародировался съ удивительной вѣрностью; и послѣ довольно продолжительнаго разговора, началось описаніе той ужас-

(*) Бывшій директоръ Итонской школы. *Пр. перев.*

ной ночи, когда докторъ вызвалъ цѣлую толпу мальчиковъ съ постелей и сѣкъ цѣлую ночь, и пересѣкъ Богъ знаетъ сколько мятежниковъ. Всѣ эти взрослые люди смѣялись, болтали, радовались и опять помолодѣли, разсказывая эти исторіи; каждый изъ нихъ искренно и убѣдительно просилъ посторонняго понять, что Китъ былъ настоящій джентльмэнъ. Поговоривъ о докторѣ Китѣ, покрайней мѣрѣ съ часъ, они извинились передо мной, что распространились о предметѣ интересномъ только для нихъ, но, право, разговоръ ихъ чрезвычайно занималъ и забавлялъ меня, и я готовъ выслушать опять всѣ ихъ веселыя исторійки.

Не сердись, мой снисходительный читатель, если я разболтался о Грей-Фрайярсѣ, и опять изъ этой старинной школы беру героевъ нашего разсказа. Мы бываемъ молоды только разъ въ жизни. Когда мы вспоминаемъ молодость, мы еще молоды. Тотъ, надъ чьей головой пронеслись восемь или девять люстръ, если желаетъ писать о мальчикахъ, долженъ вспоминать то время, когда онъ самъ былъ мальчикомъ. Привычки ихъ измѣняются; талія ихъ становится или длиннѣе, или короче, воротнички ихъ торчатъ больше или меньше, но мальчикъ все-таки мальчикъ и въ царствованіе короля Георга, и въ царствованіе его августѣйшей племянницы, когда-то нашей дѣвственной королевы, а теперь заботливой матери многихъ сыновей. И мальчики честны, веселы, лѣнивы, шаловливы, робки, храбры, прилежны, эгоистичны, великодушны, малодушны, лживы, правдивы, добры, злы и теперь какъ прежде; тотъ съ кѣмъ мы больше всего будемъ имѣть дѣла, уже джентльмэнъ зрѣлыхъ лѣтъ, прогуливающійся по улицѣ съ своими собственными мальчиками. Онъ не погибнетъ въ послѣдней главѣ этихъ мемуаровъ, не умретъ отъ чахотки; его возлюбленная не будетъ плакать возлѣ его постели, онъ не застрѣлится съ отчаянія, потому что она убѣжитъ съ его соперникомъ, не убьется, вылетѣвъ изъ гига, не будетъ никакимъ другимъ образомъ убитъ въ послѣдней главѣ. Нѣтъ, нѣтъ, у насъ не будетъ печальнаго конца: Филиппъ Фэрминъ здоровъ и веселъ до этой минуты, не долженъ никому ни шиллинга и можетъ совершенно спокойно попивать свой портвейнъ. Итакъ, любезная миссъ, если вы желаете чахоточнаго романа — этотъ для васъ негодится. Итакъ, юный джентльмэнъ, если вы любите меланхолію, отчаяніе и сардоническую сатиру, сдѣлайте одолженіе возьмите какую нибудь другую книгу. Что у Филиппа будутъ свои непріятности—это разумѣется само собой; дай Богъ, чтобы они были интересны, хотя не будутъ имѣть печальнаго конца! Что онъ будетъ падать и спотыкаться на своемъ пути иногда — это ужъ непремѣнно. Да и съ кѣмъ этого не случает-

ся на нашемъ жизненномъ пути! Не вызываетъ ли наше несчастье сострадания нашихъ ближнихъ и такимъ образомъ не выходитъ ли добра изъ зла? Когда путешественникъ (о которомъ говорилъ Іисусъ) попалъ въ руки разбойниковъ, его несчастье тронуло много сердецъ—кромѣ его собственнаго—разбойниковъ, израниввшихъ его, левита и священника, которые прошли мимо него, когда онъ лежалъ, обливаясь кровью, смиреннаго самарянина, чья рука облила масломъ его раны.

И такъ Филиппа Фэрмина отвезла въ школу его мама въ своей каретѣ; она умоляла ключницу имѣть особенное попеченіе объ этомъ ангельчикѣ, а только-что бѣдная лэди повернулась къ ней спиной—мистриссъ Бёнсъ опорожнила чемоданъ мальчика въ одинъ изъ шестидесяти или семидесяти маленькихъ шкапиковъ, гдѣ лежали одежда и разныя мелочи другихъ воспитанниковъ; потомъ мистриссъ Фэрминъ пожелала увидаться съ мистеромъ К., въ домѣ котораго Фэрминъ долженъ былъ имѣть квартиру со столомъ, и просила его, и объясняла ему многое-множество, какъ напримѣръ, чрезвычайную деликатность сложенія ребенка и проч. и проч.; мистеръ К., который былъ очень добродушенъ, ласково погладилъ мальчика по головѣ, и пошелъ за другимъ Филиппомъ, Филиппомъ Рингудомъ, кузеномъ Филя, который пріѣхалъ въ Грей-Фрайярсъ часа за два передъ тѣмъ, и мистеръ К. велѣлъ Рингуду позаботиться о мальчикѣ; а мистриссъ Фэрминъ, всхлипывая и закрываясь носовымъ платкомъ, пролепетала благословеніе ухмыляющемуся юношѣ и хотѣла было дать мистеру Рингуду соверенъ, но остановилась, подумавъ, что онъ уже слишкомъ большой мальчикъ, и что ей не годится позволять себѣ такую смѣлость и тотчасъ ушла; а маленькаго Филя Фэрмина повели въ длинную комнату къ его товарищамъ въ домѣ мистера К.; у него было много денегъ и, натурально, на другой день послѣ классовъ онъ пробрался въ кандитерскую, но кузенъ Рингудъ встрѣтилъ его и укралъ у него половину купленныхъ пирожковъ. Черезъ двѣ недѣли гостепріимный докторъ и его жена пригласили своего юнаго родственника въ Старую Паррскую улицу, и оба мальчика отправились туда; но Филь не упомянулъ своимъ родителямъ объ отнятыхъ пирожкахъ, можетъ быть его удержали страшныя угрозы кузена, который обѣщалъ оттузить его, когда они воротятся въ школу, если мальчикъ разскажетъ объ этомъ. Впослѣдствіи мистера Рингуда приглашали въ Старую Паррскую улицу раза два въ годъ; но ни мистриссъ Фэрминъ, ни докторъ, ни мистеръ Фэрминъ не любили сына баронета, а мистриссъ Фэрминъ называла его запальчивымъ, грубымъ мальчикомъ.

Я, съ своей стороны, внезапно и рано оставилъ школу и моего маленькаго protégé. Его бѣдная мать, обѣщавшая сама пріѣзжать за

нимъ каждую субботу, не сдержала своего обѣщанія. Смитфильдъ далеко отъ Пиккадилли; а разъ сердитая корова разцарапала рогами дверцу ея кареты, заставивъ лакея спрыгнуть съ запятокъ, прямо въ свиной хлѣвъ, и сама лэди почувствовала такое потрясеніе, что не удивительно, если боялась послѣ ѣздить въ Сити. Это приключеніе она часто разсказывала намъ. Анекдоты ея были немногочисленны, но она разсказывала ихъ безпрестанно. Иногда въ воображеніи я могу слышать ея безпрерывную простую болтовню, видѣть ея слабые глаза, когда она лепетала безсознательно, и наблюдать за мрачными взглядами ея красиваго, молчаливаго мужа, хмурившаго свои брови и улыбавшагося сквозь зубы. Мнѣ кажется, онъ скрежеталъ этими зубами иногда съ сдержанной яростью. Признаться, слышать ея безконечное болтанье ему надо было имѣть большое терпѣніе. Можетъ быть онъ дурно обращался съ нею, но она раздражала его. Она, съ своей стороны, можетъ быть была не очень умная женщина, но она была добра ко мнѣ. Не дѣлала ли ея ключница для меня самые лучшіе торты, не откладывала ли лакомствъ съ большихъ обѣдовъ для молодыхъ джентльменовъ, когда они пріѣзжали изъ школы домой? Не давалъ ли мнѣ денегъ ея мужъ? Послѣ того какъ я видѣлъ доктора Фелля нѣсколько разъ, первое непріятное впечатлѣніе, произведенное его мрачной физіономіей и зловѣщей красотой, исчезло. Онъ былъ джентльмэнъ. Онъ жилъ въ большомъ свѣтѣ, о которомъ разсказывалъ анекдоты, восхитительные для мальчиковъ, и передавалъ мнѣ бутылку, какъ будто я былъ взрослый мужчина.

Я думаю и надѣюсь, что я помнилъ приказаніе бѣдной мистриссъ Фэрминъ быть добрымъ къ ея мальчику. Пока мы оставались вмѣстѣ въ Грей-Фрайярсѣ я былъ защитникомъ Филиппа, когда ему было нужно мое покровительство, хотя, разумѣется, я не могъ всегда находиться при немъ, чтобы избавлять маленькаго шалуна отъ всѣхъ ударовъ, которые направлялись на его юное личико бойцами его роста. Между нами было семь или восемь лѣтъ разницы (онъ говоритъ десять—это вздоръ, я это опровергаю); но я всегда отличался моею любезностью, и несмотря на разницу въ нашихъ лѣтахъ, часто любезно принималъ приглашеніе его отца, который сказалъ мнѣ разъ навсегда, чтобы я бывалъ у него по субботамъ или воскресеньямъ, когда только мнѣ хотѣлось проводить Филиппа домой.

Такое приглашеніе пріятно всякому школьнику. Уѣхать изъ Смитфильда, и показать свое лучшее платье въ Бондской улицѣ всегда было весело. Чванно расхаживать по парку въ воскресенье и кивать головою товарищамъ, которые тоже тамъ расхаживали, было лучше чѣмъ

оставаться въ школѣ «учиться по-гречески», какъ была поговорка, или ѣсть за обѣдомъ вѣчный ростбифъ и слушать двѣ проповѣди въ церкви. Въ Лондонѣ, можетъ быть, были болѣе веселыя улицы, чѣмъ Старая Паррская, но пріятнѣе было находиться тамъ нежели смотрѣть на какой-то закоулокъ черезъ стѣны Грей-Фрайярса; и такъ настоящій біографъ и покорнѣйшій слуга читателя находилъ домъ доктора Фэрмина пріятнымъ убѣжищемъ. Мама часто прихварывала, а когда была здорова, выѣзжала въ свѣтъ съ своимъ мужемъ, но для насъ мальчиковъ всегда былъ хорошій обѣдъ съ любимыми блюдами Филя; а послѣ обѣда мы отправлялись въ театръ, вовсе не считая унизительнымъ сидѣть въ партерѣ съ мистеромъ Брэйсомъ, довѣреннымъ слугою доктора. По воскресеньямъ мы отправлялись въ церковь, а вечеромъ въ школу; докторъ почти всегда давалъ намъ денегъ. Если онъ не обѣдалъ дома (а признаюсь, его отсутствіе не слишкомъ портило наше удовольствіе), Брэйсъ клалъ конвертики съ деньгами на сюртуки молодыхъ джентльмэновъ, а мы перекладывали это въ карманы. Кажется школьники пренебрегаютъ такими подарками въ настоящія безкорыстныя времена.

Все въ домѣ доктора Фэрмина было такъ прекрасно, какъ только могло быть, однако какъ-то тамъ не было весело. На полиняломъ, турецкомъ коврѣ шаговъ не было слышно; комнаты были большія и всѣ кромѣ столовой въ какомъ-то тускломъ полусвѣтѣ. Портретъ мистриссъ Фэрминъ глядѣлъ на насъ со стѣны и слѣдовалъ за нами дикими глазами фіалковаго цвѣта. У Филиппа были такіе же странные свѣтлые фіалковые глаза и такіе же каштановые волосы; въ портретѣ они падали длинными безпорядочными прядями на плечи лэди, облокотившейся голыми руками на арфу. Надъ буфетомъ висѣлъ портретъ доктора въ черномъ бархатномъ сюртукѣ съ мѣховымъ воротникомъ; рука его лежала на черепѣ, какъ Гамлета. Черепы быковъ съ рогами, перевитыми гирляндами (*), составляли веселое украшеніе карниза, на боковомъ столикѣ красовалась пара вазъ, подаренныхъ признательными паціентами; эти вазы казались скорѣе годными для похороннаго пепла, чѣмъ для цвѣтовъ или вина. Брэйсъ, буфетчикъ, важнымъ видомъ и костюмомъ походилъ на похороннаго подрядчика. Лакей тихо двигался туда и сюда, принося намъ обѣдъ; мы всегда говорили вполголоса за обѣдомъ.

— Эта комната не веселѣе утромъ, когда здѣсь сидятъ больные, увѣряю тебя, говаривалъ Филь.

(*) Обыкновенный архитектурный орнаментъ. *Прим. перев.*

Дѣйствительно, мы могли легко вообразить, какъ она казалась печальна. Гостиная была обита обоями цвѣта ревеня (изъ привязанности отца къ своему ремеслу, говорилъ мистеръ Филь), тамъ стоялъ рояль, арфа въ углу, въ кожаномъ футлярѣ, къ которой томная хозяйка не прикасалась никогда; и лица всѣхъ казались блѣдными и испуганными въ большихъ зеркалахъ, которыя отражали васъ безпрестанно, такъ что вы исчезали далеко, далеко.

Старая Паррская улица была нѣсколько поколѣній мѣстомъ жительства докторовъ и хирурговъ. Мнѣ кажется, дворяне, для которыхъ эта улица назначалась въ царствованіе перваго Георга, бѣжали оттуда, находя сосѣдство слишкомъ печальнымъ, а джентльмэны въ черныхъ сюртукахъ овладѣли позолоченными мрачными комнатами, которыхъ бросило модное общество. Эти измѣненія моды были всегда для меня предметомъ глубокаго соображенія. Почему никто не прочтетъ нравоученій про Лондонъ, какъ про Римъ, Баальбекъ или Трою. Я люблю гулять между Евреями въ Уардоурской улицѣ, и воображать это мѣсто такимъ, какимъ оно было прежде, наполненномъ портшезами и позолоченными колесницами, съ факелами, сверкавшими въ рукахъ бѣгущихъ слугъ. Я нахожу угрюмое удовольствіе при мысли, что Гольдингскій сквэръ былъ когда-то пріютомъ аристократіи, а Монмоутскую улицу любилъ модный свѣтъ. Что можетъ помѣшать намъ, лондонскимъ жителямъ, задумываться надъ упадкомъ и паденіемъ мірскихъ величій и читать нашу скудную мораль? Покойный мистеръ Гиббонъ размышлялъ о своей исторіи, облокотясь о коллону Капитолія: почему и мнѣ не задуматься о моей исторіи, прислонясь къ аркадѣ Пантеона? Не римскаго Пантеона, близъ піаццы Навона, гдѣ поклонялись безсмертнымъ богамъ—безсмертнымъ богамъ, которые однако умерли,—но Пантеона въ Оксфордской улицѣ, милостивыя государыни, гдѣ вы покупаете ноты, помаду, стекло и дѣтское бѣлье, и который также имѣетъ свою исторію. Развѣ не отличались тамъ Сельвинъ, Вальполь, Марчъ и Карлейль? Развѣ принцъ Флоризель не красовался въ этой залѣ въ своемъ домино, не танцовалъ тамъ въ напудреномъ великолѣпіи? А когда придверники не пустили туда хорошенькую Софи Бэддли, развѣ молодые люди, ея обожатели, не вынули своихъ рапиръ и не поклялись убить придверника, и, скрестивъ сверкающее оружіе надъ головою очаровательницы, не сдѣлали для нея торжественно арку, подъ которой она прошла, улыбавшаяся, раздушенная и нарумяненная? Жизнь улицъ похожа на жизнь людей, и почему бы уличному проповѣднику не взять текстомъ своей проповѣди камни въ канавкѣ? Ты была когда-то пріютомъ моды, о Монмоутская улица! Не сдѣлать ли мнѣ изъ этой сладкой мысли текстъ для нравоучительной рѣчи, и вызвать изъ этой раз-

валины полезныя заключенія. Не вспомнить ли мнѣ блестящее общество, этой нѣкогда аристократической улицы и яркія ея иллюминаціи; какъ мы угощали здѣсь благородную юную компанію рыцарскихъ надеждъ и высокаго честолюбія, стыдливыхъ мыслей въ бѣлоснѣжной одеждѣ, безукоризненной и дѣвственной. Взгляните въ амбразурѣ окна, гдѣ вы сидѣли и смотрѣли на звѣзды, пріютившись возлѣ вашей первой возлюбленной, виситъ старое платье въ лавкѣ мистера Моза—оно продается очень дешево; изношенные, старые сапоги, запачканные Богъ знаетъ въ какой грязи—тоже очень дешево. Посмотрите на улицѣ, можетъ быть, когда-то усыпанной цвѣтами—нищіе дерутся за гнилыя яблоки или валяется пьяная торговка. О, Боже! О мои возлюбленные слушатели! Я говорю вамъ эту обветшалую проповѣдь уже много лѣтъ. О, мои веселые собесѣдниики, я выпилъ много чарокъ съ вами, и всегда находилъ vanitas vanitatum на днѣ бокала!

Я люблю читать нравоученія, когда прохожу мимо этого мѣста. Садъ теперь заглохъ, аллеи заросли мхомъ, статуи стоятъ съ разбитыми носами, розы завяли, а соловьи перестали любиться. Старая Паррская улица, улица погребальная; экипажи проѣзжающіе здѣсь должны бы украшаться перьями, а лакеи, отворяющіе двери этихъ домовъ, должны бы носить плерезы—такъ это мѣсто поражаетъ васъ теперь, когда вы проходите по обширной, пустой мостовой. Вы желчны, мой добрый другъ. Ступайте-ка да заплатите гинею любому изъ докторовъ, которые живутъ въ этихъ домахъ; здѣсь есть еще доктора. Онъ пропишетъ вамъ лекарство. Господи помилуй! въ *мое* время для насъ, воспитанниковъ пятаго класса, это мѣсто было весьма сносно. Желтый лондонскій туманъ не нагонялъ сырость на наши души и не мѣшалъ намъ ходить въ театръ: смотрѣть на рыцарскаго Чарльза Кембля, на тебя, моя Мирабель, мой Меркуріо, мой Фалконбриджъ, на его восхитительную дочь (о мое сумашедшее сердце!), на классическаго Юнга, на знаменитаго Тома Коффина, на неземнаго Вандердекена. О, еслибы услышать опять эту пѣсню о «Пилигримѣ любви»! Разъ, но—тссъ!это секретъ—у насъ была ложа, пріятели доктора часто присылали намъ билеты, опера показалась намъ немножко скучной и мы отправились въ концертъ въ одинъ переулокъ, близъ Ковентгардена, и слышали самыя восхитительныя круговыя пѣсни, сидя за ужиномъ изъ сосисекъ и рубленаго картофеля, такія круговыя пѣсни, какихъ свѣтъ никогда не слыхалъ послѣ. Мы не дѣлали ничего дурнаго; но мнѣ кажется, это было очень дурно само по себѣ. Брэйсу буфетчику не слѣдовало брать насъ туда, мы стращали его и заставляли насильно везти насъ, куда мы хотѣли. Въ комнатѣ ключницы мы пили ромъ съ апельсиннымъ сокомъ и сахаромъ, мы ходили туда наслаждаться об-

ществомъ буфетчиковъ изъ сосѣднихъ домовъ. Можетъ быть нехорошо, что насъ оставляли въ обществѣ слугъ. Докторъ Фэрминъ уѣзжалъ на большіе вечера, а мистриссъ Фэрминъ ложилась спать. «Понравилось вамъ вчерашнее представленіе?» спрашивалъ насъ хозяинъ за завтракомъ. «О, да, намъ понравилось представленіе!» Но моя бѣдная мистриссъ Фэрминъ воображала, что намъ понравилась *Семирамида* или Donna del Lago: между тѣмъ какъ мы сидѣли въ партерѣ въ Адельфи (на собственныя деньги), смотрѣли шутника Джона Рива, и хохотали, хохотали до слезъ—и оставались до тѣхъ поръ, пока занавѣсъ не опускался. А потомъ мы возвращались домой и, какъ прежде было сказано, проводили восхитительный часъ за ужиномъ и слушали анекдоты друзей мистера Брэйса, другихъ буфетчиковъ. Ахъ, вотъ право было времечко! Никогда не бывало никакихъ напитковъ такихъ вкусныхъ, какъ ромъ съ апельсиннымъ сокомъ и сахаромъ—никогда; какъ мы притихали, когда докторъ Фэрминъ, возвращаясь изъ гостей, звонилъ у парадной двери! Безъ башмаковъ пробирались мы въ наши спальни. А къ утреннему чаю приходили мы съ самыми невинными лицами—и за завтракомъ слушали болтовню объ оперѣ мистриссъ Фэрминъ, а за нами стоялъ Брэйсъ и лакей съ совершенно серьезнымъ видомъ—гнусные лицемѣры!

Потомъ, сэръ, была дорожка изъ окна кабинета, или черезъ кухню по крышѣ, къ одному мрачному зданію, въ которомъ я провелъ восхитительные часы, въ самомъ гнусномъ и преступномъ наслажденіи самыхъ чудныхъ маленькихъ гаванскихъ сигаръ, по одному шиллингу за десять штукъ. Въ этомъ зданіи бывали когда-то конюшни и сараи, безъ сомнѣнія занимаемые большими фламандскими лошадьми и позолоченными каретами временъ Вальполя, но одинъ знаменитый врачъ, поселившись въ этомъ домѣ, сдѣлалъ аудиторію изъ этого зданія.

— И эта дверь, сказалъ Филь, указывая на дверь, которая вела въ задній переулокъ: была очень удобна, для того чтобы вносить и выносить *тѣла*.

Пріятное воспоминаніе. Но теперь въ комнатѣ было очень мало подобнаго убранства, кромѣ ветхаго скелета въ углу, нѣсколькихъ гипсовыхъ моделей черепов, стклянокъ на старомъ бюро и заржавленной сбруи на стѣнѣ. Эта комната сдѣлалась курительною комнатою мистера Филя; когда онъ выросъ, ему казалось унизительнымъ для своего достоинства сидѣть въ кухнѣ: честный буфетчикъ и ключница сами указали своему молодому барину, что тамъ лучше сидѣть, нежели съ лакеями. Итакъ тайно и съ наслажденіемъ выкурили мы много отвратительныхъ сигаръ въ этой печальной комнатѣ, огромныя стѣны и темный потолокъ которой вовсе не были печальны для насъ, находившихъ запрещенныя удовольствія самыми сладостными, по нелѣ-

пому обыкновенію мальчиковъ. Докторъ Фэрминъ былъ врагъ куренія и даже привыкъ говорить объ этой привычкѣ съ краснорѣчивымъ негодованіемъ.

— Эта привычка низкая, привычка извощиковъ, посѣтителей кабаковъ и ирландскихъ торговокъ, говаривалъ докторъ, когда Филь и его другъ переглядывались съ тайной радостью.

Отецъ Филя былъ всегда надушенъ и опрятенъ—образецъ свѣтской чопорности. Можетъ быть, онъ яснѣе понималъ хорошія манеры, чѣмъ нравственность; можетъ быть, его разговоръ былъ наполненъ пошлостями (говорилъ онъ по большой части о модныхъ людяхъ) и непоучителенъ, обращеніе его съ молодымъ лордомъ Эгамомъ довольно приторно и раболѣпно. Можетъ быть, я говорю, въ голову молодаго мистера Пенденниса приходила мысль, что его гостепріимный хозяинъ и другъ, докторъ Фэрминъ, былъ попросту сказать старый враль; но скромные молодые люди не скоро приходятъ къ такимъ непріятнымъ заключеніямъ относительно старшихъ. Манеры доктора Фэрмина были такъ хороши, лобъ его былъ такъ высокъ, жабо такъ чисто, руки такъ бѣлы и тонки, что довольно долгое время мы простодушно восхищались имъ, и не безъ огорченія начали смотрѣть на него въ такомъ видѣ, какимъ онъ дѣйствительно былъ—нѣтъ, не такимъ каковъ онъ дѣйствительно былъ—ни одинъ человѣкъ, получившій доброе воспитаніе съ раннихъ лѣтъ не можетъ судить совершенно безпристрастно о человѣкѣ, который былъ добръ къ нему въ дѣтствѣ.

Я неожиданно оставилъ школу, разставшись съ моимъ маленькимъ Филемъ, славнымъ, красивымъ мальчикомъ, нравившимся и старымъ, и молодымъ своей миловидностью, веселостью, своимъ мужествомъ и своей джентльменювской осанкой. Изрѣдка отъ него приходило письмо, исполненное той безъискуственной привязанности и нѣжности, которыя наполняютъ сердца мальчиковъ и такъ трогательны въ ихъ письмахъ. На эти письма давались отвѣты съ приличнымъ достоинствомъ и снисхожденіемъ со стороны старшаго мальчика. Нашъ скромный деревенскій домикъ поддерживалъ дружескія сношенія съ большимъ лондонскимъ отелемъ доктора Фэрмина, откуда въ своихъ визитахъ къ намъ дядя мой, маіоръ Пенденнисъ, всегда привозилъ новости. Между дамами велась корреспонденція. Мы снабжали мистриссъ Фэрминъ маленькими деревенскими подарками—знаками доброжелательства и признательности моей матери къ друзьямъ, которые ласкали ея сына. Я отправился своею дорогою въ университетъ, иногда видаясь съ Филемъ въ школѣ. Потомъ я нанялъ квартиру въ Темплѣ, которую онъ посѣщалъ съ большимъ восторгомъ; онъ любилъ нашъ простой обѣдъ отъ Дика (*), и постель на диванѣ, болѣе чѣмъ великолѣпныя угощенія въ

(*) Кофейная. *Пр. перев.*

Старой Паррской улицѣ и свою огромную мрачную комнату въ домѣ отца. Онъ въ это время переросъ своего старшаго пріятеля, хотя до сихъ поръ все продолжаетъ глядѣть на меня съ уваженіемъ.

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ того, какъ моя бѣдная мать произнесла приговоръ надъ мистриссъ Фэрминъ, она имѣла причину пожалѣть о немъ и отмѣнить его. Мать Филя, которая боялась, а можетъ статься, ей было запрещено ухаживать за сыномъ въ его болѣзни въ школѣ, сама занемогла.

Филь воротился въ Грей-Фрайярсъ въ глубокомъ траурѣ; кучеръ и слуга тоже были въ траурѣ, а нѣкій тамошній тиранъ, начавшій было смѣяться и подшучивать, что у Фэрмина глаза были полны слезъ, при какомъ-то грубомъ замѣчаніи, получилъ строгій выговоръ отъ Сэмпсона, старшаго воспитанника, самаго сильнаго мальчика въ классѣ, и съ вопросомъ: «развѣ ты не видишь, грубіанъ, что бѣдняжка въ траурѣ?» получилъ порядочнаго пинка.

Когда Филиппъ Фэрминъ и я встрѣтились опять, у насъ обоихъ на шляпахъ былъ крепъ. Я не думалъ, чтобы кто нибудь изъ насъ могъ очень хорошо разсмотрѣть лицо другаго. Я ѣздилъ къ нему въ Паррскую улицу, въ пустой печальный домъ, гдѣ портретъ бѣдной матери все еще висѣлъ въ пустой гостиной.

— Она всегда любила васъ, Пенденнисъ, сказалъ Филь:—Богъ да благословитъ васъ за то, что вы были добры къ ней. Вы знаете, что значитъ терять—терять тѣхъ, кто любитъ насъ болѣе всего на свѣтѣ. Я не зналъ какъ—какъ я любилъ ее до тѣхъ поръ, пока не лишился ее.

Рыданія прерывали его слова, когда онъ говорилъ. Портретъ ея былъ вынесенъ въ маленькій кабинетъ Филя—въ ту комнату, гдѣ онъ выказалъ презрѣніе къ своему отцу. Что было между ними? Молодой человѣкъ очень измѣнился. Откровенный видъ прежнихъ дней исчезъ, и лицо Филиппа было дико и смѣло. Докторъ не позволилъ мнѣ поговорить съ его сыномъ, когда нашелъ насъ вмѣстѣ, но съ умоляющимъ взглядомъ проводилъ меня до двери и заперъ ее за мною. Я чувствовалъ, что она закрылась за двумя несчастными людьми.

ГЛАВА III.

Консультація.

Хотя старшій Фэрминъ проводилъ меня до дверей и пересталъ слѣдить за мной глазами, только когда я завернулъ за уголъ улицы, но я

былъ увѣренъ, что Филь скоро откроетъ мнѣ свою душу, или дастъ какой нибудь ключъ къ этой тайнѣ. Я услышу отъ него, почему его румяныя щеки впали, зачѣмъ его свѣжій голосъ, который я помню такимъ откровеннымъ и веселымъ, былъ теперь суровъ и саркастиченъ и тоны его непріятно звучали въ ушахъ слушателя, а смѣхъ его было больно слышать. Я тревожился о самомъ Филиппѣ. Молодой человѣкъ получилъ въ наслѣдство отъ матери значительное состояніе — восемь или девять сотъ фунтовъ годоваго дохода. Онъ жилъ роскошно, чтобы не сказать расточительно. Я думалъ, что юношескія угрызенія Филиппа были его скелетомъ и огорчался при мысли, что онъ попалъ въ бѣду. Мальчикъ былъ расточителенъ и упрямъ, а отецъ взыскателенъ и суровъ.

Я встрѣтилъ моего стараго пріятеля доктора Гуденофа въ клубѣ въ одинъ вечеръ; итакъ какъ мы обѣдали вмѣстѣ, я разговорился съ нимъ о его бывшемъ паціентѣ и напомнилъ ему тотъ день, много лѣтъ назадъ, когда мальчикъ лежалъ больной въ школѣ, и когда моя бѣдная мать и Филиппова были еще живы.

Гуденофъ принялъ очень серьезный видъ.

— Да, сказалъ онъ, мальчикъ былъ очень болѣнъ; онъ былъ при смерти въ то время—въ то время, когда его мать жила на островѣ Уайтѣ, а отецъ ухаживалъ за герцогомъ. Мы думали одно время, что ему уже пришолъ конецъ, но...

— Но искусный докторъ сталъ между нимъ и pallida mors.

— Искусный докторъ нѣтъ, а хорошая сидѣлка! Съ мальчикомъ былъ бредъ и ему вздумалось было выпрыгнуть изъ окна, онъ сдѣлалъ бы это, еслибы не моя сидѣлка. Вы ее знаете.

— Какъ, Сестрица?

— Да, Сестрица.

— Такъ это она ухаживала за Филемъ въ болѣзни и спасла его жизнь? Пью за ея здоровье. Добрая душа!

— Добрая! сказалъ докторъ грубымъ голосомъ и нахмурилъ брови. (Онъ бывало чѣмъ болѣе растрогается, тѣмъ свирѣпѣе становится). Добрая! Хотите еще кусочекъ утки? Возьмите. Вы ужъ довольно ее покушали, а она очень нездорова. Добрая, сэръ? Еслибы не женщины, огнь небесный давно сжегъ бы этотъ міръ. Ваша милая мать одна изъ добрыхъ женщинъ. Я лечилъ васъ, когда вы были больны, въ этой ужасной вашей квартирѣ въ Темплѣ, въ то самое время, когда молодой Фэрминъ былъ боленъ въ Грей-Фрайярсѣ. Это по моей милости на свѣтѣ живутъ два лишнихъ шалуна.

— Отчего докторъ Фэрминъ не поѣхалъ къ сыну?

— Гмъ! нервы слишкомъ деликатны. Впрочемъ, онъ прiѣзжалъ. Легокъ на поминѣ!

Въ эту минуту, тотъ, о комъ мы говорили, то есть отецъ Филя, также бывшiй членомъ нашего клуба, вошелъ въ столовую; высокiй, величественный и блѣдный, съ своей стереотипной улыбкой и съ грацiознымъ жестомъ своей красивой руки. Улыбка Фэрмина какъ-то странно подергивала его красивыя черты. Когда вы подходили къ нему, онъ вытягивалъ губы, сморщивая челюсти, (чтобы образовались вѣроятно ямочки), съ каждой стороны. Между тѣмъ глаза его выкатывались съ какимъ-то меланхолическимъ выраженiемъ и совершенно отдѣльно отъ той продѣлки, которая происходила съ его ртомъ. Губы говорили: я джентльмэнъ съ прекрасными манерами и съ очаровательной ловкостью, и предположите, что я радъ васъ видѣть, но въ то же время уныло глядѣли черные глаза. Я знаю одно или два, но только одно или два мужскихъ лица, которыя, несмотря на свою озабоченность, могутъ все-таки улыбаться такъ, чтобы улыбка разливалась по всему лицу.

Гуденофъ угрюмо кивнулъ головою на улыбку другаго доктора, который кротко взглянулъ на нашъ столъ, поддерживая подбородокъ своей красивою рукою.

— Какъ поживаете? заворчалъ Гуденофъ.—А юноша здоровъ?

— Юноша сидитъ и куритъ сигары съ самаго утра съ своими прiтелями, сказалъ Фэрминъ съ грустною улыбкой, направленной въ этотъ разъ на меня.—Мальчики всегда будутъ мальчиками.

И онъ задумчиво отошелъ отъ насъ, дружески кивнулъ мнѣ головою, взглянулъ на карту обѣда, съ меланхолической грацiей указалъ рукою въ блестящихъ перстняхъ на выбранныя имъ блюда, и пошелъ улыбаться другому знакомому къ отдаленному столу.

— Я думалъ, что онъ сядетъ за этотъ столъ, сказалъ цинической confrère Фэрмина.

— На сквозномъ вѣтру? Развѣ вы не видите какъ пылаютъ свѣчи? Это самое дурное мѣсто во всей комнатѣ!

— Да развѣ вы не видите, кто сидитъ за сосѣднимъ столомъ?

За сосѣднимъ столомъ сидѣлъ очень богатый лордъ. Онъ ворчалъ на дурные бараньи котлеты и хересъ, которыхъ онъ велѣлъ подать себѣ на обѣдъ; но такъ какъ его сiятельство не будетъ имѣть никакого дѣла съ нашей послѣдующей исторiей, то, разумѣется, мы не будемъ такъ нескромны, чтобы назвать его по имени. Мы могли видѣть, какъ Фэрминъ улыбался своему сосѣду съ самой кроткой меланхолiей, какъ слуги принесли блюда, которыя спросилъ докторъ для своего обѣда. Онъ не любилъ бараньихъ котлетъ и грубаго хереса, я это зналъ, я, уча-

ствовавшій во многихъ пирахъ за его столомъ. Я могъ видѣть, какъ брильянты сверкали на его красивой рукѣ, когда онъ деликатно наливалъ пѣнящееся вино изъ вазы со льдомъ, стоявшей возлѣ него—щедрой рукѣ дарившей мнѣ много совереновъ, когда я былъ мальчикомъ.

— Я не могу не любить его, сказалъ я моему собесѣднику, презрительный взглядъ котораго время отъ времени устремлялся на его собрата.

— Этотъ портвейнъ очень сладокъ. Теперь почти всякій портвейнъ сладокъ, замѣтилъ докторъ.

— Онъ былъ очень добръ ко мнѣ, когда я былъ въ школѣ, и Филиппъ былъ такой славный мальчикъ.

— Красивый мальчикъ. Сохранилъ онъ свою красоту? Отецъ былъ красивый мужчина—очень. Убійца дамъ, то есть не въ практикѣ, прибавилъ угрюмый докторъ—а мальчикъ чтó дѣлаетъ?

— Онъ въ университетѣ. У него есть состояніе его матери. Онъ сумасброденъ, кутитъ, и я боюсь, что онъ немножко портится.

— Неужели? Впрочемъ не удивительно! заворчалъ Гуденофъ.

Мы говорили очень откровенно и пріятно до появленія другаго доктора, но съ приходомъ Фэрмина Гуденофъ пересталъ разговаривать. Онъ вышелъ изъ столовой въ гостиную и сѣлъ читать романъ до тѣхъ поръ, пока не настала пора ѣхать къ больнымъ или домой.

Для меня было ясно, что доктора не любили другъ друга, что между Фэрминомъ и его отцомъ были несогласія, но причину этихъ несогласій мнѣ оставалось еще узнать. Эта исторія доходила до меня отрывками, здѣсь изъ признаній, тамъ изъ разсказовъ, и изъ моихъ собственныхъ выводовъ. Я, разумѣется, не могъ присутствовать при многихъ сценахъ, которыя мнѣ придется разсказывать, какъ будто я былъ ихъ свидѣтелемъ, и поза, разговоръ, мысли Фэрмина и его друзей, такъ какъ они здѣсь разсказываются—безъ сомнѣнія, фантазія разсказчика во многихъ случаяхъ; но исторія эта также подлинна, какъ многія другія исторіи и читателю слѣдуетъ только придать ей такую степень вѣры, какую она заслуживаетъ по его мнѣнію, по своему правдоподобію.

Намъ надо не только обратиться къ той болѣзни, которая сдѣлалась съ Филиппомъ Фэрминомъ въ Грей-Фрайярсѣ, но вернуться еще далѣе къ періоду, который я не могу въ точности опредѣлить.

Воспитанники старой Гендишской приготовительной академіи живописи, можетъ быть, помнятъ смѣшнаго, маленькаго человѣчка съ большимъ, страннымъ талантомъ, относительно котораго мнѣнія друзей его были разногласны. Геній, или гаеръ Эндрю,—это было всегда спорнымъ пунктомъ между посѣтителями бильярдной въ Греческой улицѣ и благородными

учениками академіи художествъ. Онъ могъ быть сумасшедшимъ и нелѣпымъ, но онъ могъ имѣть талантъ; такіе характеры встрѣчаются и въ искусствѣ, и въ литературѣ. Онъ коверкалъ англійскій языкъ, онъ былъ изумительно несвѣдущъ, онъ наряжалъ свою маленькую фигурку въ самый фантастическій костюмъ, въ самые странные и дешевые наряды, онъ носилъ бороду. Господи помилуй! двадцать лѣтъ тому назадъ бороды въ Великобританіи были весьма обыкновенны. Онъ былъ самое жеманное существо, и если вы глядѣли на него, онъ принималъ позы до того смѣшныя и грязныя, что если у васъ въ передней ждалъ кредиторъ или вашу картину не приняли въ академію—словомъ, если вы страдали отъ какого нибудь подобнаго бѣдствія, вы не могли удержаться отъ смѣха. Онъ былъ предметомъ насмѣшекъ для всѣхъ своихъ знакомыхъ, но у него было самое любящее, кроткое, вѣрное, благородное сердце, когда либо бившееся въ маленькой груди. Онъ теперь покоится вѣчнымъ сномъ; его палитра и мольбертъ брошены въ печку, его геній, имѣвшій нѣсколько вспышекъ, никогда не сіялъ ярко и угасъ. Въ одномъ старомъ альбомѣ, которому уже болѣе чѣмъ двадцать лѣтъ, я иногда гляжу на странные, дикіе эскизы бѣднаго Эндрю. Онъ, можетъ быть, сдѣлалъ бы что нибудь, еслибы оставался бѣднымъ; но одна богатая вдова, которую онъ встрѣтилъ въ Римѣ, влюбилась въ страннаго, странствующаго живописца, пустилась за нимъ въ погоню въ Англію и заставила его почти насильно жениться на ней. Геній его притупился подъ раболѣпствомъ; онъ прожилъ только нѣсколько лѣтъ и умеръ отъ чахотки, отъ которой искусство доктора Гуденофа не могло вылечить его.

Въ одинъ день, когда онъ ѣхалъ съ женою въ ея великолѣпной коляскѣ по Геймаркету, онъ вдругъ велѣлъ кучеру остановиться, выпрыгнулъ изъ коляски прежде чѣмъ были опущены ступеньки, и его изумленная жена увидала, что онъ пожимаетъ руку бѣдно-одѣтой женщинѣ, которая проходила мимо, пожимаетъ обѣ ея руки и плачетъ, и размахиваетъ руками, и дергаетъ бороду и усы—его привычка, когда онъ былъ взволнованъ. Мистриссъ Монфишэ (она была богатая мистриссъ Керрикфергусъ, прежде чѣмъ вышла за живописца), жена молодаго мужа, выпрыгнувшаго изъ коляски, чуть не разстроилась отъ этой демонстраціи; но она была женщина очень добрая, и когда Монфишэ, сѣвъ опять въ фамильный экипажъ, разсказалъ своей женѣ исторію женщины, съ которой онъ только что простился, она наплакалась вдоволь. Она велѣла кучеру ѣхать прямо домой: побѣжала въ свои комнаты и вынесла оттуда огромный мѣшокъ съ разною одеждою, а буфетчикъ, запыхавшись, тащилъ за нею корзину съ виномъ и пирогъ; она поѣхала съ своимъ довольнымъ Эндрю въ переулокъ Сен-

Мартенскій, гдѣ жила бѣдная женщина, съ которой онъ только-что разговаривалъ.

Богу было угодно среди ея ужаснаго злополучія послать ей друзей и помощь. Она страдала отъ несчастья и бѣдности: ее малодушно бросили. Человѣкъ, называвшій себя Брандономъ, когда онъ нанялъ квартиру въ домѣ ея отца, женился на ней, привезъ ее въ Лондонъ и оставилъ, когда она ему надоѣла. Она имѣла причину думать, что онъ назвался фальшивымъ именемъ, когда нанималъ квартиру у ея отца: онъ бѣжалъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и она никогда не узнала его настоящаго имени. Когда онъ бросилъ ее, она воротилась къ своему отцу, человѣку слабому, который былъ женатъ на самовластной женщинѣ, притворившейся будто она не вѣритъ ея браку и выгнавшей ее изъ дома. Въ отчаяніи и почти помѣшавшись, она воротилась въ Лондонъ, гдѣ у ней оставались еще кое-какія вещи послѣ бѣжавшаго мужа. Онъ обѣщалъ, оставляя ее, присылать ей денегъ; но или онъ не прислалъ, или она не приняла и въ своемъ безумствѣ и отчаяніи потеряла то ужасное письмо, въ которомъ онъ объявлялъ о своемъ побѣгѣ, и о томъ, что онъ былъ женатъ прежде, что преслѣдовать значило погубить его, а онъ зналъ, что она никогда *этого* не сдѣлаетъ— нѣтъ, какъ бы жестоко не оскорбилъ онъ ее.

Она осталась безъ копѣйки, брошенная всѣми, разставшись съ послѣдней вещицей, напоминавшей ея кратковременную любовь; продавъ послѣдніе остатки своего бѣднаго гардероба, она поселилась одна въ огромной Лондонской пустынѣ, когда Богу было угодно послать ей помощь въ особѣ стараго друга, который зналъ ее и даже любилъ въ болѣе счастливые дни. Когда благодѣтели явились къ этой бѣдной женщинѣ, они нашли ее больной и дрожавшей отъ лихорадки. Они привезли къ ней своего доктора, который никогда ни къ кому не спѣшилъ такъ, какъ къ бѣднымъ. Стоя у постели, которую окружали добрые друзья, пріѣхавшіе помочь ей, онъ услыхалъ ея печальную исторію, узналъ, какъ она довѣрилась и какъ была брошена.

Отецъ ея былъ человѣкъ изъ низкаго класса, но видѣвшій лучшіе дни; а въ обращеніи бѣдной мистриссъ Брандонъ было столько кротости и простоты, что добрый докторъ до крайности растрогался. Она не имѣла большаго образованія, кромѣ того, которое даютъ иногда безмолвіе, продолжительное страданіе и уединеніе. Когда она выздоровѣла, ей предстояло встрѣтить и преодолѣть бѣдность. Какъ будетъ она жить? Докторъ привязался къ ней какъ къ родной дочери. Она была опрятна, бережлива и иногда отличалась такой наивной веселостью. Цвѣтокъ зацвѣлъ, когда солнечный лучъ коснулся его. Вся ея жизнь до сихъ поръ леденѣла отъ небреженія, тиранства и мрака.

Мистеръ Монфишэ такъ часто началъ пріѣзжать къ маленькой отшельницѣ, которой онъ помогъ, что я долженъ сказать, что мистриссъ Монфишэ сдѣлалась истерически ревнива и караулила его на лѣстницѣ, когда онъ сходилъ, завернувшись въ свой испанскій плащъ, кидалась на него и называла его чудовищемъ. Гуденофъ также, кажется, подозрѣвалъ Монфишэ, а Монфишэ Гуденофа. Но докторъ клялся, что онъ никогда не имѣлъ другихъ чувствъ, кромѣ чувствъ отца къ своей бѣдной protégée, и никакой отецъ не могъ быть нѣжнѣе. Онъ не старался вывести ее изъ ея положенія въ жизни. Онъ нашелъ, или она сама нашла, работу, которой она могла заниматься.

— Папа всегда говорилъ, что никто не ухаживалъ за нимъ такъ хорошо какъ я, сказала она,—я думаю, что я могу дѣлать это лучше всего другаго, кромѣ шитья, но я болѣе люблю быть полезной бѣднымъ больнымъ. Тогда я не думаю о себѣ самой, сэръ.

И къ этому занятію добрый мистеръ Гуденофъ пріучилъ ее.

Вдова, на которой отецъ мистриссъ Брандонъ женился, умерла и ея дочери не хотѣли держать его, отзываясь очень непочтительно о старомъ мистерѣ Ганнѣ, который дѣйствительно былъ слабоумный старикъ. И тогда Каролина поспѣшила на помощь къ своему старому отцу. Эта маленькая Каролина была преспособная. Она скопила нѣсколько денегъ. Гуденофъ снабдилъ мистриссъ Брандонъ мебелью изъ своей дачи, которая была ему не нужна. Она вздумала пускать къ себѣ жильцовъ. Монфишэ снялъ съ нея портретъ. Въ ней былъ свой родъ красоты, которымъ восхищались художники. Когда съ академикомъ Ридли сдѣлалась оспа, она ходила за нимъ и заразилась. Она не заботилась объ этомъ.

— Красоту мою это не испортитъ, говорила она.

И дѣйствительно, красота ея не испортилась. Болѣзнь очень милостиво обошлась съ ея скромнымъ личикомъ. Не знаю, кто ей далъ ея прозваніе, но у ней былъ славный просторный домъ въ Торнгофской улицѣ; въ первомъ и во второмъ этажѣ жилъ художникъ; и противъ «Сестрицы» никто никогда не сказалъ дурнаго слова, потому что въ комнаткѣ нижняго этажа вѣчно сидѣлъ ея отецъ, прихлебывая грогъ. Ее мы прозвали «сестрицей» а отца ея «капитаномъ»—это былъ ленивый, хвастливый, добрый старикъ—капитанъ не слишкомъ почтенный и очень веселый, хотя поведеніе дѣтей, говорилъ онъ, разбило его сердце.

Не знаю сколько лѣтъ Сестрица исполняла эту должность, когда Филиппъ Фэрминъ занемогъ скарлатиной. Она сдѣлалась съ нимъ передъ самыми вакаціями, когда всѣ мальчики разъѣхались домой. Такъ какъ отецъ Филя былъ въ отсутствіи, послали за докторомъ Гуденo-

нофомъ, а тотъ прислалъ свою сидѣлку. Больному сдѣлалось хуже, до такой степени даже, что доктора Фэрмина вызвали съ острова Уайта и онъ пріѣхалъ въ одинъ вечеръ въ Грей-Фрайярсъ, столь безмолвный нынѣ, столь шумный въ другое время отъ криковъ и толпы учениковъ въ саду.

Карета доктора Гуденофа стояла у дверей, когда подъѣхала карета доктора Фэрмина.

— Каковъ мальчикъ?

— Ему было очень худо. Онъ бредилъ цѣлый день, болталъ и смѣялся какъ сумасшедшій, сказалъ слуга.

Отецъ побѣжалъ на верхъ.

Филь лежалъ въ большой комнатѣ, въ которой было много пустыхъ кроватей воспитанниковъ, разъѣхавшихся домой. Окна отворялись на грей-фрайярскій сквэръ. Гуденофъ услыхалъ, какъ подъѣхала карета его собрата, и вѣрно угадалъ, что пріѣхалъ отецъ Филя. Онъ вышелъ и встрѣтилъ Фэрмина въ передней.

— Голова немножко разстроилась. Теперь лучше, онъ спокоенъ.

И докторъ прошепталъ другому доктору, какъ онъ лечилъ больнаго.

Фэрминъ тихо вошелъ къ больному, возлѣ котораго стояла Сестрица.

— Это кто? спросилъ Филь.

— Это я, милый, твой отецъ, сказалъ докторъ съ истинной нѣжностью въ голосѣ.

Сестрица вдругъ обернулась и грохнулась какъ камень возлѣ постели.

— Гнусный злодѣй! сказалъ Гуденофъ съ ругательствомъ и дѣлая шагъ впередъ—это былъ ты!

— Шшъ! Вспомните о больномъ, докторъ Гуденофъ, сказалъ другой врачъ.

ГЛАВА IV.

Знатная семья.

Составили вы себѣ мнѣніе о вопросѣ казаться и быть? Я говорю о томъ, что, положимъ, вы бѣдны, справедливо ли съ вашей стороны *казаться* богатымъ? Имѣютъ ли люди честное право принимать лож-

ный видъ? Можно ли васъ оправдать, когда вы голодаете за обѣдомъ, для того чтобы держать экипажъ; когда вы ведете такое роскошное хозяйство, что не можете помочь бѣдному родственнику, одѣваете вашихъ дочерей въ дорогіе наряды, потому что онѣ знакомы съ дѣвушками, родители которыхъ вдвое богаче васъ? Иногда трудно сказать, гдѣ кончается честная гордость и начинается лицемѣріе. Выставлять на показъ вашу бѣдность низко и раболѣпно, также гнусно, какъ нищему выпрашивать состраданіе, показывая свои язвы. Но выдавать себя за богатаго — роскошничать и мотать три раза въ годъ, когда вы приглашаете вашихъ знакомыхъ, а остальное время глодать черствый хлѣбъ и сидѣть при одной свѣчѣ—чего достойны люди, употребляющіе такой обманъ,—похвалъ или розогъ? Иногда это благородная гордость, а иногда—низкое плутовство. Когда я вижу Евгенію съ ея милыми дѣтьми, опрятную, веселую, не показывающую ни малѣйшей тѣни бѣдности, не произносящую ни малѣйшей жалобы; увѣряющую, что Скандерфильдъ, ея мужъ, обращается съ ней хорошо и добръ сердцемъ, и опровергающую, что онъ оставляетъ ее и ея малютокъ въ нуждѣ—я восхищаюсь этой благородной ложью, уважаю чудное постоянство и терпѣливость, которая пренебрегаетъ состраданіемъ. Когда я сижу за столомъ бѣдной Іезевиль, которая угощаетъ меня съ своей притворной добротой и съ своимъ жалкимъ великолѣпіемъ, я только сержусь на ея гостепріимство; и этотъ обѣдъ, гость и хозяинъ—все вмѣстѣ фальшиво.

Обѣденный столъ Тальбота Туисдена великъ, а гости самые почетные. Тутъ всегда два, три важныхъ барина и почтенная вдова, обѣдающая въ знатныхъ домахъ. Буфетчикъ предлагаетъ вамъ вина; передъ мистриссъ Туисденъ лежитъ menu du diner, и читая его, вы, пожалуй, вообразите, будто вы на хорошемъ обѣдѣ. А кушанья похожи вкусомъ на рубленую солому. О, какъ уныло искрится это слабое шампанское, хересъ изъ трактира, бордосское кисло, портвейнъ вяжетъ ротъ! Я пробовалъ это все, говорю я вамъ! Это подложное вино, подложный обѣдъ, подложный пріемъ, подложная веселость между собравшимися гостями. Я чувствую, что эта женщина считаетъ котлетки, когда ихъ уносятъ со стола; можетъ быть, она жадно смотритъ на ту, которую вы съ трудомъ стараетесь проглотить. Она пересчитала каждую свѣчку, при которой поваръ стряпалъ обѣдъ. Объ остаткахъ вина въ этихъ жалкихъ бутылкахъ буфетчикъ долженъ завтра дать отчетъ. Если вы не принадлежите къ большому свѣту, Туисденъ съ женою считаютъ себя лучше васъ и серьёзно покровительствуютъ вамъ. Они думаютъ, что дѣлаютъ вамъ честь, приглашая на эти отвратительные обѣды, на которые они съ важностью приглашаютъ са-

мыхъ важныхъ людей. Я, право, встрѣчалъ тамъ Уинтона — знаменитаго Уинтона—дававшаго лучшіе обѣды на свѣтѣ (ахъ, какое занятіе для мущины!) Я наблюдалъ за нимъ и примѣтилъ, какое удивленіе овладѣло имъ, когда онъ отвѣдывалъ и отдавалъ лакею блюдо за блюдомъ, рюмку за рюмкой.

— Попробуйте, это шато-марго, Уинтонъ! кричитъ хозяинъ.—Это тотъ самый, который мы вывезли съ Боттльби.

Вывезли! Я вижу лицо Уинтона, когда онъ пробуетъ вино и ставитъ рюмку на столъ. Онъ не любитъ говорить объ этомъ обѣдѣ. Онъ потерялъ день. Туисденъ продолжаетъ приглашать его каждый годъ; онъ продолжаетъ надѣяться, что и его пригласятъ съ мистриссъ Туисденъ и съ дочерьми и громко выражаетъ свое удивленіе въ клубѣ, говоря:

— Чортъ побери этого Уинтона! Онъ не прислалъ мнѣ дичи нынѣшній годъ!

Когда пріѣзжаютъ заграничные герцоги и принцы, Туисденъ прямо подходитъ къ нимъ и приглащаетъ ихъ къ себѣ. Иногда они поѣдутъ къ нему разъ—а потомъ спрашиваютъ: «Qui donc est ce mosieur Trisden, qui est si drôle?» Онъ протолкается къ нимъ на вечерахъ у министровъ и прямо подаетъ имъ руку. А тихая мистрисъ Туисденъ вертится, толкается, пожалуй, наступаетъ на ноги, вмѣстѣ съ дочерьми, пока не сунется на глаза великому человѣку и не улыбнется и не поклонится ему. Туисденъ дружески жметъ руку счастливцамъ. Онъ говоритъ успѣху «браво!» Напротивъ, я никогда не видалъ человѣка, у котораго доставало бы столько духа пренебрегать несчастными или у котораго хватало бы столько смѣлости забывать о тѣхъ, о комъ онъ не хочетъ вспомнить. Еслибы этотъ левитъ встрѣтилъ путешественника, ограбленнаго разбойниками, вы думаете, онъ остановился бы помочь павшему человѣку? Онъ не далъ бы ни вина, ни денегъ. Онъ прошелъ бы мимо, совершенно довольный своими собственными добродѣтелями, а того оставилъ бы добраться, какъ онъ можетъ, въ Іерихонъ.

Это что такое? Развѣ я сержусь на то, что Туисденъ пересталъ приглашать меня на свой уксусъ и свое рубленое сѣно? Нѣтъ, не думаю. Развѣ я обижаюсь на то, что мистриссъ Туисденъ иногда покровительствуетъ моей женѣ, а иногда не хочетъ ее знать? Можетъ быть. Только однѣ женщины знаютъ вполнѣ дерзость женщинъ другъ къ другу въ свѣтѣ. Это очень обветшалое замѣчаніе. Онѣ принимаютъ и наносятъ раны, вѣжливо улыбаясь. Томъ Сэйерсъ (*) не могъ веселѣе

(*) Извѣстный боксеръ. *Пр. перев.*

ихъ принимать удары. Еслибы было видно *подъ* кожей, вы нашли бы ихъ маленькія сердечки проткнутыми насквозь маленькими ранками. Я увѣряю, что я видѣлъ, какъ моя собственная жена выносила дерзость этой женщины съ такимъ же спокойнымъ и безстрастнымъ лицомъ, какъ выноситъ она разговоръ старика Туисдена и его длинныя исторіи, которыя, право, могутъ свести съ ума. О, нѣтъ, я вовсе не сержусь! Я вижу это потому, какъ я пишу объ этихъ людяхъ. Кстати, между тѣмъ какъ я излагаю это чистосердечное мнѣніе о Туисденахъ, останавливаюсь ли я иногда сообразить, что́ они думаютъ обо *мнѣ?* Какое мнѣ дѣло? Пусть думаютъ, что́ хотятъ. А пока—мы кланяемся другъ другу въ гостяхъ. Мы болѣзненно улыбаемся другъ другу. А что́ касается до обѣдовъ въ Бонашской улицѣ, я надѣюсь, что они нравятся тѣмъ, кого приглашаютъ на нихъ.

Туисденъ нынѣ чиновникъ въ придворной конторѣ пудры и помады, а сынъ его тамъ же писаремъ. Когда дочери начали выѣзжать, онѣ были прехорошенькія—даже моя жена сознается въ этомъ. Одна изъ нихъ каждый день ѣздила верхомъ въ паркѣ съ отцомъ или братомъ; и зная какое онъ получалъ жалованье и какое состояніе было у его жены, и сколько онъ платилъ за квартиру въ Бонашской улицѣ, всѣ удивлялись, какъ Туисдены могли сводить концы съ концами. У нихъ были лошади, экипажъ и большое хозяйство, на содержаніе котораго шло покрайней мѣрѣ пять тысячъ въ годъ, а они и въ половину не имѣли того, какъ всѣмъ было извѣстно; полагали, что старикъ Рингудъ помогалъ своей племянницѣ. Конечно, она тяжко трудилась для этого. Я только-что говорилъ о ранахъ, у иныхъ и бѣдные бока, и грудь бываютъ проткнуты насквозь. Факиры не бичуютъ себя усерднѣе нѣкоторыхъ свѣтскихъ изувѣрокъ; а такъ какъ наказаніе служитъ поученіемъ, будемъ надѣяться, что свѣтъ шибко хлещетъ по спинѣ и плечамъ и славно дѣйствуетъ кнутомъ.

Когда старикъ Рингудъ въ концѣ своей жизни, пріѣзжалъ навѣщать свою милую племянницу и ея мужа, и дѣтей, онъ всегда привозилъ въ карманѣ плеть и хлесталъ ею всѣхъ въ домѣ. Онъ насмѣхался надъ бѣдностью, надъ притязаніями, надъ низостью этихъ людей, когда они становились передъ нимъ на колѣни и воздавали ему почести. Отецъ и мать, дрожа, приводили дочерей получать наказаніе и жалобно улыбаясь, сами принимали оплеухи въ присутствіи своихъ дѣтей.

— А! говаривала гувернантка, француженка, скрежеща своими бѣлыми зубами — я люблю, когда пріѣзжаетъ милордъ. Вы каждый день хлещете меня, а милордъ хлещетъ васъ, а вы становитесь на колѣни и цѣлуете прутъ.

Они точно становились на колѣни и принимали бичеваніе съ примѣрной твердостью. Иногда бичъ падалъ на спину папà, иногда на спину мамà, а иногда хлесталъ Агнесу, а иногда хорошенькія плечики Бланшъ. Но мнѣ кажется, что милордъ болѣе всего любилъ раздѣлываться съ наслѣдникомъ дома, молодымъ Рингудомъ Туисденомъ. Тщеславіе Рингуда было очень тонкокожее, эгоизмъ его легко было ранить, а кривлянья его при наказаніи забавляли стараго мучителя.

Когда подъѣзжалъ экипажъ милорда—скромный маленькій коричневый брумъ съ чудной лошадью, съ кучеромъ похожимъ на лорда канцлера и великолѣпнѣйшимъ лакеемъ—дамы, знавшія топотъ колесъ его экипажа, и ссорившіяся въ гостиной, заключали перемиріе. Мамà пишетъ за столомъ прекраснымъ, четкимъ почеркомъ, которымъ восхищаемся мы всѣ; Бланшъ сидитъ за книгой; Агнеса совершенно естественно встаетъ изъ-за фортепіано. Ссора между этими кроткими, улыбающимися, деликатными созданіями—невозможна! Отъ самаго обыкновеннаго женскаго лицемѣрія мущины краснѣли бы и конфузились, а какъ легко, какъ граціозно, съ какимъ совершенствомъ женщины дѣлаютъ это!

— Ну, заворчитъ милордъ:—вы всѣ приняли такія милыя позы, что навѣрно вы грызлись. Я подозрѣваю, Марія, что мущинамъ должно быть извѣстно, какой чертовски дурной характеръ у вашихъ дѣвочекъ. Кто можетъ видѣть, какъ вы деретесь здѣсь? Вы вѣдь умѣете притихнуть при другихъ, маленькія обезьяночки. Я скажу вамъ вотъ что: вѣрно горничныя разсказываютъ лакеямъ въ комнатѣ ключницы, а лакеи своимъ господамъ. Честное слово, въ прошломъ году въ Уингэмѣ Гринудъ испугался. Отличная была партія, прекрасный домъ въ городѣ и въ деревнѣ. Матери у него нѣтъ. Агнеса могла дѣлать что̀ хотѣла, еслибы не...

— Не всѣ ангелы въ нашемъ семействѣ, дядюшка! вскричала, покраснѣвъ, миссъ Агнеса.

— И мать ваша слишкомъ бойка на языкъ. Мущины боятся тебя, Марія. Я слышалъ это отъ многихъ молодыхъ людей; въ Уайтѣ (*) объ этомъ говорятъ совершенно свободно. Жаль дѣвушекъ, очень жаль. Мнѣ приходятъ и говорятъ Джэкъ, Галь и другіе бывающіе вездѣ.

— Право мнѣ все равно, что̀ говоритъ обо мнѣ капитанъ Галль— противный негодяй! кричитъ Бланшъ.

— Вотъ вы и взбѣсились! Галль никогда не имѣетъ своего собственнаго мнѣнія. Онъ только подхватываетъ и разноситъ, что̀ говорятъ

(*) Модный клубъ въ Лондонѣ. *Пр. перев.*

другіе. И онъ разсказывалъ, будто всѣ мущины говорятъ, что они боятся вашей матери. Что́ вы, полноте! Галль не имѣетъ своего мнѣнія. Кто нибудь вздумаетъ совершить убійство, а Галль будетъ ждать у дверей. Самый скромный человѣкъ. Но я поручилъ ему распросить о васъ. И вотъ что́ я слышу. И онъ говоритъ, что Агнеса строитъ глазки докторскому сыну.

— Какъ ему не стыдно! кричитъ Агнеса, проливая слезы подъ своею пыткой.

— Она старше его; но это не препятствіе. Красивый мальчикъ, вы вѣрно не будете противиться? У него есть деньги и материнскія и отцовскія—онъ долженъ быть богатъ. Пошлый, но талантливый и рѣшительный человѣкъ этотъ докторъ, и человѣкъ способный, какъ я подозрѣваю, на все. Не буду удивляться, если онъ женится на какой нибудь богатой вдовушкѣ. Эти доктора имѣютъ огромное вліяніе на женщинъ, и если я не ошибаюсь, Марія, твоя бѣдная сестра подцѣпила...

— Дядюшка! вскрикиваетъ мистриссъ Туисденъ, указывая на дочерей:—при нихъ....

— При этихъ невинныхъ овечкахъ! Гмъ! Ну, я думаю, что Фэрминъ изъ породы волковъ, и старый вельможа смѣется и выставляетъ свои свирѣпые клыки.

— Съ огорченіемъ долженъ сказать, милордъ, что я согласенъ съ вами, замѣчаетъ мистеръ Туисденъ.—Я не думаю, чтобы Фэрминъ былъ человѣкъ съ высокими правилами. Талантливый человѣкъ? Да; человѣкъ образованный? Да; хорошій докторъ? Да; человѣкъ, которому удается въ жизни? Да; но что такое человѣкъ безъ правилъ?

— Вамъ слѣдовало бы быть пасторомъ, Туисденъ.

— И другіе то же говорили, милордъ. Моя бѣдная матушка часто сожалѣла, что я не выбралъ духовное званіе. Когда я былъ въ кэмбриджскомъ университетѣ, я постоянно говорилъ въ нашемъ политическомъ клубѣ. Я практиковался въ искусствѣ говорить рѣчи. Я не скрываю отъ васъ, что моею цѣлью была публичная жизнь. Признаюсь откровенно, что нижняя палатка была бы моей сферой; а еслибы мнѣ позволили мои средства, я непремѣнно выдвинулся бы впередъ.

Лордъ Рингудъ улыбнулся и подмигнулъ племянницѣ.

— Онъ хочетъ сказать, моя милая, что ему хотѣлось бы ораторствовать на мой счетъ, и что мнѣ слѣдовало бы предложить его депутатомъ отъ Уингэма.

— Я думаю, найдутся члены парламента и похуже, замѣтилъ мистеръ Туисденъ.

— Еслибы всѣ были похожи на васъ, парламентъ походилъ бы на

звѣринецъ, заревѣлъ милордъ.—Ей-Богу, мнѣ это надоѣло. Мнѣ хотѣлось бы видѣть у насъ короля—молодца, который попросту заперъ бы обѣ палаты и заставилъ молчать всѣхъ этихъ болтуновъ.

— Я партизанъ порядка, но любитель свободы, продолжалъ Туисденъ.—Я утверждаю, что наша конституція...

Я думаю, милордъ позволилъ бы себѣ кое-какія изъ тѣхъ ругательствъ, какими изобильно украшался его старомодный разговоръ; но слуга доложилъ въ эту минуту о мистерѣ Филиппѣ Фэрминѣ и на щекахъ Агнесы, которая чувствовала, что глаза стараго лорда устремлены на нее, вспыхнулъ слабый румянецъ.

— Я видѣлъ васъ въ оперѣ вчера, говоритъ лордъ Рингудъ.

— И я васъ видѣлъ тоже, отвѣчаетъ прямодушный Филь.

На лицахъ женщинъ выразился ужасъ, и Туисденъ испугался. Туисдены иногда бывали въ ложѣ лорда Рингуда. Но старикъ сиживалъ иногда въ другихъ ложахъ, гдѣ они никогда *не могли* видѣть его.

— Зачѣмъ вы смотрите на меня, а не на сцену, сэръ, когда бываете въ оперѣ? Когда вы въ церкви, вы должны глядѣть на пастора, должны вы или нѣтъ?—заворчалъ старикъ.—На меня точно также пріятно смотрѣть, какъ и на перваго танцора въ балетѣ—я почти также старъ. Но еслибы я былъ на вашемъ мѣстѣ, мнѣ было бы пріятнѣе смотрѣть на Эльслеръ.

Теперь вы можете представить себѣ о какихъ старыхъ, старыхъ временахъ пишемъ мы—временахъ, въ которыя еще существовали эти отвратительные дряхлые танцовщики, противныя существа, въ короткихъ рукавахъ, въ гирляндахъ или въ шляпахъ съ перьями на ихъ нелѣпыхъ старыхъ парикахъ, прыгавшіе въ первомъ ряду балета. Будемъ радоваться, что эти старыя обязьяны почти исчезли со сцены и предоставили ее во владѣніе красивыхъ танцорокъ другаго пола. Ахъ, мои милые юные друзья, *придетъ* время когда и онѣ тоже перестанутъ являться сверхъестественно прелестными! Филиппу въ его лѣта онѣ казались очаровательны, какъ гуріи. Въ то время простодушный молодой человѣкъ, смотрѣвшій на балетъ съ своего кресла въ оперѣ, принималъ карминъ за румянецъ, жемчужную пудру за природную бѣлизну, а хлопчатую бумагу за натуральную симметрію, и навѣрно когда вступилъ въ свѣтъ, былъ не дальновиднѣе относительно его разрумяненной невинности, приторныхъ претензій и набѣленнаго чистосердечія. Старый лордъ Рингудъ находилъ юмористическое удовольствіе ласкать и лелѣять Филиппа Фэрмина при родственникахъ Филиппа въ Бонашской улицѣ. Даже дѣвушки нѣсколько завидовали предпочтенію, которое дядюшка Рингудъ оказывалъ Филю; а старшіе Туисдены и Рингудъ Туисденъ, сынъ ихъ, корчились отъ досады при

видѣ предпочтенія, которое старикъ показывалъ иногда сыну доктора. Филь былъ гораздо выше, гораздо красивѣе, гораздо сильнѣе, гораздо богаче молодаго Туисдена. Онъ былъ единственнымъ наслѣдникомъ состоянія отца и имѣлъ уже тридцать тысячъ фунтовъ стерлинговъ послѣ матери. Даже когда ему сказали, что отецъ его женится опять, Филь засмѣялся и повидимому не заботился объ этомъ. «Желаю ему счастья съ его новой женою», вотъ все чего можно было отъ него добиться; когда онъ женится, я думаю, что я переѣду на квартиру. Старая Паррская улица совсѣмъ не такъ весела, какъ Пэлль—Мэлль». Я не сержусь на мистриссъ Туисденъ за то, что она немножко завидовала своему племяннику. Ея сынъ и дочери были плодомъ почтительнаго брака; а Филь былъ сыномъ непослушной дочери. Ея дѣти всегда вели себя почтительно съ своимъ дѣдомъ; а Филь заботился о немъ не болѣе какъ и о всякомъ другомъ, а онъ болѣе любилъ Филя. Ея сынъ былъ подобострастенъ и старался угождать, какъ самый смиренный изъ льстецовъ его сіятельства; а лордъ Рингудъ огрызался на него, поступалъ съ нимъ съ презрѣніемъ, топталъ ногами нѣжнѣйшія чувства бѣдняжечки и обращался съ нимъ едва ли лучше чѣмъ съ лакеемъ. Бѣдному же мистеру Туисдену милордъ не только зѣвалъ прямо въ лицо—отъ этого удержаться было нельзя—но насмѣхался надъ нимъ, перебивалъ его, говорилъ ему просто, чтобы онъ молчалъ. Въ тотъ день, когда вся семья сидѣла вмѣстѣ, въ самое пріятное время передъ обѣдомъ, лордъ Рингудъ сказалъ Филю:

— Вы обѣдаете у меня сегодня, сэръ?

«Зачѣмъ онъ не приглашаетъ меня, при моей способности къ разговору?» думалъ про себя старикъ Туисденъ.

— Чортъ его возьми, онъ вѣчно приглашаетъ этого нищаго, досадовалъ молодой Туисденъ въ своемъ углу.

— Очень жалѣю сэръ, не могу. Я пригласилъ кое-кого изъ моихъ товарищей обѣдать со мною въ тавернѣ, сказалъ Филь.

— Зачѣмъ вы имъ не откажете? закричалъ старый лордъ.—Вы отказали бы имъ, Туисденъ, вы отказали бы?

— О, сэръ! И сердце у отца и сына забилось.

— Вы знаете, что вы отказали бы, и вы поссоритесь съ этимъ молодчикомъ за то, что онъ не отказываетъ своимъ друзьямъ. Прощайте же, Фэрминъ, если вы не будете.

Съ этими словами милордъ ушелъ.

Оба хозяина угрюмо глядѣли изъ окна, какъ брумъ милорда быстро уѣхалъ по дождю.

— Я ненавижу, когда вы обѣдаете въ этихъ отвратительныхъ тавернахъ, шепнула Филиппу молодая дѣвушка.

— Это гораздо веселѣе, чѣмъ обѣдать дома, замѣтилъ Филиппъ.

— Вы слишкомъ много курите и пьете, поздно возвращаетесь домой и не живете въ приличномъ обществѣ, сэръ, продолжала молодая дѣвушка.

— Что же вы хотите, чтобы я дѣлалъ?

— О, ничего! Вы должны обѣдать съ этими ужасными людьми, говоритъ Агнеса: — а то вы могли бы быть сегодня у леди Пендльтонъ.

— Я легко могу отказать этимъ людямъ, если вы желаете, отвѣчалъ молодой человѣкъ.

— Я? Я ничего подобнаго не желаю. Вѣдь вы уже отказали дядюшкѣ Рингуду.

— *Вы* не лордъ Рингудъ, говоритъ Филь съ трепетомъ въ голосѣ. Не знаю, могу ли я отказать вамъ въ чемъ нибудь.

— Глупенькій! Развѣ я прошу васъ когда нибудь о томъ, въ чемъ вы должны отказать мнѣ? Я хочу, чтобы вы жили въ свѣтѣ, а не съ вашими ужасными, сумасбродными оксфордскими и темпльскими холостяками. Я не хочу, чтобы вы курили. Я хочу, чтобы вы бывали въ свѣтѣ, куда вы имѣете entrée — а вы отказываете дядѣ изъ-за того, что у васъ какой-то тамъ противный обѣдъ въ тавернѣ!

— Остаться мнѣ у васъ? тетушка, дадите вы мнѣ обѣдать здѣсь? спрашиваетъ молодой человѣкъ.

— Мы обѣдали, а мой мужъ и сынъ обѣдаютъ въ гостяхъ, сказала кроткая мистриссъ Туисденъ.

Для дамъ была холодная баранина и чай; и мистриссъ Туисденъ не хотѣлось, чтобы племянникъ ея, привыкшій къ хорошему столу и къ роскошной жизни, сѣлъ за ея скудный обѣдъ.

— Видите, я долженъ утѣшиться въ тавернѣ, сказалъ Филиппъ. У насъ будетъ тамъ пріятная компанія.

— А позвольте спросить, кто тамъ будетъ? спросила молодая дѣвушка.

— Ридли живописецъ.

— Милый Филиппъ, вы знаете, отецъ его былъ просто...

— Слугою лорда Тодмордена? Онъ часто говоритъ намъ это. Престранный этотъ старикъ.

— Мистеръ Ридли, конечно, геніальный человѣкъ. Картины его восхитительны, онъ бываетъ вездѣ; но, но вы сердите меня, Филиппъ, вашей безпечностью — право такъ. Зачѣмъ вамъ обѣдать съ сыновьями лакеевъ, когда вамъ могутъ быть открыты первые дома въ Англіи? Вы меня огорчаете, сумасбродный мальчикъ...

— Тѣмъ, что я обѣдаю въ обществѣ геніальнаго человѣка? полно-те Агнеса!

И лобъ молодаго человѣка нахмурился.

— Притомъ, прибавилъ онъ тономъ сарказма въ голосѣ, который вовсе не понравился миссъ Агнесѣ—притомъ, моя милая, вы знаете, что онъ обѣдаетъ у лорда Пендльтона.

— Что вы говорите о леди Пендльтонъ, дѣти? спросила бдительная мама изъ своего угла.

— Ридли обѣдаетъ тамъ. Онъ будетъ обѣдать со мною въ тавернѣ сегодня. И лордъ Гальденъ будетъ, и мистеръ Уинтонъ будетъ—они слышали о знаменитомъ бифстексѣ.

Уинтонъ, лордъ Гальденъ, бифстексъ! Гдѣ, ей-Богу! и я тоже пойду! Гдѣ вы обѣдаете? au cabaret? Чортъ меня возьми, и я буду! вскрикнулъ маленькій Туисденъ къ ужасу Филиппа, который зналъ ужасную способность дяди къ разговорамъ. Но Туисденъ опомнился во время къ великому облегченію молодаго Фэрмина.

— Чортъ меня возьми. Я забылъ! Твоя тетка и я обѣдаемъ у Блэдизовъ. Глупый старичишка адмиралъ и вино прескверное—это не простительно; но мы должны ѣхать—on n'a que sa parole? Скажи Уинтону, что я думалъ было пріѣхать туда и что у меня есть еще то Шато-марго, которое онъ любилъ. Отца Гальдена я знаю хорошо. Скажи ему это. Привези его сюда. Марія, пошли лорду Гальдену пригласительный билетъ на четверги! Ты долженъ привезти его сюда обѣдать, Филиппъ. *Это* самый лучшій способъ знакомиться, мой милый!

И маленькій человѣкъ чванно замахалъ подсвѣчникомъ, какъ будто хотѣлъ выпить стаканъ горячаго стеарина.

Имена такихъ знатныхъ особъ, какъ лордъ Гальденъ и мистеръ Уинтонъ, заставили умолкнуть упреки задумчивой Агнесы.

— Вамъ не понравится нашъ спокойный домъ послѣ знакомства съ такими знатными людьми, Филиппъ! сказала она со вздохомъ.

Уже не было болѣе разговора о томъ, что онъ бросается въ дурную компанію.

Филиппъ не обѣдалъ у своихъ родственниковъ. Тальботъ Туисденъ позаботился дать знать лорду Рингуду, какъ молодой Фэрминъ назывался обѣдать у тетки въ тотъ самый день, какъ онъ отказалъ его сіятельству. И все къ невыгодѣ Филя, и всякій сумасбродный поступокъ, всякую шалость молодаго человѣка, дядя Филя и кузенъ Филя, Рингудъ Туисденъ передавалъ старому лорду. Еслибы лордъ Рингудъ слышалъ это не отъ нихъ—онъ разсердился бы, потому что требовалъ повиновенія и раболѣпства отъ всѣхъ окружающихъ; но пріятнѣе бы-

ло бѣсить Туисденовъ, чѣмъ бранить Филиппа, поэтому его сіятельство хохоталъ и забавлялся неповиновеніемъ Филя. Онъ видѣлъ также другія вещи, которыхъ не говорилъ. Это былъ старикъ хитрый, онъ могъ оставаться слѣпымъ при случаѣ.

Какъ вы судите о томъ, что Филиппъ былъ готовъ дать или нарушить слово по наущеніямъ молодой дѣвушки? Когда вамъ было двадцать лѣтъ, развѣ молодыя дѣвушки не имѣли вліянія надъ *вами?* Не были ли онѣ почти всегда старѣе васъ? Довела ли васъ до чего нибудь ваша юношеская страсть и сожалѣете-ли вы теперь, что нѣтъ? Положимъ ваше желаніе исполнилось и вы женились бы на ней—какихъ лѣтъ была бы она теперь? А теперь, когда вы бываете въ свѣтѣ и видите ее, скажите по чистой совѣсти: очень сожалѣете вы, что это маленькое приключеніе пришло къ концу? Та ли это (худощавая или полная, или низенькая, или высокая) женщина со всѣми этими дѣтьми, по которой когда-то терзалось ваше сердце и все ли еще вы завидуете ея мужу? Филиппъ былъ влюбленъ въ свою кузину, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но въ университетѣ развѣ онъ не былъ прежде влюбленъ въ дочь профессора миссъ Буддъ, и не писалъ ли онъ уже стихи миссъ Флоуеръ, дочери его сосѣда въ Старой Паррской улицѣ? И развѣ не всегда молодые люди влюбляются сначала въ женщинъ старѣе себя? Агнеса была старше Филиппа, какъ ея сестра постоянно заботилась напоминать ему.

А Агнеса могла бы разсказать кой-какія сказочки о Бланшъ, еслибы хотѣла—какъ вы можете обо мнѣ, а я о васъ. Сказочки, не совсѣмъ справедливыя, но съ достаточной примѣсью лжи, для того чтобы сдѣлать ихъ ходячею монетою, такія сказочки, какія мы ежедневно слышимъ въ свѣтѣ, такія сказочки, какія мы читаемъ въ самыхъ ученыхъ и добросовѣстно составленныхъ историческихъ книгахъ, которыя разсказываются самыми почтенными людьми и считаются совершенно подлинными, пока ихъ не опровергнутъ. Только *нашихъ* исторій нельзя опровергнуть (если только романисты сами себя неопровергнутъ, какъ иногда бываетъ съ ними). То что *мы* говоримъ о добродѣтеляхъ, недостаткахъ, характерахъ другихъ людей, все это справедливо, вы можете быть увѣрены въ томъ. Пусть-ка кто-нибудь попробуетъ утверждать, что мое мнѣніе о семействѣ Туисденовъ коварно или жестоко, или вовсе неосновательно въ нѣкоторомъ отношеніи. Агнеса писала стихи и перекладывала на музыку свои собственныя и чужія поэмы. Бланшъ была дѣвушка ученая, и очень прилежно посѣщала публичныя лекціи въ Альбермальской улицѣ. Обѣ онѣ были женщины образованныя, какъ водится, хорошо воспитанныя, свѣдущія, съ прекраснымъ обращеніемъ, когда онѣ хотѣли нравиться. Если вы

были холостякъ съ хорошимъ состояніемъ или вдовецъ, нуждавшійся въ утѣшеніи, или дама, дававшая очень хорошіе вечера и принадлежавшая къ большому свѣту, вы нашли бы ихъ пріятными особами. Если вы были чиновникомъ въ казначействѣ или молодымъ адвокатомъ безъ практики, или дамою старою или молодою, но не принадлежавшею къ высшему свѣту, ваше мнѣніе о нихъ было бы не такъ благопріятно. Я видѣлъ, какъ онѣ презирали, избѣгали, ласкали, становились на колѣни, и поклонялись одному и тому же лицу. Когда мистриссъ Ловелль начала давать вечера, развѣ я не помню, какое негодованіе изображалось на лицахъ Туисденской семьи? Былъ ли кто холоднѣе васъ, милыя дѣвушки? Теперь онѣ ее любятъ, ласкаютъ ея пасынковъ, хвалятъ ее и въ глаза и за глаза, въ публикѣ берутъ ее за руку, называютъ ее по имени, приходятъ въ восторгъ отъ ея нарядовъ и готовы, кажется, принести уголья для камина въ ея уборной, еслибы она велѣла имъ. *Она* не измѣнилась. Она та же самая лэди, которая когда-то была гувернанткой—и не холоднѣе, и не любезнѣе съ тѣхъ поръ. Но вы видите, что счастье вызвало наружу ея добродѣтели, которыхъ люди не примѣчали, когда она была бѣдна. Могли ли люди видѣть красоту Сандрильоны, когда она сидѣла въ рубищѣ у огня, до тѣхъ поръ, пока она вся въ бриллiантахъ не вышла изъ своей волшебной колесницы. Какъ вы узнаете бриллiантъ въ сорной ямѣ? Это могутъ увидать только очень зоркіе глаза. Между тѣмъ какъ дама, въ волшебной колесницѣ въ восемь лошадей, натурально, производитъ впечатлѣніе и заставляетъ принцевъ просить ее сдѣлать имъ честь танцовать съ ними.

Въ качествѣ непогрѣшимаго историка, я объявляю, что если миссъ Туисденъ въ двадцать три года чувствуетъ большую или маленькую привязанность къ своему еще несовершеннолѣтнему кузену, то нѣтъ никакой причины сердиться на нее. Славный, красивый, прямодушный, широкоплечій, веселый молодой человѣкъ, съ свѣжимъ румянцемъ на лицѣ, съ весьма хорошими дарованіями (хотя онъ былъ страшно лѣнивъ и удаленъ на время изъ университета), обладатель и наслѣдникъ порядочнаго состоянія, могъ натурально сдѣлать нѣкоторое впечатлѣніе на сердце дѣвушки, съ которою родство и обстоятельства сводили его ежедневно. Когда такіе задушевные звуки, какъ смѣхъ Филя слышались въ Бонашской улицѣ? Его шутливая откровенность трогала его тетку, женщину умную. Она улыбалась и говорила:

— Милый Филиппъ, не только то, что ты говоришь, но и то, что ты собираешься сказать, держитъ меня въ такомъ постоянномъ трепетѣ.

Можетъ статься, было время, когда и она была чистосердечна и задушевна; давно, когда она и сестра ея были двумя румяными дѣвуш-

ками, любившими другъ друга и дружными между собою, и только что вступившими въ свѣтъ. Но если вамъ удастся содержать великолѣпный домъ съ маленькимъ доходомъ, показывать веселое лицо свѣту, хотя васъ тяготятъ заботы; сносить съ почтительнымъ уваженіемъ нестерпимо скучнаго мужа (а я увѣряю, что именно этимъ послѣднимъ качествомъ я наиболѣе восхищаюсь въ мистриссъ Туисденъ); покоряться пораженіямъ съ терпѣніемъ, униженіямъ съ улыбками — вамъ, можетъ быть, удастся все это, но вы не должны надѣяться быть искренной и задушевной. Бракъ сестры съ докторомъ сильно напугалъ Марію Рингудъ, потому что лордъ Рингудъ былъ взбѣшенъ, когда пришло это извѣстіе; тогда, можетъ быть, она пожертвовала своей собственной, маленькой, тайной страстью; сначала она кокетничала съ однимъ знатнымъ молодымъ сосѣдомъ, который обманулъ ее, потомъ, за недостаткомъ лучшаго, она вышла за Тальбота Туисдена, эсквайра, и была для него вѣрною женою, а дѣтямъ его заботливою матерью. Что же касается до откровенности и задушевности, мой добрый другъ, принимайте отъ женщины то, что она можетъ дать вамъ—хорошее обращеніе, пріятный разговоръ, приличное вниманіе. Если вы завтракаете у нея, не спрашивайте яйцо кондора, но кушайте это порядочно свѣжее куриное яйцо, которое Джонъ приноситъ вамъ. Когда мистриссъ Туисденъ ѣдетъ въ коляскѣ по парку, какъ она кажется счастлива, хороша и весела, какъ дѣвушки улыбаются и какъ кажутся молоды (то есть, знаете, соображая все); лошади такія жирныя, кучеръ и лакей такіе видные; дамы размѣниваются поклонами съ сидящими въ другихъ экипажахъ — извѣстными аристократками. Джонсъ и Броунъ, облокотившись о перила и видя какъ туисденскій экипажъ проѣзжаетъ мимо, не имѣютъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ немъ сидятъ люди богатые и свѣтскіе.

— Джонсъ, мой милый, у какой знатной фамиліи этотъ девизъ: Well done Twys done (*) и какія это дѣвушки сидятъ въ этой коляскѣ! Броунъ замѣчаетъ Джонсу:

— А Какой красивый франтъ ѣдетъ на гнѣдой лошади и разговариваетъ съ бѣлокурой дѣвушкой!

И покрайней мѣрѣ для одного изъ этихъ джентльмэновъ очевидно, что онъ глядитъ на людей перваго сорта.

А Филь Фэрминъ на своей гнѣдой лошади съ гераніумомъ въ петлицѣ, безъ всякаго сомнѣнія кажется такъ красивъ, такъ богатъ, такъ молодцоватъ, какъ любой лордъ. И мнѣ кажется, Джонъ долженъ былъ почувствовать маленькую зависть, когда его другъ сказалъ ему:

(*) Непереводимый каламбуръ; *хорошо сдѣлано, сдѣлано два раза.* Twice done и Twysden. *Пр. перев.*

— Лордъ, что̀ вы! Этотъ франтъ сынъ доктора.

Но пока Джонсъ и Броунъ воображаютъ, что все это маленькое общество очень счастливо, они не слышатъ, какъ Филь шепчетъ своей кузинѣ:

— Надѣюсь, что вамъ понравился вашъ вчерашній кавалеръ?

И они не видятъ какъ растревожена мистриссъ Туисденъ подъ своими улыбками, какъ она примѣчаетъ подъѣзжающій кабріолетъ полковника Шафто (кавалеръ, о которомъ идетъ рѣчь) и какъ ей хотѣлось бы, чтобы Филь былъ гдѣ ему угодно, только не съ этой стороны ея коляски; какъ лэди Брагландсъ проѣхала мимо, не обративъ на нихъ вниманія— лэди Брагландсъ, которая даетъ балъ, и рѣшилась *не* приглашать этой женщины съ ея дочерьми; и какъ хотя леди Брагландсъ не хочетъ видѣть мистриссъ Туисденъ въ ея бросающемся въ глаза экипажѣ, и три лица улыбающіяся ей, она немедленно примѣчаетъ лэди Ловелль, которая проѣзжаетъ въ своемъ маленькомъ брумѣ и посылаетъ ей двадцать поцѣлуевъ рукой. Какъ же бѣднымъ Джонсу и Броуну, которые не принадлежатъ, vous comprenez, къ большому свѣту, понять эти таинственности?

— Этотъ красивый молодой человѣкъ Фэрминъ? говоритъ Броунъ Джонсу.

— Докторъ женился на племянницѣ графа Рингуда, бѣжалъ съ ней, вы знаете.

— Хорошая практика?

— Отличная. Первоклассная. Все важные люди. Докторъ знатныхъ дамъ; онѣ не могутъ обойдтись безъ него. Богатѣетъ, кромѣ того что̀ получилъ за женой.

— Мы видѣли его имя—старика, на очень странной бумажкѣ, говоритъ Броунъ, подмигнувъ Джонсу.

Поэтому я заключаю, что это джентльмэны изъ сити. И они пристально смотрятъ на нашего пріятеля Филиппа, когда онъ подъѣзжаетъ поговорить и подать руку нѣкоторымъ пѣшеходамъ, которые смотрятъ черезъ перила на шумную и пріятную сцену въ паркѣ.

ГЛАВА V.

Благородный родственникъ.

Имѣвъ случай упомянуть разъ или два о благородномъ графѣ, я увѣренъ, что ни одинъ вѣжливый читатель не согласится, чтобы его

сіятельство толкался въ этой исторіи въ толпѣ обыкновенныхъ лицъ безъ особеннаго описанія, относящагося собственно къ нему. Если вы хоть сколько нибудь знакомы съ Бёрке или Дебреттомъ (*), вы знаете, что древняя фамилія Рингудовъ была давно знаменита своими огромными владѣніями и своимъ вѣрноподданствомъ британскому престолу.

Въ смутахъ, по несчастію волновавшихъ это королевство послѣ ниспроверженія послѣдняго царствующаго дома, Рингуды были замѣшаны съ многими другими фамиліями, но при вступленіи на престолъ его величества Георга III, эти несогласія кончились счастливо, и монархъ не имѣлъ болѣе вѣрнаго и преданнаго подданнаго, какъ сэръ Джонъ Рингудъ, баронетъ, владѣлецъ Уипгэтскаго и Уингэмскаго помѣстьевъ. Вліяніе сэра Джона отправило трехъ членовъ въ парламентъ; а во время опаснаго и непріятнаго періода американской войны, это вліяніе такъ искренно и постоянно употреблялось на пользу порядка и престола, что его величество заблагоразсудилъ возвести сэра Джона въ званіе барона Рингуда. Братъ сэра Джона, сэръ Фрэнсисъ Рингудъ, изъ Эппльшо, занимавшій юридическую профессію, также сдѣланъ былъ барономъ и чиновникомъ въ казначействѣ его величества. Первый баронъ, умершій въ 1786, былъ замѣненъ старшимъ сыномъ изъ двухъ его сыновей, Джономъ, вторымъ барономъ и первымъ графомъ Рингудомъ. Братъ его сіятельства высокородный полковникъ Филиппъ Рингудъ, умеръ достославнымъ образомъ во главѣ своего полка и защищая свою родину въ сраженіи при Бусако, въ 1810, оставивъ двухъ дочерей Луизу и Марію, которыя потомъ жили у графа, своего дяди.

Графъ Рингудъ имѣлъ только одного сына Чарльза виконта Синкбарза, который къ несчастью умеръ отъ чахотки на двадцатъ второмъ году. И такимъ образомъ потомки сэра Фрэнсиса Рингуда сдѣлались наслѣдниками огромныхъ помѣстьевъ графа въ Уипгэтѣ и Уингэмѣ, хотя не пэрства, которое было укрѣплено за графомъ и его отцомъ.

У лорда Рингуда жили двѣ племянницы, дочери его покойнаго брата, полковника Филиппа Рингуда, убитаго въ испанской войнѣ. Изъ нихъ, младшая Луиза, была любимица его сіятельства; и хотя обѣ дѣвушки имѣли свое собственное значительное состояніе, но полагали, что дядя наградитъ ихъ, въ особенности потому, что онъ находился не въ весьма хорошихъ отношеніяхъ съ своимъ кузеномъ, сэромъ Джономъ Шо, который принялъ сторону виговъ въ политикѣ, между тѣмъ какъ его сіятельство былъ главою торіевъ.

Изъ этихъ двухъ племянницъ, старшая Марія, никогда не бывшая фавориткой дяди, вышла замужъ въ 1824, за Тальбота Туисдена,

(*) Авторы двухъ словарей аристократическихъ англійскихъ фамилій. *Пр. перев.*

эсквайра; но младшая Луиза заслужила сильный гнѣвъ милорда, убѣжавъ съ Джорджемъ Брандомъ Фэрминомъ эсквайромъ, докторомъ медицины, молодымъ джентльмэномъ, воспитанникомъ кембриджскаго университета, который былъ при лордѣ Синкбарзѣ, сынѣ графа Рингуда, когда онъ умеръ въ Неаполѣ и привезъ домой его тѣло въ Уингэтскій замокъ.

Ссора съ младшей племянницей и равнодушіе его къ старшей (которую его сіятельство имѣлъ привычку называть старой плутовкой) сначала нѣсколько сблизили лорда Рингуда съ его наслѣдникомъ, сэромъ Джономъ Эппльшо; но оба джентльмэна были очень твердаго, чтобы не сказать упрямаго характера. Они поссорились за раздѣлъ какого-то маленькаго наслѣдства, и оба разстались съ большой враждой и съ ругательствами со стороны его сіятельства, который никогда не стѣснялся въ выраженіяхъ и всякую вещь называлъ ея настоящимъ именемъ, какъ говорится.

Послѣ этой ссоры, полагали, что графъ Рингудъ женится на зло своему наслѣднику. Ему было не многимъ болѣе семидесяти лѣтъ и прежде онъ пользовался очень крѣпкимъ здоровьемъ. И хотя его характеръ былъ запальчивъ, а наружность не весьма пріятна (потому что даже въ портретѣ сэра Томаса Лауренса физіономія его весьма некрасива), нечего и сомнѣваться, что онъ могъ бы найти жену между молодыми красавицами въ его родномъ графствѣ или между самыми прелестными обитательницами Мэй-Фэра.

Но онъ былъ циникъ и, можетъ быть, болѣзненно сознавалъ свою непривлекательную наружность.

— Разумѣется, я могу купить жену, говаривалъ его сіятельство. Неужели вы думаете, что отцы не продадутъ своихъ дочерей человѣку моего званія и съ моимъ состояніемъ? Поглядите-ка на меня, мой добрый сэръ, и скажите, можетъ ли хоть какая нибудь женщина влюбиться въ меня? Я былъ женатъ—и одного раза слишкомъ довольно. Я терпѣть не могу безобразныхъ женщинъ, а ваши добродѣтельныя женщины, которыя дрожатъ и плачутъ потихоньку и читаютъ нравоученія мужчинамъ, нагоняютъ на меня тоску. Сэръ Джонъ Рингудъ Эппльшо оселъ и я его ненавижу, но не настолько же, однако, чтобы сдѣлать его несчастнымъ на всю жизнь, только для того, чтобы насолить ему. Умру, такъ умру. Вы думаете, много я забочусь о томъ, что будетъ послѣ меня?

И съ сардоническимъ юморомъ этотъ старый лордъ проводилъ добрыхъ матушекъ, подставлявшихъ ему своихъ дочерей, онъ посылалъ жемчугъ Эмили, брильянты Фанни, билетъ въ оперу веселой Кэтъ, религіозныя книги благочестивой Селиндѣ, а въ концѣ сезона, отправ-

лялся въ свой огромный и уединенный замокъ на западѣ. »Онѣ всѣ одинаковы»—таково было мнѣніе его сіятельства. Я боюсь, что это былъ злой и развратный старый джентльмэнъ, мои милыя. Но ахъ, не согласится ли женщина на кое-какія жертвы, чтобы исправить этого несчастнаго человѣка, навести это щедро одаренное природой, но погибшее существо, на путь правды; обратить къ вѣрѣ въ чистоту женщинъ эту заблудившуюся душу? Онѣ прельщали его пеленами на олтарь для его уингэтской церкви; онѣ искушали его религіозными трактатами; онѣ танцовали передъ нимъ; онѣ перепрыгивали верхомъ на лошадяхъ черезъ барьеры; онѣ причесывались гладко или завивали локоны, соображаясь съ его вкусомъ; онѣ всегда были дома, когда онъ пріѣзжалъ, а намъ съ вами, бѣдняжкамъ, грубо говорили, что ихъ дома нѣтъ; онѣ проливали слезы признательности надъ его букетами; онѣ пѣли для него; а матери ихъ, сдерживая свои рыданія, шептали:

— Какой ангелъ, моя Цецилія!

Разный чудный кормъ бросали онѣ этой старой птицѣ. Но она все-таки не давала себя поймать и въ концѣ сезона улетала въ свои западныя горы. А еслибы вы осмѣлились сказать, что мистриссъ Нетли старалась поймать его, или лэди Трапбойсъ разставляла ему сѣти, вы сами знаете, что вы были бы злымъ, грубымъ поносителемъ и сдѣлались бы извѣстны повсюду вашей глупой и пошлой клеветой на женщинъ.

Въ 1830 г. съ этимъ вельможей сдѣлался припадокъ подагры, который чуть было не передалъ его помѣстья родственнику его, баронету Эппльшо. Въ сосѣднемъ государствѣ происходила революція. Знаменитый царствующій домъ былъ изгнанъ изъ этой страны, а проекты реформъ (которыя грозили кончиться революціей) созрѣвали у насъ. Событія во Франціи, и тѣ, которыя приготовлялись у насъ дома, такъ волновали лорда Рингуда, что съ нимъ сдѣлался одинъ изъ сильнѣйшихъ припадковъ подагры, отъ которыхъ когда либо онъ страдалъ. Крики его, когда его вынесли съ яхты въ домъ нанятый для него въ Райдѣ, были ужасны; слова его ко всѣмъ окружавшимъ были страшно выразительны, какъ лэди Камли и дочь ея, которыя катались съ нимъ на яхтѣ нѣсколько разъ, могутъ засвидѣтельствовать. Дурно же расплатился грубый старикъ за всю ихъ доброту и вниманіе къ нему. Онѣ танцовали на его яхтѣ; онѣ обѣдали на его яхтѣ; онѣ весело переносили всѣ неудобства морскихъ поѣздокъ въ его обществѣ. А когда онѣ подбѣжали къ его креслу—чего не сдѣлали бы онѣ, чтобы успокоить старика въ его болѣзни и страданіяхъ?—когда онѣ подбѣжали къ его креслу, въ то время, какъ его катили на колесахъ по пристани, онъ называлъ мать и дочь самыми пошлыми и

ругательскими именами, и кричалъ имъ, чтобы онѣ отправлялись въ такое мѣсто, которое конечно я ужъ не назову.

Случилось въ это самое время доктору и мистриссъ Фэрминъ быть въ Райдѣ, съ своимъ маленькимъ сыномъ, которому было тогда три года. Докторъ уже находился въ числѣ самыхъ модныхъ лондонскихъ докторовъ и начиналъ пріобрѣтать знаменитость своимъ леченіемъ этой болѣзни (сочиненіе Фэрмина о *подагрѣ* и *ревматизмѣ* было, какъ вы помните, посвящено его величеству Георгу IV). Камердинеръ лорда Рингуда посовѣтовалъ ему пригласить этого доктора, упомянувъ, что онъ теперь въ этомъ городѣ. Лордъ Рингудъ всегда умѣлъ подчинить свой гнѣвъ своимъ удобствамъ. Онъ немедленно велѣлъ пригласить мистера Фэрмина и покорился его леченію. Наружность Фэрмина была такъ величественна, что онъ казался гораздо знатнѣе многихъ знатныхъ вельможъ. Шесть футовъ роста, благородныя манеры, гладкій лобъ, блестящіе глаза, бѣлая какъ снѣгъ манишка, красивая рука изъ подъ бархатнаго обшлага—всѣ эти преимущества имѣлъ онъ и пользовался ими. Онъ не сдѣлалъ ни малѣйшаго намека на прошлое, но обращался съ своимъ паціентомъ съ чрезвычайной вѣжливостью и съ непроницаемымъ самообладаніемъ.

Эта угрюмая и холодная вѣжливость не всегда не нравилась старику. Онъ такъ привыкъ къ раболѣпной угодливости и къ торопливому повиновенію всѣхъ окружавшихъ его, что ему иногда надоѣдало ихъ раболѣпство и нравилась маленькая независимость. Изъ расчета или изъ благородства Фэрминъ рѣшился поддерживать независимыя отношенія съ его сіятельствомъ? Съ перваго дня ихъ встрѣчи онъ никогда отъ нихъ не отступалъ и имѣлъ удовольствіе видѣть только вѣжливое обращеніе со стороны своего благороднаго родственника и паціента, который славился своей грубостью почти со всѣми, кто попадался ему на глаза.

По намекамъ его сіятельства въ разговорѣ, онъ показалъ доктору, что ему были извѣстны нѣкоторыя подробности ранней карьеры Фэрмина. Она была сумасбродная и бурная. Фэрминъ надѣлалъ долговъ, поссорился съ своимъ отцомъ, вышелъ изъ университета и уѣхалъ заграницу; жилъ въ обществѣ кутилъ, которые каждую ночь играли въ карты, а по утрамъ иногда брались за пистолеты; онъ самъ убилъ на дуэли одного знаменитаго итальянскаго авантюриста, который палъ отъ руки его въ Неаполѣ. Лѣтъ двадцать пять тому назадъ, пистолетные выстрѣлы можно было слышать иногда въ лондонскихъ предмѣстьяхъ очень рано по утрамъ, а кости употреблялись во всѣхъ игорныхъ домахъ. Кавалеры ордена четырехъ королей путешествовали изъ столицы въ столицу, боролись между собою или обманывали простяковъ.

Теперь времена перемѣнились. Только sous—officiers, поссорившись въ провинціальныхъ кофейныхъ за домино, выходятъ на дуэли. «Ахъ, Боже мой, говорилъ мнѣ намедни со вздохомъ въ Бэйскомъ клубѣ (*) одинъ ветеранъ-понтеръ, не грустно ли думать, что еслибы мнѣ хотѣлось промотать для своего удовольствія пятидесяти фунтовый билетъ, я не знаю въ Лондонѣ ни одного мѣста, гдѣ я бы могъ проиграть его?» И онъ съ любовью припоминалъ имена двадцати мѣстъ, гдѣ могъ весело проиграть деньги въ своей молодости.

Послѣ довольно продолжительнаго пребыванія за-границей, мистеръ Фэрминъ воротился на родину, получилъ позволеніе опять вступить въ университетъ и вышелъ съ степенью баккалавра медицины. Мы разсказывали, какъ онъ бѣжалъ съ племянницей лорда Рингуда и подвергнулся гнѣву этого вельможи. Кромѣ гнѣва и ругательствъ его сіятельство не могъ сдѣлать ничего. Молодая дѣвушка была свободна выдти за кого хотѣла, а ея дядя—отвергнуть или принять его. Мы видѣли, что его сіятельство не прощалъ ее до тѣхъ поръ, пока не нашелъ удобнымъ простить. Каковы были намѣренія лорда Рингуда относительно его имѣнія, сколько онъ скопилъ, кто будетъ его наслѣдникомъ—никто не зналъ. Разумѣется, многіе сильно этимъ интересовались. Мистриссъ Туисденъ съ мужемъ и дѣтьми были голодны и бѣдны. Еслибы дядюшка Рингудъ оставилъ деньги, онѣ очень пригодились бы этимъ тремъ бѣдняжечкамъ, отецъ которыхъ не имѣлъ такого большаго дохода, какъ докторъ Фэрминъ. Филиппъ былъ милый, добрый, откровенный, любезный, сумасбродный малый—они всѣ его любили. Но у него были свои недостатки, которыхъ нельзя было скрыть—и вотъ недостатки бѣднаго Филя постоянно разбирались при дядюшкѣ Рингудѣ, милыми родственниками, которые знали ихъ слишкомъ хорошо. Милые родственники, какъ они добры! Я не думаю, чтобы тетка Филиппа бранила его передъ милордомъ. Эта смирная женщина спокойно и кротко выставляла права своихъ любимцевъ и съ любовью распространялась о настоящемъ достаточномъ состояніи молодаго человѣка и его великолѣпныхъ будущихъ надеждахъ. Теперь проценты съ тридцати тысячъ фунтовъ, а потомъ наслѣдство послѣ отца, который такъ много накопилъ! Чего еще нужно молодому человѣку? Можетъ быть, и этого уже слишкомъ много для него. Можетъ быть, онъ слишкомъ богатъ для того чтобы трудиться. Хитрый старый пэръ соглашался съ своей племянницей и понималъ какъ нельзя лучше, на что она мѣтила.

(*) Очень модный клубъ, гдѣ прежде была страшная игра.

Пр. перев.

— Тысяча фунтовъ годоваго дохода! Что такое тысяча, ворчалъ старый лордъ.—Этого мало, для того чтобы играть роль джентльмэна и слишкомъ довольно для того, чтобы заставить лѣниться молодаго человѣка.

— Ахъ, право ужъ какъ этого мало! вздыхала мистриссъ Туисденъ.—Съ такимъ большимъ домомъ, съ жалованьемъ мистера Туисдена—просто нечѣмъ жить.

— Нечѣмъ жить! Можно умереть съ голода, ворчалъ милордъ съ своей обычной откровенностью—.Развѣ я не знаю, чего стоитъ хозяйство, и не вижу, какъ вы экономничаете. Буфетчики и лакеи, экипажи и лошади, обѣды—хотя твои обѣды Марія не знамениты.

— Они очень дурны, я знаю, что они дурны, говоритъ лэди съ сокрушеніемъ:—но мы не въ состояніи давать обѣдовъ лучше.

— Лучше, разумѣется, вы не можете. Вы глиняные горшки и плаваете съ мѣдными горшками. Я видѣлъ намедни—Туисденъ гуляетъ по Сент-Джемской улицѣ съ Родсомъ—этимъ долговязымъ. (Тутъ милордъ засмѣялся и выказалъ множество клыковъ, которые придавали особенно свирѣпый видъ его сіятельству, когда онъ былъ въ веселомъ расположеніи духа). Если Туисденъ гуляетъ съ высокимъ человѣкомъ. онъ всегда старается не отставать отъ него. *Ты* это знаешь.

Натурально, бѣдная Марія знала странности своего мужа; но она не сказала, что ей не нужно напоминать о нихъ.

— Онъ такъ запыхался, что едва могъ говорить, продолжалъ дядюшка Рингудъ—но онъ растягивалъ свои маленькія ножки и старался не отставать. Онъ низенькій, le cher mari, но у него много отваги. Эти низенькіе люди часто бываютъ таковы. Я видѣлъ, какъ онъ до смерти уставалъ на охотѣ, а пробирался по вспаханнымъ полямъ за людьми, у которыхъ были ноги вдвое длиннѣе чѣмъ у него. Вмѣсто большаго дома и кучи лѣнтяевъ слугъ, зачѣмъ вы не наймете одну горничную и не ѣдите баранину за обѣдомъ, Марія? Вы съ ума сходите, стараясь свести концы съ концами. Ты сама это знаешь. Ты не спишь по ночамъ отъ этого, *я* знаю это очень хорошо. Вы нанимаете домъ, который годится для людей въ четверо васъ богаче. Я даю вамъ моего повара, но я не могу обѣдать у васъ, если не пришлю своего вина. Зачѣмъ вы не возьмете бутылку портера, кусокъ баранины и коровьи рубцы—это чудо какъ вкусно. Бѣдствія, навлекаемыя на самихъ себя людьми, которые стараются жить выше своихъ средствъ, ужасно смѣшны, ей-Богу! Взгляните-ка на этого молодца, который отворилъ мнѣ дверь—онъ такъ высокъ, какъ мои собственные лакеи. Переѣзжайте-ка въ тихую улицу въ Бельгрэвію гдѣ нибудь, и наймите опрятную горничную. Никто не станетъ думать о васъ на

волосъ хуже—и вы будете жить такъ хорошо, какъ еслибы жили здѣсь съ прибавочной еще тысячи фунтовъ въ годъ. Совѣтъ, который я вамъ подаю, стоитъ этихъ денегъ.

— Совѣтъ очень хорошій, но я думаю сэръ, что я предпочла бы тысячу фунтовъ, сказала мистриссъ Туисденъ.

— Разумѣется. Вотъ это слѣдствіе вашего фальшиваго положенія. Въ докторѣ хорошо то, что онъ гордъ какъ Луциферъ и сынъ его также. Они не жадны къ деньгамъ. Они поддерживаютъ свою независимость. Когда я въ первый разъ пригласилъ его, я думалъ, что онъ какъ родственникъ, будетъ лечить меня даромъ; но онъ не хотѣлъ. Онъ потребовалъ платы, ей-Богу, не хотѣлъ пріѣзжать безъ этого! Чертовски независимый человѣкъ этотъ Фэрминъ. И молодой такой же.

Но когда Туисденъ и его сынъ (можетъ быть по наущеніямъ мистриссъ Туисденъ) старались разъ или два выказать независимость въ присутствіи этого льва, онъ разревѣлся, накинулся на нихъ, такъ что они убѣжали отъ его воя. Это напоминаетъ мнѣ одну старую исторію, которую я слышалъ, совсѣмъ старую, старую исторію, которую добрые старички въ клубѣ любятъ вспоминать—о милордѣ, когда онъ былъ еще лордомъ Синкбарзомъ, онъ оскорбилъ отставнаго лейтенанта, который отхлесталъ его сіятельство самымъ секретнымъ и свирѣпымъ образомъ. Говорили, что лордъ Синкбарзъ наткнулся на браконьеровъ; но на самомъ-то дѣлѣ—это милордъ стрѣлялъ чужую дичь, а лейтенантъ защищалъ свою собственность. Я не говорю, что это былъ вельможа образцовый; но когда собственныя страсти или интересы не сбивали его съ толку, это былъ вельможа весьма проницательный, съ юморомъ и съ здравымъ смысломъ и могъ при случаѣ подать хорошій совѣтъ. Если люди хотѣли становиться на колѣни и цѣловать его сапоги, прекрасно. Но тотъ, кто не хотѣлъ, былъ свободенъ не производить этой операціи. Самъ папа не требуетъ этой церемоніи отъ протестантовъ, и если они не хотятъ цаловать его туфли, никто и не думаетъ совать имъ насильно его въ ротъ. Филь и его отецъ вѣроятно не хотѣли трепетать передъ старикомъ, не потому, что они знали, что онъ былъ забіяка, котораго можно было свалить съ ногъ, но потому, что это были люди умные, которымъ было все равно, кто былъ забіяка, и кто нѣтъ.

Я сказалъ вамъ, что я люблю Филиппа Фэрмина, хотя надо признаться, что у этого молодаго человѣка было много недостатковъ, и что его карьера, особенно въ ранней юности, была вовсе не безукоризненною. Извинялъ ли я когда его поведеніе съ отцомъ, сказалъ ли слово въ извиненіе его краткой и незнаменитой университетской карьеры? Я сознаюсь въ его промахахъ съ тѣмъ чистосердечіемъ, съ которымъ

мои друзья говорятъ о моихъ. Кто не видитъ слабости своего друга, кто такъ слѣпъ, что не примѣчаетъ огромнаго бревна въ глазу своего брата? Развѣ женщины двѣ, три, да и то весьма рѣдко, но и тѣ разочаруются когда нибудь. Какъ человѣкъ свѣтскій, я пишу о моихъ друзьяхъ какъ о свѣтскихъ братьяхъ. Неужели вы думаете, что здѣсь много ангеловъ? Я опять скажу, можетъ быть женщины двѣ, три. Что же касается до васъ и до меня, мой добрый сэръ, есть ли на *нашихъ* плечахъ какіе нибудь знаки крылышекъ? Молчите, прекратите ваши ворчливыя циническія замѣчанія, а продолжайте вашъ разсказъ.

Когда вы идете по жизненному пути, спотыкаясь, скользя и опять вскакивая на ноги, плачевно сознавая свою несчастную слабость и молясь съ сокрушеннымъ сердцемъ, чтобы не впасть въ искушеніе, не смотрѣли ли вы часто на другихъ грѣшниковъ, не соображали ли съ ужаснымъ участіемъ о ихъ карьерѣ? Есть нѣкоторые, на кого съ самаго ихъ дѣтства мрачный Ариманъ наложилъ свою ужасную печать: дѣтьми они были уже развращены, злы на языкъ, въ нѣжномъ возрастѣ уже жестоки; имъ слѣдовало бы еще быть правдивыми и великодушными (они вчера лежали у материнской груди), а они фальшивы и холодны, и жадны преждевременно. Они почти еще младенцы, а уже эгоистичны какъ старики; подъ ихъ чистосердечными личиками виднѣется хитрость и злость, и отвратительное преждевременное лукавство. Я могу припомнить такихъ дѣтей, и въ незабытомъ дѣтствѣ, въ глубокой дали вижу эту печальную процессію enfans perdus. Да спасетъ ихъ небо! Потомъ есть тотъ сомнительный классъ людей, которые еще не искушены, которые падаютъ и опять встаютъ, которые часто остаются побѣдителями въ битвѣ жизни, которые побиты, ранены, взяты въ плѣнъ, но спасаются и иногда побѣждаютъ. Потомъ есть счастливый классъ людей, въ которыхъ не бываетъ никакого сомнѣнія: они безукоризненны и въ одеждѣ бѣлоснѣжной; для нихъ добродѣтель легка, въ ихъ чистой груди пріютилась вѣра, а холодное сомнѣніе не имѣетъ доступа туда; они были дѣтьми добры, молодыми людьми добры, сдѣлались мужьями и отцами, и все-таки остались добры. Почему первый воспитанникъ въ нашей школѣ, могъ писать греческіе ямбы безъ усилій и безъ ошибки? Другіе изъ насъ покрывали страницы безполезными слезами и помарками и несмотря на всѣ свои труды все-таки оставались послѣдними въ классѣ. Нашъ пріятель Филиппъ принадлежитъ къ среднему классу, въ которомъ, вѣроятно, находимся мы съ вами, любезный сэръ; не навсегда, я надѣюсь, включены мы въ этотъ ужасный, третій классъ, о которомъ было упомянуто.

Филиппъ поступилъ изъ школы въ университетъ и тамъ отличил-

ся, но немногіе родители захотѣли бы, чтобы сыновья ихъ отличались такимъ образомъ. Что онъ охотился, давалъ обѣды, былъ лучшимъ гребцомъ на одной изъ лучшихъ лодокъ на рѣкѣ, что онъ говорилъ рѣчи въ политическомъ клубѣ—все это было очень хорошо. Но зачѣмъ онъ выражалъ такія ужасно радикальныя мнѣнія, онъ, съ благородной кровью въ своихъ жилахъ, и сынъ человѣка, выгоды котораго требовали, чтобы онъ поддерживалъ хорошія сношенія съ знатными людьми.

— Ну, Пенденнисъ, сказалъ мнѣ докторъ Фэрминъ со слезами на глазахъ, и искренняя горесть изобразилась на его красивомъ, блѣдномъ лицѣ,—почему Филиппъ Фэрминъ, дѣды котораго съ обѣихъ сторонъ благородно дрались за своего короля, забываетъ правила своей фамиліи и... не нахожу словъ сказать вамъ какъ глубоко онъ разочаровываетъ меня. Я слышалъ, что онъ въ этомъ ужасномъ ихъ клубѣ защищалъ смерть Карла I! Я самъ былъ довольно сумасброденъ въ университетѣ, но я былъ джентльмэнъ.

— Мальчики, сэръ, всегда мальчики, убѣждалъ я. Они будутъ защищать все, аргументовъ ради; и Филиппъ также охотно взялъ бы и другую сторону.

— Лордъ Эксминстеръ и лордъ Сен-Денисъ разсказали мнѣ объ этомъ въ клубѣ. Увѣряю васъ, на меня это сдѣлало самое тягостное впечатлѣніе, вскричалъ отецъ; что сынъ мой будетъ радикаломъ и республиканцемъ—жестокая мысль для отца; а я надѣялся, что онъ будотъ представителемъ мѣстечка лорда Рингуда,—я надѣялся,—я надѣялся гораздо лучшаго для него и отъ него. Онъ не утѣшаетъ меня. Вы видѣли, какъ онъ обращался со мною въ одинъ вечеръ? Отецъ можетъ жить, я думаю, въ другихъ отношеніяхъ съ своимъ единственнымъ сыномъ.

И съ прерывающимся голосомъ, съ блѣдными щеками и съ истинной скорбью въ сердцѣ несчастный докторъ ушелъ.

Какъ воспиталъ докторъ своего сына, что молодой человѣкъ былъ такъ непокоренъ? Самъ ли мальчикъ былъ виноватъ въ этомъ непослушаніи или отецъ его? Докторъ Фэрминъ ужасался, кажется, оттого что ужасались его добрые друзья, радикальныхъ доктринъ Филя. Въ это время моей жизни, когда я былъ молодъ, я чувствовалъ коварное удовольствіе бѣсить старика и заставлять его говорить, что я «опасный человѣкъ». Теперь я готовъ сказать, что Неронъ былъ монархъ съ весьма изящными дарованіями и съ прелюбезнымъ характеромъ. Я хвалю успѣхъ и восхищаюсь имъ, гдѣ бы я его не встрѣтилъ. Я извиняю недостатки и недальновидность особенно въ тѣхъ, кто выше меня, и чувствую что еслибы мы знали все, мы судили бы о нихъ совер-

шенно различнымъ образомъ. Можетъ быть мнѣ уже не вѣрятъ такъ, какъ вѣрили прежде. Но я не оскорбляю никого, я надѣюсь, что не оскорбляю. Развѣ я сказалъ что нибудь непріятное? Чортъ побери, опять ошибся! Я беру это выраженіе назадъ. Я сожалѣю о немъ. Я прямо его опровергаю.

Такъ какъ я готовъ извинять всѣхъ, пусть и бѣдный Филиппъ воспользуется этой кроткой амнистіей; и если онъ раздражилъ своего отца, какъ это дѣйствительно и было, будемъ надѣяться, будемъ увѣрены, что онъ вовсе былъ не такъ черенъ, какъ старый джентльмэнъ описывалъ его. Если я описалъ стараго джентльмэна нѣсколько черными красками, почему знать, можетъ быть это ошибка не цвѣта его лица, а моего зрѣнія? Филь былъ непокоренъ, потому что онъ былъ смѣлъ, сумасброденъ и молодъ. Отецъ его оскорбляется весьма естественно, оскорбляется расточительностью и шалостями мальчика. Они опять сойдутся какъ слѣдуетъ отцу и сыну. Эти маленькія несогласія сгладятся впослѣдствіи. Мальчикъ велъ сумасбродную жизнь, онъ принужденъ былъ выдти изъ университета. Онъ внушалъ своему отцу часы безпокойства и безсонныя ночи. Но постойте, отецъ, а вы-то что? Показали ли вы сыну примѣръ довѣрія, любви и уваженія? Пріучали вы его къ добродѣтели, учили ли правдѣ дитя на вашихъ колѣняхъ? «Чти отца твоего и матерь». Аминь. Долголѣтенъ будетъ на землѣ тотъ, кто исполнитъ эту заповѣдь; но въ заповѣдяхъ развѣ не подразумѣвается, хотя это не написано на скрижаляхъ: «Чти сына твоего и дочь твою» Дай Богъ, чтобы мы, которымъ уже немного осталось жить на свѣтѣ, могли исполнить и это повелѣніе.

Что сдѣлало Филиппа сумосброднымъ, расточительнымъ и непокорнымъ? Вылечившись отъ той болѣзни, въ которой мы видѣли его, онъ изъ школы отправился своею дорогою въ университетъ и тамъ началъ вести жизнь, какую ведутъ сумасбродные молодые люди. Послѣ болѣзни его обращеніе къ отцу измѣнилось, а старшій Фэрминъ какъ будто боялся распрашивать сына объ этой перемѣнѣ. Онъ жилъ какъ въ своемъ собственномъ домѣ, приходилъ и отлучался когда хотѣлъ, распоряжался слугами, которые его баловали, тратилъ доходъ, который былъ укрѣпленъ за его матерью и ея дѣтьми, и щедро раздавалъ его бѣднымъ знакомымъ. На увѣщанія старыхъ друзей онъ отвѣчалъ, что онъ имѣетъ право распоряжаться своею собственностью; что тотъ, кто бѣденъ, можетъ трудиться, а у него есть чѣмъ жить, не имѣя нужды корпѣть надъ классиками и математикой. Онъ былъ замѣченъ въ разныхъ шалостяхъ, профессора его не видали, но онъ былъ слишкомъ хорошо знакомъ съ университетской полиціей. Еслибы я написалъ исторію о пребываніи въ университетѣ мистера Филиппа Фэрмина, это

была бы исторія Лѣниваго Подмастерья (*), которому пасторъ и учителя справедливо предсказывали дурное. Его видѣли въ Лондонѣ, когда отецъ и профессора полагали его больнымъ въ его университетской квартирѣ. Онъ познакомился съ веселыми товарищами, короткость съ которыми огорчала его отца. Онъ прямо сказалъ изумленному дядѣ Туисдену на Лондонской улицѣ, что онъ навѣрно ошибается — онъ французъ, онъ не говоритъ по-англійски. Онъ дерзко глядѣлъ въ лицо ректору своей коллегіи, онъ ускакалъ въ университетъ съ быстротою Тёрпина (**), чтобы находиться на своей квартирѣ, когда будетъ производиться слѣдствіе. Я боюсь, что нѣтъ никакого сомнѣнія, что Филь забилъ гвоздями дверь профессора, чтобы тотъ не могъ выдти изъ своей квартиры на другой день. Мистеръ Оксъ засталъ его на мѣстѣ преступленія. Шалунъ долженъ былъ оставить университетъ. Желалъ бы я сказать, что онъ раскаялся; но онъ безпечно явился передъ отцемъ, сказалъ, что въ университетѣ онъ не дѣлаетъ ничего хорошаго, что ему гораздо лучше оставить университетъ и отправился за-границу, во Францію и въ Италію, куда не наше дѣло слѣдовать за нимъ. Что-то отравило благородную кровь. Когда-то добрый и честный юноша сдѣлался сумасброденъ и безпеченъ. Денегъ у него было вдоволь, онъ имѣлъ своихъ лошадей, свой экипажъ и даровую квартиру въ домѣ отца. Но отецъ и сынъ рѣдко встрѣчались и почти никогда не обѣдали вмѣстѣ.

— Я знаю, гдѣ онъ бываетъ, но не знаю его друзей, Пенденнисъ, говорилъ старшій Фэрминъ. Я не думаю, чтобы они были порочны, но эта компанія самая низкая. Я не обвиняю его въ порокахъ, замѣтьте, но въ лѣности, въ пагубномъ пристрастіи къ низкому обществу и въ сумасбродной, самоубійственной рѣшимости пренебрегать возможностью на успѣхъ въ жизни. Ахъ, подумайте, гдѣ бы онъ могъ быть теперь и гдѣ онъ!

Гдѣ онъ? Не пугайтесь. Филиппъ только лѣнился. Филиппъ могъ заниматься гораздо прилежнѣе, гораздо полезнѣе, но и гораздо хуже. Я самъ такъ недавно занимался тѣмъ же чѣмъ Филиппъ, что не могъ раздѣлять негодованіе доктора Фэрмина на дурное поведеніе и дурныхъ товарищей его сына. Когда Фэрминъ самъ кутилъ, онъ дрался, интриговалъ и картежничалъ въ хорошемъ обществѣ. Филь выбиралъ своихъ друзей между бандитами, о которыхъ никто не слыхивалъ въ модномъ свѣтѣ. Можетъ быть ему хотѣлось играть роль принца между

(*) Намекъ на одинъ изъ рождественскихъ разсказовъ Диккенса. *Прим. перев.*

(**) Знаменитый разбойникъ въ XVII столѣтіи, который въ одинъ день доѣхалъ изъ Лондона въ Іоркъ. *Прим. перев.*

этими сообщниками, можетъ быть онъ былъ не прочь отъ лести, которую доставлялъ ему полный кошелекъ между людьми по большей части съ тощими карманами. Въ школѣ и въ своей краткой университетской карьерѣ онъ подружился съ людьми, которые жили въ свѣтѣ и съ которыми онъ былъ и послѣ коротко знакомъ.

— Эти приходятъ и стучатъ въ парадную дверь, говаривалъ онъ съ своимъ прежнимъ смѣхомъ:—а бандиты ходятъ черезъ анатомическую комнату. Я знаю изъ нихъ очень честныхъ; не одни бѣдные разбойники заслуживаютъ висѣлицу иногда.

Подобно многимъ молодымъ джентльмэнамъ, не имѣющимъ намѣренія серьезно заниматься юриспруденціей, Филиппъ записался студентомъ въ одну изъ коллегій правовѣденія и посѣщалъ лекціи, хотя увѣрялъ, что его совѣсть не позволяетъ ему практиковать (я не защищаю мнѣній этого щекотливаго моралиста, а только излагаю ихъ). Онъ и тутъ познакомился съ темпльскими бандитами. У него была квартира въ пергаментномъ ряду, на двери которой вы могли прочитать: «мистеръ Кассиди, мистеръ Ф*** Фэрмипъ, мистеръ Ванжонъ»; но могли ли эти джентльмэны подвинуть Филиппа въ жизни? Кассиди былъ газетный стенографъ, а молодой Ванжонъ держалъ пари и вѣчно бывалъ на скачкахъ. Докторъ Фэрмипъ терпѣть не могъ журналистовъ и газетчиковъ и считалъ ихъ принадлежащими къ опасному классу, и обращался съ ними съ осторожной любезностью.

— Взгляни-ка на отца, Пенъ, говаривалъ Филиппъ настоящему лѣтописцу.—Онъ всегда смотритъ на васъ съ тайнымъ подозрѣніемъ и никакъ не можетъ опомниться отъ удивленія, что вы джентльмэнъ. Я люблю, когда онъ играетъ съ вами роль лорда Чатама, снисходительно обращается съ вами и даетъ вамъ цѣловать свою руку. Онъ считаетъ себя лучше васъ, развѣ вы не видите? Это образецъ père noble! Мнѣ слѣдовало бы быть сэромъ Чарльзомъ Грандисономъ.

И молодой шалунъ передразнитъ улыбку отца, представитъ, какъ докторъ прикладываетъ руку къ груди и выставляетъ свою красивую правую ногу; я признаюсь, что всѣ эти движенія и позы были нѣсколько напыщенны и жеманны.

Каковы бы ни были отцовскіе недостатки, вы скажете, что Филиппу не слѣдовало критиковать ихъ; въ этомъ я не стану защищать его. У жены моей жила дѣвочка, которую она нашла на улицѣ. Она пѣла какую-то пѣсенку. Дѣвочка не могла еще говорить—она только лепетала свою пѣсенку; она ушла изъ дому не зная, какой опасности она подвергалась. Мы держали ее нѣсколько времени, пока полиція не нашла ея родителей. Наши слуги выкупали ее, одѣли и отослали домой въ такомъ опрятномъ платьицѣ, какого бѣдняжка не видала никогда,

пока судьба не свела ее съ добрыми людьми. Она часто у насъ бываетъ. Отъ насъ она всегда уходитъ чистенькая и опрятненькая; а къ намъ возвращается въ лохмотьяхъ и грязи. Негодная дѣвочка! Позвольте спросить, чья обязанность держать ее въ чистотѣ? И родители въ этомъ не забыли ли чтить свою дочь? Положимъ, какая нибудь причина мѣшаетъ Филиппу чтить его отца; докторъ не позаботился очистить отъ грязи сердце мальчика и съ небрежностью и съ равнодушіемъ отправилъ его блуждать по свѣту. Если такъ, горе этому доктору! Если я беру моего маленькаго сына въ таверну обѣдать, не долженъ ли я заплатить за него? Если я позволяю ему въ нѣжной юности сбиться съ пути и если съ нимъ сдѣлается вредъ, кто въ этомъ виноватъ?

Можетъ быть тѣ самыя оскорбленія, на которыя жаловался отецъ Филя, были въ нѣкоторой степени возбуждены недостатками отца. Онъ былъ такъ раболѣпенъ передъ знатными людьми, что сынъ въ бѣшенствѣ гордо обращался съ ними и избѣгалъ ихъ. Онъ былъ такъ важенъ, такъ вѣжливъ, такъ льстивъ, такъ искусственъ, что Филь, возмущаясь этимъ лицемѣрствомъ, захотѣлъ быть откровеннымъ и фамиліарнымъ циникомъ. Знатные старики, которыхъ докторъ любилъ собирать у себя въ домѣ, торжественные люди старинной школы, которые обѣдали торжественно другъ у друга въ торжественныхъ домахъ, такіе люди какъ старый лордъ Ботли, баронъ Бёмпшеръ, Криклэдъ (который издалъ *Путешествіе по Малой Азіи* въ 1804), епископъ Сен-Бизъ и тому подобные грустно качали головою когда разговаривали въ клубѣ о негодномъ сынѣ Фэрмина. Изъ него не выйдетъ ничего путнаго; онъ очень огорчаетъ своего бѣднаго отца; онъ участвовалъ въ разныхъ сходкахъ въ университетѣ; ректоръ коллегіи св. Бонифація отзывался весьма неблагопріятно о немъ. А на торжественныхъ обѣдахъ въ Старой Паррской улицѣ, чудныхъ, дорогихъ, безмолвныхъ обѣдахъ—онъ обращался съ этими старыми джентльмэнами съ фамиліарностью, заставлявшею ихъ старыя головы трястись отъ удивленія и негодованія. Лордъ Ботли и баронъ Бемпшеръ представили сына Фэрмина въ Левіаѳановскій клубъ. Блѣдные старики съ испугомъ отступили, когда онъ явился тамъ. Онъ принесъ съ собою запахъ табаку. Онъ былъ способенъ курить даже въ гостиной. Они дрожали передъ Филиппомъ, который съ своей стороны наслаждался ихъ старческимъ гнѣвомъ и любилъ побѣсить ихъ.

Нигдѣ не видали Филиппа и не слыхали о немъ такъ невыгодно какъ въ домѣ его отца.

— Я самъ чувствую себя притворщикомъ между этими старыми притворщиками, говаривалъ онъ мнѣ.—Мнѣ тошно отъ ихъ старыхъ

шуточекъ, старыхъ комплиментовъ и добродѣтельныхъ разговоровъ. Всѣ ли старики притворщики, желалъ бы я знать?

Непріятно слышать мизантропію изъ юныхъ устъ и видѣть какъ эти двадцатилѣтніе глаза уже смотрятъ на свѣтъ съ недовѣріемъ.

Въ чужихъ домахъ, я обязанъ сказать, Филиппъ былъ гораздо любезнѣе, и онъ приносилъ съ собою такую блестящую веселость, что она вносила солнечный свѣтъ и радость въ тѣ комнаты, какія онъ посѣщалъ. Я сказалъ, что многіе изъ его товарищей были художники и журналисты, и клубы ихъ, и пріюты посѣщалъ и онъ. Ридли академикъ жилъ у мистриссъ Брандонъ въ Торнгофской улицѣ, и Филиппъ часто бывалъ въ его мастерской или въ маленькой комнаткѣ вдовы. Онъ питалъ къ ней большую нѣжность и признательность; ея присутствіе какъ будто очищало его; въ ея обществѣ беззаботный, шумный молодой человѣкъ былъ неизмѣнно кротокъ и почтителенъ. Глаза ея всегда наполнялись слезами, когда она говорила объ немъ; а когда онъ былъ тутъ, слѣдовали и наблюдали за нимъ съ нѣжной материнской преданностью. Пріятно было видѣть его у ея простаго камелька, слышать его шуточки и болтовню съ однимъ глупымъ старикомъ, который былъ въ числѣ жильцовъ мистриссъ Брандонъ. Филиппъ игралъ въ криббэджъ по цѣлымъ часамъ съ этимъ старикомъ, отпускалъ насчетъ его сотни безъобидныхъ шуточекъ и шелъ возлѣ его инвалиднаго кресла, когда старый капитанъ отправлялся погрѣться на солнышкѣ на улицу. Филиппъ былъ лѣнтяй, это правда. Онъ любилъ не дѣлать ничего, и проводилъ половину дня въ полномъ удовольствіи за своей трубкой, смотря на Ридли за мольбертомъ. Онъ нарисовалъ эту очаровательную голову Филиппа, которая виситъ въ комнатѣ мистриссъ Брандонъ, съ бѣлокурыми волосами, съ темными бородой и усами и съ смѣлыми голубыми глазами.

Филиппъ пѣлъ послѣ ужина пѣсни «Garryowen na gloria» которую пріятно было слушать, и которую, когда онъ пѣлъ во весь голосъ, можно было слышать за цѣлую милю кругомъ. Въ одинъ вечеръ я обѣдалъ на Рессельльскомъ скверѣ, и меня привезъ домой въ своей каретѣ докторъ Фэрминъ, который былъ въ числѣ гостей, когда мы проѣзжали черезъ Сого (*), окна одной комнаты въ клубѣ были открыты, и мы могли слышать пѣсню Филиппа, особенно одинъ дикій ирландскій припѣвъ, среди всеобщихъ рукоплесканій и восторженнаго брянчанія рюмокъ.

Бѣдный отецъ опустился на подушки кареты, какъ будто его поразилъ ударъ.

(*) Бѣдная часть Лондона, въ которой живутъ художники. *Прим. перев.*

— Вы слышите его голосъ? застоналъ онъ—вотъ онъ гдѣ бываетъ. Сынъ мой, который могъ бы бывать вездѣ, предпочитаетъ отличаться въ кабакѣ и орать пѣсни въ портерныхъ!

Я старался извинить Филиппа. Я зналъ, что въ этомъ мѣстѣ не происходило ничего дурнаго, что его посѣщали талантливые люди и даже знаменитости. Но оскорбленный отецъ не хотѣлъ утѣшаться такими общими мѣстами и глубокая естественная печаль тяготила его по милости недостатковъ сына.

То, что случилось потомъ, не удивило меня. Между паціентками доктора Фэрмина была незамужняя дама приличныхъ лѣтъ и съ большимъ состояніемъ, которая смотрѣла на талантливаго доктора благопріятными глазами. Что онъ желалъ имѣть подругу, которая развлекакала бы его въ одиночествѣ, было довольно естественно, и всѣ его друзья думали, что онъ долженъ жениться. Всѣ знали это маленькое волокитство, кромѣ сына доктора, между которымъ и его отцомъ было слишкомъ много тайнъ.

Кто-то въ клубѣ спросилъ Филиппа: соболѣзновать онъ долженъ съ нимъ или поздравлять его съ приближающейся женитьбою отца?

— Съ чѣмъ?

Младшій Фэрминъ выказалъ величайшее удивленіе и волненіе, услышавъ объ этомъ бракѣ. Онъ побѣжалъ домой, онъ ждалъ возвращенія отца. Когда докторъ Фэрминъ воротился домой и вошелъ въ свой кабинетъ, Филиппъ встрѣтилъ его тамъ.

— Должно быть я слышалъ сегодня ложь, свирѣпо сказалъ молодой человѣкъ.

— Ложь? какую ложь, Филиппъ? спросилъ отецъ.

Они оба были очень рѣшительные и мужественные люди.

— Что вы женитесь на миссъ Бенсонъ.

— Развѣ ты дѣлаешь домъ мой такимъ веселымъ, что мнѣ не нужно другаго собесѣдника? спросилъ отецъ.

— Не въ этомъ вопросъ, горячо сказалъ Филиппъ:—вы не можете и не должны жениться на этой дамѣ, сэръ.

— Почему?

— Потому что передъ глазами Бога вы уже женаты, сэръ. И я клянусь, что завтра же разскажу эту исторію миссъ Бенсонъ, если вы будете настаивать на вашемъ намѣреніи.

— Такъ ты знаешь эту исторію? застоналъ отецъ.

— Да. Богъ да проститъ вамъ, сказалъ сынъ.

— Это проступокъ моей юности, въ которомъ я горько раскаялся.

— Проступокъ!—Преступленіе! сказалъ Филиппъ.

— Довольно, сэръ! Каковъ бы ни былъ мой проступокъ, не вамъ обвинять меня.

— Если вы не храните вашу честь, я долженъ хранить ее. Я сейчасъ же ѣду къ миссъ Бенсонъ.

— Если вы выдете изъ этого дома, вы навѣрно не намѣрены возвращаться?

— Пусть такъ. Кончимъ наши счеты и разстанемся, сэръ.

— Филиппъ, Филиппъ, ты раздираешь мнѣ сердце! закричалъ отецъ.

— А вы развѣ думаете, что у меня на сердцѣ легко, сэръ, сказалъ сынъ.

Миссъ Бенсонъ не сдѣлалась мачихой Филиппа. Но отецъ и сынъ не болѣе любили другъ друга послѣ этой ссоры.

ПОЛИТИКА.

Франція. — Финансовыя эликвибраціи Фульда. — Репутація его вмѣстѣ съ Дюмоларомъ въ парижскихъ общественныхъ кружкахъ. — Леченіе биржевой игрой финансоваго недуга. — Тронныя рѣчи императора Французовъ и королевы англійской.—Процессъ Анны Гамильтонъ.— Курьезный процессъ лорда Уильдгема. — Лордъ Пальмерстонъ и его билль о передачѣ собственности.—Быстрая перемѣна англійской политики относительно Америки. — Побѣды федеральной партіи и планы конгресса относительно завоеваній.—Внутренняя связь между мексиканской экспедиціей и отпаденіемъ южныхъ штатовъ. — Походъ въ Мексику и храброе сопротивленіе Мексиканцевъ. — Вопросъ о будущемъ мексиканскомъ королѣ.—Отсутствіе новостей изъ Италіи.— Ложная система дѣйствій Рикасоли и недовѣріе итальянской націи къ піемонтскому парламенту.—Наводненіе въ Венгріи и засуха въ австрійской политикѣ.—Двойственное поведеніе Пруссіи относительно Германіи.—Значеніе демократической партіи въ Берлинѣ и неумѣнье ея обращаться съ современными вопросами.

Въ послѣднее время Фульду приходится въ теченіи нѣсколькихъ недѣль наравнѣ съ Дюмоларомъ быть предметомъ исключительнаго вниманія французской публики. Куда ни пойдете—во всякой гостиной только и будете слышать: Фульдъ, Дюмоларъ, Дюмоларъ, Фульдъ. Эти два имени повторяются повсюду, у каждаго забора, на всякомъ перекресткѣ. Случается и такъ, что предметы разговора смѣшиваются... Одному полуглухому господину говорятъ о плохомъ состояніи нашихъ финансовъ, а онъ отвѣчаетъ: «А, да, да, это было въ монтаверискомъ лѣсу».

Однако «à tout seigneur–tout honneur». Начнемъ съ его превосходительства Ахиллеса Фульда, нашего искуснаго министра финансовъ. Послѣ того какъ несчастный г. Миресъ предсказалъ, что онъ увлечетъ государство къ погибели и что послѣ кассы желѣзныхъ дорогъ прекратитъ свои платежи наше важнѣйшее финансовое учрежденіе—«Trésor public», дѣлается понятнымъ, отчего насъ такъ занимаетъ вопросъ о бюджетѣ, въ особенности съ той минуты, какъ г. Фульдъ раскрылъ всю глубину нашей финансовой язвы, превзошедшей ожиданія самыхъ ярыхъ пессимистовъ. Остановимся нѣсколько минутъ на нѣкоторыхъ финансовыхъ наблюденіяхъ. Въ настоящую минуту весь политическій міръ занятъ неутѣшительными выкладками. Соединенные Штаты почувствовали вдругъ всю необходимость для себя кредитныхъ знаковъ и усиленнаго курса, а потому очень сожалѣютъ о цѣломъ потокѣ долларовъ, которые, благодаря требованіямъ войскъ, они принуждены были бросить въ «*Gulf-Streum*». Англичане, съ своей стороны, чтобы сражаться противъ Американцевъ, сдѣлали хищническій набѣгъ на ссудную казну; теперь ее нужно пополнить прибавочнымъ налогомъ въ $1^1/_2{}^0/_0$ съ дохода. Пруссія очень бы хотѣла избѣгнуть новаго военнаго бюджета. Ганноверъ въ долгу. Испанія ужъ и не платитъ своихъ долговъ. Италія въ большомъ затрудненіи. Положеніе Австріи относительно финансовъ вошло въ пословицу. Турція, слѣдуя примѣру Франціи, обнародовала роспись своихъ доходовъ и расходовъ. Весь міръ занятъ финансовыми дѣлами, и волей-неволей мы должны слѣдовать за всеобщимъ движеньемъ. Приходится волей-неволей ограничиться одной прозаической стороной политики: вся поэзія современной исторіи кончилась съ той минуты, какъ Гарибальди снялъ съ себя красную рубашку диктатора и облекся въ синюю блузу капрерскаго фермера.

Государственный долгъ Франціи раздѣляется на двѣ различныя отрасли, изъ которыхъ первая носитъ названіе *dette flottante* а вторая—*dette consolidée*. Послѣдняя, названная такъ не совсѣмъ точно, опредѣляетъ собою долгъ постоянный, а первая означаетъ долгъ, погашаемый въ разные сроки, въ четыре мѣсяца, въ полгода, въ годъ. Дѣйствительно, этотъ долгъ погашается выдачами денегъ вкладчикамъ, но дѣло въ томъ, что на сто желающихъ получить свои суммы всегда будетъ сто одинъ желающій снова вложить ихъ. Такимъ образомъ послѣдніе помогаютъ государству уплатить ихъ предшественникамъ, а сто первый вкладчикъ даетъ возможность правительству

употребить его деньги для покрытія дефицита, производимаго ежегодно нашею администраціею въ общественномъ достояніи. Но при всякомъ кризисѣ, послѣ уплаты первымъ ста вкладчикамъ, взамѣнъ ихъ могутъ явиться только девяносто девять. Тутъ ужъ грозитъ опасность банкротства. Тогда часть временнаго долга (dette flottante) обращается въ постоянный (dette consolidée), т. е. билетъ казначейства на возвращаемый капиталъ замѣняется билетомъ на невозвращаемый, съ правомъ полученія постоянныхъ процентовъ. Вмѣсто того, чтобы платить подать, положимъ, въ 40 милліоновъ, для уплаты процентовъ за государственные билеты, податное сословіе будетъ платить тѣ же 40 милліоновъ, чтобы удовлетворить требованія процентовъ съ новаго, постояннаго долга. Вслѣдствіе такого упроченія государственнаго дохода, податное сословіе является вынужденнымъ платить впредь по 40 милліоновъ, какъ и прежде, но съ тою разницею, что эта сумма обращается уже въ постоянный налогъ вмѣсто временнаго. Съ своей стороны государство, освободившись разъ отъ тягости своего временнаго долга, вольно возобновитъ такую же операцію, вся тягость которой падаетъ на беднѣйшіе классы народа.

Непостоянный долгъ простирается во Франціи приблизительно до одного милліарда капитала. Вѣрной цифры, конечно, никто не знаетъ. Простодушные поселяне выплачиваютъ аккуратно подати тѣмъ съ большею охотою, что по ихъ искреннему убѣжденію государственное казначейство совсѣмъ не нуждается въ ихъ деньгахъ.

Постоянный же долгъ простирается круглымъ счетомъ до десяти милліародовъ капитала. Эта сумма раздѣляется на двѣ почти равныя части, изъ которыхъ одна приноситъ $3^1/_2{}^0/_0$ доходу, а другая $4^1/_2{}^0/_0$. Десять лѣтъ тому назадъ вторая часть капитала приносила $5^0/_0$, но въ одну благопріятную минуту, когда доходъ превышалъ цифру расхода, вкладчикамъ было предложено или получить обратно ихъ капиталы, или согласиться получать за нихъ меньшій процентъ, а именно $4^1/_2$ вмѣсто $5^0/_0$. Разумѣется, они были принуждены согласиться на послѣднее. Причиною такой перемѣны было выставлено слѣдующее обстоятельство: французское правительство объявило, что состоитъ должнымъ дому гг. Ротшильдовъ и K° извѣстное число стофранковыхъ кредитныхъ билетовъ. Въ дѣйствительности же правительство получило только по 80 или даже по 64 франка (какъ было въ 1817 году) за каждый билетъ во 100 франковъ, приносившій $5^0/_0$ доходу.

Между тѣмъ вслѣдствіе улучшенія кредита, государственные кредит-

ные знаки поднялись даже выше номинальной цѣны и дошли до 111 фр. 11 сантимовъ вмѣсто 100. Ротшильды воспользовались благопріятнымъ положеніемъ дѣлъ, чтобы сбыть свои билеты. Стофранковыя ассигнаціи были проданы ими по 111 фр. 11 сант. и дали такимъ образомъ барыша по 41 фр. 11 сант. на каждые 80 фр.

При такомъ положеніи дѣлъ правительство, желая съ своей стороны воспользоваться удобной минутой, предлагаетъ своимъ вкладчикамъ слѣдующаго рода сдѣлку:

«Вы пріобрѣли право получать по 5% на каждые 111 фр. 11 сант.; если не ошибаюсь, вы получаете за свои вклады по $4\frac{1}{2}$%, слѣдовательно, вы пожертвовали $\frac{1}{2}$% для того, чтобы только сдѣлаться моимъ кредиторомъ. Я хочу васъ вознаградить, немедленно лишивъ васъ 11 фр. 11 сант., выплаченныхъ вами сверхъ 100 фр., которые я состою вамъ должнымъ. Эти 100 фр. я вамъ возвращаю или, если хотите, я приму ихъ какъ новый вкладъ по $4\frac{1}{2}$%, и вы будете получать доходъ, недавно еще казавшійся вамъ совершенно удовлетворительнымъ. Если вы понимаете преимущество моего положенія, то берегитесь возвышенія цѣнъ на свои билеты, потому что я при каждомъ случаѣ могу извлечь свою выгоду, уменьшая сумму доходовъ до 4, $3\frac{1}{2}$, 3% и т. д. Словомъ, всякій разъ, какъ только я буду находить деньги на общественномъ рынкѣ дешевле той цѣны, за которую вы мнѣ ихъ предлагаете, я буду дѣлать соотвѣтствующее уменьшеніе вашего дохода». Такимъ образомъ правительство пользуется временнымъ возвышеніемъ фонда, для постепеннаго уменьшенія процентовъ съ своего долга. Вся тонкость подобнаго изобрѣтенія заключается въ угрозѣ возвратить деньги. Эта мѣра напоминаетъ движеніе зубчатыхъ колесъ, свободно двигающихся сверху внизъ, но неподающихся ни на какое усиліе для движенія снизу вверхъ.

Теоретически государственный внутренній долгъ можетъ быть уменьшенъ и при пониженіи, и при повышеніи цѣнъ билетовъ посредствомъ сокращенія либо процентовъ, либо капитала. Что касается номинальной цѣны билетовъ, то онъ доказываетъ только, что самое положеніе дѣлъ находится въ упадкѣ.

Это предварительное объясненіе было необходимо, чтобы приступить къ плану г. Фульда. Пресловутый министръ, оставившій свое деревенское уединеніе для того, чтобы заняться преобразованіемъ бюджета, нежелавшій прибѣгать къ рутиннымъ пріемамъ въ экономіи, долженъ былъ изобрѣсти что нибудь позамысловатѣе системы г. Виллеля. Насъ

ожидаетъ новый финансовый переворотъ; но переворотъ перевороту рознь.

Мы говорили уже, что французскій государственный долгъ раздѣляется на двѣ почти равныя части: одна съ доходомъ въ 3%, другая въ $4^1/_2$. Очевидная разница между ними состоитъ въ томъ, что одна изъ нихъ обходится дороже другой, и г. Фульдъ вздумалъ уничтожить это различіе вслѣдствіе слѣдующихъ соображеній. Чтобы пріобрѣсти право на полученіе дохода въ 45 франковъ по $4^1/_2$%, при номинальной цѣнѣ билетовъ нужно затратить 1,000 фр., чтобы получить тѣ же 45 фр. по 3%, при курсѣ въ 72 фр. (самая желанная цифра для г. Фульда), нужно затратить 1,080 фр. Итакъ 3% на 72 дороже $4^1/_2$ на 100 и дороже потому, что эта сумма служитъ болѣе другихъ при ажіотажной игрѣ и спекуляціяхъ па биржѣ, а биржевые спекуляторы предпочитаютъ ее потому, что при болѣе мелкомъ счетѣ биржевой единицы, они вѣрнѣе могутъ расчитывать на покупщиковъ между мелкими капиталистами. Соціальной экономіей давно и всюду признанъ тотъ фактъ, что все па свѣтѣ продается дороже людямъ бѣднымъ. Маленькое поле обойдется относительно дороже большаго помѣстья, наемъ лачуги работнику, по его средствамъ, стоитъ больше, чѣмъ наемъ цѣлаго дома для банкира. Но возвратимся къ изобрѣтательному г. Фульду. Онъ обращается къ владѣтелямъ $4^1/_2$% и убѣждаетъ ихъ приблизительно такими доводами:

«Друзья мои, благодаря моимъ способностямъ и искусству, я въ состояніи возвысить цѣну вашихъ билетовъ, независимо отъ васъ самихъ, въ три мѣсяца и поднять ихъ до 112 фр. Не думайте, чтобы это дѣлалось для вашего обогащенія, напротивъ того! Капиталъ во 112 фр., приносящій 45 фр. 50 сантим., равносиленъ капиталу въ 100 фр., приносящему ровно 4 фр. процентовъ. Я воспользуюсь первымъ случаемъ, чтобы возвратить вамъ, хотя бы противъ вашей воли, только 100 фр. или заставить васъ ограничить свой доходъ 4-мя процентами. Такая перспектива, я знаю, вамъ мало улыбается. Но представляя вамъ ее, я имѣю въ виду только устрашить васъ и заставить согласиться на другаго рода сдѣлку. Единственно ради желанія сдѣлать вамъ пріятное, я предлагаю никогда не уменьшать вашего дохода. Я даже увеличу вашъ капиталъ. Такъ, напр. вы получаете теперь 45 фр. и вы будете ихъ получать до безконечности. Я только попрошу у васъ позволенія перемѣнить ярлычекъ на мѣшкѣ, въ которомъ я вручу вамъ ваши деньги. Вмѣсто надписи: «45

франковъ, проценты съ 1,000 фр., по $4^1/_2$ со ста», я напишу: «*45 франковъ, проценты съ 1,500 фр. по 3 со ста*». Поймите все великодушіе моего поступка: вы не только не теряете ни копѣйки изъ своего дохода, но я еще увеличиваю вашъ капиталъ на половину. Сообразивъ этотъ первый пунктъ, вы поймете все значеніе другаго благодѣянія, которое я вамъ предлагаю. Для упрощенія разныхъ надписей на билетахъ въ $4^1/_2\%$, 4% и 3%, я хочу замѣнить ихъ одною цифрою, 3%. Еслибы вы сами захотѣли это сдѣлать, вамъ пришлось бы значительно потратиться на маклерскіе расходы. Я избавляю васъ отъ этой платы и берусь перемѣнить вамъ билеты—даромъ. Даромъ, слышите-ли? Ваши $4^1/_2$-процентныя билеты, которые продаются теперь на биржѣ за 1,000 фр., я замѣню, безъ всякаго вознагражденія трехпроцентными, идущими на биржѣ за 1,080 фр. Такимъ образомъ вы остаетесь мнѣ должны 80 фр., составляющіе вашъ остатокъ. Еслибъ я смѣлъ, я заставилъ бы васъ уплатить всѣ эти деньги, но какъ я не смѣю этого сдѣлать, то и ограничиваюсь полученіемъ 54 фр. Поймите же мою доброту: я увеличиваю вашъ капиталъ на 50% и еще дарю вамъ 26 фр. на каждые 80».

О, какъ благоразумно поступалъ человѣкъ, говорившій: «timeo Donaos et dona ferentes!» (*). Операція г. Фульда не первая и не послѣдняя въ своемъ родѣ.

Посмотрите однако, какъ перетолковываются иногда самыя лучшія намѣренія и какъ мало цѣнится самое трудное искусство. Г. Фульдъ сдѣлался предметомъ горькихъ упрековъ со стороны прежнихъ владѣльцевъ дохода въ $4^1/_2\%$ съ капитала, утверждающихъ, будто министръ пожертвовалъ ими ради сохраненія выгодъ правительства; другіе прибавляютъ даже, будто бы онъ жертвуетъ интересами государства своимъ собственнымъ выгодамъ. И вотъ, что отвѣчалъ г. Фульду одинъ владѣлецъ $4^1/_2\%$-ныхъ билетовъ:

«Я человѣкъ бѣдный. У меня только 450 фр. дохода, у моей жены столько же. Въ итогѣ мы имѣемъ 900 фр. Съ такого дохода трудно сберечь остатокъ въ милліонъ франковъ, чтобы доставить вамъ удовольствіе перемѣнить ярлыки на вашихъ мѣшкахъ. А если вы берете изъ моего капитала 1,000 фр., вы уменьшаете его ровно на столько же, а вмѣстѣ съ тѣмъ убавляете и мой доходъ, хотя вы и утверждаете противное. Вы увѣряете, что вся перемѣна состоитъ въ

(*) Боюся Данайцевъ, даже когда они дары приносятъ.

цифрахъ ярлыка; нѣтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется и сумма. Отбирая по 1,000 фр. у меня, у моей жены и у другихъ вы достигаете довольно круглой цифры 180,000,000, да еще по своему расчету думаете лишить насъ на 300. Я не пользуюсь льготой, данной вами для тѣхъ, которые не захотятъ воспользоваться выгодами, которыя вы имъ предлагаете, но я сожалѣю тѣхъ, кто подобно мнѣ не можетъ отказаться отъ вашихъ милостей. Я бѣденъ, господинъ министръ, но есть бѣднѣе меня. Это—госпитали и другіе благотворительныя учрежденія; ихъ вы заставили продать недвижимую собственность, чтобы обратить ее въ капиталъ и получать съ него 4½%. Теперь они получаютъ 36,000,000 доходу почти со всего прежняго своего имѣнія. Какое зло сдѣлали вамъ эти больницы, что вы заставляете ихъ платить военную контрибуцію въ 40,000,000? Если въ этомъ году у нихъ будетъ что ѣсть, то за это, конечно, не васъ будутъ они благодарить, потому что вы отняли у нихъ насущный хлѣбъ!»

Съ своей стороны люди, подвергшіеся контрибуціи г. Фульда кричатъ ему: «какъ, вы однимъ почеркомъ пера отказываетесь навсегда отъ права, сохраненнаго государствомъ—уменьшать постепенно цифру процентовъ, которые оно выплачиваетъ своимъ кредиторамъ. Какъ, вы отказываетесь отъ экономіи, которая могла возвыситься до пятидесяти милліоновъ въ годъ, для того чтобы поживиться сразу 180 или 200 милліонами? Развѣ вы не знаете, что отказаться отъ права уменьшать проценты—значитъ увеличить долгъ и на процентахъ и на капиталѣ? Правда, взамѣнъ 200 милліоновъ вы вознаграждаете вкладчиковъ, опять-таки однимъ почеркомъ пера, двумя милліардами номинальнаго капитала, да и то болѣе на бумагѣ, потому что если генеральная ликвидація дѣйстительно только химера, за то частное уменьшеніе капитала вслѣдствіе выдачь—есть фактъ, далеко не маловажный, если принять въ соображеніе сумму отъ 10 до 12 милліардовъ!

Какъ бы то ни было, но депутаты національнаго собранія большинствомъ 226 голосовъ противъ 19 приняли проектъ его превосходительства, безъ малѣйшаго измѣненія. Что же касается сената, то его усердіе такъ велико, что онъ готовъ принять какой угодно законъ, даже не прослушавъ его предварительно. Правительство однако въ большомъ затрудненіи: ежедневно въ теченіи цѣлаго мѣсяца затрачиваетъ оно на биржѣ болѣе чѣмъ по милліону, чтобы поддержать курсъ, покупаетъ трехъ и четырехъ-процентные билеты на баснослов-

ныя суммы, такъ что неизвѣстно, куда оно сбудетъ ихъ. Съ удивленіемъ услышали мы новость о томъ, что французское правительство занимаетъ 100 милліоновъ въ Лондонѣ за 6% черезъ посредство различныхъ банкировъ, и несмотря на комическое отрицаніе этого извѣстія въ Монитерѣ, оно произвело непріятное впечатлѣніе на общество. Наши финансовыя дѣла думаютъ поправить не экономіей, а биржевой игрой. Не считаютъ нужнымъ помнитъ правило Вобана: «самый доходный для государства капиталъ есть тотъ, который оно оставляетъ въ карманѣ своихъ подданныхъ».

Въ своей тронной рѣчи императоръ подробно коснулся финансоваго вопроса и обѣщалъ утвердить кредитъ государства на незыблемыхъ основаніяхъ, Финансы будутъ возставлены декретомъ. Это напоминаетъ намъ письмо его величества, обѣщавшаго то же самое вскорѣ послѣ итальянской войны и приказывавшаго своему вѣрному другу, министру финансовъ, заняться немедленно уничтоженіемъ дефицита и возобновленіемъ кредита. Императоръ Наполеонъ принялъ однако предосторожность, повелѣлъ напечатать проектъ г. Фульда прежде своей собственной рѣчи, такъ чтобы возможную неудачу предполагаемаго плана не могли отнести къ императорскому манифесту. Это оказалось не лишнимъ, потому что операція новаго министра, прослывшая геніальною, понизила биржевой курсъ.

Въ императорской рѣчи нѣсколько словъ о Соединенныхъ Штатахъ отличаются рѣзкостью выраженій и какою-то изученною сухостью. Эта блѣдная и темная рѣчь кажется сколкомъ съ рѣчи королевы англійской. Оба манифеста говорятъ о благоденствіи націи и выражаютъ увѣренность въ невозможность европейской войны. Императоръ Наполеонъ въ частности, кажется, удивляется продолжительности образа правленія, освященнаго въ декабрѣ 1852 года. «Вотъ уже десять лѣтъ, говоритъ онъ, какъ это продолжается! Десять лѣтъ свободы, порядка и благоденствія! Мы провели эти десять лѣтъ среди спокойствія, довольнаго народонаселенія и среди согласія великихъ сословій государства».

Что касается до благоденствія, то въ нашихъ мануфактурныхъ городахъ все та же бѣдность вслѣдствіе войны съ Соединенными Штатами. Для вспомоществованія бѣднякамъ составляются подписки, но они служатъ только къ тому, чтобы показать все безсиліе частной благотворительности при общественныхъ бѣдствіяхъ. Богатые люди дѣлаютъ все, что они могутъ; они веселятся въ пользу бѣдныхъ, устраиваютъ балы съ благотворительною цѣлью, при дворѣ назначаются

большіе пріемы, блестящіе маскарады для поддержанія торговли и поощренія трудолюбія. Чудеса разсказываютъ о вечерахъ въ «Hôtel de Ville», о балахъ у нашихъ министровъ. По словамъ «Sport» журнала «Jockey-Club'а для ея величества императрицы приготовили самый волшебный головной уборъ, состоящій изъ золотой діадемы, па которой, среди бриліантовъ, блещутъ искры электрическаго свѣта, придающія лицу ослѣпительную лучезарность. Нѣкоторое затрудненіе представляло помѣщеніе батареи, но потомъ догадались помѣстить ее въ юбкѣ особеннаго устройства. Въ Ліонѣ и въ С.-Етьенѣ работники охотно идутъ въ солдаты, берутся обработывать землю, толпами выселяются изъ отечества. Это сильный подрывъ нашимъ фабрикамъ шелковыхъ матерій. Бумажныя фабрики также потерпѣли. Съ другой стороны цѣны па хлѣбъ понизились, и зло еще не такъ велико, если предположить, что оно временное. Бѣдствіе до сихъ поръ имѣетъ характеръ случайности, мѣстности, но оно можетъ сдѣлаться всеобщимъ. Въ Англіи, несмотря на нѣкоторое оживленіе по случаю выставки, плохое положеніе дѣлъ несравненно ощутительнѣе, особенно въ Ирландіи. Тяжело читать извѣстія о страшномъ множествѣ людей, умирающихъ съ голоду. Оффиціальныя свѣдѣнія объ этомъ, особенно при намѣренномъ молчаніи «Times'а» и другихъ журналовъ, очень скудны. Но вотъ что говорится въ одномъ частномъ письмѣ изъ Лондона: «здѣсь нищета доходитъ до ужасающей степени, цѣлыя сотни мужчинъ и женщинъ бродятъ по улицамъ почти голые, безъ рубашекъ, въ одномъ нижнемъ платьѣ или въ изорванныхъ юбкахъ». А вотъ что разсказываетъ извѣстный писатель Луи-Бланъ: «нѣсколько времени тому назадъ одна женщина, по имени Анна Гамильтонъ, является къ полицейскому чиновнику и говоритъ ему: у меня былъ ребенокъ одиннадцати мѣсяцевъ. Не имѣя возможности его кормить и не будучи въ состояніи видѣть его умирающимъ съ голоду, я его убила.» Ничто не принуждало эту женщину къ подобному сознанію, но ей стало слишкомъ трудно жить и она рѣшилась умереть. «Черезъ нѣсколько дней ее судили. Изъ допросовъ видно, что эта женщина съ своимъ мужемъ занимала какую-то отвратительную лачужку въ самомъ грязномъ кварталѣ Лондона; у нихъ было двое дѣтей: одного мать убила, а другое—была дѣвочка, разбитая параличемъ. Мужъ былъ честный ремесленникъ, котораго продолжительной недостатокъ работы довелъ до ужасной нищеты вмѣстѣ съ семействомъ; мать съ отчаянія бѣгала по ночамъ по городу въ какомъ-то мрачномъ изступленіи и какъ бы желая спастись куда нибудь отъ самой себя».

«Выслушавъ эти показанія, судья, адвокатъ и всѣ присяжные объявили, что случай этотъ не подлежитъ строгости уголовныхъ законовъ, такъ какъ причиною его было повреждение разсудка. Но изъ всѣхъ этихъ лицъ, было ли хоть одно, искренно убѣжденное въ сумасшествіи убійцы? Нѣтъ, но необходима была ложь, чтобы спасти эту несчастную мать. Исполняя букву закона, судья упомянулъ о статьѣ уголовнаго свода, которою дѣтоубійство не оправдывается невозможностью поддерживать существованіе, но самъ судья, произнеся такія слова, боялся, чтобъ присяжные не прицѣпились къ нимъ и въ заключеніе рѣчи своей обратился къ ихъ сострадательности».

Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ англійскимъ дѣламъ, скажемъ нѣсколько словъ о страшномъ Дюмоларѣ, котораго процессъ сдѣлался національнымъ событіемъ и обезсмертилъ это имя въ лѣтописяхъ преступленій. Дюмоларъ—убійца, но убійца, спеціально изучившій свое дѣло, взявшій на себя, по закону раздѣленія труда, одну только отрасль злодѣяній. Дюмоларъ «*занимался*» только служанками. Онъ отправлялся въ Ліонъ, объявлялъ себя лакеемъ какого нибудь богатаго барина и отыскивалъ няню для своихъ господъ. Благодаря выгоднымъ условіямъ, онъ убѣждалъ какую нибудь несчастную ѣхать съ собой, бралъ ее на желѣзную дорогу, съ наступленіемъ ночи высаживался на какой нибудь станціи, клалъ ея чемоданъ къ себѣ на плечи и велъ свою жертву къ какому-нибудь лѣсу или другому уединенному мѣсту; тамъ внезапно бросался на нее и, изнасиловавъ, удавливалъ ее веревкой или заколачивалъ до смерти молоткомъ, потомъ зарывалъ тѣло и уносилъ съ собою награбленное добро, которымъ торговала его жена. И у такого человѣка была жена! Цѣлые десять лѣтъ занималось это чудовище своимъ промысломъ; дѣвушка исчезала за дѣвушкой. Дюмоларъ могъ уложить цѣлое кладбище своими жертвами. Когда правосудіе проникло наконецъ въ его берлогу, тамъ оказалось безчисленное множество нарядовъ, юбокъ, бѣлья, головныхъ уборовъ, чемодановъ, шкатулокъ, остатковъ кружевъ, серегъ и всякаго рода принадлежностей женскаго туалета. Среди этого скарба всякихъ лохмотьевъ, по большей части окровавленныхъ, нашли множество подвязокъ, всякаго рода и всевозможныхъ цвѣтовъ, принадлежавшихъ Богъ знаетъ сколькимъ ограбленнымъ лицамъ. Съ ужасомъ открыли множество дѣтскихъ платьевъ. Еще не знаютъ и никогда, конечно, не узнаютъ точнаго числа жертвъ, которымъ все это принадлежало.

Можно ли повѣрить, что подобное злодѣйство продолжалось въ теченіи десяти лѣтъ, не обративъ на себя ни малѣйшаго вниманія такой

искусной, или, покрайней мѣрѣ, такой усердной полиціи, какова французская? Какимъ образомъ могли погибнуть столько женщинъ совершенно безслѣдно и какъ правительство не обратило до сихъ поръ вниманія на распространившіеся слухи объ ихъ исчезновеніи. Въ одномъ и томъ же мѣстѣ, несмотря на присутствіе мера, назначеннаго самимъ императоромъ, несмотря на цѣлый полкъ жандармовъ, по три, по четыре раза въ годъ совершается убійство однимъ и тѣмъ же человѣкомъ, одѣтымъ постоянно одинаково, въ синей блузѣ, высокой шляпѣ, въ особаго рода плащѣ «*peau de diable*», съ выдающимися примѣтами, какъ напр. сутуловатостью, рубцомъ на губѣ и опухолью на одной изъ щекъ! И этотъ человѣкъ, возбуждавшій давно всеобщее подозрѣніе, попадаетъ въ руки правосудія, только благодаря случаю. Одна изъ жертвъ его дикихъ страстей вырвалась какъ–то изъ рукъ своего мучителя и въ изорванномъ платьѣ, съ растрепанными волосами и съ ранами на всемъ тѣлѣ спаслась въ домѣ полицейскаго управленія, жалуясь на то, что ее ограбилъ и избилъ неизвѣстный человѣкъ. Что же дѣлаютъ представители мѣстной власти? Они ограничиваются на первое время требованіемъ отъ дѣвушки ея бумагъ, а когда она отвѣчаетъ, что разбойникъ укралъ ихъ, эти люди заключаютъ ее въ тюрьму, какъ женщину дурнаго поведенія! Можно ли повѣрить, чтобы подобныя сцены совершали сьво Франціи, въ имперіи мира и народнаго благоденствія?

Пока у насъ тянулось скорбное дѣло о преступленіяхъ Дюмолара, Англичане заняты были процессомъ Уиндгэма, который всегда будетъ однимъ изъ самыхъ интересныхъ по множеству подробностей, частью смѣшныхъ, частью скандальныхъ, доставившихъ самую богатую добычу общественному любопытству. Процессъ имѣлъ своимъ предметомъ вопросъ: «въ своемъ ли умѣ молодой господинъ Уиндгемъ? Не сумасшедшій ли онъ, какъ утверждалъ его дядя генералъ Уиндгемъ, одинъ изъ знаменитыхъ участниковъ въ крымской экспедиціи. Получивъ, по наступленіи совершеннолѣтія, значительное состояніе, молодой человѣкъ предался разгульной жизни, такъ что его дядя и ближайшій наслѣдникъ обратился въ судъ съ просьбою признать его племянника лишеннымъ разсудка и неспособнымъ къ управленію имѣніемъ. Законною причиною служила страсть молодаго лорда переодѣваться полисменомъ и даже лакеемъ. Въ дѣтствѣ своемъ онъ получилъ въ подарокъ отъ отца почетную ливрею, въ которой и услуживалъ гостямъ, наравнѣ съ остальною прислугой. Въ воксалахъ желѣзной дороги онъ брался за переноску багажа въ костюмѣ служителей и при отъѣздѣ поѣзда кричалъ во все горло: «по мѣстамъ, господа!» Но однимъ изъ самыхъ люби-

мыхъ развлеченій его было попасть на самый локомотивъ въ качествѣ кочегара; онъ подкупалъ кондукторовъ, чтобъ они позволили ему стать на свое мѣсто. Разъ онъ вырвалъ свистокъ у смотрителя станціи и далъ сигналъ: поѣздъ двинулся и только чудо спасло пассажировъ отъ гибели при роковой встрѣчѣ. Познакомившись гдѣ–то съ одной изъ лоретокъ, которыхъ Англичане по своей страсти къ лошадямъ называютъ «horse–breakers», лордъ предложилъ ей свою руку и огромную сумму денегъ. Миссъ Уилагбой или иначе Агнеса Роджерсъ отказалась отъ руки, но деньги приняла. Между аристократомъ, его любовницею и ея любовниками возникло вскорѣ много самыхъ странныхъ и постыдныхъ сдѣлокъ, вслѣдствіе чего дядя и подалъ жалобу.

Всякій согласится, что молодой Уиндгемъ не отличается особеннымъ умомъ, но слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ былъ положительно помѣшанъ. Богатый деньгами, развѣ онъ не имѣлъ права быть бѣднымъ разсудкомъ. Впродолженіе девяти дней адвокаты говорили по этому поводу все, что имъ было угодно, и столько времени, сколько имъ хотѣлось; наконецъ, различными допросами и переспросами, показаніями и опроверженіями довели дѣло до того, что уже сами ничего изъ него не могли понять. Въ этомъ громадномъ процессѣ было спрошено сто сорокъ свидѣтелей, призванныхъ изъ всѣхъ частей Англіи, изъ Шотландіи, изъ Ирландіи. Восемьдесятъ изъ нихъ были призианы, а шестьдесятъ—отвергнуты. По англійскому обыкновенію присяжные были заперты болѣе чѣмъ на мѣсяцъ, для того чтобы обезопасить ихъ отъ подкупа. Имъ давалось вознагражденіе по 75 франковъ ежедневно. Наконецъ, насмотрѣвшись на столько физіономій, истощивъ столько краснорѣчія, прослушавъ столько противорѣчивыхъ показаній, предсѣдатель, управлявшій преніями по этому дѣлу, отдалъ его на рѣшеніе присяжныхъ, которые потребовали личнаго свиданія съ обвиняемымъ. Когда оно было имъ доставлено, они проговорили съ лордомъ Уиндгемомъ цѣлыхъ четыре часа и въ заключеніе рѣшили, что онъ находится въ полномъ умѣ и совершенномъ разсудкѣ, почему и можетъ быть предоставленъ самому себѣ относительно управленія всѣми своими домами, землями, движимымъ и недвижимымъ имуществомъ.

Публика, а въ томъ числѣ и лица, ровно ничего не имѣющія, была въ восхищеніи отъ того обстоятельства, что Уиндгемъ —*junior* оказывается достойнымъ обладателемъ своего громаднаго состоянія и довольно разсудительнымъ человѣкомъ для Англичанина. Восторгъ былъ

такъ силенъ, что съ трудомъ удержали толпу отъ торжественнаго выноса счастливаго лорда съ его бѣлокурою любовницей.

По закрытіи засѣданій, оставалось свести итогъ всѣмъ издержкамъ по такому небывалому процессу. Оказалось, что за три мѣсяца веденія этого дѣла на бумагѣ и за 34 дня словесныхъ преній на доставку свидѣтелей, на различныя вознагражденія и гонорары, употреблено всего 1,500,000 франковъ т. е. около 440,000 р. с. И все это только для того, чтобы дознаться, въ своемъ ли умѣ какой нибудь чудакъ? Одинъ охотникъ до вычисленій разсчиталъ, что каждая минута въ теченіи этихъ 34 дней стоитъ по 20 франковъ. Неизвѣстно сколько осталось у бѣднаго подсудимаго отъ его огромнаго состоянія, но что сказать о законодательствѣ, которое допускаетъ подобное безобразіе. Диккенсъ въ своемъ романѣ «Холодный домъ», направленномъ противъ канцелярскаго способа веденія дѣлъ, приводитъ много случаевъ, отличающихся подобною нелѣпостью. Процессы передаются отъ отцевъ дѣтямъ въ видѣ наслѣдства или идутъ въ приданое дочерямъ; кто не можетъ заплатить издержекъ по дѣлу, заключается въ тюрьму на всю жизнь или покрайней мѣрѣ на долгое время. Одинъ молодой человѣкъ и одна молодая дѣвушка, составляя послѣднюю отрасль двухъ судившихся между собою семействъ, пожелали для прекращенія всѣхъ затѣянныхъ ихъ предками процессовъ—соединиться законнымъ бракомъ и тѣмъ положить конецъ всякимъ тяжбамъ. Но послѣднее желаніе вполнѣ законное не было исполнено: ихъ заставили продолжать процессъ противъ ихъ собственной воли.

Въ Англіи всякій процессъ обходится необыкновенно дорого и, само собою разумѣется, богатый всегда имѣетъ преимущество передъ бѣднымъ. Потребность удешевленія дѣлопроизводства становится съ каждымъ днемъ ощутительнѣе. «Cheap Justice!» (дешевое правосудіе!) —вотъ девизъ современныхъ требованій англійскаго общества. Кое-что уже сдѣлано въ этомъ отношеніи. Десять лѣтъ тому назадъ нужно было употребить никакъ не менѣе 250,000 франковъ, чтобы добиться легальнаго развода; теперь можно развестись за сумму въ тысячу разъ меньшую, такъ что въ «*разводномъ судѣ*» постоянно толпится множество представителей неудачнаго супружества, требующихъ для себя освобожденія. Теперь измѣняютъ положеніе о долговыхъ тюрьмахъ, пересматриваютъ процессы заключенныхъ лицъ, выпускаютъ на свободу тѣхъ, кто находится уже очень давно и т. п. На ряду съ печальными случаями заточенія впродолженіи двадцати и болѣе лѣтъ за долги, нисколько не относящіеся къ заключеннымъ,

разсказываютъ анекдоты о нѣкоторыхъ любителяхъ тюремъ, нарочно туда попадавшихъ и между прочимъ объ одномъ милліонерѣ, котораго должны были насильно вытолкать изъ тюремнаго замка — такъ ему понравилось заключеніе. Сельскіе судьи получили уполномочіе рѣшать окончательно небольшія дѣла, а въ Лондонѣ трибуналъ лорда-мера облеченъ диктаторскою властью относительно множества мелочныхъ обстоятельствъ. Ему принадлежитъ право заключать въ тюрьму и выпускать изъ нея людей низшаго класса, посаженныхъ за незначительные проступки. Билль о передачѣ собственности, внесенный лордомъ Пальмерстономъ, во всякой другой странѣ показался бы мѣрою либеральною и даже демократическою. Онъ имѣетъ цѣлью избавить аристократію, владѣющую девятью десятыми поземельной собственности отъ большихъ издержекъ, требуемыхъ закономъ, а также и остановить возрастающее число юристовъ-міроѣдовъ, которымъ даютъ значеніе огромныя состоянія, пріобрѣтаемыя очень скоро въ дѣлахъ, подобныхъ процессу Уиндгема.

До сихъ поръ засѣданія парламента отличаются такою же безцвѣтностью, какъ и тронная рѣчь королевы. Виги и Тори одинаково согласны въ рѣшеніи пустить въ ходъ билль объ обвиненіи лорда Пальмерстона за его поведеніе въ американскомъ дѣлѣ и за утайку дружественныхъ депешъ правительства Соединенныхъ Штатовъ. Впрочемъ Пальмерстону не привыкать стать; когда онъ былъ помоложе, ему приходилось утаивать не только дипломатическія депеши, но что́ гораздо поважнѣе — скрывать подъ сукномъ самыя грязныя продѣлки индійской компаніи, представляя ее въ глазахъ Англіи образцемъ добродѣтели.

Воинственный энтузіазмъ, поднятый трентскимъ дѣломъ въ Великой Британіи, наконецъ угомонился. Не болѣе какъ за пятнадцать дней всѣ только и говорили о войнѣ, и друзья мира, каковы Брайтъ и Кобденъ, считались чуть ли не предателями отечества. Теперь, напротивъ, всѣ перешли къ самому миролюбивому настроенію.

Дерби, Россель и другіе поютъ сладенькимъ голосомъ за дружелюбныя отношенія къ Америкѣ; «Times» является органомъ благосклонности; Д'Израели въ восторгѣ отъ великой американской націи и ея свободы; большинство парламентскихъ дѣятелей рукоплещетъ успѣхамъ федеральныхъ войскъ. Перемѣна изумительная!

Но что же было причиной ея? Обыкновенное обстоятельство. Прежде Англичане были подъ впечатлѣніемъ постыднаго пораженія при Булсъ-Рѣнѣ, теперь они подъ ударомъ блистательнаго успѣха

Соммерсетской битвы 17 января, въ которой федеральныя войска поразили сепаратистовъ. Да и какъ поразили! Одинъ изъ полководцевъ убитъ, другой обращенъ въ бѣгство, армія разбросана по всѣмъ направленіямъ, пушки, багажъ, знамена, провизія,—все въ рукахъ федератовъ; самая столица Тенессе въ опасности, федеральныя войска могутъ соединиться съ жителями этой провинціи, овладѣть Аллеганскою цѣпью, захватить единственную желѣзную дорогу, которая соединяетъ Луизіану съ Виргиніей. Что намъ пользы въ такой интересной добычѣ, какъ гг. Мезонъ и Слайдель? Что намъ за дѣло до предложеній Джефферсона Дэвиса, когда блокада южныхъ портовъ оказывается въ такой степени дѣйствительною, когда невольничьи штаты распадутся не сегодня, такъ завтра на двѣ части! Двѣ недѣли тому назадъ сѣверу угражала опасность—мы его ненавидѣли тогда смертельно; теперь сѣверъ торжествуетъ, мы его любимъ и ищемъ случая оказать ему услугу. Мы люди практическіе, и даже очень практическіе»!

Успѣхъ федеральной партіи имѣлъ еще другое слѣдствіе и на этотъ разъ не совсѣмъ пріятное. Правительство Авраама Линкольна провозгласило свою побѣду только для покоренія невольничьихъ штатовъ; ему не къ чему было прибѣгать къ принципамъ аболиціониста. Страна приведена такимъ образомъ къ колебанію между двумя политиками, противорѣчащими одна другой. Населеніе сѣвера по характеру принадлежитъ къ партіи рабовладѣльцевъ, а по силѣ обстоятельствъ къ партіи аболиціонистовъ. Такимъ образомъ, всякое матеріальное пріобрѣтеніе получаетъ тотчасъ же нравственный отпоръ, и всякое пораженіе на полѣ битвы вознаграждается движеніемъ впередъ общественнаго мнѣнія. До тѣхъ поръ, пока правительство Соединенныхъ Штатовъ не приметъ открыто такую политическую систему, которою бы оно стремилось къ дарованію всѣмъ равной свободы и къ водворенію братства между различными расами, — намъ трудно будетъ рѣшить, служатъ ли побѣды къ истинному торжеству освобожденія или ему больше и вѣрнѣе служатъ пораженія. Вѣрно только то, что и тѣ, и другія необходимы.

Сѣверъ предпринялъ три большія экспедиціи противъ юга. Онъ надѣется окончить ихъ къ веснѣ. На конгрессѣ уже разсуждаютъ объ устройствѣ штатовъ, которые предполагается завоевать. Ихъ думаютъ низвести на степень простыхъ *областей* и возвратить имъ прежнее достоинство только тогда, когда они выплатятъ контрибуцію и да-

дутъ обѣщаніе хорошо себя вести на будущее время. Это придумано хорошо, но что сдѣлаютъ съ невольничествомъ?

Всегда подозрѣвали внутреннюю связь между возстаніемъ южныхъ штатовъ противъ сѣверныхъ и мексиканской экспедиціей трехъ великихъ державъ Англіи, Франціи и Испаніи. Относительно Англіи уже указывали, какъ на славную цѣль ея похода—на городъ Мотаморосъ, лежащій на границѣ съ Техасомъ, откуда былобы очень легко вести контрабандную торговлю съ югомъ подъ защитою англійскихъ пушекъ. Это мнѣніе было подтверждено статьею одного оффиціальнаго журнала, которая представляетъ это дѣло въ самыхъ черныхъ краскахъ.

«Мы говорили, выражается этотъ журналъ, о предположеніи союзныхъ державъ занять береговую часть мексиканской провинціи, пограничной съ невольничьимъ штатомъ Техасомъ. Когда въ октябрѣ прошлаго года президентъ Дэвисъ узналъ о готовившейся экспедиціи, онъ занялся устройствомъ транзитнаго пути черезъ южные штаты до самой границы Мексики. Эта работа теперь въ полномъ ходу и новый путь будетъ связанъ съ желѣзными дорогами и каналами, прорѣзывающими южные штаты. Такимъ образомъ Европа могла бы запасаться хлопкомъ въ гаваняхъ Мексиканскаго залива и европейскимъ державамъ не къ чему было бы безпокоиться вопросами о блокадѣ южныхъ портовъ, потому что транзитное сообщеніе, о которомъ идетъ рѣчь, замѣнило бы относительно вывоза хлопка—свободный доступъ въ южные порты. Нужно ли прибавлять, что нагрузка караблей въ Мексиканскомъ заливѣ не противорѣчитъ ни въ чемъ принципамъ между-народнаго права».

Наконецъ успѣхи федеральной партіи отражаются и на мексиканской экспедиціи. Англія смотритъ теперь на нее съ большимъ предубѣжденіемъ. За исключеніемъ Пальмерстонова «Times'а», всѣ журналы противъ этого предпріятія и надѣятся подѣйствовать на палаты для отпора министерству. «Что намъ дѣлать въ Мексикѣ? спрашиваетъ одна изъ газетъ, какую выгоду можемъ мы извлечь изъ подобной экспедиціи, кромѣ новыхъ обидъ со стороны Соединенныхъ Штатовъ? Мы только запутаемъ свои дѣла въ странѣ отдаленной и совсѣмъ неизвѣстной, потеряемъ время, а можетъ быть и свою славу, и деньги! Графъ Россель, чтобы отклонить отъ себя отвѣтственность, уже вошелъ въ объясненіе съ г. Тувенелемъ и представилъ свою ноту мадридскому кабинету. Россель умываетъ руки въ этомъ замыслѣ и въ то же время посылаетъ своихъ солдатъ для приведенія его въ испол-

неніе. О геніальная голова! Вера-Круцъ, признанный неспособнымъ къ оборонѣ, былъ преданъ въ руки Испанцевъ, которые не нашли въ немъ ни гарнизона, ни жителей; только одинъ сельскій священникъ, да два аббата вышли къ нимъ на встрѣчу. Генералъ Уруга отрѣзываетъ подвозъ припасовъ и своею арміею прерываетъ сообщеніе между Вера-Круцомъ и Мексикой. Президентъ Бенито-Хуарецъ объявилъ отечество въ опасности, граждане призваны къ оружію, населеніе большей части провинцій съ восторгомъ отвѣчало на этотъ призывъ, предводители мятежныхъ войскъ объявили себя за конституціонное устройство государства и требовали, чтобъ ихъ отправили противъ непріятеля. Внѣшняя опасность заставила забыть внутреннія распри. Ненависть къ давнишнимъ притѣснителямъ Испанцамъ соединяетъ между собою всѣ партіи, кромѣ развѣ духовенства; недавніе враги вспоминаютъ, что они дѣти одной и той же родины.

Вообще до сихъ поръ маленькая Мексика храбро держится противъ трехъ могущественныхъ враговъ. При всемъ томъ не имѣемъ духа предсказать ей хорошій исходъ въ такомъ неравномъ бою. Успѣхамъ союзниковъ, можетъ быть, будетъ помогать духовенство и измѣна нѣкоторыхъ Мексиканцевъ. Заграбивъ три милліона у англійскаго посольства, Мирамонъ явился въ Парижъ проживать ихъ и условливаться съ тремя правительствами касательно завоеванія своего отечества; наставивъ, сколько нужно было, тюльерійскій кабинетъ, онъ уѣхалъ, чтобы обратиться съ совѣтами къ маршалу О'Доннелю и помочь своими внушеніями вдохновенію сестры Патрочиніо. Какъ бы то ни было, но пройдти отъ Вера-Круца до Мексики совсѣмъ не трудно: по хорошей дорогѣ непріятельскія войска могутъ въ 5 или 6 дней, при помощи нарѣзныхъ пушекъ, очутиться у самой столицы, не встрѣтивъ серьезнаго сопротивленія. Занявъ ее, они, конечно, позаботятся устроить какое нибудь правительство и возвратятся покрытые славою, купленною всего за 300 милліоновъ франковъ, что составитъ для каждаго изъ союзниковъ только 100 милліоновъ. Изъ всего этого выйдетъ то, что генералъ Лорнсетцъ, представитель французской цивилизаціи, сожжетъ одно изъ предмѣстій Мексики и пріѣдетъ домой съ титуломъ графа, пожизненной пенсіей въ 60,000 франковъ и званіемъ сенатора. Тогда онъ будетъ имѣть полное право быть на «ты» съ толстымъ героемъ Малаховской битвы.

По послѣднимъ оффиціальнымъ извѣстіямъ, завоеваніе Мексики будетъ однимъ изъ важнѣйшихъ подвиговъ, потому что оно сопряжено

съ уничтоженіемъ шестнадцати испано-американскихъ республикъ и раздѣленіемъ ихъ на отдѣльныя королевства, въ пользу отставныхъ государей, бывшихъ владѣтелей Обѣихъ Сицилій, великаго герцога тосканскаго, Роберта пармскаго и другихъ, а также и въ пользу младшихъ членовъ владѣтельныхъ домовъ, Максимиліана, испанскаго инфанта, Себастьяна, графа фландрскаго, который женился бы въ такомъ случаѣ на одной изъ дочерей герцога Монпансье. Всѣхъ этихъ отставныхъ королей монархическая Европа отправитъ въ заморскія колоніи. Изъ всей южной Америки оставятъ въ покоѣ только Бразилію, которая по характеру правленія одна заслужила расположеніе европейскихъ правительствъ.

Новый проектъ нашей дипломаціи можетъ показаться неисполнимымъ; тѣмъ не менѣе онъ служитъ пугаломъ для обитателей южной Америки. Новая Гренада, между прочимъ, спѣшитъ закупкою оружія, Перу хлопочетъ о томъ, какъ бы доставить денегъ и солдатъ Мексикѣ, не знаетъ только, какъ переправить туда послѣднихъ. Маленькія республики хорошо знаютъ, что противъ слабаго всякій предлогъ хорошъ. Такъ противъ нихъ могутъ воспользоваться такою же уловкою, какъ и противъ Мексики, поставивъ имъ въ вину отказъ въ уплатѣ по векселямъ.

Кое-какія дипломатическія столкновенія уже начинаются. Французское правительство отказываетъ въ теченіи восьми мѣсяцевъ принять г. Мурильо, уполномоченнаго отъ Новой Гренады. Сперва предполагали причиною этого отказа то, что этотъ господинъ—мулатъ; предложили замѣнить его бѣлымъ, но безо всякаго успѣха. Сентъ-Джемскій кабинетъ поступилъ гораздо лучше въ дѣлѣ Канштадта. Это имя принадлежитъ одному нѣмцу, сдѣлавшемуся въ нѣкоторой степени американцемъ, который, вооружившись англійскимъ паспортомъ, почелъ своею обязанностью—убить Лопеца, президента Парагуя. Послѣ неудачнаго покушенія онъ былъ схваченъ, преданъ суду и приговоренъ къ смертной казни. Во всякомъ другомъ мѣстѣ приговоръ былъ бы исполненъ, но тамъ сочли за лучшее его помиловать и выслать заграницу. А Англія еще протестовала, утверждая, что арестованіемъ преступника нанесено оскорбленіе англійскому паспорту. Почти въ то же время Итальянецъ Орсини, также съ фальшивымъ англійскимъ паспортомъ покушался убить императора Наполеона, однако англичане ничего не нашли сказать противъ исполненія надъ нимъ смертнаго приговора на Рокетской площади. Правда, тѣ же самые англичане не такъ давно затѣяли войну съ Китаемъ за то, что китайское правительство аресто-

вало одного китайскаго же контрабандиста, занимавшагося своимъ промысломъ подъ китайскимъ флагомъ, но имѣвшаго у себя въ трюмѣ англійскій флагъ, недавно имъ купленный! Лопецъ отправилъ посла въ Англію, чтобы объясниться по поводу мнимаго оскорбленія британскаго паспорта. Благородный Джонъ Россель отказался принять объясненія. Посланникъ просилъ совѣта у Филлимора, знаменитаго королевскаго юриста, который осмѣлился дать ему благопріятный отвѣтъ. Одобренный такимъ оборотомъ дѣла, онъ снова является къ благородному Джону, который еще разъ отказался его принять. Тогда посолъ обратился къ Дройенъ-де-Люису, бывшему уполномоченному французскому министру при англійскомъ дворѣ, пользующемуся въ высшемъ кругу репутаціей знатока международнаго права. Получивъ рекомендательное письмо отъ Дройенъ-де-Люиса, посолъ отправился въ третій разъ къ лорду Росселю и въ третій разъ благородный лордъ отказывается его принять. «Times» и французскіе оффиціальные журналы уклонились отъ обнародованія этого случая. Одна иностранная газета, которую мы не хотимъ здѣсь назвать, согласилась на это не прежде, какъ получивъ 1000 франковъ. Это было въ сентябрѣ, а недавно сынъ президента Лопеца готовился выѣхать изъ Буэносъ-Айреса въ Европу, но одно англійское судно, узнавъ объ этомъ намѣреніи, сдѣлало залпъ по пароходу, готовившемуся къ отплытію. Сынъ Лопеца вышелъ на берегъ; тѣмъ дѣло и кончилось. Въ настоящее время французскія и англійскія военныя суда стоятъ противъ Буэносъ-Айреса и народонаселеніе нисколько не сомнѣвается въ ихъ враждебныхъ намѣреніяхъ.

Такими поступками Англія ничего не прибавляетъ къ своей репутаціи, но странно, что самая французская политика дѣйствуетъ противно національнымъ принципамъ. Не говоря уже о 15,000 Французовъ, живущихъ въ Мексикѣ и единодушно протестующихъ противъ донесеній своего посланника Дюбуа-де-Салиньи, — на всемъ земномъ шарѣ нѣтъ мѣста, гдѣ бы Франція встрѣчала болѣе сочувствія, какъ въ испано-американскихъ республикахъ. «До сихъ поръ мы васъ любили, мы даже благоговѣли передъ вами, говорилъ по этому случаю одинъ честный Гренадецъ, но теперь своими поступками вы только заставите насъ ненавидѣть и презирать себя, вотъ и все»!

Это тѣмъ болѣе справедливо, что вся тяжесть предпріятія упадетъ на Францію; Англичане займутъ порты, но они уже объявили, что съ наступленіемъ времени желтой лихорадки, они уступятъ свое мѣсто Испанцамъ. А что будетъ, когда дѣйствительно братъ его величества императора австрійскаго сядетъ на престолъ Монтезумы? До

этого момента дѣло вести не такъ трудно, а потомъ? Неужели европейскія войска на другой же день отправятся назадъ и предоставятъ новаго короля пріятному «tête à tête» съ его подданными и заботамъ объ утвержденіи своего престола на ихъ преданности и любви. Такая попытка отзывалась бы чѣмъ-то въ родѣ романа Сервантеса; но въ нашъ желѣзный вѣкъ извѣстное количество штыковъ не мѣшаетъ самому прочному правительству и отказаться отъ нихъ значило бы сдѣлать большую ошибку. Итакъ королю Мексики необходимо иностранное войско; но кто будетъ содержать его? Испанія въ высшей степени непопулярна въ Мексикѣ, Англія отговорится исключительно морскимъ характеромъ своего могущества. Всего бы естественнѣе Австріи взять на себя эту обязанность, но у Австріи не хватаетъ и въ Европѣ довольно войска. Состояніе ея финансовъ не позволяетъ ей никакой безполезной издержки; наконецъ, флота ея слишкомъ недостаточно для поддержанія почтительныхъ отношеній колоніи къ метрополіи. Всѣ подобныя соображенія заставляютъ насъ предполагать, чтобы роль тѣлохранителя новаго государства не досталась на долю Франціи. У Франціи есть солдаты, есть суда для ихъ перевозки, есть г. Фульдъ и его финансы для ихъ прокормленія,—все это до такой степени справедливо, что по достовѣрнымъ слухамъ утверждаютъ, будто вѣнскій кабинетъ заключилъ условіе съ французскимъ правительствомъ, по которому оно обязуется содержать въ продолженіи десяти лѣтъ охранительное войско въ столицѣ Мексики.

Настоящія затрудненія возникнутъ по всей вѣроятности тогда, когда союзники вступятъ въ Мексику. Ихъ взаимныя притязанія, высказывающіяся уже теперь во многихъ случаяхъ, проявятся, конечно, во всей своей силѣ при самомъ дѣлежѣ добычи. Они не рѣшатся проникать во внутренность страны, занятой разсѣяннымъ населеніемъ, которое поведетъ съ ними партизанскую войну. Къ международной распрѣ они присоединятъ еще чуждое вторженіе, противъ котораго соединятся мало-по-малу раздѣленныя силы страны. Едва ли не ошибется вѣнскій кабинетъ въ своемъ расчетѣ, думая сдѣлать изъ Мексики австрійскую Канаду, колонію почти независимую отъ метрополіи, но все-таки связанную вассальною покорностью апостолической коронѣ! Медленность хода нашей дипломаціи не пріучила насъ къ такому быстрому соображенію, чтобы рѣшить, что изъ этого выйдетъ.

Сдѣлать такой подарокъ Австріи задумалъ совсѣмъ не г. Тувенель, а другая особа, несравненно интереснѣе и красивѣе его, а именно—княгиня Меттернихъ. Она сохраняла этотъ проектъ подъ своей лило-

вой шляпой и вывела его на свѣтъ божій среди лентъ, перьевъ, кружевъ и цвѣтовъ. Съ своей стороны императрица Евгенія приняла его. А императоръ Францъ-Іосифъ, который дѣлается крѣпокъ на ухо, какъ только съ нимъ заговорятъ о Венеціи, ждетъ, что вотъ, вотъ, Лудовикъ Наполеонъ подаритъ ему новое государство и вознаградитъ потерю Ломбардіи уступкой Ниццы, Савойи и уплатою ста милліоновъ. Мексику предлагаютъ взять у Мексиканцевъ, Герцеговину отнять у Турокъ, а императоръ все-таки не догадывается почему это? И его приближенные ѣдутъ въ Верону на военныя демонстраціи, заставшія Европу среди миролюбивыхъ заявленій, сдѣланныхъ во всѣхъ возможныхъ парламентахъ различными авторитетами.

Изъ Италіи нѣтъ никакихъ новостей. Упорство папы попрежнему пытаетъ терпѣніе Итальянцевъ. Попрежнему допускается всюду римское вмѣшательство, хотя римскій дворъ объявилъ себя за принципъ невмѣшательства. Та же невозможность устроить конституціонную монархію прежде окончанія организаціи политической. Итальянское *единство* сдѣлалось революціонной программой для народа, девизомъ монархическихъ стремленій для Піемонта. Рикасоли понимаетъ соединеніе, какъ средство, раждающее единство, и отказывается допустить распространеніе недовольной партіи, для того чтобы королевскому правительству не пришлось потомъ пожинать плоды ея вліянія. Въ Римѣ, Неаполѣ и Миланѣ были шумныя манифестаціи совершенно невиннаго характера, и Рикасоли употребилъ самыя суровыя мѣры для прекращенія ихъ, возбудилъ противъ себя негодованіе съ одной стороны за то, что хотѣлъ, а съ другой за то, что не могъ успокоить волненія. Положеніе министра дѣйствительно тяжелое, но оно дѣлается рѣшительно невозможнымъ, когда министръ становится между увлеченіемъ націи и политическою необходимостью, между народомъ, который находитъ его дѣйствія не довольно твердыми и между парламентомъ, который обвиняетъ его въ насиліи. Парламентъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе утрачиваетъ свое довѣріе, потому что поддерживаетъ министерство, не чувствуя къ нему ни малѣйшей симпатіи. Самъ король, какъ извѣстно, сохраняетъ къ нему только одно уваженіе, а женщины рѣшительно всѣ противъ несчастнаго Рикасоли. Пускай же онъ оставитъ свой постъ, такъ какъ онъ всѣхъ стѣсняетъ, — но развѣ, перемѣнивъ министра, перемѣнятъ политику? Отчего же и не перемѣнить?

Вѣнскій кабинетъ хотѣлъ воспользоваться своими мнимыми успѣхами, чтобы снова затѣять дѣло съ венгерскими магнатами, но вре-

мя было дурно выбрано: страшное наводненіе опустошило эту страну и всю восточную Германію. Многія большія рѣки соединились въ обширной равнинѣ Венгріи; часть ея находится подъ водой. Политической дѣятельности представилось физическое препятствіе.

Съ тѣхъ поръ какъ принцъ Уэльскій, путешествуя по Германіи, встрѣтилъ случайно принцессу Августу, старшую дочь Христіана, наслѣднаго принца датскаго — и дѣло о бракосочетаніи ихъ высочествъ было рѣшено. Пруссія оставила въ сторонѣ шлезвигъ-голштинскій вопросъ, чтобы заняться исключительно австрійскими дѣлами.

Первый парламентскій дебютъ Пруссіи не былъ удаченъ и первый шагъ прогрессивной партіи сдѣланъ былъ назадъ. На королевскую рѣчь либеральное большинство отвѣчало молчаніемъ и не осмѣлилось формулировать программы. Послѣ десятилѣтняго осужденія на нѣмоту келейнаго управленія, демократы не могли сразу отвыкнуть молчать, даже когда имъ возвращено было право говорить. Имъ казалось это болѣе приличнымъ. «Довольно словъ, повторяли они, давайте намъ дѣло!» Это такъ, но въ конституціоной монархіи слово, произнесенное съ трибуны, равносильно дѣйствію. Депутаты либеральной партіи повидимому забываютъ, что парламентская палата управляетъ не столько правомъ подавать голоса, сколько вліяніемъ на общество, котораго она служитъ представительницею. Нѣмецкая нація требуетъ программы дѣйствій парламента и нужно дать ей эту программу. Если либеральная палата въ Берлинѣ хочетъ оправдать надежды, возбужденныя учрежденіемъ парламента, она должна измѣниться въ конгрегацію депутатовъ всей Германіи, а не одной Пруссіи. Тутъ дѣло идетъ не только о будущемъ развитіи либеральныхъ идей въ Пруссіи, но и о прусскомъ преобладаніи въ Германіи. Пруссакъ далеко еще не такъ популяренъ между своими соотечественниками, чтобы могъ дозволить себѣ дѣлать все, что ему угодно. Напротивъ того, онъ обладаетъ удивительною способностью заставить себя ненавидѣть, какъ только переступитъ границу своей родины. Жители Берлина народъ умный, но слишкомъ чванятся своимъ книжнымъ умомъ, а черезъ то на всѣхъ морскихъ купаньяхъ и на рейнскихъ пароходахъ умѣютъ надоѣдать всѣмъ и каждому. Въ мастерскихъ южной Германіи работникъ-пруссакъ служитъ игрушкою и посмѣшищемъ для своихъ товарищей. Въ политическомъ отношеніи Пруссаковъ обвиняютъ, наравнѣ съ Баварцами, въ мелочности, заносчивости и самодовольствѣ. Огромное большинство прусскаго населенія не понимаетъ своего долга въ настоящемъ положеніи дѣлъ. Прусскій народъ

думаетъ совмѣстить въ себѣ всю Германію, не расчитывая, что Пруссія легче можетъ быть поглощена Германіею; а если онъ соглашается признать другіе германскіе народы какъ братьевъ, то съ тѣмъ условіемъ, чтобы они чтили его какъ старшаго брата, повиновались ему какъ младшіе и не оспаривали его старшинства. Въ недавнее еще время, когда подписка въ пользу устройства нѣмецкаго флота преобразовалась въ сборъ на постройку флота для Пруссіи, Нѣмцы средней и южной Германіи, черезъ своихъ депутатовъ и членовъ національнаго собранія, въ числѣ 1500 человѣкъ собравшихся во Франкфуртѣ, изложили мнѣніе противъ дѣйствій прусскаго правительства, не касаясь прусскаго народа. Нѣмцы охотно соглашаются доставить Пруссіи законное право видѣть центральную власть въ рукахъ гогенцоллернскаго дома, но съ тѣмъ, чтобы она приготовила устройство нѣмецкаго парламента. Пруссіи надо остерегаться; хотя нѣмецкое терпѣніе и вошло въ пословицу, но и у него есть границы. На югѣ, гдѣ парламентское устройство существуетъ уже сорокъ лѣтъ, гдѣ кровь оборачивается быстрѣе въ жилахъ, а политическій смыслъ болѣе развитъ, чѣмъ на берегахъ Шпре, можно было бы утомиться этимъ вѣчнымъ движеніемъ то впередъ, то назадъ, этими знаками взаимнаго уваженія—государственнаго совѣта къ государю и оппозиціи къ министерству.

Даже «Times» и «Daily News» поддерживаютъ то же мнѣніе. «Пруссія, говоритъ послѣдняя газета, должна забыть, что она Пруссія и раздаться во всю Германію. Если она не сдѣлаетъ этого, то пусть лучше замолчитъ и прекратитъ свое существованіе».

Приведенныя нами слова — отголосокъ тысячи голосовъ, раздающихся въ либеральной Германіи и даже внѣ ея. Отвсюду совѣтуютъ Пруссіи одно и то же: «брось свою узкую, національную систему, откажись отъ своего эгоизма, и ты сдѣлаешь много великихъ дѣлъ!».

Вѣрные своему обѣщанію, прусскіе депутаты, составили, послѣ продолжительнаго пренія, актъ о вмѣшательствѣ Пруссіи въ дѣла герцогства Гессенъ-Кассельскаго. Только шестьдесятъ голосовъ, принадлежившихъ феодальной партіи, были противъ общаго рѣшенія да еще голосовъ двадцать польской партіи выразили свое несогласіе касательно нѣмецкой политики. Независимо отъ признанія итальянскаго королевства, затрудненія относительно гессенскаго княжества могутъ сдѣлаться камнемъ преткновенія для предначертаній Пруссіи. Електоръ гессенкій вошелъ въ ближайшія сношенія съ Австріею въ

то самое время, какъ Пруссія объявила себя за конституціонныя стремленія гессенскаго населенія, изъ-за которыхъ она совершила свою несчастную кампанію 1850 года. Волей-неволей, а Пруссіи придется еще разъ побывать на поляхъ Ольмюца, гдѣ она была такъ безславно разбита Австрійцами — дипломатическимъ образомъ, разумѣется.

Между двумя соперниками готовится страшная борьба. Послѣ заключенія военнаго договора между королемъ Вильгельмомъ и герцогомъ Ернестомъ, въ Вюрцбургѣ была заключена лига между представителями Франца-Іосифа, четырехъ королевствъ: Ганновера, Виртемберга, Саксоніи, Баваріи, тюрингенскихъ княжествъ, Ольденбурга, Гессена, Нассау и Брауншвейга. Всѣ эти государства вручили г. Бернсторфу ноту, которою объявляли, что, опасаясь возрастающаго могущества Пруссіи, они сочли необходимымъ заключить между собою оборонительный союзъ. Не требуя закрытія настоящаго сейма, они рѣшились составить особый федеральный парламентъ изъ депутатовъ отъ разныхъ палатъ упомянутыхъ государствъ, для того чтобы наказать Пруссію за намѣреніе образовать союзъ изъ членовъ конфедераціи, что значило бы конфедерацію въ конфедераціи.

Нѣмецкая пресса придаетъ большое значеніе такому антагонизму двухъ державъ, развивающемуся на глазахъ у цѣлой Европы. Мы надѣемся, что это столкновеніе окончится миролюбиво, но довольно серьезно и во всякомъ случаѣ въ пользу Германіи. Взаимные удары, наносимые другъ другу обоими соперниками, конечно, повредятъ и тому, и другому, но послужатъ къ утвержденію національнаго единства Германіи, которая выиграетъ все, что потеряютъ соперники въ своей борьбѣ. Правительство баденское рѣшилось предложить свое посредничество, но это робкое вмѣшательство не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій. «National Zeitung» говоритъ, что Вильгельму остается въ виду опасности, угражающей его государству, идти впередъ въ дѣлѣ реформъ и сообщать Германіи болѣе единства и дать ей болѣе свободы, нежели ей давали Австрія, Ганноверъ, Саксонія и Баварія, — а это совсѣмъ не трудно». Такого рода совѣты очень полезны для короля Вильгельма, но мы знаемъ, что не онъ одинъ нуждается въ хорошихъ совѣтахъ, а и его парламентъ и вообще вся нѣмецкая нація.

ЖАКЪ ЛЕФРЕНЬ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Московскіе мыслители.

(Критическій отдѣлъ Русскаго Вѣстника за 1861 годъ).

VI.

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что не имѣетъ связи съ задорною журналистикою, и въ тоже время не рѣшаясь слишкомъ громко расхваливать то, что не представляетъ никакихъ особенныхъ достоинствъ, Русскій Вѣстникъ держится дипломатической осторожности, хвалитъ такъ, что его похвалы можно принять за выраженія свѣтской вѣжливости или условнаго почтенія. Похвалы эти голословны, какъ то оффиціальны; въ нихъ не видно дѣйствительнаго сочувствія; но, не смотря на эту дипломатическую осторожность, у Русскаго Вѣстника прорываются порою довольно странныя признанія и сужденія. Съ этой точки зрѣнія стоитъ привести въ примѣръ статью г. N. о солдатской бесѣдѣ г. Погосскаго. Г. Погосскій, какъ авторъ дѣдушки Назарыча, господина Колодника и разныхъ другихъ разсказовъ, взятыхъ изъ солдатскаго быта и переданныхъ солдатскимъ языкомъ, извѣстенъ своею замашкою идеализировать изображаемую среду, и въ особенности тѣ личности, которыя являются въ его разсказахъ на первомъ планѣ. Какъ человѣкъ умный и не лишенный современнаго

литературнаго образованія, г. Погосскій идеализируетъ довольно искусно и почти правдоподобно. Онъ не представляетъ своихъ героевъ сказочными богатырями, не заставляетъ ихъ стучать себя въ грудь и плакать на взрыдъ при словѣ матушка русь православная, не наваливаетъ имъ на плечи невѣроятныхъ подвиговъ героизма и самоотверженія, и вообще не выходитъ, при построеніи своихъ характеровъ и положеній, изъ масштабовъ сѣренькой дѣйствительности. «Его Назарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, говоритъ г. N., народъ все больше невзрачный, тихій, нехвастливый; это все люди, которые тутъ же, обокъ насъ живутъ.» Все это почти вѣрно, а между тѣмъ это не мѣшаетъ существованію страшной идеализаціи. Всѣ эти солдаты—люди маленькіе, но въ высшей степени добродѣтельные. «А придетъ случай—глядишь, говоритъ самъ г. Погосскій, онъ (т. е. солдатъ) и встанетъ передъ тобою въ такой красотѣ душевной, такую добродѣтель окажетъ, ни передъ какимъ зломъ непреклонную, что подивишься ты невзрачному человѣку этому и за большее счастье почтешь называть его ровней, товарищемъ своимъ». Вотъ и возникаетъ вопросъ: откуда же это добылъ себѣ этотъ солдатъ такую отмѣнную добродѣтель? Изъ деревни ли онъ ее принесъ или въ казармахъ выработалъ? Если изъ деревни принесъ, то эта добродѣтель принадлежитъ или отдѣльному лицу, или цѣлому народу, но никакъ не спеціальному сословію солдатъ. Если же онъ ее выработалъ въ сферѣ своей служебной жизни, тогда г. Погосскому очень не мѣшало бы объяснить читателямъ, какія именно стороны этой жизни выработываютъ въ солдатѣ непреклонную добродѣтель и душевную красоту. Но г. Погосскій, какъ художникъ, можетъ быть увлеченъ своимъ предметомъ, и вслѣдствіе этого, можетъ, въ отношеніи къ этому предмету, утратить до нѣкоторой степени ту силу анализа, съ которою человѣкъ хладнокровно размышляющій приступаетъ къ обсужденію каждаго дѣла или вопроса. Можетъ быть г. Погосскій видѣлъ, дѣйствительно, такъ много примѣровъ непреклонной добродѣтели и красоты душевной, что для него понятіе солдата совершенно неразлучно съ понятіемъ человѣка, обладающаго именно такою добродѣтелью и красотою. Кромѣ того г. Погоскій преслѣдуетъ, можетъ быть, нравственно-педагогическую цѣль и жалаетъ представить своимъ читателямъ-солдатамъ какъ можно больше хорошихъ образцовъ, для того, чтобы эти читатели, умиляясь сердцемъ, стремились подражать этимъ доблестнымъ примѣрамъ и неуклонно подвигались впередъ на пути своего духовнаго

и нравственнаго совершенствованія. Если г. Погосскій увлекается какъ художникъ, если онъ, сочувствуя своимъ младшимъ братьямъ, видитъ ихъ отчасти въ розовомъ свѣтѣ,—это дѣлаетъ величайшую честь мягкому сердцу и впечатлительнымъ нервамъ издателя «Солдатской Бесѣды», хотя въ сущности не увеличиваетъ правдоподобія характеровъ, подобныхъ Назарычу и даже не объясняетъ происхожденія этихъ характеровъ изъ наличныхъ элементовъ нашей дѣйствительности. Если г. Погосскій хочетъ приносить пользу нашимъ нижнимъ чинамъ представляемыми образцами, если его добродѣтельные герои—ничто иное, какъ прописи, съ которыхъ солдату должно списывать свои поступки и свою жизнь, то опять-таки нельзя не отнестись съ величайшею признательностью къ добродѣтельнымъ тенденціямъ г. Погосскаго, нельзя не признать его за истиннаго филантропа и нельзя не пожалѣть о томъ, что похвальная филантропія эта идетъ въ разрѣзъ съ жизненною правдою. Тѣ аргументы, которые я привелъ для того, чтобы оправдать и объяснить увлеченіе г. Погосскаго своимъ предметомъ и выходящую изъ этого увлеченія идеализацію, къ сожалѣнію, никакъ не могутъ быть приведены въ пользу г. N.—критика Русскаго Вѣстника. Дѣло критика состоитъ именно въ томъ, чтобы разсмотрѣть и разобрать отношенія художника къ изображаемому предмету; критикъ долженъ разсмотрѣть этотъ предметъ очень внимательно, обдумать и разрѣшить по своему тѣ вопросы, на которые наводитъ этотъ предметъ, вопросы, которые едва затронулъ и можетъ быть даже едва замѣтилъ самъ художникъ. Художнику представляется единичный случай, яркій образъ; критику должна представляться связь между этимъ единичнымъ случаемъ и общими свойствами и чертами жизни; критикъ долженъ понять смыслъ этого случая, объяснить его причины, узаконить его существованіе, показать его *raison d'être*. Г. Погосскій рисуетъ намъ добродѣтельныхъ солдатъ. Критикъ его произведеній можетъ соглашаться или не соглашаться съ авторомъ, признавать или отвергать дѣйствительность выводимыхъ имъ явленій; въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ долженъ выставить на видъ тѣ соображенія, которыми онъ руководствуется, и при помощи которыхъ онъ приходитъ къ тому или другому результату. Если онъ считаетъ Куликовъ и Назарычей дѣйствительно живыми типами, то онъ долженъ объяснить намъ, какія именно условія русской жизни вообще или солдатскаго житья-бытья въ особенности содѣйствуютъ формированію такихъ типовъ. Если онъ

считаетъ Куликовъ и Назарычей головными выдумками автора, построенными съ поучительно нравственною цѣлью, то онъ опять-таки обязанъ, подвергнувъ анализу тѣ же условія русской жизни, доказать, что при этихъ бытовыхъ условіяхъ личности подобныя добродѣтельнымъ героямъ г. Погосскаго существовать не могутъ. Словомъ, чтобы критическая статья не была переливаніемъ изъ пустаго въ порожнее, надо, чтобы въ ней высказывался взглядъ критика на явленія жизни, отражающіяся въ литературномъ произведеніи, надо, чтобы въ ней, съ точки зрѣнія критика, обсуживался и рѣшался какой нибудь вопросъ, поставленный самою жизнью и натолкнувшій художника на созданіе разбираемаго произведенія. Этого-то именно вы не найдете въ статьѣ г. N.; одобрительно-ласкательные отзывы о Солдатской Бесѣдѣ г. Погосскаго, выписки изъ упоминаемыхъ повѣстей, разсказъ содержанія этихъ повѣстей—вотъ все, что вы встрѣтите въ этой soi-disant критической статьѣ. Мы изъ этой статьи имѣемъ право вывести одно заключеніе, что авторъ ея раздѣляетъ сладкія воззрѣнія г. Погосскаго и вмѣстѣ съ нимъ готовъ восхищаться тою сферою, въ которой живутъ и дѣйствуютъ наши крестьяне и солдаты. Я не намѣренъ спорить ни съ г. Погосскимъ, ни съ г. N. тѣмъ болѣе, что послѣдній не высказываетъ рѣшительно своихъ мнѣній, а только принимаетъ съ полною вѣрою всѣ слова и разсказы Солдатской Бесѣды. Я спорить не намѣренъ, потому что нахожу это въ высшей степени неудобнымъ и безполезнымъ; я ограничиваюсь только тѣмъ, что указываю на крайніе выводы, къ которымъ приводитъ сладкій оптимизмъ Русскаго Вѣстника. Затѣмъ иду дальше, къ критическимъ диковинкамъ слѣдующихъ книжекъ.

VII.

Въ раздумьѣ останавливаюсь я передъ апрѣльскою книжкою; въ ней критическій отдѣлъ начинается выпискою изъ сочиненія г. Юркевича (изъ науки о человѣческомъ духѣ). Возникаетъ вопросъ: говорить или не говорить объ этой статьѣ. Есть много аргументовъ за и противъ, но мнѣ кажется будетъ основательнѣе пройдти эту статью молчаніемъ, напомнивъ предварительно читателямъ, что она направ-

лена противъ статьи г. Чернышевскаго объ антропологическомъ принципѣ и заимствована Русскимъ Вѣстникомъ, какъ полемическое cassetête изъ трудовъ кіевской духовной академіи. Рѣшаюсь я не говорить объ этой статьѣ собственно потому, что не вижу ни малѣйшей точки соприкосновенія между мыслями г. Юркевича и моими собственными идеями. Процессъ мысли, исходныя точки, результаты, способъ изложенія, все это до такой степени различно, какъ будто бы мы жили въ разныя времена и говорили на двухъ разныхъ языкахъ. Очень можетъ быть, что это признаніе сдѣлано мною къ моему собственному стыду, очень можетъ быть, что жить не въ томъ мірѣ, въ какомъ живетъ г. Юркевичъ, значитъ прозябать, вести жизнь скотоподобную, не имѣть понятія о дѣятельности мысли; все это очень возможно, а между тѣмъ я все–таки съ полною откровенностью скажу, что не понимаю, изъ чего хлопочетъ г. Юркевичъ, что и зачѣмъ онъ доказываетъ, какая польза и какая надобность въ тѣхъ невыносимо–скучныхъ діалектическихъ тонкостяхъ, которыми наполнена его обширная статья. Согласитесь, господа читатели, что, если я не понимаю ни цѣли, ни сущности, ни пользы статьи г. Юркевича, то я никакъ не могу стать къ ней въ какія бы то ни было критическія отношенія. Для меня статья г. Юркевича написана на неизвѣстномъ языкѣ и притомъ на такомъ языкѣ, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этотъ языкъ, сухой и безплодный, ничѣмъ не вознаградитъ меня за тѣ усилія, которыя я употреблю на его усвоеніе. Если г. Юркевичъ не умѣетъ говорить ясно и просто о простыхъ и ясныхъ предметахъ, если надо пройдти цѣлый предварительный курсъ кабалистики для того, чтобы слышать его ученіе о природѣ, о человѣкѣ, о духѣ и разумѣ, то я полагаю, что большинство людей предпочтутъ остаться профанами. Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; что ни шагъ, то предметъ для размышленія, и притомъ такой предметъ, который непремѣнно надо обсудить, чтобы имѣть возможность идти дальше; тутъ сама жизнь задаетъ вопросы и шевелитъ мысль; успѣвай только обдумывать и рѣшать; успѣвай только пробиваться и разрушать дѣйствительныя препятствія; а тутъ намъ предлагаютъ углубиться въ самихъ себя, заняться діалектическими выкладками, воскресить покойный Гегелизмъ и зарыться по уши въ какую нибудь отвлеченную систему, которая не успѣла даже выработать себѣ яснаго языка. Мы съ удовольствіемъ готовы пользоваться философскою діалек-

тикою, какъ орудіемъ борьбы, какъ средствомъ разрушать предразсудки, но, когда философская діалектика уходитъ въ область словъ, когда она, теряя изъ виду дѣйствительность, забывая условія мѣста и времени, начинаетъ расплываться въ общихъ разсужденіяхъ, не приводящихъ и не могущихъ привести ни къ какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся отъ этой діалектики и находимъ, что заниматься ею скучно, а спорить съ тѣмъ, кто ею занимается, безполезно. Какъ бы замысловаты ни были тѣ пріемы, которыми г. Юркевичъ уличаетъ г. Чернышевскаго въ непослѣдовательности, въ нелогичности, въ неумѣніи мыслить, въ противорѣчіяхъ съ самимъ собою, какъ бы остроумны и глубокомысленны ни были тѣ доводы, которыми кіевскій мыслитель громитъ петербургскаго журналиста, все-таки статья кіевскаго мыслителя прочтется очень немногими любителями и даже на этихъ любителей не произведетъ сильнаго впечатлѣнія, потому что она споритъ изъ-за словъ и останавливается на мелочахъ. Что же касается до статьи петербургскаго журналиста, то ее прочло большинство читающей публики; идеи его вызвали дѣятельность мысли, критика ума усилена и напряжена этимъ притокомъ новаго матеріала, слѣдовательно дѣло сдѣлано, а тамъ пускай кропотливые труженики, не умѣющіе окинуть однимъ взглядомъ цѣлое направленіе мысли, возражаютъ противъ отдѣльныхъ подробностей, спорятъ противъ частныхъ недосмотровъ и превращаютъ живую идею въ діалектическое толченіе воды; этимъ они нисколько не остановятъ дѣйствительнаго развитія идей въ обществѣ; этимъ они покажутъ только свое собственное безсиліе, противъ котораго, конечно, людямъ дѣла и живой мысли не стоитъ предпринимать крестовый походъ; достаточно указать на это безсиліе, какъ на существующій фактъ и пройдти мимо къ другимъ предметамъ, также заслуживающимъ наблюденія.

Полнаго вниманія заслуживаетъ статья г. Лонгинова о князѣ П. А. Вяземскомъ. Эта статья вызвана отзывами разныхъ петербургскихъ журналовъ и газетъ о юбилеѣ пятидесятилѣтней литературной дѣятельности князя Вяземскаго, праздновавшемся 2 марта 1861 года. Въ свое время было много говорено объ этомъ юбилеѣ, гораздо больше, чѣмъ стоило говорить объ этомъ предметѣ, и потому я, конечно, въ этой статьѣ не буду поднимать этихъ улегшихся толковъ. Вообще я совершенно воздержусь отъ сужденій о литературныхъ заслугахъ г. Вяземскаго и буду имѣть дѣло только съ г. Лонгиновымъ, который,

увлекаясь жаромъ антикварія и панегириста, высказываетъ много любопытныхъ идей и эстетическихъ взглядовъ. Исходная точка у г. Лонгинова та же, что и у г. Грота; онъ сурово упрекаетъ нашихъ литераторовъ или, какъ онъ говоритъ съ оттѣнкомъ укоризны, нашихъ фельетонистовъ въ томъ, что они не знаютъ исторіи нашей словесности и потому не чувствуютъ къ своимъ предшественникамъ на литературномъ поприщѣ того уваженія и той признательности, которую слѣдуетъ воздавать имъ по заслугамъ. Онъ указываетъ этимъ фельетонистамъ на гражданскія и человѣческія добродѣтели нашихъ писателей прежняго времени и указываетъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ на образцы, достойные подражанія. «Карамзинъ, говоритъ онъ, на котораго смѣютъ нападать разные борзописцы за то, что онъ не думалъ и не писалъ въ ихъ духѣ, Карамзинъ былъ одаренъ гражданскою честностью и гражданскимъ мужествомъ, какихъ дай Богъ побольше на Руси. Онъ отказывался отъ должности министра, перомъ Тацита писалъ приговоръ Іоанну, не угождалъ ни одному временщику, подавалъ государю записки о разныхъ государственныхъ дѣлахъ первой важности, невзирая на то, что мысли его противорѣчили взглядамъ Александра. Благородство Жуковскаго вошло въ пословицу. Шишковъ ошибался, но былъ честнѣйшій изъ людей, твердый въ правилахъ и неспособный согнуться ни передъ кѣмъ, ни передъ чѣмъ, словомъ,—достойный другъ Мордвинова. Справьтесь, какая память живетъ въ министерствѣ юстиціи о Дмитріевѣ и теперь, черезъ сорокъ пять лѣтъ послѣ его отставки?» Увлекаясь апологическимъ жаромъ, г. Лонгиновъ не замѣчаетъ того, какъ странно онъ защищаетъ своихъ кліентовъ. Карамзинъ не былъ льстецомъ, Жуковскій не былъ неблагороднымъ человѣкомъ, Шишковъ не былъ безчестнымъ человѣкомъ, Дмитріевъ не былъ суровымъ чиновникомъ; слушая воодушевленныя рѣчи г. Лонгинова на эту тему, можно себѣ вообразить, будто наша текущая литература завалена обличеніями и обвиненіями, направленными противъ прежнихъ дѣятелей съ цѣлью очернить навсегда ихъ имена и смѣшать съ грязью ихъ память. Еслибы большинство пишущихъ людей было занято изобрѣтеніемъ разныхъ клеветъ противъ Карамзина, Жуковскаго, Шишкова и Дмитріева, то тогда только можно было бы объяснить себѣ происхожденіе апологіи г. Лонгинова. Но теперь къ чему она? Кто клевещетъ на этихъ покойныхъ литераторовъ? Кто говоритъ объ нихъ? Мы объ нихъ и думать забыли, у насъ порвалась всякая связь съ этими людьми; у нихъ были

свои интересы, свои воззрѣнія; они отжили; теперь мы живемъ, и у насъ свои интересы, свои воззрѣнія, не имѣющія ничего общаго съ прежними; когда намъ случается заглянуть въ томъ ихъ сочиненій, мы остаемся холодны къ тому, что ихъ интересовало и подъ часъ, невольно, добродушно улыбаемся ихъ восторженнымъ тирадамъ. Даже приговоръ Іоанну, написанный перомъ русскаго Тацита, Карамзина, не вызываетъ въ насъ особеннаго сочувствія, между тѣмъ какъ строки настоящаго, римскаго Тацита, написанныя слишкомъ за полторы тысячи лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ шевелятъ наши нервы. Что же дѣлать? Надо съ этимъ согласится: Карамзинъ, Жуковскій, Дмитріевъ и др. отжили для насъ и отжили такъ полно, такъ безнадежно, какъ, вѣроятно, никогда не отживутъ люди съ дѣйствительнымъ, сильнымъ талантомъ, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сихъ поръ читаемъ съ наслажденіемъ, а Жуковскаго врядъ ли кто нибудь возметъ въ руки иначе, какъ съ ученою или библіографическою цѣлью. А на это г. Лонгиновъ горячо возражаетъ, что Жуковскій, Карамзинъ и Шишковъ — честнѣйшіе люди. Ну что жъ изъ этого, отвѣтимъ мы. Мы ихъ и не бранимъ безчестными, а думаемъ только, что честность въ писателѣ— достоинство отрицательное. За отсутствіе этого достоинства — клеймятъ презрѣніемъ, а за присутствіе его еще не вѣнчаютъ лавровыми вѣнцами. Что Карамзинъ, Жуковскій и Шишковъ были честными людьми—это при нихъ и остается. Изъ этого никакъ нельзя вывести заключенія, чтобы слѣдовало превратить текущую литературу въ поминальные списки. Мало ли въ Россіи со временъ Рюрика или Гостомысла было честнѣйшихъ людей. Неужели же ихъ всѣхъ литература должна помнить и беречь только за то, что они были честнѣйшіе. Если у нашей эпохи нѣтъ такихъ интересовъ, которые раздѣляли бы съ нами Карамзинъ и Жуковскій, то въ чемъ же мы можемъ имъ сочувствовать, зачѣмъ мы будемъ къ нимъ обращаться? Отчего мы не можемъ и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для насъ не существуетъ, что мы отдѣлены отъ него цѣлою пропастью, чрезъ которую нельзя и не слѣдуетъ перешагнуть? Почему, на какомъ основаніи мы будемъ помнить и уважать прошедшее нашей литературы? Потому ли, что оно прошедшее, и что глубокомысленная латинская поговорка велитъ говорить *de mortuis aut bene, aut nihil*, или потому, что оно наше, родное, русское? Не знаю, право, который изъ доводовъ лучше и сильнѣе. Что касается до

г. Лонгинова, то онъ, кажется, охотнѣе приметъ первый аргументъ, потому что уваженіе къ прошедшему, по его мнѣнію, должно быть принадлежностью образованнаго литератора и развитаго человѣка. «Расинъ не Мюссе, Шиллеръ не Гейне, говоритъ г. Лонгиновъ, а попробуйте умному Французу или Нѣмцу поговорить съ презрѣніемъ о Расинѣ или Шиллерѣ, онъ вѣроятно даже не почтетъ за нужное продолжать съ вами разговоръ». Умный Французъ или Нѣмецъ, не дающій въ обиду своихъ стариковъ приведенъ здѣсь собственно для того, чтобы показать нашимъ «борзописцамъ и фельетонистамъ» всю позорную опрометчивость ихъ поведенія; желая дать этимъ господамъ хорошій, полновѣсный урокъ, г. Лонгиновъ говоритъ множество несообразностей; онъ ставитъ на одну доску Шиллера и Расина и находитъ, что умный Французъ, защищающій Расина и умный Нѣмецъ, защищающій Шиллера, будутъ одинаково правы въ своихъ сужденіяхъ.

Въ глазахъ г. Лонгинова оба правы потому, что оба защищаютъ прошедшее; тутъ можно только скромно замѣтить, что вѣдь прошедшее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера, какъ художника и человѣка, какъ вдохновеннаго защитника лучшихъ правъ и лучшихъ инстинктовъ человѣческой природы, отстаивать Шиллера, какъ честнаго бойца своего времени, какъ геніальнаго мыслителя и поэта— позволительно каждому порядочному человѣку, будь онъ Нѣмецъ или Французъ, Русскій или Татаринъ. Но отстаивать Расина, въ сочиненіяхъ котораго мы не встрѣчаемъ ничего, кромѣ лжи и ходульности, отстаивать вмѣстѣ съ нимъ все направленіе литературы въ вѣкъ Людовика XIV, это такой подвигъ, на который можетъ рѣшиться развѣ только французскій академикъ, и за который похвалить можетъ только критикъ Русскаго Вѣстника. Сочувствіе г. Лонгинова къ прошедшему *quand même* доходитъ до того, что онъ съ непритворнымъ уваженіемъ отзывается о французской академіи, какъ о хранилищѣ спасительныхъ преданій. То, что говоритъ г. Лонгиновъ объ академіи, такъ неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать нѣсколько его подлинныхъ строкъ. «Она, говоритъ онъ, исчисляя заслуги академіи, напечатала нѣсколько изданій словаря, сообразуясь съ успѣхами языка, была постоянно органомъ здравой критики, а главное, трудами и засѣданіями своими распространяла въ публикѣ тотъ эстетическій вкусъ, развивала въ ней то уваженіе къ достоинствамъ безсмертныхъ твореній великихъ писателей, благодаря чему во Франціи не можетъ первый встрѣч-

ный заставить вѣрить публику всему, что придетъ ему въ голову говорить объ этихъ писателяхъ» (стр. 121). Не знаю, на какихъ это наивныхъ и несвѣдущихъ читателей разсчитываетъ г. Лонгиновъ; кто же это ему повѣритъ, что французская публика отличается развитымъ эстетическимъ вкусомъ и что она обязана академіи своими эстетическими понятіями. Чтожъ это, академія, что ли рекомендовала ей романы Фудра, Дюма, Феваля, графини Дашъ, Ксавье де Монтепенъ и другихъ неистощимыхъ разсказчиковъ? И что же это пристрастіе къ подобнымъ романамъ—признакъ развитаго вкуса? Или, можетъ быть, г. Лонгиновъ не признаетъ даже публикою тѣхъ людей, которые запоемъ читаютъ Феваля и Дюма? Отъ него это станется, потому что онъ, кажется, дѣлаетъ различіе между обществомъ и толпою. Общество онъ уважаетъ, но толпу, profanum vulgus, необразованную массу онъ поражаетъ самымъ убійственнымъ презрѣніемъ, причисляя къ этой безобразной толпѣ и преступныхъ фельетонистовъ, и тѣхъ легкомысленныхъ людей, которые читаютъ эти фельетоны, не краснѣя отъ стыда и не блѣднѣя отъ добродѣтельнаго негодованія. «Общество французское, продолжаетъ г. Лонгиновъ, на столько образовано, что считаетъ существованіе такого учрежденія не только совмѣстнымъ съ движеніемъ литературы и своимъ собственнымъ, но совершенно необходимымъ, какъ убѣжище для истиннаго вкуса, для независимаго голоса людей знающихъ и почтенныхъ, для охраненія вѣчныхъ законовъ прекраснаго отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Поэтому академія руководствуется при выборѣ своихъ членовъ не только степенью таланта, а еще менѣе популярностью того или другаго автора, но считаетъ условіемъ для того классическое образованіе писателя, свойство его ученыхъ пріемовъ, мастерство его владѣть языкомъ, его вкусъ и критическій даръ. Она приметъ въ члены скромнаго, малоизвѣстнаго толпѣ поэта Лапрада, и едва ли скоро допуститъ въ свою среду напр. блестящаго, «популярнаго», бойкаго Теофиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели,—вглядываясь въ чужую добродѣтель, мы всего глубже и живѣе можемъ почувствовать свои собственныя несовершенства, мы всего скорѣе можемъ дойти до спасительнаго раскаянія и до горячаго желанія исправиться. Со вниманіемъ всматриваясь въ идеи г. Лонгинова, я замѣчаю, что его оптимизмъ отличается глубокою, непочатою искренностью, и съ истиннымъ огорченіемъ обличаю самого себя въ мрачномъ и недостойномъ недовѣріи

ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, какъ тепло вѣритъ г. Лонгиновъ и въ образованность французскаго общества, и въ необходимость французской академіи, и въ независимость голоса тѣхъ знающихъ и почтенныхъ людей, которые удостоивались сдѣлаться ея членами, и въ вѣчность тѣхъ законовъ прекраснаго, которые, несмотря на свою вѣчность, должны быть охраняемы отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Г. Лонгиновъ такъ твердо вѣритъ въ существованіе добра и во всемѣстное его проявленіе, что онъ отъ души сочувствуетъ всѣмъ академическимъ выборамъ, которые, конечно, представляются ему независимымъ голосомъ людей знающихъ и почтенныхъ. Его несказанно радуетъ то обстоятельство, что академія не обращаетъ вниманія на мнѣніе толпы, и, бракуя «популярнаго» (замѣтьте ковычки) Теофиля Готье, принимаетъ въ члены скромнаго поэта Лапрада, вѣроятно за примѣрное благонравіе и за похвальную скромность.

Да, вотъ какъ добропорядочные люди смотрятъ на вещи; мнѣ становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолѣваю этотъ естественный стыдъ и публичнымъ покаяніемъ стараюсь до нѣкоторой степени смыть съ себя пятно моихъ неприличныхъ воззрѣній. Каюсь передъ читателями, вотъ въ какихъ странныхъ образахъ представлялись мнѣ тѣ факты, которые облилъ г. Лонгиновъ такимъ яркимъ потокомъ свѣтло розоваго свѣта. Я думалъ, что французская академія, основанная по капризу всемогущаго министра, кардинала Ришелье, никогда не была живою потребностью для французскаго общества, а жила себѣ по силѣ инерціи, какъ правительственное учрежденіе, созданное эдиктомъ и не отмѣненное никакимъ другимъ, послѣдующимъ распоряженіемъ. Я думалъ, что существованіе французской академіи не имѣетъ ничего общаго съ движеніемъ литературы, и что французское общество не потеряло бы ровно ничего, еслибы словаря академіи вовсе не существовало; я думалъ, что истинный вкусъ не нуждается въ убѣжищѣ, и что голосъ каждаго человѣка знающаго или не знающаго, почтеннаго или непочтеннаго, можетъ быть гораздо чище и самостоятельнѣе, когда этотъ человѣкъ говоритъ только отъ своего собственнаго лица, чѣмъ тогда, когда онъ ораторствуетъ на академическихъ креслахъ, какъ членъ и представитель почтенной и ученой корпораціи. Мнѣ казалось, что французская академія не охраняетъ вѣчныхъ законовъ прекраснаго по той простой причинѣ, что такихъ мудреныхъ законовъ не существуетъ, и что,

думая хранить вѣчные законы, почтенное собраніе бережетъ залежавшіяся академическія преданія, окоченѣвшія отъ времени и превратившіяся въ сухую, мертвую рутину; при выборѣ своихъ членовъ академія руководствуется не степенью таланта автора, не популярностью его, а классическимъ образованіемъ писателя, свойствомъ его ученыхъ пріемовъ, мастерствомъ его владѣть языкомъ, его вкусомъ и критическимъ даромъ. Я бы отъ души желалъ повѣрить на слово г. Лонгинову и принять сообщаемыя имъ свѣдѣнія за святую истину, но рѣшительно не могу сдѣлать этого, потому что въ самыхъ словахъ г. критика заключается неразрѣшимое противорѣчіе: академія, изволите видѣть, не обращаетъ вниманія на степень таланта и между тѣмъ требуетъ мастерства владѣть языкомъ, вкуса и критическаго дара. Что же такое критическій даръ, если онъ не признается талантомъ и даже противуполагается таланту? И мастерство владѣть языкомъ, и вкусъ—это тоже не талантъ. Да что же такое талантъ? Поневолѣ приходится обращаться къ переборкѣ словъ, когда люди начинаютъ употреблять слова, не отдавая себѣ отчета въ ихъ значеніи. Чтобы понять г. Лонгинова, надо обратиться къ тѣмъ примѣрамъ, которыми онъ поясняетъ свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую фразу. «Викторъ Гюго, говоритъ онъ, въ апогеѣ своей славы не могъ сдѣлаться академикомъ до самаго 1841 года, потому что, несмотря на свое блестящее дарованіе, грѣшилъ часто противъ чистоты языка и здраваго вкуса, которые такъ уважены въ учрежденіи, гдѣ засѣдали тонкіе судьи ихъ, этому качеству преимущественно обязанные общимъ почетомъ, ихъ окружившимъ: Андріё, Фелецъ, Нодье, Сальванди, и пр.» А, да, теперь дѣло начинаетъ разъясняться. Академія требуетъ правильности (Correctheit), и въ этомъ отношеніи платитъ дань общей слабости всѣхъ академій. Одна академія требуетъ правильности рисунка, другая правильности музыкальнаго выполненія, третья правильности поэтическаго вымысла. Ставя подобныя требованія, каждая академія стѣсняетъ свободный полетъ мысли и втискиваетъ въ свои условныя, узкія рамки творческую дѣятельность художника. По академическимъ понятіямъ, трудолюбивая посредственность, умѣющая усвоить себѣ преданія школы, и не чувствующая въ себѣ ни малѣйшей потребности выдти изъ рубрикъ оффиціально предписанной программы, всегда будетъ поставлена выше независимаго таланта, разбивающаго всякія условныя ограниченія и не повинующагося въ своемъ творчествѣ никому и ничему,

кромѣ собственнаго, внутренняго побужденія. Поэтому академіи почти всегда расходятся въ своихъ приговорахъ съ неразвитою толпою; неразвитой толпѣ нравится самородная сила, оригинальная смѣлость, творческая самобытность, а академіи требуютъ выдержанности, дрессировки, примѣненія къ извѣстному, условному образцу; толпа величаетъ и любитъ своихъ поэтовъ, не обращая вниманія на академическіе приговоры, а почтенныя собранія, живя своею замкнутою, тепличною жизнью, знать не хотятъ о томъ, что дѣлается за стѣнами ихъ залъ и кабинетовъ, и улыбкою презрѣнія встрѣчаютъ всѣ проявленія мысли и чувства, прорывающіяся помимо ихъ приговоровъ и находящія себѣ сочувствіе въ неразвитой толпѣ. Г. Лонгиновъ вполнѣ академикъ по своимъ воззрѣніямъ; онъ отъ души желаетъ, чтобы толпа безпрекословно слушалась приговоровъ людей знающихъ и почтенныхъ, и чтобы всѣ ея сужденія были сколками съ протоколовъ академическихъ засѣданій; рутину школы онъ называетъ вѣчными законами прекраснаго; приговоры, произносимые съ точки зрѣнія этой рутины, называются независимымъ голосомъ, и все остальное обозначается именами, заимствованными изъ того же круга идей и понятій. Въ элегическомъ изліяніи г. Лонгиновъ представляетъ своимъ читателямъ тѣ благодѣтельныя слѣдствія, которыя могло бы имѣть для нашего просвѣщенія существованіе ученаго собранія, подобнаго французской академіи. «При безпрерывномъ измѣненіи вкуса и переворотахъ въ языкѣ, говоритъ г. Лонгиновъ, у насъ была бы полезнѣе, чѣмъ гдѣ либо, корпорація независимая, съ авторитетомъ въ дѣлѣ словесности. Она нисколько не стѣсняла бы доброй воли всякаго, писать какъ ему угодно (неправда ли, какъ это милостиво и великодушно!). Но она была бы хранилищемъ, гдѣ всякій могъ бы почерпнуть свѣдѣнія дѣльныя; центромъ, гдѣ публика знакомилась бы съ научными и литературными пріемами, узнавала бы серіозно исторію языка и словесности (очевидно, академія такого фасона была бы, по мечтамъ г. Лонгинова, чѣмъ-то среднимъ между присутственнымъ мѣстомъ, адреснымъ столомъ и учебнымъ заведеніемъ). Наконецъ, она была бы мѣстомъ соединенія, гдѣ сходились бы писатели разныхъ партій, которые теперь сидятъ по большей части безвыходно въ своихъ кружкахъ, въ ущербъ публикѣ, литературѣ и самимъ себѣ, потому что они ничего не видятъ, кромѣ своихъ же дѣйствій, ничего не слышатъ, кромѣ своихъ же рѣчей, повторяемыхъ близкими ихъ, да разныхъ литературныхъ сплетень (Благодушно отворяя двери этой

желанной академіи для писателей разныхъ партій, г. Лонгиновъ очевидно не предвидитъ того обстоятельства, что могутъ найтись и такіе писатели, которые и заглянуть не пожелаютъ въ такое спасительное учрежденіе. Впрочемъ, такихъ господъ г. Лонгиновъ не признаетъ писателями, почти также какъ читателей ихъ онъ не признаетъ публикою; это, по его мнѣнію, фельетонисты, башибузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющіе здравый вкусъ публики и мѣшающіе развитію солидныхъ и серьезныхъ понятій. Вспомнивъ объ этихъ нечестивыхъ фельетонистахъ, г. Лонгиновъ, какъ молочница въ баснѣ Лафонтена, видитъ, что надежды и радужныя мечты его разлетаются въ прахъ) » Но, говоритъ онъ съ умилительною грустью, можно ли думать о томъ, когда фельетонисты завладѣваютъ вниманіемъ читателей, уничтожаютъ все, что было до нихъ и провозглашаютъ, что они знать не хотятъ общества, т. е. соединенія болѣе или менѣе образованныхъ людей, а ищутъ популярности между своею братіей и въ массахъ». Грусть и негодованіе г. Лонгинова мнѣ понятны, хотя, конечно, я, какъ фельетонистъ, не могу имъ сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендуетъ на авторитетъ, всегда считаетъ себя головою выше толпы и всегда приходитъ въ самое наивное негодованіе, когда эта толпа идетъ себѣ своею дорогою, не обращая никакого вниманія на совѣты, предостереженія и приговоры ученаго собранія или отдѣльнаго ученаго лица. Въ этомъ отношеніи люди кабинетовъ, архивовъ и библіотекъ очень похожи на тѣхъ деревенскихъ книжниковъ, которымъ, при невѣроятныхъ трудахъ и усиліяхъ, удалось одолѣть дюжины полторы старыхъ книгъ. Питая полное уваженіе къ трудолюбію и къ любознательности этихъ деревенскихъ начетчиковъ, нельзя не замѣтить, что напряженіе мозга надъ отдѣльными словами книгъ и часто безъ успѣшныя старанія связать между собою въ головѣ эти отдѣльныя слова изнуряютъ мыслительныя силы этихъ книжниковъ; они зачитываются до такой степени, что теряютъ способность практическаго пониманія, начинаютъ вставлять въ обыденный, житейскій разговоръ отдѣльныя выраженія и цитаты изъ прочитанныхъ книгъ, начинаютъ говорить высокимъ слогомъ и въ то же самое время, уважая себя за свои безплодные труды и усилія, возвышаются въ своемъ собственномъ мнѣніи, становятся невыносимо самонадѣянными, и начинаютъ смотрѣть съ высока на «необразованыхъ мужиковъ», которые съ своей стороны смотрятъ на этихъ завирающихся книжниковъ съ лукавою усмѣшкою полупрезрительнаго состраданія.

Роль, которую играютъ эти книжники въ деревняхъ, можетъ быть, отчасти объясняетъ то положеніе, въ которомъ нѣкоторая часть нашихъ цѣховыхъ ученыхъ находятся въ отношеніи къ массѣ грамотнаго общества. Эти ученые работаютъ много и между тѣмъ мы не видимъ плодовъ ихъ занятій; они читаютъ и перечитываютъ рукописи и старыя книги; они выбиваются изъ силъ, наводя какую нибудь мелкую хронологическую справку, или отыскивая потерянное значеніе какого нибудь устарѣлаго слова, встрѣчающагося раза два въ лѣтописи или въ старомъ переводѣ; сухость этой работы, утомительность подобныхъ розысканій подаетъ самому труженику поводъ думать, что онъ совершаетъ великій подвигъ самоотверженія, за который ему должны быть благодарны и современники и потомки. Самому труженику очень скучно возиться съ старою рухлядью всякаго рода, но оттого, что онъ скучаетъ и выбивается изъ силъ, никто не чувствуетъ для себя осязательной пользы или освѣжающаго удовольствія, и потому никто не говоритъ спасибо. А между тѣмъ труженикъ роется въ архивахъ и библіотекахъ, поглощаетъ огромные фоліанты, отыскиваетъ библіографическія рѣдкости и диковинки, уходитъ въ тотъ мірокъ прошедшаго, котораго блѣдные отрывки сохранились на лоскуткахъ бумаги и пергамента и теряетъ способность понимать тѣ побудительныя причины, которыя заставляютъ живыхъ людей говорить и спорить, горячиться и приходить въ негодованіе, страдать и радоваться, надѣяться и тревожиться. Бѣдному труженику, постепенно убивающему въ себѣ человѣческіе инстинкты, стремленія и порывы свѣжаго, здраваго организма, начинаетъ казаться, что жизнь состоитъ именно въ томъ, чтобы преслѣдовать слова и буквы изъ фоліанта въ фоліантъ, что міръ истинный, широкій, великій лежитъ именно на полкахъ его библіотеки. Онъ съ досадою слышитъ за стѣнами этой библіотеки шумъ экипажей на улицѣ, крики разнощиковъ, провозглашающихъ о своихъ товарахъ, пѣсни мастеровыхъ, мурлыкающихъ за работою, словомъ, всѣ тѣ звуки, въ которыхъ сказывается присутствіе жизни. Все это кажется ему суетою, безсмыслицею, проявленіемъ людской неразвитости, и только тотъ крошечный предметъ, къ которому присосались въ эту минуту силы его ума, кажется ему дѣйствительно важнымъ, одареннымъ самобытною, сильною, разумною жизнью. Относясь враждебно къ звукамъ дѣйствительной жизни, цеховой ученый такъ же враждебно относится къ отраженію этихъ звуковъ и интересовъ въ литературѣ. Оживленный споръ

о живомъ лицѣ, о предметѣ вседневной жизни, объ идеѣ, къ которой въ интересахъ дѣйствительной жизни надо непремѣнно отнестись такъ или иначе, кажутся заучившемуся труженику непозволительнымъ скандаломъ, пустою тратою словъ и времени, проявленіемъ мальчишескаго задора, слѣдствіемъ смѣшнаго желанія заявить свои идеи передъ лицомъ читающей публики.

Съ тѣхъ поръ, какъ журналистика сколько нибудь оживилась, цеховые ученые стали къ ней въ враждебныя отношенія; они не понимаютъ побужденій тѣхъ людей, которые, не щадя силъ, не боясь трудностей, выражаютъ въ журналахъ свои убѣжденія и проводятъ свои тенденціи; потерявши способность жить въ атмосферѣ дѣйствительной жизни, они вмѣстѣ съ тѣмъ потеряли возможность судить объ явленіяхъ этой жизни; тѣ мнѣнія, которыя имъ случается высказывать при нечаянномъ столкновеніи съ вопросами, стоящими на очереди, отличаются такою античностью, о которой, не слыхавши подобныхъ сужденій, невозможно составить себѣ даже приблизительное понятіе.

Винить записныхъ ученыхъ въ этой античности идей и мнѣній, конечно, невозможно. Если работникъ, приводящій въ движеніе какую нибудь ручную машину, постоянно работаетъ одною правою рукою, то съ теченіемъ времени мускулы этой руки разовьются въ ущербъ мускуламъ всего остальнаго тѣла; работникъ окажется изуродованнымъ и его уродство явится какъ естественное и неизбѣжное слѣдствіе его работы. Занятія труженика-спеціалиста точно также односторонни, какъ работа ремесленника, пускающаго въ ходъ одну правую руку; у труженика-спеціалиста та или другая умственная способность, напр. память или наблюдательность, изощряются до послѣднихъ предѣловъ, между тѣмъ какъ остальныя мыслительныя способности глохнутъ и тупѣютъ. И ремесленникъ, работающій одною правою рукою, и труженикъ-спеціалистъ, работающій именно только извѣстными частицами мозга, могутъ быть очень полезны и даже совершенно необходимы для общества, но только надобно, чтобы каждый изъ нихъ оставался на своемъ мѣстѣ. Изъ хорошаго ремесленника можетъ выдти очень плохой музыкантъ, и труженикъ-спеціалистъ, очень полезный для составленія словаря, хронологической таблицы или библіографическаго указателя, можетъ до упаду насмѣшить читающую публику, если примется толковать объ общественныхъ интересахъ или пустится въ эстетическую критику. Трудъ—дѣло почтенное; ветеранъ какого бы то ни

было труда, предпринятаго и веденнаго добросовѣстно, имѣетъ право требовать себѣ подъ старость теплаго угла отъ того общества, которому онъ посвятилъ свои силы и досуги; но если этотъ ветеранъ искалеченъ своею трудовою жизнью, и, несмотря на свою благопріобрѣтенную убогость, упорно лѣзетъ къ такой работѣ, которую онъ не можетъ выполнить какъ слѣдуетъ, тогда, при всемъ уваженіи къ труду и къ ветерану, каждый членъ общества будетъ имѣть полное, разумное право дать ему дружескій совѣтъ: «отойдите въ сторону; это дѣло вамъ не подъ силу. Сидите себѣ на покоѣ, не мѣшайте другимъ, и если вамъ скучно, занимайтесь для развлеченія легкими штучками изъ вашей прежней работы, съ которою вы успѣли свыкнуться въ теченіи вашей жизни».

То, что я сказалъ о мнѣніяхъ записныхъ ученыхъ вообще, то можетъ быть въ полномъ объемѣ примѣнено почти ко всѣмъ статьямъ критическаго отдѣла Русскаго Вѣстника. Яркимъ представителемъ этого серьезнаго направленія критической мысли является г. Лонгиновъ. Этотъ трудолюбивый библіографъ, изумляющій публику обиліемъ и точностью своихъ фактическихъ свѣдѣній, касающихся исторіи нашей литературы въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, оказывается крайне неопытнымъ и неискуснымъ на поприщѣ журналистики. Какъ критикъ— онъ безличенъ; какъ мыслитель — онъ отличается только крайне развитою способностью благоговѣть передъ прошедшимъ и строить себѣ безчисленное множество кумировъ и авторитетовъ. Кто желаетъ составить себѣ понятіе объ эстетическомъ вкусѣ г. Лонгинова, того я попрошу, въ статьѣ этого писателя о князѣ Вяземскомъ, прочитать тѣ стихотворенія, которыя г. критикъ находитъ очень замѣчательными. Въ этой статьѣ приведено девять большихъ пьесъ, одна другой скучнѣе; голый дидактизмъ, не прикрытый даже яркостью поэтическаго образа, утомляетъ вниманіе читателя и тяжелымъ, несваримымъ комомъ ложится въ его голову, не шевеля нервовъ, и не возбуждая никакого другаго чувства, кромѣ непробудной, безотрадной, гнетущей скуки. Вотъ для примѣра самая коротенькая изъ этихъ пьесъ, которыя, по мнѣнію г. Лонгинова, упрочиваютъ за г. Вяземскимъ почетное мѣсто въ исторіи русской поэзіи. Выписываю ее собственно потому, что она очень коротка и потому не слишкомъ утомитъ моихъ читателей.

Любить. Молиться. Пѣть. Святое назначенье
Души, тоскующей въ изгнаніи своемъ,
Святаго таинства земное выраженье,
Предчувствіе и скорбь о чемъ-то неземномъ,
Преданье темное о томъ, что было яснымъ
И упованіе того, что будетъ вновь,
Души, настроенной къ созвучію съ прекраснымъ,
Три вѣчныя струны: молитва, пѣснь, любовь!
Счастливъ кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлялъ всегда съ любовью и мольбой,
И пѣсни внутренней былъ арфою живой!

Мнѣ кажется, сама г-жа Юлія Жадовская не могла бы написать стихотворенія болѣе слезливаго, сентиментальнаго, фразистаго и ничтожнаго по содержанію; мнѣ кажется даже, что у г-жи Жадовской стихотвореніе на эту тему вышло бы понятнѣе и изящнѣе по внѣшней формѣ. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей перу князя Вяземскаго, то можно сказать безъ преувеличенія, что приходится дѣлать синтаксическую конструкцію, чтобы добраться до смысла, какой существуетъ въ этомъ наборѣ плаксивыхъ словъ. Замѣчу мимоходомъ, что стихотвореніе это написано въ 1840 году, послѣ смерти Пушкина, тогда, когда русскій стихъ былъ уже почти окончательно выработанъ. Если г. Лонгиновъ восхищается подобными виршами, то это, очевидно, происходитъ оттого, что онъ къ произведеніямъ современныхъ поэтовъ приступаетъ съ тѣми же требованіями, съ какими онъ относится къ какому нибудь Сумарокову или Хераскову. Все дѣло сводится опять-таки на то, что антикварій не критикъ, и библіографъ не журналистъ.

VIII.

Критическій отдѣлъ майской книжки открывается язвительною полемическою статьею, стремящеюся доказать, что всѣ петербургскіе журналисты, пишущіе легко, быстро и ясно, похожи на г. Аскоченскаго и достойны быть сотрудниками его Домашней Бесѣды. Объ

убійственномъ, неразборчивомъ въ средствахъ и выраженіяхъ полемизмѣ Русскаго Вѣстника я уже говорилъ не разъ и потому общая мысль и направленіе этой статьи: «одного поля ягоды» не можетъ ни удивить меня, ни вызвать съ моей стороны негодованія. Я не стану защищать петербургскихъ литераторовъ, не стану спорить съ Русскимъ Вѣстникомъ о степени сходства Времени или Современника съ Домашнею Бесѣдою, а просто вмѣстѣ съ моими читателями прогуляюсь по этой критической статьѣ и осмотрю то, что въ ней заслуживаетъ вниманія.

Поговоривъ объ исторіи, о движеніи мысли, о великихъ началахъ, управляющихъ человѣческою жизнью, авторъ статьи вдругъ изъ области высокой отвлеченности спускается на почву дѣйствительной, да еще въ добавокъ русской жизни и начинаетъ радоваться тому обстоятельству, что «у насъ съ недавнихъ поръ появилось много духовныхъ изданій съ разнообразными достоинствами» и что, слѣдовательно, въ нашемъ обществѣ существуетъ «потребность этого рода чтенія». Заявивъ свое удовольствіе передъ этимъ, безъ сомнѣнія, *отраднымъ* фактомъ, г. критикъ переходитъ къ частностямъ и начинаетъ разбирать вопросъ, нуждается ли божественная сила христіанскаго слова въ какихъ бы то ни было пособіяхъ. «Не слѣдуетъ ли, спрашиваетъ авторъ, довольствоваться однимъ размноженіемъ священныхъ текстовъ въ печати и ограничить ими одними всю духовную литературу?» Этотъ вопросъ рѣшается отрицательно и критикъ «Русскаго Вѣстника» приходитъ къ тому убѣжденію, что должно, не ограничиваясь однимъ приведеніемъ текста, «изъяснять, истолковывать его, учить и убѣждать людей и стало быть содѣйствовать образованію въ нихъ такихъ нравственныхъ и умственныхъ настроеній, какихъ требуетъ христіанская истина». Это мнѣніе подкрѣпляется слѣдующимъ историческимъ доводомъ: «Если Христосъ избралъ нѣкоторыхъ учениковъ своихъ изъ среды людей простыхъ и неученыхъ, если эти рыбаки съ одного слова, съ одного взгляда Его, покинувъ мрежи, пошли за Нимъ, то кто рѣшится примѣнять къ себѣ этотъ примѣръ, вздумаетъ, что одного взгляда, одного слова его будетъ достаточно подѣйствовать на души?» Потомъ, г. авторъ обращаетъ вниманіе публики на то обстоятельство, что духовныя лица и духовныя корпораціи издаютъ журналы, въ которыхъ нѣтъ духа фанатизма, «нетерпимости или недоброжелательства къ историческому ходу». «Напротивъ, продолжаетъ онъ, если въ нашей литературѣ оказывается нѣчто въ этомъ духѣ, то все такое вы-

ходитъ не изъ среды духовенства, не имѣетъ никакого отношенія къ церкви и есть плодъ досуга людей столько же чуждыхъ ей по своему положенію, сколько и по духу». Къ числу людей, чуждыхъ церкви по своему положенію и по духу, причисляется г. Аскоченскій, которому, конечно, подобный упрекъ покажется болѣе чувствительнымъ, чѣмъ всѣ нападенія прогрессистовъ. Критикъ Русскаго Вѣстника доказываетъ съ большимъ жаромъ и съ немалою силою краснорѣчія, что нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей солидарности «между изданіями, какъ Маякъ или Домашняя Бесѣда и православною церковью или русскимъ духовенствомъ». *Совершенно справедливо* отрицая всякое соотношеніе между Домашнею Бесѣдою и русскимъ духовенствомъ, г. критикъ съ замѣчательною изобрѣтательностью и гибкостью ума сближаетъ между собою воззрѣнія г. Аскоченскаго съ политическими и философскими статьями нашихъ прогрессистовъ». «То же циническое глумленіе надъ человѣческою свободой, восклицаетъ критикъ, то же презрѣніе къ истинѣ, то же наѣздническое обращеніе съ дѣйствительностью, та же ухарская заносчивость въ сужденіяхъ о фактахъ и лицахъ, тотъ же духъ и тотъ же смыслъ, и изъ тѣхъ же причинъ тѣ же результаты... Они совершенно сходятся въ своихъ отрицаніяхъ, а если и расходятся въ нѣкоторыхъ изъ своихъ положеній, то эти разности отрывочныя, безсильныя и темныя, ничѣмъ не отзовутся въ результатахъ и сами собою исчезаютъ въ дружномъ содѣйствіи родственныхъ и однозвучныхъ отрицаній. Духъ тьмы и слѣпой случай—кто будетъ взвѣшивать разницу этихъ понятій? А сходство ихъ результатовъ несомнѣнно. Возможно ли, чтобы христіанская мысль могла придти къ такому воззрѣнію на міръ? Возможно ли, чтобы мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на такомъ воззрѣніи? И религіозному чувству, и мыслящему уму, и зрѣлому опыту жизни извѣстно, что міръ, въ которомъ мы живемъ не есть міръ божественный; что во всемъ человѣческомъ есть неизбѣжное семя зла, что самыя высшія степени человѣческаго превосходства не изъяты отъ злоупотребленій, и что никакая высота не спасетъ человѣка отъ паденія. Но міръ этотъ существуетъ, и христіанскій смыслъ говоритъ намъ, что если міръ существуетъ, то Богъ его терпитъ, что Онъ въ какой либо мѣрѣ положилъ въ немъ свое благоволеніе, и что самое зло обращается въ орудіе къ раскрытію истины, къ осуществленію блага». Краснорѣчіе въ родѣ приведеннаго отрывка, продолжается на четырехъ страницахъ; постепенно разгорячая самого себя

потокомъ своего краснорѣчія, оглушая себя каскадомъ словъ и періодовъ, г. критикъ доходитъ до паѳоса, и какъ скандинавскій берзеркеръ, съ глазами, налившимися кровью и желчью, кидается на вѣчныхъ своихъ враговъ, на петербургскихъ фельетонистовъ, которыхъ онъ ненавидитъ безпредѣльною ненавистью соперника-журналиста. На нашу бѣдную литературу сыпятся такія ругательства, какихъ можетъ быть не съумѣлъ бы подобрать даже разсердившійся Иванъ Никифоровичъ, такія ругательства, какія, можетъ быть, полѣнился бы произнести даже мрачный Михайло Иванычъ Собакевичъ. Журналистика равняется, по приговору Русскаго Вѣстника, океану «пустословія, пошлостей, фальши, фразъ безъ смысла, затопляющихъ нашу литературу, литературу безъ науки, безъ всякихъ нормъ, безъ значительныхъ серьезныхъ преданій». Рѣшительно приходится согласиться съ тѣмъ, что мы живемъ въ минуту всемірнаго потопа и можемъ покуда дышать только, благодаря уродливому устройству нашихъ легкихъ; ковчегъ, въ который, конечно, не пустятъ насъ, нечестивыхъ фельетонистовъ, плаваетъ по водамъ и покуда не садился на мель ни на какомъ Араратѣ; изъ этого ковчега вылетаетъ, какъ невинный голубь, Русскій Вѣстникъ и безцѣльно, безнадежно кружится надъ мутными волнами, не представляющими его тоскливо-ищущему взору ничего отраднаго; ему некуда опуститься, не на чемъ отдохнуть, негдѣ найти масличную вѣточку; бѣдный голубокъ! Ему придется, покружившись въ пространствѣ, воротиться подъ спасительную крышу объемистаго ковчега и навсегда отказаться отъ дѣятельной роли въ грандіозной и вмѣстѣ съ тѣмъ хаотической драмѣ потопа. Впрочемъ, критикъ Русскаго Вѣстника начинаетъ замѣчать, что онъ кружится въ пространствѣ и тоскуетъ безпредметною тоскою; чтобы разомъ прекратить это безплодное и утомительное занятіе, онъ внезапно опускается къ океану пошлостей, пустословія и фальши, наудачу черпаетъ изъ него полную пригоршню разной дряни и подноситъ ее своимъ читателямъ, говоря имъ торжествующимъ тономъ человѣка, имѣющаго возможность доказать непреложную истину своихъ словъ: «видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустословія, пошлости и фальши». Пригоршня, зачерпнутая г. критикомъ изъ мутнаго океана, затопляющаго нашу литературу, оказалась однимъ изъ фельетоновъ г. Кускова, который, конечно, настолько же можетъ воплотить въ себѣ типъ русскаго журналиста, насколько онъ можетъ воплотить въ себѣ типъ русскаго поэта. Было бы довольно

дико, еслибы какой нибудь иностранецъ вздумалъ глумиться надъ пустотою русской поэзіи и въ подтвержденіе своихъ словъ сталъ бы приводить многочисленныя цитаты изъ поэтическихъ произведеній г. Кускова; такому господину можно было бы, я думаю, замѣтить, что поглумиться въ русской поэзіи есть надъ чѣмъ, но что для этого надо брать болѣе крупныхъ представителей поэзіи, такихъ людей, въ стихотвореніяхъ которыхъ дѣйствительно выражаются рельефныя, дурныя или хорошія особенности нашей поэзіи. Со стороны рускаго журналиста, подвергающаго критическому анализу явленія русской же журналистики, мы имѣемъ полное право требовать основательнаго знакомства съ дѣломъ; его приговоры должны быть произносимы надъ всею совокупностью литературныхъ явленій и потому бросить петербургской журналистикѣ упрекъ въ хлестаковствѣ и привести въ подтвержденіе своихъ словъ цитаты изъ фельетона г. Кускова — это, воля ваша, пріемъ въ высшей степени недобросовѣстный; тутъ, очевидно, авторъ расчитываетъ на легкомысліе нашей публики и на то обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушною къ литературнымъ преніямъ и къ печатному слову вообще. Дѣйствительно, при теперешней, еще не вполнѣ нарушенной апатіи нашего общества, печатныя обвиненія всякаго рода не вызываютъ въ читающихъ людяхъ ни особеннаго сочувствія, ни энергическаго протеста; теперь можно, не опасаясь общественнаго мнѣнія, клеветать и на литературу, и на литераторовъ; голословная клевета не упадетъ на самаго клеветника и не замараетъ его имени только потому, что публика, не заинтересованная движеніемъ идей и столкновеніемъ мнѣній, завтра забываетъ то, что читаетъ сегодня, и часто не даетъ себѣ труда справиться ни объ имени автора или редактора, ни о степени достовѣрности печатнаго нападенія; дѣлаясь такимъ образомъ безопасною для самаго клеветника, печатная клевета въ то же время становится безвредною и для того, противъ кого она направлена. Гг. Булгаринъ и Ксенофонтъ Полевой клеветали на Пушкина, г. Аскоченскій клевещетъ на все, что не участвуетъ въ Домашней Бесѣдѣ, Русскій Вѣстникъ клевещетъ на всю петербургскую журналистику, Искра оклеветала недавно г. Писемскаго; несмотря на всѣ эти клеветы, слѣдующія другъ за другомъ какъ частыя изверженія мелкихъ грязныхъ вулкановъ, публика продолжаетъ относиться къ оклеветаннымъ субъектамъ также кротко и ласково, какъ она относилась къ нимъ до выхода въ свѣтъ клевещущихъ статей и статеекъ. Пушкинъ остал-

ся великимъ русскимъ поэтомъ, несмотря на сиплые крики булгаринской партіи; лица, не участвующіе въ Домашней Бесѣдѣ не считаются воплощеніями антихриста, хотя г. Аскоченскій твердитъ это на всѣ лады; петербургская журналистика пользуется вниманіемъ публики, несмотря на то, что Русскій Вѣстникъ уподобилъ ее океану пустословія, пошлостей и фальши; Писемскій попрежнему останется первымъ русскимъ художникомъ реалистомъ и попрежнему будетъ пользоваться сочувствіемъ и уваженіемъ всѣхъ мыслящихъ людей Россіи, несмотря на всѣ восклицанія хроникера Искры, напоминающаго собою моську въ извѣстной баснѣ Крылова. Печатное слово не начинало еще быть въ нашемъ обществѣ опаснымъ орудіемъ, и потому старые дѣти, подобные редакторамъ Русскаго Вѣстника шалятъ имъ, какъ тупымъ ножомъ, не боясь обрѣзаться. Шалости ихъ иногда бываютъ чрезвычайно оригинальны. Авторъ статьи: «одного поля ягоды» дошалился до того, что закончилъ свою статью слѣдующею загадочною выходкою, направленною опять–таки противъ Хлестаковыхъ, господствующихъ въ періодической литературѣ. «Такихъ молодцовъ, восклицаетъ онъ, дѣйствительно нельзя не побаиваться. Зарѣзать они не зарѣжутъ, но не кладите вашего четвертака плохо». Тревожное настроеніе, подъ вліяніемъ котораго критикъ Русскаго Вѣстника дошелъ до забвенія всякихъ литературныхъ и житейскихъ приличій, произошло вслѣдствіе чтенія фельетоновъ г. Кускова. Надо подивиться тому обстоятельству, что г. Кусковъ, писатель кроткій и безвредный до послѣдней степени, могъ возбудить противъ себя такую страшную бурю негодованія. Г. Кусковъ, который въ безвѣстной тиши могъ бы впродолженіи цѣлыхъ десятилѣтій писать гладкимъ языкомъ фельетоны и плачевныя стихотворенія, г. Кусковъ, который при концѣ своей жизни могъ бы самого себя причислить къ «явленіямъ, пропущеннымъ нашею критикою» вдругъ осыпается изъ Москвы градомъ незаслуженныхъ ругательствъ, обвиняется въ нравственной изломанности, опозоривается именемъ Тряпичкина и сравнивается наконецъ съ новою Мессалиною, «о которой разсказываютъ, что, не довольствуясь Европой, она ѣздила въ Алжирію, къ Кабиламъ». Вся эта буря въ стаканѣ воды поднялась противъ г. Кускова за то, что онъ осмѣлился въ своемъ фельетонѣ провести слѣдующую мысль: иногда можно уголовнаго преступника уважать больше, чѣмъ того безъукоризненнаго передъ закономъ гражданина, который произноситъ надъ нимъ приговоръ. Заслышавъ эту еретическую мысль, Русскій Вѣстникъ воз–

стаетъ противъ нея во всемъ величіи добродѣтельнаго негодованія и доходитъ до такого паѳоса, до котораго, какъ мнѣ казалось, можетъ доходить только очень набожная старуха. «Возмутительный душегубъ, за которымъ отказывается слѣдить всякое человѣческое чувство, всякій человѣческій смыслъ, этотъ звѣрь, который бросается на свою жертву съ тѣмъ, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже, чѣмъ звѣрь, потому что у звѣря покрайней мѣрѣ нѣтъ прихотей— это чудовище является, въ глазахъ Тряпичкина, могучимъ человѣческимъ образомъ, обаятельнымъ и чарующимъ, подавляющимъ мелкія душонки, которыя прячутся *подъ грудою правилъ, пестрящихъ прописи и азбуки*». Увлекаясь негодованіемъ, критикъ Русскаго Вѣстника не замѣчаетъ того, что вопросъ о преступникѣ становится очень просто; тутъ является слѣдующая дилемма: или онъ одаренъ кровожадными инстинктами, или онъ развращенъ воспитаніемъ, вліяніемъ, совѣтами и примѣромъ окружающаго общества или круга людей. Въ первомъ случаѣ онъ — больной котораго надо только сдѣлать безвреднымъ, во второмъ случаѣ онъ самъ несчастная жертва, о которой можно пожалѣть, онъ самъ герой страшной трагедіи, погибающій подъ гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ. Наполеонъ I, желая потѣшить одну барыню, за которою онъ ухаживалъ, приказалъ сдѣлать на непріятельскій лагерь безполезное нападеніе, которое стоило жизни нѣсколькимъ солдатамъ; мы читаемъ этотъ фактъ въ его исторіи и замѣчаемъ очень кротко, что Наполеонъ въ молодости былъ непрочь подурачиться и пошалить; въ то же самое время мы читаемъ въ газетахъ, что, какой нибудь мужиченка съ голоду зарѣзалъ купца и очистилъ его кошелекъ и мы возмущаемся, и мы находимъ, что наказаніе плетьми и ссылка въ рудники едва покрываютъ его вину. Воришекъ бьютъ за тѣ самые поступки, которые сходятъ съ рукъ ворамъ.

IX.

Скучно и утомительно слѣдить за критическимъ отдѣломъ Русскаго Вѣстника; не на чемъ остановиться; нѣтъ свѣжей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствіе; нѣтъ живаго слова, которое могло бы хоть сколько нибудь шевельнуть мозговые нервы.

Пять книжекъ (отъ января до мая) просмотрѣно; почти пятьдесятъ страницъ написано по поводу ихъ; стало быть, можно считать дѣло порѣшеннымъ. Если продолжать подробный разборъ отдѣльныхъ критическихъ статей, то это будетъ только накопленіе мелкихъ фактовъ, способныхъ наконецъ утомить вниманіе самаго терпѣливаго и благосклоннаго читателя. Если выводить общее заключеніе изъ всего, что было сказано мною о критическомъ отдѣлѣ Русскаго Вѣстника, то это будетъ сокращенное, сухое, безполезное повтореніе всего того, что уже успѣли просмотрѣть читатели. Поэтому, приведу еще два, три критическіе перла и покончу на томъ мою неумѣренно разросшуюся статью.

Перлъ № 1-й. Г. Лонгиновъ въ статьѣ: «Бѣлинскій и его лжеученики» призналъ вліяніе Бѣлинскаго вреднымъ на томъ основаніи, что Бѣлинскій плохо зналъ исторію нашей литературы. Въ подтвержденіе этого обвиненія, направленнаго противъ перваго русскаго критика, приводится слѣдующее обстоятельство:

«Въ обозрѣніи русской литературы до Пушкина, Бѣлинскій приводитъ, (пишетъ г. Лонгиновъ) отрывокъ изъ предисловія Хераскова къ повѣсти его «Полидоръ,» вышедшей въ 1794 году. Въ этомъ предисловіи авторъ обращается къ извѣстнымъ русскимъ писателямъ. У Хераскова имена ихъ обозначены первыми буквами ихъ фамилій. Бѣлинскій выставляетъ полныя имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединскаго, Дмитріева, Богдановича и Петрова. Но тутъ же вышло и затрудненіе. Послѣ обращенія къ Л. (Ломоносову) Херасковъ говоритъ: *можетъ ли кто не плѣниться нѣжными и пріятными звуками С?* Очевидно, что Херасковъ разумѣлъ тутъ А. П. Сумарокова, съ которымъ много лѣтъ шелъ по одному пути, какъ лирикъ и драматургъ, и сочиненіями котораго продолжалъ плѣняться до своей смерти, подобно многимъ современникамъ. Но Бѣлинскій дѣлаетъ при буквѣ С. слѣдующую выноску: «*Должно быть дѣло идетъ о Евстафіи Станевичѣ, весьма плохомъ піитѣ того времени.*»

Затѣмъ г. Лонгиновъ очень убѣдительно доказываетъ, что Станевича не могъ хвалить Херасковъ, и что Бѣлинскій сдѣлалъ грубую ошибку, что онъ поддавался увлеченію «собственныхъ страстей и пристрастій», и что его литературные приговоры писаны «иногда въ ослѣпленіи пристрастія».

Все дѣло кончается тѣмъ, что г. Лонгиновъ приводитъ слѣдующій отрывокъ изъ одного неизданнаго стихотворенія:

Затѣмъ на скопищѣ клевретовъ
Рѣшилъ верховный ихъ совѣтъ,
Что, такъ какъ нѣтъ авторитетовъ,
Бѣлинскій будь авторитетъ.

Вредъ, принесенный Бѣлинскимъ, состоитъ, по подлиннымъ словамъ г. Лонгинова, «въ распложеніи самодовольныхъ и пустозвонныхъ горлановъ, думающихъ заставить человѣчество забыть все то, что было до появленія ихъ на журнальное поприще».

Перлъ № 2-й. Статья г. Густава де-Молинари о книгѣ Прудона «La guerre et la paix» занимающая слишкомъ два листа и доказывающая непобѣдимыми доводами, что у Прудона нѣтъ ни свѣдѣній, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарѣли и надоѣли публикѣ.

Перлъ № 3-й. Стихотвореніе князя Вяземскаго «Замѣтка», выражающее въ самыхъ оригинальныхъ образахъ самыя неожиданныя идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободенъ тотъ одинъ, кто умирилъ желанья,
Кто свѣтелъ и душой, и помышленьемъ чистъ,
Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,
Кого не уязвитъ нахальной черни свистъ.
Нелѣпымъ равенствомъ онъ высшихъ не унизитъ,
Но, въ предназначенной отъ Промысла борьбѣ,
Посредникъ, онъ бойцовъ любовнымъ словомъ сблизитъ
И скажетъ старшему: «я младшій братъ тебѣ».

Хотя замѣтка князя Вяземскаго помѣщена не въ критическомъ отдѣлѣ, и хотя вообще не принято писать критическія или полемическія статьи въ стихахъ, однако всякій согласится съ тѣмъ, что отнести эту вещицу къ области поэзіи нѣтъ никакой возможности. Въ ней нѣтъ ни одного образа, и вся разница между этою замѣткою и элегическою замѣткою, помѣщенною въ той же августовской книжкѣ, въ самомъ концѣ критическаго отдѣла, заключается въ томъ, что первая написана шестистопнымъ ямбомъ, а вторая — презрѣнною прозою. Смыслъ и направленіе ихъ—тожественны, выраженія одинаковы или покрайней мѣрѣ сходны; голословность выходокъ и замашка направлять свои удары въ пустое пространство замѣчаются какъ въ произведеніи князя Вяземскаго, такъ и въ элегическомъ воздыханіи редакціи Рус-

скаго Вѣстника. Поэтому, помѣщая въ число критическихъ перловъ стихотвореніе престарѣлаго поэта, я вмѣстѣ съ тѣмъ обращаю вниманіе читателей на всѣ критическія статьи Русскаго Вѣстника, въ которыхъ вѣетъ духъ раздраженной солидности, въ которыхъ выражается никѣмъ непризнанное притязаніе учить общество, становиться во главѣ его и вести его за собою по пути разумнаго, умѣреннаго прогресса.

Перлъ № 4-й. Статья: «кое-что о прогрессѣ», въ которой свистуны сравниваются съ гнилью, и въ которой въ первый разъ Русскій Вѣстникъ дѣлаетъ мнѣ честь упомянуть объ одной моей статьѣ. Онъ не называетъ ни меня, ни заглавія моей статьи, ни даже того журнала, въ которомъ я пишу, но онъ беретъ изъ «Схоластики XIX вѣка» одну цитату, которая осталась мнѣ памятна по многимъ обстоятельствамъ. Я благодарю Русскій Вѣстникъ за его враждебный отзывъ о моей статьѣ и объ этой цитатѣ; мнѣ пріятно видѣть, что мои идеи не нравятся московскимъ мыслителямъ, и я увѣренъ, что многіе пишущіе люди желаютъ наравнѣ со мною, чтобы Русскій Вѣстникъ относился какъ можно суровѣе къ нимъ и къ ихъ литературной дѣятельности.

Пора, давно пора кончить. Надѣюсь, что намъ не придется больше встрѣчаться съ Русскимъ Вѣстникомъ на поприщѣ журнальной полемики; мы расходимся такъ сильно въ мнѣніяхъ и наклонностяхъ, что мы можемъ прожить цѣлый вѣкъ, не встрѣчаясь между собою, не пробуя до чего нибудь договориться, и не чувствуя ни малѣйшаго желанья сблизиться между собою на какомъ бы то ни было вопросѣ.

Д. ПИСАРЕВЪ.

ПОЭТЪ-ФИЛОСОФЪ ВЕНЕВИТИНОВЪ И БІОГРАФЪ-КРИТИКЪ Г. ПЯТКОВСКІЙ.

(По поводу изданія полнаго собранія сочиненій Веневитинова подъ редакціею А. П. Пятковскаго).

«... для пользы общества безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и слѣдовательно уклоняется отъ цѣли всеобщаго усовершенствованія».

Веневитиновъ-философъ.

Колькраты зрѣли мы, какъ Этны горнъ кремнистый
Расплавлены скалы вращалъ рѣкой огнистой
И пламя клубами на поле изрыгалъ.

Веневитиновъ-поэтъ.

Нельзя не позавидовать твердости характера и присутствію духа тѣхъ любителей отечественной литературы, которые, служа исключительно ея исторіи, посвящаютъ свой трудъ на изданія забытыхъ произведеній какого нибудь писателя, давнымъ давно сошедшаго съ поприща литературы и жизни, и не оставившаго по себѣ никакого слѣда, кромѣ смутнаго воспоминанія въ памяти пережившихъ его сверстниковъ. Нужно имѣть много рѣшимости и горячей любви къ благородному дѣлу библіографіи, чтобы, для пополненія ея пробѣловъ, приняться за переборку старыхъ рукописей, собираніе различныхъ біографическихъ свѣдѣній, группировку ихъ и наконецъ составленіе жизнеописанія съ обрисовкою характера, рода развитія, съ оцѣнкою дѣятельности и произведеній писателя. Одному изъ такихъ «собирателей русской литературы», именно г. Пятковскому пришла какая-то благая мысль издать сочиненія Д. В. Веневитинова, приложивъ къ нимъ портретъ автора, факсимиле и свою статью о его жизни и сочиненіяхъ. Портретъ нашелся у родственниковъ покойнаго, факсимиле—также, сочиненія были уже изданы два раза, оставалось только дополнить ихъ, и написать біографію. Три года употребилъ г. Пятковскій на этотъ послѣдній трудъ, на четвертый окончилъ его, на пятый—издалъ, въ видѣ очерка, на трехъ печатныхъ листахъ.

Такъ какъ біографія Веневитинова является впервые изъ-подъ пера г. Пятковскаго, заслуживающаго вполнѣ титулъ литературнаго

Фабія-Кунктатора, то мы обратимъ прежде всего наше вниманіе на это *сочиненіе.* Оно раздѣлено авторомъ на двѣ главы. Первая содержитъ въ себѣ описаніе жизни Дмитрія Владиміровича въ связи съ его занятіями, вторая — разборъ его произведеній, преимущественно прозаическихъ, съ «бѣглымъ взглядомъ» на журналистику, занимающимъ, впрочемъ, половину разбора. Отдѣлу стихотвореній, наполняющихъ большую частъ книги, посвящено только четыре странички. За что же въ такомъ случаѣ г. Пятковскій называетъ Веневитинова поэтомъ?

Но обратимся къ біографіи.

Изъ первой части ея мы узнаемъ, что Дмитрій Владиміровичъ Веневитиновъ родился въ Москвѣ 14 сентября 1805 года. «Онъ принадлежалъ—говоритъ авторъ—къ одной изъ *старинныхъ* дворянскихъ фамилій, по всей вѣроятности, вышедшей изъ Запорожья». Послѣднее предположеніе основывается г. Пятковскимъ на томъ, что въ родословной Веневитинова упоминаются *есаулы.* Еще въ дѣтствѣ Веневитиновъ лишился отца и остался на рукахъ матери, женщины религіозной, но доброй и кроткой. Восьми лѣтъ онъ поступилъ въ вѣдѣніе французскаго гувернера г. Дорера, капитана наполеоновской арміи и, по странной игрѣ случая, въ то же время знатока римской литературы. Г. Пятковскій говоритъ, что *классическое* образованіе мальчика началось съ латинской грамматики. Онъ замѣчаетъ, впрочемъ, что «лѣтнія поѣздки въ Кусково и Сокольники пріятно разнообразили учебную жизнь мальчика, и—прибавляетъ добросовѣстный біографъ—тамъ на волѣ и просторѣ рѣзвился онъ со всей неутомимостью своего возраста». Подробность поучительная. Преподавателемъ греческаго языка былъ Грекъ Бейля. Древній міръ нравился Веневитинову. По его словамъ у древнихъ «мысли и чувства соединились въ одной очаровательной области, заключающей въ себѣ вселенную, гдѣ философія и всѣ искусства, тѣсно связанныя между собою, изъ общаго источника разливали дары свои на смертныхъ». Въ этомъ отношеніи Веневитиновъ напоминаетъ намъ по мнѣнію г. Пятковскаго, Андрея Шенье, а произведеніе послѣдняго «La jeune captive» въ свою очередь «много напоминаетъ нѣжно задумчивую музу нашего поэта». (Стр. 3).

Рядомъ съ классическою литературой шли занятія и другими предметами; сдѣлано было знакомство и съ русскими писателями въ лицѣ Карамзина съ его Исторіею Государства Россійскаго. Въ то же время

старались развивать въ мальчикѣ его способности къ музыкѣ и живописи. Что касается до первой, то Веневитиновъ, по словамъ кн. В. Ѳ. Одоевскаго, былъ отличный музыкантъ, а по части живописи онъ сдѣлалъ такіе успѣхи, что самъ А. П. Пятковскій удивился его эскизу головы Медузы, въ которомъ глаза были «поразительно живо схвачены». (Стр. 4).

Съ 14 лѣтъ Веневитиновъ сталъ переводить Горація; переводы эти не сохранились, не уцѣлѣлъ отрывокъ изъ Виргиліевыхъ Георгикъ. Образчикъ его читатели могутъ видѣть во второмъ эпиграфѣ нашей статьи. Спустя два года было написано и первое оригинальное стихотвореніе «Къ друзьямъ». Этими друзьями были: художникъ драгунъ Скарятинъ, умершій въ Италіи, и Ѳ. С. Хомяковъ, братъ извѣстнаго славянофила. Тогда же былъ сдѣланъ переводъ «Вѣточки» Греле́, единственное заимствованное изъ французской литературы. Поступивъ въ московскій университетъ, какъ вольнослушатель, Веневитиновъ засталъ тамъ профессорами: Мерзлякова, И. И. Давыдова и М. Г. Павлова. Первые двое ратовали между собою за литературныя теоріи, а послѣдній проводилъ въ преподаваніе естественныхъ наукъ— ученіе Шеллинга. Лекціи и бесѣды Павлова обратили Веневитинова къ философіи и онъ, вѣроятно для упражненія въ философской стилистикѣ, писалъ къ княгинѣ А. И. Трубецкой письма о философіи. Съ Мерзляковымъ онъ вступилъ впослѣдствіи въ споръ по поводу статьи этого профессора «О началѣ и духѣ древней трагедіи», и выказалъ всю нелѣпость мерзляковскаго положенія объ основаніи драматическаго творчества на подражательности природы. Къ университетскому періоду относится попытка Веневитинова написать историческую поэму въ народномъ духѣ. Предметомъ ея были избрана трагическая судьба жены Зарайскаго князя, Евпраксіи, бросившейся, по смерти своего мужа на полѣ битвы, съ городской стѣны, чтобы спастись отъ наглаго преслѣдованія сладострастнаго Батыя. Недостаточное знакомство съ народностью помѣшало окончить эту пьесу и изъ нея сохранились только два небольшихъ отрывка. Къ этой эпохѣ относится начало собственно стихотворной дѣятельности Веневитинова. Мы поговоримъ о ней послѣ, а теперь закончимъ его біографію. Въ два года прослушалъ онъ университетскій курсъ и, выдержавъ установленный экзаменъ, поступилъ на службу въ архивъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Отсюда онъ надѣялся перейдти въ самую коллегію и отправиться заграницу. По выходѣ изъ университета Веневитиновъ сдѣлался центромъ

цѣлаго литературно-философскаго кружка, членами котораго были, между прочимъ, И. В. Кирѣевскій, А. И. Кошелевъ, П. С. Мальцовъ, князь Вл. Ѳ. Одоевскій, Н. М. Рожалинъ, В. П. Титовъ, С. П. Шевыревъ, Ѳ. С. Хомяковъ и М. П. Погодинъ. Въ собраніи этихъ снисходительныхъ судей Веневитиновъ читалъ свои прозаическіе отрывки и между прочимъ статью «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», дѣйствительно отличающуюся вѣрностью взгляда на поверхностность нашего образованія и недостаточностъ нашихъ положительныхъ познаній. «Началомъ и причиною медленности нашихъ успѣховъ въ просвѣщеніи, говоритъ авторъ, была та самая быстрота, съ которою Россія приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое зданіе литературы, безъ всякаго основанія, безъ напряженія внутренней силы». Даже онъ упоминаетъ о множествѣ стихотвореній своего времени, лишенныхъ всякаго поэтическаго дарованія: «у насъ языкъ поэзіи превращается въ механизмъ; онъ дѣлается орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ, и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. У насъ чувство, нѣкоторымъ образомъ, освобождаетъ отъ обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетнаго наслажденія, отвлекаетъ отъ высокой цѣли усовершенствованія». Единственное спасеніе въ такомъ случаѣ, по мнѣнію Веневитинова, представляетъ журналъ, въ которомъ «одна часть должна представлять теоретическія изслѣдованія самаго ума о свойствѣ его, а другая — примѣненіе сихъ изслѣдованій къ исторіи наукъ и искусствъ». Такая программа не отличается особенною глубиною взгляда, но, если принять въ соображеніе молодость ея составителя и его юношеское увлеченіе философіей, то сдѣлается понятнымъ отчего его мысль выразилась такъ неполно и неясно.

Въ 1825 году для Веневитинова наступила счастливая пора любви. По поводу этого событія біографъ его глубокомысленно замѣчаетъ «справедливо говорятъ, что въ любви познается и раскрывается вся нравственная натура человѣка: деспотъ въ душѣ, какъ наприм. пушкинскій Алеко, проявитъ весь свой грубый деспотизмъ, лѣнивый Обломовъ взглянетъ на свою страсть съ высоты своего дивана, дѣловой Штольцъ признаетъ въ любви одинъ изъ движущихъ жизненныхъ элементовъ, нѣжное и личное сердце потонетъ въ глубинѣ своихъ ощущеній».

Къ которой изъ этихъ категорій относитъ г. Пятковскій любовь Веневитинова—неизвѣстно, вѣроятно къ послѣдней. Имени предмета

этой страсти онъ, не смотря на все свое желаніе, не считаетъ себя вправѣ объявлять. Намъ кажется нѣсколько преувеличенной такая скромность, особенно если вспомнить, что особа о которой идетъ рѣчь была гораздо старше своего обожателя, имѣвшаго около 20 лѣтъ въ 1825 году; слѣдовательно по меньшей мѣрѣ, ей теперь 57—58 лѣтъ, а въ такомъ возрастѣ если не упоминаютъ объ юношескихъ увлеченьяхъ, то единственно потому, что уже забываютъ о нихъ. Да не подумаютъ однако читатели, чтобы мы добивались сами узнать имя таинственной незнакомки — нисколько! Мы заговорили о немъ только вслѣдствіе заявленнаго г. Пятковскимъ сожалѣнія по поводу невозможности соблюсти точность номенклатуры лицъ, входящихъ въ *сочиненную* имъ біографію.

Ко времени полнаго разгара страсти Веневитинова къ «Сѣверной Кориннѣ» относятся два стихотворенія! «Элегія» и «Италія». Въ первомъ изъ нихъ поэтъ обращается къ своей возлюбленной, какъ къ волшебницѣ, которая сладко пѣла:

Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!

Читатель догадывается, что дѣло идетъ объ Италіи. Очаровательная Коринна вывезла оттуда не одни воспоминанья:

Ты упилась симъ воздухомъ чудеснымъ
И рѣчь твоя такъ страстно дышетъ имъ!
На цвѣтъ небесъ иль долго наглядѣлась
И цвѣтъ небесъ въ очахъ намъ принесла.
Душа твоя такъ ясно *разгорѣлась*
И новый огнь въ груди моей зажгла.

Изъ этихъ строкъ можно вывести заключенье только о цвѣтѣ глазъ красавицы, какъ и сдѣлалъ г. Пятковскій, замѣтивъ, что они были «цвѣта южнаго неба», но какъ понять состояніе души, когда она «*ясно разгорается*»—не знаемъ. Можетъ быть оно и понятно на языкѣ страсти и въ минуты увлеченія, но при нормальномъ состояньи духа, такое выраженіе слишкомъ *поэтично*. Впрочемъ насъ могутъ упрекнуть въ мелочности, если мы станемъ останавливаться на подобныхъ неточностяхъ языка, тѣмъ болѣе когда произведеніе, разбираемое нами, написано почти за сорокъ лѣтъ до настоящаго вре-

мени. Тѣмъ не менѣе намъ придется еще разъ обратиться къ стихотворному языку Веневитинова, когда будемъ говорить о немъ какъ о поэтѣ.

Въ пріѣздъ Пушкина въ Москву въ 1826 году Веневитиновъ познакомился и скоро сошелся съ нимъ. Поводомъ къ ихъ знакомству была статья о первой пѣсни Онѣгина, написанная Веневитиновымъ и понравившаяся Пушкину. Ихъ взаимное сближеніе было такъ прочно, что, по словамъ г. Анненкова, отразилось на самой дѣятельности нашего великаго поэта. Въ отвѣтъ на «Посланіе Пушкину» написанное Веневитиновымъ была написана «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ».

«Вскорѣ однако, говоритъ г. Пятковскій, приблизилось для Веневитинова время разлуки съ Москвой и милой особой, жившей тамъ». Причина такой разлуки была самая прозаическая: «въ канцеляріи петербургской коллегіи иностранныхъ дѣлъ *открылась вакансія*». Итакъ, по случаю открывшейся вакансіи, поэтъ-философъ бросаетъ любовь, философскій кружокъ съ его московскими друзьями и перебирается въ чиновный Петербургъ. Авторъ біографіи упоминаетъ о попутчикахъ его и не упускаетъ случая прибавить, что дорога была дальняя, «потому что тогда еще не было желѣзной дороги, такъ ускоряющей сообщеніе между двумя столицами». Къ дальности путешествія присоединилась еще другая непріятность: съ Веневитиновымъ ѣхалъ французъ Воше, вернувшійся изъ Сибири, куда провожалъ жену ссыльнаго князя Трубецкаго. По поводу близости съ такимъ опаснымъ человѣкомъ, Веневитинова задержали гдѣ-то и онъ просидѣлъ цѣлую недѣлю подъ арестомъ. Но поэтъ не упалъ духомъ отъ такого пустаго обстоятельства и, пріѣхавъ въ Новгородъ, сталъ воспѣвать его древнюю *свободу* въ стихахъ, гдѣ грустныя размышленія о минувшей судьбѣ исторической мѣстности прерываются бесѣдой съ ямщикомъ, который указываетъ поэту новгородскія древности отъ Софійскаго собора до столбовъ на Вѣчевой площади. Въ этомъ стихотвореніи стремленье Веневитинова поддѣлаться подъ складъ народной рѣчи оказалось безуспѣшнымъ. Его ямщикъ говоритъ такимъ же восторженнымъ языкомъ, какъ и самъ поэтъ. Новгородъ, для соблюденья размѣра вездѣ, назвалъ Новградомъ,

Выдержки изъ писемъ, представленныя г. Пятковскимъ за остальное время жизни Веневитинова, замѣчательны сколько по выбору, столько же и по заключеніямъ, выводимымъ изъ нихъ почтеннымъ

біографомъ. Такъ наприм. изъ фразы: «я люблю церковь огромную и довольно величественную», по его мнѣнію вытекаетъ прямое слѣдствіе, «что поэтъ находилъ въ себѣ склонность къ набожности», а на основаніи обращенія къ брату съ просьбою не показывать стихотворенія «Домовой» «въ дамскомъ обществѣ», основывается выводъ «о дѣтской стыдливости» Веневитинова. Приводимъ названную пьесу вполнѣ, чтобы показать *дѣтская* ли стыдливость, на этотъ разъ, была причиною авторской скромности.

Домовой.

Что ты, Параша, такъ блѣдна?
—«Родная! домовой проклятый
Меня звалъ нынче у окна.
Весь въ черномъ, какъ мѣдвѣдь лохматый,
Съ усами, да какой большой!
Вѣкъ не видать тебѣ такого».
—Перекрестися, ангелъ мой!
Тебѣ ли видѣть домоваго?

*
* *

Ты не спала, Параша, ночь?
—«Родная! страшно; не отходитъ
Проклятый бѣсъ отъ двери прочь;
Стучитъ задвижкой, слышешь, бродитъ,
Въ сѣняхъ мнѣ шепчетъ отопри»!
—Ну что же ты?—«Да я ни слова».
—Э, полно, ангелъ мой, не ври;
Тебѣ-ли слышать домоваго?

*
* *

Параша! ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала.
—«Нѣтъ, ничего; я ночь спала...
—Какъ ночь спала? ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
То вѣрно испугалась снова?
—Нѣтъ, нѣтъ, родимая, повѣрь!
Я не видала домоваго».

Разумѣется въ двадцатыхъ годахъ считалось неприличнымъ прочесть такую пьесу въ дамскомъ обществѣ, а тѣмъ болѣе въ высшемъ

кругу, гдѣ впрочемъ вообще читать русскіе стихи въ то время казалось не совсѣмъ благопристойнымъ дѣломъ.

Въ Петербургѣ Веневитиновъ сблизился съ Дельвигомъ и Козловымъ. Первый сдѣлался его близкій пріятель и часто проводилъ съ нимъ время въ стихотворныхъ импровизаціяхъ. Въ Петербургѣ же написана большая и лучшая часть стихотвореній, хотя дипломатическія занятія и отнимали у поэта много времени. По приглашенію своего начальника, графа Лаваля, Веневитиновъ написалъ свой разборъ одной сцены изъ Бориса Годунова на французскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: «Analyse d'une scéne détachée de la tragédie de M-r Pouchkin».

За мѣсяцъ до смерти Веневитинова посѣтило раздумье: «долженъ ли онъ слѣдовать влеченію къ поэзіи или побороть въ себѣ эту страсть»? Что привело поэта къ такой дилеммѣ—неизвѣстно. Въ то же время онъ работалъ надъ окончаніемъ романа, начатаго еще въ Москвѣ. Отрывокъ изъ него сохранился и напечатанъ въ полномъ собраніи его сочиненій подъ названіемъ: «Три эпохи любви». Среди такихъ занятій внезапная болѣзнь посѣтила двадцати-двухлѣтняго юношу и послѣ нѣсколькихъ дней страданія онъ умеръ 15 марта 1827 года на рукахъ немногихъ близкихъ людей. Такая несвоевременная смерть должна была сильно поразить всѣхъ друзей поэта, а на всѣхъ знавшихъ его не могла не произвести тяжелаго впечатлѣнія. Старѣйшій изъ русскихъ писателей того времени И. И. Дмитріевъ написалъ ему извѣстную эпитафію:

Здѣсь юноша лежитъ подъ хладною доской, —
Надъ нею роза дышетъ,
А старостъ дряхлою рукой
Ему надгробье пишетъ.

Г. Пятковскому показалось почему-то очень знаменательны слова, сказанныя Пушкинымъ друзьямъ Веневитинова: «comment donc vous l'avez laissé mourir»? Если они чѣмъ нибудь и замѣчательны, то развѣ только тѣмъ, что сказаны по французски.

Мы увольняемъ себя отъ обязанности похвалить трудъ г. Пятковскаго, потому что онъ самъ любитъ хвалить себя при всякомъ удобномъ случаѣ, что гораздо вѣрнѣе и расчетливѣе, чѣмъ ожиданіе чужихъ похвалъ и вниманія...

*

Обращаясь къ обозрѣнію произведеній Веневитинова, мы должны прежде всего отдѣлить въ нихъ прозу отъ стиховъ. Прозаическому отдѣлу мы не придаемъ особеннаго значенія: въ немъ нѣтъ ни одной статьи, вполнѣ законченной, на которой бы въ наше время можно бы было остановиться съ интересомъ. Нѣкоторыя изъ нихъ своими заглавіями напоминаютъ темы на сочиненія, задававшіяся прежними учителями словесности, напримѣръ: «Утро, полночь, вечеръ и ночь», «Скульптура, живопись и музыка» и т. п. Полемика съ Полевымъ, занимающая около 30 страницъ, представляетъ скучное и утомительное чтеніе. Поводомъ къ ней послужила статья Полеваго въ Телеграфѣ 1825 года о Евгеніи Онѣгинѣ. Веневитиновъ вступился за Байрона, увѣряя что авторъ статьи ставитъ съ нимъ наряду—Пушкина. Полевой отвѣчалъ, что его слова перетолкованы и прибавлялъ возраженія противъ другихъ обвиненій своего критика. Но послѣдній, несмотря на большую строгость въ сужденьяхъ о новой поэмѣ, имѣлъ на своей сторонѣ мнѣніе Пушкина, который говорилъ, что изо всѣхъ отзывовъ ему болѣе всего понравился отзывъ Веневитинова, остальное же—или брань, или переслащенная дичь». «Письмо о философіи»—неокончено и издатель совершенно вѣрно замѣтилъ, что «въ немъ далеко не исчерпана вся сущность философіи». Итакъ на прозѣ мы не будемъ останавливаться, тѣмъ болѣе, что статьи этого отдѣла представляютъ только отрывки не лишенные кое-какихъ свѣтлыхъ идей, имѣвшихъ значеніе для своего времени, но группировка, которыхъ была бы мало занимательна для нашихъ читателей.

Въ отдѣлѣ стихотвореній мы найдемъ гораздо болѣе интереснаго, хотя и здѣсь мы должны замѣтить, что въ нихъ болѣе достоинствъ, дѣлающихъ честь раннему развитію ихъ автора, нежели силѣ его дарованія. Вотъ, напримѣръ, стихи, написанные 16-лѣтнимъ Веневитоновымъ:

КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Пусть искатель гордой славы
Жертвуетъ покоемъ ей,
Пусть летитъ онъ въ бой кровавый
За толпой богатырей!
Но надменными вѣнцами
Не прельщенъ пѣвецъ лѣсовъ:

Я счастливъ и безъ вѣнцовъ,
Съ лирой, съ вѣрными друзьями.
Пусть богатства страсть терзаетъ
Алчущихъ рабовъ своихъ!
Пусть ихъ златомъ осыпаетъ,
Пусть они изъ странъ чужихъ
Съ нагруженными судами
Волны ярыя дробятъ:
Я безъ золота богатъ
Съ лирой, съ вѣрными друзьями.
Пусть веселый рой шумящій
За собой толпы влечетъ!
Пусть на ихъ янтарь блестящій
Каждый жертву понесетъ!
Не стремлюсь за ихъ толпами
Я безъ шумныхъ ихъ страстей
Веселъ участью своей
Съ лирой, съ вѣрными друзьями.

Вспомнимъ, что стихи самого Пушкина, писанные въ томъ же возрастѣ были едва ли лучше:

Знакомый съ суетою,
Пріятной для меня
Увлеченъ въ даль судьбою
Я вдругъ, въ глухихъ стѣнахъ,
Какъ Леты на брегахъ,
Явился заключеннымъ,
На вѣки погребеннымъ —
И скрипнули врата,
Сомкнувшися за мною;
И міра красота
Покрылась черной мглою.

Но на этомъ сходство и оканчивается. Несправедливо было бы вести сравненіе далѣе. Мы не нашли бы у Веневитинова даже задатковъ того разнообразія, которое отличаетъ Пушкина, не говоря уже о сравнительной безцвѣтности стиха и неопредѣленности выраженій. Мы бы и не заговорили о Пушкинѣ, еслибъ не знали, что въ нашей литературѣ было мнѣніе, существующее и до сихъ поръ, будто Веневи-

тиновъ обѣщалъ сдѣлаться великимъ поэтомъ. Теперь, при появленіи въ печати полнаго собранія его сочиненій, всего легче рѣшить вопросъ, справедливо ли такое мнѣніе. Перечитавъ нѣсколько разъ всѣ стихотворенія Веневитинова, мы вывели изъ этого чтеніе такого рода заключеніе объ ихъ авторѣ: это была натура въ высшей степени впечатлительная,—равно склонная и къ мечтательности и къ умозрѣнію, одаренная притомъ поэтическимъ чувствомъ, но безъ поэтическаго творчества. Такого рода свойства въ соединеніи съ первическою страстностью могли побудить Веневитинова къ литературной дѣятельности. Ясность пониманія и сила чувства заступили для него способность къ творчеству и вотъ почему, читая его стихи, встрѣчаешь столько туманныхъ образовъ, неясныхъ картинъ, невыясненныхъ ощущеній. Вездѣ видно стремленіе выразить что-то похожее на поэтическую мысль, но ей нигдѣ не соотвѣтствуетъ оболочка, данная ей въ словѣ и читателю остается самому выяснить все ея значеніе. Восторженный языкъ при элегическомъ настроеніи мѣшалъ Веневитинову сообщить стиху искренность и задушевность, которыя бы непосредственно дѣйствовали на наше чувство. Въ минуты паѳоса для самого поэта, можетъ быть и были ясны такіе намеки на тревожное состояніе души или на страстное волненіе сердца, но для насъ въ подобныхъ выспреннихъ указаніяхъ на необъяснимыя чувства часто слышны только слова, слова и слова. Пристрастіе къ громкимъ фразамъ объясняется отчасти молодостью поэта, но скудность поэтическаго элемента въ нихъ обнаруживаетъ крайнюю слабость самаго дарованія. Стихамъ Веневитинова всего чаще недостаетъ того качества, которое онъ самъ призналъ необходимою принадлежностію истиннаго таланта въ своемъ стихотвореніи «Поэтъ», сказавъ:

«Его богиня—простота».

Свое мечтательное настроеніе Веневитиновъ вноситъ даже въ тѣ стихотворенія, для которыхъ беретъ предметъ изъ дѣйствительнаго міра. Таковъ характеръ его неоконченнаго пролога «Смерть Байрона», гдѣ вождь Грековъ, говоритъ поэту:

«Сынъ Сѣвера! готовься къ бою»!

А Байронъ ему отвѣчаетъ:

«Я умереть всегда готовъ.»

Когда же дѣйствительно онъ умираетъ, то хоръ сзываетъ «племена Эллады»—

«Сражаться съ пламенной душою
За счастье Грецiи, за месть —
И въ жертву падшему герою
Луну поблекшую принесть»!

Дѣятельности своего воображенья Веневитиновъ придавалъ нисколько идиллическiй характеръ:

Воображенье безъ оковъ,
Оно какъ бабочка игриво:
То любитъ надъ блестящей нивой
Порхать въ кругу земныхъ цвѣтовъ,
То по радугѣ, по цвѣтамъ небеснымъ мчится.

Странно, что въ томъ же самомъ стихотворенiи онъ называетъ себя «смѣлымъ ученикомъ Байрона».

Мы говорили уже, по поводу пьесы «Новгородъ» какъ мало удавалось Веневитинову стремленье ввести въ свой разсказъ простонародную рѣчь. Онъ былъ не болѣе счастливъ и въ задуманной имъ поэмѣ историческаго содержанiя. Сохранившiеся два отрывка показываютъ, какъ въ эпическiй разсказъ вторгались у него безпрестанно лирическiя обращенiя къ явленьямъ природы, мало живописныя, но всегда изобилующiя громкими словами и яркими эпитетами.

Шуми Ѳатръ! твой брегъ украшенъ
Дѣлами славной старины;
Ты роешь камни мшистыхъ башенъ
И древней, *твердыя* стѣны,
Обросшей давнею травою.
Но кто надъ древнею рѣкою
Разбросилъ груды кирпичей,
Остатки древнихъ укрѣпленiй,
Развалины минувшихъ дней?

Въ чисто-лирическихъ произведенiяхъ у Веневитинова ч[...]чаются удачные стихи, дышащiе порой искренностью, пробиваю[...]

между изысканныхъ выраженій и общихъ мѣстъ. Таковы, напримѣръ, слѣдующія строки изъ «Посланія къ Рожалину»:

О еслибы могли моленья
Достигнуть до небесъ скупыхъ,
Не новой части наслажденья.
Я бъ прежнихъ дней просилъ у нихъ.

Отдайте мнѣ друзей моихъ;
Отдайте пламень ихъ объятій,
Ихъ тихій, но горячій взоръ
Языкъ безмолвныхъ рукожатій
И вдохновенный разговоръ.

Въ стихотвореніи «Три розы» поэтъ говоритъ, что первая изъ нихъ цвѣтетъ въ долинѣ Кашемира—

«Она любовница эфира
И вдохновенье соловья».

Другая распускается каждое утро на небѣ—это роза утренней зари, вѣчно возрождающаяся съ одинаковою свѣжестью и красотой. Наконецъ третья—лучше, свѣжѣе двухъ первыхъ—

Хотя она не въ небесахъ.
Ее для жаркихъ устъ лелѣетъ
Любовь на дѣвственныхъ щекахъ.
Но эта роза скоро вянетъ;
Она пуглива и нѣжна,
И тщетно утра лучь проглянетъ —
Не расцвѣтетъ опять она.

Изъ «завѣщанья» мы узнаемъ, на сколько Веневитиновъ былъ проникнутъ религіознымъ чувствомъ:

...Ты вѣришь, милый другъ,
Что за могильнымъ симъ предѣломъ
Душа моя простится съ тѣломъ
И будетъ жить какъ вѣчный духъ,
Безъ образовъ, безъ тьмы и свѣта,
Однимъ нетлѣніемъ одѣта.

Въ пьесѣ «Поэтъ и другъ» высказалось странно - сбывшееся предчувствіе близкой смерти. Въ отвѣтъ на увѣренія друга въ томъ, что ему еще не время умирать, когда онъ полонъ силъ и жизни, поэтъ, между прочимъ говоритъ:

Душа сказала мнѣ давно:
Ты въ мірѣ молніей промчишься!
Тебѣ все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься!

Словами «тебѣ все чувствовать дано» Веневитиновъ какъ нельзя лучше опредѣлилъ свойство своей природы. Дѣйствительно онъ одаренъ былъ удивительно воспріимчивостью, живою любовью къ знанью и поэзіи, но къ несчастью онъ умеръ слишкомъ рано для того, чтобы мы могли опредѣлить какой характеръ приняла бы его дѣятельность. Одно можемъ сказать, что, по нашему мнѣнію, онъ не былъ бы великимъ поэтомъ,—для этого у него недоставало творчества. Его собственное мнѣніе о значеніи поэта, выраженное во взятомъ нами эпиграфѣ, служитъ подтвержденіемъ нашимъ словамъ. Мы уважаемъ память объ немъ какъ объ одномъ изъ даровитѣйшихъ русскихъ людей, впервые внесшемъ къ намъ серьезныя занятія философіей; но что касается до его поэтической дѣятельности, мы невольно повторяемъ его же «послѣдніе стихи».

Люби питомца вдохновенья
И гордый умъ предъ нимъ склоняй;
Но въ чистой жаждѣ наслажденья
Не каждой арфѣ слухъ ввѣряй.
Не много истинныхъ пророковъ
Съ печатью тайны на челѣ,
Съ дарами выспреннихъ уроковъ
Съ глаголомъ неба на землѣ.

Что же касается до самаго изданія сочиненій Веневитинова, то оно удовлетворительно во всѣхъ отношеніяхъ и можетъ доставить немалое удовольствіе любителямъ «прошедшаго» въ литературѣ. Трудъ г. Пятковскаго тѣмъ болѣе достоинъ нашего уваженія, что едва ли бы кто другой взялся въ наше время, за подобное, мало-благодарное предпріятіе.

П. Р—ВЪ.

ЛОЖНЫЯ И ОТРЕЧЕННЫЯ КНИГИ РУССКОЙ СТАРИНЫ.

Объясненія къ «Памятникамъ древней русской литературы», вып. 3.

II. (*)

Переходя къ самымъ памятникамъ, скажемъ сначала нѣсколько словъ о внѣшней сторонѣ нашего изданія. Изъ того, что мы говорили прежде объ объемѣ и происхожденіи нашей литературы ложныхъ книгъ и составѣ самого индекса, легко видѣть, что въ старинныхъ запрещеніяхъ далеко не было абсолютной точности, что въ статьѣ о ложныхъ книгахъ, составлявшейся по греческимъ образцамъ, съ одной стороны упомянуты ложныя книги совершенно неизвѣстныя древней русской письменности, а съ другой названы далеко не всѣ ложныя

(*) Эта вторая статья была уже приготовлена къ печати, когда въ Петербургѣ полученъ былъ 1-й № Русскаго Вѣстника. Мнѣ указали въ немъ статейку г. Тихонравова, библіографическо-язвительнаго содержанія, направленную противъ изданныхъ мною памятниковъ. Онъ обвиняетъ меня въ дилеттантизмѣ и «легкомысленномъ» исканіи «какой-то» занимательности (осужденіе, которое обыкновенно съ наибольшимъ удовольствіемъ произносятъ «ученые» мужи, особенно если ихъ тревожитъ jalousie du métier), на томъ основаніи, что изданные мною памятники не разобраны, или даже «искажены» (т. е. изданы каждый по двумъ-тремъ, а не по двадцати рукописямъ), что статья о ложныхъ книгахъ не объяснена, что въ памятникахъ не указано то и то, и проч. Очень просто, не указано въ книгѣ все это потому, что я предположилъ собрать свои замѣчанія въ цѣлыя статьи,—впрочемъ удобопонятныя (очень былъ бы доволенъ, еслибъ онѣ были и занимательны) для читателей и не пресыщенныя указаньями на листы и форматы рукописей. Это послѣднее я охотно согласился бы, по возможности, предоставить спеціальнымъ любителямъ прѣлой бумаги. Въ статейкѣ г. Тихонравова видны его познанія, есть новые библіографическіе факты, по большую часть тѣхъ вещей, недостатокъ которыхъ онъ ставитъ главнымъ аргументомъ противъ моего изданія, онъ, если бы подождалъ, нашелъ бы въ настоящихъ статьяхъ Русскаго Слова. Намъ жаль, что онъ понапрасну растерялъ свой порохъ.

писанія,—недостовѣрныя книги христіанскаго ученія и христіанской исторіи,—которыя были извѣстны нашей старинѣ и получали у нея народно-поэтическій смыслъ. Сама старина русская, какъ видно изъ этой неточности запрещеній, не отдавала себѣ яснаго отчета въ томъ, что ложно и что не ложно; наивность вѣрованья и фантастическіе вкусы, свойственные неразвитому народу, заставляли принимать за истину много такого, что очевидно было чистой басней. Поэтому оставляя въ сторонѣ догматическую сторону предмета и разсматривая весь отреченный отдѣлъ старинной литературы вообще какъ матеріалъ для исторіи народныхъ понятій, мы не стѣснялись буквально указаніями статьи о ложныхъ книгахъ; напротивъ, руководясь культурнымъ значеніемъ памятниковъ, мы внесли въ наше изданіе—кромѣ книгъ, положительно считавшихся ложными—и нѣсколько произведеній, не упомянутыхъ къ индексѣ, но представлявшихъ тотъ же ложный колоритъ: таковы напр. нѣкоторыя преданія объ Адамѣ, о Соломонѣ, пророкѣ Іереміи, Никодимово евангеліе, посланіе Пилата къ Тиверію, исторія о нахожденіи рая св. Агапіемъ, разсказъ Трифона Коробейникова о фараоновыхъ людяхъ въ Чермномъ морѣ и т. п. По своему отношенію къ формаціи народныхъ понятій, они имѣютъ для насъ тоже значеніе, какъ ложныя книги, хотя и не были упомянуты въ древнемъ индексѣ. При обширности памятника или въ случаѣ неполноты доступныхъ намъ рукописей, мы брали иногда одни отрывки, какъ напр. въ сказаньяхъ объ Авраамѣ, завѣтахъ патріарховъ, вопросахъ Іоанна Богослова, и пр. Въ другихъ случаяхъ мы должны были довольствоваться, при недостаткѣ первобытныхъ редакцій, болѣе поздними формами памятника, имѣющими свою важность въ исторіи распространенія этой литературы: такими варіаціями первоначальной формы являются напр. изданный нами отрывокъ изъ первоевангелія Іакова, новѣйшій видъ «Епистоліи» о недѣлѣ и др. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. и въ этомъ послѣднемъ, памятникъ новѣйшей эпохи имѣетъ уже и новое заглавіе, но мы поставили «Іерусалимскій свитокъ» и съ общимъ заглавіемъ «Епистоліи о недѣлѣ», чтобы тѣмъ обозначить терминъ употребленный для обозначенія его въ самомъ индексѣ, потому что «Іерусалимскій свитокъ» принадлежитъ именно къ тому разряду ложныхъ писаній, который обозначенъ въ нашемъ индексѣ подъ именемъ «Епистоліи».

Такимъ же образомъ, чтобы опредѣлить отношеніе памятника къ статьѣ о ложныхъ книгахъ, подъ общее заглавіе «Павлова Видѣнія» мы отнесли двѣ статьи, составляющія второстепенную обработку этого

памятника; подъ именемъ «Колядника» мы привели статью, неимѣющую этого имени, но представляющую именно то содержаніе, какое имѣетъ греческій «Каландологіонъ», послужившій оригиналомъ для нашего «Колядника»; подъ названіе «Хожденія Богородицы по мукамъ» помѣстили статью, которая имѣетъ въ рукописи иное заглавіе, но очевидно представляетъ именно памятникъ, названный въ индексѣ «Хожденіемъ», а въ греческомъ оригиналѣ «Апокалипсисомъ пресв. Богородицы». Эти и другія внѣшнія подробности мы укажемъ впрочемъ въ своемъ мѣстѣ, а теперь прибавимъ еще только, что къ ложнымъ книгамъ мы присоединяли иногда варіанты ихъ, разнаго мѣста и времени, напр. «Сонъ Богородицы» взятый изъ польской книги XVII вѣка и другой варіантъ, изъ современной народной пѣсни; какъ pièce justificative мы издали статью Аѳанасія «о древѣ познанія», любопытную по тѣмъ даннымъ, которыя представляетъ она для исторіи ложной литературы.

Въ разборѣ памятниковъ, составляющихъ нашу древнюю литературу апокрифовъ, мы будемъ слѣдовать по возможности тому порядку, въ какомъ они идутъ и въ самой статьѣ о ложныхъ книгахъ и въ исторической послѣдовательности апокрифическихъ личностей и событій.

Всѣ статьи о ложныхъ книгахъ, греческія и славянскія, прежде всего упоминаютъ апокрифы о первомъ событіи человѣческой исторіи и первомъ лицѣ ея.—сотвореніи міра и Адамѣ. Мы уже замѣчали, что указанія нашей статьи, взятыя съ греческихъ индексовъ не всегда прямо соотвѣтствуютъ русскимъ памятникамъ; такимъ образомъ мы, кажется напрасно стали бы искать книги «Адамъ» въ древней письменности русской. Книги съ этимъ названіемъ, напр. «Апокалипсисъ Адама», «Жизнь Адама», «Покаяніе Адама», существовали дѣйствительно и были весьма извѣстны въ эпоху составленія греческихъ индексовъ, но у насъ, сколько мы знаемъ, не было книги съ постояннымъ и точнымъ заглавіемъ этого рода; и читавшіе статью о ложныхъ книгахъ сами уже понимали, о какихъ сказаніяхъ идетъ дѣло и что запрещается.

У насъ не было апокрифической книги, которая бы собрала въ одно цѣлое всю исторію созданія міра и творенія Адама; но тѣмъ не менѣе русская старина представляетъ очень много разныхъ преданій и сказаній о твореніи и объ Адамѣ, сказаній чисто апокрифическаго свойства, чрезвычайно распространенныхъ и любимыхъ читающей массой, которая вѣрила имъ, не привыкши къ критической повѣркѣ и увлекаясь тѣми поэтическими или фантастическими картинами, въ ко-

торыхъ не было недостатка въ этихъ сказаніяхъ. Вслѣдствіе самой популярности своей, сказанія эти повторялись въ различныхъ формахъ, они раздроблялись на отдѣльныя мелкія статьи, мѣшались съ другими апокрифами и переходили въ народныя сказанья и повѣрья. Усердный читатель встрѣчалъ знакомые апокрифы объ Адамѣ и въ «Бесѣдѣ трехъ святителей», и въ исторіи крестнаго древа, въ отдѣльныхъ загадкахъ, которыя помѣщались въ рукописяхъ, и наконецъ привыкалъ къ нимъ какъ къ преданью несомнѣнному: апокрифическіе миѳы становились его собственными понятіями; они сростались съ его поэзіей; исторія творенія оттѣнилась миѳами изъ древней славянской космогоніи, и въ чисто народномъ стихѣ, въ народной легендѣ съ нѣкоторой неожиданностью встрѣчаемъ мы теперь отрывки преданій, составлявшихъ чисто мѣстное произведеніе еврейской или древнехристіанской фантазіи.

Миѳы объ Адамѣ естественно должны были прежде всего дѣйствовать на воображеніе средневѣковыхъ народовъ, обратившихся въ христіанство. Изъ всей ветхозавѣтной исторіи личность Адама наиболѣе представляла интереса, потому что на ней сосредоточивалась вся космогонія новой религіи. Въ ней средніе вѣка нашли источникъ поэзіи, какимъ прежде была ихъ древнія миѳическая космогонія. Процессъ замѣны старыхъ миѳовъ новой поэзіи не могъ совершиться вдругъ и вполнѣ; новое ученіе вооружалось часто огнемъ и мечемъ, особенно на западѣ, и побѣждало; но внутренній переворотъ не могъ быть совершенъ этими средствами, и новые христіане на долго сохраняли остатки старыхъ вѣрованій. Какъ въ жизни новые гражданскіе и каноническіе порядки христіанскаго общества мѣшались со множествомъ старыхъ обычаевъ языческаго времени; такъ и въ поэзіи и вѣрованіяхъ, или положительно господствовали иногда убѣжденія, уцѣлѣвшія отъ старины, или жили во множествѣ отдѣльныхъ миѳовъ, которые смѣшивались съ христіанскими понятіями и составляли особенный мистическій міръ преданья, характеризующій всѣ понятія, искусство и литературу среднихъ вѣковъ, и на западѣ и на востокѣ одинаково. Очень естественно поэтому, что христіанскія преданья въ понятіяхъ массы часто могли принимать на себя оттѣнокъ и подробности изъ старой языческой космогоніи. Мы увидимъ, что такъ было съ преданьями объ Адамѣ и нѣкоторыхъ другихъ личностяхъ ветхозавѣтной исторіи.

При всей свободѣ однако, съ которой средніе вѣка принимали но-

вые миѳы, въ которыхъ мимо догмата они видѣли и поэтическій матеріалъ, способный къ различной обработкѣ, при всемъ этомъ и принесенныя чужія сказанья имѣли много власти надъ умами и часто удерживались въ той самой формѣ, какую получили еще на востокѣ, подъ другими условіями и совершенно независимо отъ поэзіи и миѳовъ европейскихъ. Мы думаемъ, что эта литературная, генетическая исторія занимающихъ насъ преданій освѣтитъ много темныхъ фактовъ въ народныхъ миѳахъ западныхъ и русскихъ, и многое объяснитъ простымъ путемъ литературнаго преданья. Къ сожалѣнію неразработанность этого предмета у насъ не даетъ еще возможности точнаго изложенія дѣла.

Въ средніе вѣка ходило множество преданій объ Адамѣ, весьма разнообразнаго содержанія и происхожденія; народная фантазія недовольствовалась библейскимъ разсказомъ и стремилась дополнить его или изъ чисто поэтическаго влеченья или изъ наивной пытливости, которая искала опредѣленій и законченной картины творенія міра и жизни перваго человѣка. Этому стремленію въ особенности давали пищу апокрифы, которые сами по себѣ были поэтическимъ продолженіемъ и дополненіемъ исторіи, заключенной въ канонъ и ставшей догматомъ. Это значеніе апокрифовъ опредѣлило и тотъ успѣхъ, который получили они въ средніе вѣка у всѣхъ христіанскихъ народовъ Европы. Распространеніе ихъ было чрезвычайно обширно. Имъ вѣрили, потому что сохранили еще патріархальное уваженье къ старинѣ и къ *книгѣ*. Такимъ образомъ исторія творенія и первыхъ временъ ветхозавѣтной исторіи, переданная чисто христіанскимъ ученьемъ, дополнилась множествомъ апокрифическихъ сказаній, стараго и сравнительно новаго происхожденія. Въ Европу и къ намъ проникли и древніе еврейскіе миѳы, которые не признавались еврейскимъ канономъ и были преданьемъ народа и вѣрованьемъ массы; проникли и другія сказанья, которыя еще менѣе допускались церковью и родились въ той массѣ ересей, ознаменовавшей первые вѣка христіанства. Въ исторію творенія замѣшались наконецъ, какъ мы уже замѣтили, и мѣстные народные миѳы космогоническаго содержанія. Все это смѣшивалось впослѣдствіи въ одну массу, изъ литературы переходило въ народъ и обратно, дѣлалось легендой и повѣрьемъ.

Русскія памятники представляютъ подобные апокрифы объ исторіи творенія и первыхъ людей, съ самой ранней поры нашей письменности. Несторъ внесъ въ свою лѣтопись извѣстную проповѣдь гре-

ческаго миссіонера, приходившаго къ князю Владиміру, и эта проповѣдь, представляющая довольно обширное изложеніе ветхозавѣтной исторіи, вноситъ уже въ разсказъ объ Адамѣ и Еввѣ и другихъ патріархахъ, подробности, которыхъ нѣтъ въ библіи, напр. о смерти и погребеніи Авеля, о смерти Арона брата Авраамова и т. п. Лѣтописцу эти апокрифы знакомы были изъ Амартола, котораго онъ читалъ, но особенно изъ такъ называемой «Палеи»; мы будемъ еще встрѣчаться съ этимъ послѣднимъ памятникомъ. «Палея» была безъ сомнѣнія одной изъ очень старыхъ книгъ нашей или южнославянской литературы; это былъ пересказъ ветхозавѣтной исторіи, отчасти составленный по библіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ дополненный множествомъ эпизодовъ и преданій апокрифическаго свойства. Несторова лѣтопись служитъ яснымъ доказательствомъ, что во время ея составленія, слѣдовательно въ эпоху очень далекую, къ намъ уже приходили изъ Византіи апокрифическіе миѳы.

Такимъ образомъ первые извѣстные апокрифы объ Адамѣ въ нашей литературѣ являются еще до редакціи Несторовой лѣтописи. Послѣ того явились другіе памятники говорящіе объ Адамѣ, исторія которыхъ до сихъ поръ не была у насъ тронута. Таковъ напр. любопытный памятникъ, носящій въ Румянцовской рукописи XV-го вѣка (№ 358) имя «Исповѣданія Еввы»; въ другой рукописи XVII-го вѣка (№ 370) находится «Сказаніе, како сотвори Богъ Адама»; разсказы объ Адамѣ, перемѣшанные съ апокрифическими подробностями, находятся въ палеяхъ и хронографахъ, въ разныхъ исторіяхъ творенія, въ апокрифической «Бесѣдѣ» и т. д.

Сначала объ имени Адама, которое имѣло свои легенды въ нашихъ рукописяхъ. Румянцовская рукопись № 380, л. 29 даетъ такое объясненіе этого имени: «*Азъ* наречеся начало и конецъ,—и повелѣ Господь ангеломъ своимъ взяти на востоцѣ; *добро* на западѣ; *мыслете* на юзѣ, *ерь* на сѣверѣ,—и нарече Господь Богъ имя ему Адамъ, се же бысть первый человѣкъ на земли». Въ томъ же родѣ говорится объ имени Адама въ болгарской рукописи XVI вѣка, принадлежащей г. Григоровичу: «Вопросъ: кто обрѣлъ имя его? Отвѣтъ: четыре ангела. Архангелъ Михаилъ вышелъ на востокъ и увидѣлъ звѣзду, имя ей Анатоли, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово *Азъ*. Архангелъ Гавріилъ вышелъ на западъ и увидѣлъ звѣзду, имя ей Дисисъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово *Добро*. Рафаилъ вышелъ на полудень и увидѣлъ звѣзду, имя ей Арк-

тосъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово *Азъ*. Урилъ вышелъ на полуночь и увидѣлъ звѣзду, имя ей Севріа и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа *Мыслете*. И сказалъ Господь: читай Уриле! И Урилъ прочелъ Адамъ (*)».

Въ этомъ символизмѣ собственная русская фантазія, какъ мы увидимъ, участвовала очень мало; русскіе сборники воспользовались греческой выдумкой, которая на русскомъ языкѣ потеряла отчасти свой смыслъ. Буквы Адамова имени очень рано подверглись символическому объясненію, которое здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, стало незамѣтнымъ источникомъ легенды. Еврейскіе каббалисты утверждали, что три буквы А. Д. М. означали Адама, Моисея и Давида, въ которыхъ, по мнѣнію ихъ, послѣдовательно переходила душа перваго человѣка. На греческомъ языкѣ четыре буквы Адамова имени пришлись къ названіямъ четырехъ странъ свѣта (arktos, dysis, anatole, mesembria), и изъ этого выводилось, что имя Адама уже заключало въ себѣ названіе странъ свѣта, которыя должны были населиться его потомствомъ. Этимъ совпаденіемъ буквъ воспользовались книги Сивиллъ, Августинъ, псевдо-Іеронимъ и другіе писатели. Этотъ послѣдній въ толкованіяхъ къ Н. З. говоритъ, что Адамъ получилъ имя свое отъ четырехъ буквъ и отъ четырехъ звѣздъ (съ означенными выше именами), которыя означаютъ четырехъ евангелистовъ, — какъ отъ Адама каждый человѣкъ родится, такъ отъ четырехъ евангелистовъ онъ научается вѣрѣ (**). Въ библейскихъ преданьяхъ Арабовъ отношеніе имени Адама къ странамъ свѣта передано еще иначе: именно, при сотвореніи человѣка, четыре высшіе ангела—Гавріилъ, Михаилъ, Израфилъ и Азраилъ — должны были принести съ четырехъ концовъ свѣта земли, изъ которой и сдѣлано было его тѣло; только голова и сердце созданы были по арабскому преданью изъ земли, взятой въ странѣ Мекки и Медины (***). Греческое объясненіе перешло даже въ древній англо-саксонскій памятникъ, гдѣ разные мистическіе вопросы о сотвореніи міра и т. д., очень похожіе на нашу апокрифическую «Бесѣду» вложены въ уста

(*) Буслаевъ, Очерки и пр. 1, стран. 498.

(**) См. Fabric., Vetus Test. 1, 49; 2, 39. Adam a quatuor litteris et a quatuor stellis nomen accepit, quod est artis, dosis, anatholis, mesimbrio etc. Словомъ mesembria очень просто объясняется слово *Севріа*, котораго въ приведенномъ выше текстѣ не могъ объяснить себѣ г. Буслаевъ.

(***) Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, стр. 12.

Соломону и Сатурну. Въ началѣ Сатурнъ спрашиваетъ между прочимъ Соломона:

— Скажи мнѣ: изъ чего составлено имя Адама?

— Я скажу тебѣ: изъ четырехъ звѣздъ.

— Скажи мнѣ: какъ они называются?

— Я скажу тебѣ: Arthox, Dux, Arotholem, Minsymbrie (*).

Такимъ образомъ болгарскій памятникъ, приведенный г. Буслаевымъ, передаетъ цѣликомъ греческое преданье, сдѣлавши только *Северію* изъ Месемвріи. Разсказъ о твореніи человѣка различно передается нашими апокрифами, съ большимъ или меньшимъ участіемъ народнаго миѳа, своего и чужаго. По отношенію къ народнымъ апокрифическимъ преданьямъ въ особенности любопытно Румянцовское сказанье (№ 370), небрежное по формѣ, но замѣчательное подробностями миѳа объ Адамѣ, которыя до сихъ поръ еще не были извлекаемы изъ старыхъ памятниковъ. Указавши мѣсто творенія въ землѣ Мадіамской, сказаніе начинаетъ съ извѣстнаго преданья о созданіи Адама отъ осьми частей— отъ земли тѣло, отъ камня кости, отъ моря кровь, отъ солнца очи, отъ облака мысли, отъ свѣта свѣтъ (sic), отъ вѣтра дыханіе, отъ огня теплота. Болѣе древняя, но кажется спутанная редакція преданья находится въ Рум. рукописи конца XV в. № 358, гдѣ оно является какъ отрывокъ изъ апокрифическихъ Бесѣдъ трехъ святителей:

— Григорій рече: отъ коликъ частіи Адамъ созданъ?

— Іванъ рече: отъ 8 частей созданъ бысть Адамъ: сердце отъ камени, тѣло отъ персти, кости отъ облакъ, жилы отъ мглы, кровь отъ Черміого моря, теплота отъ огня, очи отъ солнца, духъ отъ святого духа (л. 281).

Давно были указаны древнія фризскія, нѣмецкія, англосаксонскія преданья, представляющія аналогію съ этимъ миѳомъ, и не вдаваясь въ подробности объ этомъ предметѣ, мы отсылаемъ читателя къ книгѣ г. Буслаева, гдѣ (**) сдѣлано много любопытныхъ сближеній по поводу осьми частей Адама. Укажемъ только еще одну англосаксонскую редакцію преданья, которой еще не имѣли въ виду наши изслѣдователи. Въ той бесѣдѣ Соломона съ Сатурномъ, о которой мы

(*) Migne, Dictionnaire des Apocryphes, Paris 1856—1858, 2, стр. 880.

(**) Т. 1, стр 143—150. См. также *Grimm*, Mythologie, 1844, стр. 531, 1218. *Haupt*, Zeitschrift für d. Alterthum, Bd. 9.

упоминали выше, послѣднiй обращается къ Соломону съ вопросомъ о творенiи Адама:

— Скажи мнѣ: изъ какого вещества созданъ былъ Адамъ, первый человѣкъ?

— Я скажу тебѣ: изъ восьми ливровъ вѣсу (octo pondera, въ средневѣковой латинской редакцiи).

— Скажи мнѣ: какъ они называются?

— Я скажу тебѣ: первый былъ ливръ земли, изъ котораго было сдѣлано его тѣло; второй ливръ огня, изъ котораго произошла его красная, горячая кровь; третiй—вѣтра, отъ котораго дано его дыханiе; четвертый—пѣны, отъ которой дана ему измѣнчивость его духа; пятый—бѣлка, откуда его толщина и ростъ; шестой—свѣта, откуда разность его глазъ (varietas oculorum, ib.); седьмой—росы, откуда его потъ; восьмой—соли, отъ которой солены его слезы» (*).

Это преданiе найдено было также и въ старыхъ рукописяхъ южныхъ Славянъ, такъ что извѣстность преданья была чрезвычайно обширна. Она хранится до сихъ поръ въ нашемъ стихѣ о Голубиной книгѣ, который далъ ему полное развитiе и грандiозную обстановку. Древняя Палея, изъ которой брали въ старину много апокрифическихъ подробностей о первомъ человѣкѣ, не знаетъ, кажется, преданья о восьми частяхъ, изъ которыхъ былъ созданъ человѣкъ, и находитъ только четыре состава человѣческаго тѣла отъ четырехъ стихiй,—именно: отъ огня человѣкъ имѣетъ теплоту, отъ воздуха *студень*, отъ земли сухоту́, и отъ воды мокроту́ (**).

Разсказавши миѳъ о восьми частяхъ человѣка, Румянцовское Сказанiе продолжаетъ исторiю новыми подробностями, которыя очень любопытны своимъ сходствомъ съ народными легендами, напр. съ тѣми какiя собраны въ Орловской губернiи г. Якушкинымъ. Современная легенда разсказываетъ такъ:

«Создалъ Господь Адама и Евву и пустилъ ихъ жить въ пресвѣтломъ раю; а къ воротамъ райскимъ приставилъ собаку, звѣря чистаго: по всемъ раю ходила. И повелѣлъ Господи собакѣ, звѣрю чистому: «не пускай, собака, звѣрь чистый! не пускай ты чорта лукаваго въ рай: не напоганилъ бы онъ моихъ людей». Лукавый чортъ пришелъ къ райскимъ воротамъ, бросилъ собакѣ кусокъ хлѣба,

(*) См. Migne, Diction, des Apocryphes, 2, стр. 880.
(**) Рум. Палея, 1494 г. л. 38 обор.

а та собака и пропустила лукаваго въ рай. Лукавый чортъ возьми да и оплюй Адама съ Еввой; всѣхъ оплевалъ, всѣхъ съ головы до послѣдняго мизинчика во лѣвой ногѣ. Приходитъ Господи — только руками объ полы ударилъ! На Адама съ Еввой глянуть срамно!.. Но Богу, извѣстно, не обтирать ихъ стать, не марать же рукъ въ чортовы слюни: взялъ да и выворотилъ Адама съ Еввой. Отъ того и слюна погана.—«Слушай, собака, сказалъ Господи: была ты, собака,— чистый звѣрь: ходила во всемъ пресвѣтломъ раю; отнынѣ будь ты песъ—нечистый звѣрь: въ избу тебя грѣхъ пускать, коли въ церковь вбѣжишь—церковь снова святить». Съ тѣхъ поръ не собака зовется, а песъ: по шерсти погана, а по нутру чиста» (*).

Вотъ старая редакція разсказа, сохранившаяся отъ XVII-го вѣка, Адамъ лежалъ созданный, но еще неимѣвшій очей, на землѣ; сатана пришелъ къ беззащитному человѣку и вымазалъ его каломъ; Богъ разгнѣвался и проклялъ сатану. Затѣмъ онъ очистилъ Адама отъ «пакости сатанины» и смѣсивъ ее съ Адамовыми слезами создалъ собаку и велѣлъ ей стеречь Адама; самъ Богъ отошелъ въ горній Іерусалимъ за Адамовымъ дыханьемъ. Сатана опять пришелъ, но испугался лаявшей собаки и не рѣшился подойти къ Адаму; онъ взялъ дерево и издали истыкалъ всего Адама деревомъ и этимъ сдѣлалъ ему семьдесятъ болѣзней. Когда Богъ сошелъ съ горняго Іерусалима, онъ увидѣлъ зло, сдѣланное злымъ сатаной и спросилъ его, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ? Сатана отвѣчалъ, что еслибы не было человѣку болѣзни, онъ никогда не вспомнитъ Бога; если же будетъ страдать недугомъ, то всегда будетъ призывать имя Божіе на помощь. Богъ помилосердовалъ объ Адамѣ, прогналъ діавола и «оборотилъ всѣ недуги» въ Адама,—такъ что они скрываются внутри человѣка.

Оба приведенныя преданья очевидно находятся въ связи, и современная редакція уже отчасти потеряла точность разсказа. Далѣе, сказавши о насажденіи рая, о сотвореніи Еввы, Румянцовское Сказаніе приводитъ любопытный миѳъ о видѣніи Адама, которое Богъ показалъ ему во снѣ: Адамъ увидѣлъ Христа распятаго въ Іерусалимѣ, Петра ходящаго въ Римѣ и Павла въ «Дамаскѣ», проповѣдующихъ распятіе и воскресеніе Спасителя. Апокрифическая Бесѣда упоминаетъ объ этомъ событіи; она называетъ первымъ пророкомъ Адама, и это видѣніе и было «Пророчествомъ Адама» (**).

(*) См. Лѣтоп. Тихонр. 2, стр. 101.
(**) Fabricii, V. Test, 1, стр. 6.

Въ дальнѣйшей исторіи творенія, замѣтимъ только о времени осужденія Адама, опять общеизвѣстное повѣрье: въ третій часъ дано было запрещеніе вкушать отъ древа познанія добра и зла, въ шестой часъ заповѣдь была нарушена, въ девятый—Адамъ былъ изгнанъ изъ рая. Старая Палея указываетъ объ этомъ предметѣ два различныя мнѣнія: одни говорятъ, что Адамъ былъ въ раю *шесть* часовъ, по другимъ 40—дней, которые представляютъ собой сорокъ дней поста Спасителя (*). По еврейскому преданью Адамъ также созданъ былъ въ третій часъ, согрѣшилъ въ одиннадцатый, осужденъ въ двѣнадцатый и, изгнанный изъ рая, плакалъ до зари слѣдующаго дня (**). Старый французскій памятникъ буквально повторяетъ исчисленіе нашего сказанія: a la tierce houre si donna Adam noms a toutes bestes, a la siste houre si mangea la femme la poume e en dona à sun *baroun*, e il en mangea par lamur de li, e a choure de noune si furent gette hors de paradis (***).

Мы перейдемъ теперь къ другому произведенію нашей апокрифической литературы, также полному любопытныхъ преданій о твореніи. Къ сожалѣнію, мы знаемъ его въ новомъ спискѣ очень испорченномъ. Статья называется «Свитокъ божественныхъ книгъ», и безъ сомнѣнія также стариннаго происхожденія; мы встрѣчаемся въ ней съ преданьями, которыя извѣстны по рукописямъ нашимъ XV и XVI вѣка; другія до сихъ поръ обращаются въ устахъ народа въ легендахъ и повѣрьяхъ. До сихъ поръ «Свитокъ»—едва ли не единственное извѣстное произведеніе, въ которомъ собрана почти вся апокрифическая исторія Адама, существующая въ нашихъ народныхъ преданьяхъ, но рукопись, которая была у насъ въ рукахъ, пересыпана ошибками, такъ что было бы трудно издать ее вполнѣ. И въ этомъ отношеніи она можетъ служить образчикомъ старыхъ преданій въ ихъ послѣдней народной формѣ, въ которой они являются обыкновенно крайне испорченными: ихъ пишутъ уже люди малограмотные, преданье забывается. Другой списокъ Сказанья, также новѣйшій, былъ въ рукахъ г. Буслаева, который привелъ изъ него нѣкоторые отрывки въ своемъ изслѣдованіи о «Горѣ-Злочастіи» (****). Изложеніе очень сходно съ нашимъ Свиткомъ, изъ чего можно заключить, что онъ имѣлъ уже до-

(*) Румянцовская Палея 1494 г., л. 33.
(**) *Fabric.*, V. Test. 1, стр. 20.
(***) *Migne*, Dict. des Apocr. 2, стр. 880.
(****) Очерки, т. I, стр. 615—618.

вольно установившуюся народную форму. Мы постараемся передать его сколько возможно вѣрнѣе съ текстомъ.

Статья начинаетъ разсказъ еще до сотворенія міра, когда «бысть Господь «Саваофъ» въ трехъ каморѣхъ, на воздусѣ, въ лѣпотѣ, безначальный царь, невѣдомыя тайны» и проч. «Тогда бысть свѣтъ отъ лица Господа Саваофа семидесяти седмерицею свѣтлѣе свѣта сего; ризы его были бѣлѣе снѣгу, свѣтозарнѣе солнца». Затѣмъ слѣдуетъ опредѣленіе Троицы. Міръ еще не существовалъ: «не было тогда ни неба, ни земли, ни моря, ни ангелъ, ни архангелъ, ни херувимъ, ни серафимъ, ни рѣкъ, ни озеръ, ни кладезь, ни источникъ, ни человѣкъ, ни горницъ, ни холмовъ, ни облакъ, ни звѣздъ, ни свѣту, ни звѣрей, ни птицъ, ни вѣтру, ни зари: егда была тьма, и не бысть тогда ни дней, ни нощей»... За этимъ предисловіемъ слѣдуетъ исторія творенія. «Рече Господь: буди небо по хрусталю на воздусѣ сотворено и буди заря, и облако, и звѣзды, и облаки, и востокъ, и вѣтры дунувъ изъ нѣдръ своихъ, и рай насади на востоцѣ, и западъ, и сѣверъ, и югъ, — а Богъ сидитъ на востоцѣ (*), въ вельлѣпотѣ превыспренней славы своея, и седьмъ небесъ словомъ своимъ сотворилъ Господь. А мразъ отъ лица Господня, а громъ—гласъ Господень, въ колесницѣ огненной утвержденъ; а молнія—слово Господне, изъ устъ Божіихъ исходитъ; а солнце—внутреннія ризы Господни (**).

Потомъ Богъ создалъ тьмы столповъ на воздухѣ, и столпы неподвижны, связаны отъ начала вѣка, а на томъ столпѣ камень неподвиженъ, потомъ создана земля и адъ съ вереями желѣзными и мѣдными вратами; «подъ адомъ тартаръ—дна нѣсть». За твореніемъ первыхъ столповъ и ада слѣдуетъ новый фазисъ творенія: «И рече Господь: буди тьмы столповъ мѣдныхъ и каменныхъ, и на камени земля, и ста подъ исподъ песокъ, а на днѣ сотвори Господь словомъ камень и кременіе,.. и на той земли море Тиверіадское, а бреговъ у него не было».

(*) У Буслаева невѣрно: ангелъ сидитъ на востоцѣ.

(**) Въ этихъ словахъ г. Буслаевъ справедливо видитъ связь съ однимъ мѣстомъ въ стихѣ о Голубиной книгѣ:

У насъ бѣлый вольный свѣтъ зачался отъ суда Божія,
Солнце красное отъ лица Божьяго,
Самаго Христа Царя Небеснаго;
Младъ свѣтелъ мѣсяцъ отъ грудей его;
Звѣзды частыя отъ ризъ Божіихъ;
Ночи темныя отъ думъ Господнихъ, и проч. Бусл. стр. 615.

«И сниде Господь на море по воздуху... и видѣ на морѣ *гоголя* плавающа, а той есть рекомый Сатана, заплелся въ типѣ морской. И рече Господь Сатанаилу, аки не вѣдая его: «ты кто еси за человѣкъ»? И рече ему Сатана: азъ есмь богъ. «А меня како нарещи»? Отвѣщавъ же Сатана: Ты Богъ Богомъ и Господь Господемъ. Аще бы Сатана не рекъ Господу такъ, тутъ же бы Господь его сокрушилъ на морѣ Тиверіадскомъ.

«И рече Господь Сатанаилу: «понырни въ морѣ и вынеси мнѣ песку и кремень». Сатанаилъ же послушася Господа и нырну въ море и вынесе песку и кремень. И взявъ Господь песку и кремень, и разсѣя по морю Тиверіадскому, и глаголя: «буди земля толста и пространна». И взявъ Господь кремень и преломи на двое; въ правой рукѣ Господь (остави) у себя, а изъ лѣвой руки отдаст Сатанаилу; и взя Господь песокъ, и нача бить изъ того кремня, и рече Господь: «вылетайте ангелы и архангелы и вся силы небесныя по образу и по подобію»,—и нача изъ того кремня вылетати искры съ огнемъ, и сотвори Господь ангелы и архангелы и всю девять чиновъ.

«И видѣ Сатанаилъ, что Господь сотвори, и нача той кремень бити, что Господь дастъ изъ лѣвой руки, и начали у Сатанаила вылетать его ангелы и сотвори Сатанаилъ силу на небесахъ. Потомъ сотвори Господь Сатанаила начальникомъ надо всѣми чинами его ангельскими; сатаниинову силу—его сотвореніе причте въ десятый чинъ» (*).

По списку г. Буслаева это разсказывается нѣсколько иначе: сатана досталъ со дна моря камень, этотъ камень преломляется на двое, и изъ одной половины его, отъ ударовъ божественнаго жезла, «вылетали духи чистые»; изъ другой же половины сатана «набилъ бѣсовскую безчисленную силу, боговъ *плотныхъ*». На морѣ Тиверіадскомъ произведены тридцать три кита; на тѣхъ китахъ утверждена земля, и стала она на нихъ «толста, широка и пространна». Мы еще встрѣтимся дальше съ этими знаменитыми китами.

Сатанаилъ увидѣлъ что онъ почтенъ и возгордился, и захотѣлъ быть подобнымъ Вышнему. Тогда Богъ повелѣлъ архангелу извергнуть лукавую силу, но огонь отъ сатаны попалилъ архангела и онъ воротился, не исполнивъ повелѣнія. Богъ постригъ архангела въ чернецы и назвалъ его Михаиломъ; въ другомъ спискѣ прибавлено, что Богъ

(*) Ср. въ лѣтописи Нестора, Арх. Комм. 1, стр. 37, и ниже выписку изъ Румянц. Палеи 1494 г. л. 12.

положилъ на него схиму со крестами *простыми*, знаменіями Христа, Сына Божія. И послалъ Богъ во второй разъ Михаила, и онъ ударилъ скипстромъ силу сатанину, и она пала на землю какъ дождь. Михаилъ поставленъ былъ начальникомъ надъ всѣми чинами ангельскими, и архангелы сказали: аминь. Это слово застало иного изъ лукавыхъ въ горахъ, иного въ рѣкахъ, иного летающимъ по воздуху, кто увязъ ногою, кто рукою въ облакѣ,—тамъ они пребываютъ и до сего дня...

Далѣе идетъ созданіе человѣка. Богъ насадилъ для него рай на востокѣ, и Адамъ созданъ былъ по образу Божію отъ семи (т. е. восьми) частей, отъ земли—тѣло, отъ камня—кость и т. д. Потомъ «Свитокъ» даетъ близкій варіантъ исторіи, находящейся въ Румянцовскомъ сказаніи. «И поиде Господь на небеса ко Отцу своему по душу Адамову, Сатана же не вѣдая, что ему сотворити (т. е. Адаму), и тпу тѣло Адамово перстомъ. И приде Господь ко своему созданію и видѣ тѣло Адамово и рече Господь: «о дьяволе, что ты сотворилъ, какъ смѣлъ надъ моимъ созданіемъ тако сотворити»? Отвѣщавъ же дьяволъ: Господи, забудетъ тебя сей человѣкъ,—аще у него что заболитъ, тогда Господа воспомянетъ. И Господь обрати Адаму внутрь, и отъ того во всякомъ человѣцѣ... болѣзнь сотвори сатана; аще у кого поболитъ, тогда и вздохнетъ о Господѣ: помилуй мя.

Затѣмъ Богъ оживилъ Адама и далъ ему «область» въ раю надо всѣми птицами и звѣрями, потомъ создалъ ему жену Евву. Въ это время имѣлъ Адамъ свое пророческое сновидѣніе, въ которомъ «видѣлъ Петра въ Римѣ внизъ головою распята, въ Дамасцѣ апостола Павла, въ Ефесѣ (Іоанна Богослова), а тебе, Господи, во Іерусалимѣ градѣ на Голгофѣ на крестѣ распята и копіемъ въ ребра прободена».

Адамъ насадилъ въ раю три древа, одно древо — свою часть, другое—Еввину, посреди—Господне древо, но потомъ Евва и Адамъ согрѣшили соблазномъ змѣя; они были изгнаны изъ рая, и—«паде Адамова часть во Ефратъ-рѣку, а Еввина часть паде на Тигръ-рѣку, а Господне древо осталося въ раю». По другому списку этого сказанія, Богъ по сотвореніи Адама и Еввы повелѣлъ имъ вкушать отъ всѣхъ плодовъ, «не повелѣлъ же есть *винограднаго* древа»... Сатана не имѣлъ доступа въ рай, и чтобы проникнуть туда, онъ велѣлъ змѣѣ пожрать себя, и она такимъ образомъ внесла его въ рай. Тогда «*извергнулся* сатана *червемъ*... обвился около винограднаго дерева и началъ змѣевыми устами говорить Еввѣ». Когда первые люди со-

грѣшили, спали съ нихъ вѣнцы и одежды свѣтлыя, и стали они прикрываться древесными листьями.

«И плакася Адамъ (послѣ изгнанія) при раю тридцать лѣтъ, и видѣ Господь слезы Адамовы, и хотя его помиловати... и посла Господь ангела своего Михаила и повелѣ Адаму поручити (научити?) ручная дѣла и повелѣ ему землю пахати. И пріиде къ нему Сатана и рече: «господине, твоя есть небеса, я моя земля; аще хощеши божій быти, поди на небеса; аще хощеши землю пахати, то дай отъ себя рукописаніе на весь родъ свой и на будущій по тебѣ»... И (Адамъ) написа на себя рукописаніе свое, и на весь родъ свой, и на будущій по немъ, и отдастъ Сатанѣ. И Сатана взя рукописаніе и отда *адамовой смерти...*»

Наконецъ «Свитокъ» разсказываетъ рожденіе Каина и Авеля: Каинъ изъ зависти убиваетъ Авеля на каменномъ полѣ, по наученію дьявола; Адамъ погребаетъ сына по примѣру горлицъ, посланныхъ Богомъ: одна изъ нихъ упала мертвая, а другая вырыла въ землѣ яму и закопала мертвое тѣло. Рожденіе Сиѳа, смерть Адама и исторія о древѣ, принесенномъ изъ рая, точнѣе и подробнѣе передаются въ другихъ рукописяхъ, которыя мы указываемъ дальше. По другому списку исторіи, «Адамъ пожилъ на землѣ 930 лѣтъ и умеръ. И пришла *смерть сатанина* и взяла душу его и внесла въ адъ мучитись 3000 лѣтъ внутри ада во огнѣ горючемъ, руки и ноги связаны, на шестъ прицѣплены». Сказаніе кончается сошествіемъ І. Христа во адъ и освобожденіемъ Адама отъ смерти.

Таковъ своеобразный взглядъ этой исторіи на твореніе и судьбы міра. Исторія эта заслуживаетъ вниманія людей, изучающихъ старину и преданья; въ ней повторяется много подробностей, извѣстныхъ и по древнимъ рукописнымъ источникамъ и по современнымъ легендамъ народа, и ихъ изслѣдованіе можетъ привести къ занимательнымъ историческимъ результатамъ. До сихъ поръ, къ сожалѣнію, подобные миѳы рѣдко указывались въ старыхъ памятникахъ, что было бы необходимо для точной исторіи преданья; и не рѣшаясь теперь на окончательные выводы, мы попробуемъ только указать нѣкоторыя исторически важныя стороны этого сказанья. Замѣтимъ прежде всего, что наивное воззрѣніе на первобытную исторію міра, нами приведенное, до сихъ поръ живо въ народѣ. Полуграмотная рукопись, по которой мы излагали содержаніе «Свитка», писана нѣсколько лѣтъ назадъ; народныя легенды, которыя и въ настоящую минуту собираются изъ

устъ народа, повторяютъ тѣ же мотивы; нѣкоторые изъ нихъ мы указывали въ Румянцовскомъ Сказаніи XVII-го вѣка, слѣд. мы имѣемъ дѣло съ преданьемъ старымъ. Для сличенія мы приводимъ народный разсказъ, записанный г. Якушкинымъ, гдѣ читатель узнаетъ главныя обстоятельства нашей исторіи, именно — желаніе злаго духа участвовать въ твореніи.

«Сталъ Господи міръ творить, гдѣ народу жить, — разсказываетъ легенда, записанная въ Орловской губерніи, — распустилъ онъ море-окіянъ; надо землю сѣять. Прибѣжалъ лукавый чортъ, да и говоритъ Господу: «ты, Господи, все творишь: весь міръ сотворилъ, окіянъ-море напустилъ; дай мнѣ хоть землю насѣять!» — «Сѣй!» сказалъ Господи. Сѣялъ, сѣялъ лукавый, — никакого толку! — «Опускайся ты, лукавый, сказалъ Господи, на самое дно моря, достань ты, лукавый, горсть земли». Опустился лукавый на дно моря, захватилъ лукавый горсть земли; вынырнулъ: глядь — всю землю водой размыло. Опустился въ другой — тоже: въ горсти нѣтъ земли. Опустился лукавый въ третій разъ, и по Божьему повелѣнью оставалась за ногтемъ песчиночка. Богъ взялъ ту песчиночку и насѣялъ всю землю, съ травами, съ лѣсами, и всякими для человѣка угодьями. «Будемъ съ тобой, Господи, братьями родными, сказалъ лукавый Господу: — ты будешь меньшой братъ, я большой!» Господи усмѣхнулся. — «Будемъ, Господи, братьями ровными». Господи усмѣхнулся опять. — «Ну, Господи, ты будешь старшій братъ, я меньшой!» — «Возьми, говоритъ Господи: — возьми меня за ручку повыше локотка: пожми ты ручку ту изъ всей силы». Лукавый взялъ Господи за ручку выше локотка, жалъ ручку изо всѣхъ силъ; усталъ отъ натуги, а Господи стоитъ да только усмѣхается. Тутъ Господь только взялъ лукаваго за руку: лукавый такъ и присѣлъ. Господи наложилъ на лукаваго крестное знаменіе, лукавый и убѣжалъ въ преисподнюю. Люди да еще святые люди, нарицаются *сыны Божіи*, а лукавый хотѣлъ къ Господу въ братья залѣзть»! (*)

Ту же основу имѣетъ народная легенда о *Ноѣ*, на котораго разсказчикъ перенесъ исторію перваго человѣка.

«Приходитъ Господь (послѣ потопа): «что вы, живы ли всѣ?»

— Слава тебѣ, Господи! всѣ живы! «Выходите же вонъ!» Всѣ вышли; напослѣдокъ дьяволъ сигъ! «Вотъ, Господи, хотѣлъ меня уто-

(*) См. Лѣтописи рус. литер., Тихонр., 2, стр. 100.

пить; вѣдь я вотанъ! Я тебѣ большой врагъ!» Коли-жъ ты мнѣ большой врагъ, возьми-жъ ты меня за руку. Возьметъ дьяволъ Господа поперегъ руки, да не поймаетъ руку опуститъ. «Дай-же я тебя возьму за руку!» Какъ возьметъ Господь дьявола за руку,—«ой, ой, ой! я буду тебѣ хоть меньшой братъ!» все, вишъ въ братья лѣзитъ. «Лѣзь же ты, меньшой братъ въ море, достань земли горсть: давай землю засѣвать.» Они прибились къ кургану, а кругомъ все море стояло. Полѣзъ дьяволъ въ море, схватилъ земли горсть, да не вытащилъ—всю размыло! Разъ слѣзъ, другой, третій слѣзъ... въ четвертый полѣзъ. «Братъ, говоритъ Господь, скажи: Господи Іисусъ Христосъ!» Сказалъ дьяволъ: Господи Іисусъ Христосъ! нырнулъ въ море и вытащилъ земли въ горсти, съ маковыхъ два зерна. «Лѣзь же еще, этой земли мало!»—Постой-же, говоритъ самъ себѣ дьяволъ, я запихаю себѣ за щеку земли: что Господь будетъ дѣлать, я себѣ тоже сдѣлаю. Взялъ Господь перекрестился, кинулъ землю на три стороны: сдѣлались по взморью луга, лѣса, рощи... ровна! «Господи, а что-жъ за мои труды, какое будетъ угожепіе»... (*).

По поводу творенія міра изъ камня и песку, г. Буслаевъ сближаетъ народную легенду съ слѣдующей колядкой карпатскихъ русиновъ, которая указываетъ по его мнѣнію на связь приведеннаго преданья съ древнимъ миѳологическимъ эпосомъ. Вотъ эта колядка, приведенная г. Костомаровымъ въ его книгѣ о русской народной поэзіи:

Колись то було зъ початку свѣта,
Подуй же, подуй Господи, за Духомъ святымъ по землѣ!
втоды не було неба ни землѝ,
неба ни земли, нимъ сине море,
а середъ моря та два дубойки:
сѣли-упали два голубойцѝ,
два голубойци на два дубойки,
почали собѣ раду радити,
раду радити и гуркотати:
якъ мы маемо свѣтъ основати?
спустиме мы ся на дно до моря:
вынеме си дрѝбного пѝску,
дрѝбного пѝску, синѐго каменьце,
дрѝбный писочокъ посѣеме мы

(*) *Аѳанас.*, Легенды, стр. 51—52.

синій каминець подунеме мы.
Зъ дрйбного пйску—чорна землиця,
студена водиця, зелена травиця;
зъ синего каминьця—синьее небо,
синьее небо, свѣтле сонейко,
свѣтле сонейко, ясенъ мѣсячокъ,
ясенъ мѣсячокъ и всѣ звѣздойки» (*).

Что бы ни означали эти два дуба (можетъ быть случайно попавшіе въ пѣсню) и голуби, колядка имѣетъ большое сходство съ нашимъ разсказомъ: точно также въ началѣ міра предполагается одно огромное море, изъ песку и камней создается цѣлый міръ. При всемъ томъ карпатская пѣсня не совсѣмъ объясняетъ нашъ памятникъ. Существенная черта послѣдняго заключается въ двойственномъ началѣ, на которомъ основано твореніе; этотъ мотивъ вѣрно сохраненъ и въ указанныхъ народныхъ легендахъ, которыя точно также даютъ злому духу участіе въ твореніи или стремленіе въ немъ участвовать.

Мы приведемъ еще два образца народныхъ сказаній, которыя также вертятся на этомъ общемъ сюжетѣ. Одна карпато-русская сказка разсказываетъ о сотвореніи міра такъ: въ началѣ было только небо да море; по морю плавалъ Богъ въ лодкѣ, и встрѣтилъ огромную и пустую пѣну, въ которой находился чортъ. «Кто ты»? спросилъ его Богъ.—«Возьми меня къ себѣ въ лодку, тогда скажу.»—«Ну ступай!» сказалъ Богъ, и въ слѣдъ за тѣмъ послышался отвѣтъ: «я чортъ». Молча поплыли они далѣе. Чортъ началъ говорить: «Хорошо какъ-бы была твердая земля, и намъ было-бы гдѣ отдохнуть». «Будетъ!» отвѣчалъ Богъ, «опустись на дно морское, набери тамъ, во имя мое, горсть песку и принеси, я изъ него сдѣлаю землю». Чортъ опустился и набралъ песку въ обѣ горсти, примолвивъ: «беру тебя во имя мое!» Но когда онъ вышелъ на поверхность воды, въ горстяхъ не осталось ни зернышка. Онъ погрузился снова и набралъ песку въ горсти, сказавъ: «беру тебя во имя его!», и когда возвратился, песку у него осталось только за ногтями. Богъ взялъ этотъ песокъ, посыпалъ по водѣ, и изъ него сдѣлалась земля ни больше, ни меньше, какъ сколько нужно было, чтобъ имъ обоимъ

(*) Буслаевъ, Очерки 1, стр. 148—149.

улечься. Они легли рядомъ на землю. Богъ къ востоку, а чортъ къ западу. Когда чорту показалось, что Богъ уснулъ, онъ сталъ толкать его, чтобы онъ упалъ въ море и погибнулъ; но земля далеко расширилась къ востоку. Увидавъ это, дьяволъ началъ толкать Бога къ западу, а потомъ къ югу и къ сѣверу: во всѣ эти стороны, куда онъ толкалъ его, земля раздавалась широко и далеко. Потомъ Богъ всталъ и пошелъ на небо, а чортъ по пятамъ за нимъ. Тутъ Богъ кивнулъ громовнику Ильѣ, и тотъ началъ гремѣть и блистать, и громомъ сразилъ чорта съ неба внизъ... Въ другой, сербской сказкѣ чортъ укралъ съ неба солнце и убѣжалъ съ нимъ на землю; тамъ онъ воткнулъ его на копье и носилъ съ собою на плечахъ. И послалъ Богъ ангела своего на землю отнять солнце у чорта. Ангелъ присосѣдился къ чорту и всюду ходилъ съ нимъ; наконецъ, они пришли къ морю. Тутъ чортъ бросилъ копье съ солнцемъ на берегу, и они пошли вмѣстѣ купаться. Во время купанья ангелъ сказалъ: «станемъ нырять, кто глубже». Чортъ отвѣчалъ: «опустись ты»; ангелъ опустился на самое дно, и, въ доказательство того, принесъ въ зубахъ морскаго песку. Пришла очередь нырять чорту. Но онъ боялся, чтобъ тѣмъ временемъ ангелъ не унесъ у него солнца; онъ плюнулъ на землю, и изъ слюны его сдѣлалась сорока, которой чортъ приказалъ стеречь солнце, покамѣстъ онъ не вернется. Когда чортъ опустился въ море, ангелъ сдѣлалъ рукою надъ моремъ крестное знаменіе и море замерзло толщиною въ девять локтей. Потомъ онъ схватилъ солнце и убѣжалъ съ нимъ на небо, и въ это самое время начала кричать сорока. Чортъ, услышавъ крикъ сороки, спѣшилъ вернуться назадъ, но, видя, что ему не пробраться сквозь ледъ, снова пошелъ на дно морское, досталъ большой камень, пробилъ имъ ледъ и пустился догонять ангела.

По объясненіямъ Эрбена(*), на которыя ссылается г. Буслаевъ, обѣ эти сказки несомнѣнно будто бы указываютъ на древній славянскій миѳъ о борьбѣ Бѣлаго и Чернаго бога, Солнца и Зимы: въ первой сказкѣ подъ Богомъ просто слѣдуетъ разумѣть солнце, которое съ начала, именно зимою, во время солнцеворота, являясь низко на небосклонѣ, такъ сказать, плаваетъ по снѣгу (въ сказкѣ по морю); и одинаково съ зимою (олицетворенною въ видѣ чорта) идетъ далѣе, возносится выше, разогрѣваетъ снѣга и выводитъ наружу, творитъ землю; а по-

(*) Русск. Бѣседа, 1857, № 4.

томъ, достигнувъ извѣстной высоты, приводитъ время грозъ, окончательно уничтожающее зиму. Въ сербской сказкѣ Эрбенъ видитъ то же самое; только сказка отступаетъ отъ естественнаго порядка въ томъ, что «чортъ и солнце взаимно обмѣнялись свойствами» (?), на томъ основаніи, что въ природѣ зима (чортъ) производитъ ледъ, а солнце, поднимаясь выше на небо, уничтожаетъ его своими лучами. Вся исторія по Эрбену сводится такимъ образомъ къ олицетворенію лѣта и зимы, дня и ночи. Мы думаемъ, что читатель замѣтитъ самъ произвольность этихъ миѳологическихъ толкованій.

Всѣ эти памятники, не разъ указанные нашими миѳологами, по нашему мнѣнію еще не рѣшаютъ достаточно вопроса: откуда взялось это *дуалистическая* воззрѣніе, принадлежитъ-ли оно коренному народному миѳу? Намъ еще не разъ придется встрѣтить въ нашихъ старыхъ памятникахъ и преданьяхъ слѣды этого своеобразнаго воззрѣнія, и потому мы остановимся нѣсколько на его объясненіи.

Гриммъ, начиная въ своей миѳологіи изслѣдованіе о бѣсѣ, находитъ прежде всего, что представленіе о зломъ духѣ, которое бросило потомъ такіе глубокіе корни въ народныхъ вѣрованіяхъ, было чуждо нѣмецкому язычеству. Онъ находитъ вообще, что дуализмъ, создающій двѣ высшія силы, независимыя одна отъ другой—если онъ не коренится въ исконной глубинѣ миѳологической системы (какъ въ Зендской),—бываетъ результатомъ уже болѣе позднѣйшей отвлеченной мысли; что онъ не сроденъ непосредственной, чувственной миѳологіи, развивающейся въ широкой средѣ; что поэтому его не знаютъ ни греческіе, ни нѣмецкіе миѳы. Это простое, но очень важное замѣчаніе по нашему мнѣнію вполнѣ прилагается и къ народной миѳологіи древней Руси: она не знаетъ различія добрыхъ и злыхъ духовъ, — и если это различіе является потомъ въ народныхъ преданіяхъ, то вовсе не составляетъ въ нихъ кореннаго явленія. Правда, мы знаемъ изъ исторіи Бѣлаго и Чернаго бога балтійскихъ Славянъ, но Гриммъ справедливо сомнѣвается въ первобытности этого дуалистическаго дѣленія. Въ самомъ дѣлѣ, ни одно изъ древнихъ свидѣтельствъ о божествахъ стараго русскаго язычества не говоритъ ни о чемъ подобномъ существованію двухъ высшихъ, враждебныхъ силъ, которыя бы дѣлили между собой природу. Въ словахъ лѣтописцевъ, проповѣдниковъ, возстававшихъ противъ идольскихъ жертвъ, нельзя найти никакого основанія, которое бы могло подтверждать существованіе вполнѣ развитой системы дуализма. При распространеніи христіанства, всѣ языческія боже-

ства имѣли одинаковую участь; въ понятіяхъ массы они отступили сначала на второй планъ, потомъ мало-по-малу получили значеніе бѣсовъ и злыхъ идоловъ. Древніе волхвы говорили, по словамъ лѣтописца, что они вѣрятъ «Антихристу», сидящему въ безднѣ, что боги ихъ живутъ «въ безднѣ, суть же образомъ черни, и крилати, и хвости имуще,—въсходятъ же и подъ небо, слушающе вашихъ боговъ,» но ясно, какъ слѣдуетъ понимать извѣстіе лѣтописца, который этими словами выразилъ не столько ученіе волхвовъ, сколько свое личное понятіе объ этомъ ученіи.

Противоположность двухъ началъ могла однако проявляться и въ нашей, какъ и въ нѣмецкой миѳологіи, когда эта противоположность извлекалась изъ самой природы, раждавшей пантеистическіе миѳы, напр. изъ дня и ночи, весны и осени, лѣта и зимы и т. п. Но эта двойственность никогда не достигала того рѣзкаго дуализма, съ какимъ является понятіе о злыхъ и добрыхъ духахъ, принесенное въ первый разъ введеніемъ христіанства.

Съ этой точки зрѣнія нашъ апокрифическій памятникъ можетъ не имѣть никакой связи съ древнимъ миѳологическимъ эпосомъ. Если море Тиверіадское, съ котораго начинается твореніе по нашему памятнику, и дѣйствительно было взято съ древняго миѳическаго моря, упомянутаго въ карпатской пѣснѣ, то смыслъ памятника тѣмъ не менѣе могъ сильно измѣниться и сохранить съ древностью связь чисто внѣшнюю: на первомъ планѣ стоитъ твореніе міра двумя различными силами. Но съ другой стороны преданье не можетъ быть вполнѣ объяснено и вліяніемъ чисто христіанскихъ понятій, потому что въ библейскомъ разсказѣ, который могъ въ этомъ случаѣ руководить фантазіей народа, злой духъ является вполнѣ отверженнымъ: онъ вовсѣ не имѣетъ въ исторіи творенія той роли, какую приписываютъ ему преданья. Очевидно, что въ нихъ образованіи учавствовалъ иной порядокъ идей, болѣе развившій отношенія двухъ высшихъ силъ, управляющихъ человѣкомъ.

Понятіе о добромъ и зломъ началѣ, въ томъ размѣрѣ, въ какомъ оно является въ нашемъ памятникѣ, дѣйствительно принадлежитъ уже поздней эпохѣ (*). Не входя въ подробности, замѣтимъ, что въ средніе вѣка первоначальное понятіе о зломъ духѣ получило особенное развитіе и постепенно складывалось въ болѣе и болѣе опредѣленныя

(*) См. Grimm, Mythologie, стр. 937.

черты, характеръ которыхъ зависѣлъ отъ степени религіознаго пониманія; фантазія народа и духовныхъ писателей не остановилась на томъ значеніи злыхъ духовъ, которое было указано первымъ христіанствомъ; она старалась дополнить мрачный образъ злаго духа, производившаго сильное впечатлѣніе на умы, и легенда произвела цѣлый рядъ разнообразныхъ типовъ злаго духа отъ ужаснаго до комическаго. Въ то время, когда составлялась наша Палея, уже развился миѳъ о блестящемъ ангелѣ Сатанаилѣ (Денница, Lucifer), который, прельстившись красотой творенія и видя землю пустую и не населенную, задумалъ обладать «поднебесной», завладѣть землей и поставить престолъ на облакахъ: онъ сверженъ былъ за свою гордость, названъ сатаной, и мѣсто его отдано было Михаилу (*). Особенное развитіе идеи злаго духа до полнаго дуализма было принесено, кажется, съ востока изъ тѣхъ многочисленныхъ ересей, которыя, начавъ съ первыхъ вѣковъ христіанства, наводняли церковь враждебными ей ученьями и миѳами. Восточныя ереси въ первый разъ стали говорить о зломъ началѣ, какъ самобытномъ и равносильномъ божественному началу; на основаніи этого понятія они создали собственную исторію творенія, въ которой злому духу дано было положительное участіе въ судьбѣ міра и человѣка. Эти ереси не одинъ разъ проникали и въ Европу и пріобрѣтали въ ней великую силу; такъ распространилось съ начала аріанство; такъ, съ X вѣка, по всей южной Европѣ разлилась ново-манихейская ересь, именно съ тѣмъ фантастическимъ ученіемъ о зломъ духѣ, которое мы указали. Подъ разными названьями — Павликіанъ, Богомиловъ, Катаровъ, Патареновъ, Альбигойцевъ—эта ересь господствовала въ Арменіи, Византіи, Болгаріи, Сѣверной Италіи, Южной Франціи и т. д. Вскорѣ по своемъ появленіи она навлекла на себя горячія преслѣдованія и церкви, и государства, но тѣмъ не менѣе долго держалась и дѣйствовала на умы; во Франціи она пала только подъ страшными ударами альбигойской войны.

Особенный успѣхъ ново-манихейская ересь имѣла въ славянско Болгаріи. Ея послѣдователи извѣстны были тамъ подъ народнымъ именемъ *богомиловъ*, и были ревностными агитаторами: они находили много прозелитовъ дома, отъ нихъ шли еретическія книги къ западнымъ катарамъ; они имѣли своихъ писателей. Южнославянская литература, только что начинавшаяся, уже должна была защищать

(*) Румянцовская Палея, 1494 г., л. 12.

церковь отъ этого врага. Ея обличенія уцѣлѣли отчасти и въ нашихъ рукописяхъ и сохранили для исторіи содержаніе догматовъ богомильства, затронувшаго въ своей пропагандѣ и древнюю Русь. При тѣхъ частыхъ и тѣсныхъ сношеніяхъ, которыя древняя Русь поддерживала съ Болгаріей и болгарской церковью, при томъ множествѣ памятниковъ церковныхъ, литературныхъ и апокрифическихъ, которые перешли къ намъ отъ южныхъ славянъ, очень естественно ожидать, что древняя Русь ознакомилась и съ ученіемъ Богомиловъ и съ его оригинальными миѳами. Наша старая письменность до послѣдняго времени помнила богомиловъ и интересовалась ими: въ рукописяхъ уцѣлѣли обличенія богомиловъ, составленныя болгарскимъ пресвитеромъ *Козьмой*, въ первый вѣкъ болгарской письменности; въ нашихъ Кормчихъ и сборникахъ до послѣдняго времени помѣщалась статья мниха Аѳанасія, осуждавшая апокрифическія преданія, и между прочими книги *Еремея* пресвитера о Троицѣ и крестномъ древѣ; русская Кормчая XV—XVI вѣка довольно опредѣленно излагаетъ всѣ пункты богомильскаго ученія; наконецъ статья о ложныхъ книгахъ, съ особеннымъ удареніемъ возстаетъ противъ того же болгарскаго попа Іереміи, богомила, *солгавшаго* разныя басни о предметахъ христіанскаго вѣрованія. Память болгарскаго еретичества и апокрифовъ осталась и до XVI—XVII вѣка, когда переводчикъ или переписчикъ сочиненій Дамаскина жаловался, что въ его время мнимые учители народа больше «въ болгарскіе басни, або паче въ бабскіе бредни упражняются», чѣмъ наслаждаются разумомъ истинныхъ учителей (²).

Авторъ «Разсужденія о ересяхъ и расколахъ не сомнѣвается въ томъ, что богомилы жили и дѣйствовали въ русской землѣ, и первыхъ еретиковъ, какіе появлялись въ русской церкви въ XI—XII столѣтіи, именно Адріана и Дмитра, онъ считаетъ послѣдователями богомильской ереси (стр. 37).

Въ послѣдующемъ разборѣ апокрифическихъ и ложныхъ книгъ, мы будемъ имѣть случай убѣдиться, что нѣкоторыя изъ книгъ, навлекавшихъ осужденіе и проклятіе на болгарскаго богомила Іеремію, еще сохранились или въ старыхъ рукописяхъ, или даже въ народныхъ повѣрьяхъ, которыя черезъ сотни лѣтъ перенесли древнее еретическое суевѣріе. Къ числу памятниковъ древняго богомильства мы относимъ и разсказанное въ «Свиткѣ» преданіе о двойственномъ сотвореніи міра.

(*) Румянц. Муз. № 193.

Богомильское ученіе самыми основаніями своими расходилось съ христіанствомъ; оно признавало Троицу, но понимало ее не правильно и совершенно извращало христіанскіе догматы о воплощеніи, о земной жизни Спасителя и т. д. Корень ереси заключался во взглядѣ на ветхій завѣтъ: богомилы отвергали ветхій завѣтъ, какъ порожденіе злаго начала, не вѣрили книгамъ Моисея и другихъ пророковъ, думая, что до пришествія Спасителя люди повиновались злому духу, ему поклонялись и отъ него получали законъ. Царство Бога на землѣ начиналось по ихъ мнѣнію только съ пришествія Спасителя.

Признавая два начала, изъ которыхъ произошелъ міръ, богомилы совершенно по своему разсказывали исторію сотворенія міра и человѣка. Они утверждали, что могущественный духъ, котораго Спаситель назвалъ сатаной, самъ былъ сыномъ Бога Отца и назывался Сатанаиломъ; сверженный съ неба за свои гордыя покушенія, онъ сохранилъ силу творчества, но «не могъ удержаться въ водахъ» (*), и уже послѣ того какъ Богъ въ началѣ создалъ небо и землю, онъ съ своими ангелами рѣшился создать второе небо и другую землю и затѣмъ всю тварь, которая землю наполняетъ. Онъ сдѣлалъ по тому тѣло человѣка, смѣшавши землю съ водою, но не могъ вдохнуть въ него души: онъ дунулъ было въ Адама, но духъ его прошелъ сквозь тѣло и вылетѣлъ черезъ правую ногу и перешелъ въ змѣю, которая отъ того стала мудрою между животными. Тогда Сатанаилъ, увидѣвъ, что трудится понапрасну, просилъ Бога вдохнуть душу въ человѣка и обѣщалъ, что живой человѣкъ будетъ принадлежать одинаково имъ обоимъ. Но впослѣдствіи Сатанаилъ всегда стремился завладѣть людьми: онъ далъ законъ Моисею, говорилъ черезъ пророковъ и люди безраздѣльно были во власти его во всемъ ветхомъ завѣтѣ. Родъ человѣческій спасенъ былъ отъ власти дьявола только Іисусомъ Христомъ, который побѣдилъ Сатанаила, заключилъ его въ безднахъ ада и назвалъ его сатаной.

Намъ могутъ возражать, что въ нашемъ памятникѣ этотъ богомильскій дуализмъ далеко не имѣетъ ни опредѣленной формы, ни послѣдовательнаго развитія. Это правда; но иначе и быть не могло съ преданьями, имѣвшими источникъ чисто еретическій. Нѣтъ сомнѣнія, что позднѣйшая редакція нашего «Свитка» должна была много потерять точности въ разсказѣ преданья; достаточно сравнить его съ на-

(*) Разсказъ Евѳимія Зигадена.

родными легендами, которыя произошли конечно отъ него, т. е. отъ письменнаго памятника того же рода,—чтобы видѣть, какъ легко передѣлываются и мѣшаются мелкія подробности и аксессуары. Но, обративъ вниманіе на сущность преданья, мы увидимъ въ немъ замѣчательное сходство съ ученьемъ богомиловъ о твореніи и если между ними остается еще разница, то она легко объясняется самой исторіей богомильскаго миѳа: извѣстно во первыхъ, что у самихъ богомиловъ преданье не получило законченной, догматической формы и въ разныхъ мѣстахъ и разными лицами оно передавалось съ различными варіантами; далѣе, Евѳимій Зигаденъ (*), писавшій о нихъ въ началѣ XII вѣка, и пресвитеръ Козьма (**), изъ которыхъ мы взяли изложеніе богомильскаго миѳа, обращали вниманіе только на существенныя черты ереси и гораздо больше заботились о должномъ обличеніи зловѣрія, чѣмъ о подробномъ сборѣ еретическихъ вѣрованій; такъ что по нимъ еще трудно судить, въ какой формѣ ходили эти преданья въ народѣ,—потому что богомильская ересь была *народною* въ Болгаріи. Наконецъ наши изложенія въ «Сказаніи» и въ «Свиткѣ» оба относятся къ весьма поздней эпохѣ, когда они по необходимости потеряли первоначальную свѣжесть и точность преданья и быть можетъ отбросили уже изъ него многое, въ чемъ ересь была слишкомъ замѣтна.

Наши редакціи не ясно говорятъ о томъ, какимъ образомъ Сатанаилъ палъ, какъ явилась у него мысль участвовать въ твореніи; но они знаютъ, что его прежнее имя было Сатанаилъ, что онъ потерялъ окончаніе этого имени, когда былъ побѣжденъ пришествіемъ Спасителя. Дьяволъ точно также подражаетъ Богу въ твореніи, онъ раздѣляетъ съ Богомъ власть надъ первымъ человѣкомъ и даетъ ему его болѣзни. Когда Адамъ въ первый разъ начинаетъ пахать землю, дьяволъ вступается за нее какъ за свою собственность (у богомиловъ, она была его созданіе). Наконецъ, злой духъ во всемъ разсказѣ сохраняетъ полную свободу своихъ дѣйствій. Мы приводимъ въ примѣчаніи (***) разсказъ о Сатанаилѣ, взятый нами изъ Румянц. Палеи

(*) *Gieseler*, Euth. Zygadeni narratio de Bogomilis. Götting. 1841.

(**) *K. Sakcinski*, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, т. IV, стр. 69—97.

(***) Въ Палеѣ 1494 года, Румянц. музея, на листѣ 12 обор., находится слѣдующій разсказъ:

О Сотонаили.

В сіи убо день единъ отъ ангелъ наричаемыи Сатанаилъ, иже убо бѣ старѣишина 10-му чину, видѣти (sic) яко украси Богъ твердь ту, о неи же

и послужившій во многихъ случаяхъ источникомъ для нашего сказанія. Но сличивши два разсказа, читатель тотчасъ увидитъ ихъ разницу: Палея, хотя также апокрифическая въ этомъ случаѣ, далеко не имѣетъ тѣхъ подробностей, какія переданы въ нашемъ новомъ сказаніи, — а главное, Сатанаилъ вовсе не имѣетъ въ ней того особеннаго, независимаго характера, который дается ему въ «Свиткѣ» и которымъ, по нашему мнѣнію, наше сказаніе сближается съ южнославянскими преданіями богомиловъ.

Остановимся еще на нѣкоторыхъ подробностяхъ нашего сказанія. Мы видѣли, что по его словамъ древо, отъ котораго Адамъ и Евва вкусили и впали въ грѣхъ, было древо *виноградное.* Это преданіе находится и въ повѣсти о горѣ-злочастіи, которая говоритъ въ началѣ, что когда Богъ сотворилъ Адама и Евву, то

«далъ имъ заповѣдь божественную,
не повелѣлъ вкушать *плода виноградняго*
отъ едемскаго дерева великаго».

рекохомъ, и землю, и разведичисягръ достью и рече въ помыслѣ своемъ: коль красная поднебесная си, но не вижу живущаго на ней, — да пріиду на землю и пріиму землю, и обладаю ею и буду яко Богъ, и поставлю престолъ мой на облацѣхъ.

И ту абіе съвръже и̓ Господь съ небеси за грѣдость помысла его. По немъ же спадоша иже бѣаше подъ нимъ чинъ 10-ти, яко пѣсокъ просушася съ небеси, и проразишася въ преисподняя; друзіи же ихъ на земли бы... .....си повеси архангельскы гласъ.

Архистратигъ Михаилъ, сы началникъ и воевода силы Господня, иного чину силъ стареишина, виде отступника съпадша съ чиномъ 10 своимъ, и звучнымъ гласомъ, крѣпкы и страшныи и рече: вонмемъ, гласомъ силы всѣхъ похвалимъ истиннаго Бога...

Слышавши же дѣмони гласъ архаангела Михаила, и абіе повешени быша на аере, пръви, иже ты спадшіи дѣмоны, въпреразиша въ преисподняя, и суть яко и глусы, и ти оттоле не свѣдятъ ничтоже въ мирѣ; а еже отъ нихъ на земли падша, то... ходяща (по) земли съ своими прелестьми; послѣдняя же ихъ устави архаангельскыи гласъ по аеру, и ти убо висѣ(ти) и что могуще пакость творити, творятъ тое.

Се же убо Сатана стареи бѣ въ чину, иже бе подъ нимъ, приставникъ бе земному чину, и земли блюденіе пріемъ, и отъ Бога естьствомъ не лукавъ бѣ исъпръва, но благъ сы...

Въ него же мѣсто постави Господь стареишину Михаила, спадшіи же чинъ нарекоша; дѣмоны отъ нихъ же Господь отъятъ славу и честь и свѣтлость, бывшю на небесѣхъ прежде, и преложи я въ духъ теменъ, и по воздуху облѣтати имъ повеле. Спадшаго же мѣсто чина 10-го, умысли Богъ створити человѣка,—да свѣтлость и вѣнець спадшихъ предати имаетъ Богъ правовѣрнымъ...

*

Въ позднѣйшее время, повѣрье о томъ, что виноградное дерево было причиной паденія Адамова, — стало общеизвѣстнымъ народнымъ преданіемъ; его принимали за несомнѣнный фактъ и придавали ему поучительный смыслъ. Г. Буслаевъ указываетъ, что это повѣрье извѣстно было нашимъ предкамъ еще въ XVI столѣтіи, какъ можно видѣть изъ одной миньятюры въ Синод. спискѣ Козьмы Индикоплова (писанномъ въ 1542 году), гдѣ на полѣ миньятюры написаны приведенные стихи объ Адамѣ (*). Но древность преданья восходитъ еще далѣе и опять связывается съ исторіей богомильскаго ученія. Въ древнихъ Кормчихъ очень часто встрѣчается обыкновенно статья, подъ именемъ «Написанія Аѳанасія мниха іерусалимскаго къ Панкови», предметомъ котораго было именно древо познанія добра и зла. Этотъ Панко держался лживыхъ мнѣній о древѣ спасеннаго креста, и о другихъ вещахъ, которыя обличала потомъ наша статья о ложныхъ книгахъ. Точно также ложно говорилъ онъ о райскомъ древѣ добра и зла, и Аѳанасій прямо съ этого начинаетъ свое посланіе (**): «сказали мнѣ нѣкоторые люди, что ты многихъ учишь о разумномъ древѣ добра и зла, отъ котораго Богъ возбранилъ вкушать Адаму, — и говоришь, что это былъ виноградъ». Аѳанасій прямо обличаетъ его тѣмъ, что по писанію Евва увидала древо красное видѣніемъ и доброе въ снѣдь,—«а какую красоту имѣетъ виноградный гроздъ?» и проч. Въ концѣ статьи Аѳанасій предостерегаетъ его отъ писаній попа Іереміи, изъ которыхъ Панко извлекалъ свое ложное ученіе. Быть можетъ, что миѳъ о виноградномъ плодѣ также принадлежалъ къ баснямъ Іереміи болгарскаго и если не былъ прямой принадлежностью его ереси, то могъ вмѣстѣ съ ея мнѣніями войти въ народное южнославянское преданіе.

Источникъ преданья могъ быть не только не русскій, но и не южнославянскій. Библейскія преданія Арабовъ, перенятыя почти всегда у Евреевъ, разсказываютъ иначе о райскомъ виноградѣ: самъ Богъ далъ вкусить его Адаму и онъ впалъ отъ этого въ глубокій сонъ, во время котораго создана была Евва.

Такимъ же чужимъ было преданье о томъ, какимъ образомъ сатана, которому запрещенъ былъ входъ въ рай, проникъ въ него; ве-

(*) Очерки, 1, стр. 617.

(**) Мы напечатали это любопытное посланіе, какъ матеріалъ для исторіи ложныхъ книгъ, Памятн. стр. 84.

лѣвши змѣю поглотить себя и потомъ извергнувшись изъ него, когда змѣй прошелъ въ райскія жилища (*).

Преданье о рукописаніи, которое далъ Адамъ бѣсу, находится и въ разсказѣ «*объ исповѣданіи Евгинѣ*» въ Румянц. рукописи № 358. Статья представляетъ въ началѣ легкую варіацію библейскаго разсказа, къ которой прибавляются дальше апокрифическія подробности: Адамъ плачетъ о потерѣ рая слѣдующими стихами:

Раю мой, раю, прекрасный раю,
Красота неизреченная,
Меня ради сотворенъ еси,
А Евги ради затворенъ еси,
Милостиве помилуй мя.

Съ этимъ началомъ до сихъ поръ извѣстны въ народѣ стихи, описывающіе грѣхъ и раскаяніе Адама (**). Быть можетъ стихъ старѣе и этого списка XV вѣка, гдѣ указываютъ его древнѣйшій слѣдъ. Румянцовская Палея 1494 года, представляющая весьма старый памятникъ нашей литературы, въ томъ же родѣ говоритъ объ Адамовомъ плачѣ: «и плакася Адаамъ горцѣ глаголя: раю пресвятый,—иже мене ради насажденъ, а Евгы ради затворенъ»... (л. 32 на обор.).

И за тѣмъ для своего пропитанія Адамъ проситъ у Бога райскаго благоуханія: Богъ посылаетъ ему ѳимьянъ, ливанъ и ладанъ—извѣстное древне-христіянское преданіе, которое между прочимъ упоминается (и подробнѣе чѣмъ у насъ) въ древней эѳіопской книгѣ «о битвѣ Адама и Еввы» (противъ сатаны), переведенной въ энциклопедіи аббата Миня (***).

«Исповѣданіе» Румянц. сборника представляетъ разсказъ отъ лица самой Еввы дѣтямъ о грѣхопаденіи и изгнаніи изъ рая; но повидимому въ немъ соединены двѣ различныя статьи, потому что въ срединѣ, послѣ разсказа о рукописаньи, сказано: «а *инде* писано во святомъ писаньи» и снова говорится о рукописаньи. Въ заключеніе статья описываетъ покаяніе Адама и Еввы и болѣзнь Адама; статья оканчивается смертью первыхъ людей. Для совершенія покаянія Адамъ

(*) См. у *Вейля*, Bibl. Legenden der Muselmänner, и *Migne*, Di. ct. des Apocryphes.

(**) *Варенцова*, Сборникъ дух. стиховъ, стр. 40—45.

(***) *Migne*, Diction. 1, 308.

поставилъ Евву въ рѣку Тигръ, а самъ стоялъ во Іорданѣ и такъ они постились до сорока дней; бѣсъ соблазнялъ опять Евву, приходилъ къ ней въ образѣ ангела, потомъ въ видѣ Адама и убѣждалъ выйти изъ рѣки. Но Адамъ предупреждалъ ее объ искушеніи, и она не поддалась ему. Тогда Богъ освободилъ ихъ отъ діавола, и они поселились въ землѣ Мадіамской. Это преданье также принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя уже въ первыя времена были извѣстны на христіанскомъ востокѣ и, не получивши одной неизмѣнной редакціи, сохранились въ книгахъ и изустныхъ преданьяхъ. Чтобы показать степень ихъ извѣстности, замѣтимъ напр., что этотъ разсказъ съ нѣкоторыми варіантами находится и въ упомянутой нами эѳіопской книгѣ (*). Источникомъ нашего сказанія были, конечно, византійскіе памятники.

Наконецъ Адамъ почувствовалъ болѣзнь и приближеніе смерти: чтобы успокоить его болѣзнь, Сиѳъ рѣшился идти въ рай и принести ему вѣтвь отъ райскаго. Евва сопровождала сына; когда они приближались къ раю, лютый звѣрь Горгоній не хотѣлъ пропустить ихъ, но Сиѳъ заклялъ его; они пришли къ раю, и ангелъ далъ ему вѣтвь... Адамъ узналъ его, извилъ себѣ вѣнецъ изъ вѣтви, и рука Господня приняла его душу... Когда Адамъ былъ погребенъ, изъ вѣнца выросло дерево: на немъ распятъ былъ потомъ Спаситель...

«Странствованіе Сиѳа въ земной рай» было миѳомъ общеизвѣстнымъ на востокѣ и на западѣ и одной изъ любимыхъ легендъ въ средніе вѣка (**). Западныя легенды развили гораздо обширнѣе эту тему и сдѣлали изъ нея цѣлую длинную исторію; главные ея пункты переданы и въ русскомъ памятникѣ, списокъ котораго находится въ Румянц. Сборникѣ XVII вѣка, № 380, гдѣ помѣщено сначала разсказанное нами «исповѣданіе» Еввы, а потомъ прибавлена (изъ другаго памятника) исторія трехъ деревьевъ, на которыхъ были распяты Спаситель и два разбойника. Мы возвратимся къ нимъ впослѣдствіи.

Мѣстомъ смерти Адамовой наша Палея назначаетъ островъ Афулисъ; по другимъ апокрифическимъ извѣстіямъ, этотъ островъ былъ также и мѣстомъ, на которомъ Ной строилъ ковчегъ (***). Это одно изъ множества подобныхъ сближеній, какія очень любили дѣлать въ старину, тѣмъ больше, что они легко придумывались.

(*) *Migne*, тамъ же, стр. 309—310.

(**) *Migne*, тамъ же, стр. 387—390. Fabricii, Vet. Test. 1, стр. 81.

(***) Румянц. сборникъ № 367, л. 57 обор.

Мы не упомянули еще о томъ, какъ преданья разсказывали о Каинѣ и Авелѣ. Несторъ, въ извѣстной проповѣди греческаго миссіонера, котораго онъ заставляетъ говорить съ Владиміромъ, уже воспользовался апокрифическимъ разсказомъ, который представляла славянская Палея. Сатана вошелъ въ Каина и подстрекалъ его убить своего брата; они вышли въ поле и Каинъ не зналъ, какъ совершить убійство.

«И рече ему Сотона: «возми камень и удари и́» Вземъ камень и уби и́...»

«Адамъ же и Евга плачющася бѣста, и дьяволъ радовашеся, рька: «се, его же Богъ почти, азъ створихъ ему отпасти Бога, и се нынѣ плачь ему налѣзохъ». И плакастася по Авели лѣтъ 30, и не съгни тѣло его, и не умѣста его погрести. И повелѣньемъ Божьимъ птенца 2 прилетѣста, единъ ею умре, единъ же ископа яму, и вложи умершаго и погребе и́. Видѣвша же се Адамъ и Евга, ископаста яму и вложиста Авеля, и погребоста съ плачемъ» (*).

Прямымъ источникомъ этого преданья была для нашего лѣтописца уже названная нами Палея, которая такимъ образомъ съ первыхъ временъ нашей письменности принесла съ собой апокрифическіе миѳы. Тѣже миѳы старинный читатель встрѣчалъ въ другихъ уважаемыхъ книгахъ и привыкалъ имъ вѣрить. Въ числѣ вопросовъ Аѳанасія Александрійскаго, писанныхъ къ князю Антіоху, и уже давно у насъ переведенныхъ, находится между прочимъ вопросъ: «Никому же еще не умрьшу, откудѣ навыкну Каинъ убити Авеля? Діаволъ ему во снѣ показа, кимъ образомъ умрътвити брата своего» (**). Въ старинныхъ «Бесѣдахъ» вставлено много вопросовъ этого рода, взятыхъ изъ разсказанной нами апокрифической исторіи перваго человѣка, и эти вопросы, обращавшіе вниманіе на то, что было или казалось особенно эффектно и занимательно, получили огромную популярность между старинными грамотѣями. Отъ нихъ они по прямому наслѣдству перешли къ новымъ грамотникамъ и начетчикамъ, которые остались вѣрны «старымъ» книгамъ.

Преданья, которыя принесла въ русскую письменность Палея, принадлежали къ числу весьма древнихъ еврейскихъ миѳовъ, которые въ позднѣйшую эпоху были собраны изъ воспоминаній народа и настав-

(*) Лѣтопись (изд. Арх. Комм.), 1, стр. 38.
(**) Румянц. рукопись № 435, листъ 564.

леній талмудистовъ. Съ распространеніемъ христіанства они вышли изъ своей прежде ограниченной сферы и нашли большой успѣхъ въ литературѣ среднихъ вѣковъ, которая принимала ихъ безъ дальнѣйшей критики. Талмудъ и библейскія преданья арабовъ—мусульманъ разсказываютъ совершенно сходно съ нашей исторіей, что когда Адамъ и Евва оплакивали Авеля и не знали, какъ похоронить его, тогда воронъ рѣшился научить ихъ: онъ убилъ другаго ворона вырылъ клювомъ яму и спряталъ тамъ убитаго. Еврейское преданье прибавляетъ, что Богъ вознаградилъ за это ворона тѣмъ, между прочимъ, что съ тѣхъ поръ всегда дождь идетъ, когда кричатъ о немъ вороны (*).

Продолженіе библейской исторіи въ Палеѣ постоянно перемѣшивается съ апокрифическими подробностями. Она разсказываетъ и исторію о путешествіи Сиѳа въ рай, но разсказываетъ съ совершенно иными подробностями, чѣмъ тѣ, которыя мы видѣли въ «исповѣданіи Еввы». По ея разсказу, больной Адамъ посылаетъ Сиѳа въ рай за «масломъ отъ древа милованія», и когда Сиѳъ пришелъ къ вратамъ Эдемскимъ, явился къ нему архангелъ Михаилъ, который предрекъ ему пришествіе Спасителя, который будетъ «олеемъ (т. е. елеемъ) милованія» для Адама и всѣхъ дѣтей его.

Адамъ жилъ во островѣ Афуліи, но по смерти его ангелы взяли его тѣло и погребли *посреди земли* въ Іерусалимѣ, «идѣже распяша Господа, еже ся нарицаеть лобное мѣсто, еврѣйскы Голгофа» (**). Сиѳъ, сынъ Адама, былъ мужъ праведный, ему даны были еврейскія письмена, и съ того времени началась грамота. Наша апокрифическая «Бесѣда» воспользовалась и этимъ свѣдѣніемъ и на вопросъ: «кому Богъ сослалъ первѣя грамоту?» отвѣчаетъ: «къ Сиѳу, сыну Адамову». Это преданье пользовалось полнымъ авторитетомъ, и ученый Свида занесъ его даже въ свой словарь. Палея говоритъ, наконецъ, что Сиѳъ первый далъ имена звѣздамъ, временамъ года, лѣтамъ и мѣсяцамъ (***).

Были вѣроятно и другіе апокрифы объ Адамѣ, ходившіе въ старыхъ рукописяхъ и народныхъ преданьяхъ, но они не встрѣчались намъ; такова напр. статья, упомянутая въ статьѣ о ложныхъ книгахъ подъ именемъ «Лобъ Адамль», и вѣроятно принадлежащая къ числу

(*) См. *Weil*, Biblische Legenden стр. 39. *Fabricii*, Vetus Test. 2, стр. 47—48.

(**) Ср. *Migne*, 1, стр. 34. *Fabricii*, Vet. Test. I, стр. 35.

(***) Ср. Григорія (Амартола) въ цитатѣ Мих. Глики. *Fabric*. ib. I, 147. О названіи Сиѳовыхъ дѣтей—божьими, у Ѳеодорита, ibid., стр. 145.

преданій о древѣ креста. Въ той же статьѣ запрещается еще книга «Адамль завѣтъ», которой мы также не находили въ рукописяхъ. Г. Буслаевъ видитъ ее въ одномъ старинномъ произведеніи, съ которымъ мы встрѣтимся дальше: «есть, говоритъ онъ, обширное сказаніе о завѣтѣ Адама, о его смерти, и о связи этихъ событій съ крестнымъ древомъ, подъ заглавіемъ,—*Слово о крестѣ честнѣ и о двою разбойничю*; *избраніе Григорія Богословца*». Онъ пересказываетъ этотъ миѳъ въ своей книгѣ (*), изъ болгарской рукописи XVI в., принадлежащей проф. Григоровичу; но во всей этой статьѣ, разсказывающей объ исторіи креста Господня, нѣтъ ни слова о *завѣтѣ*. Въ другомъ мѣстѣ г. Буслаевъ даетъ, кажется, названіе «завѣта Адамова» тому пророческому сновидѣнію Адама, о которомъ мы прежде упоминали (**); но г. Буслаевъ нигдѣ не говоритъ, чтобы эти статьи такъ названы были въ самыхъ рукописяхъ, и можетъ быть, что подъ этимъ именемъ въ статьѣ о ложныхъ книгахъ обозначалось другое особенное произведеніе, тѣмъ больше, что апокрифическая исторія креста упоминается въ статьѣ о ложныхъ книгахъ особо: *о древѣ крестномъ лгано*... Въ апокрифическихъ книгахъ греческихъ и восточныхъ передавался между прочимъ именно завѣтъ, т. е. *завѣщаніе* Адама, которое вѣроятно и понималось въ нашей статьѣ. Такое завѣщаніе, извѣстное по сирійскимъ и арабскимъ рукописямъ, издалъ извѣстный оріенталистъ Эрнестъ Ренанъ. Завѣщаніе указываетъ часы дня и ночи, по которымъ распредѣлялось мистическое поклоненіе божеству со стороны всего творенія, начиная отъ ангеловъ и демоновъ до неодушевленной природы; оно пересчитываетъ и описываетъ всѣ ангельскіе чины и ихъ обязанности, и сообщаетъ подробныя предсказанія, сдѣланныя Адамомъ Сиѳу, о потопѣ, о пришествіи Спасителя и будущемъ избавленіи. Сиѳъ записалъ этотъ завѣтъ; Адамъ умеръ и солнце и луна померкли на семь дней; Сиѳъ запечаталъ завѣщаніе и положилъ его въ «пещерѣ сокровищъ» вмѣстѣ съ золотомъ, ливаномъ и смирной, которые по восточному преданію Сиѳъ принесъ Адаму изъ рая. Нѣкогда волхвы должны были взять завѣтъ изъ пещеры и принести его вмѣстѣ съ дарами къ родившемуся Спасителю, въ виѳлеемскій вертепъ. Этотъ миѳъ былъ извѣстенъ и византійской литературѣ; въ лѣтописяхъ Кедрина и Син-

---

(*) Очерки 1, стр. 489—491.
(**) Очерки 1, стр. 616.

келла сохранились нѣкоторыя выдержки изъ содержанія этой ложной книги (*).

Упомянемъ еще произведеніе, связанное съ именемъ Адама, хотя и несоставляющее въ сущности ложной книги; это азбука Адамова, изобрѣтеніе позднѣйшихъ грамотѣевъ, неимѣющее никакого миѳическаго характера. Въ ней по буквамъ азбуки пресказана исторія Адама: въ одной рукописи XVII-го вѣка она начинается слѣдующимъ образомъ (**).

а—азъ нареченъ бысть Адамъ.

б—благослови его Богъ велелѣпотою славы его и вѣнцемъ украси его.

в—введе мя въ райскую эдему, на востокъ.

г—глаголя ему: отъ всѣхъ древъ яждь, отъ единаго ему заповѣда и проч.

Въ Румянцовскомъ сборникѣ (***), эта толковая азбука, едва понятна отъ безсмыслицъ; она здѣсь нѣсколько подробнѣе и будто бы взята «отъ словесъ апостола Иванна Богослова». Въ заключеніе мы приводимъ въ своемъ изданіи любопытный памятникъ, извѣстный въ старинныхъ «Златоустахъ» подъ названіемъ: «Слово святыхъ апостолъ, иже отъ Адама во адѣ къ Лазорю» (****). Это поэтическое обращеніе Адама заключеннаго въ аду, къ Спасителю, когда вѣсть о его пришествіи на землю достигла преисподней; четвероднeвный Лазарь дѣлается вѣстникомъ его ко Христу. Намъ этотъ памятникъ извѣстенъ по рукописи, XVI в., которая была сообщена намъ г. Забѣлинымъ.

Послѣ книги «Адамъ», наши старинные списки ложныхъ книгъ пересчитываютъ слѣдующія апокрифическія писанія «Енохъ, Ламехъ, Завѣти патріарстѣи; молитва Іосифова; Асенеѳъ; Ельдадъ и Модадъ; завѣтъ Моисѣовъ» и пр. Мы упоминали уже, что наши индексы ложной литературы, составленные по греческимъ образцамъ, называли иногда и такія книги, которыхъ никогда не было въ русской письменности. Въ самомъ дѣлѣ изъ приведенныхъ нами сейчасъ книгъ, сколько до сихъ поръ извѣстно, одна только положительно существуетъ въ

(*) Ср. *Migne*, I, стр. 289—294. *Fabric.* I, 16—19.

(**) Сборн. публ. библ. XVII. F. № 23, л. 68.

(***) Сборн. № 380, л. 29—31.

(****) См. напр. царск. № 179.

русскихъ памятникахъ. Намъ остается слѣдовательно только объяснить въ нѣсколькихъ словахъ значенie этого апокрифическаго цикла, и упомянуть другiя, не названныя въ нашемъ спискѣ книги.

Произведенie, обозначенное въ греческихъ индексахъ именемъ Еноха, упоминается уже въ посланiи апостола Iуды, но долго было извѣстно только по указанiямъ нѣкоторыхъ церковныхъ писателей и по отрывкамъ у Кедрина и Синкелла. Въ концѣ прошлаго столѣтiя одинъ путешественникъ привезъ три рукописи этой книги изъ Абиссинiи; она была разобрана Сильвестромъ де–Саси и потомъ издана въ англiйскомъ переводѣ Лауренсомъ (*). И тотъ и другой предполагали, что оригиналъ ѳеiопской книги былъ написанъ на еврейскомъ языкѣ, или на одномъ изъ нарѣчiй его, словомъ былъ палестинскаго происхожденiя. За изданiемъ Лауренса послѣдовало много другихъ изданiй и комментарiевъ книги, особенно нѣмецкихъ; французскiй переводъ самой книги и диссертацiи Лауренса напечатаны въ словарѣ апокрифовъ Миня (1, стр. 397—514).

Время перваго появленiя книги еще не было кажется опредѣлено съ точностью, но многiе относятъ ея составленie еще ко временамъ до Рождества Христова и тѣмъ больше даютъ ей исторической важности, что находятъ въ ней подтвержденie древнихъ библейскихъ пророчествъ о Мессiи. Мистическое содержанie книги не имѣетъ строгаго единства: въ ней заключается откровенie данное Еноху о наградахъ праведниковъ и казни грѣшниковъ; разсказывается далѣе о соединенiи ангеловъ съ дщерями человѣческими, объ ихъ совѣщанiи и клятвѣ на горѣ Армонъ или Эрмонъ и происхожденiи гигантовъ; за тѣмъ о вознесенiи Еноха на небо, и его видѣнiи, въ которомъ онъ видѣлъ Всемогущаго, видѣлъ небеса, преисподнюю и райскiя жилища, и странствовалъ до краевъ вселенной; далѣе, новыя видѣнiя, пророчество о потопѣ; наставленiя о движенiи свѣтилъ, переданныя Еноху ангеломъ Урiиломъ, наконецъ сны и видѣнiя, которыя Енохъ разсказываетъ своему сыну Маѳусаилу и т. д.

Въ нашихъ рукописяхъ не рѣдко встрѣчается коротенькая статья съ именемъ Еноха подъ заглавiемъ: «отъ книгъ Еноха праведнаго, прежде потопа». Самый старый списокъ ея, указанный до сихъ поръ находится въ сборникѣ Синодальной библiотеки XV вѣка, № 202; въ нашемъ изданiи напечатанъ списокъ, относящiйся къ началу XVII вѣ-

(*) The book of Enoch, by Laurence, Оксфордъ 1821.

ка. Эта статья говоритъ отъ имени Еноха, и по своему тону и содержанію имѣетъ нѣкоторую связь съ апокрифической книгой Еноха, въ ея извѣстной редакціи; но не смотря на то, въ этой послѣдней во все нѣтъ рѣчи, которую наши рукописи влагаютъ въ уста древняго пророка.

Енохова книга пользовалась въ первые вѣка христіанства большой извѣстностью; о ней упоминаютъ или изъ нея выписываютъ очень многіе писатели того времени и византійскаго періода (*). Она вѣроятно существовала въ нѣсколькихъ редакціяхъ: по крайней мѣрѣ выписки изъ нея, сдѣланныя византійцемъ Синкелломъ, значительно отличаются отъ соотвѣтственнаго имъ текста эѳіопской книги; Оригенъ говоритъ какъ будто о нѣсколькихъ книгахъ, которыя носили у Евреевъ имя Еноха. Наша статья, безъ сомнѣнія переведенная съ греческаго, могла быть пересказомъ или извлеченіемъ изъ знаменитой въ то время книги. Впрочемъ для рѣшенія вопроса, было бы необходимо сравнить извѣстные списки нашей статьи, и собрать другія извѣстія объ этомъ апокрифѣ въ нашихъ рукописяхъ. Соловецкая статья о ложныхъ книгахъ именно упоминаетъ «о Еносѣ, что былъ на пятомъ небеси, и исписалъ 300 книгъ», о чемъ вовсе не говорится въ нашемъ отрывкѣ «отъ книгъ» праведнаго Еноха. Легко можетъ быть, что это извѣстіе представляетъ другой слѣдъ Еноховой книги въ нашей древней письменности, и для будущихъ изслѣдованій мы укажемъ статью, въ сборникѣ Царскаго № 389, гдѣ на л. 522—545 помѣщена статья подъ заглавіемъ: «отъ потаенныхъ (т. е. апокрифическихъ, тайныхъ или таинственныхъ) книгъ, о *восхищеніи* Еноховѣ праведнаго». Хотя Строевъ и ссылается при этомъ на указанную выше короткую статью (напечатанную въ нашемъ изданіи), но судя по заглавію и величинѣ этой *потаенной* книги, это должно быть совершенно иное произведеніе, и вѣроятно то самое, о которомъ говоритъ соловецкій индексъ.

Замѣтимъ наконецъ, что въ другой синодальной рукописи, указанной въ описаніи Горскаго, Румянц. статья встрѣчается съ именемъ Іереміи пресвитера (болгарскаго?), котораго имя играетъ такую важную роль въ исторіи нашихъ апокрифовъ (**).

Трудно сказать, что означаетъ въ нашихъ запрещеніяхъ книга

(*) Ср. Fabricii, Vet. Test. 1, pag. 160—199.
(**) Описаніе Синод. рук., ч. 3, стр. 626—627.

Ламехъ, если это не было безсознательное повторенie греческаго индекса. Соловецкая статья, любопытная тѣми объясненьями, которыя она прибавляетъ къ названiямъ ложныхъ книгъ, ставитъ здѣсь вмѣсто простаго имени Ламеха, — *книги Ламеховы*, — но подобнаго апокрифа мы не встрѣчали ни въ нашихъ памятникахъ, ни въ византiйской литературѣ,—если не принять за цѣлый апокрифъ отдѣльнаго преданiя о нечаянномъ убiйствѣ Каина Ламехомъ. Это преданье, разсказано о Ламехѣ въ нашей Палеѣ и въ главныхъ чертахъ совершенно сходно съ разсказомъ, который не разъ приводится у древнихъ писателей, Евтихiя, патрiарха Александрiйскаго, у Меѳодiя Патарскаго, Михаила Глики и т. д. (*).

Далѣе наша статья о ложныхъ книгахъ упоминаетъ книгу *Патрiархи*. Греческiй индексъ, снова повторенный здѣсь нашей статьей, понималъ подъ этимъ названiемъ или извѣстные «Завѣты», или апокрифическiя завѣщанiя двѣнадцати сыновей Iакова (**), или вмѣстѣ съ ними и завѣты трехъ болѣе древнихъ патрiарховъ—Авраама, Исаака и Iакова: апостольскiя постановленiя именно упоминаютъ книгу этихъ *трехъ патрiарховъ* (Const. Ap. кн. VI, гл. 16). Впрочемъ *три* патрiарха были мало извѣстны, и въ послѣдствiи въ индексахъ чаще понимали подъ этимъ названiемъ тѣ Завѣты двѣнадцати патрiарховъ, которые были извѣстны и въ нашей древней письменности.

Время составленiя этихъ послѣднихъ въ точности еще неизвѣстно; уже очень давно думали, что они составлены были образованными по гречески Евреями, и слегка передѣланы первыми христiанами. Въ первые вѣка христiанства Завѣты были уже хорошо извѣстны. Другiе полагали, что они составлены были на еврейскомъ языкѣ, еще до Рождества Христова, и только впослѣдствiи переведены на греческiй языкъ. Они изданы были въ первый разъ въ 1532 г. Линкольномъ и снова напечатаны на греческомъ и латинскомъ языкахъ и съ комментарiями у Фабрицiя (1, 496—759). Содержанiе ихъ заключается обыкновенно въ предсказанiяхъ о судьбѣ еврейскаго народа и въ нравственныхъ житейскихъ правилахъ.

Славянскiй переводъ Завѣтовъ принадлежитъ безъ сомнѣнiя очень далекому времени и нерѣдко встрѣчается въ Палеяхъ и Измарагдахъ;

(*) Напр. Румянц. № 453, л. 42—43. Ср. Fabr., Vetus Test. 1, стр. 120—122, 228.

(**) Αἱ διαθῆκαι τῶν ιβ' πατριαρχῶν.

есть указаніе на списокъ Завѣтовъ 1261 года (*). По обширности цѣлаго памятника мы помѣстили въ своемъ изданіи только два первые изъ этихъ Завѣтовъ, по которымъ можно составить себѣ понятіе о характерѣ содержанія ихъ и самомъ переводѣ памятника.

Пересчитывая въ слѣдъ за греческимъ индексомъ апокрифическія исторіи ветхаго завѣта, наша статья забыла по обыкновенію упомянуть настоящее ложное сказанье о *Ноѣ* (Памятн., стр. 17—19) въ сочиненіяхъ Меѳодія Патарскаго, извѣстныхъ еще древнему нашему лѣтописцу. Несмотря на баснословный характеръ ихъ, статья наша причисляла постоянно Меѳодія къ книгамъ истиннымъ. Это сказаніе о Ноѣ передается въ статьѣ Меѳодія, подъ заглавіемъ «Слово о созданіи Адамли, и о второмъ пришествіи, и о Михаиловѣ царствѣ, и о Антихристѣ» (такъ въ Толст. 2, 229), чрезвычайно извѣстной въ старину и имѣющей различныя редакціи. Меѳодій разсказываетъ, что когда Ной по повелѣнію ангела началъ тайно строить ковчегъ на горѣ, то дьяволъ, искони ненавидящій человѣческому роду, подстрекалъ жену его узнать, куда ходитъ ея мужъ. Чтобы вѣрнѣе успѣть въ этомъ, онъ велѣлъ ей взять травы, которая вьется около дерева, заквасить съ мукой и напоить Ноя, — новая легенда о происхожденіи хмѣльнаго питія. Жена Ноя исполнила наставленіе и ласкаясь къ повеселѣвшему мужу, узнала его тайну; и когда на другой день Ной поднялся на гору, онъ увидѣлъ, что ковчегъ, который онъ строилъ семь лѣтъ, разрушенъ. Это было божіе наказаніе за нарушеніе заповѣди. Тогда Ной надѣлъ *власяницу*, сорокъ лѣтъ не прикасался къ своей женѣ и въ это время снова выстроилъ ковчегъ. Ангелъ велѣлъ ему войти въ ковчегъ со всѣмъ семействомъ и далъ ему бильцо: Ной, ставши у ковчега, началъ бить въ него, и бильцо всякимъ языкомъ звало животныхъ, и они шли въ ковчегъ изъ воздуха и изъ пустынь. Это преданье о *билѣ*, часто замѣнявшемъ въ старину колокола, повторяетъ и Палея; по разсказу ея ангелъ также дастъ Ною било, — «и удари (Ной) въ било, слышавше же гласъ той и собрашася къ нему звѣріе и скоты, и птица, и гады, *и прочіи народи* отъ четырехъ конецъ (**)». Эти *прочіе народы* довольно забавны.

Въ это время дьяволъ опять искусилъ жену Ноя и велѣлъ ей войти въ ковчегъ только тогда, когда Ной скажетъ ей: «поди, діа-

(*) См. *Оболенскаго*, Переясл. лѣтоп., предисл., стр. 22, 29.
(**) Румянц. Палея 1494 г., *л.* 44.

воле, въ ковчегъ»,—тогда онъ надѣялся и самъ попасть въ ковчегъ, куда не могъ проникнуть иначе. Такъ и случилось. Собирая населеніе ковчега, Ной долго звалъ свою жену, наконецъ сказалъ съ гнѣвомъ эти слова, и дьяволъ въ пазухѣ жены его вошелъ въ ковчегъ. Тогда начался потопъ, оттого,—что тридцать китовъ сошли въ морѣ отъ своихъ мѣстъ и открыли *морскія оконца*. Вода поднялась выше горъ *аравицкихъ*—весьма извѣстныхъ въ нашихъ сказочныхъ преданіяхъ,—все живущее на землѣ погибло, и дьяволъ задумалъ погубить и остальныхъ людей: онъ превратился въ мышь и началъ грызть дно ковчега; Ной помолился Богу, лютый звѣрь левъ *прыснулъ* (чихнулъ), и изъ ноздрей его выскочили котъ и кошка и удавили мышь. Дьявольское злоумышленіе не удалось.

Это ложное преданіе рукописи очень вѣрно передается въ народномъ разсказѣ, который г. Якушкинъ записалъ въ Орловской губерніи; переиначено только послѣднее приключеніе: именно, дьяволъ спокойно просидѣлъ все время въ ковчегѣ и вышелъ потомъ на землю; этимъ и объясняется, что «*потопа* прошла, а грѣхъ остался» (*). Въ другой также народной редакціи, этотъ конецъ снова передѣланъ, опять въ особенномъ смыслѣ: попавши въ ковчегъ, дьяволъ обернулся мышью и проточилъ дно, но *ужъ* заткнулъ отверстіе своей головой и ковчегъ уцѣлѣлъ. Это должно объяснять, почему въ народѣ считается грѣхомъ убить ужа (**).

Сомнѣнье въ истинности разсказовъ Меѳодія Патарскаго рѣдко обнаруживается въ старину; книги Меѳодія, какъ мы замѣтили, считались обыкновенно истинными; иногда совѣтовали въ отношеніи къ нимъ нѣкоторую осторожность, и только въ соловецкой редакціи статьи о ложныхъ книгахъ мы встрѣтили до сихъ поръ отзывъ о Меѳодіи, прямо неодобрительный. Статья такими словами указываетъ ложные пункты Меѳодіевыхъ писаній: «слово Меѳодія епископа паторимскаго, отъ начатка и до кончины, въ немъ же писанъ *Мунтъ*, сынъ Ноевъ, и три лѣта земли горѣти», — послѣднее относится къ концу упомянутаго слова Меѳодія, гдѣ говорится о послѣднихъ дняхъ и о второмъ пришествіи; но преданіе о построеніи ковчега и здѣсь неупомянуто.

Что касается до *Мунта* или *Монда*, которому приписывалось

(*) Лѣтописи р. лит. и древн., Тихонр., 2, 102.
(**) Аѳанасьева, Народн. легенды, стр. 51.

изобрѣтеніе астрономіи, гонимой древними моралистаии,—онъ былъ изъ числа мнимыхъ сыновей Ноя, которые не показаны въ его семействѣ потому, что родились уже послѣ потопа. Въ греческихъ памятникахъ онъ называется Монетономъ (*).

Изъ такихъ же греческихъ источниковъ взяты разныя редакціи нашихъ сказаній *о Мельхиседекѣ*, которыя также не занесены въ статью о ложныхъ книгахъ. Главнымъ изъ этихъ произведеній было «слово» Аѳанасія Александрійскаго, весьма часто встрѣчающееся въ прологахъ (22 мая), Палеяхъ и сборникахъ (**). Содержаніе статьи, какъ замѣтитъ читатель, имѣетъ нѣкоторое сходство съ началомъ Ѵвраамова «откровенія», о которомъ мы упомянемъ ниже. Мельхиседекъ представляется сыномъ царя-идолопоклонника Мельхила, и также какъ Авраамъ сомнѣвается въ истинности языческихъ боговъ. Когда Мельхилъ послалъ его однажды за тельцомъ для жертвоприношенія, Мельхиседекъ на пути взглянулъ на небо, и помысливъ о солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ, убѣдился, что жертву слѣдуетъ приносить не идоламъ, а зиждителю этихъ свѣтилъ. Когда онъ вернулся домой безъ тельцовъ и началъ убѣждать отца поклониться истинному Богу, отецъ пришелъ въ ярость и хотѣлъ сжечь Мельхиседека въ жертву своимъ богамъ; но провидѣніе спасло Мельхиседека. Онъ удалился на гору Ѳаворъ, принесъ молитву Богу, чтобы онъ наказалъ идолопоклонниковъ и земля пожрала ихъ. Оттого Мельхиседекъ называется «безъ отца и безъ матери»; отъ рода его не осталось памяти. Послѣ того онъ семь лѣтъ молился на Ѳаворѣ, не носилъ одежды, питался корой; наконецъ Богъ послалъ къ нему Авраама и Мельхиседекъ благословилъ его. Впослѣдствіи, когда Авраамъ воротился «отъ сѣчи съ царями», Мельхиседекъ принесъ чашу нераствореннаго (водой) вина и уломокъ хлѣба для Авраама и людей его, которыхъ было 318. Приношеніе его было прообразованіемъ христіанской жертвы, а число людей Авраама предвѣщало число святыхъ отцовъ собравшихся на соборъ въ Никеѣ.

Статьѣ Аѳанасія предшествуетъ обыкновенно «память» Мельхиседека, повторяющая вкратцѣ почти тоже самое. Наконецъ Палея приводитъ изъ Ѳеодорита баснословную генеалогію Мельхиседека, въ ко-

(*) *Μονήτων ὁ τοῦ Νῶε υἱός.. πρῶτος ἀστρονομίας τέχνην ἐφεῦρεν.* См. Fabric., V. Test. 1, 276.

(**) Напр. въ Румянц. рукописяхъ XV-го вѣка № 42, 321 (Прологи), 453 (Палея), и множество списковъ болѣе позднихъ.

торую вставлены гигантъ Невротъ, Нинъ и Семирамида, цари персидскіе и египетскіе. Подлинникъ статьи Аѳанасія приведенъ въ книгѣ Фабриція, гдѣ можно найти извѣстія объ этомъ апокрифѣ (*). Варіанты нашей статьи съ греческимъ памятникомъ очень незначительны.

Переходимъ къ апокрифическому *Апокалипсису Авраама.* Къ сожалѣнію, мы должны были ограничиться въ своемъ изданіи однимъ отрывкомъ его, потому что у насъ не было подъ руками полнаго и вѣрнаго списка его. Литературная исторія Авраамова Апокалипсиса любопытна въ особенности по отношенію къ общей исторіи апокрифическихъ памятниковъ христіанства: онъ до сихъ поръ оставался очень мало извѣстенъ историкамъ этой литературы и нашъ памятникъ впервые объяснитъ содержаніе этого «Откровенія».

Наша статья о ложныхъ книгахъ не знаетъ однако этого памятника; какъ въ другихъ случаяхъ называла она вещи, не существовавшія въ нашей письменности, такъ здѣсь она не замѣтила ложной книги,—помѣщавшейся въ «Палеѣ», которую статья одобряла.

Книга съ именемъ Авраамъ упоминается въ нѣкоторыхъ греческихъ индексахъ, напр. у Аѳанасія и Никифора Константинопольскаго, и подъ это названіе подводили различные апокрифы и ложнонадписанныя книги съ именемъ этого патріарха. Въ числѣ ихъ называли и Апокалипсисъ Авраама, о которомъ упоминаетъ Епифаній въ своемъ сочиненіи о ересяхъ (XXXIX, 5): онъ говоритъ именно, что у еретиковъ Сиѳянъ были книги, сочиненныя ими подъ именами великихъ мужей, и между прочимъ книга съ именемъ Авраама, которую они выдаютъ за его Апокалипсисъ. Ученый Фабрицій незналъ этого произведенія; издатель французскаго «Словаря апокрифовъ» также не сообщаетъ о немъ никакихъ ближайшихъ извѣстій,—такъ что нашъ памятникъ едва ли не впервые положительно открываетъ древнюю еретическую книгу Сиѳянъ. Старо-славянскій переводъ «Откровенія» Авраама извѣстенъ въ весьма древнихъ спискахъ, но до сихъ поръ изъ него былъ изданъ только отрывокъ въ нѣсколько строкъ по Сильвестровской рукописи XIV столѣтія, послужившей для изданія житія Бориса и Глѣба (**); другой старый списокъ XVI ст. на-

(*) Fabric., V. Test. I, 311—320. Греческій текстъ взятъ изъ изданія Аѳанасія, Монфокона.

(**) *Срезневскаго*, сказаніе о св. Б. и Глѣбѣ, въ предисл.

ходится въ рукописи Царскаго № 286. Мы заимствовали свой текстъ изъ Румянцовской Палеи, гдѣ онъ по обыкновенію смѣшанъ съ другими сказаньями и помѣщенъ подъ общимъ заглавіемъ: «книги о Авраамѣ праотци и патріарси». Настоящее названіе этого *Апокалипсиса* сохранилось однако въ упомянутыхъ Селивестровомъ сборникѣ и въ рукописи Царскаго: «книги *откровленія* Аврамѣ, сына Ферина» и проч. Текстъ въ первой половинѣ XIV вѣка былъ уже значительно испорченъ, но языкъ отличается весьма древними особенностями, такъ что первоначальное появленіе славянскаго памятника необходимо отнести къ еще болѣе отдаленной эпохѣ.

Не имѣя подъ руками удовлетворительнаго списка цѣлаго «Откровенія», мы ограничились изданнымъ отрывкомъ, котораго будетъ достаточно для объясненія литературной судьбы этого памятника. Эта часть «Откровенія» разсказываетъ о томъ, какимъ образомъ Авраамъ первый среди язычниковъ оставилъ идольское служеніе и познилъ истиннаго Бога, который открылъ ему себя и повелѣлъ оставить домъ отца-язычника. Отецъ его поклонялся идоламъ, сдѣланнымъ изъ дерева, камня и металловъ; когда они разбивались, онъ дѣлалъ новыхъ. Испытывая силу этихъ боговъ, Авраамъ бросалъ ихъ въ рѣку и старался убѣдить отца въ слабости его боговъ, которые не могутъ помочь самимъ себѣ; въ другой разъ Авраамъ поставилъ такого бога раздувать огонь, на которомъ онъ приготовилъ своему отцу «брашно», но когда Авраамъ отлучился, то богъ упалъ въ огонь и обгорѣлъ,— но это также не подѣйствовало на его отца. Вслѣдствіе этого Авраамъ такъ разсуждалъ объ истинномъ Богѣ: онъ начинаетъ съ огня, который разрушаетъ и то, что не принадлежитъ ему,—но Авраамъ не признаетъ его богомъ, потому что его одолѣваетъ вода, которая слѣд. *честнѣе* его; честнѣе воды земля, останавливающая воды,—потомъ солнце, изсушающее землю, дальше звѣзды и мѣсяцъ; наконецъ, онъ признаетъ Богомъ того, кто убагрилъ небеса, озолотилъ солнце, освѣтлилъ луну и звѣзды, изсушилъ землю среди водъ и сотворилъ человѣка. Отецъ не слушалъ убѣжденій. Тогда Авраамъ рѣшился «искусить» боговъ своего отца и зажегъ храмъ, гдѣ они стояли; братъ его Аронъ бросился помогать богамъ, «вымчать» ихъ, но и самъ сгорѣлъ съ ними. Онъ былъ первый человѣкъ, который умеръ прежде своего отца, и только послѣ этого дѣти стали умирать раньше своихъ отцовъ. Наконецъ Богъ явился Аврааму, повелѣлъ ему оставить домъ язычника-отца, и когда Авраамъ вышелъ,—небес-

ный огонь сжегъ домъ его и все, что было въ домѣ и землю на сорокъ локтей.

Таково содержаніе изданнаго нами отрывка. Древній лѣтописецъ былъ уже знакомъ съ этимъ апокрифическимъ разсказомъ—такъ далека его древность въ нашей письменности. Несторъ вставилъ нѣкоторыя подробности его въ извѣстную проповѣдь греческаго миссіонера, приходившаго ко Владиміру. Сличивши его разсказъ объ Аврамѣ съ нашимъ текстомъ, читатель легко узнаетъ буквальную выписку изъ «Откровенія» (*).

Греческій оригиналъ нашего памятника, сколько мы знаемъ, до сихъ поръ не только не изданъ, но и не указанъ историками апокрифической литературы, такъ что нашъ памятникъ до сихъ поръ есть единственный слѣдъ, оставшійся отъ этого произведенія. Источникъ Авраамова Апокалипсиса, существовавшаго по словамъ Епифанія у Сиѳяпъ, заключался, конечно, не въ этой христіанской ереси, а въ болѣе древнихъ восточныхъ преданьяхъ. Эти преданья вообще съ особенной любовью останавливались на личности патріарха, въ первый разъ говорившаго объ истинномъ Богѣ между язычниками. Аврааму приписывалось на востокѣ много разныхъ книгъ глубокаго и таинственнаго содержанія, напр. книги о магіи, идолопоклонствѣ, мистическія книги о твореніи міра, его «завѣтъ»; ему приписывали дальше изобрѣтеніе астрологіи, названій двѣнадцати мѣсяцевъ; онъ первый наученъ былъ ангелами еврейскому языку и т. д. Огромной славой Авраамъ пользовался и у народовъ мусульманскихъ, какъ отецъ Измаила, отъ котораго они ведутъ свое происхожденіе. Библейскія народныя легенды, собранныя въ позднихъ еврейскихъ и арабскихъ книгахъ, разсказываютъ о немъ длинную исторію, въ которой Авраамъ считается современникомъ миѳическаго Нимрода и въ преданьяхъ которой нельзя не видѣть связи съ апокрифическимъ «Откровеніемъ».

Эти преданья разсказываютъ, что когда Авраамъ родился, язычникъ-царь Нимродъ который требовалъ отъ своихъ подданныхъ, чтобы они поклонялись ему какъ Богу,—видѣлъ во снѣ звѣзду, помрачившую солнце и луну: снотолкователи объяснили ему, что родится мальчикъ, который лишитъ его престола и поклоненія людей. Нимродъ тотчасъ же, какъ Иродъ, велѣлъ истребить всѣхъ новорожденныхъ мальчиковъ, но мать успѣла скрыть новорожденнаго Авраама

(*) Лѣтопись, 1 стр. 39.

въ уединенной пещерѣ; она только изрѣдка приходила къ нему, потому что Богъ посылалъ ему небесную пищу. Когда Авраамъ въ первый разъ вышелъ изъ пещеры, онъ увидѣлъ одну прекрасную звѣзду: «вотъ мой Богъ,—сказалъ онъ,—который кормилъ и поилъ меня въ пещерѣ». Но скоро явилась въ полномъ блескѣ луна и затемнила звѣзду; тогда онъ сказалъ: «это вовсе не Богъ; я буду поклоняться лунѣ». Къ утру луна поблѣднѣла и взошло яркое солнце, но и солнце къ вечеру скрылось за горизонтомъ. Авраамъ сталъ спрашивать о Богѣ свою мать; она сказала ему о Нимродѣ, но Авраамъ отказался поклоняться ему,—онъ зналъ уже истиннаго Бога. Арабская исторія говоритъ и о жизни Авраама въ домѣ идолопоклонника—отца, но варіантъ ея довольно далекъ отъ нашего текста. Нѣсколько ближе эта исторія передается въ чисто еврейскихъ легендахъ, которыя были, конечно, прямымъ источникомъ и для мусульманскихъ преданій и для еретической книги Сиѳянъ.

«Терахъ былъ идолопоклонникъ,—говоритъ одна изъ нихъ,—однажды онъ отлучился и велѣлъ Аврааму продавать вмѣсто себя идоловъ Когда приходилъ къ нему покупщикъ, Авраамъ спрашивалъ его, сколько ему лѣтъ, и когда тотъ отвѣчалъ: мнѣ пятьдесятъ или шестьдесятъ лѣтъ, то онъ говорилъ: горе человѣку шестидесяти лѣтъ, который хочетъ молиться дѣлу одного дня! И покупщикъ уходилъ пристыженный. Однажды пришла къ нему женщина съ блюдомъ хлѣбовъ и сказала: вотъ! поставь передъ ними! Но онъ взялъ палку, разбилъ идоловъ и потомъ вложилъ палку въ руку самому большому изъ нихъ. Отецъ воротившись спросилъ его, что онъ сдѣлалъ?

— Что мнѣ отпираться, отвѣчалъ Авраамъ: приходила женщина съ блюдомъ хлѣбовъ и велѣла отдать имъ. Когда я сдѣлалъ это, то каждый изъ нихъ хотѣлъ первый ѣсть хлѣбы и тогда самый большой изъ нихъ всталъ и разбилъ ихъ палкой.

Но Терахъ сказалъ:

— Что ты выдумываешь? Развѣ они имѣютъ сознаніе?

— Развѣ уши твои не слышатъ, что говорятъ твои уста, спросилъ Авраамъ.

Тогда Терахъ взялъ его и передалъ Нимроду. Этотъ сказалъ ему:

— Оставь насъ поклоняться огню!

— Лучше же вамъ поклоняться водѣ, которая тушитъ огонь.

— Ну водѣ.

— Такъ лучше облакамъ, которыя носятъ воду.

— Хорошо, облакамъ.

— Лучше вѣтру, который разсѣваетъ облака.

— Ну, вѣтру.

— Лучше же человѣку, который выноситъ вѣтеръ.

— Ты только болтаешь, сказалъ Нимродъ. Я покланяюсь огню и

брошу тебя въ огонь; пусть освобождаетъ тебя изъ него Богъ, котораго ты почитаешь.

Авраамъ брошенъ былъ въ пылающую печь, но былъ спасенъ изъ нея».... (*)

Съ нѣкоторыми варіантами почти всѣ эти подробности находятся въ еврейской книгѣ *Іяшаръ* или «Книгѣ вѣрнаго», которая заключаетъ въ себѣ богатое собраніе ветхозавѣтныхъ, еврейскихъ легендъ и теперь въ первый разъ переведена въ «Словарѣ апокрифовъ» аббата Миня (т. 2, р. 1103 и слѣд.). Такимъ образомъ зародыши «Откровенія» несомнѣнно относятся къ древнимъ легендамъ еврейскаго народа. Вмѣстѣ съ множествомъ другихъ апокрифическихъ преданій они перешли и въ христіанство,—Апокрифы еврейскаго происхожденія вообще хорошо были извѣстны византійскимъ писателямъ и автору Палеи, въ которой встрѣчается Авраамово «Откровеніе»;—какъ видно, содержаніе его было близко извѣстно византійцамъ Свидѣ и Синкеллу (**). Во время броженія ересей, Апокалипсисъ Авраама нашелъ особенную вѣру у Сиоянъ, и сталъ окончательно еретической книгой. Христіанскіе учители внесли ее въ индексъ и запретили ея чтеніе. Но этого запрещенія не было въ тѣхъ греческихъ индексахъ, которыми руководились составители нашей статьи о ложныхъ книгахъ, и она почти всегда ускользала отъ запрещеній. Мы уже говорили, что точно также ускользали отъ нихъ и многія другія ложныя книги.

Съ другой стороны статья до поздняго времени продолжала запрещать книги «Асенеѳъ», «Ельдадъ и Модадъ», которыя повидимому никогда не бывали въ русской письменности. Большая часть нашихъ индексовъ пропускаютъ—впрочемъ эти имена, и безъ сомнѣнія именно потому, что на дѣлѣ они ничего не напоминали русскому грамотнику. Ихъ опять приводитъ однако составитель Соловецкаго списка, очевидно старавшійся собрать въ немъ все запретное и ложное, что только зналъ или слышалъ.

Асенеѳъ (Ἀσενέθ) по книгамъ апокрифическимъ была дочь геліопольскаго жреца Пентефрія, совѣтника Фараона, и жена Іосифа. Повидимому, преданье смѣшало отчасти этого Пентефрія съ тѣмъ, жена котораго соблазняла Іосифа. Асенеѳъ была необыкновенная красавица; кромѣ отца, ее никогда не видѣлъ ни одинъ мужчина; она презирала

(*) См. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? стр. 124. Weil Bibl. Legenden der Muselmänner, 68—72.

(**) Fabric. V, Test, 1, 336 и слѣд.

мужчинъ и хотѣла отдаться только царскому сыну. Когда Іосифъ, ставшій уже первымъ другомъ и совѣтникомъ Фараона, собиралъ въ плодородные годы хлѣбъ на будущее голодное время, онъ былъ по этому и у Пентефрія; гордая Асенеѳ увидѣла его и увлеклась его красотой, но Іосифъ упрекнулъ ее идолопоклонствомъ. Тронутая укоромъ Асенеѳ отреклась отъ своихъ ложныхъ боговъ; она окончательно предалась истинному Богу, когда ея раскаяніе было услышано и ангелъ явился къ ней на небесной колесницѣ съ привѣтствіемъ. При новой встрѣчѣ съ Іосифомъ, она открылась ему, и Іосифъ на ней женился.

На этомъ основана исторія Асенеѳъ,—прекрасный маленькій романъ съ чисто восточными красками и фантазіей. Этотъ библейскій романъ былъ довольно извѣстенъ и средневѣковой Европѣ: Винцентій Бовесскій вставилъ его въ свое латинское «Историческое зерцало» (I. 2, с. 118); у нѣмцевъ также была Liebliche Historia Assenath. Греческій и латинскій тексты ея оба изданы въ книгѣ Фабриція объ апокрифахъ Ветхаго Завѣта (*). Наши памятники знали Асенеѳ кажется только по имени; хронографы разсказываютъ только, что «Фараонъ даетъ Іосифу жену Асенеѳ — (въ Палеѣ 1494 г. Асенѳа), дщерь Пентефріеву іерея, еже есть владыки солнечнаго града» и пр.

Въ нашей письменности неизвѣстна была кажется и та апокрифическая *молитва Іосифова,* названіе которой перенесено было въ нашу статью изъ греческаго индекса, и которая во многихъ спискахъ неправильно называется Сиоовой молитвой. Этотъ апокрифъ считаютъ произведеніемъ александрійскихъ евреевъ или первыхъ христіанскихъ сектъ; Оригенъ приводитъ изъ него отрывки. Содержаніе этой молитвы въ точности неизвѣстно; одни считали ее молитвой самого Іосифа,—но такъ какъ въ извѣстныхъ отрывкахъ выводится говорящимъ самъ Іаковъ, то думали, что это было благословеніе, которое давалъ своему сыну умирающій Іаковъ. Ученые богословы стараго времени находили въ ней слѣды неоплатонизма или же ученіе еврейскихъ каббалистовъ (*). Въ нашей старинной Палеѣ также есть «молитва Іосифова» (напр. Румянц. № 453 л. 94), въ которой онъ проситъ Бога объ избавленіи отъ неистовства жены Пентефрія, и обращаясь къ Іакову, проситъ его заступленія предъ Богомъ. Молитва начинается слѣдующими словами:

(*) V. Test. 1, 774—784; 2, 85—102.
(*) Fabric. 1, 761.

«Боже отець нашихъ, Авраамовь, Исааковъ, Іяковль, избави мя отъ звѣри сего, се бо якоже самь видиши неистовьство жены сеа, како мя хощетъ убити таи» и проч.

По всей вѣроятности это есть совершенно особое произведеніе, не имѣющее связи съ упомянутымъ апокрифомъ.

Наша статья упоминаетъ наконецъ имена *Ельдадъ* и *Модадъ*. Имена эти приводятся и въ древнемъ спискѣ пророковъ ,которыхъ пророчества не сохранились. Это были два человѣка изъ числа семидесяти двухъ мужей, которыхъ Моисей выбралъ для управленія народомъ, Когда онъ призвалъ ихъ къ священному жертвеннику, они отказались идти къ нему, считая себя недостойными, и тогда, въ награду за смиреніе, на нихъ сошелъ духъ пророчества. Отсюда кто-то въ древности взялъ поводъ составить апокрифическую книгу ихъ пророчествъ, теперь уже неизвѣстную. Эта книга, обозначаемая ихъ именами, упомянута была въ греческихъ индексахъ, напр. у Аѳанасія, Никифора Константинопольскаго, затѣмъ у Никона Черногорца и въ томъ спискѣ апокрифовъ, который находится въ сборникѣ Святослава; изъ этихъ послѣднихъ источниковъ запрещеніе книги попало и въ разныя редакціи статьи о ложныхъ книгахъ. По однимъ извѣстіямъ Ельдадъ и Модадъ пророчествовали о смерти Моисея въ пустынѣ и предводительствѣ Іисуса Навина; по другимъ—объ иныхъ событіяхъ, напр. о Гогѣ и Магогѣ...

Изъ приведенныхъ теперь примѣровъ читатель могъ уже видѣть нѣкоторыя черты старинной ложной литературы, съ которыми мы послѣ познакомимся еще ближе. Ложныя книги, напр. разсказъ о твореніи міра и первомъ человѣкѣ, давно уже и глубоко проникали въ народныя представленія и создавали въ понятіяхъ массы новую космогонію. Чуженародный элементъ, именно византійскій, сильно дѣйствовалъ при этомъ на характеръ религіозныхъ представленій и, слѣдовательно, налагалъ на народность особенныя черты, вошедшія потомъ въ ея сущность. Такимъ образомъ исторія самой народности, т. е. ея измѣненій и переходъ отъ однихъ свойствъ къ другимъ, начинается уже съ тѣхъ отдаленныхъ временъ, съ которыхъ мы можемъ указывать вліяніе христіанства, Византіи и ложныхъ книгъ. Въ это время, съ первыхъ ложныхъ памятниковъ уже начинаетъ создаваться то популярное христіанство, о которомъ мы говорили прежде, и которое должно было составить впослѣдствіи сущность религіозныхъ понятій рас-

кола. Наконецъ въ неопредѣленности обозначенія ложныхъ книгъ, мы могли бы замѣтить слѣды той неясности догматическихъ положеній, которой не были чужды въ древней Руси даже оффиціальные блюстители вѣры, и которая поэтому такъ легко могла въ неразвитой массѣ дойти до самыхъ странныхъ представленій.

Въ слѣдующей статьѣ мы кончимъ нашъ обзоръ ложныхъ книгъ ветхозавѣтной исторіи и перейдемъ къ новозавѣтнымъ преданьямъ.

А. ПЫПИНЪ.

Русскій Донъ-Кихотъ. (Сочиненія И. В. Кирѣевскаго I и II т. Москва. 1861 годъ.)

I.

Ничто не можетъ быть безцвѣтнѣе и неопредѣленнѣе общихъ выраженій: обскурантъ, прогрессистъ, либералъ, консерваторъ, славянофилъ, западникъ; эти выраженія нисколько не характеризуютъ того человѣка, къ которому они прикладываются; они надѣваютъ непрошенный мундиръ на его умственную личность и, вмѣсто живаго человѣка, мыслящаго и чувствующаго по-своему, показываютъ намъ неподвижную вывѣску замкнутаго круга убѣжденій. Чѣмъ даровитѣе и замѣчательнѣе разсматриваемая личность, тѣмъ пошлѣе кажутся мнѣ общіе эпитеты, прилагаемые къ ней такими критиками, которые не хотятъ или не умѣютъ вдуматься въ ея личныя особенности, прослѣдить ея индивидуальное развитіе и, такимъ образомъ, вмѣсто голаго термина дать оживленную характеристику.

Еслибы подойдти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣевскаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ Современника, то съ нимъ порѣшить было бы очень не трудно. Причислить его къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дѣло не станетъ;

изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ покоробитъ самаго невзыскательнаго читателя; ну, стало быть и толковать нечего; привелъ полдюжины самыхъ пахучихъ выписокъ, поглумился надъ каждою въ отдѣльности и надъ всѣми въ совокупности, поспорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ прогрессивнымъ заключеніемъ и дѣло готово—статья идетъ въ типографію.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Напасть то Кирѣевскаго не трудно, да толку то въ этомъ мало. Бороться съ нимъ не зачѣмъ, потому что его дѣятельность уже принадлежитъ прошедшему; если же мы останавливаемся на немъ, какъ на совершившемся фактѣ, то мы должны или объяснить его по мѣрѣ силъ, или сознаться въ томъ, что мы объяснять не умѣемъ; а поработать надъ объясненіемъ личности Кирѣевскаго, какъ любопытнаго психологическаго факта—право стоитъ. Друзья и единомышленники Кирѣевскаго скажутъ, конечно, что его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознанія, что принесенная имъ польза будетъ оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подобными мнѣніями согласиться невозможно: Кирѣевскій былъ плохой мыслитель,—онъ боялся мысли; Кирѣевскій никуда не подвинулъ русское самосознаніе, онъ даже не затронулъ его; его статьи никогда не производили впечатлѣнія; ихъ читали мало, и теперь ихъ совсѣмъ забыли, несмотря на то, что послѣдняя изъ нихъ была написана всего лѣтъ семь тому назадъ; пользы Кирѣевскій не принесъ никакой, и если послѣдующія поколѣнія по какому нибудь чуду запомнятъ его имя, то они пожалѣютъ только о печальныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго человѣка. Еслибы Кирѣевскому удалось составить себѣ обширный кругъ читателей и пріобрѣсти себѣ значеніе въ литературѣ, то вліяніе его идей составило бы самый яркій антагонизмъ съ пропагандою Бѣлинскаго. Всякому честному дѣятелю литературы пришлось бы воевать съ нимъ всѣми силами своего пера; противъ него поднялись бы всѣ люди, сколько нибудь дорожащіе мыслію; за него стали бы только люди очень органиченные или очень недобросовѣстные. А самъ Кирѣевскій былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей степени добросовѣстный — отчего же онъ хотѣлъ остановить разумъ на пути его развитія? Отчего онъ порывался поворотить его назадъ къ младенческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-

то пунктахъ и заключается психологическій интересъ тѣхъ вопросовъ, на которые наводитъ чтеніе сочиненій Кирѣевскаго и приложенныхъ къ нимъ матеріаловъ для его біографіи.

II.

И. В. Кирѣевскій родился въ 1806 году и выросъ въ деревнѣ своихъ родителей. Отецъ его умеръ, когда ему было шесть лѣтъ, а мать его, черезъ 5 лѣтъ послѣ смерти своего мужа, вышла замужъ за Елагина. Молодой Кирѣевскій привязался къ своему вотчиму и выросъ подъ его вліяніемъ. Доброе согласіе его съ своимъ семействомъ продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически къ личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому онъ не испыталъ того тяжелаго разочарованія, которое переживаютъ почти всѣ люди, начинающіе мыслить. Вѣроятно, дѣтство Кирѣевскаго оставило въ его душѣ самое свѣтлое воспоминаніе; до конца жизни онъ дорожилъ тѣми лицами, которыя управляли его первоначальнымъ воспитаніемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ педагогическіе пріемы, ихъ воззрѣнія на жизнь, ихъ отношенія къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ; одобряя ихъ понятія, Кирѣевскій самъ успокоивался на нихъ и не чувствовалъ необходимости стремиться къ чему нибудь болѣе разумному; спокойно и пріятно проведенное дѣтство вмѣстѣ съ неизгладимыми воспоминаніями оставило въ его умѣ такой густой осадокъ допотопныхъ идей, котораго не могли сдвинуть съ мѣста ни житейскія волненія, ни теоретическія размышленія. Любознательность Кирѣевскаго была очень велика—онъ много читалъ, серьезно задумывался надъ прочитаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи начинали разрушать образы, населявшіе его дѣтство, такъ онъ отстранялъ ихъ прочь, чистосердечно называя ихъ заблужденіями и не считая даже нужнымъ останавливаться на вопросѣ—точно ли это заблужденія. Кирѣевскій любилъ тѣ понятія, съ которыми онъ свыкся въ дѣтствѣ; а когда человѣкъ любитъ какую нибудь идею, тогда бываетъ очень трудно убѣдить его въ ея несостоятельности; чтобы опрокинуть въ головѣ его эту любимую идею, необходимъ сильный толчокъ, крутой переворотъ или постоянное вліяніе другаго человѣка, стоящаго

выше его по развитію и смотрящаго на вещи непредъубѣжденными глазами. Ни того, ни другаго не пришлось испытать Кирѣевскому.

— Мы,—пишетъ онъ къ г. Кошелеву, мечтая о жизни,—возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностью, возбудивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога.

Въ началѣ 1830 года Кирѣевскій, воодушевленный этими *высокими* стремленіями, уѣхалъ за-границу; ему въ это время пришлось пережить глубокое огорченіе; онъ сдѣлалъ предложеніе любимой женщинѣ и получилъ отказъ; это событіе потрясло его здоровье и медики предписали ему путешествіе, какъ лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремленіе къ широкой жизни мысли; ему было уютно въ московскомъ кругу родственниковъ и друзей, и спокойное наслажденіе ровными отношеніями съ окружающими людьми было для него дороже кипучей дѣятельности и разнообразныхъ волненій умственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ онъ черезъ нѣсколько дней послѣ своего отъѣзда изъ Мосвы, это я чувствую, разставшись съ вами.

Мягкосердечный московскій юноша пробылъ за-границею всего 10 мѣсяцевъ, и заграничная атмосфера не успѣла произвести въ немъ никакого благотворнаго измѣненія. Онъ мѣрялъ западную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ московскихъ убѣжденій, которыя казались ему непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Бѣлокаменной. Онъ слушалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, усвоивалъ себѣ фактическія свѣдѣнія, сообщалъ въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ остроумныя замѣтки о методѣ и манерѣ ихъ преподаванія, и между тѣмъ самъ оставался неразвитымъ, наивнымъ ребенкомъ, не умѣвшимъ ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями папеньки и маменьки.

Слушая лекціи Шлейермахера, профессора теологіи, Кирѣевскій находилъ, что Шлейермахеръ слишкомъ много разсуждаетъ, и что современному мыслителю слѣдуетъ воздерживаться отъ анализа подробностей. Избавляю себя отъ обязанности выписывать то мѣсто, въ которомъ Кирѣевскій произноситъ сужденіе надъ Шлейермахеромъ, и прошу читателей моихъ, желающихъ познакомиться съ этимъ сужденіемъ, пробѣжать въ I томѣ, 42-ую страницу матеріаловъ.

Въ Берлинѣ Кирѣевскій познакомился съ Гегелемъ, и на него сильно подѣйстовала чарующая мысль, что онъ окруженъ *первоклас-*

сными умами Европы; онъ выразилъ эту мысль въ письмахъ на родину; съ первоклассными умами онъ говорилъ «о политикѣ, о философіи, о религіи, о поэзіи»; какъ на него подѣйствовали сужденія первоклассныхъ умовъ объ этихъ высокихъ предметахъ, онъ не пишетъ. Развивалъ ли онъ самъ передъ ними свои наивно-ребяческія понятія и нравилось ли имъ его нетронутое простодушіе, онъ также не сообщаетъ. Сношенія Кирѣевскаго съ Гегелемъ и его знакомыми продолжались очень недолго и поэтому не успѣли произвести прочнаго впечатлѣнія. Кирѣевскій съ любопытствомъ осмотрѣлъ мнѣнія первоклассныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки какого нибудь музеума, и оставилъ эти мнѣнія нетронутыми вѣроятно потому, что они рѣзко разсходились съ его стремленіями и казались ему непригодными для жизни.

Въ концѣ 1830 года Кирѣевскій возвратился въ Россію. Впечатлѣнія его заграничной жизни глубоко запали въ его воспріимчивый умъ, и выразились въ искреннемъ сочувствіи къ западному просвѣщенію, въ сильномъ желаніи провести въ русскую жизнь начала лучшей цивилизаціи. Въ теченіи 1831 года онъ собралъ матеріалы для изданія журнала, составилъ себѣ кругъ сотрудниковъ и въ 1832 году выпустилъ въ свѣтъ двѣ первыя книжки журнала Европеецъ. Сочувствіе Кирѣевскаго къ западному просвѣщенію обнаружилось въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ», открывшей собою его журналъ и выразившей въ общихъ чертахъ ту программу, которой намѣренъ былъ слѣдовать издатель. Въ этой статьѣ проведена мысль о необходимости постояннаго умственнаго общенія между Европою и Россіею. «Ибо просвѣщеніе одинокое, говоритъ Кирѣевскій, китайски отдѣленное, должно быть и китайски ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага— ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества». Въ этой статьѣ можно замѣтить только одинъ существенно важный недостатокъ—крайнюю голословность и бездоказательность. Въ подтвержденіе своихъ идей Кирѣевскій не приводитъ ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченныхъ умозрѣніяхъ; Кирѣевскій составляетъ себѣ какую-то химическую формулу европейской образованности и потомъ, отвернувшись отъ дѣйствительныхъ фактовъ, смотритъ только на эту формулу, передвигаетъ и перетасовываетъ ея ингредіенты, и подводитъ такіе итоги, которые столько же похожи на дѣйствительность, сколько списокъ примѣтъ, означенныхъ въ отпускномъ билетѣ, похожъ на живаго

владѣтеля этой бумаги. Все сочувствіе Кирѣевскаго къ европейской цивилизаціи улетучивается въ общихъ мѣстахъ и въ фразахъ; если оно не выражается въ междометіяхъ и восклицаніяхъ, то это происходитъ единственно оттого, что Кирѣевскій старается вездѣ выдерживать тонъ серьезнаго и основательнаго мыслителя. На самомъ же дѣлѣ въ его статьѣ кромѣ внѣшняго тона, нѣтъ ничего солиднаго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (не указывая на источникъ) его мнѣніе о томъ, что европейская цивилизація сложилась изъ трехъ элементовъ, изъ остатковъ класическаго міра, изъ христіанства и изъ германскаго варварства, и на эту тему начинаетъ разыгрывать варіаціи очень однообразныя, утомительныя и безполезныя. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута въ этой характеристикѣ девятнадцатаго вѣка. Мы не видимъ даже въ общихъ чертахъ, какъ живутъ люди въ Европѣ, какъ смотрятъ другъ на друга различныя сословія, къ чему стремятся отдѣльныя личности и цѣлыя партіи, какія потребности жизни отражаются въ литературѣ. Видно, что благоговѣніе Кирѣевскаго передъ первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нѣтъ дѣла до того, что ѣстъ французскій блузникъ, нѣтъ дѣла до того, что говоритъ на своемъ митингѣ англійскій ремесленникъ, нѣтъ дѣла до того, какъ богатая буржуазія эксплуатируетъ пролетаріевъ, и какъ буржуа, хозяинъ въ своемъ домѣ и въ своей семьѣ, давитъ индивидуальное развитіе своихъ сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающіе въ европейской жизни и составляющіе ея животрепещущій и общечеловѣческій интересъ, проходитъ мимо его просвѣщеннаго ума, занятаго недосягаемо высокими интересами и аристократически идеальными стремленіями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Кирѣевскій, очевидно, думаетъ, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины двѣ нѣмецкихъ профессоровъ философіи олицетворяютъ въ своихъ особахъ самые характерные моменты европейской цивилизаціи. Кирѣевскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истиннаго познанія имѣетъ міровое значеніе, и что высказавши эту мысль въ научной формѣ, Шеллингъ сдѣлалъ истинно великое открытіе, просто въ конецъ разъодолжилъ все человѣчество. Придавая такое колоссальное значеніе нѣмецкой умозрительной философіи, Кирѣевскій, конечно, забываетъ, что врядъ ли одна сотая часть всего населенія западной Европы интересуется діалектическими построеніями нѣмецкихъ профессоровъ, и что даже эта сотая не выноситъ для себя изъ этихъ діалектическихъ построеній ни-

чего существеннаго. Если подъ именемъ цивилизаціи подразумѣвать тѣ формы, въ которыя укладывается жизнь отдѣльнаго человѣка и народа, то умозрительная философія получитъ право участвовать въ картинѣ цивилизаціи настолько, насколько она содѣйствуетъ развитію и измѣненію бытовыхъ формъ и жизненныхъ отношеній. Въ этомъ случаѣ, она электрическимъ токомъ проходитъ черезъ тысячи работающихъ головъ; когда же эта умозрительная философія ограничивается построеніемъ формулъ, тагда она оставляется на долю досужимъ людямъ, которыхъ не помяла желѣзная рука вседневной заботы, и которымъ пріятно носиться въ отвлеченныхъ пространствахъ, вмѣсто того чтобы смотрѣть на горе окружающихъ людей и помогать имъ дѣломъ и совѣтомъ.

Умозрительная философія—пустая трата умственныхъ силъ, безцѣльная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, нуждающейся въ насущномъ хлѣбѣ. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллингъ, этого, конечно, не понялъ и Кирѣевскій. Вмѣсто того, чтобы взглянуть на умозрительную философію какъ на хроническое повѣтріе, какъ на болѣзненный наростъ, развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, стремившіяся къ практической дѣятельности, были насильственно сдавлены и задержаны, Кирѣевскій преклоняется передъ философами какъ передъ вожаками европейской мысли, любуется ими, какъ цвѣтомъ и надеждою европейской цивилизаціи. Замѣчательно, что масса читателей обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ какомъ нибудь одномъ, часто очень узкомъ, часто чрезвычайно широкомъ примѣненіи его идеи. Масса беретъ только практическій выводъ и обыкновенно дѣлаетъ этотъ выводъ такъ смѣло и такъ рѣзко, что самъ мыслитель пугается и пятится назадъ. Анабаптисты и крестьянскія войны были практическимъ выводомъ идей Лютера и Меланхтона, и Лютеръ вмѣстѣ съ Меланхтономъ испугались и прокляли свое собственное дѣло. Также точно Гегель, Шеллингъ и всѣ прочіе предводители «нѣмецкаго любомудрія» прокляли бы тѣ неожиданные выводы, которые дѣлаетъ Кирѣевскій на основаніи ихъ идей и ихъ дѣятельности. Этимъ «первоклассным» умамъ Европы пришлось бы краснѣть отъ стыда и досады, еслибы они узнали, что ихъ въ Россіи гладятъ по головкѣ за то, что они показали неудовлетворительность чистаго разума, составили реакцію противъ энциклопедистовъ XVIII вѣка и такимъ образомъ натолкнули европейскій западъ на возвратный путь — — Кирѣевскій, какъ мягкосердечный московскій юноша, сросшійся съ идеями своего родимаго го-

рода, увидалъ и понялъ въ нѣмецкихъ философахъ только то, что имѣло сходство съ его стремленіями. Чтобы согласить свое уваженіе къ первоклассным умамъ Европы съ своею слѣпою привязанностью къ тому, что толковали ему съ дѣтства маменька да нянюшка, Кирѣевскій употребилъ довольно ловкій маневръ: Кирѣевскій говоритъ что Гегель тѣмъ великъ и полезенъ, что, доведя раціонализмъ до крайнихъ предѣловъ, онъ показалъ недостаточность чистаго разума и убѣдилъ людей въ необходимости искать другихъ источниковъ познаванія, «очистилъ дорогу къ храму живой мудрости». Вотъ, думаетъ Кирѣевскій, западъ увидалъ, что на своихъ философахъ далеко не уѣдешь; вотъ онъ погорюетъ, погорюетъ да и обратится къ намъ за совѣтомъ, а мы, конечно, дадимъ ему совѣтъ въ московскомъ духѣ; западъ прислушается, увидитъ, что это «добро зѣло», скажетъ подобно князю Владиміру, что, отвѣдавъ сладкаго, уже не хочетъ горькаго, и заживемъ мы съ западомъ душа въ душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ лѣтъ тысячу тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ рисуются Кирѣевскому будущія отношенія между цивилизаціями Россіи и Европы. Эти краски въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» положены такъ легко, что онѣ проходятъ незамѣтными для невнимательнаго читателя; Кирѣевскій въ этой статьѣ напираетъ всего больше на то, что мы должны сближаться съ Европою и заимствовать у нея образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будетъ и на нашей улицѣ праздникъ; придетъ къ намъ Европа просить ума разума и мы великодушно подѣлимся съ нею нашими духовными благами. Въ статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» выражались такимъ образомъ два главные момента умственной жизни Кирѣевскаго; на эту статью положили свою печать дѣтство Кирѣевскаго и его путешествіе за-границу; первое отразилось въ теплотѣ чувства и въ робости мысли, второе—въ искреннемъ, но голословномъ и необъясненномъ сочувствіи къ европейской цивилизаціи. Чему сочувствуетъ Кирѣевскій—мы не видимъ. На что ему нужна Европа—не понимаемъ. Словомъ, во всей статьѣ переплетается московскій сантиментализмъ съ какимъ-то сердечнымъ влеченіемъ къ европейскому западу. При этомъ должно замѣтить, что это неопредѣленное, сердечное влеченіе не имѣетъ ничего общаго съ сознательнымъ уваженіемъ зрѣлаго человѣка къ оцѣненной и провѣренной идеѣ.

III.

Еслибы Кирѣевскій, управляя журналомъ, продолжалъ уяснять себѣ и публикѣ свои стремленія и симпатіи, то вѣроятно онъ договорился бы до какихъ нибудь осязательныхъ результатовъ; онъ увидалъ бы противорѣчіе между европеизмомъ и московскою сантиментальностью и склонился бы опредѣленнымъ образомъ на ту или на другую сторону. Пока впечатлѣніе заграничнаго путешествія было еще свѣжо и сильно, можно было надѣяться, что западный элементъ возьметъ верхъ надъ воспоминаніями дѣтства; но тутъ, къ несчастью, непредвидѣнныя обстоятельства насильственно прервали дѣятельность Кирѣевскаго. Европеецъ прекратился на первыхъ двухъ книжкахъ. Люди съ сильнымъ характеромъ раздражаются неудачами; ихъ энергія удвоивается при борьбѣ съ препятствіями; ихъ убѣжденія становятся строже и послѣдовательнѣе, обозначаются отчетливѣе, рѣзче и неумолимѣе. Но съ Кирѣевскимъ этого не могло случиться; онъ упалъ духомъ, пересталъ писать, сталъ внимательно пересматривать свои убѣжденія и во многомъ измѣнилъ ихъ основной характеръ. Онъ, конечно, не прививалъ къ себѣ искуственно такихъ идей, которыя гармонировали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ себя насиловать, не поплылъ сознательно по теченію, но, какъ человѣкъ въ высшей степени впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой неудачи самое сильное потрясеніе; встревоженный и огорченный, онъ усомнился въ самомъ себѣ; ему пришло въ голову, что можетъ быть, это *само Провидѣніе* даетъ ему спасительный урокъ, что, можетъ быть, онъ заблуждался и указывалъ своимъ согражданамъ такой путь развитія, который не соотвѣтствуетъ ихъ потребностямъ. Когда въ умѣ Кирѣевскаго началось это тяжелое раздумье, когда ему такимъ образомъ представился случай, подъ вліяніемъ житейской невзгоды, выковать себѣ убѣжденія зрѣлаго человѣка, тогда воспоминанія дѣтства въ полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображенію. Окружающія впечатлѣнія, Москва и Долбино (родовое имѣніе Кирѣевскихъ), взяли верхъ надъ европейскими тенденціями, пробудившимися во время заграничной поѣздки, и выразившимися въ прерванной дѣятельности молодаго журналиста. Эти тенденціи, въ которыхъ было такъ много неяснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много искренняго, эти тенденціи, изъ которыхъ, при другихъ

условіяхъ, могло выработаться много хорошаго и разумнаго, отошли на задній планъ, завяли и зачахли, уступили свое мѣсто другимъ воззрѣніямъ, мрачнымъ, безплоднымъ и безжизненнымъ.

Если можно сближать литературный типъ съ личностью дѣйствительно существовавшаго человѣка, то я позволю себѣ сравнить участь Кирѣевскаго съ судьбою Лизы изъ «Дворянскаго гнѣзда» Тургенева. И Кирѣевскій, и Лиза носили въ себѣ съ дѣтства зародыши того разложенія, которое современемъ погубило и извратило ихъ богатыя умственныя силы; оба они, и Кирѣевскій, и Лиза были способны жить разумною жизнью; еслибы имъ благопріятствовало счастье, то Лиза не пошла бы въ монастырь, а Кирѣевскій остался бы вѣренъ чисто европейскимъ тенденціямъ; но когда надъ ними обрушилась бѣда, тогда въ нихъ поднялись всѣ ихъ мистическіе инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекративъ изданіе Европейца, Кирѣевскій сосредоточился и въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ написалъ только двѣ небольшія статьи; когда онъ снова началъ высказываться въ печати, тогда направленіе его мыслей оказалось уже существенно измѣненнымъ. Составитель матеріаловъ для біографіи Кирѣевскаго находитъ, конечно, что это измѣненіе было важнымъ шагомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это измѣненіе было глубокимъ и окончательнымъ паденіемъ.

Обо многихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, по которому пошелъ Кирѣевскій, можно сказать просто: туда имъ и дорога! Но о Кирѣевскомъ нельзя не пожалѣть, какъ нельзя, напримѣръ, не пожалѣть о Гоголѣ. Несмотря на то, что его умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія, ему невозможно отказать въ значительной степени даровитости. Онъ не доводитъ никакой идеи до послѣднихъ предѣловъ, но въ діалектическомъ развитіи этой идеи онъ всегда обнаруживаетъ гибкость ума и логическую находчивость. Логика Кирѣевскаго скована пристрастіями и предразсудками, но отстаивая эти пристрастія и предразсудки, онъ пускаетъ въ ходъ самые разнообразные діалектическіе пріемы и дѣйствуетъ на читателя не силою послѣдовательности, а разнообразіемъ и наглядностью аргументовъ. Онъ не мыслитель; онъ просто человѣкъ горячо чувствующій и старающійся убѣдить читателя въ нормальности и законности своихъ симпатій. Люди, одаренные отъ природы непобѣдимою логикою здраваго смысла, конечно, увидятъ, къ чему клонятся усилія Кирѣевскаго, и не поддадутся ни его доводамъ, ни теплотѣ чувства, разлитаго въ его статьяхъ.

Что же касается до людей слабыхъ, чувствительныхъ и способныхъ увлекаться, то на нихъ могутъ подѣйствовать въ высшей степени — —тенденціи Кирѣевскаго, прикрытыя приличною литературною формою, соглашенныя наружнымъ образомъ съ интересами гуманнаго развитія и подкрашенныя научными терминами и именами новѣйшихъ философовъ.

Когда Кирѣевскій толкуетъ объ общихъ историческихъ вопросахъ, о потребностяхъ народа и человѣчества, тогда онъ оказывается совершенно не на своемъ мѣстѣ. У него не хватаетъ широты взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всемъ ихъ величіи и чтобы, обсуживая ихъ, не забиться въ какую нибудь трущобу, изъ которой нѣтъ выхода на свѣжій воздухъ. Объ Европѣ и о Россіи онъ судитъ вкривь и вкось, не зная фактовъ, не понимая ихъ и стараясь доказать всему читающеми міру, что и философія, и исторія, и политика нуждаются для своего оживленія именно въ тѣхъ понятіяхъ, которыя были привиты ему самому. Тотъ же Кирѣевскій, имѣя дѣло съ частнымъ вопросомъ, съ небольшимъ явленіемъ, не превышающимъ пониманія обыкновеннаго человѣка, оказывается очень тонкимъ цѣнителемъ, очень остроумнымъ критикомъ и безпристрастнымъ судьею.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много удачныхъ замѣчаній о нашей вседневной жизни, объ уродливыхъ и смѣшныхъ явленіяхъ, встрѣчающихся на каждомъ шагу въ нашемъ несложившемся обществѣ. Вотъ напр. что говоритъ Кирѣевкій въ своей статьѣ «Горе отъ ума на московскомъ театрѣ»:

«Философія Фамусова и теперь еще кружитъ намъ головы; мы и теперь, также какъ въ его время, хлопочемъ и суетимся изъ ничего, кланяемся и унижаемся безкорыстно, только изъ удовольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій минутныхъ и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, также какъ при Фамусовѣ, домы наши равно открыты для всѣхъ: для званыхъ и незваныхъ, для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши составляются не сходствомъ мнѣній, не сообразностью характеровъ, не одинакою цѣлью въ жизни и даже не сходствомъ нравственыхъ правилъ; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ и снова сближаетъ безъ всякихъ послѣдствій, безъ всякаго значенія».

Эти слова, по моему мнѣнію, выражаютъ вѣрный и безпощадный взглядъ на пустую жизнь нашего общества, на отсутствіе въ немъ общихъ интересовъ, на узкую ограниченность той сферы, въ которой мы живемъ и стараемся дѣйствовать. Ясно, что Кирѣевскій, выражая подобныя мысли, не мирился съ несовершенствами нашей дѣйствительности и считалъ необходимымъ исправленіе этихъ недостатковъ. Причину недостатковъ онъ видитъ въ томъ, что «изъ-подъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ русскаго кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица». Средство исцѣленія заключается, по его мнѣнію, въ сближеніи съ Европою, въ усвоеніи общечеловѣческихъ идей, въ уничтоженіи особенности и неподвижности. Всѣ эти идеи здравы и вѣрны; въ положительной ихъ части, т. е. тамъ, гдѣ Кирѣевскій указываетъ на то, что должно дѣлать, можно замѣтить ту же отвлеченную голословность, которую мы уже видѣли въ статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисленія недостатковъ, то должно сознаться, что въ ней много справедливаго и даже оригинальнаго. Кирѣевскій глубоко чувствовалъ безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось въ его произведеніяхъ въ очень разнообразныхъ формахъ; порою онъ является обличителемъ житейскихъ нелѣпостей, порою выражаетъ свое сочувствіе къ тѣмъ лучшимъ единицамъ, которыя страдаютъ въ душной атмосферѣ, порою самъ тоскливо стремится вонъ изъ дѣйствительности въ міръ мечты или въ область отвлеченнаго умозрѣнія. Въ небольшой статьѣ его «О рускихъ писательницахъ» можно найдти нѣсколько горячо прочувствованныхъ страницъ. Кирѣевскій понимаетъ, что женщина, чувствующая потребность высказаться передъ своими согражданами, принуждена бороться въ Россіи со многими и положительными, и отрицательными препятствіями; онъ понимаетъ, что трудъ женщины далеко не получилъ еще у насъ права гражданства, что женщина, предоставленная своимъ собственнымъ силамъ, принужденная преодолѣвать предъубѣжденіе однихъ, равнодушіе другихъ, непониманіе третьихъ, рискуетъ умереть съ голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на свое образованіе, ни на искреннее стремленіе къ честному и общеполезному труду. Если этого уже нѣтъ теперь, если въ наше время даровитая писательница пользуется всеобщимъ уваженіемъ, то это было иначе въ тридцатыхъ годахъ, кокда писалъ Кирѣевскій; тогда вообще кругъ читающей публики былъ гораздо тѣснѣе, и кромѣ того, предъубѣжденіе противъ литературнаго труда женщины имѣло свое значеніе въ обществѣ и въ

семействѣ. Вотъ напр. краткій разсказъ Кирѣевскаго объ одномъ замѣчательномъ фактѣ тогдашней литературы и тогдашней жизни:

«Недавно, говоритъ онъ, россійская академія издала стихотворенія одной русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ—поэтовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвѣстности. Судьба, кажется, отдѣлила ее отъ людей какою-то страшною бездною, такъ что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оставили ее, не знаю для чего; она оставила ихъ для своей Греціи,—для Греціи, которая, кажется, одна наполняла всѣ ея мечты и чувства; по крайней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Странно: семнадцати лѣтъ, въ Россіи, дѣвушка бѣдная, бѣдная со всею своею ученостью! Знать восемь языковъ, съ талантомъ поэзіи соединять талантъ живописи, музыки, танцованья, учиться самымъ разнороднымъ наукамъ, учиться безпрестанно, работать все дѣтство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать, отдыхая; написать три большихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть столько же на другихъ языкахъ; въ *свободное время* переводить трагедіи, русскія трагедіи,—и все для того, чтобы умереть въ семнадцать лѣтъ, въ бѣдности, въ крайности, въ неизвѣтности»!

Въ этомъ живомъ разсказѣ о неизвѣстныхъ трудахъ, объ этой глухой борьбѣ съ нуждою, объ этой молодой жизни, испепелившейся въ безплодныхъ усиліяхъ, слышенъ голосъ человѣка, способнаго чувствовать и понимать чужое горе. Въ этомъ разсказѣ слышится страшный укоръ нашей жизни. Отчего дѣвушка даровитая, работающая изо всѣхъ силъ, обладающая значительными свѣдѣніями, тратитъ время на безполезные стихи о Греціи, не находитъ въ русской жизни матеріаловъ для своей дѣятельности и умираетъ безпомощная, непризнанная, никому не нужная, никѣмъ и ничѣмъ не согрѣтая?

Кирѣевскій глубоко сочувствуетъ тѣмъ постояннымъ огорченіямъ, которыя впечатлительная душа женщины испытываетъ ежеминутно при разнообразныхъ столкновеніяхъ съ уродливыми явленіями *нашей* жизни. Онъ понимаетъ, что женщина, одаренная живымъ эстетическимъ чувствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую нибудь болѣе изящную и гармоническую среду.

«Италія, кажется, сдѣлалась ея вторымъ отечествомъ, говоритъ онъ объ одной изъ нашихъ писательницъ, и, впрочемъ, кто знаетъ?

Можетъ быть, необходимость Италіи есть общая, неизбѣжная судьба всѣхъ, имѣвшихъ участь ей подобную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ лучшій міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь, была, такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ и образованности, въ теплой итальянской атмосферѣ изящнаго; можетъ быть, для того уже нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее итальянское небо, и воздухъ итальянскій, исполненный солнца и музыки, и итальянскій языкъ, проникнутый всею прелестью нѣги и граціи, и земля итальянская, усѣянная великими воспоминаніями, покрытая, зачарованная созданіями геніальнаго творчества, — можетъ быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственнымъ, неудушающимъ воздухомъ для души, избалованной роскошью искусствъ и просвѣщенія».

Любуясь изящнымъ произведеніемъ, Кирѣеввкій невольно сравниваетъ гармонію этого произведенія съ нестройностью окружающей жизни; онъ чувствуетъ разладъ, существующій между міромъ мечты и міромъ сѣренькой дѣйствительности, и самое эстетическое наслажденіе переходитъ въ тихое чувство грусти. «Все слишкомъ идеальное, говоритъ онъ, даже при свѣтлой наружности, раждаетъ въ душѣ печаль какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ; такова одинокая, чистая пѣснь прослышанная сквозь нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь дѣвушки съ душою пламенною, мечтательною, для которой изъ міра событій существуютъ еще одни внутреннія». Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на внѣшней сантиментальности, которою грѣшитъ это мѣсто; вглядитесь въ основную мысль, вникните въ то настроеніе, которое выразилось въ этихъ тихихъ изліяніяхъ грусти, поставьте себя на мѣсто Кирѣевскаго, перенеситесь въ его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальныя.

У Кирѣевскаго разсѣяно въ его статьяхъ много замѣчательныхъ мыслей; чисто литературная критика его отличается вѣрностью эстетическаго чутья. Замѣчательнѣе другихъ его произведеній небольшая статья о стихотвореніяхъ Языкова. Приведу изъ этой статьи нѣсколько выписокъ, выражающихъ общія отношенія автора къ общимъ вопросамъ жизни.

«Мы часто, говоритъ Кирѣевскій, считаемъ людьми нравственными тѣхъ, которые не нарушаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго

стремленія къ добру и красотѣ. Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣтаго чувствами возвышенными, но одареннаго притомъ сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей которые поняли въ немъ красоту души, и сколько такихъ, которые замѣтили одни заблужденія. Странно, но правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше совсѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, между тѣмъ, какъ въ самомъ дѣлѣ, скажите, есть ли на свѣтѣ что нибудь безнравственнѣе равнодушія».

Вотъ замѣчательная мысль Кирѣевскаго объ отношеніахъ между жизнью и искусствомъ:

«Но когда является поэтъ оригинальный, открывающій новую область въ мірѣ прекраснаго и прибавляющій такимъ образомъ новый элементъ къ поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ о достоинствѣ художественномъ становится уже вопросомъ второстепеннымъ; даже вопросъ о талантѣ является неглавнымъ; но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, философическій; и лицо его становится идеею, и его созданія становятся прозрачными, такъ что мы не столько смотримъ на нихъ, сколько сквозь нихъ, какъ сквозь открытое окно; стараемся разсмотрѣть самую внутренность новаго храма и въ немъ божество, его освящающее.

Оттого, входя въ мастерскую живописца обыкновеннаго, мы можемъ удивляться его искусству; но предъ картиною художника творческаго забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ воображеніи то состояніе души, при которомъ она исполнена. Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ художникомъ свойственно однимъ художникамъ же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго: съ его любовью, съ его тоской, съ его восторгами, съ его мечтою-утѣшительницею, однимъ словомъ, съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не заботясь о событіяхъ его мастерской.

Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совершенства искусство само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въ душу».

Вотъ сужденіе Кирѣевскаго объ особенностяхъ поэзіи Языкова:

«Если мы вникнемъ въ то впечатлѣніе, которое производитъ на насъ его поэзія, то увидимъ, что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ воспѣваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ котораго жизнь

двоится въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, вседневною; другая — праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ восторгомъ. И между сими двумя существованіями лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мостовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи и, наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго веселья, когда собственные звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окружающаго міра,—звуки, которыми сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ случайному предмету, ихъ возбудившему».

Я, можетъ быть, утомилъ читателя выписками, но мнѣ хотѣлось дать возможно полное понятіе о свѣтлой сторонѣ литературной дѣятельности Кирѣевскаго. Въ этой свѣтлой сторонѣ отразилось способность сочувствовать всѣмъ человѣческимъ ощущеніямъ, и понимать чувствомъ всѣ человѣческія слабости и страданія. Кирѣевскій родился художникомъ и, неизвѣстно почему, вообразилъ себя мыслителемъ. Онъ впечатлителенъ, воспріимчивъ, отзывчивъ, способенъ подчиняться чужому вліянію, увлекаться чужими идеями; у него нѣтъ умственной самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себѣ идеи и симпатіи той среды, въ которой онъ живетъ и которую любитъ. Бывши юношею, онъ жилъ тѣмъ, что было втолковано ему въ дѣтствѣ; поѣхавши заграницу, онъ увлекся «первоклассными умами» Европы и началъ стремиться къ западному просвѣщенію, которое было извѣстно ему какъ-то по наслышкѣ, да по философскимъ трактатамъ Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышавъ гулъ московскихъ колоколовъ, онъ крѣпко приросъ къ той родимой почвѣ, о которой убивается журналъ Время и вообразилъ себя представителемъ славянскаго любомудрія, необходимаго для спасенія разлагающагося запада. Но, какъ ни глубоко было заблужденіе Кирѣевскаго, оно органически вытекало изъ основныхъ свойствъ его характера, изъ тѣхъ самыхъ свойствъ, которыя выразились въ нѣсколькихъ блестящихъ мысляхъ и въ нѣсколькихъ горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите ли, есть люди, которые не могутъ смотрѣть хладнокровнымъ критическимъ взглядомъ на все, что ихъ окружаетъ; имъ необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему нибудь, съ полнымъ самоотверженіемъ служить какому нибудь принципу или даже какому нибудь лицу. Когда эти люди успѣваютъ обречь себя на служеніе какой

нибудь великой, истинной идеѣ, тогда они совершаютъ великіе подвиги, становятся благодѣтелями своего народа и заслуживаютъ признательность современниковъ и потомковъ. Когда же они ошибаются въ выборѣ своего кумира, тогда они дѣлаются безпутными людьми, поступаютъ въ число гасильниковъ и становятся тѣмъ опаснѣе, чѣмъ ревностнѣе и чистосердечнѣе увлекаются своею привязанностью къ превратной идеѣ. Кирѣевскій чувствовалъ, что многія потребности просвѣщеннаго ума не находятъ себѣ удовлетворенія, что многія обыденныя явленія оскорбляютъ человѣческое чувство. Что же оставалось ему дѣлать въ такомъ положеніи? Оставалось бороться противъ тѣхъ сторонъ жизни, которыя можно было измѣнить, и мириться съ тѣмъ, что было не подъ силу отдѣльному человѣку. Мирясь съ явленіями жизни чисто внѣшнимъ образомъ, надо было оградить самого себя отъ развращающаго вліянія этой жизни. Надо было, отказываясь отъ фактической борьбы, оставаться на сторожѣ и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невѣжества, насилія и предразсудковъ. Но жить такимъ образомъ, безъ дѣятельной борьбы и безъ страстныхъ привязанностей значило жить чистымъ отрицаніемъ, не вѣрить ни въ себя, ни въ другихъ, ни въ идею, сознавать безотрадность настоящаго и сомнѣваться въ возможности лучшаго будущаго. Остановиться на такомъ печальномъ воззрѣніи на жизнь способны очень немногіе люди; чтобы ужиться съ чистымъ сомнѣніемъ въ области науки и жизни, надо обладать значительною трезвостью ума и недюжинною твердостью характера. Но у Кирѣевскаго не было ни того, ни другаго; страдая отъ особенностей жизни, онъ не могъ ни свыкнуться съ этими особенностями, ни выстрадать себѣ полное равнодушіе къ этой жизни. Уродливыя явленія мѣшали ему дѣйствовать, но они не мѣшали ему мечтать, и онъ весь ушелъ въ міръ мечты, унося съ собою свою діалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себѣ, и другимъ, что мечта его—не мечта, а живая дѣйствительность. Еслибы Кирѣевскій былъ мыслителемъ, еслибы онъ заботился не объ удобствѣ того или другаго міросозерцанія, а только о степени его дѣйствительной вѣрности, тогда онъ не сталъ бы утѣшать себя произвольными фантазіями; еслибы онъ былъ чистымъ поэтомъ, тогда онъ просто окружилъ бы себя созданіями собственнаго воображенія, не стараясь связывать эти созданія съ явленіями дѣйствительной жизни. Но, къ сожалѣнію, въ Кирѣевскомъ соединились эти два рѣдко-совмѣстимые элемента; онъ по природѣ своей художникъ, а по развитію ученикъ нѣмецкихъ фи-

лософовъ. Онъ постоянно мечтаетъ, но воспѣваемые имъ предметы, къ сожалѣнію, вовсе не вяжутся съ поэзіею; вмѣсто того чтобы изображать свои собственныя чувства, настроеніе своей души, наконецъ то или другое, мелкое или крупное событіе, онъ беретъ самыя отвлеченныя темы и пишетъ поэму въ прозѣ о европейской цивилизаціи, объ отношеніяхъ между западомъ и Россіею, о новыхъ началахъ въ философіи. Такого рода сочиненія оказываются плохими поэмами, и плохими разсужденіями. Личное настроеніе автора не можетъ выразиться въ свободномъ лирическомъ изліяніи, потому что оно сковано логикою, діалектикою и физіономіею дѣйствительныхъ фактовъ. Что же касается до логики автора, то она, конечно, стоитъ ниже всякой критики, потому что ея дѣло — доказывать то, во что Кирѣевскому пріятно вѣрить. «Логическій выводъ, говоритъ собиратель матеріаловъ, думая похвалить своего героя, былъ у Кирѣевскаго всегда завершеніемъ и оправданіемъ его внутренняго вѣрованія, и никогда не ложился въ основаніе его убѣжденія». Въ сочиненіяхъ Кирѣевскаго хороши только тѣ мѣста, въ которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, тѣ мѣста, въ которыхъ онъ безсознательно выражаетъ всю полноту своего чувства. Повѣсти Кирѣевскаго (изъ которыхъ окончена только одна «Опалъ») очень плохи, потому что въ нихъ преобладаетъ головной элементъ; онѣ сбиваются на аллегоріи или же на разсужденія на заданную тему. У Кирѣевскаго не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно-стройное цѣлое; у него мечтательность выражается въ общемъ направленіи мысли, а сильное воодушевленіе появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписалъ почти всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ Кирѣевскій, увлекаясь лирическимъ порывомъ, производитъ на читателя сильное и вполнѣ гармоническое впечатлѣніе. Такихъ мѣстъ въ двухъ томахъ очень не много, и эти мѣста тонутъ въ сотняхъ дидактическихъ, утомительно-скучныхъ и глубоко-безполезныхъ страницъ.

IV.

Направленіе, по которому пошелъ Кирѣевскій послѣ своего двѣнадцатилѣтняго бездѣйствія, называется *православно*-славянскимъ. Задатки этого направленія заключаются еще въ основныхъ положеніяхъ его статьи: девятнадцатый вѣкъ, но эти положенія получили пол—

ное развитіе и принесли обильные плоды впослѣдствіи, въ его отвѣтѣ Хомякову, въ письмѣ къ графу Комаровскому, въ критическихъ статьяхъ, помѣщавшихся въ Москвитянинѣ, и въ послѣдней его философской статьѣ, украсившей собою страницы покойной Русской Бесѣды. Всѣ эти статьи большею частью посвящены сравненію европейской цивилизаціи съ русскою. Существованіе самобытной русской цивилизаціи, процвѣтавшей «во время оно» и задавленной реформою Петра составляетъ въ глазахъ Кирѣевскаго неопровержимый фактъ, не требующій никакихъ доказательствъ. Эта русская цивилизація восхваляется всѣми возможными возгласами и причитаніями; сравнивая ее съ западною, Кирѣевскій находитъ, что она не въ примѣръ лучше; онъ останавливается на этомъ сравненіи съ особенною любовью и съ трогательнымъ патріотическимъ самодовольствомъ; главное преимущество, которое онъ находитъ въ русской цивилизаціи, заключается въ томъ, что русская цивилизація не проникнута раціонализмомъ и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Кирѣевскій считаетъ это свойство дѣйствительнымъ и важнымъ преимуществомъ, и что дѣятельность разума кажется ему въ высшей степени опасною, я приведу слѣдующую цитату изъ его письма къ графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея замысловатое миросозерцаніе Кирѣевскаго и убѣдится въ томъ, что русская цивилизація стоитъ неизмѣримо выше западной:

«Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все сказанное нами о различіи просвѣщенія западно-европейскаго и древне-русскаго; ибо, кажется, достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вывести ясное опредѣленіе характера той и другой образованности.

«Христіанство проникало въ умы западныхъ народовъ черезъ ученіе одной римской церкви,—въ Россіи оно зажигалось на свѣтильникахъ всей церкви православной; богословіе на западѣ приняло характеръ разсудочной отвлеченности. — въ православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, здѣсь стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сцѣпленія понятій, здѣсь стремленіе къ ней посредствомъ внутренняго возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума; тамъ исканіе наружнаго, мертваго единства, здѣсь стремленіе къ внутреннему, живому; тамъ церковь смѣшалась съ государствомъ, соединивъ духовную власть со свѣтскою

и сливая церковное и мірское значеніе въ одно устройство смѣшаннаго характера,—въ Россіи она оставалась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устройствомъ; тамъ схоластическіе и юридическіе университеты,—въ древней Россіи молитвенные монастыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; тамъ разсудочное и школьное изученіе высшихъ истинъ, здѣсь стремленіе къ ихъ живому и цѣльному познаванію; тамъ взаимное проростаніе образованности языческой и христіанской, здѣсь постоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ государственность изъ насилій завоеванія, здѣсь—изъ естественнаго развитія народнаго быта, проникнутаго единствомъ основнаго убѣжденія; тамъ враждебная разграниченность сословій,—въ древней Россіи ихъ единодушная совокупность при естественной разновидности; тамъ искусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями составляетъ отдѣльныя государства, здѣсь совокупное согласіе всей земли духовно выражаетъ нераздѣлимое единство; тамъ поземельная собственность—первое основаніе гражданскихъ отношеній, здѣсь собственность только случайное выраженіе отношеній личныхъ; тамъ законность формально логическая, здѣсь—выходящая изъ быта; тамъ наклонность права къ справедливости внѣшней, здѣсь предпочтеніе внутренней; тамъ юриспруденція стремится къ логическому кодексу, здѣсь, вмѣсто наружной связности формы съ формою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мнѣнія, здѣсь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенія всегда совершались насильственными перемѣнами, здѣсь стройнымъ естественнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа партій, здѣсь незыблемость основнаго убѣжденія; тамъ прихоть моды, здѣсь твердость быта; тамъ шаткость личной самозаконности, здѣсь крѣпость семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ щеголеватость роскоши и искусственность жизни, здѣсь простота жизненныхъ потребностей и бодрость нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность мечтательности, здѣсь здоровая цѣльность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревожность духа при разсудочной увѣренности въ своемъ нравственномъ совершенствѣ, у Русскаго—глубокая тишина и спокойствіе внутренняго самосознанія при постоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неограниченной требовательности нравственнаго усовершенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе общества, раз-

двоенie семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоенie нравственнаго и сердечнаго состоянiя, раздвоенie всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытiя человѣческаго, общественнаго и частнаго; въ Россiи, напротивъ того, —преимущественное стремленie къ цѣльности бытiя внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искусственнаго и нравственнаго. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоенie* и *цѣльность*, *разсудочность* и *разумность* будутъ послѣднимъ выраженieмъ западно-европейской и древне-русской образованности».

Читатель долженъ помнить, что всѣ великiя достоинства, о которыхъ говоритъ Кирѣевскiй, принадлежатъ только древне-русской цивилизацiи. Мы, современные русскiе люди, должны только воздыхать о томъ, что намъ не пришлось насладиться этими благами, и что мы, по всей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Изслѣдователь древне-русскаго быта могъ бы, пожалуй, возразить Кирѣевскому, что въ древней Руси было плохое житье, что тамъ били батогами не на животъ, а на смерть, что судъ никогда не обходился безъ пытки; что рабство или холопство существовало въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, что мужья хлестали своихъ женъ шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, въ родѣ Сильвестра уговаривали ихъ только не бить зря, по уху или по видѣнiю. Много подобныхъ возраженiй могъ бы привести изслѣдователь, но Кирѣевскiй не обратилъ бы на нихъ никакого вниманiя; онъ сказалъ бы, что все это мелкiя, внѣшнiя, случайныя явленiя, не касающiяся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизацiи остается неприкосновенною, что принципъ ея великъ и непогрѣшимъ, несмотря на всѣ продѣлки, творившiяся подъ покровомъ этого принципа. На такiе убѣдительные доводы изслѣдователь, конечно, не нашелъ бы отвѣта. Подобно этому предполагаемому изслѣдователю, мы преклоняемся передъ непонятною мудростью мыслителя-поэта, и съ трепетомъ живой надежды прислушиваемся къ его обѣтованiямъ, открывающимъ намъ перспективу лучшей, просвѣтленной жизни. Изъ слѣдующихъ словъ его мы узнаемъ, что мы еще не совсѣмъ погибли, что и для насъ есть возможность спасенiя:

«Но корень образованности Россiи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой, православной церкви. Потому на этомъ только основанiи, и ни на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданie просвѣщенiя Россiи.... Построенie же

этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе—выработывать мысленно общественное самосознаніе; когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждою полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любомудрія, русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живаго, цѣльнаго умозрѣнія святыхъ отцевъ церкви, найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго самосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ возможность понять развитіе другой образованности».

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ. Они сами говорятъ за себя.

V.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о критической статьѣ, помѣщенной въ Современникѣ подъ заглавіемъ «Московское словенство». Эта статья своею бездоказательностью и голословіемъ можетъ поспорить съ философскими поэтами самаго Кирѣевскаго. Всѣ представители православно-славянскаго направленія—Хомяковъ, К. Аксаковъ, Кирѣевскій, стушеваны подъ одинъ колеръ; у всѣхъ на лбу прицѣпленъ ярлыкъ съ надписью «славянофилъ», и всѣ они совершенно лишены своей индивидуальной физіономіи; славянофильство принимается за какое-то умственное повѣтріе, свалившееся на Москву, какъ снѣгъ на голову, и заразившее собою цѣлый кружокъ людей, очень честныхъ и очень неглупыхъ. Внѣшніе признаки славянофильства описаны въ общихъ чертахъ, но изъ этого описанія читатель никакъ не можетъ составить себѣ понятія о томъ, какъ возникло это направленіе мысли, и почему именно оно пришлось по душѣ Кирѣевскому, Хомякову и компаніи.

Если закоренѣлые обскуранты смотрятъ на нововведенія, какъ на дьявольскую прелесть, пущенную въ міръ для соблазна и погибели православныхъ христіанъ, то должно сознаться, что нѣкоторые отчаянные и черезъ-чуръ запальчивые прогрессисты смотрятъ на явленія, подобные славянофильству, какъ на какое-то чудовищное и необъяснимое порожденіе духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи другъ на друга по образу мыслей, но тѣ и другіе, сражаясь съ враждебными имъ явленіями, увлекаются за предѣлы всякаго благоразумія, теряютъ способность хладнокровно анализировать, и, впадая въ декламацію, берутъ фальшивыя ноты, вредящія тому дѣлу, которое они защищаютъ.

Вмѣсто того, чтобы прослѣдить развитіе Кирѣевскаго, Хомякова и другихъ славянофиловъ, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть тѣ свойства этихъ людей, которыя породили въ нихъ недовѣріе къ дѣятельности разума, словомъ, вмѣсто того, чтобы объяснить славянофильство какъ психологическій фактъ, критикъ Современника вдается въ совершенно безплодную полемику съ положеніями славянофильскихъ теорій.

Спорить съ славянофилами—это, право, странно; благоразумный человѣкъ не станетъ ни опровергать отрывочныхъ восклицаній, ни смѣяться надъ несвязною рѣчью. Онъ будетъ наблюдать — — изучать развитіе и причины— —и сообщать результаты своихъ изслѣдованій другимъ людямъ, способнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство — не повѣтріе идущее неизвѣстно откуда, это— психологическое явленіе, возникающее вслѣдствіе неудовлетворенныхъ потребностей. Кирѣевскому хотѣлось жить разумною жизнью, хотѣлось наслаждаться всѣмъ, чего проситъ душа живаго человѣка, хотѣлось любить, хотѣлось вѣрить... Въ дѣйствительности не нашлось матеріаловъ; а между тѣмъ онъ полюбилъ ее, объидеализировалъ ее, раскрасилъ ее по-своему и сдѣлался рыцаремъ печальнаго образа, подобно незабвенному Донъ Кихоту, любовнику несравненой Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донъ-кихотство; гдѣ стоятъ вѣтряныя мельницы, тамъ славянофилы видятъ вооруженныхъ богатырей; отсюда происходятъ ихъ вѣчно-фразистыя, вѣчно неясныя бредни о народности, о русской цивилизаціи, о будущемъ вліяніи Россіи на умственную жизнь Европы.

Все это—донъ-кихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большею частью несостоятельное.

Д. ПИСАРЕВЪ.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Американскій кризисъ и вліяніе его на европейскія дѣла.

1. American crisis, and its prospects. London. 1861.
2. Utilitarianism. By J. S. Mill. Fraser's Magazine. 1861.

Послѣ паденія греко–римскаго міра единственный примѣръ соединенія свободныхъ политическихъ учрежденій съ соціальнымъ рабствомъ представляетъ намъ Америка. Нигдѣ и никогда личныя права человѣка не достигали такого полнаго развитія, какъ въ американской республикѣ, но нигдѣ и никогда положеніе раба не было такъ тягостно и позорно, какъ на американской землѣ. Два различныя и, по взаимнымъ отношеніямъ, враждебныя племени—*бѣлые* угнетатели и *черные* угнетенные, бичъ плантатора и свободное дѣйствіе гражданина, неприкосновенность собственности, независимость общественнаго мнѣнія и публичный торгъ людьми, выводимыми на рынокъ вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ, встрѣтились подъ однимъ историческимъ горизонтомъ и въ одной географической чертѣ. Само собою разумѣется, что никакая политическая сила, никакая законодательная власть, какъ бы она геніальна ни была, не могла примирить эти два противоположныя начала; внутренняя борьба ихъ постоянно чувствовалась, и рано или поздно должна была окончиться всеобщимъ потрясеніемъ американскаго союза. Люди дальновидные, живущіе идеями не одного нынѣшняго дня и взвѣшивающіе ходъ событій не по внѣшнимъ признакамъ времени, а по живучести и силѣ самаго прин-

ципа, давно предвидѣли этотъ кризисъ, хотя и не могли оцѣнить всей важности его значенія; они справедливо думали, когда утверждали, что чѣмъ позднѣе наступитъ неизбѣжное столкновеніе между рабствомъ и свободой, тѣмъ хуже будетъ развязка. Дѣйствительно, развязка оказалась самой мучительной, потому что болѣзнь, растравленная годами, потребовала сильныхъ хирургическихъ средствъ вмѣсто прежняго патологическаго леченія. За семьдесятъ лѣтъ раньше американское невольничество могло быть уничтожено однимъ энергическимъ голосомъ на представительномъ сеймѣ или однимъ параграфомъ въ конституціи, но теперь, когда деморализація его заразила всѣ здоровыя части народной жизни, для искорененія зла сдѣлалась необходимой крутая мѣра. Прежде чѣмъ отложились Южные Штаты отъ Сѣверныхъ, органическая связь ихъ давно была разорвана. Политика рабовладѣтельцевъ издали приготовила этотъ разрывъ, и только ожидала благопріятной минуты для осуществленія его. Избраніе президентомъ Авраама Линкольна послужило поводомъ, но не было главной причиной возстанія. «Мы не можемъ долѣе жить, говорилъ Джеферсонъ Дэвисъ, подъ однимъ управленіемъ, съ одними законами, на одинаковыхъ правахъ; съ этого времени интересы наши различные, политическія и нравственныя цѣли расходятся; съ этого времени мы (т. е. южные плантаторы) должны имѣть свой національный флагъ, свои границы, свой парламентъ и свою собственную администрацію.» Переводя эти слова монгомерійскаго оратора на простой человѣческій языкъ, надо было выразиться такъ: «мы отлагаемся отъ Сѣверныхъ Штатовъ не потому, чтобъ ихъ свободная конституція стѣсняла нашу дѣятельность или нарушала общественные интересы, а потому что рабство Негровъ для насъ дороже всякой свободы; мы имъ живемъ, насчетъ его богатѣемъ, мы составили громадные торговые обороты, всемірную промышленность руками африканскихъ невольниковъ, и потому желаемъ сохранить ихъ, во что бы то ни стало; а для сохраненія рабовъ и удержанія ихъ въ прежней покорности намъ необходимо особенное управленіе—строгая внутренняя администрація съ полицейскимъ надзоромъ, съ философіей Фицъ-Гуга, проповѣдующей право рабства, намъ необходимы заставы, черезъ которыя не могъ бы перейдти невольникъ или зайдти свободное слово; намъ необходимъ особый національный флагъ, на звѣздномъ фонѣ котораго была бы вышита плеть; однимъ словомъ, намъ нужны четыре милліона Негровъ, обработывающихъ наши плантаціи и поля и набивающихъ наши кар-

маны долларами. Вотъ почему мы отпадаемъ отъ союза и лучше рѣшаемся на братоубійственную войну, чѣмъ на уничтоженіе рабства». Между тѣмъ, какъ партія плантаторовъ говорила такъ, аболиціонисты Сѣверныхъ Штатовъ разсуждали иначе: «рабство Негровъ, протестовали они, пятнаетъ честь американской республики, тяготитъ нашу совѣсть, заставляетъ лицемѣрить и лгать въ сношеніяхъ съ другими націями и передъ народнымъ мнѣніемъ; рабство развращаетъ наше семейство, школу и общество, задерживаетъ прогрессъ, искажаетъ законодательныя мѣры, изъ представительной системы дѣлаетъ органъ безчестныхъ и своекорыстныхъ разсчетовъ негровладѣльцевъ, однимъ словомъ, та же цѣпь, которая звенитъ на ногахъ невольника, связываетъ наши собственныя руки и причиняетъ боль всему государственному организму»...

Въ этихъ радикально-противоположныхъ взглядахъ и политическихъ стремленіяхъ скрывался постоянный антагонизмъ Сѣвера съ Югомъ. Въ послѣднія десять лѣтъ онъ обратился въ открытую и упорную борьбу партій, изъ которыхъ каждая домогалась преобладанія въ правительственной власти. Съ одной стороны, люди, подобные Броуну, шли на эшафотъ за свое горячее сочувствіе свободѣ, составлялись общества въ пользу эманципаціи; съ другой стороны, плантаторы добились явнаго перевѣса въ парламентѣ и вносили одинъ билль за другимъ для огражденія своего самоуправства и основанной на немъ эксплуатаціи рабовъ. Не было ни одного государственнаго распоряженія, въ которое не замѣшивался бы вопросъ о неграхъ и не тормозилъ бы развитіе той или другой реформы; ему подчинялось мнѣніе большинства, отъ него зависѣли промышленныя соображенія и система выборовъ, такъ что, наконецъ, свобода надъ рабствомъ или рабство надъ свободой должно было восторжествовать, но жить вмѣстѣ они не могли, какъ говорилъ Дэвисъ.

Такимъ образомъ распаденіе союза было совершившимся фактомъ гораздо прежде, чѣмъ объявили его монгомерійскія палаты. Нѣтъ сомнѣнія, что можно было его отсрочить взаимными уступками еще на нѣсколько лѣтъ, остановить кой-какими административными палліативами, но предотвратить навсегда не могла никакая человѣческая сила. Первые симптомы междоусобной войны начались со стороны Юга, и это было логическимъ послѣдствіемъ плантаторской политики. Провозгласивъ независимость южной федераціи, рабовладѣльцы имѣли въ виду не только отдѣлиться отъ союза, но также нанести рѣши-

тельный ударъ его матеріальному могуществу и силой вырвать признаніе своихъ правъ. Остаться въ спокойномъ положеніи — значило поставить вопросъ на дипломатическую почву и разрѣшить его въ пользу Сѣвера. Притомъ возмутившіеся штаты опасались вторженія враговъ въ свои границы, гдѣ треть народонаселенія могла подняться по первому сигналу противъ своихъ притѣснителей; наконецъ Югу надо было начать войну и потому, что она, возбуждая патріотическій энтузіазмъ, склоняла на сторону его пограничныя провинціи, болѣе или менѣе заинтересованныя въ выгодахъ отъ рабовладѣнія, и благовидными антипатіями прикрывала свои неблаговидныя цѣли; въ случаѣ успѣха, она давала возможность побѣдителю предписать Сѣверу свои условія и обозначить пограничную линію тамъ, гдѣ было бы ему угодно. Иначе распорядились Сѣверные Штаты. Принужденные вести оборонительную войну, потерявъ лучшія позиціи, они не хотѣли воспользоваться даже нравственнымъ превосходствомъ своего положенія. Вмѣсто того, чтобы стать открыто на сторонѣ эманципаціи, осмыслить кровопролитную борьбу уважительными причинами, Янки вздумали доказывать свѣту, что война ведется за нарушеніе третьяго параграфа конституціи, за произвольное отложеніе Юга. Но кого же могла убѣждать эта бюрократическая формальность, когда единство союза сдѣлалось невозможнымъ на дѣлѣ? И стоило ли ради воображаемой цѣлости федеративнаго политическаго тѣла ставить на ноги трехсотысячную армію, покрыть поля, болѣе шестидесяти лѣтъ не слыхавшія ни треска ядеръ, ни грома пушекъ, кровью своихъ жителей и развалинами городовъ, подвергаться опасности государственнаго банкротства, отрывать отъ мирныхъ занятій работника и вносить разоръ и горе въ тысячи семействъ? Такое поведеніе ясно показало, что Сѣверъ лицемѣрилъ въ своихъ антипатіяхъ къ рабству, что онъ не желалъ уничтоженія его, а хотѣлъ пользоваться имъ вмѣстѣ съ плантаторами, по нѣсколько иначе, чѣмъ это было прежде. Если это такъ — а сомнѣваться въ этомъ очень трудно—то надобно было имѣть всю недальновидность Бьюканана и полное отсутствіе энергіи Линкольна, чтобы допустить изъ–за такихъ мелкихъ обстоятельствъ разгорѣться такой колоссальной войнѣ. Неужели заатлантическіе лавочники не могли понять, что, допустивъ вооруженное столкновеніе съ Югомъ, они должны были развернуть свое знамя не во имя юридическихъ кляузъ, а во имя свободы рабовъ. Только при такомъ направленіи дѣла, они находили себѣ сочувствіе въ европейскомъ мнѣніи, въ лучшихъ людяхъ своего собственнаго об-

щества и давали войнѣ характеръ не купеческаго разсчета, а человѣческой справедливости. Кромѣ того, они пріобрѣтали себѣ надежную помощь въ самыхъ Неграхъ, которые дѣлались естественными сторонниками своихъ освободителей. А теперь что? Изъ–за чего рѣжутся эти сотни тысячъ людей? На это отвѣчать со смысломъ не легко. Возвратить отложившіяся провинціи невозможно, заставить ихъ признать надъ собой политическое преобладаніе Сѣвера—совершенно безполезно, а освободить Негровъ нѣтъ искренняго желанія. Изъ-за чего же споръ и драка, спрашиваемъ мы? Въ сущности изъ–за того, что американскій вопросъ съ самаго начала попалъ въ руки бюрократовъ и легистовъ; благодаря имъ, онъ не былъ достаточно понятъ ни той, ни другой стороной, и теперь судьба его предоставлена случаю или перевѣсу силы.

Рѣдко человѣческій оптимизмъ поступалъ такъ близоруко какъ въ настоящемъ дѣлѣ. Передъ войной, какъ въ Америкѣ, такъ и въ Европѣ была какая–то наивная увѣренность, что отложеніе Юга отъ Сѣвера—невозможный фактъ, что рабовладѣльческіе штаты не могутъ существовать независимо и ограничатся одной угрозой отпаденія, но наконецъ всё–таки возвратятся къ союзу. Уашингтонская палата, ослѣпленная этой надеждой, постоянно ожидала раскаянія со стороны плантаторовъ и была убѣждена, что вотъ–вотъ явятся депутаты съ просьбой о прощеніи. Но депутаты не являлись, а составлялось огромное войско и занимало самые выгодные посты. Когда же открылись военныя дѣйствія, и непріятельскія арміи стояли другъ передъ другомъ, публицисты начали на разныя варіаціи оплакивать бѣдствія междоусобія и распаденія такой могущественной націи, какъ Соединенные Штаты. Все это было, конечно, очень чувствительно и грустно, но совершенно естественно. Нѣтъ сомнѣнія, что война—величайшее несчастіе нашего времени, но что же дѣлать, если человѣчество еще не дошло до того, чтобъ разрѣшать международные вопросы, самые незамысловатые, не кулакомъ, а разумомъ... Само собою разумѣется, что много погибнетъ людей, много будетъ разрушено состояній, но развѣ меньше зла причинитъ рабство въ ряду нѣсколькихъ поколѣній, развѣ не тѣми же человѣческими костями будутъ усѣяны поля, залитыя потомъ и кровью Негровъ. Мы даже думаемъ, что никакая война, какъ бы она ни была гибельна по своимъ послѣдствіямъ, не можетъ идти въ сравненіе съ такимъ глубокимъ зломъ, какъ медленныя и глухія страданія четырехъ милліоновъ рабовъ, впродолженіе уже истекшихъ семидесяти лѣтъ.

Но оптимизмъ упоренъ; несмотря на то, что американскій вопросъ достаточно выяснилъ свою идею и результаты, многіе публицисты продолжаютъ думать, что единство союза возможно, что побѣда Сѣверныхъ Штатовъ можетъ снова утвердить его надолго. Къ крайнему нашему удивленію, въ числѣ этихъ сантиментальныхъ публицистовъ замѣшался человѣкъ, мнѣніями котораго привыкла дорожить Европа: мы говоримъ о Стюартѣ Милѣ. Миль одинъ изъ тѣхъ мыслителей, въ головѣ котораго укладывается гораздо больше здравыхъ идей, чѣмъ у всѣхъ государственныхъ людей Англіи вмѣстѣ; его многостороннему образованію и реальному философскому воззрѣнію доступны всѣ современные вопросы, и когда онъ подаетъ свой голосъ о нихъ, мы напередъ знаемъ, что въ этомъ голосѣ заключается много правды и умственной силы. По убѣжденіямъ, Миль стоитъ въ ряду искреннихъ друзей свободы и прогресса; когда онъ былъ молодъ, его демократическія убѣжденія примыкали къ крайнимъ соціальнымъ идеямъ Франціи; но съ лѣтами и пережитыми опытами, его сангвиническій темпераментъ умѣрился болѣе спокойнымъ взглядомъ на вещи: изъ восторженнаго поклонника массы онъ перешелъ къ утилитарной школѣ, положивъ въ основу своего ученія болѣе положительные результаты вмѣсто прежнихъ блестящихъ, но отдаленныхъ надеждъ... Есть одна прекрасная черта въ этомъ писателѣ, которую мы особенно уважаемъ: добросовѣстное обращеніе съ тѣми вопросами, о которыхъ онъ разсуждаетъ. Миль рѣдко беретъ перо въ руки, но когда его беретъ, то всегда скажетъ что нибудь очень хорошее; онъ долго и зорко слѣдитъ за развитіемъ соціальнаго или политическаго явленія, тяжело обдумываетъ его, выжидаетъ, какъ оно выразится на дѣлѣ, взвѣшиваетъ его съ разныхъ сторонъ, и когда положитъ свою мысль на немъ—эта мысль отличается необыкновенной зрѣлостью и широкимъ кругозоромъ. Но у Миля, особенно въ послѣднее время, стали появляться и значительные недостатки. Увлекаясь чисто-практическими цѣлями вопроса, онъ часто грѣшитъ уступками *данной минутѣ* и *текущимъ обстоятельствамъ* насчетъ самаго принципа; иначе говоря, онъ жертвуетъ строго-логическими выводами своей идеи въ пользу постороннихъ вліяній на его мнѣніе.

Такого свойства и послѣдняя его статья, поставленная въ заглавіи нашего разбора. Во всѣхъ частныхъ и второстепенныхъ замѣчаніяхъ мы согласны съ ней; мы раздѣляемъ задушевное отвращеніе Миля къ невольничеству, его пламенную вѣру въ отживающія его на-

чала, мы никогда не сомнѣвались, что послѣдняя побѣда, какъ бы дорого ни была куплена, всегда останется за свободой, но мы рѣшительно расходимся съ нимъ въ самомъ основаніи его идей. На этотъ разъ его покидаетъ обычная ясность ума и проницательность взгляда: съ небольшимъ различіемъ онъ становится на ту точку зрѣнія, съ которой хлопаютъ по воздуху фразами сладенькіе французскіе публицисты и вторятъ имъ наши кислые подражатели. Миль утвержаетъ, что для уничтоженія невольничества, самое вѣрное средство заключается въ покореніи Южныхъ Штатовъ и если не въ добровольномъ, то въ насильственномъ присоединеніи ихъ къ союзу; онъ убѣжденъ, что съ той минуты, когда побѣдоносный сѣверъ заставитъ отложившіяся провинціи опять войдти въ общій составъ федераціи и опояшетъ рабство извѣстными предѣлами, тогда распространеніе его сдѣлается невозможнымъ и оно будетъ обречено на самоуничтоженіе. «Тотъ день, говоритъ Миль, когда рабство не можетъ болѣе распространяться, будетъ днемъ его смерти. Рабовладѣльцы знаютъ это и потому бѣснуются. Они знаютъ, какъ и всѣ, кто слѣдилъ за предметомъ, что ограниченіе невольничества въ его настоящихъ границахъ есть приговоръ надъ его уничтоженіемъ. Несовмѣстное съ какимъ бы то ни было образованнымъ трудомъ, оно сосредоточиваетъ всѣ произведенія страны на одномъ или двухъ продуктахъ, главнѣйшимъ образомъ на хлопчаткѣ, разведеніе и приготовленіе которой для рынка требуетъ немногимъ болѣе грубаго животнаго труда. Обработка хлопокъ, по мнѣнію всѣхъ свѣдующихъ судей, преимущественно спасаетъ американское рабство; но если эта обработка будетъ замкнута въ извѣстную территоріальную черту, то по прошествіи немногихъ лѣтъ она истощитъ всѣ земли, и должна отыскивать новыя, углубляясь къ западу. Поэтому разработка новыхъ полей составляетъ для рабскаго труда вопроеъ жизни и смерти. Заключить этотъ трудъ въ настоящихъ штатахъ — значитъ осудить рабовладѣльческую собственность на скорое разореніе или заставить плантаторовъ найдти средства для преобразованія агрикультурной системы: но преобразовать систему нельзя, не возвративъ рабамъ человѣческія права или не замѣнивъ принудительный трудъ свободнымъ; въ обоихъ случаяхъ неизбѣжнымъ и вѣроятно быстрымъ послѣдствіемъ было бы рѣшительное уничтоженіе рабства». Къ такому выводу приходитъ Миль въ своей оптимистической теоріи. Во-первыхъ, онъ допускаетъ возможность и *законность* возстановленія союза, какъ цѣлаго политическаго организма. Во-вто-

рыхъ, въ силу побѣды Сѣверныхъ Штатовъ, онъ считаетъ непремѣннымъ условіемъ ея опредѣленіе точныхъ границъ для рабства, которое вслѣдствіе своего собственнаго безсилія не замедлитъ изчезнуть. Посмотримъ, насколько вѣроятны и основательны эти выводы.

Еще недавно въ Англіи и Франціи повторялось мнѣніе, что американская война ведется не изъ–за рабства, а изъ чисто коммерческихъ разсчетовъ, что настоящей причиной разрыва штатовъ были несогласія по предмету тарифа. Одинъ изъ французскихъ писателей (Рену) даже совѣтовалъ европейскимъ правительствамъ, въ видахъ собственной пользы, принять участіе въ судьбѣ Южныхъ Штатовъ, облегчить имъ побѣду надъ Сѣверомъ, чтобы обезопасить Европу на будущее время отъ угрожающаго могущества Америки. Но думать такъ— значитъ не понимать смысла фактовъ. Мы сказали выше, что Сѣверные Штаты не умѣли воспользоваться своимъ положеніемъ въ борьбѣ съ Югомъ, что они придали войнѣ ложный и лицемѣрный характеръ; но событія сильнѣе всякихъ дипломатическихъ соображеній и всего лучше говорятъ сами за себя. Вопросъ нисколько но измѣняется оттого, какъ смотритъ на войну та или другая американская партія, какъ понимаетъ его то или другое правительство: въ сущности онъ остается вопросомъ рабства, имѣющимъ общечеловѣческій интересъ. Въ основаніи его, какъ мы видѣли, лежатъ глубокія антипатіи двухъ политическихъ системъ; въ немъ выражается самая капитальная часть исторіи союза. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему постоянно стремились Южные Штаты съ 1829—1860 годъ? Къ легальному утвержденію рабства, сначала признаннаго на правахъ исключительнаго учрежденія. Преобладающій голосъ Юга въ праламентѣ, въ каждые четыре года, прибавлялъ какую нибудь новую привилегію рабовладѣльцамъ. Сначала было позволено имъ отодвинуть свою границу за Миссури и Арканзасъ, потомъ они завладѣли Техасомъ, домогались Кубы, отстояли законъ о выдачѣ невольниковъ сосѣдними свободными штатами, настояли на томъ, чтобъ жители каждой провинціи рѣшали на основаніи мѣстныхъ условій допущеніе или запрещеніе невольничества, почти открыто, подъ національнымъ флагомъ, производили торговлю Неграми, перевозя ихъ толпами съ береговъ Африки, довели спекуляцію черными людьми до цинизма — разлучали семейства, откармливали дѣтей, какъ животныхъ, исключительно для рынка, и наконецъ потребовали, чтобы Сѣверные Штаты покровительствали рабству не молчаніемъ и скрытными уступками, а явно и *законно*. Послѣ

всего этого какая же перспектива лежала передъ Америкой? Очевидно, она должна была или отказаться отъ своихъ свободныхъ принциповъ или отдѣлить двѣ противоположныя системы, не согласныя съ ея гармоническимъ развитіемъ, съ ея соціальными и промышленными интересами, съ ея внутренней и внѣшней независимостью. Поэтому разрывъ союза былъ натуральнымъ и неотразимымъ послѣдствіемъ всей исторической жизни народа. Но какимъ же образомъ, возразятъ намъ, онъ могъ существовать доселѣ? Почему же не раньше, а только теперь рабство разрываетъ страну на двѣ половины, такъ долго уживавшіяся вмѣстѣ? Это объясняется самымъ характеромъ американскаго общества. Составленное изъ разнообразныхъ элементовъ, со всевозможными оттѣнками цивилизацій и религіозныхъ ученій, разсѣянное на необозримомъ пространствѣ земель, оно прямо отъ колоніальной зависимости перешло къ полной демократической свободѣ. Формулируя эту свободу въ конституцію, подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ войны и гражданской анархіи, оно, по необходимости, должно было помириться со многими неудобствами прежней жизни; въ это критическое время для него дѣломъ первой важности было сохраненіе территоріальнаго союза, и потому вопросъ о рабствѣ отступалъ далѣе, чѣмъ на второй планъ. Притомъ, закладывая въ основу государственнаго зданія чисто-народное управленіе съ всеобщей подачей голосовъ, съ обезпеченіемъ комунальной автономіи, съ законодательной властью всѣхъ гражданъ, американская республика, разумѣется, ввѣряла свою будущую судьбу не палатамъ и правительственному сословію, а общественному мнѣнію. Отъ зрѣлости и степени образованія его прямо зависѣло благосостояніе страны; оно (т. е. это мнѣніе) могло покрыть силой большинства ужасныя ошибки и злодѣянія или быть органомъ справедливости смотря по тому, камъ и кѣмъ выражалось. При дурномъ направленіи его самая лучшая конституція могла обратиться въ самое худшее правительство, точно такъ, какъ самая плохая хартія при хорошой народной иниціативѣ могла бы быть удовлетворительною. Но было бы странно думать, чтобъ общественное мнѣніе Соединенныхъ Штатовъ, по отношенію къ рабству, было также гуманно въ концѣ прошлаго вѣка, какъ въ половинѣ XIX-го; еще болѣе странно было бы думать, чтобъ оно въ полстолѣтія не сдѣлало прогресса, при тѣхъ матеріальныхъ и умственныхъ успѣхахъ, какими изумляетъ насъ настоящее состояніе

Америки. И надо замѣтить, что въ этомъ случаѣ оно развивалось діаметрально-противнымъ путемъ самому рабству; если первое постепенно очищалось и созрѣвало въ своемъ политическомъ воспитаніи, то второе, въ той же пропорціи, опошлялось и грубѣло. При избраніи Линкольна они разошлись настолько, что столкновеніе ихъ было необходимо; а черезъ пятьдесятъ лѣтъ, по всей вѣроятности, для нихъ наступилъ бы тотъ моментъ, когда они и одного дня не могли бы остаться въ федеративномъ союзѣ. Поэтому мы убѣждены, что распаденіе Штатовъ не есть случайный фактъ, а органическое явленіе, подобное тому, какъ отъ здороваго тѣла отпадаетъ болѣзненный наростъ, потерявшій свою связь съ выздоровѣвшимъ мѣстомъ. Здѣсь происходитъ раздѣлъ не одного политическаго союза, а самыхъ принциповъ, приведенныхъ въ жизнь.

Но если добровольное и мирное соединеніе Штатовъ сдѣлалось невозможнымъ, то нельзя ли спаять ихъ, какъ думаетъ Миль, насильственно, посредствомъ завоеваній? И если можно это сдѣлать, то не легче ли достигнется эманципація Негровъ въ соединенномъ, чѣмъ въ распавшемся государствѣ? При такомъ взглядѣ, очевидно, вопросъ ставится на практическую почву, и главной задачей его дѣлается результатъ, а не идея самаго факта. Мы, конечно, согласились бы съ Милемъ, какой бы способъ эманципаціи онъ ни предложилъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ мы желали бы съ его стороны гораздо больше убѣдительныхъ доводовъ, чѣмъ онъ представляетъ намъ. Въ защиту мнѣнія Миля есть два предположенія: во-первыхъ то, что рабство скорѣе исчезнетъ въ томъ случаѣ, когда удержится союзъ и когда свободная жизнь Сѣвера переработаетъ южное невольничество. Это одна изъ тѣхъ иллюзій, которая особенно нравится филантропамъ: они увѣрены, что если смѣшать добро и зло въ одну кучу, то добро всегда побѣдитъ зло, такъ что нечего и заботиться о послѣднемъ:—оно само по себѣ, съ помощію химическаго процесса, превратится въ доброе начало. Теоретически это невѣрно, потому что, какъ въ природѣ вообще, такъ и въ человѣческой жизни, есть такіе принципы, которые какъ не смѣшивайте, какъ не соединяйте, они не оказываютъ ни малѣйшаго вліянія другъ на друга. Рабство относится именно къ разряду тѣхъ принциповъ, которые можно реформировать отдѣльно, а не смѣшивать съ свободой, и ожидать отъ этого смѣшенія происхожденія какого-то особеннаго гражданскаго метиса. Греція, подобно Америкѣ, пользовалась свободными политическими учрежденіями, но не переработала своего рабства, а погибла

вмѣстѣ съ нимъ. Кромѣ того, положенiе американскаго раба имѣетъ ту отличительную черту, что онъ отдѣленъ отъ бѣлаго населенія племеннымъ типомъ, самой антипатичной чертой въ народныхъ понятіяхъ. Въ Южныхъ Штатахъ Негра эксплуатируютъ, а въ Сѣверныхъ его презираютъ, и это слѣпое и жалкое презрѣніе всегда мѣшало сближенію двухъ расъ. Наконецъ отношенія плантатора къ своему рабу вовсе не таковы, чтобы онъ отступился отъ своихъ правъ ради филантропическихъ цѣлей:—плантатору нуженъ Негръ, какъ работникъ, какъ собственностъ, какъ орудіе его промысла и жизни, а извѣстно, что когда матеріальныя выгоды играютъ главную роль въ реформахъ, такія реформы разрѣшаются чрезвычайно туго. Между тѣмъ, какъ мы будемъ ожидать перерожденія рабства въ союзѣ съ свободой—нѣтъ сомнѣнія, плантаторы не станутъ дремать съ своей стороны; отодвигая границу на западъ и югъ, они, попрежнему, будутъ занимать новыя земли и переправлять изъ Африки новыхъ невольниковъ, такъ что еще черезъ семьдесятъ лѣтъ прибавится новыхъ четыре милліона рабовъ. Ясно, что тогда эманципація сдѣлается гораздо труднѣе, чѣмъ въ настоящую минуту.

Другое предположеніе, высказанное Милемъ на основаніи экономическихъ соображеній и приведенное нами выше, гораздо практичнѣе перваго, но и оно не выдерживаетъ самой снисходительной критики. Положимъ, что побѣда Сѣвера обезпечитъ за нимъ политическое преобладаніе надъ Югомъ, то какимъ же образомъ побѣдитель ограничитъ предѣлы, далѣе которыхъ не можетъ распространяться рабство, и слѣдовательно вымретъ само собою отъ недостатка дѣвственныхъ почвъ? Сколько можно догадываться изъ словъ самого Миля, онъ считаетъ возможнымъ опредѣленіе этой границы законодательными мѣрами. Но здѣсь является другой вопросъ: будутъ ли допущены плантаторы снова въ парламентъ? Будутъ, отвѣчаетъ Миль, но въ такомъ количествѣ голосовъ, чтобъ вліяніе ихъ не имѣло перевѣса надъ вліяніемъ большинства членовъ. Здѣсь опять чистѣйшая мечта умнѣйшаго публициста: вліяніе голосовъ въ какомъ бы то ни было совѣщательномъ собраніи вовсе не зависитъ отъ числа членовъ, а обусловливается множествомъ другихъ обстоятельствъ—нравственнымъ характеромъ партіи, богатствомъ представителя, умственнымъ образованіемъ его и т. п. Слѣдовательно ограниченіе небольшой цифрой представителей юга ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть ограниченіемъ преобладанія ихъ въ сенатѣ. Помимо офиціальныхъ связей, они могутъ имѣть общіе инте-

ресы съ частными лицами, участвующими въ эксплоатаціи Негровъ, а такихъ лицъ, какъ извѣстно, найдется на Сѣверѣ не мало: большая часть банкировъ, адвокатовъ, мелкихъ фабрикантовъ и купцовъ постоянно участвовала своими капиталами и трудомъ въ промышленности рабовладѣльцевъ и, конечно, не откажется на будущее время поддерживать ихъ въ законодательныхъ палатахъ. Такимъ образомъ, когда возникнутъ дебаты о томъ, чтобы провести пограничную черту Южнымъ Штатамъ, легко можетъ случиться, что пять или шесть плантаторовъ одержатъ верхъ надъ остальными членами. Доселѣ такъ и было: избраніе президентовъ и разныя преимущества въ пользу Юга почти всегда утверждались большинствомъ голосовъ, подъ вліяніемъ негровладѣльцевъ, хотя численный перевѣсъ былъ на сторонѣ сѣверныхъ представителей. Но согласимся, что Сѣверные Штаты не допустятъ этого вліянія, то кто же можетъ поручиться за исполненіе постановленій парламента? Чего нельзя будетъ сдѣлать легально, то сдѣлаютъ плантаторы тайно, какъ они до сихъ поръ и поступали во многихъ случаяхъ... Самымъ вѣрнымъ средствомъ для опредѣленія и охраненія пограничной линіи плантаторскихъ земель можетъ быть одна принудительная система, употребляемая завоевателемъ относительно завоеванной земли: но это значило бы выбивать клинъ клиномъ—идти къ уничтоженію рабовъ посредствомъ обращенія всей страны въ рабство или, по меньшей мѣрѣ, въ вассальную зависимость отъ побѣдителя. Мы увѣрены, что Южные Штаты никогда не покорятся такому положенію.

Совершенно справедливо замѣчаетъ Милль, что рабскій трудъ сосредоточенный исключительно на производствѣ хлопокъ, со временемъ сдѣлается невыгоднымъ для плантаторовъ, если они не будутъ находить для себя новыхъ полей. Но почему же думать, что, въ случаѣ необходимости, они не рѣшаться измѣнить систему земледѣлія и не введутъ новыхъ агрикультурныхъ изобрѣтеній, чтобы поддержать плодородіе великолѣпныхъ почвъ юга и тѣмъ продлить рабовладѣніе? Эти почвы еще далеко не такъ истощены, чтобъ могли угрожать безплодіемъ при самомъ незначительномъ уходѣ за ними. Притомъ доселѣ Южные Штаты занимались обработкой риса, сахарнаго тростника, табаку и хлопчатки, обмѣнивая эти произведенія на хлѣбъ и фабричныя издѣлія, добываемыя изъ Англіи, Франціи и Сѣверныхъ Штатовъ; нѣтъ сомнѣнія, что они находили эту промышленность болѣе выгодной для себя, чѣмъ всякую другую. Съ перемѣной обстоятельствъ ничто

не помѣшаетъ имъ обратить трудъ своихъ рабовъ на другія отрасли производства и сообщить земледѣльческой дѣятельности то разнообразіе, которое считаетъ Миль необходимымъ для поддержанія плодородія почвъ. Наконецъ, еслибъ предположеніе Миля вполнѣ осуществилось, то и тогда нѣтъ настоятельной причины для плантаторовъ освобождать Негровъ; вмѣсто того что бъ употребить раба на обработку земли, изъ него сдѣлаютъ предметъ рыночной спекуляціи, подобно тому, какъ теперь это дѣлается въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ агрикультурной дѣятельности. Тѣ же тысячи черныхъ людей, взрывающихъ плантаціи южныхъ собственниковъ, впослѣдствіи могутъ быть продаваемы, вмѣстѣ съ лошадьми и быками, мексиканскимъ и гренадскимъ эксплоататорамъ. Во всякомъ случаѣ гипотеза Миля, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла бы перейдти въ фактъ не ранѣе двухъ или трехъ сотъ лѣтъ; а двѣсти или триста лѣтъ ужаснаго рабства, какое только когда либо пятнало нашу плинету, есть возмутительное явленіе новѣйшей исторіи.

Итакъ вотъ тѣ выводы, къ которымъ мы пришли по поводу статьи Миля: во-первыхъ, возстановленіе Союза положительно невозможно на прежнихъ мирныхъ основаніяхъ; если же оно совершится въ силу побѣды, то представитъ одну изъ величайшихъ соціальныхъ аномалій и не только не поможетъ эманципаціи рабовъ, но усложнитъ и отодвинетъ ее въ отдаленную эпоху; во-вторыхъ, какъ бы ни разсматривалась настоящая война Штатовъ, чѣмъ бы она ни кончилась, но главной причиной ея послужило рабство и послѣднимъ результатомъ ея будетъ уничтоженіе его. Мы еще не можемъ навѣрное сказать, какой оборотъ дѣлъ приметъ американскій кризисъ и какъ онъ разрѣшитъ самое освобожденіе Негровъ, но въ одномъ нельзя ошибиться, что онъ нанесетъ страшный ударъ рабовладѣльцамъ и поставитъ ихъ лицомъ къ лицу или съ внутренней революціей, или съ внѣшней зависимостью отъ завоеванія.

Кромѣ мѣстнаго значенія, американскій вопросъ не лишенъ общеевропейскаго характера; нѣкоторыя изъ ближайшихъ послѣдствій его уже опредѣлились настолько, что историкъ и публицистъ могутъ говорить о нихъ, какъ о событіяхъ законченныхъ. Между Америкой и Европой, въ послѣдніе годы, образовалась та солидарность взаимныхъ интересовъ, которая связываетъ старый міръ съ новымъ многими соціальными отношеніями, Такъ, напримѣръ, между рабствомъ американскаго Юга и пауперизмомъ западной Европы есть свои логическія

причины. Болѣзни человѣчества имѣютъ то отличительное свойство, что отъ одной страны непремѣнно сообщаются другой и чувствуются всѣми націями, принимающими участіе въ міровомъ движеніи. Наши «люди почвы», распѣвающіе ужаснѣйшій вздоръ о народности, заткнувъ себѣ носъ хлопчатой бумагой, никакъ не могутъ почуять этой международной связи; но и въ этомъ есть своя своего рода солидарность: не будь американскаго хлопка, вѣроятно, обоняніе нашихъ «людей почвы» было бы нормальнѣй, и они перестали бы называть воздушнымъ комополитизмомъ то, что составляетъ одну изъ самыхъ реальныхъ задачъ нашего времени... Зависимость Европы отъ Америки состоитъ преимущество изъ промышленныхъ интересовъ. Недавно, не болѣе пятидесяти лѣтъ, какъ въ Англіи создалась колоссальная отрасль фабричнаго труда, поглотившая сотни тысячъ человѣческихъ силъ и множество капиталовъ; отъ Англіи перешла эта дѣятельность на континентъ, и здѣсь заняла видное мѣсто въ мануфактурномъ производствѣ. Происхожденіемъ своимъ эта промышленность обязана плантаціямъ Южной Америки. Съ 1794 года, когда Уитней изобрѣлъ свою знаменитую машину для чески волоконъ хлопчатой бумаги, Англія начинаетъ быстро распространять фабрики для издѣлія бумажныхъ матерій. Въ 1860 году у нея работали 2,200 мануфактуръ, съ 400,000 ремесленниками и съ пятью милліардами франковъ, пущенныхъ въ оборотъ этой торговли. Легко вообразить, какимъ паническимъ страхомъ былъ пораженъ британскій народъ, когда междоусобная война Америки прекратила ввозъ хлопокъ на англійскій рынокъ; тысячи пролетаріевъ въ нѣсколько недѣль, лишились труда и, слѣдовательно, насущнаго куска хлѣба. Катастрофа не замедлила обнаружиться въ болѣе многолюдныхъ и торговыхъ городахъ—Манчестерѣ и Ланкаширѣ. Изъ 842 мануфактуръ перваго только 259 продолжали работать правильно; многіе ремесленники ограничились только половиной своей недѣльной платы и многіе должны были совершенно оставить фабрики. Нищета, вмѣстѣ съ голодомъ Ирландіи, потрясла общественный кредитъ и естественно отразилась на всѣхъ другихъ отрасляхъ промышленности. Этого мало: такъ какъ отъ англійскаго рынка болѣе или менѣе зависятъ всѣ европейскіе рынки, то вездѣ—отъ Мадрита до Берлина—почувствовался такъ называемый финансовый кризисъ, т. е. пріостановилась биржевая спекуляція, сократились торговыя предпріятія и обращеніе звонкой монеты между нуждающимися классами. То же самое явленіе, хотя въ меньшихъ размѣрахъ, повторилось во Франціи;

здѣсь оно парализировало трудъ ліонскихъ фабрикъ, откуда бѣдность, обыкновенно, распространяется на всю страну.

Въ виду такой опасности, Англія немедленно озаботилась пріисканіемъ новыхъ источниковъ для добыванія хлопокъ. Изъ многочисленныхъ колоній ея одна Индія даетъ возможность запасаться этимъ продуктомъ въ довольно значительномъ количествѣ; но здѣсь представляется затрудненіе—отсутствіе путей сообщенія и судоходныхъ рѣкъ для подвоза хлопокъ къ береговымъ портамъ. Кромѣ того, общее состояніе земледѣлія, отъ котораго во многомъ зависитъ самая разработка хлопчатки, находится въ Индустанѣ въ жалкомъ видѣ и требуетъ чрезвычайныхъ усилій для поправленія своего. Нѣтъ сомнѣнія, что Англичане не пренебрегутъ ничѣмъ; у нихъ есть деньги и силы, они сдѣлаютъ все, чтобы избѣжать крайнихъ послѣдствій еще только начинающагося кризиса, но на это требуется время, а между тѣмъ факторіи закрываются, фабрики падаютъ и рабочіе голодаютъ. Не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать худшія изъ золъ не для Англіи,—а для континента, особенно для тѣхъ народовъ, гдѣ администативная централизація загораживаетъ дорогу свободному труду и частнымъ предпріятіямъ. Что же касается правительственной помощи, на которую расчитываютъ оптимисты, то имъ должны быть извѣстны государственые бюджеты двухъ первыхъ монархій въ Европѣ—Англіи и Франціи: долгъ первой простирается до 19 мильярдовъ (4,750,000,000 р.), а второй — около 12 мильярдовъ (почти 3,000,000,000 р.). При тѣхъ многосложныхъ расходахъ, которые обременяютъ современныя правительства, нѣтъ надежды скоро уплатить этотъ долгъ, если только не обезоружатъ огромныя арміи. Другихъ средствъ у современной цивилизаціи нѣтъ и быть не можетъ; она осуждена бороться съ пролетаріатомъ и пауперизмомъ тѣмъ же оружіемъ, которымъ нанесла эти двѣ глубокія язвы западной Европѣ.

Кромѣ потрясенія промышленнаго труда, американскій кризисъ угрожаетъ и съ другой стороны. Междоусобныя смуты и ослабленіе Соединенныхъ Штатовъ, доселѣ не допускавшихъ посторонняго вмѣшательства въ американскія дѣла, теперь открываютъ ему доступъ и, разжигая политическіе страсти европейскихъ кабинетовъ, подстрекаютъ въ нихъ желаніе новыхъ завоеваній. Англія едва удержалась отъ покушенія принять сторону плантаторовъ; Испанія вмѣшалась съ своимъ авторитетомъ въ дѣла мексиканскія и вмѣстѣ съ Франціей и Англіей предпринимаетъ походъ противъ Мексики. Если только

этотъ походъ состоится и увѣнчается успѣхомъ, весь американскій югъ легко можетъ потерять свою автономію и надолго подчиниться вліянію Европы. Колоніи, которыя, благодаря продолжительному миру и возрождавшейся независимости, начали процвѣтать, снова впадутъ въ тотъ летаргическій сонъ, который ихъ душилъ впродолженіи трехъ сотъ лѣтъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ сколько предвидится столкновеній между союзными державами, вслучаѣ дележа добычи, сколько вражды и ненввисти между туземными населеніями, сколько бѣдствій и потери людей между непріятельскими войсками и мирными жителями!

Въ заключеніе мы можемъ утѣшиться однимъ обстоятельствомъ, которое разъясняетъ намъ американскій вопросъ,—возрастающимъ значеніемъ экономическаго развитія народовъ и преобладаніемъ его надъ чисто-политическими побужденіями. Соціальный принципъ раздираетъ Штаты, съ неотразимымъ упорствомъ ведетъ рабовъ къ эманципаціи, запутываетъ дѣла Европы, бросаетъ сѣмена новой жизни на дряхлѣющій востокъ и отдѣляетъ гнилыя чести человѣчества отъ здоровыхъ. Прежде достаточно было одного желанія какого нибудь честолюбца для того, чтобы собрать на-скоро многочисленную армію, повести ее противъ той или другой націи и возмутить спокойствіе міра. Теперь не то—всякая безполезная война слишкомъ дорого обходится правительству; смерть каждаго солдата и каждый выстрѣлъ нарѣзной пушки сопровождаются чувствительными потерями для завоевателя; мы дѣлаемся бережливѣе на растрату человѣческихъ силъ и не такъ хладнокровно смотримъ на самое убійство, какъ смотрѣли прежде. Притомъ современная война рѣзко противорѣчитъ всѣмъ экономическимъ условіямъ образованныхъ націй: она нарушаетъ обычное теченіе труда, разрушаетъ частныя состоянія, уноситъ здоровье и счастіе милліоновъ людей. «Человѣчество не хочетъ войны», говоритъ Прудонъ; мы думаемъ, что оно никогда не хотѣло ея; но гдѣ же то благодѣльное средство, которымъ бы народы могли замѣнить ее въ своихъ междоусобныхъ спорахъ?

Г. Б.

ДНЕВНИКЪ ТЕМНАГО ЧЕЛОВѢКА.

Мой трепетъ передъ призракомъ общественнаго мнѣнія. — Роковая скамья подсудимыхъ и общественное veto.—Русскіе скептики и ихъ тенденціи. Нѣчто о демоническихъ натурахъ.—Кто сомнѣвается въ русскомъ прогрессѣ? Ода прогрессу. — Разница между скептицизмомъ нѣмецкаго Фауста и русскаго Собакевича.—Два слова о Никитѣ Безрыловѣ и Викторѣ Аскоченскомъ.—*Два бойца*—мимолетная импровизація.—Домашній литературный вечеръ и его составъ. — Общественное мнѣніе въ лицахъ. — Старая княжна и юный господинъ.—Парикъ допотопнаго поэта и увлеченіе институтки.—Темный человѣкъ передъ судомъ *избраннаго* общества.—Мои надежды и окончательное пораженіе.—Литературныя чтенія — какъ одна изъ казней моды.— Мое злорадство.—Сказаніе о нѣкоемъ Охочекомоннѣ и объ его кулачной расправѣ съ петербургскими профессорами.—Уступка Охочекомонны въ пользу г-жи Толмачевой и одного изъ сотрудниковъ Русскаго Слова. — Счастливая звѣзда г. Печаткина.—Гимнъ Библіотекѣ для Чтенія.—Причитанья журнальной маски (З—на) надъ могилой Добролюбова.—Можно ли ставить памятники людямъ, которыхъ фамилія писалась черезъ маленькую букву?—Мой проектъ объ открытіи подписки на пожизненные монументы Зорину, З—ну, и Охочекомоннѣ. — Осужденіе статей Добролюбова и его друзей. — Тенденціи г. З—на и дочери становаго.—«Жалоба уѣздной красавицы»—элегія.—Смѣлость могильныхъ червей. — «Кто ты?—лирическое восклицаніе къ псевдониму.— Фантастическая сцена гласнаго судопроизводства.—Г. Лермантовъ и г-жа Кобякова.—Протестъ послѣдней.—Я, какъ адвокатъ обвиненнаго.—Моя блестящая рѣчь о собственности и кражѣ.—Почему г. Лермантовъ назвалъ *Неожиданное богатство—Легкимъ богатствомъ?*—Масляница и ея удовольствія въ Петербургѣ. — Послѣдній маскарадъ въ Большомъ театрѣ и его характеръ. Сцена въ буфетѣ, гдѣ я опять являюсь адвокатомъ, но неудачнымъ. — Не рѣшенный вопросъ: кто долженъ больше обижаться: тотъ-ли, кого бьютъ, или тѣ, которые смотрятъ, какъ бьютъ?!..—Мои маскарадныя иллюзіи. «Маскарадный мотивъ»—стихотвореніе.—Петербургская начальница и ея классическое: *встаньте*!..—Нѣчто о скоромъ торжествѣ буквы Ѣ.

Какъ человѣкъ вполнѣ прогрессивный и въ высшей степени гуманный (я даже своей женѣ не рѣшаюсь говорить грубаго *ты*), болѣе всего въ мірѣ я боюсь общественнаго мнѣнія. Я глубоко вѣрю въ его симпатіи и антипатіи, въ его сознаніе и зрѣлость и уважаю

его приговоры. Вотъ почему, ежемѣсячно являясь передъ лицемъ моего читателя, я со страхомъ прислушиваюсь къ каждому слуху, къ каждому мнѣнію о скромныхъ листкахъ темнаго человѣка. Мнѣ все чудится роковая скамья подсудимыхъ и грозное, безпощадное veto общественнаго мнѣнія.

Не разъ случалось мнѣ встрѣчаться съ такими скептиками, которые мефистофильскими улыбками отвѣчали на мое благоговѣйное уваженіе къ общественному суду. Самый безпощадный изъ этихъ мефистофелей всѣхъ болѣе раздражалъ меня своимъ циническимъ отрицаніемъ самыхъ лучшихъ и святыхъ моихъ упованій.

— Скажите, говорилъ онъ, что вы такъ отстаиваете?

— Общественное мнѣніе!

— Да развѣ оно у насъ существуетъ? Не будьте такъ наивны... Общественное мнѣніе! Да оно у насъ также темно, какъ древнія слова: мани, факелъ, фаресъ и также перемѣнчиво, какъ петербургская погода. Наше общественное мнѣніе имѣетъ только одну добродѣтель—славянское гостепріимство (а какъ извѣстно этой добродѣтелью отличаются всѣ дикіе). Общественное мнѣніе съ одинакимъ чувствомъ встрѣчаетъ «Современникъ» и «Домашнюю Бесѣду», слушаетъ Ристори и Бурдина (послѣднему, впрочемъ, отдаетъ даже преимущество), присутствуетъ на публичныхъ лекціяхъ и на публичныхъ зрѣлищахъ, и свои симпатіи и антипатіи мѣняетъ или, по прихоти или по модѣ.

Такимъ образомъ рѣчь моего скептика шла crescendo. Люди съ такими односторонними взглядами на вещи неисправимы—хоть брось.

— Стало быть, вы даже не вѣрите въ русскій прогрессъ? замѣтилъ я съ нескрываемой досадой.

Скептикъ засмѣялся какимъ-то гадкимъ смѣхомъ, отъ котораго меня всего покоробило.

— Блаженъ, кто вѣруетъ—тепло тому на свѣтѣ! воскликнулъ онъ, ударяя меня по плечу: а это весьма удобно и комфортабельно, особенно въ такіе холода, какіе стояли нынѣшнюю зиму.

— Знаете, замѣтилъ я скептику, вѣкъ демоническихъ натуръ давно прошелъ; развѣ одинъ только Аполлонъ Григорьевъ ихъ не забылъ и потому странно встрѣтить теперь петербургскаго прогрессиста—новаго Алеко во фракѣ, декламирующаго очень картинно:

Нѣтъ, я не вѣрю ни чему:
Ни снамъ, ни шаткимъ увѣреньямъ,
Ни даже сердцу твоему.

— Нѣтъ, уже извините: я готовъ гораздо болѣе вѣрить снамъ, чѣмъ вами же сочиненному прогрессу.

Такихъ людей къ несчастію есть много... Слышите ли, господа! Понимаете ли вы, какъ глубоко долженъ скорбѣть каждый изъ насъ за это осмѣяніе нашего новаго гражданскаго чина, нашей гражданской доблести! Какого грознаго протеста заслуживаетъ подобный невѣрующій мытарь!.. Такой голосъ также возмутителенъ и страшенъ, какъ чумный гость, представшій на шумномъ праздникѣ новобрачныхъ. Едва только появился передъ нами этотъ милый гость съ обѣтами новыхъ ласкъ, едва только на наше дѣвственное ложе опустился этотъ юный женихъ, этотъ прогрессъ, какъ тотчасъ, точь-въ точь въ русской сказкѣ, какой-то ужасный Змѣй-Горынычъ хочетъ похитить дорогаго юношу отъ молодой, только начинавшей оживать невѣсты...

А между тѣмъ, когда мы опомнимся отъ этого кошмара, отъ этихъ зловѣщихъ словъ современныхъ мытарей, да трезво оглянемся вокругъ себя, кто же изъ насъ усомнится въ нашемъ прогрессѣ? Гдѣ тотъ смѣльчакъ, который не злобными выходками, а на дѣлѣ докажетъ намъ его миѳическое существованіе? Явился одинъ только смѣльчакъ... Но о немъ мы поговоримъ послѣ, а пока вновь прошу оглянуться васъ, господа, а главное заглянуть въ самихъ себя и потомъ рѣшить: неужели мы не созрѣли граждански?

Каждый изъ насъ, говорятъ, есть сынъ—вѣка, въ каждомъ изъ насъ вполнѣ

Отразился вѣкъ
И современный человѣкъ...

Будучи тоже сыномъ вѣка, я на этотъ разъ останавливаюсь пока на самомъ себѣ, заглядываю во всѣ изгибы своего сердца и ума и, окончивъ это трудное путешествіе, вполнѣ остаюсь довольнымъ самимъ собою или иначе—вѣкомъ. Въ своихъ жилахъ я чувствую его мощь, въ своихъ идеяхъ—нахожу его идеи, и готовъ теперь каждаго назвать въ глаза клеветникомъ, если онъ меня будетъ увѣрять въ нашей всеобщей непрогрессивности.

*

Коснувшись такого важнаго вопроса, я никакъ не могу говорить прозой, и, настроивъ свою лиру на самый торжественный ладъ, я начинаю:

ОДА ПРОГРЕССУ.

О, зачѣмъ не дала мнѣ судьба
Кисть Микѣшина, стихъ Розенгейма!
Для чего не по силамъ борьба
Мнѣ въ кругу прогрессивнаго сейма!
Пусть на доброе дѣло Зевесъ
Дастъ мнѣ краски и строгую лиру,
Чтобъ вездѣ по россійскому міру
Я прославилъ грядущій прогрессъ.

—

Надъ собою самимъ наблюдая,
Вѣка новаго чувствую духъ;
Всюду звонкія фразы кидая,
Я дивлю стариковъ и старухъ.
Обскуранту, въ полемикѣ жаркой,
Становлюсь я во всемъ въ перерѣзъ;
Обращаюсь гуманно съ кухаркой...
Это ты, нашъ великій прогрессъ!

—

Въ наказанье порока неистовъ,
Не щажу я мнѣ близкихъ людей,
И на памятникъ двухъ публицистовъ
Я пожертвовалъ тридцать рублей.
Зло, развратъ моя казнь не прощаетъ,
И хоть часто я гнусь въ букву *С*,
Но вѣдь это порой разрѣшаетъ
Даже самъ нашъ великій прогрессъ!

—

Пошлыхъ львовъ, что живутъ для омаровъ
Я громилъ съ озлобленьемъ не разъ,
Если жъ книгу издастъ Костомаровъ
Не прочту, но разрѣжу тотчасъ.
И, неся современности бремя,
Бью неправду, застой па отвѣсъ,

Рецензируя Павлова «Время»...
Это ты нашъ великій прогрессъ!

—

Въ русскихъ дамахъ гражданства примѣты
Я нашелъ, и воскликнулъ: пора!
За ланцеты, mesdames, за ланцеты!
Въ доктора, въ доктора, въ доктора!..
Чтобъ расходы на женскія тряпки
Снять съ себя,—я женѣ далъ совѣтъ
Поступить въ повивальныя бабки
Или женскій открыть лазаретъ...

—

Такъ себя наблюдая повсюду,
Наконецъ я невольно призналъ,
Что въ себѣ я—таиться не буду—
Гражданина ношу идеалъ,
Хоть портретъ свой чертилъ не хитро я,
Но большой ли вамъ въ немъ интересъ:
На такого, какъ самъ я, героя
Не скупится вѣдь русскій прогрессъ!

Мы всѣ, какъ истые прогрессисты, увѣренные въ своихъ собственныхъ силахъ, даже не придаемъ никакого значенія тѣмъ голосамъ, которые поютъ ему погребальную пѣсню, мы уважаемъ всякое убѣжденіе, но не простимъ только одного безцѣльнаго, случайнаго отрицанія и грубыхъ выходокъ... Мы всѣ очень хорошо умѣемъ различать страстное, безпощадное отрицаніе современнаго человѣка отъ безобразнаго скептицизма какого нибудь Собакевича, бросающаго камни направо, налѣво, только на томъ основаніи, что у него такая ужъ широкая натура...

За что, напримѣръ, новорожденный фельетонистъ Библіотеки для Чтенія, Никита Безрыловъ, былъ встрѣченъ такимъ безпощаднымъ свистомъ? Неужели за то, что онъ не признаетъ нашего прогресса? Сильно сомнѣваюсь въ этомъ... Скорѣе всего всѣхъ возмутилъ въ немъ тонъ Собакевича, Собакевича, который говорилъ: одинъ у насъ городничій—порядочный человѣкъ, да и тотъ свинья!.. Глумясь въ этомъ родѣ, надъ всѣмъ, что не попало подъ руку, Никита Безрыловъ вызвалъ у всѣхъ не улыбки, а досаду и сожалѣніе. »Искра»

даже обошлась съ нимъ уже черезъ-чуръ круто, поставилъ его на одну доску съ редакторомъ «Домашней Бесѣды». Положимъ Никита Безрыловъ сильно проврался и слишкомъ большую волю далъ своей широкой натурѣ (вѣдь широкія натуры и зеркала любятъ бить для потѣхи), но я все-таки держусь того мнѣнія, что сравненіе гг. Н. Безрылова и А. Писемскаго съ Аскоченскимъ уже слишкомъ сильное сравненіе... Разумѣется я не сатирикъ, и слишкомъ мягкаго права для того, чтобъ рѣшиться на такой рѣзкій приговоръ, а потому не могу быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Мнѣ пришла въ голову только одна мысль. Не знаю насколько гг. Безрыловъ и Писемскій оскорбятся сравненіемъ съ знаменитымъ Викторомъ Ипатьевичемъ, но вполнѣ увѣренъ, что самъ г. Аскоченскій чрезвычайно доволенъ такимъ пріятнымъ для него сопоставленіемъ именъ. Сначала Аскоченскаго сравнивали съ г. Катковымъ, потомъ съ И. Аксаковымъ, наконецъ и съ г. Писемскимъ: какъ же послѣ того не умилиться темному редактору «Домашней Бесѣды»! Вѣдь это честь для него великая!

Впрочемъ, «о безобразномъ поступкѣ» Никиты Безрылова я не буду много распространяться. О немъ прокричали повсюду, даже въ *ерундѣ* Льва Камбека какой-то ерундистъ лягнулъ его... Чтобы съ своей стороны вовсе не пройдти молчаніемъ новую «фельетонную клячу», (какъ самъ именуетъ себя Никита Безрыловъ) и ея рѣшительнаго пораженія, я начинаю импровизировать слѣдующую коротенькую балладу:

Два бойца.

Разъ, съ запасомъ стрѣлъ и свиста
Старый, русскій хроникеръ
Поджидалъ фельетониста
Изъ какихъ-то темныхъ горъ.

—

У Печаткина въ конторѣ
Ужъ гремѣлъ о немъ разсказъ.
И сразиться въ новомъ спорѣ
Захотѣлось имъ хоть разъ.

—

И пришелъ на бой Безрыловъ,
Авторъ дивныхъ трехъ страницъ,

И хотѣлъ всѣхъ свистофиловъ
Преклонить покорно ницъ.

—

Хроникеръ же предъ толпою,
Защищая свой принцинъ,
Посмотрѣлъ, тряхнулъ главою —
Ахнулъ дерзкій — и погибъ.

—

И простертый на подмосткахъ
Неподвижно онъ лежалъ,
Тамъ, гдѣ въ «*Изгари* и *Блесткахъ*»
Чей-то корчился журналъ.

Вернусь теперь къ тому, съ чего я началъ—къ моей вѣрѣ въ непреложность и единство общественнаго мнѣнія. Если выходки многихъ скептиковъ не могли до сихъ поръ поколебать въ этомъ дѣлѣ моего убежденія, то одинъ случай, недавно бывшій со мной, заставилъ сильно меня призадуматься и поколебаться. Это было на одномъ домашнемъ литературномъ вечерѣ, въ домѣ богатаго барина, къ которому, въ числѣ многихъ гостей, попалъ и я. Какъ уже извѣстно, благотворительные спектакли и литературныя чтенія сдѣлались насущною потребностью нашего развитаго общества. Кромѣ публичныхъ чтеній вошли въ моду домашніе вечера, на которыхъ читаются лучшія произведенія русскихъ писателей. Имѣя случай быть на одномъ изъ такихъ засѣданій, я отправился туда, довольный тѣмъ сознаніемъ, что люди нашего вѣка умѣютъ проводить свои досуги безъ танцевъ и ненавистныхъ мнѣ картъ... Не имѣя права на замѣтное появленіе въ роскошной гостиной, я, какъ неизвѣстный «темный человѣкъ», никогда не являвшійся передъ публикою во время литературныхъ чтеній въ пассажѣ, скромно и тихо явился на званый вечеръ и изъ пустаго уголка началъ наблюдать и разсматривать окружающую меня публику. Публика же была самая разнообразная, разноцвѣтная... Я понялъ, что только одни общіе интересы и стремленія могли соединить въ одну гостиную и шумныхъ прогрессистовъ, и молчаливыхъ офицеровъ, подагрическихъ стариковъ и нервныхъ дамъ, парики и львиныя прически, шпоры и дипломатическія бакенбарды... Ктобы могъ доказать мнѣ въ ту минуту, что эти люди сошлись сюда такъ себѣ, случайно, и я на-

чалъ снова всматриваться въ лица посѣтителей литературной гостиной...

При видѣ пышныхъ львовъ и львицъ,
Мущинъ, старушекъ и дѣвицъ,
Шепталъ тихонько я въ гостиной:
Всю эту смѣсь одеждъ и лицъ
Соединилъ прогрессъ единый;
Кого, кого тамъ не встрѣчалъ
Мой взоръ въ толпѣ перебѣгая...
Тамъ былъ въ отставкѣ генералъ,
На всѣхъ смотрѣвшій не моргая;
Тамъ былъ угрюмый откупщикъ,
Бранившій невскіе трактиры,
И пережившій свой парикъ
Поэтъ, отставленный отъ лиры;
Тамъ былъ развязный офицеръ
Съ непозволительнымъ румянцемъ,
Домашній врачъ, акціонеръ,
Артистъ, смотрѣвшій италіянцемъ;
Тамъ былъ пріятный господинъ
Болонку гладившій хозяйки,
И двѣ княжны, вносившихъ сплинъ,
Дѣвицы въ лѣтахъ и всезнайки.

Я созерцалъ—колоду картъ
Всего общественнаго мнѣнья:
Тамъ былъ нафабренный валетъ
Съ обѣтомъ вѣчнаго молчанья
И дама пикъ,—ужъ двадцать лѣтъ
Дочь вывозившая въ собранье.
Чиновникъ, баринъ и купецъ
Всѣ были призваны на чтенье:
Тамъ все общественное мнѣнье
Нашелъ я въ лицахъ наконецъ.

Съ особеннымъ любопытствомъ началъ я прислушиваться къ толкамъ и рѣчамъ представителей и представительницъ русскаго прогресса. Книги и журналы, покрывавшія большой столъ, еще не были тронуты;

всѣ разсѣлись по небольшимъ группамъ, точно посѣтители теперешняго шахматнаго клуба и предавались тихой и разумной бесѣдѣ:

Я подошелъ къ первому кружку, гдѣ сидѣла сама хозяйка еще молодая и красивая женщина.

— Какъ вы думаете, говорила хозяйка сладко улыбающемуся господину, игравшему съ ея собачкой: нужно ли женщинѣ учиться медицинѣ и добиваться докторскихъ патентовъ?

— Это было бы нужно... въ такомъ случаѣ, еслибы на землѣ остались однѣ только женщины, а теперь пока, все это—маленькія утопійки, дѣтскія теорейки... ей–Богу–съ!

— Да и къ чему женщинѣ медицина, замѣтилъ развязный господинъ, когда онѣ и безъ помощи аптеки могутъ поражать и укладывать насъ въ могилу... Ха, ха, ха!..

Блѣднощекая блондина бросила на говорившаго такой благодарный и глубокій взглядъ, отъ котораго не устояло бы ни одно застрахованное отъ огня сердце...

— Согласились ли бы, продолжалъ развязный господинъ обращаясь къ блондинкѣ, поступить во врачи, съ обязанностью ѣздить по грязнымъ больницамъ и возиться съ мертвыми трупами?

— Фи! за кого вы меня считаете? Развѣ прилично дѣвушкѣ спускаться до роли какой–то лекарки? Вы вѣдь знеете, что у насъ даже... акушерки (при этомъ словѣ она сильно покраснѣла) нигдѣ не приняты, нигдѣ не бываютъ.

— Нашлись же порядочныя женщины, замѣтилъ рѣзко студентъ, которыя не нашли *неприличнымъ*—слушаніе лекцій въ медицинской академіи...

— Мало ли, батюшка, есть женщинъ, проговорила сѣдая разряженная старуха... Всякія есть... Всѣмъ законъ не писанъ...

Я перешелъ въ другую сторону.

Въ это время къ кружку нѣсколькихъ дамъ и мущинъ подошелъ только–что пріѣхавшій молодой человѣкъ.

Сыпались привѣтствія и вопросы.

— Bonjour, M–r Зборинъ! Здравствуйте! Откуда вы такъ поздно?

— Изъ русской оперы—смотрѣлъ Никольскаго въ «Жизни за Царя»...

— Изъ русской оперы? удивлялась полная дама: да развѣ можно ѣздить въ русскую оперу... это должно быть очень уморительно и скучно!..

— А чья это опера «Жизнь за царя?» продолжала она.

— Глинки, замѣтилъ кто-то. Послѣдовало длинное: а, а, а!..

— А что, хорошъ собою Никольскій, допрашивала старая княжна своего сосѣда.

— Извините, это уже никакъ не по моей части...

— Ахъ, Маріо, очаровательный Маріо, вздыхала княжна: кто замѣнитъ намъ его!...

— Говорятъ, что Сѣтовъ,—улыбаясь, замѣтилъ новопришедшій. Мы, какъ патріоты, должны поддержать эту мысль, хотя клеветники и говорятъ, что онъ потерялъ свой голосъ.

— Что такое за исторія поднялась въ нашихъ газетахъ о кукельванѣ, началъ лысый начальникъ отдѣленія. Вы должны знать это, обратился онъ къ домашнему врачу.

— Это одна изъ клеветъ, отвѣчалъ врачь, на которыя такъ щедра теперешняя журналистика. Обличительная литература оказалась гораздо вреднѣе всѣхъ возможныхъ кукельвановъ...

— Дѣйствительно, теперь у насъ читать нечего, вмѣшалась дама съ мужскими формами: ни одного почти журнала въ руки взять нельзя... Только за одними переводными романами и можно еще отдохнуть...

— Ахъ, вы были на послѣднемъ литературномъ чтеніи? обратилась къ ней розовенькая институтка.

— Нѣтъ.

— Жаль... Майковъ стихи читалъ, такъ хорошо читалъ, что я чуть не плакала... Ахъ, какой онъ душка!..

— Знаете печальную новость, говорилъ аукціонеръ древнему поэту въ парикѣ: вчера скоропостижно умеръ И. И. Панаевъ.

Древній поэтъ поправилъ галстукъ и слезливо покачалъ головой.

Отставной генералъ первый разъ въ продолженіи вечера моргнулъ глазами и что-то промычалъ.

— А кто это Панаевъ? смѣло спросилъ начальникъ отдѣленія, я, кажется, служилъ...

— Это одинъ изъ русскихъ литтераторовъ, одно время очень любимый публикой. Какъ авторъ легкихъ разсказовъ и очерковъ, онъ составилъ себѣ имя въ журналистикѣ....

— Ахъ, помню, вмѣшался завитой молодой человѣкъ, вѣдь это онъ, кажется, написалъ: «опытъ о хлыщахъ»... Бойко написано...

Разговоры шли въ этомъ тонѣ. Гости, собравшись на литературный вечеръ, видимо старались говорить о «матерьяхъ важныхъ», но

все это какъ-то не удавалось и тихій ангелъ не разъ парилъ то надъ тѣмъ, то надъ этимъ кружкомъ.

— Что жъ? думалъ я. Одна только непривычка къ подобнымъ собраніямъ—ничего болѣе. Вѣдь могли бы и въ карты сѣсть играть, а вотъ не играютъ...

Между тѣмъ время проходило и хотя въ карты дѣйствительно не играли, но вечеръ только по названію былъ литературный. Нѣсколько молодыхъ людей и дамъ, чтобъ хоть немножко очистить свою совѣсть, подошли къ огромному столу съ книгами, начали перелистывать журналы и пробѣгать нѣкоторыя стихотворенія.

Наконецъ—это была роковая для меня минута—кому-то вздумалось развернуть одну изъ послѣднихъ книжекъ Русскаго Слова и именно тамъ, гдѣ начинается «дневникъ темнаго человѣка».

Понимаете ли вы, добродѣтельный читатель, что долженъ былъ чувствовать я, скромный труженикъ, въ то время, когда, находясь въ такомъ блестящемъ обществѣ, начали громко читать вступительные стихи моего листка, а потомъ и самый листокъ. Я задрожалъ, какъ невѣста передъ дверью перваго бала и почувствовалъ, что въ горлѣ моемъ вдругъ пересохло...

Хозяинъ дома, сидѣвшій рядомъ со мной, нѣсколько разъ хотѣлъ объявить о присутствіи въ гостиной самого автора, но я такъ убѣдительно и слезно посмотрѣлъ на него, что онъ понялъ мою нѣмую просьбу.

Я перевелъ дыханіе и началъ слушать.

Листокъ мой начали читать вслухъ, сначала тихо, а потомъ довольно громко. Нѣсколько улыбокъ двухъ, трехъ слушателей заинтересовало другихъ—и всѣ примолкли.

Во время чтенія, въ безмолвныхъ лицахъ слушателей я старался прочесть свой приговоръ и чутко, съ замираніемъ сердца вглядывался въ каждую физіономію.

Каждую улыбку слушателя я цѣнилъ на вѣсъ золота, отъ каждой зѣвоты приходилъ въ лихорадочное содроганіе. Особенно безпокоило меня выраженіе лица начальника отдѣленія, выраженіе до того грозное, что я готовъ былъ въ ту минуту дать вѣчный обѣтъ—никогда не писать ни въ одномъ русскомъ журналѣ. Я съ трепетомъ ждалъ конца чтенія; я молилъ судьбу, чтобъ какой нибудь непредвидѣнный случай, въ родѣ сосѣдняго пожара или землетрясенія, разомъ заставилъ бы забыть гостей и журналъ, и литературу, и бѣдного темнаго человѣка.

Но землетрясенія не случилось, пожара—тоже, и чтеніе на одной изъ страницъ остановилось...

— Кто это пишетъ подъ именемъ темнаго человѣка? небрежно замѣтила старая княжна: немножко тривіально, но не совѣмъ скучно... Стишки есть не дурные!..

Какъ не безобразна была говорившая, но за эту жесткую похвалу я готовъ былъ поцѣловать ее прямо въ губы, въ ея ужасныя, искривленныя губы.

— Мало ли нынче развелось разныхъ псевдонимныхъ писакъ, злобно замѣтилъ начальникъ отдѣленья, глумящихся надъ встрѣчнымъ и поперечнымъ... Розенгеймъ какой нибудь пишетъ...

Что я чувствовалъ въ эту минуту? Въ тѣ дни, когда самаго Писемскаго и Аксакова сравниваютъ съ Аскоченскимъ, меня, даже мой антагонистъ, смѣшалъ, да съ кѣмъ смѣшалъ?

Его творца, героя, полу-бога

русской сатиры—Розенгейма могъ подозрѣвать въ темномъ авторѣ темнаго листка? Чтобъ не сказалъ послѣ этого сравненія начальникъ отдѣленія, какъ бы не разбранилъ меня—я былъ исполненъ тайной и великой гордости.

— Куплетцы есть бойкіе—произнесъ древній поэтъ, но поэзіи нѣтъ, мягкости, отдѣлки... Современные поэты возвышенныхъ чувствъ не понимаютъ, замѣтилъ онъ со вздохомъ.

Отставной генералъ вторично моргнулъ глазами и я въ первый разъ услышалъ его голосъ:

— Малокососы! Уваженія къ лѣтамъ и званію не имѣютъ...

— Я нахожу, вмѣшался завитой господинъ, что современные, такъ называемые свистуны, ужасно циничны... Рѣшительно порядочнаго тона не знаютъ: есть что-то трактирное, вульгарное, неопрятное даже въ самомъ ихъ остроуміи...

Я бросилъ взглядъ ненависти на говорившаго, и если бы не студентъ съ длинными волосами оборвавшій его, я былъ самъ готовъ на какую нибудь рѣзкую выходку.

— Вотъ толи дѣло, говоритъ княжнѣ развязный офицеръ—статейки «рыцаря стеклышка и плэда» въ Модномъ Магазинѣ. Если вы не читали, княжна, то пожалуйсто прочтите: граціозно, легко и не обидно...

— Ахъ, я читала, замѣтила институтка... еще тамъ написано о томъ, какъ рыцарь нашелъ портъ-моне на невскомъ проспектѣ.

Въ это время хозяинъ дома предложилъ обществу прочесть новое произведеніе Островскаго—Козьма Минина.

— Что это—повѣсть? спросила вдовушка, шаля вѣеромъ.

— Нѣтъ, драма; Островскій получилъ за нее награду — бриллiантовый перстень и вмѣстѣ съ награжденнымъ Кальцоляри принадлежитъ къ любимцамъ публики...

Поэтъ въ парикѣ вызвался быть чтецомъ и чтеніе началось. Во время его я успѣлъ отдохнуть послѣ тяжелаго впечатлѣнія собственной казни, и съ какимъ-то почти нескрываемымъ озлобленіемъ началъ смотрѣть, какъ неистово скучала вся публика, слушая однообразную декламацію стараго чтеца. Я съ наслажденіемъ ловилъ скуку и зѣвоту на лицахъ гостей, обманывавшихъ другъ друга своимъ напряженнымъ, вымученнымъ вниманіемъ. Взглядъ отставнаго генерала какъ бы окаменѣлъ и онъ сидѣлъ тупо и недвижно, точно во время сеанса фотографа. Институтка, искоса посматривая на развязнаго офицера, усиленно глотала свою зѣвоту. Завитой господинъ кусалъ ногти, сидя какъ разъ противъ злоулыбающагося студента и показывалъ видъ, что онъ внимательно слѣдитъ за чтеніемъ... Мнѣ было весело въ эти часы видѣть добровольныя мученія благовоспитанныхъ слушателей, и къ общему негодованію (тайному разумѣется) вслухъ восторгался нѣкоторыми монологами и деклмаацiей несчастнаго читальщика.

Наконецъ ужинъ прервалъ чтеніе, и гости измученные, истерзанные, проклиная въ душѣ новую моду литературныхъ вечеровъ, отправились въ столовую, разомъ начавши говорить о новомъ пикникѣ, затѣваемомъ ими на той недѣлѣ.

— Гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, прогрессъ нашего общества? думалъ я, садясь на извощика, послѣ этого вечера. Неужели я обманывался? Но я тутъ же понялъ, что смотрю на это дѣло пристрастно, подъ вліяніемъ только-что задѣтаго авторскаго самолюбія. Нѣтъ, я обманулся на этотъ разъ, рѣшилъ я наконецъ и торжественно воскликнулъ:

Во всемъ прогрессъ по волѣ неба,
Во всемъ развитія законъ...

Съ какими еще отрадными явленіями нашихъ дней познакомлю я моего читателя? Явленій отрадныхъ такъ много, что я теряюсь въ сво-

ихъ соображеніяхъ и незнаю съ чего начать!.. Съ добродѣтельныхъ ли порывовъ Н. Ф. Павлова, (которому я сбираюсь посвятить свой переводъ изъ гётевскаго Фауста, гдѣ Фаустъ продаетъ свою душу мефистофелю) съ театральныхъ ли полемикъ г. Ротчева или наконецъ съ замѣчательныхъ произведеній г. Охочекомонны въ Библіотекѣ для Чтенія. Начну именно съ послѣдняго, какъ съ самаго юнѣйшаго журнальнаго прогрессиста.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ всѣ мы ужасно какъ волновались и обижались, когда нашихъ петербургскихъ дѣятелей и журналистовъ, г. Борисъ Чичеринъ и К° называли *литературными казаками*, *сплетниками* и другими болѣе или менѣе граціозными названіями.

Всѣ непрактическіе люди или, выражаясь приличнѣе, «люди не имѣющіе почвы подъ ногами», не могли вынести равнодушно эпитетовъ московскаго изготовленія. Такая неестественная скромность, достойная только институтокъ, дѣйствительно была странной въ серьезныхъ, кабинетныхъ людяхъ, никогда не заглядывавшихъ въ лексиконы *приличныхъ* и *модныхъ* выраженій...

Ну, вотъ великая, въ самомъ дѣлѣ, бѣда, если на мѣсто чина какого нибудь надворнаго совѣтника насъ обзовутъ казакомъ или черкесомъ!.. Невѣдѣніе наше продолжалось бы еще очень долго, еслибы не явился новый голосъ, новый полемическій реформаторъ, который доказалъ, что порядочные люди вовсе не должны жеманиться и краснѣть отъ каждаго рѣзкаго выраженія. Вотъ Англичане и образованный народъ, а боксами занимаются же...

— Долой рутину, возопилъ Охочекомонна, надѣвая кулачныя рукавицы. Будемъ искренны и откровенны во всемъ. Подъ цинизмомъ нравовъ скрывается ихъ красота и сила.

Въ слѣдъ за этимъ, г. Охочекомонна началъ искать себѣ журнальнаго органа, гдѣ бы онъ могъ распоясаться и приступить къ своей новой полемикѣ.

Библіотека для Чтенія, утомленная стихотвореніями Зорина и Иванова, предложила ему свои услуги.

— Авось, думаетъ, скандалъ надѣлаетъ, а безъ него плохо теперь приходится. Идите же, г. Охочекомонна,

Гуляйте, гдѣ благоугодно!..

И вотъ появилось грозное слово объ университетахъ и о статьяхъ

нѣкоторыхъ ученыхъ, писавшихъ на эту тему. Охочекомонна задалъ себѣ задачей поразить всѣхъ своихъ враговъ разомъ.

— Чѣмъ же ихъ поразить? думалъ новый Илья Муромецъ. Логикой? Не сладишь. Здравымъ смысломъ? Тоже трудно... Что же дѣлать? Но боецъ не сробѣлъ и придумалъ новый методъ битвы.

Началъ онъ съ самаго сильнѣйшаго.

— Вы, говоритъ, сударь не ученый, а *мартышка*,—ничего болѣе. Знаете, какія стишки къ вамъ идутъ? Вотъ какіе:

Стой, братцы, стой»: кричитъ *мартышка*,—погодите,
Какъ музыкѣ идти? вѣдь вы не такъ сидите...

— А для васъ господа, продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ своимъ противникамъ, тоже стишекъ есть:

Постойте, я сыскалъ секретъ,—кричитъ *оселъ*,
Мы вѣрно ужъ поладимъ, коль рядомъ сядимъ.

Лица названные такъ откровенно *ослами*—разумѣется были поражены на смерть.

Охочекомонна видимо понялъ всю выгоду своей полемики; онъ по методѣ г. Бланка, только и можетъ называть людей именами различныхъ животныхъ. Вотъ она сила-то басни!..

Ахъ, если бъ критикомъ родился въ мірѣ я—
На басни бы налёгъ—охъ, басни—смерть моя!...

Ихъ оружіе убійственно, особенно въ рукахъ г. Охочекомонны. Но г. Охочекомонна не всегда такъ безпощаденъ и неумолимъ въ своихъ приговорахъ; иногда у него является и снисходительность и мягкость невѣроятная.

Напримѣръ, изъ уваженія къ личности женщины, онъ не рѣшился сравнить съ какой-нибудь птицей или рыбой г-жу Толмачеву за чтеніе «Египетскихъ ночей» въ Перми, но только назвалъ ее за это «развратительницей общества».

Въ другомъ случаѣ онъ оказался не менѣе того любезенъ, и его любезность должна вполнѣ оцѣнить редакія Русскаго Слова. Одинъ изъ сотрудниковъ Русскаго Слова, заслуживъ немилость г. Охоче-

комонны, дождался отъ него слѣдующаго замѣчанія, относительно очень деликатнаго:

Принципы этого философа, пишетъ онъ, «давно принимаются, какъ основаніе стремленій тѣхъ животныхъ, которыхъ имя служитъ символомъ неопрятности, людей, которые не стыдились походить на нихъ».

Не правда ли, что есть большая разница между словами—ты оселъ, ты свинья и такимъ выраженіемъ: ты принадлежишь къ числу тѣхъ животныхъ, которыя извѣстны своей непріятностью. Въ первомъ случаѣ фраза выходитъ гораздо суровѣе, чѣмъ въ послѣднемъ и мы неможемъ не замѣтить, что г. Охочекомонна вполнѣ владѣетъ тонкой діалектикой, исполненной мягкости и достоинства.

Можно ли теперь не признать заслугъ Библіотеки для Чтенія, которая почти разомъ подарила насъ блестящими талантами гг. Зорина и Охочекомонны, Петра Нескажуся и Никиты Безрылова... Подъ счастливой звѣздой родился г. Печаткинъ, умѣя въ одно время соединить въ своемъ журналѣ имена этихъ новыхъ дѣятелей. Не могу не воскликнуть при этомъ:

Милъ и хорошъ твой, Печаткинъ, журналъ,
Вѣрная пристань средь нашихъ тумановъ;
Пишетъ стихи въ немъ Зоринъ и Ивановъ...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

—

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ,
Славить, и пѣть я его не боюся,
И не забуду Петра Нескажуся...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

—

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ,
Въ немъ къ озлобленью полемикофиловъ
Смѣло предсталъ ты Никита Безрыловъ...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

—

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ!
Но что статьи всѣ, стихи, фельетоны
Передъ трудами Охочекомонны?
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

Кромѣ вышеупомянутыхъ мыслителей, въ Библіотекѣ для Чтенія народился еще новый дѣятель (ужъ такой урожай на нихъ пошелъ!), который явился растолкователемъ и суровымъ судьей дѣятельности покойнаго Н. А. Добролюбова. Авторъ статьи «Небывалые люди» г. З—нъ (кто ты, прекрасная маска?) доказалъ намъ, самымъ положительнымъ образомъ, какъ безцвѣтна и безслѣдна была вся трудовая жизнь Добролюбова и какъ жалки были всѣ друзья покойнаго, высоко ставившіе его дарованіе!.. Напрасны бы мы думали ждать пощады отъ г. З—на, напрасно бы думали защитить передъ нимъ имя человѣка, глубоко нами уважаемаго, въ котораго даже враги его не рѣшались бросить камня, г. З—нъ не умолимъ и не останавливается на полъ-пути. Онъ сбираетъ своихъ слушателей и открываетъ свою карающую лекцію такимъ ядовитымъ восклицаніемъ:

— бовъ—и монументъ по подпискѣ! Имя кандидата въ великіе люди пишется съ маленькой буквы даже въ томъ случаѣ, когда имъ начинается строка, потому что нельзя же написать—Бовъ, если намъ постоянно встрѣчался—бовъ!...

Итакъ—вотъ въ чемъ дѣло: г. З—нъ негодуетъ на то, что въ пользу памятника Добролюбова идетъ общественная подписка! Такому суровому публицисту какъ г-нъ З—нъ въ этомъ случаѣ:

Есть отчего въ отчаянье придти!..

Кто не согласится, въ самомъ дѣлѣ, съ г. З—нымъ, что нелѣпо ставить памятникъ человѣку, фамилія котораго писалась чрезъ маленькую букву —бовъ!.. Это орѳографически невозможно и довольно одного этого довода, чтобы понять справедливое негодованіе г. З—на. Вотъ другое дѣло, еслибы фамилія, которую подписывалъ покойный литераторъ подъ своими статьями, начиналась съ большой буквы— тогда еще памятникъ возможенъ. На этомъ же основаніи, всѣ мы готовы составить подписку даже на пожизненный мавзолей нѣкоторыхъ геніевъ Библіотеки для Чтенія, какъ напр. гг. Охочекомонны, З—на, Зорина, потому что ихъ фамилія начинается съ большой буквы.

Господа! Я призываю къ подпискѣ и первый готовъ подать примѣръ пожертвованія въ пользу большихъ начальныхъ буквъ этихъ счастливыхъ именъ литературы!.. Да здравствуетъ же орѳографическая находчивость г. З—на!..

Но г. З—нъ на этомъ не останавливается и начинаетъ разбирать, достоинъ ли Добролюбовъ долгой памяти своихъ читателей.

Онъ обращается къ друзьямъ покойнаго:

— Какъ рѣшились вы на гробѣ Добролюбова, *второстепеннаго* человѣка вашего кружка, въ его некрологѣ и при нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, такъ много наговорить о его *честности*? (?!)

— Какъ? думаютъ слушатели, неужели г. З—нъ, невѣритъ въ честность покойника? Неужели безъ всякаго основанія онъ имѣетъ дерзость дѣлать упреки такого рода?

Но, послушайте, что дальше говоритъ г. З—нъ:

—«Добрые инстинкты большинства публики, не развившаго въ себѣ самостоятельнаго отношенія къ вещамъ и *готоваго многому повѣрить на слово* (т. е. честности Добролюбова?) *не должны быть злоупотребляемы*!..

Вотъ какое обвиненіе низвергаетъ г. З—нъ на голову друзей Добролюбова, обвиняя ихъ въ неправдѣ, во лжи передъ русской публикой.

Онъ продолжаетъ далѣе:

—«Публика состоитъ изъ всякихъ членовъ, въ томъ числѣ есть и добрыя дѣти.

Соблазнить единаго отъ малыхъ сихъ и поселить въ немъ убѣжденіе, что покойный —бовъ былъ человѣкъ необыкновенный, значитъ, извратить понятія ребенка о величіи людей, умалить его нравственный идеалъ» и т. д. Однимъ словомъ, г. З—нъ обвиняетъ друзей Добролюбова въ гражданскомъ преступленіи. Горе, горе имъ!..

Какъ осмѣлились они предложить подписку на сооруженіе могильнаго памятника человѣку, никогда не переводившаго «Сарданапала» Байрона и не писавшаго стишковъ во вкусѣ Зорина и Иванова?—Да знаете ли вы, восклицаетъ г. З—нъ съ байроновскимъ жаромъ, если бы мы стали дѣлать памятники разнымъ рецензентамъ, «то для этого не достало бы ни денегъ, ни мрамора десяти такихъ планетъ, какъ наша».

О благородномъ негодованіи Охочекомовны 2-го, мы можемъ судить по слѣдующимъ восклицаніямъ:

— Ломаніе друзей Добролюбова передъ русской публикою во всѣхъ отношеніяхъ отвратительно!..

— Ихъ похвалы—есть выпрашиванье на водку! Мы не можемъ *безъ лично глубокаго стыда* вспомнить объ этомъ!..

Теперь интересно будетъ узнать какъ думаетъ, г. З—нъ о дѣ-

ятельности Добролюбова и какое мѣсто позволяетъ занять ему въ русской литературѣ... Слѣдить за развитіемъ мысли г. З—на будетъ для насъ слишкомъ утомительно; мы лучше выберемъ всѣ характерныя изрѣченія новаго Мартына Задеки, въ которыхъ онъ излагаетъ свой взглядъ на покойнаго писателя. Смѣю увѣрить читателя, что эти изрѣченія взяты не изъ Домашней Бесѣды, но изъ статьи моей прелестной маски. Итакъ, вотъ нѣсколько изрѣченій:

— Добролюбовъ былъ *литературнымъ потатчикомъ* и покровителемъ *бездарности*.

— Единственное достоинство его статей—плодовитость и растянутость.

— Труды его были чужды оригинальности; онъ даже не терпѣлъ оригинальности въ другихъ.

— Статьи Добролюбова—плохая пожива *для мысли*.

— У него мы нигдѣ не видимъ *принципа, состоятельнагоо* или *временно-годнаго*...

— Особенность Добролюбова—сантиментальность, въ большинствѣ случаевъ, просто надоѣдливая.

— Добрый, добросердечный—бовъ!..

Предоставляя друзьямъ Добролюбова и критикамъ собрать въ цѣлое всѣ эти жемчужины и оцѣнить ихъ по достоинству, я приведу еще одно послѣднее изрѣченіе г. З—на, весьма замѣчательное.

— «Добролюбовъ, говоритъ онъ, разсматривая его критическій методъ съ напряженіемъ всѣхъ умственныхъ силъ своихъ, старался передать вамъ то совершенно непередаваемое чувство боли, которое было въ мужикѣ, когда его били, и онъ съ такимъ непонятнымъ усердіемъ и съ такою монотонною длиннотою предавался этому неблагодарному и вполнѣ безплодному упражненію, что вамъ, наконецъ, хотѣлось сказать: да отстаньте же отъ меня! я и безъ того знаю, что когда бьютъ—то бываетъ больно».

Кто ты, кто ты, таинственная маска? Слушая тебя, я такъ и вижу уѣздный городокъ, сальную комнату, гдѣ за книжкой сидитъ и разсуждаетъ перезрѣлая дочка какого нибудь становаго или исправника, дочка, которая *ужасть* какъ любитъ офицеровъ, мороженое и скандальные французскіе романы московскаго издѣлія. Я будто вижу, какъ въ руки подобной провинціальной Нимфы попалась критическая статья Добролюбова, и она, подобно г. З—ну, негодуетъ на сочинителя, котораго никто не просилъ страдать за каждый ударъ по спинѣ его

ближняго! Образъ такой уѣздной барышни въ ситцевой блузѣ и съ заспанными глазами, такъ и выросъ теперь передо мною, и мнѣ нѣтъ возможности отдѣлаться отъ него иначе, какъ—стихами. Думаю, что моя элегія въ этомъ случаѣ весьма кстати:

ЖАЛОБА УѢЗДНОЙ КРАСАВИЦЫ.

Элегія.

Что это, тетенька,—просто мученіе
Новыя книги читать!
Нѣтъ никакого почти развлеченія:
Такъ и захочется спать.

—

Повѣсть раскроешь—герои все штатскіе;
Нѣтъ интересныхъ двухъ лицъ,
Все разговоры такіе дурацкіе —
Скука одна для дѣвицъ.

—

А уже критики—вотъ наказанье!
Словно туманъ въ головѣ;
Нѣтъ и примѣтъ благороднаго званія,
Тонъ—настоящій *мове*...

—

Очень вѣдь нужно порядочной женщинѣ
Знать, какъ живутъ мужики.
Слышите: чувство нашли въ деревенщинѣ,
Сердце нашли... Пустяки!..

—

Словно они всѣ съ такими же нервами,
Также страдаютъ, какъ мы.
Ужъ не хотятъ ли поставить ихъ первыми
Критиковъ этихъ умы?..

—

Бьютъ ихъ! Такъ что же? за дѣло и слѣдуетъ,
Такъ говоритъ самъ *папа́*.
Что жъ сочинитель-то тутъ проповѣдуетъ —
Я и сама не глупа.

—

Дай-ка, возьму я «Письмовникъ Курганова»
Или стихи Зорина,
Иль «воеводу», пожалуй, Иванова...
Критики жъ скука одна.

—

Нѣтъ... Погадаю ужъ лучше о суженомъ...
Просто заснешь у носка!
Хоть бы лѣсничій пришелъ передъ ужиномъ!
Господи, что за тоска!..

«Въ снисхожденіи къ побитому мужичку у г—бова было дѣйствительно что то странное»—продолжаетъ уже не уѣздная барышня, а столичная журнальная маска... Но довольно говорить о красотахъ статьи г. З—на, ихъ и такъ было указано достаточно. Г-нъ З—нъ самъ очень высоко ставитъ свою статью и говоритъ, что его *критика — есть здоровая.* Мы при этомъ еще добавимъ отъ себя, — что кромѣ здоровья (здоровье всего дороже) она отличается и предусмотрительностью. Пока живъ былъ Добролюбовъ, пока его голосъ— *сантиментальный* положимъ — время отъ времени раздавался въ русской журналистикѣ, маленькія букашки не смѣли выползать изъ своихъ щелей и только пугливо показывали на свѣтъ Божій свои крошечныя головки. Но вотъ когда смерть сковала этотъ голосъ честнаго и энергическаго дѣятеля

И полѣзли изъ щелей
Мошки и букашки,

Зашипѣли, завозились эти Охочекомонны, эти З—ны, сильные и смѣлые передъ холоднымъ трупомъ. Бываютъ же на свѣтѣ смѣльчаки такіе, подумаешь!.. Одной только смѣлости не хватило у нашей маски, скрывающуся подъ литерами З—нъ, явиться съ своимъ мнѣніемъ прямо и открыто, безъ маскараднаго забрала. Впрочемъ, какъ всѣ маски, и эта захотѣла еще болѣе возбудить въ насъ любопытство, заставить обратить на себя вниманіе. Выгода есть двойная...

Мое любопытство, какъ и многихъ было тоже задѣто, и я посвятилъ тебѣ, маска, слѣдующее стихотвореніе:

Кто ты?

(Посвящ. г. З—ну).

Изъ подъ таинственной журнальной полу-маски
Ловилъ я рѣчь твою внимательно вездѣ,
Я ждалъ инкогнито упорнаго развязки,
Но вмѣсто имени нашелъ лишь букву З.

—

Меня тянулъ къ себѣ, приковывалъ невольно
Твой не разгаданный и скромный псевдонимъ,
И думалъ, думалъ я—а сердце билось больно—
Зачѣмъ скрываешься, о маска, ты за нимъ?

—

О, еслибъ кто нибудь съ прекрасной незнакомки
Снялъ маску темную съ узломъ стыдливымъ лентъ,
То разомъ шаръ земной весь дрогнулъ бы отъ ломки
И ей поставили бъ мы вѣчный монументъ.

—

И создалъ я теперь въ моемъ воображеньѣ,
Прочтя для паѳоса двѣ пѣсни Зорина,
Лица незримаго и смыслъ, и выраженье,
И вновь надеждою душа моя полна.

—

И все мнѣ кажется: я слышалъ рѣчи эти!
И кто-то мнѣ шепталъ, таинственъ и незримъ:
У Аскоченскаго, въ прославленной газетѣ
Та маска явится, раскрывъ свой псевдонимъ.

Будемъ же терпѣливо ждать этого времени, не имѣя возможности пока удовлетворить своему любопытству. А теперь... теперь мы перейдемъ къ другимъ явленіямъ, позабытымъ или неизвѣстнымъ нашимъ читателямъ. Пользуясь правомъ фантазіи, я перенесу теперь васъ въ огромную залу гласнаго судопроизводства, гдѣ разбирается дѣло С.-Петербургскаго книгопродавца Лермонтова и г-жи Кобяковой. Мы находимся при самомъ началѣ засѣданія и потому можемъ слѣдить съ самаго начала за ходомъ дѣла. Отбросивъ въ сторону всѣ лишнія формальности—начинаю.

Обвиняемый былъ—г. Лермонтовъ, истецъ—г-жа Кобякова.

Г-жа Кобякова требуетъ слова и начинаетъ свои обвинительные пункты:

«Въ 5 и 6 №№ журнала Русское Слово я помѣстила повѣсть подъ заглавіемъ: «Неожиданное Богатство». Статью эту я отдала *исключительно* въ одинъ этотъ журналъ, не предоставляя права никому перепечатывать ее въ другихъ какихъ либо журналахъ, хотя бы даже въ Народномъ Чтеніи; но вдругъ вижу, что она напечатана въ этомъ журнальчикѣ.

Голосъ президента (къ Лермонтову) вы издатель Народнаго Чтенія?

Подсудимый. Я...

Г-жа Кобякова. «Издатель этого журнала, не то чтобы взялъ отъ меня дозволеніе, какъ это слѣдовало и по закону, да и вообще по человѣческимъ отношеніямъ, онъ даже не соблюлъ общественныхъ приличій: не заявивъ мнѣ своей личности, оттиснулъ мою статью въ своемъ журналѣ, объяснивъ въ особомъ примѣчаніи, что будетъ продолжать и впредь (общій ропотъ). Этого мало: онъ далъ статьѣ другое названіе—вмѣсто «Неожиданнаго богатства» назвалъ «Легкимъ богатствомъ», изуродовалъ ее, урѣзалъ, перековеркалъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перемѣнилъ самый смыслъ, передѣлалъ цѣлые фразы на собственный свой ладъ—слогъ мой, вишь, ему не понравился (смѣхъ) и такъ, изъ статьи моей остался одинъ скелетъ безъ плоти и кожи, и скелетъ самый плохой, собранный самымъ плохимъ остеологомъ, не знающимъ даже самыхъ простыхъ пріемовъ остеологіи. И все это сдѣлано безъ позволенія автора. Неправдали, господа, это уже очень прогрессивно!.. Покрайней мѣрѣ, до сихъ поръ подобныхъ вещей не дѣлалось; бывали случаи, что кто нибудь и позаимствуется, крадучи, чѣмъ нибудь у другаго, да и постарается замаскировать такъ, чтобъ не было слишкомъ ярко, что большая часть тутъ чужаго, а г. Лермантовъ говоритъ прямо, открыто, у кого онъ взялъ собсвенность».

Обвиненіе было кончено. Г. Лермантовъ, не желая самъ себя защищать, ждалъ своего адвоката, ждалъ чужаго голоса въ свою защиту, но, увы! никто не рѣшался протянуть ему руку и заступиться за обвиненнаго.

Въ эту критическую для него минуту смѣлая мысль пришла мнѣ въ голову—я хотѣлъ попытать свои силы въ новомъ дѣлѣ и неожиданно для всѣхъ явился адвокатомъ г. Лермантова.

Господа! началъ я при общемъ молчаніи, я беру подъ свою защиту обвиняемаго и постараюсь оправдать его. Уже по одной теоріи Прудона, что собственность—есть кража—книгопродавецъ Лермантовъ не можетъ считаться совершенно виновнымъ. Какъ прудонистъ, онъ легко можетъ доказать вамъ, что гдѣ нѣтъ собственности—тамъ нѣтъ и кражи, или же, что кража есть тоже собственность. Воровство—есть понятіе совершенно условное, относительное какъ и все на свѣтѣ. Одинъ украдетъ у васъ платокъ изъ кармана и будетъ строго наказанъ и судомъ, и вашимъ презрѣніемъ; другой украдетъ у васъ жену и прославится, какъ рѣшительный эмансипаторъ. За одно мы казнимъ, а за другое милуемъ. Кража—не та грубая, циническая кража, которая работаетъ изъ–за угла, но кража тонкая, изящная, галантерейная, чуть–чуть не добродѣтель нашего времени. Мы крадемъ другъ у друга жизнь, репутацію, время, счастіе, великія и малыя идеи, знаніе, крадемъ сознательно и безсознательно — и никто насъ не казнитъ за это. Мы обкрадываемъ нашихъ враговъ, еще чаще друзей, а еще чаще самихъ себя—и все это совершенно безъ послѣдствій. Вспомните миѳъ о Прометеѣ, желавшаго украсть огонь съ неба и спросите самихъ себя, насколько ненавистенъ для васъ образъ Преметея, этотъ высоко-идеальный образъ человѣка...

Поощренный общимъ одобреніемъ, я перевелъ духъ и снова началъ:

— Разсмотримъ теперь, въ чемъ собственно заключается проступокъ книгопродавца Лермантова. Въ Народномъ Чтеніи была безъ позволенія автора перепечатана его повѣсть «Неожиданное Богатство». Такъ что же изъ этого! Если мы допустимъ, что г. Лермантовъ—коммунистъ по убѣжденію, то кто изъ насъ можетъ позорить это убѣжденіе? Повѣсть, сочиненіе писателя — есть общественное достояніе. Объясню примѣромъ. Вы выписали журналъ, заплатили за него деньги—и читали. Являюсь къ вамъ я, прошу тотъ же самый журналъ и читаю его уже даромъ. Неужели редакторъ, увидя книгу въ моихъ рукахъ будетъ тоже требовать уплаты денегъ. Тоже самое и въ дѣлѣ г. Лермантова. Вопросъ останавливается только на томъ: нужно или нѣтъ просить у автора позволенія на вторичное печатаніе его сочиненія, съ перемѣнами или безъ оныхъ? На это вамъ можетъ отвѣчать другой книгопродавецъ, г. Вольфъ, очень хорошо знакомый съ такой передѣлкой и произвольной перепечаткой. Что же касается до перемѣны самаго названія повѣсти г. Кобяковой, то она объясняется сама собою. Въ Русскомъ

Словѣ повѣсть называлась «Неожиданнымъ Богатствомъ»; г. Лермантовъ же, которому повѣсть досталась такъ *легко*, имѣлъ полное право назвать ее «Легкимъ Богатствомъ». Не правда ли, милостивые государи?

Пятитысячная публика, темные инстинкты которой я возвелъ въ перлъ гражданской добродѣтели, привѣтствовала меня дружнымъ рукоплесканіемъ. Даже дамы не остались равнодушными и

Кричали женщины «ура»
И въ воздухъ чепчики бросали...

Свою блестящую рѣчь, которую не рѣшаюсь здѣсь всю выписывать, я заключилъ слѣдующими выводами:

1) Г. Лермантовъ правъ, потому что онъ дѣйствовалъ открыто по своимъ убѣжденіямъ.

2) Не признавая чужой собственности, онъ могъ перепечатать повѣсть г-жи Кобяковой.

3) Не спрашивалъ на то разрѣшенія автора, во 1-хъ, по принципу, а во 2-хъ, потому что не имѣлъ удовольствія быть знакомымъ съ г-жею Кобяковой.

Влѣдствіе этихъ причинъ, онъ, по моему мнѣнію, долженъ совершенно освободиться отъ общественнаго суда и безбоязненно продолжать свое книгопродавческое поприще.

Что же касается до того, насколько мы можемъ довѣрять г. Лермантову, то я первый, въ случаѣ изданія какой либо книги, не рѣшусь отдавать ее въ его магазинъ на коммиссію, изъ боязни, что онъ по своей теоріи приметъ мое изданіе за свою собственность и не заплатитъ мнѣ ни копѣйки.

Нужно же что нибудь теперь сказать и объ общественной жизни Петербурга. Хотя съ гримасой, а все-таки я долженъ приступить къ разсказу о томъ, какъ шумно и весело прошелъ россійскій карнавалъ съ его балаганами, блинами, утренними и вечерними спектаклями и т. д., и т. д.

Несмотря на то, что наша русская классическая масляница потеряла у насъ свой первобытный колоритъ и только одни блины остались ея памятникомъ, несмотря на это, во время всей *скоромной* недѣли наша столица сбираетъ весь запасъ своего веселья, чтобъ вполнѣ ему предаться. Петербургъ въ эти дни какъ-то судорожно,

нервно спѣшитъ насладиться всѣми благами своего скуднаго карнавала; петербуржецъ всегда бросается въ вихрь удовольствій, очертя голову, съ лихорадочною поспѣшностью, какъ будто бы завтра онъ попадетъ въ тюрьму или въ долговое отдѣленіе, какъ будто бы завтра для него не существуетъ: его веселье — словно пляска на канунѣ смерти, на краю гроба. И вотъ вырвавшійся изъ душныхъ кабинетовъ, конторъ и канцелярій, петербуржецъ мечется какъ угорѣлый по всѣмъ театрамъ, маскарадамъ и загороднымъ гуляньямъ, шалитъ, пьетъ, канканируетъ, и все это безъ вдохновенія, безъ личнаго участія въ наслажденіи, а такъ себѣ, чтобъ воспользоваться свободной минутой. Съ одинаковымъ чувствомъ джентлмэна смотритъ онъ «Кару Божью», «Испорченную жизнь» въ Александринкѣ, слушаетъ Бурдина, Тамберлика и Сѣтова, любуется Богдановой и Розатти и ѣдетъ домой усталый, но довольный: обычай праздника былъ исполненъ и на другое утро онъ снова является съ оффиціальной физіономіей въ конторѣ, въ канцеляріи, въ департаментѣ.

На масляницѣ, чтобы отдать, какъ и другіе, долгъ празднику, отправился я въ послѣдній маскарадъ Большаго театра, съ надеждой отдохнуть, развлечься въ шумной толпѣ, въ шумномъ говорѣ. Но люди вездѣ люди — и въ блестящей залѣ маскарада, гдѣ собралась разнородная публика для веселья, а не для службы, я нашелъ ту же канцелярію, ту же контору. Однѣ маски еще разнообразили и мѣшали этому сходству, но и то чрезвычайно мало. Скука и тоска были самыя величественныя; самое веселье было такое узкое, мертвое, бюрократическое... Изъ ложъ нѣсколькихъ ярусовъ смотрѣли внизъ съ полу-презрительнымъ любопытствомъ головы пышныхъ дамъ, не рѣшившихся явиться подъ маской въ самомъ маскарадѣ и ревниво слѣдившихъ за пестрой толпой мущинъ и темныхъ домино. Въ сущности же и ревновать было некого среди этихъ двигающихся и толкающихся манкеновъ и автоматовъ во фракахъ, въ кринолинахъ, въ парикахъ и маскахъ. Какими-то ходячими и приторными группами ходили по залѣ маскарадные диллетанты, заглядывая для развлеченія въ глаза встрѣчавшихся масокъ; по сторонамъ залы, на креслахъ, въ тупомъ созерцаніи дремали почтенные сѣдовласые старцы, сладко улыбаясь во снѣ при каждомъ шорохѣ женскаго платья.

— Пойдемъ ужинать, пищала какая нибудь промышленная маска, наклоняясь къ уху дремавшаго старца.

Старецъ еще слаще улыбался, предлагалъ руку и, ковыляя, выходилъ въ столовую.

А вокругъ шли маскарадныя интриги такого невиннаго содержанія.

— Я тебя знаю, говорила бархатная маска лимфатическому юношѣ съ бакенбардами.

— Знаешь? А какъ меня зовутъ?

— M-r Жоржъ. Ты влюбленъ въ жену N.

Затѣмъ слѣдовали догадки, допросы, замѣчанія, новыя догадки— и такъ проходилъ весь вечеръ. Лимфатическій юноша былъ въ восторгѣ: его интриговала маска!

Напрасно бы откровенная, безпечная молодость думала найти въ этой залѣ безпечное, довольное веселье: въ этой толпѣ ее обдало бы крещенскимъ холодомъ. На каждомъ лицѣ она прочла бы постоянное холодное выраженіе; на каждомъ лбѣ было написано званіе, классъ и рангъ его владѣтеля. Никто не забывалъ въ эти часы своей постоянной игры мѣстничества и горе тѣмъ, которые ее не исполняли. Одни только маскарадные манфреды, давно потерявшіе вѣру въ искреннее веселье, только съ помощью буфета сносили скуку вечера и, довольно часто скрываясь изъ залы, являлись въ нее болѣе развязными и рѣшительными. Въ одномъ только буфетѣ происходили иногда сцены болѣе оживленныя, но за то не всегда веселыя. Вотъ одна изъ нихъ, доказавшая мнѣ, насколько развита наша *столичная* публика.

Въ одно время со мной въ маскарадный буфетъ явился господинъ въ енотовой шубѣ самой внушительной наружности. Не успѣлъ я закурить папиросу, какъ услышалъ, что этотъ господинъ началъ ссору съ лакеемъ за какую-то невинную его ошибку. Разгораясь все болѣе и болѣе, —не отъ вина, потому что новый Рыковъ ничего не пилъ—онъ наконецъ схватилъ слугу за воротникъ и началъ трясти его, изрыгая самыя крупныя ругательства.

Я оглянулся кругомъ, чтобъ посмотрѣть, какое впечатлѣніе производятъ на публику буфетные діалоги свирѣпаго господина. Впечатлѣніе оказалось весьма слабое, потому что вѣрно для всѣхъ подобныя сцены очень обыкновенны и обыденны.

Только одинъ изъ присутствующихъ возмутился этой сценой... съ своей особой точки зрѣнія. Къ Вергейму № 2 античной походкой подошелъ господинъ солидныхъ лѣтъ, и громогласно замѣтилъ ему:

— Милостивый государь! Позвольте вамъ замѣтить, что въ обще-

ствѣ нельзя такъ ругаться и кричать... Вся публика можетъ обидѣться.

— Позвольте, не выдержалъ я, пораженный логикой протестующаго, вы забыли самое главное: прежде всего не публика, а слуга можетъ обидѣться такими ругательствами.

Кажется, что можетъ быть проще этого замѣчанія, а между тѣмъ и театральный обличитель и Вергеймъ № 2 — оба готовы были въ эту минуту проглотить меня живаго. Даже, къ чему скрывать, самъ обиженный камердинеръ былъ удивленъ тѣмъ, что нашлись люди, предполагавшіе, что онъ больше чѣмъ публика оскорбился ругательствами барина въ енотѣ.

Я понялъ всю непрактичность своего замѣчанія и ускользнулъ въ залу сконфуженный и пристыженный. А тамъ

Кипѣлъ, сіялъ ужъ въ полномъ блескѣ балъ...

Видя повсюду кругомъ себя шумную вереницу масокъ, бродившихъ подъ руку съ разными счастливцами, я началъ испытывать тяжелое чувство одиночества и какой-то тайной зависти.

— Отчего же это, думалъ я, ни одна маска не подойдетъ ко мнѣ? Неужели ни одна женщина не захочетъ оперется на мою руку, и, пользуясь маскарадными правами, не выскажетъ мнѣ своей симпатіи? Неужели... и въ эти минуты мнѣ захотѣлось болѣе, чѣмъ когда говорить съ женщиной о возвышенныхъ чувствахъ, о любви, о женской эманципаціи.

— Что ты скучаешь? вдуугъ раздался сзади меня женскій голосъ. Я оглянулся: передо мною стояло черное домино.

Въ головѣ моей уже мелькнулъ цѣлый планъ вечера проведеннаго съ милой маскою: интимная бесѣда о любви, о страсти, о долгѣ, теплыя пожатія руки, кроткіе взгляды, но вся эта минутная иллюзія вдругъ изчезли какъ дымъ, отъ одной фразы незнакомки:

— Угости меня шампанскимъ, веселѣе будетъ!.. И маска, звонко засмѣявшись, положила на мое плечо крошечную ручку въ сѣрой перчаткѣ.

Я вздрогнулъ отъ этого прикосновенія и вызова, отскочилъ въ въ сторону и скрылся въ толпѣ. Я былъ рѣшительно уничтоженъ и цѣлый вечеръ проходилъ одинъ, съ какимъ-то озлобленіемъ посматривая на скользившія мимо меня пары. На досугѣ, толкаясь въ тол-

пѣ, я сложилъ маскарадный мотивъ, искренно желая прочесть его вслухъ передъ всей безтолково-шумной залой. Но тамъ мнѣ это не удалось сдѣлать; пусть же не пропадаетъ моя пѣсня, которую я и привожу здѣсь:

Маскарадный мотивъ.

Яркимъ свѣтомъ залитъ залъ,
За толпой ходилъ я слѣдомъ
И коломенскимъ Манфредомъ
Пышный праздникъ созерцалъ:

—

Люстры, перья, женщинъ плечи,
Въ черныхъ фракахъ молодежь,
И въ тѣни закрытыхъ ложъ
Чьи-то сдержанныя рѣчи.

—

Говоръ, шумъ, несносный жаръ,
И въ дали, какъ бы въ туманѣ,
Въ доморощенномъ канканѣ
Вьются тѣни рѣзвыхъ паръ.

—

А изъ ложъ, какъ василиски,
Львицы съ завистью глядятъ,
Какъ болтаютъ и шалятъ
Развеселыя модистки.

—

Львицъ остуженная грудь
Сжата модой и бездѣльемъ:
Имъ циническимъ весельемъ
Такъ и хочется дохнуть.

—

А внизу кипитъ и вьется
Пестрой лентой маскарадъ,
И въ подагрѣ бюрократъ
Съ маской подъ руку плетется.

—

Безконечный гулъ растетъ...
Звуки шпоръ, сверканье касокъ..
Ни единая изъ масокъ
Лишь ко мнѣ не подойдетъ.

—

Ни одна изъ нихъ съ отвагой
Мнѣ руки не дастъ... О, нѣтъ!..
Но съ другимъ пойдетъ въ буфетъ
За шампанскимъ и малагой.

—

Словно въ нихъ какой-то даръ
Непонятнаго прозрѣнья.
Граціозныя творенья!
Вамъ не юный нуженъ жаръ,

—

Но ходячіе скелеты,
Что дарятъ за вашу блажь,
Перлы, новый экипажъ
И кредитные билеты...

—

Одиноко я шагалъ;
Отъ меня вѣдь взятки гладки.
Что я дать могу? Перчатки,
Да дешевый мадригалъ...

—

Тактомъ дамъ обезоруженъ,
Оцѣнилъ я ихъ привѣтъ:
Двѣ улыбки—за браслетъ,
И лобзаніе—за ужинъ...

—

И горѣлъ огнями залъ,
За толпой ходилъ я слѣдомъ,
И коломенскимъ Манфредомъ
Пышный праздникъ созерцалъ.

Изъ зала маскарада перенесемся теперь въ залу одпаго частнаго женскаго учебнаго заведенія, съ начальницей котораго я уже познакомилъ нѣсколько своихъ читателей въ прошломъ году. Не могу пройдти молчаніемъ еще новаго подвига этой начальницы, смѣшивающей слова: *географія* и *орѳографія*. Недавно въ ея училищѣ былъ назначенъ публичный *переходный* экзаменъ съ почетными посѣтителями и родственниками ученицъ. Собрались учителя и экзаменъ начался подъ строгимъ контролемъ самой начальницы. Первый началъ экзаменовать учитель исторіи, вызвалъ одну изъ ученицъ и сѣлъ у стола съ тѣмъ чтобы начать свои вопросы.

— Встаньте! замѣтила начальница сѣвшему преподавателю.

Почтенный педагогъ, не понявшій желанія начальницы, всталъ съ мѣста на одну минуту и потомъ снова сѣлъ въ кресло.

— Встаньте! снова раздалось грозное приказаніе.

Учитель совершенно растерялся, всталъ и простоялъ на ногахъ во время всего экзамена. Находившіеся тутъ другіе его сослуживцы—педагоги глубоко были обижены такимъ грубымъ обращеніемъ съ ихъ товарищемъ, въ лицѣ котораго оскорблялось самое ихъ званіе. Они всѣ рѣшились выйдти изъ заведенія, гдѣ существовали такіе башкирскіе законы.

До начальницы дошли наконецъ слухи объ общемъ негодаваніи ея учителей. Черезъ нѣсколько дней всѣ они собрались къ ней и прямо ей высказали всю нелѣпость и грубость ея отношеній къ учителямъ.

Неудовольствіе ихъ поразило начальницу.

— Помилуйте, господа, увѣряла она ихъ, у насъ уже давно существуетъ такой порядокъ, что учителя экзаменуютъ *стоя*... Иначе, по моему, неприлично держать себя...

Она окинула быстрымъ и обиженнымъ взглядомъ весь кружокъ педагоговъ.

Одинъ изъ учителей замѣтилъ ей на это, что давность лѣтъ и преданія ничего не доказываютъ; что терпѣлось прежде, то сдѣлалось непозволительнымъ теперь.

Испуганная тѣмъ, что всѣ учителя готовы оставить заведеніе начальница должна была уступить «силѣ времени и обстоятельствъ», затаивъ въ себѣ до поры—до времени весь запасъ своего гнѣва и скрытой мести.

Кстати о педагогахъ. Всѣмъ болѣющимъ за русское правописаніе,

такъ дерзко нарушенное и поруганное нашей журналистикой, вѣроятно будетъ пріятно узнать о новомъ педагогическомъ обществѣ учреждаемомъ съ цѣлью дать строгую систему русской ороографіи,

И всѣмъ намъ точно указать:
Гдѣ ставить *е*, гдѣ ставить *ѣ*.

Къ числу полѣднихъ новостей мы также должны отнести: замѣчательное открытіе Кіевскимъ Телеграфомъ пилюль Pilules cauvin (нѣчто въ родѣ философскаго камня). Пилюли эти, какъ гласитъ К. Т. есть вѣрное средство отъ всѣхъ возможныхъ въ мірѣ болѣзней. О, великодушный Кіевскій телеграфъ! Только ты одинъ и умѣешь сообщать намъ драгоцѣнныя извѣстія и изумительныя открытія вѣка?!..

Хотѣлъ бы я еще теперь сказать нѣсколько словъ о неожиданномъ изчезновеніи Русской Рѣчи изъ Москвы и «праздношатающагося» изъ Петербурга, о преміи полученной авторомъ «*Косьмы* Минина» и еще кое-очемъ... Но я уже давно не обращался къ своимъ любезнымъ провинціальнымъ соотечественникамъ, что лежитъ на моей совѣсти, и потому съ береговъ Невы я въ слѣдующій разъ перенесу моего читателя въ другія, далекія мѣста...

ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.

№ 38.

Февраль 1862 года.

О комментаріяхъ дѣйствительно игранныхъ партій.—Двѣ игры К. А. Яниша противъ кн. Д. С. Урусова и Стаунтона съ примѣчаніями, составленными къ первой изъ нихъ г-мъ Янишемъ, а ко второй Стаунтономъ. — Замѣчаніе А. Д. Петрова касательно одной изъ помѣщенныхъ въ Листкѣ игоръ. — Партіи: И. С. Шумова съ кн. С. С. Урусовымъ, Колиша съ Паульсеномъ, Гиршфельда съ Майетомъ и Дюфреномъ.—Задачи. —Корреспонденція.

Редакторамъ шахматныхъ періодическихъ изданій часто случается слышать упреки въ томъ, что они не довольно подробно комментируютъ печатаемыя ими партіи. Въ этомъ будто бы заключается главная ихъ обязанность, и пренебрегая ею, они будто бы лишаютъ любителей главной пользы, которую способно доставлять чтеніе шахматнаго журнала. Такая укоризна можетъ исходить единственно отъ лицъ, незнакомыхъ со свойствомъ труда, сопряженнаго съ изданіями этого рода. Очевидно, во первыхъ, что углубляться въ подробности *посредственно* игранной партіи, разгадывать, осуждать или хвалить планы игроковъ тамъ, гдѣ можетъ быть плановъ даже не было, а были одни слегка задуманныя комбинаціи, безпрерывно измѣнявшіяся,—очевидно, говоримъ, что все это составляло бы непростительную трату времени. Обстоятельнаго анализа вполнѣ достойны тѣ только партіи первостатейныхъ игроковъ, которыя разыгрывались съ напряженнымъ вниманіемъ. Но съ другой стороны, ограничиваться помѣщеніемъ въ шахматный жур-

налъ малочисленныхъ партій этого разряда было бы совершенно противно его преимущественной цѣли, быть сборникомъ партій *современныхъ* любителей. Это послѣднее условіе еще въ иномъ отношеніи очень стѣсняетъ редактора. Разбирая партію Макдоннеля съ Лабурдонне, я властенъ приписывать тому или другому, на любомъ ходѣ, такіе-то и такіе-то замыслы, лишь бы я не отдалялся въ своихъ сужденіяхъ, отъ общихъ основаній, принятыхъ всѣми лучшими игроками. Но весьма щекотливо, критикуя партію современнаго шахматиста, утверждать напримѣръ, что въ извѣстный моментъ игры планъ его былъ таковъ, а что онъ между тѣмъ, не привелъ его въ исполненіе, или что ему слѣдовало постоянно имѣть въ виду такую-то цѣль, которою онъ будто бы пренебрегъ. Ясно, что онъ можетъ отвѣтить мнѣ, что никогда не имѣлъ того плана, который я ему приписываю, или, на оборотъ, что онъ нисколько не упускалъ изъ виду требуемой мною цѣли, а былъ только отъ нея отвлекаемъ важнѣйшими соображеніями. Вотъ почему редакторы при разборѣ подобныхъ игоръ, рѣдко идутъ далѣе похвалы несомнѣнно заслуженной, или указанія ошибокъ, подтвержденнаго непреложными доводами. Никто не вправѣ винить ихъ за такую естественную осмотрительность Но любители, желающіе, чтобы партіи ихъ подвергались подробному анализу, сами имѣютъ въ рукахъ нужныя къ тому средства: имъ стоитъ только сообщать шахматнымъ редакціямъ соображенія, руководившія ихъ въ рѣшительныя мгновенія описываемыхъ партій; излагать самимъ главныя причины ихъ побѣдъ или пораженій. Тогда редакціи могутъ обсуждать эти соображенія, и присовокуплять собственныя мнѣнія, когда они несогласны съ мнѣніями выраженными.

Мы давно уже желали ознакомить читателей Листка съ лучшими партіями, игранными въ разное время нашимъ извѣстнымъ шахматистомъ К. А. Янишемъ. Эти партіи разсѣяны во многихъ иностранныхъ изданіяхъ, какъ то: въ Schachzeitung, въ Chess-Player's Chronicle, Illustrated London News, въ сочиненіяхъ Гейдебранда и другихъ. Мы выбрали, на первый разъ, двѣ, показавшіяся намъ весьма замѣчательными, одну изъ книги Chess-Tournament, изданной Стаунтономъ въ 1852 году, а другую изъ англійской газеты «Era»

за 1857 годъ. Но какъ послѣдняя не была снабжена нужными поясненіями, то, по причинамъ вышеизложеннымъ, мы сочли долгомъ обратиться къ содѣйствію самаго г-на Яниша. Вотъ записка, при которой онъ сообщилъ намъ собственныя свои комментаріи на означенную партію.

«Составленіе требуемыхъ вами примѣчаній къ одной изъ партій, «игранныхъ мною, пять лѣтъ назадъ, съ княземъ Д. С. Урусовымъ, «немало меня затруднило потому, что пришлось описывать не одни «собственныя сильныя упущенія, но также слабые моменты въ игрѣ «истинно уважаемаго мною противника. Посылаю вамъ все, что я «могъ придумать, и истинно благодарю за пріобщеніе, къ этой «партіи, другой, проигранной мною, въ 1851 году, Стаунтону, послѣ «упорнаго сопротивленія; благодарю тѣмъ болѣе, что англійскій «maestro самъ сопроводилъ ее примѣчаніями, дѣлающими комментарій «съ моей стороны излишнимъ».

ПАРТІЯ № 237.

ДЕБЮТЪ ЛОПЕЦА.

(Изъ газеты «Era»).

Кн. Д. С. Урусовъ. (Бѣлые).	К. А. Янишъ. (Черные).	(Бѣлые.)	(Черные).
1) e2 — e4	e7 — e5	13) d1 — d3	c6 — b8
2) g1 — f3	b8 — c6	14) b1 — d2	b8 — d7
3) f1 — b5	a7 — a6 (1)	15) h4 — g3	c7 — c5 (3)
4) b5 — a4	g8 — f6	16) f3 — h4 (4)	c5 — c4
5) d2 — d3 (2)	b7 — b5	17) h4 — f5	e7 — e6
6) a4 — b3	f8 — c5	18) d3 — f3	c4 — b3°
7) c1 — g5	d7 — d6	19) d4 — d5	e6 — e8
8) c2 — c3	c5 — b6	20) f5 — d6°	e8 — b8
9) 0 — 0	h7 — h6	21) d6 — b7°	b8 — b7°
10) g5 — h4	d8 — e7	22) a2 — b3°	b6 — c7
11) d3 — d4	c8 — b7	23) f3 — e2	a6 — a5
12) f1 — e1	0 — 0	24) g1 — h1	d7 — c5
		25) a1 — d1	f6 — d7

	(Бѣлые).	(Черные).
26)	f2 — f3	f7 — f5 (5)
27)	d1 — b1	a8 — b8
28)	h2 — h3	b7 — a6
29)	g3 — h2	a6 — g6
30)	b1 — d1	g8 — h8
31)	d1 — c1	f5 — f4
32)	h2 — g1	f8 — f6
33)	c1 — c2	g6 — e8
34)	e1 — a1	a5 — a4
35)	b3 — a4°	c5 — a4°
36)	b2 — b3	a4 — c5
37)	b3 — b4	c5 — a6
38)	c2 — a2	e8 — c8
39)	d2 — b3	c7 — d8
40)	e2 — d3	f6 — d6
41)	g1 — f2.	d6 — g6
42)	a2 — a3	g6 — d6
43)	h1 — h2	d6 — f6
44)	f2 — h4	g7 — g5
45)	h4 — f2	d8 — b6
46)	a3 — a6° (6)	b6 — f2°
47)	a6 — f6°	d7 — f6°
48)	a1 — a5	h8 — g7 (7)
49)	b3 — d2	h6 — h5
50)	d2 — b1	g5 — g4
51)	d3 — e2	f2 — g3 +
52)	h2 — g1	g4 — h3°
53)	h2 — g3°	c8 — h3°
54)	e2 — g2	h3 — d7
55)	g2 — e2	g7 — h8
56)	a5 — a6	b8 — g8
57)	a6 — e6	d7 — a7 +
58)	g1 — h1	g3 — f2
59)	h1 — h2	g8 — g1
60)	h2 — h3	a7 — g7

Въ этомъ положенiи черные дѣлаютъ матъ черезъ три хода, почему бѣлые и сдали игру.

Примѣчанiя Г. Яниша.

(1) Еще въ Schachzeitung 1848 и Chess-Player's Chronicle 1849 годовъ, я показалъ, что подвиганiе этой пѣшки должно предшествовать ходу g8 — f6, или составляетъ, лучше сказать, необходимое усиленiе защиты Лопецова дебюта. (Бѣлые не могутъ взять коня c6, не лишившись тотчасъ же атаки). Мнѣнiе мое раздѣляютъ нынѣ всѣ сильные игроки Европы, за исключенiемъ германскихъ теоретиковъ, которые продолжаютъ отстаивать введенную ими впервые выступку чернаго коня g8 — f6 еще на 3-мъ ходѣ.

(2) Князь Д. С. Урусовъ, самъ одинъ изъ первыхъ знатоковъ теорiи, предпочелъ этотъ ударъ рокировкѣ потому, что онъ менѣе анализированъ, и что именно въ предвидѣнiе рокировки съигранъ

былъ ходъ 3. $\frac{\quad}{a7 - a6}$, доставляющій чернымъ, въ случаѣ 5. $\frac{o - o}{\quad}$, успѣшную защиту: 5. $\frac{\quad}{f6 - e4}$, 6. $\frac{f1 - e1}{e4 - c5}$. Присовокупляю для неизслѣдовавшихъ настоящій дебютъ, что всякій, менѣе смѣлый отвѣтъ на 5. $\frac{o - o}{\quad}$ невыгоденъ для черныхъ, какъ указалъ мнѣ долговременный опытъ.

(3) 10-й, 12-й и 13-й удары черныхъ сдѣлались необходимыми для правильнаго развитія ихъ игры, вслѣдствіе коварнаго отступленія бѣлаго слона 10. $\frac{\quad}{g5 - h4}$. Затѣмъ подвиганіемъ пѣшки 15. $\frac{\quad}{c7 - c5}$ окончательно побѣждено черными первенство хода (l'avantage du trait). Но весьма странно, что неосторожный отвѣтъ противника 16. $\frac{f3 - h4}{\quad}$, стоившій ему офицера, вмѣсто того, чтобы доставить легкую побѣду чернымъ, на оборотъ ослѣпилъ ихъ до того, что рядомъ опромѣтчивыхъ движеній (смотри ниже) они привели игру свою, на нѣкоторое время, въ стѣсненное положеніе.

(4) Слѣдовало ступить 16. $\frac{b3 - d5}{\quad}$.

(5) Ударъ этотъ, а равно слѣдующій 27. $\frac{\quad}{a8 - b8}$ имѣли цѣлію открыть атаку на королевскомъ флангѣ, и позволить отойти туда ферзю движеніями 28. $\frac{\quad}{b7 - a6}$ и 29. $\frac{\quad}{a6 - g6}$. Но такой расчетъ былъ совершенно ложный. На означенномъ флангѣ покуда нельзя было успѣть ни въ чемъ, а между тѣмъ отведеніе черной ладьи предоставило бѣлымъ, въ послѣдствіи, занять линію a1. . . . a8. Дѣлая одни выжидательные ходы, и сохраняя нападеніе на пѣшку b5, бѣлые парализировали всѣ намѣренія черныхъ, и едва не добились розыгрыша, не смотря на понесенную ими потерю офицера. Вмѣсто 26. $\frac{\quad}{f7 - f5}$, слѣдовало чернымъ непремѣнно подвинуть 26. $\frac{\quad}{b5 - b4}$, затѣмъ сдѣлать проломъ на ладейной линіи, овладѣть ею и всячески способствовать мѣнѣ офицеровъ, отложивъ на время атаку на другомъ флангѣ.

(6) Эта мѣна оказалась для бѣлыхъ весьма невыгодною и, такъ сказать, «перевернула листъ». До 46-го хода (смотри примѣчаніе 5), положеніе ихъ было совершенно обезпечено, и партія даже клонилась къ непрерывному повторенію однихъ ударовъ съ обѣихъ сторонъ.

(7) Съ этого момента черные, вышедши изъ своей апатіи, рядомъ атакующихъ маневровъ быстро достигаютъ выигрыша.

ПАРТІЯ № 238.

ДЕБЮТЪ ФЕРЗЕВА КОНЯ.

(Изъ книги «Chess Tournament»).

	Г. Янишъ. (Бѣлые).	Г. Стаунтонъ. (Черные).
1)	e2 — e4	e7 — e5
2)	b1 — c3	g8 — f6 (1)
3)	f2 — f4	d7 — d5
4)	e4 — d5°	e5 — e4 (2)
5)	d2 — d4	f8 — b4
6)	f1 — c4	f6 — d5°
7)	c4 — d5°	d8 — d5°
8)	g1 — e2	c8 — g4
9)	0 — 0	b4 — c3°
10)	e2 — c3° (3)	d5 — d7
11)	d1 — e1 (4)	f7 — f5
12)	c1 — e3 (*)	0 — 0
13)	e1 — h4	f8 — f6
14)	h2 — h3	f6 — h6
15)	h4 — f2	g4 — h5
16)	g2 — g4	h5 — f7 (5)
17)	h3 — h4 (**)	f7 — c4
18)	f1 — e1	f5 — g4°
19)	c3 — e4°	c4 — d5
20)	f4 — f5	h6 — b6
21)	e3 — g5	b8 — a6
22)	c2 — c4 (6)	d5 — c4°
23)	e4 — c5	g4 — g3 (7)
	(Бѣлые).	(Черные).
24)	f2 — g3°	d7 — f5° (8)
25)	e1 — e5	f5 — g6
26)	b2 — b3	c4 — f7
27)	c5 — d7	b6 — d6
28)	h4 — h5 (9)	g6 — h5°
29)	d7 — f6 + (10)	g7 — f6°
30)	g5 — f6° +	h5 — g6
31)	e5 — g5	d6 — f6°
32)	g1 — h2	a8 — e8
33)	a1 — g1	g6 — g5°
34)	g3 — g5° +	f6 — g6
35)	g5 — d2	c7 — c6
36)	g1 — g6° +	f7 — g6° (11)
37)	d2 — g5	a6 — c7
38)	g5 — a5	c7 — b5
39)	d4 — d5	b7 — b6
40)	a5 — d2 (12)	e8 — d8
41)	a2 — a4	d8 — d5°
42)	d2 — f4	b5 — d6
43)	f4 — f6	d5 — d2 +
44)	h2 — g1	d2 — d1 +
45)	g1 — h2	d1 — d2 +
46)	h2 — g1	d2 — d1 +
47)	g1 — h2	d1 — d5 (13)

(*) Если-бъ бѣлые съиграли 12. c3 — e4°, съ цѣлю отдать коня за три пѣшки или прикрыться конемъ отъ шаха 12. d8 — d4° +, то чернымъ слѣдовало не брать ни коня, ни пѣшки, а просто отрокировать. *Прим. Редакціи.*

(**) Весьма отважная атака! *Прим. Редакціи.*

	(Бѣлые).		(Черные).	
48)	f6 — d8	+	d6 — e8	
49)	d8 — e7		d5 — d2	+
50)	h2 — g1		d2 — d3	
51)	b3 — b4		d3 — d4	
52)	b4 — b5		c6 — b5°	
53)	a4 — b5°		d4 — d5	
54)	e7 — e6	+	g6 — f7	
55)	e6 — g4	+	g8 — f8	
56)	g4 — b4	+	e8 — d6	
57)	b4 — a3		f8 — e8	
58)	a3 — a7°		d5 — b5°	
59)	a7 — c7	(14)	b5 — b1	+
60)	g1 — h2	(15)	b1 — b2	+
61)	h2 — g1		d6 — c4	
62)	c7 — c6	+	e8 — e7	
63)	c6 — e4	+	f7 — e6	
64)	e4 — h7°	+	e7 — d6	
65)	h7 — g7		b6 — b5	
66)	g7 — f8	+	d6 — d5	
67)	f8 — d8	+	d5 — c6	
68)	d8 — e8	+	e6 — d7	
69)	e8 — e4	+	c6 — c7	
70)	e4 — d4		d7 — c6	

	(Бѣлые).		(Черные).	
71)	d4 — c5		c7 — b7	
72)	g1 — f1		b2 — d2	
73)	f1 — e1		d2 — d7	
74)	e1 — e2		d7 — d2	+
75)	e2 — e1		d2 — d5	
76)	c5 — f8		c4 — e5	
77)	f8 — g7	+	b7 — a6	
78)	g7 — c7	(16)	b5 — b4	
79)	c7 — c8	+	a6 — b5	
80)	c8 — b8	+	b5 — c4	
81)	b8 — b6		b4 — b3	
82)	e1 — e2		c6 — b5	
83)	b6 — c7	+	c4 — b4	+
84)	e2 — e3		d5 — c5	
85)	c7 — d8		e5 — d3	
86)	d8 — d4	+	b5 — c4	
87)	e3 — d2		b3 — b2	
88)	d4 — c3	+	b4 — a4	
89)	d2 — c2	(17)	c4 — b3	+
90)	c2 — b1		b3 — a2	+ (18)
91)	b1 — a2°		c5 — c3°	

и выигрываютъ.

Примѣчанія Г. Стаунтона.

(1) Эта защита гораздо сильнѣе употребленнаго мною, въ одной изъ предшествовавшихъ партій (*), выхода слона 2. $\frac{f8 - c5}{}$, который позволилъ Г-ну Янишу разыграть съ такимъ успѣхомъ королевскій гамбитъ 3. $\frac{f2 - f1}{}$

(2) Этимъ ходомъ партія сводится на слѣдующій, довольно извѣстный варіантъ отказаннаго *(фалькберова)* гамбита: 1. $\frac{e2 - e4}{e7 - e5}$ 2. $\frac{f2 - f4}{d7 - d5}$ 3. $\frac{e4 - d5^{\circ}}{e5 - e4}$ 4. $\frac{b1 - c3}{g8 - f6}$.

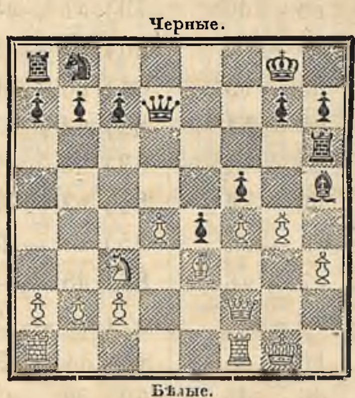
(*) Она напечатана въ томъ же сочиненіи Г. Стаунтона. *Прим. Редакціи*

(3) Вѣрный ходъ. Брать пѣшкою хуже.

(4) Бѣлые отдаютъ пѣшку съ намѣреніемъ. Но чернымъ нѣтъ выгоды ее брать, какъ явствуетъ изъ слѣдующаго анализа: 11. $\frac{}{\text{d8 — d4}^\circ +}$ 12. $\frac{\text{c1 — e3}}{\text{d4 — c4}}$ 13. $\frac{\text{h2 — h3}}{\text{g4 — d7}}$ 14. $\frac{\text{a1 — d1}}{\text{b8 — c6 (*)}}$ 15. $\frac{\text{e3 — d4}}{-}$. Теперь бѣлые отыгрываютъ свою пѣшку, сохраняя притомъ лучшее расположеніе силъ.

(5) Бѣзопаснѣе было бы для меня не отводить слона, а стать ладьею на g6. Пріобщаю діаграмму положенія игры послѣ 16-го хода бѣлыхъ.

Черные.



Бѣлые.

и опишу вѣроятное ея продолженіе, при означенной перемѣнѣ:

16)		h6 — g6
17) c3 — e4°		h5 — g4°
18) h3 — g4°	(лучшее)	f5 — e4°
19) g4 — g5		d7 — f5 (**)

(6) Этимъ пожертвованіемъ бѣлые очень усилили свою атаку.

(7) Единственное средство отклонить грозящую опасность.

(8) Брать коня нехорошо, какъ видно изъ слѣдующаго: 24. $\frac{}{\text{a6 — c5}^\circ}$ 25. $\frac{\text{d4 — c5}^\circ}{\text{b6 — b2}^\circ}$ 26. $\frac{\text{g3 — c5}}{}$. Бѣлые выигрываютъ. Равнымъ образомъ,

(*) Черные могли бы отстоять королевскую пѣшку, ступивъ 14. $\frac{}{\text{f7 — f5}}$, но подверглись бы, въ такомъ случаѣ, опаснымъ атакамъ. *Прим. Редакціи.*

(**) Г. Стаунтонъ присовокупляетъ, что тогда игра черныхъ будетъ выгоднѣе расположена. Особеннаго перевѣса на ея сторонѣ мы не видимъ. *Прим. Редакціи.*

любители легко убѣдятся, что взятіе ферзевой пѣшки 24. d7 — d4° + было бы не менѣе неосторожно.

(9) Ударъ этотъ блистателенъ и достоинъ великаго игрока. Между тѣмъ, по мнѣнію моему, было бы проще и вѣрнѣе продолжать нападеніе такъ:

28) e5 — e7 f7 — d5

Черные принуждены отвести слона, для отвращенія гибельныхъ послѣдствій атаки бѣлаго коня на e5.

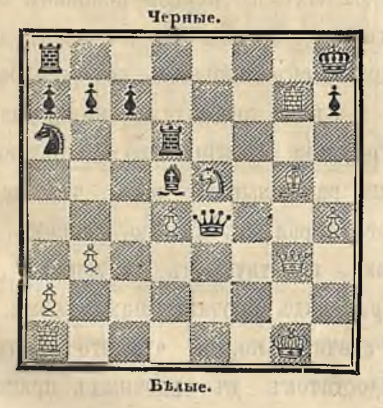
29) d7 — e5 g6 — e4
30) e7 — g7° + g8 — g7° (*)
31) g5 — h6 + и выигрываютъ.

(10) Это гораздо лучше хода g5 — f6, который позволилъ бы чернымъ выйдти изъ затрудненія, придвиганіемъ ферзя на h6.

(*) Г. Янишъ просилъ насъ замѣтить, что онъ, по окончаніи настоящей игры, сообщилъ г-ну Стаунтону, что приведенный выше варіантъ былъ имъ (Янишемъ) вполнѣ предвидѣнъ еще въ то время, когда онъ обдумывалъ свой 28-й ходъ, и что если онъ не ступилъ 28. e5 — e7, то единственно потому, что послѣ шаха 30. e7 — g7° + черному королю не слѣдуетъ брать ладьи, а отойти на h8. Тогда бѣлые не смотря на видимое торжество свое, въ сущности, сами угрожаемы будутъ потерею офицера. Затѣмъ, не только въ дѣйствительной партіи, гдѣ надо мысленно расчитывать отдаленныя послѣдствія хода, но даже въ совершенно безотвѣтственномъ положеніи и съ правомъ переигрыванія шашекъ, крайне трудно рѣшить, какъ слѣдуетъ бѣлымъ ступить въ настоящее мгновеніе, не упустивъ изъ рукъ своихъ выгодъ?

По всему видно, что эта именно трудность побудила Г. Стаунтона не упоминать въ своей книгѣ о возможномъ для чернаго короля отступленіи 30. g8 — h8. Предлагая это положеніе любителямъ, въ видѣ задачи, прибавляемъ отъ себя, что тутъ черные едва ли не выигрываютъ, какъ бы бѣлые ни ходили, и что за тѣмъ критикуемый г-мъ Стаунтономъ 28-й ходъ нашего соотечественника h4-h5 былъ не только блистательнѣе, но и солиднѣе удара 28. e5 — e7. *Прим. Редакціи.*

Черные.



Бѣлые.

(11) Взять ладью пѣшкой было бы безопаснѣе.

(12) Ошибка важная, давшая чернымъ слишкомъ рѣшительный перевѣсъ. Надобно было ступить 40. $\frac{a5 - a6}{}$.

(31) Шахи оказались безполезными, такъ какъ бѣлые рѣшились не подвергать короля нападеніямъ прочихъ офицеровъ.

(14) Ходъ *отличный*, принудившій черныхъ къ крайней осторожности.

(15) Въ настоящую минуту слѣдовало уже ступить королемъ на f2, чтобы поскорѣе приблизить его къ театру дѣйствій. Потеря темповъ въ такія минуты оказываются гибельными.

(16) Такая защита обнаруживаетъ великое умѣніе и необыкновенный запасъ терпѣнія у русскаго любителя. Однимъ ферземъ онъ выдерживалъ напоръ всѣхъ непріятельскихъ силъ втеченіе пятидесяти ударовъ, и часто заставлялъ черныхъ сомнѣваться въ успѣхѣ, не смотря на значительное превосходство ихъ матеріальныхъ средствъ.

(17) Бѣлые не сдѣлали шаха 89. $\frac{c5 - c2 +}{}$ въ предвидѣніи варіанта: 89. $\frac{}{c4 - b5}$ 90. $\frac{c2 - d5^{\circ}}{c5 - d5}$ 91. $\frac{d3 - d5^{\circ}}{b5 - d5^{\circ}}$, который доставилъ бы противнику слишкомъ очевидную побѣду.

(18) Еслибъ черные взяли ферзя на девяностомъ ходѣ, то былъ бы розыгрышъ. Вотъ съ какою осторожностію, до самой послѣдней минуты, надобно играть подобныя партіи.

Присовокупляемъ, отъ редакціи, что блестящая, истинно *калабрійская* атака бѣлыхъ въ первой половинѣ этой игры, и неимовѣрная стойкость ихъ обороны въ послѣдней половинѣ, невольно заставляютъ забывать объ ошибкахъ, которыя были причиною ихъ проигрыша. Честь и слава побѣдителю, но признаемся, что симпатія наша, при разыгрываніи партіи, вся принадлежала побѣжденной сторонѣ. Г. Янишъ разсказывалъ намъ, что во время продолжительной борьбы его ферзя съ ладьею, слономъ, конемъ и двумя пѣшками противника, г. Стаунтонъ съ жаромъ воскликнулъ, что «превосходство ферзя надъ прочими шахматными офицерами слиш-«комъ, слишкомъ значительно, и что это обстоятельство состав-«ляетъ прямой недостатокъ въ основныхъ правилахъ игры». Конечно, слова эти сказаны были въ минуту увлеченія, и правила о

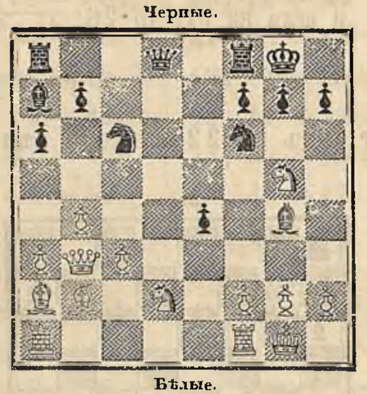
ходѣ и дѣйствіи офицеровъ такъ совершенны, какъ только могутъ быть. За всѣмъ тѣмъ по отзыву Г. Яниша, настоящая партія рѣшительно опровергаетъ мнѣніе германскихъ теоретиковъ, утверждающихъ, что ферзь слабѣе двухъ ладей и даже трехъ *мелкихъ* офицеровъ.

Если партіи игроковъ второстепенныхъ не заслуживаютъ, вообще говоря, подробнаго анализа, то тѣмъ не менѣе и въ такихъ партіяхъ нерѣдко встрѣчаются положенія, изъ которыхъ могутъ быть выведены красивые и поучительные варіянты. Такъ напримѣръ, въ партіи А. И. Максимова съ Н. А. Михайловымъ, помѣщенной въ Шахматномъ Листкѣ за октябрь прошлаго года послѣ ходовъ:

1. $\frac{e2-e4}{e7-e5}$ 2. $\frac{f1-c4}{g8-f6}$ 3. $\frac{d2-d3}{f8-c5}$ 4. $\frac{g1-f3}{d7-d6}$ 5. $\frac{0-0}{c8-g4}$ 6. $\frac{a2-a3}{a7-a6}$ 7. $\frac{b1-d2}{c7-c6}$ 8. $\frac{b2-b4}{c5-a7}$ 9. $\frac{c2-c3}{d6-d5}$ 10. $\frac{e4-d5^{\circ}}{c6-d6^{\circ}}$ 11. $\frac{c4-a5}{0-0}$ 12. $\frac{c1-b2}{b8-c6}$ 13. $\frac{d1-b3}{e5-e4}$ 14. $\frac{d3-e4^{\circ}}{d5-e4^{\circ}}$ 15. $\frac{f3-g5}{\dots}$ получилось положеніе изображенное на прилагаемой діаграммѣ.

Н. А. Михайловъ.

Черные.



Бѣлые.

А. И. Максимовъ.

Опасаясь нападенія на пунктъ f7, черные съиграли ферзя на e7, на что бѣлые отвѣчали движеніемъ 16. $\frac{c3-c4}{}$ и, постоянно усиливая атаку, кончили побѣдою. «Это произошло оттого,— пишетъ намъ изъ Варшавы А. Д. Петровъ, — что г-нъ Михайловъ съигралъ боязливо. Пятнадцатымъ ходомъ ему слѣдовало просто брать коня ферземъ». Мнѣніе свое г-нъ Петровъ подверждаетъ слѣдующимъ, весьма остроумнымъ анализомъ.

(Бѣлые).	(Черные).
15)	d8 — d2°
16) g5 — f7°	d2 — f4

Грозящій шахъ на вскрышу совсѣмъ не опасенъ: кромѣ обмѣна ладьи на коня (а черные имѣютъ уже лишняго офицера) ничего нѣтъ.

	(Бѣлые).	(Черные).
17)	f7 — h6 +	g8 — h8
18)	h6 — f7 +	f8 — f7°
19)	b3 — f7°	c6 — e5
20)	f7 — b7°	e5 — f3 +
21)	g2 — f3°	a7 — b8
22)	f1 — b1 или на e1 см. варіантъ.	
22)	. . . . .	f4 — h2° +
23)	g1 — f1	h2 — h1 +
24)	f1 — e2	h1 — f3° +
25)	e2 — d2	f3 — d3 +

и куда бы бѣлый король ни ступилъ, ему матъ слѣдующимъ ходомъ: если на e1, то 26. d3 — e2 ✕, и если на c1, то 26. d3 — d1° ✕.

Варіантъ на 22-мъ ходѣ бѣлыхъ.

	(Бѣлые).	(Черные).
22)	f1 — e1	f4 — h2° +
23)	g1 — f1	h2 — h1 +
24)	f1 — e2	h1 — f3° +
25)	e2 — d2	f3 — d3 +
26)	d2 — c1	b8 — f4 +
27)	e1 — e3	d3 — d1 ✕

ПАРТІЯ № 239.

ШОТЛАНДСКІЙ ГАМБИТЪ.

	И. С. Шумовъ. (Бѣлые).	Кн. С. С. Урусовъ. (Черные).		(Бѣлые).	(Черные)
1)	e2 — e4	e7 — e5	26)	h2 — h3	h8 — b8
2)	g1 — f3	b8 — c6	27)	b2 — c3	b7 — b1 +
3)	d2 — d4	e5 — d4°	28)	h1 — h2	b1 — c1
4)	f1 — c4	f8 — b4 +	29)	c3 — b2	c1 — e1
5)	c2 — c3	d4 — c3°	30)	b2 — c3	e1 — e2
6)	0 — 0	c3 — b2° [1]	31)	f2 — f3	e2 — a2°
7)	c1 — b2°	e8 — f8 [2]	32)	f3 — g3	a6 — e2
8)	d1 — d5 [3]	d8 — e7	33)	f4 — f2	b8 — b3
9)	f3 — g5	c6 — d8	34)	h4 — g6	a2 — c2
10)	f2 — f4 [4]	e7 — c5 +	35)	g6 — e7°	c2 — c3°
11)	b2 — d4	c5 — d5°	36)	g3 — c3°	b3 — c3°
12)	c4 — d5°	h7 — h6	37)	e7 — d5	c3 — c2
13)	g5 — f3	g8 — e7	38)	d5 — f4	e2 — d1
14)	d5 — b3	d8 — e6	39)	f2 — f1	c2 — d2
15)	d4 — b2	f7 — f6	40)	f4 — d5	a7 — a5
16)	f3 — h4	b4 — c5 +	41)	d5 — c7°	a5 — a4
17)	g1 — h1	e6 — d4	42)	c7 — b5	d1 — c2
18)	b1 — d2	d7 — d6	43)	f1 — e1	c2 — d3
19)	f4 — f5 [5]	d4 — b3°	44)	b5 — d6° +	f7 — e7
20)	d2 — b3°	b7 — b6	45)	d6 — b7	c5 — c4
21)	a1 — d1 [6]	f8 — f7	46)	b7 — c5	a4 — a3
22)	b3 — c5°	b6 — c5°	47)	e1 — a1	a3 — a2
23)	f1 — f4	c8 — a6	48)	c5 — d3°	c4 — d3°
24)	d1 — d2	a8 — b8	49)	h2 — g1	d2 — b2
25)	d2 — f2	b8 — b7		и бѣлые сдаются.	

Примѣчанія къ партіи № 239.

(1) Завоеваніе второй пѣшки въ этомъ положеніи партіи подвергаетъ черныхъ очень сильной атакѣ.

(2) Стаунтонъ говоритъ, что лучше всего защищать пѣшку g7 посредствомъ 7. $\overline{\text{b4} - \text{f8}}$; кн. Урусовъ предпочитаетъ ходъ королемъ и мы раздѣляемъ его мнѣніе.

(3) Преждевременно; лучше было бы двинуть сперва пѣшку на e5. Ланге совѣтуетъ также ходъ 8. $\underline{\text{f3} - \text{d4}}$.

(4) Необдуманный ходъ; онъ дастъ возможность черным вынудить мѣну ферзей, что значительно ослабляетъ атаку бѣлыхъ.

(5) e4 — e5 было бы кажется сильнѣе.

(6) Стаунтонъ замѣчаетъ, что тутъ тоже слѣдовало подвинуть королевскую пѣшку и приводитъ слѣдующій выгодный для бѣлыхъ варіантъ:

21)	e4 — e5	d6 — e5°
22)	b3 — c5°	b6 — c5°
23)	b2 — a3	и т. д.

ПАРТІЯ № 240. (1)

ГАМБИТЪ ФЕРЗЯ.

	Г-нъ Мачускій. (Бѣлые).	И. С. Тургеневъ. (Черные).		(Бѣлые).	Черные).
1)	d2 — d4	d7 — d5	15)	0—0—0	f6 — g4
2)	c2 — c4	e7 — e6 (2)	16)	d1 — e1	h7 — h6
3)	b1 — c3	f8 — b4	17)	d4 — d5	c6 — e5
4)	f2 — f3	c7 — c5	18)	f3 — e5°	g4 — e5°
5)	a2 — a3	b4 — c3°+	19)	f1 — g1	g2 — f3
6)	b2 — c3° +	d8 — a5	20)	e1 — e3	f3 — f6
7)	c1 — d2	g8 — f6	21)	d2 — c3	e5 — d3°+
8)	d1 — c2	c8 — d7	22)	c2 — d3°	f6 — e7
9)	e2 — e4	d5 — e4°	23)	c3 — g7°	h8 — g8
10)	f3 — d4°	c5 — d4°	24)	e3 — g3	0—0—0
11)	c3 — d4°	a5 — h5	25)	d3 — e3	b7 — b6
12)	d1 — f3	h5 — g6	26)	e3 — h6°	e7 — c5
13)	f1 — d3	g6 — g2°	27)	g7 — d4 (3)	c5 — c5°+
14)	h1 — f1	b8 — c6	28)	g3 — c3	g8 — g1°+
			29)	c1 — d2	c4 — c3°+

(Черные).	(Бѣлые).	Бѣлые).	(Черные.)
30) d2 — c3°	g1 — g4	40) h4 — h5	e6 — d5
31) h6 — h5	g4 — f4	41) e4 — d5°	d2 — d5°
32) h5 — e5	f4 — f3+	42) h5 — h6	d7 — f5
33) c3 — b2	b8 — g8	44) c3 — b4	a7 — a5+
34) d4 — c3	d7 — a4 (4)	43) h8 — f6	d2 — c2+
35) e5 — d4	g8 — g2+	45) b4 — a4	c2 — c7 (6)
36) c3 — d2	a4 — d7	46) a4 — b3	d5 — b5+
37) h2 — h4 (5)	f3 — f2	47) b3 — a4	f5 — d7 (7)
38) b2 — c3	f2 — d2°	и бѣлые здаются.	
39) d4 — h8+	c8 — b7		

Примѣчанія къ партіи № 240.

(1) Эта партія принадлежитъ къ матчу, игранному въ концѣ прошлаго года въ Café de la Régence, между И. С. Тургеневымъ и однимъ изъ сильныхъ парижскихъ шахматистовъ Владиславомъ Мачускимъ (Maczuski). Матчъ игрался на одинадцать выигранныхъ партій; окончательный результатъ его намъ еще не извѣстенъ: по послѣднему извѣстію г. Тургеневъ имѣлъ одну выигранную партію, его противникъ три, ничьихъ двѣ.

(2) Вѣрный ходъ; принимать гамбитъ ферзя не выгодно: бѣлые непременно возвратятъ пѣшку и быстро разовьютъ свои силы.

(3) Бѣлые отдаютъ двѣ ладьи за пѣшку и ферзя; это невыгодно, особенно если принять во вниманіе открытое положеніе ихъ короля, дающее возможность черным сильно атаковать ладьями.

(4) Очень хорошо.

(5) Спасти слона нѣтъ уже возможности, а затѣмъ партія бѣлыхъ несомнѣнно проиграна.

(6) Угрожая матомъ въ слѣдующій ходъ.

(7) Журналъ Le Nouvelle Régence, изъ котораго мы заимствуемъ эту партію, замѣчаетъ, что отъ начала до конца, она мастерски ведена нашимъ соотечественникамъ.

ПАРТІЯ № 241.

СИЦИЛІЯНСКІЙ ДЕБЮТЪ.

	Паульсенъ. (Бѣлые).	Колишъ. (Черные).
1)	e2 — e4	c7 — c5
2)	g1 — f3	e7 — e6
3)	b1 — c3	d7 — d5
4)	e4 — d5°	e6 — d5°
5)	d2 — d4	c8 — e6
6)	c1 — e3	c5 — c4
7)	f1 — e2	f8 — b4
8)	e3 — d2	g8 — f6
9)	0 — 0	b4 — c3°
10)	d2 — c3°	f6 — e4
11)	c3 — e1	0 — 0
12)	b2 — b3	b8 — c6
13)	f3 — e5	c6 — e5°
14)	d4 — e5°	f7 — f6
15)	f2 — f3	d8 — b6 +
16)	g1 — h1	e4 — c5
17)	e5 — f6°	f8 — f6°
18)	e1 — f2	b6 — c6
19)	d1 — d4	c5 — d7
20)	f1 — d1	f6 — f7 [1]
21)	b3 — c4°	d5 — c4°
22)	d4 — d6	d7 — b6
23)	d6 — b4 [2]	b6 — d5
24)	b4 — c4°	d5 — c3
25)	c4 — c6°	b7 — c6°
26)	d1 — d6	e6 — d5
27)	e2 — f1	a8 — b8
28)	f2 — d4 [3]	c3 — b5
29)	f1 — b5°	b8 — b5° [4]
30)	d6 — d8 +	f7 — f8
31)	d8 — f8° +	g8 — f8°
32)	a2 — a4	b5 — b7
33)	a4 — a5	a7 — a6
34)	d4 — b6	f8 — f7
35)	h1 — g1	b7 — e7
36)	g1 — f2	d5 — c4
37)	b6 — e3	e7 — b7
38)	a1 — a4	c4 — d5
39)	a4 — f4 +	f7 — g8
40)	e3 — c5	b7 — f7
41)	f4 — b4	h7 — h6
42)	b4 — b6	f7 — f5
43)	c5 — e3	d5 — c4
44)	b6 — c6°	c4 — b5
45)	c6 — c8 +	f5 — f8
46)	c8 — c5	f8 — f6
47)	c2 — c4	b5 — a4
48)	c5 — d5	f6 — c6
49)	c4 — c5	a4 — b5
50)	e3 — d4	c6 — c7
51)	d5 — d6	c7 — d7
52)	f3 — f4	d7 — d6°
53)	c5 — d6°	

Черные.

Бѣлые.

(Бѣлые).	(Черные).	(Бѣлые).	(Черные).
53)	g7 — g6	68) h4 — h5	g6 — e8
54) g2 — g4	g8 — f7	69) h6 — h7	e8 — h5°
55) f4 — f5	g6 — f5°	70) h7 — h6	h5 — f7
56) g4 — f5°	h5 — d7	71) h6 — h7	f6 — g5
57) f5 — f6	f7 — e6	72) h7 — g7	f7 — a2
58) d4 — e5 (5)	d7 — c6	73) g7 — h7	a2 — b1 +
59) f2 — g3	c6 — b5	74) h7 — g7	b1 — c2
60) g3 — g4	b5 — e8	75) g7 — f7	g5 — f5
61) h2 — h4 (6)	e6 — e5° (7)	76) f6 — e7	f5 — e5
62) f6 — f7	e8 — f7°	77) e7 — f7	e5 — d6
63) d6 — d7	f7 — e6 +	78) f7 — f6	d6 — c5
64) g4 — h5	e6 — d7°	79) f6 — e5	c5 — b5
65) h5 — h6	e5 — f6	80) e5 — d4	b5 — a5°
66) h6 — h5	d7 — f5	81) d4 — c4	a5 — a4
67) h5 — h6	f5 — g6	82) c4 — c3 игра ничья.	

Примѣчанія къ партіи № 241.

(1) d7 — b6 было бы кажется лучше.

(2) Теперь бѣлые выигрываютъ пѣшку.

(3) Сперва слѣдовало бы двинуть a2 — a4.

(4) При разноцвѣтныхъ слонахъ черные могутъ надѣяться на ничью.

(5) Очень хорошо; очевидно, что если король возьметъ слона, то пѣшка f проходитъ въ ферзи.

(6) До сихъ поръ бѣлые мастерски вели весь конецъ партіи, но послѣдній ихъ ходъ—грубая ошибка; слѣдовало идти королемъ на f4.

(7) Теперь чернымъ нѣтъ уже опасности брать слона.

ПАРТІЯ № 242.

СИЦИЛІЯНСКІЙ ДЕБЮТЪ.

(Играна въ Берлинѣ въ маѣ 1861 года).

Майетъ. (Бѣлые).	**Гиршфельдъ.** (Черные).	(Бѣлые).	(Черные).
1) e2 — e4	c7 — c5	2) g1 — f3	e7 — e6
		3) b1 — c3	a7 — a6

(Бѣлые).	(Черные).	(Бѣлые).	(Черные).
4) d2 — d4	c5 — d4°	16) e4 — g3	a8 — c8
5) f3 — d4°	b8 — c6	17) c5 — a3	d5 — e3
6) d4 — c6°	b7 — c6°	18) h1 — g1	c7 — e5
7) e4 — e5	d8 — c7	19) f2 — e2	e3 — g2° +
8) f2 — f4	d7 — d5	20) e1 — f1	g2 — e3 +
9) e5 — d6° (на проходѣ)	f8 — d6°	21) f1 — e1	c8 — c2°
10) d1 — d4	g8 — f6°	22) d3 — c2°	e3 — c2° +
11) f1 — d3	c6 — c5	23) e1 — d1	c2 — a3°
12) d4 — f2	c8 — b7	24) e2 — e5°	f4 — e5°
13) c1 — e3	f6 — d5	25) g1 — e1	b7 — f3 +
14) c3 — e4	d6 — f4°	26) d1 — d2	a3 — c4 +
15) e3 — c5°	f7 — f5	и бѣлые сдаются.	

ПАРТІЯ № 243.

СИЦИЛІЯНСКІЙ ДЕБЮТЪ.

Дюфренъ. (Бѣлые).	Гиршфельдъ. (Черные).	(Бѣлые).	(Черные).
1) e2 — e4	c7 — c5	17) f3 — g5	h3 — h2°
2) g1 — f3	e7 — e6	18) g5 — f7° +	d8 — c7
3) d2 — d4	c5 — d4°	19) 0—0—0	h2 — f4 +
4) f3 — d4°	g8 — f6	20) c1 — b1	h8 — g8
5) c1 — g5 (1)	d8 — a5 +	21) g1 — g5 (6)	d7 — d5
6) g5 — d2	a5 — e5	22) d1 — h1	c8 — d7
7) d2 — c3	e5 — e4° +	23) g5 — h5 (7)	f8 — c5
8) f1 — e2	a7 — a6 (2)	24) f2 — f3	a8 — e8
9) b1 — d2	e4 — g6	25) e2 — g2	e8 — e7
10) d2 — f3	f6 — e4	26) h5 — h4	f4 — e3
11) e2 — d3 (3)	g6 — g2°	27) g2 — g3 +	c7 — b6
12) h1 — f1°	e4 — c3°	28) f7 — d6	g7 — g5
13) b2 — c3°	b8 — c6	29) b1 — a1	f5 — f4
14) d4 — f5 (4)	e6 — f5°	30) h1 — b1 +	b6 — a7
15) d1 — e2 +	e8 — d8 (5)	31) b1 — b7° +	a7 — a8
16) f1 — g1	g2 — h3	и бѣлые сдаются.	

Примѣчанія къ партіи № 243.

(1) f1 — d3 или b1 — c3 было бы основательнѣе.

(2) Этотъ ходъ почти всегда необходимъ при сициліянской защитѣ, для предупрежденія сильной атаки конемъ.

(3) Осторожнѣе было бы рокировать.

(4) Остроумный ходъ, имѣющій цѣлью завоеваніе ферзя, а именно 14. $\frac{\quad}{e6 - f5^{\circ}}$ 15. $\frac{d1 - e2+}{f8 - e7}$ 16. $\frac{d3 - f5^{\circ}}{\quad}$ а за тѣмъ f1 — g1 и черный ферзь погибъ.

(5) Этимъ отступленіемъ черные лишаютъ противника возможности привести въ исполненіе объясненный въ предыдущемъ примѣчаніи планъ; потому что, на 16. $\frac{d3 - f5^{\circ}}{\quad}$, они могутъ теперь отвѣтить 16. $\frac{\quad}{f8 - c5}$ и если тогда 17. $\frac{f1 - g1}{\quad}$, то 17. $\frac{\quad}{c5 - f2^{\circ}+}$ 18. $\frac{e2 - f2^{\circ}}{h8 - e8+}$ — черные выигрываютъ

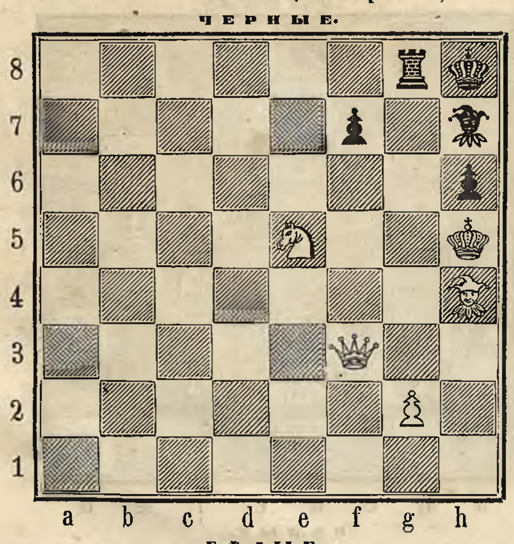
(6) Не лучше ли двинуть слона на c4?

Опять угрожаетъ завоевать ферзя посредствомъ h5 — h4.

Задачи.

№ 126.

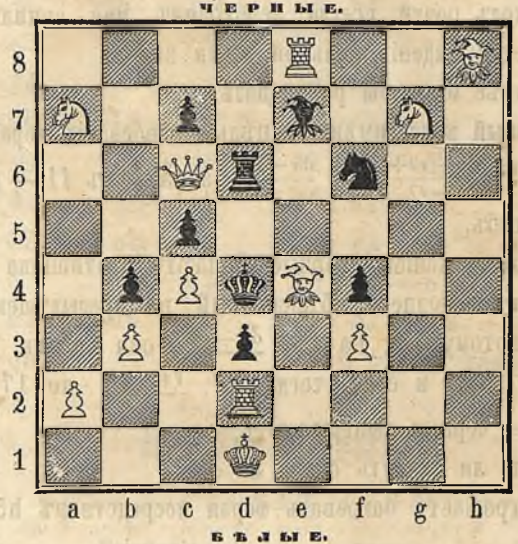
А. Д. ПЕТРОВА (въ Варшавѣ).



Бѣлые начинаютъ и заставляютъ черныхъ сдѣлать матъ въ 11 ходовъ.

№ 127.

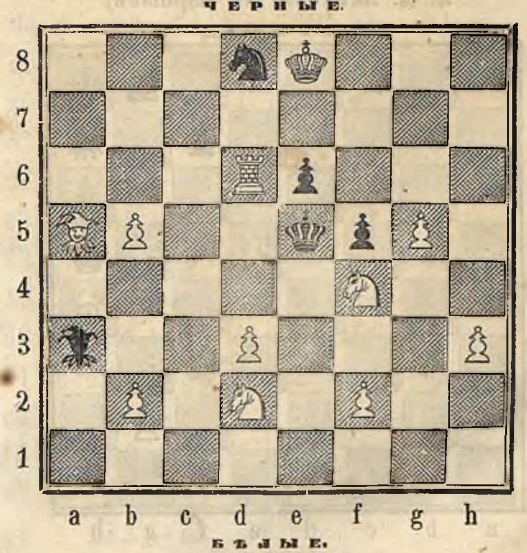
К. К. ШПЕЙЕРА (въ Николаевѣ).



Бѣлые начинаютъ и даютъ матъ въ 2 хода.

№ 128.

В. К. КНОРРЕ (въ Николаевѣ).

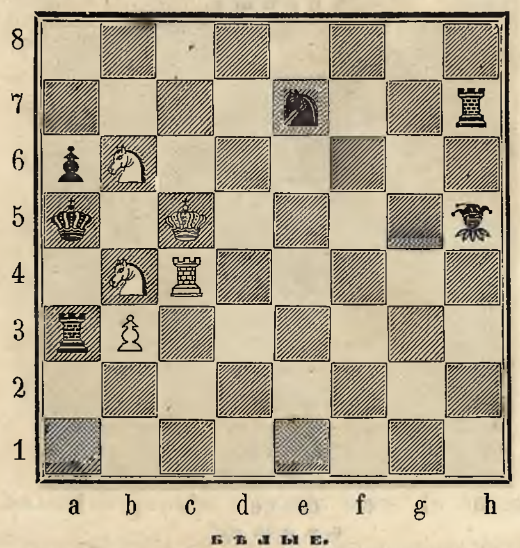


Бѣлые начинаютъ и даютъ матъ въ 3 хода.

№ 129.

С. А. ЯЦКЕВИЧА.

ЧЕРНЫЕ.



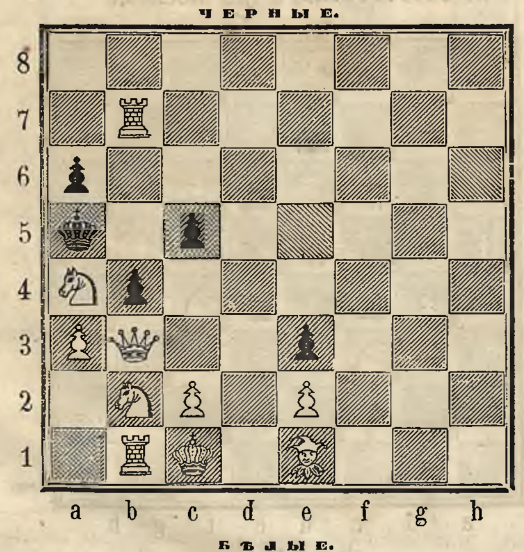
БѢЛЫЕ.

Бѣлые начинаютъ и даютъ матъ въ 3 хода.

№ 130.

КРАУЗЕ (въ Кенигсбергѣ).

ЧЕРНЫЕ.



БѢЛЫЕ.

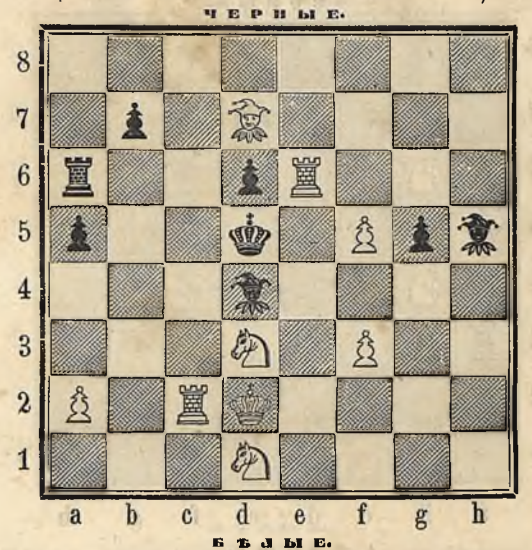
Бѣлые начинаютъ и заставляютъ черныхъ сдѣлать матъ въ 4 хода.

№ 131.

С. А. ЯЦКЕВИЧА.

(Посвящается Г. П. Цеценевскому).

ЧЕРНЫЕ.



БѢЛЫЕ.

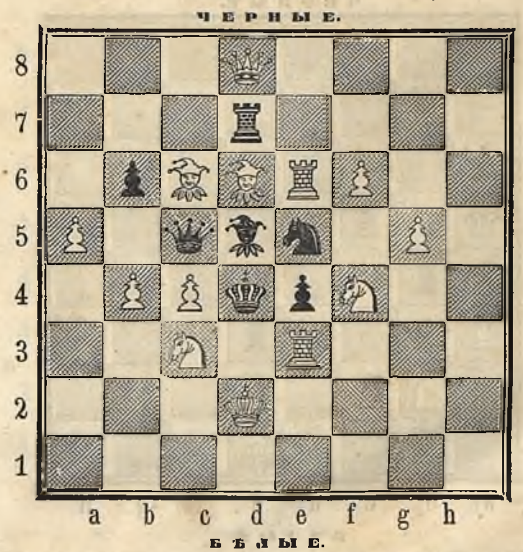
Бѣлые начинають и дають мать въ 3 хода.

№ 132.

Звѣздочка.

Н. ОСТРОГОРСКАГО (въ Москвѣ).

ЧЕРНЫЕ.



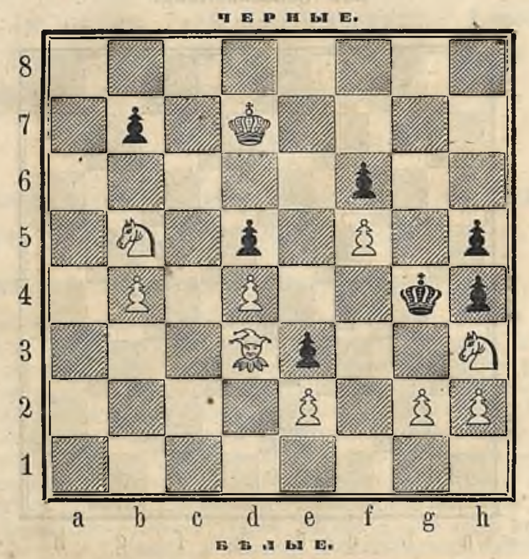
БѢЛЫЕ.

Бѣлые начинають и дають мать въ 3 хода.

№ 133.

К. К. ШПЕЙЕРА.

ЧЕРНЫЕ.



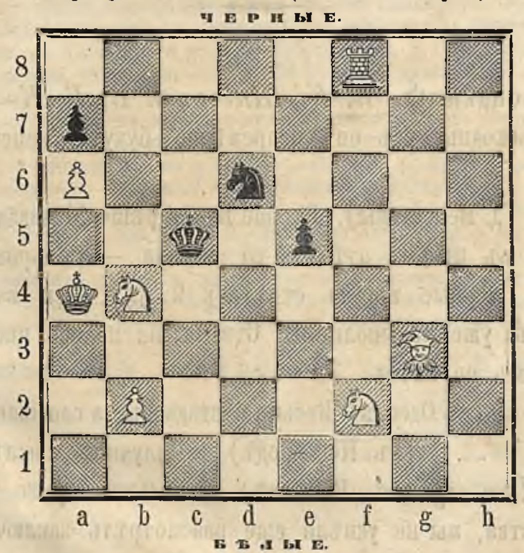
БѢЛЫЕ.

Бѣлые начинаютъ и даютъ матъ въ 4 хода.

№ 134. (*)

Фридриха РЕЙМАНА (въ Кенигсбергѣ).

ЧЕРНЫЕ.



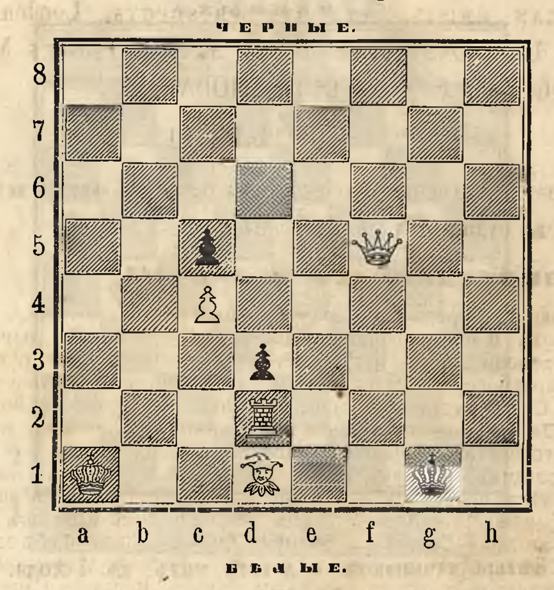
БѢЛЫЕ.

Бѣлые начинаютъ и даютъ матъ въ 3 хода.

(*) Эта проблема предложена берлинскою Schachzeitung (декабрь 1861 г). въ 4 хода и разрѣшена Н. И. Петровскимъ въ 3 хода.

№ 135.

Изъ Schachzeitung.



Бѣлые начинаютъ и заставляютъ черныхъ сдѣлать матъ въ 13 ходовъ.

Корреспонденція. *К. К. Шп—ру и В. К. К—ъре.* Ваши задачи превосходны; всѣ онѣ непремѣнно будутъ напечатаны мало по малу.

Тов—чу (д. Берестовы). Второе Ваше рѣшеніе задачи № 67,— сообщенное въ письмѣ отъ 24-го января, — невѣрно: на ходъ 9. e5 — d5+, черные могутъ отвѣтить 9. b7 — d6 и затѣмъ условія проблемы уже невыполнимы. Отвѣтъ на первое письмо отправленъ къ Вамъ по почтѣ.

Г. Яцк—чу (въ Одессѣ). Весьма благодарны за сообщеніе проблемъ.

Г-ну К. . . . . (въ Новгородѣ). \
К. О. Цѣх—чу (въ Волжскѣ). } Получивъ послѣднія Ваши письма передъ самымъ выпускомъ Листка, мы не успѣли еще разсмотрѣть заключающіяся въ нихъ замѣчанія.

Иностранная литература. Американскій кризисъ и вліяніе его на европейскія дѣла. 1. American crisis, and its prospects. London. 1861. 2. Utilitarianism. By J. S. Mill. Fraser's Magazine. 1861. Г. Е. БЛАГОСВѢТЛОВА . . . . 1.

ОТДѢЛЪ III.

По непредвидѣннымъ обстоятельствамъ **Современная лѣтопись** отлагается до будущаго мѣсяца.

Дневникъ темнаго человѣка.

Мой трепетъ передъ призракомъ общественнаго мнѣнія. — Роковая скамья подсудимыхъ и общественное veto.—Русскіе скептики и ихъ тенденціи. Нѣчто о демоническихъ натурахъ.—Кто сомнѣвается въ русскомъ прогрессѣ? Ода прогрессу. — Разница между скептицизмомъ нѣмецкаго Фауста и русскаго Собакевича.—Два слова о Никитѣ Безрыловѣ и Викторѣ Аскоченскомъ.—*Два бойца*—мимолетная импровизація.—Домашній литературный вечеръ и его составъ. — Общественное мнѣніе въ лицахъ. — Старая княжна и юный господинъ.—Парикъ допотопнаго поэта и увлеченіе институтки.—Темный человѣкъ передъ судомъ *избраннаго* общества.—Мои надежды и окончательное пораженіе.—Литературныя чтенія — какъ одна изъ казней моды.— Мое злорадство.—Сказаніе о нѣкоемъ Охочекомоннѣ и объ его кулачной расправѣ съ петербургскими профессорами.—Уступка Охочекомонны въ пользу г-жи Толмачевой и одного изъ сотрудниковъ Русскаго Слова. — Счастливая звѣзда г. Печаткина.—Гимнъ Библіотекѣ для Чтенія.—Причитанья журнальной маски (З—на) надъ могилой Добролюбова.—Можно ли ставить памятники людямъ, которыхъ фамилія писалась черезъ маленькую букву?—Мой проектъ объ открытіи подписки на пожизненные монументы Зорину, З—ну, и Охочекомоннѣ. — Осужденіе статей Добролюбова и его друзей. — Тенденціи г. З—на и дочери становаго.—«Жалоба уѣздной красавицы»—элегія.—Смѣлость могильныхъ червей. — «Кто ты?—лирическое восклицаніе къ псевдониму.— Фантастическая сцена гласнаго судопроизводства.—Г. Лермантовъ и г-жа Кобякова.—Протестъ послѣдней.—Я, какъ адвокатъ обвиненнаго.—Моя блестящая рѣчь о собственности и кражѣ.—Почему г. Лермантовъ назвалъ *Неожиданное богатство—Легкимъ богатствомъ?*—Масляница и ея удовольствія въ Петербургѣ. — Послѣдній маскарадъ въ Большомъ театрѣ и его характеръ. Сцена въ буфетѣ, гдѣ я опять являюсь адвокатомъ, но неудачнымъ. — Не рѣшенный вопросъ: кто долженъ больше обижаться: тотъ-ли, кого бьютъ, или тѣ, которые смотрятъ, какъ бьютъ?!..—Мои маскарадныя иллюзіи. «Маскарадный мотивъ»—стихотвореніе.—Петербургская начальница и ея классическое: *встаньте*!..—Нѣчто о скоромъ торжествѣ буквы *Ѣ*.

Шахматный листокъ (за февраль) В. М. МИХАЙЛОВА.

Преміи: 3-й выпускъ «Памятниковъ старинной Русской литературы», изд. подъ редакціею А. Н. Пыпина и 1-й томъ соч. Л. Мея отправлены подписчикамъ, вслѣдъ за янв. книжкой Русскаго Слова.